

Зигмунд Фрейд

ПСИХОЛОГИЯ бессознательного

ПИТЕР

Зигмунд Фрейд

ПСИХОЛОГИЯ бессознательного



Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж
Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара · Новосибирск
Киев · Харьков · Минск
2010

ББК 88.32
УДК 159.922
Ф86

Фрейд З.
Ф86 Психология бессознательного. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 400 с. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-49807-498-6

В данную книгу вошли крупнейшие работы австрийского ученого-психолога, основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда, создавшего систему анализа душевной жизни человека. В представленных работах — «Анализ фобии пятилетнего мальчика», «Три очерка по теории сексуальности», «О сновидении», «По ту сторону удовольствия», «Я и Оно» и др. — показано, что сознание неотделимо от глубинных уровней психической активности.

Наибольший интерес представляют анализ детских неврозов, учение о влечениях, о принципах регуляции психической жизни, разбор конкретных клинических случаев и фактов повседневной жизни человека. Центральное место в сборнике занимает работа «Психопатология обыденной жизни», в которой на основе теории вытеснения Фрейд показал, что неосознаваемые мотивы обусловливают поведение человека в норме и патологии, что может быть эффективно использовано в целях диагностики и терапии.

Книга адресована студентам и преподавателям психологических, медицинских, педагогических факультетов вузов, соответствующим специалистам, стремящимся к глубокому и всестороннему изучению психоаналитической теории и практики, а также всем тем, кто интересуется вопросами устройства внутреннего мира личности человека.

ББК 88.32
УДК 159.922

ISBN 978-5-49807-498-6

Содержание

Зигмунд Фрейд — выдающийся исследователь психической жизни человека

Среди психологов XX века австрийскому доктору Зигмунду Фрейду принадлежит особое место. Его главный труд «Толкование сновидений» увидел свет в 1900 г. С тех пор в психологии восходили, сменяя друг друга, различные научные авторитеты. Но ни один из них не вызывает поныне такого негаснущего интереса, как Фрейд, как его учение. Объясняется это тем, что его работы, изменившие облик психологии в XX столетии, осветили коренные вопросы устройства внутреннего мира личности, ее побуждений и переживаний, конфликтов между ее вожделениями и чувством долга, причин душевных надломов, иллюзорных представлений человека о самом себе и окружающих.

Известно, что главным регулятором человеческого поведения служит сознание. Фрейд открыл, что за покровом сознания скрыт глубинный, «кипящий» пласт не осознаваемых личностью могущественных стремлений, влечений, желаний. Будучи лечащим врачом, он столкнулся с тем, что эти неосознаваемые переживания и мотивы могут серьезно отягощать жизнь и даже становиться причиной нервно-психических заболеваний. Это направило его на поиски средств избавления своих пациентов от конфликтов между тем, что говорит их сознание, и потаенными слепыми, бессознательными побуждениями. Так родился фрейдовский метод исцеления души, названный психоанализом.

Не ограничившись изучением и лечением невропатов, упорной работой по восстановлению их психического здоровья, Фрейд создал теорию, объяснявшую переживания и поведение не только больного, но и здорового человека. Эта теория приобрела в странах Запада столь великую популярность, что многие там и в наши дни убеждены, что «психология — это и есть Фрейд». Фрейдовская теория во многих зарубежных странах прочно вошла в учебники по психологии, психотерапии, психиатрии. Она оказала воздействие на другие науки о человеке — социологию, педагогику, антропологию, этнографию, а также на искусство и литературу.

На русском языке первые переводы книг этого ученого появились еще до революции. Они продолжали выходить и в первые послереволюционные годы, пользуясь успехом не только у специалистов-психологов, но также и у врачей, учителей, деятелей культуры. Это были годы, когда молодая советская психология только становилась на ноги. Она стремилась впитать в себя учение Маркса. Под этим углом зрения оценивались зарубежные теории — в том числе фрейдизм. И здесь обнаружилось несоответствие между очень многими представлениями Фрейда о душевной жизни человека, о движущих силах его поведения и тем, как объясняет эту жизнь, эти силы марксистская философия, ставшая компасом для советской науки. Попытки отдельных психологов объединить Фрейда и Маркса были отвергнуты. Для этого имелись веские доводы, ибо методология этих учений, их объяснения механизмов психического развития принципиально различны. При этом, однако, все конкретное содержание исследований Фрейда также оказалось перечеркнутым. С тех пор, с середины 20-х гг., труды Фрейда больше не издавались. В существо его теории и методов перестали вникать. Забвению подверглось требование марксизма: не смешивать честный, серьезный поиск истины, открытые ученым проблемы и факты, разработанные им методики, с одной стороны, и то, как это преломилось в его идеях, несовместимых с нашим мировоззрением, — с другой.

Сам Фрейд признавал, что есть проблемы, до которых «нельзя долететь, но надо дойти хромая, и в этих случаях не грех хромать». Немало таких проблем он впервые увидел, вызвав к ним обостренный интерес ученого мира. Неслучайно наш всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица в речи на одном из международных симпозиумов, касаясь высшей нервной деятельности человека, сказал, что «основателями этой базисной науки считаются И. П. Павлов и Зигмунд Фрейд. Они первые положили эксперимент в основу изучения процессов мышления. Ими были найдены закономерности восприятия человеком внешней среды, возникновения условных рефлексов, влияния подсознания на деятельность человека» (*Капица П. Л.* Эксперимент. Теория. Практика. — М., 1977. — С. 329).

Советский читатель должен знать об учении Фрейда не понаслышке, а из первых рук, с тем чтобы выработать самостоятельное, а не извне навязанное представление о нем. Знакомясь с работами Фрейда, с его представлениями о том, как устроена душевная жизнь, каковы ее сокровенные механизмы, мы тем самым расширяем границы сферы познания человека, его внутреннего мира. Такие фрейдовские термины, как «либидо», «супер-эго», «идентификация», «сублимация» и другие, можно услышать в западных странах в речи не только психолога или врача-психотерапевта, но и любого образованного человека, и хорошо, что наш читатель теперь будет знакомиться с Фрейдом по первоисточникам.

О фрейдизме опубликованы сотни книг, сложилась огромная библиотека, которая продолжает расти. Издано множество материалов, освещающих деятельность Фрейда и его школы, включая протоколы психоаналитических сеансов. Созданы энциклопедии психоанализа. Прослеживаются биографии некоторых пациентов Фрейда и т. п. Вместе с тем очевидна сильная оппозиция этому учению со стороны многих научных и философских школ. Но какой бы острой критике и даже злобным нападкам оно ни подвергалось, учение Фрейда вновь и вновь становится

предметом дискуссий, порождает новые направления, так как в нем отразилась реальность психической жизни.

Говоря об отражении, следует помнить, что его диалектико-материалистическое понимание предполагает различную степень приближения мысли к реальности. Ведь нередко эта реальность воссоздается неадекватно, в превращенных формах. Со многими неадекватно установленными современной наукой данными читатель встретится и в произведениях Фрейда. Мы увидим, как он, будучи мужественным исследователем, порой решительно расставался с прежде принятыми им положениями, тогда как ряд своих излюбленных идей продолжал фанатически культивировать, вопреки тому, что их безнадежную слабость показали не только противники психоанализа, но и его верные приверженцы.

Ежедневно по 8–10 часов на протяжении многих десятилетий Фрейд занимался врачебной практикой. На фактах, почерпнутых в клинической практике, он проследил сложность и многоплановость структуры личности, значение в ее истории внутренних конфликтов и кризисов, последствия неудовлетворенных желаний. Фрейдом был введен в научный оборот ряд идей и проблем, показавших, что уровень сознания неотделим от других глубинных уровней психической активности, не изучив взаимодействие которых невозможно понять природу человека. Фрейд разработал ряд гипотез, моделей, понятий, запечатлевших своеобразие психики и прочно вошедших в арсенал современного научного знания о ней. К ним относятся, в частности, понятия о защитных механизмах (психологической защите), фрустрации, идентификации, рационализации, вытеснении, фиксации, катарсисе, силе *Я* и др. (см. ниже). Эти понятия обогатили также психотерапевтическую практику. Изучение Фрейдом роли сексуальных переживаний и сопряженных с ними душевных травм дало толчок развитию новых областей знания, в частности сексологии. Фрейдом было показано, сколь важно, прослеживая становление характера человека — его строение и динамику, учитывать детские годы и испытанное ребенком в этом периоде, в особенности отношения в семье, от которых зависит формирование его характера, его мотивационной сферы. Жизненность, практическая значимость поставленных Фрейдом проблем вытекают также из того, что в круг научного анализа им были вовлечены феномены, которые традиционная психология не привыкла принимать в расчет: чувства вины, неполноценности, тревожности, уход от реальной ситуации в область грез, возникновение внутренней тенденции к агрессивности.

Наша психология ищет свои ответы на сложные, интимные вопросы, поставленные Фрейдом. В науке же постановка вопроса — не менее трудная, не менее творческая задача, чем поиски ответов. Не соглашаясь с предложенным Фрейдом толкованием собранных им фактов, его теоретическими обобщениями, советские исследователи освещают их с других научных позиций. Вместе с тем, развивая свой подход к соотношению сознания и бессознательной психики, к противоречиям и конфликтам в развитии личности, они опираются на наследие прошлого. Чтобы критически переосмыслить это наследие, необходимо сперва им овладеть.

Следует иметь в виду, что на современном этапе фрейдизм представляет собой не единую целостную систему, а множество различных научных школ и направлений, у которых имеются не только фанатичные приверженцы, но и не менее страстные

противники. Чтобы понять ситуацию в мировой психологии, соотношение в ней различных научных сил, нужно знать учение самого Фрейда, знать, как оно сложилось и приобрело столь глубокое влияние на различные подходы к психике человека — самого сложного явления в известной нам Вселенной.

* * *

Зигмунд Фрейд — создатель направления, которое приобрело известность под именем глубинной психологии и психоанализа, родился 6 мая 1856 г. в небольшом моравском городе Фрейбурге в семье небогатого торговца шерстью. В 1860 г. семья переехала в Вену, где будущий знаменитый ученый прожил около 80 лет. В большой семье было 8 детей, но только Зигмунд выделялся своими исключительными способностями, удивительно острым умом и страстью к чтению. Поэтому родители стремились создать для него лучшие условия. Если другие дети учили уроки при свечах, то Зигмунду выделили керосиновую лампу. Чтобы дети ему не мешали, им не позволяли при нем музицировать. Он окончил гимназию с отличием в 17 лет и поступил в знаменитый Венский университет.

Вена тогда была столицей Австро-Венгерской империи, ее культурным и интеллектуальным центром. В университете преподавали выдающиеся профессора. Обучаясь в университете, Фрейд вошел в студенческий союз по изучению истории, политики, философии (это в дальнейшем сказалось на его концепциях развития культуры). Но особый интерес для него представляли естественные науки, достижения которых произвели в середине прошлого века настоящую революцию в умах, заложив фундамент современного знания об организме, о живой природе. В великих открытиях этой эпохи — законе сохранения энергии и установленном Дарвином законе эволюции органического мира — черпал Фрейд убеждение в том, что научное знание есть знание причин явлений под строгим контролем опыта. На оба закона опирался Фрейд, когда перешел впоследствии к изучению человеческого поведения. Организм он представлял как своего рода аппарат, заряженный энергией, которая разряжается либо в нормальных, либо в патологических реакциях. В отличие от физических аппаратов организм является продуктом эволюции всего человеческого рода и жизни отдельного индивида. Эти принципы распространялись на психику. Она также рассматривалась, во-первых, под углом зрения энергетических ресурсов личности, служащих «горючим» ее действий и переживаний, во-вторых, под углом зрения развития этой личности, несущей память и о детстве всего человечества, и о собственном детстве. Фрейд, таким образом, воспитывался на принципах и идеалах точного, опытного естествознания — физики и биологии. Он не ограничивался описанием явлений, а искал их причины и законы (такой подход известен под именем детерминизма, и во всем последующем творчестве Фрейд является детерминистом). Этим идеалам он следовал и тогда, когда перешел в область психологии. Его учителем был выдающийся европейский физиолог Эрнст Брюкке[1]. Под его руководством студент Фрейд работал в Венском

[1] У Брюкке учились и в его лаборатории работали ученые из многих стран, в том числе отец русской физиологии и научной психологии И. М. Сеченов.

физиологическом институте, просиживая по многу часов за микроскопом. Под старость, будучи всемирно признанным психологом, он писал одному из своих друзей, что никогда не был так счастлив, как в годы, потраченные в лаборатории на изучение устройства нервных клеток спинного мозга животных. Умение сосредоточенно работать, всецело отдавая себя научным занятиям, выработанное в этот период, Фрейд сохранил на последующие десятилетия. Он намеревался стать профессиональным научным работником. Но вакантного места в Физиологическом институте у Брюкке не было. Тем временем ухудшилось материальное положение Фрейда. Трудности обострились в связи с предстоящей женитьбой на такой же бедной, как и он, Марте Берней. Науку пришлось оставить и искать средства к существованию. Имелся один выход — стать практикующим врачом, хотя к этой профессии он никакого тяготения не испытывал. Он принял решение заняться частной практикой в качестве невропатолога. Для этого пришлось сперва пойти работать в клинику, так как медицинского опыта у него не было. В клинике Фрейд основательно осваивает методы диагностики и лечения детей с пораженным мозгом (больных детским параличом), а также различных нарушений речи (афазий). Его публикации об этом становятся известны в научных и медицинских кругах. Фрейд приобретает репутацию высококвалифицированного врача-невропатолога. Своих больных он лечил принятыми в то время методами физиотерапии. Считалось, что поскольку нервная система представляет собой материальный орган, то и болезненные изменения, которые в ней происходят, должны иметь материальные причины. Поэтому устранять их следует посредством физических процедур, воздействуя на больного теплом, водой, электричеством и др. Очень скоро, однако, Фрейд стал испытывать неудовлетворенность этими физиотерапевтическими процедурами. Эффективность лечения оставляла желать лучшего, и он задумался над возможностью применить другие методы, в частности гипноз, используя который некоторые врачи добивались хороших результатов. Одним из таких успешно практикующих врачей был Иосиф Брейер, который стал во всем покровительствовать молодому Фрейду. Они совместно обсуждали причины заболеваний своих пациентов и перспективы лечения.

Больными, которые к ним обращались, были главным образом женщины, страдавшие истерией. Болезнь проявлялась в различных симптомах — страхах (фобиях), потере чувствительности, отвращении к пище, раздвоении личности, галлюцинациях, спазмах и др. Применяя легкий гипноз (внушенное состояние, подобное сну), Брейер и Фрейд просили своих пациенток рассказывать о событиях, которые некогда сопровождали появление симптомов болезни. Выяснялось, что, когда больным удавалось вспомнить об этом и «выговориться», симптомы хотя бы на время исчезали. Такой эффект Брейер назвал древнегреческим словом «катарсис» (очищение). Древние философы использовали это слово, чтобы обозначить переживания, вызываемые у человека восприятием произведений искусства (музыки, трагедии). Предполагалось, что эти произведения очищают душу от омрачающих ее аффектов, принося тем самым «безвредную радость». Брейером этот термин был перенесен из эстетики[1] в психотерапию. За понятием о катарсисе крылась

---

[1] Проблема катарсиса в искусстве широко обсуждалась в тогдашней литературе, в частности в работах Я. Бернея — родственника Фрейда.

гипотеза, согласно которой симптомы болезни возникают вследствие того, что больной прежде испытал напряженное, аффективно окрашенное влечение к какому-либо действию. Симптомы (страхи, спазмы и т. д.) символически замещают это нереализованное, но желаемое действие. Энергия влечения разряжается в извращенной форме, как бы «застревая» в органах, которые начинают работать ненормально. Поэтому предполагалось, что главная задача врача — заставить больного вновь пережить подавленное влечение и тем самым придать энергии (нервно-психической энергии) другое направление, а именно — перевести ее в русло катарсиса, разрядить подавленное влечение в рассказе врачу о нем. В этой версии о травмировавших больного и потому вытесненных из сознания аффективно окрашенных воспоминаниях, избавление от которых дает лечебный эффект (исчезают расстройства движений, восстанавливается чувствительность и т. д.), содержался зародыш будущего психоанализа Фрейда. Прежде всего в этих клинических исследованиях «прорезалась» идея, к которой неизменно возвращался Фрейд. На передний план отчетливо выступили конфликтные отношения между сознанием и неосознаваемыми, но нарушающими нормальный ход поведения психическими состояниями. О том, что за порогом сознания теснятся былые впечатления, воспоминания, представления, способные влиять на его работу, давно было известно философам и психологам. Новые моменты, на которых задержалась мысль Брейера и Фрейда, касались, во-первых, сопротивления, которое сознание оказывает неосознаваемому, в результате чего и возникают заболевания органов чувств и движений (вплоть до временного паралича), во-вторых, обращения к средствам, позволяющим снять это сопротивление, сперва — к гипнозу, а затем — к так называемым свободным ассоциациям, о которых речь пойдет дальше. Гипноз ослаблял контроль сознания, а порой и совсем снимал его. Это облегчало загипнотизированному пациенту решение задачи, которую Брейер и Фрейд ставили, — «излить душу» в рассказе о вытесненных из сознания переживаниях.

Особенно успешно использовали гипноз французские врачи, для изучения опыта которых Фрейд на несколько месяцев съездил в Париж к знаменитому неврологу Шарко (ныне его имя сохранилось в связи с одной из физиотерапевтических процедур — так называемым душем Шарко). Это был замечательный врач, прозванный Наполеоном неврозов. У него лечилось большинство королевских семей Европы. Фрейд — молодой венский доктор — присоединился к большой толпе практикантов, которая постоянно сопровождала знаменитость во время обходов больных и при сеансах их лечения гипнозом. Случай помог Фрейду сблизиться с Шарко, к которому он обратился с предложением перевести его лекции на немецкий. В этих лекциях утверждалось, что причину истерии, как и любых других заболеваний, следует искать только в физиологии, в нарушении нормальной работы организма, нервной системы. В одной из бесед с Фрейдом Шарко заметил, что источник странностей в поведении невротика таится в особенностях его половой жизни. Это наблюдение запало в голову Фрейда, тем более что и он сам, да и другие врачи сталкивались с зависимостью нервных заболеваний от сексуальных факторов. Через несколько лет, под впечатлением этих наблюдений и предположений, Фрейд выдвинул постулат, придавший всем его последующим концепциям, каких бы психологических проблем они ни касались, особую окраску и навсегда соеди-

нивший его имя с идеей всесилия сексуальности во всех человеческих делах. Эта идея о роли сексуального влечения как главного двигателя поведения людей, их истории и культуры придала фрейдизму специфическую окраску, прочно ассоциировала его с представлениями, сводящими все бессчетное многообразие проявлений жизнедеятельности к прямому или замаскированному вмешательству сексуальных сил. Такой подход, обозначаемый термином «пансексуализм», стяжал Фрейду во многих странах Запада огромную популярность — притом далеко за пределами психологии. В этом принципе стали усматривать своего рода универсальный ключ ко всем человеческим проблемам. По этому поводу известный советский психолог Л. С. Выготский еще в 20-х годах писал: «Творчество Достоевского раскрывается тем же ключом, что и тотем, и табу первобытных племен; христианская церковь, коммунизм, первобытная орда — все в психоанализе выводится из одного источника... Здесь психоанализ не продолжает, а отрицает методологию марксизма» (*Выготский Л. С.* Собр. соч. — М., 1982. — Т. 1. — С. 332). Но если бы психоанализ ограничивался таким подходом, ложность которого давно доказали различные научные школы, исходя не только из философских аргументов, но и из анализа реальных феноменов социокультурного развития человечества, то пришлось бы признать загадкой длительность и силу его влияния на современную мысль, на многие направления исследований поведения в различных областях знания. Какой смысл имело бы обращение к текстам Фрейда, если бы в любых формах психической регуляции поведения и в любых порождениях культуры, при взгляде на них глазами Фрейда, не видели ничего, кроме причудливых рудиментов сексуальных влечений? Конечно, трезвое, спокойное изучение этих влечений и сопряженных с ними комплексов переживаний средствами позитивной науки является, вопреки ханжеской морали, важным делом в плане как познания характера и поведения людей, так и их полового воспитания. Науке об этой сфере — сексологии — принадлежит законное место среди других дисциплин, изучающих биосоциальную природу человека. Нет ничего более ошибочного при оценке исторической роли Фрейда, как видеть в нем главного апологета секса и первого лидера науки сексологии, с одной стороны, считать эту роль исчерпанной его вкладом в проблематику этой науки — с другой.

Такой образ Фрейда культивировали как его противники, так и многие приверженцы психоанализа как панацеи от всех человеческих бед, коренящихся якобы в темном, иррациональном половом инстинкте, спасти от пагубного влияния которого на социальную жизнь явился новый мессия — Фрейд. В различных гипотезах и представлениях Фрейда потаенным силам сексуальности действительно было придано могущественное влияние на судьбу человека, и для того, чтобы считать Фрейда трубадуром этих сил, он сам дал достаточно оснований. Однако, подобно тому как применительно к поведению своих пациентов Фрейд в их реакциях искал скрытый от их сознания реальный смысл, в суждениях самого Фрейда, его теориях заключалось гораздо больше, чем это им самим осознавалось. И именно эти «зашифрованные» идеи, а не версия о всемогуществе полового влечения стали животворным источником его влияния на науку о человеке.

Чтобы понять смысл его влияния, надо иметь в виду, что в научном творчестве, его результатах следует различать субъективное и объективное. Ряд своих посту-

латов Фрейд оценивал как незыблемые (такие, как Эдипов комплекс, страх кастрации у мальчиков и т. п.). С подобными феноменами он встречался в своей клинической практике. Фрейду представилось, что он здесь имеет дело не с симптомами, наблюдаемыми у отдельных лиц, страдающих психоневротическими расстройствами, а с проявлением глубинных начал человеческой природы. И сколько бы возражений ни выдвигалось против этих догм психоанализа, его создатель оставался поразительно слеп к любой критике. Заметив (и здесь он не был одинок, многие врачи до Фрейда писали об этом) сексуальную этиологию неврозов у своих пациентов, Фрейд отождествил любые скрытые от сознания вожделения человека с сексуальными. Этим он и взбудоражил интеллектуальный мир. Сексуально озабоченный невропат Фрейда стал своего рода моделью поведения человека в любых ситуациях и культурах. Тем самым это поведение получило превратную трактовку. Объективное научное знание превратилось в миф, в который оставалось только верить, «став на колени». Однако, окажись учение Фрейда не более чем сугубо мифологической конструкцией, оно не вошло бы в запас научных представлений, а метод психоанализа не оказался бы одним из самых влиятельных среди множества техник психотерапии. А ведь именно такова историческая реальность. С ней приходится считаться, и ее следует объяснить.

Выше была приведена та оценка вклада Фрейда в создание учения о высшей нервной деятельности, которую дал академик П. Л. Капица. Процитирую мнение другого лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна, писавшего 80-летнему Фрейду: «Я рад, что это поколение имеет счастливую возможность выразить вам, одному из величайших учителей, свое уважение и свою благодарность. До самого последнего времени я мог только чувствовать умозрительную мощь вашего хода мыслей, с его огромным воздействием на мировоззрение нашей эры, но не был в состоянии представить определенное мнение о том, сколько оно содержит истины. Недавно, однако, мне удалось узнать о нескольких случаях, не столь важных самих по себе, но исключающих, по-моему, всякую иную интерпретацию, кроме той, которая дается теорией подавления. То, что я натолкнулся на них, чрезвычайно меня обрадовало: всегда радостно, когда большая и прекрасная концепция оказывается совпадающей с реальностью» (цит. по: *Freud S.* Ausgewählte Schriften. 1 Band. — L., 1969. — С. 12). Уже само по себе то, что ученый, который произвел великий переворот в науке, считает ход фрейдовских мыслей оказавшим «огромное воздействие на мировоззрение нашей эры», требует от нас обратиться к источнику этого воздействия.

Нетрудно понять, что упор на сексуальный фактор (по поводу которого во времена Фрейда уже существовала огромная литература) сам по себе не мог произвести революцию в психологии, радикально изменить систему понятий этой науки. Ведь действие этого фактора легко объяснимо чисто физиологическими причинами — функционированием половых желез, работой центров вегетативной нервной системы и т. п. На почве физиологии стоял первоначально и Фрейд, прежде чем перешел в зыбкую, не имеющую прочных опорных точек область психологии. На отважный шаг в эту темную область его направила, как отмечалось, практика лечения истерии. Но решился он на него не сразу. Даже гипноз, применение которого, казалось бы, не оставляло сомнений в том, что воздействие врача на пациента но-

сит психологический характер, объяснялся многими врачами как чисто физиологическое явление. Именно так думал Шарко, которым восхищался Фрейд. Однако дальнейшие раздумья Фрейда поколебали его убеждения в правильности принятого школой Шарко мнения. Он становится участником споров между французскими врачами по поводу того, считать ли гипноз эффектом внушения, которому подвержены все люди, или же загипнотизировать, как учил Шарко, можно только нервнобольных (истериков). На Фрейда большое впечатление произвело так называемое постгипнотическое внушение. При нем человеку в состоянии гипноза внушалась команда совершить после пробуждения какое-либо действие, например раскрыть зонтик. Проснувшись, он выполнял команду, хотя дождя не было, и поэтому его действие оказывалось бессмысленным. На вопрос же о том, почему он это сделал, человек, не зная истинной причины, подыскивал ответ, который был призван каким-то образом придать его нелепому поведению разумность: «Я хотел проверить, не испорчен ли мой зонтик» и т. п. Подобные факты указывали не только на то, что человек может совершать поступки, мотивы которых он не осознает, но и на его стремление придумать эти мотивы, подыскать рациональные основания своим поступкам. Впоследствии Фрейд назвал подобное оправдание человеком своих действий рационализацией. Все это заставляло задуматься над проблемой неосознаваемых побуждений, которые реально движут людьми, однако в их сознании адекватной проекции не получают. Перед глазами невропатологов выступила весьма странная с точки зрения тогдашних взглядов картина. Люди, воспитанные в духе своего времени, на идеалах точного естествознания, главная формула которого гласила «нет действия без причины», считали, что причиной является расстройство нервной системы. Однако расстройства, с которыми они повседневно имели дело, оказывались необычными. Пациент говорил одно, а двигало им, побуждало действовать совсем другое. Опыты же с гипнозом (вроде внушенной команды открыть после пробуждения зонтик) убедительно свидетельствовали, что человек способен неумышленно придумывать мотивы своего поведения. Какой же был механизм этих странных реакций — физиологический или психологический? Ни физиология, ни психология ответить на этот вопрос не могли. Физиология говорила о рефлексах, нервных функциях, мышечных реакциях и т. п. Но ни одно из ее понятий не могло объяснить причины болезненных состояний. Психология говорила о сознании, способности мыслить, подчинять действие заранее принятой цели и т. д. И с этой — психологической — стороны поиск причин поведения невротика также ничего не давал. А без знания причин оставалось действовать вслепую. Фрейда это не устраивало — не только как врача, желающего действовать рационально, но и как натуралиста, непреклонно верившего в то, что все происходящее в организме включено в «железную» цепь причин и следствий, стоит под необратимыми законами природы. Ведь он был учеником Гельмгольца и Дарвина. От них воспринял идеалы естественнонаучного познания, и прежде всего принцип детерминизма — зависимости явлений от производящих их факторов. Фрейд ощущал бессилие этого принципа перед тем, что требовала клиника неврозов. Его наблюдения за случаями, когда длительное лечение истерии благодаря применению гипноза давало положительный эффект, указывали, что источник страдания скрыт в сфере, неведомой ни физиологии, ни психологии. Практика

требовала отказаться от прежних подходов и продвигаться либо к новой физиологии, либо к новой психологии.

Не сразу молодые невропатологи Брейер и Фрейд произвели выбор. Совместно они подготовили книгу «Исследования истерии». Она вышла в 1895 г. Иногда ее оценивают как первую главу в истории созданного Фрейдом психоанализа. Для этого имеются известные основания, поскольку в указанной книге можно различить намеки на многие представления будущего психоанализа: и о динамике вытесненных из сознания влечений, из-за которых возникают расстройства движений, восприятий и т. п., и об очистительной роли погружения в прошлое с целью восстановить события и обстоятельства, нанесшие душевную травму. Это были достоверные клинические факты, установленные Брейером и Фрейдом. Но из фактов как таковых теория не возникает.

Как уже говорилось, Брейер и Фрейд пришли в клинику после нескольких лет работы в физиологической лаборатории. Оба были естествоиспытателями до мозга костей и, прежде чем занялись медициной, уже приобрели известность своими открытиями в области физиологии нервной системы. Поэтому и в своей медицинской практике они, в отличие от обычных врачей-эмпириков, руководствовались теоретическими идеями передовой физиологии. В то время нервная система рассматривалась как энергетическая машина. Брейер и Фрейд мыслили в терминах нервной энергии. Они предполагали, что ее баланс в организме нарушается при неврозе (истерии), возвращаясь к нормальному уровню благодаря разряду этой энергии, каким является катарсис. Будучи блестящим знатоком строения нервной системы, ее клеток и волокон, которые годами изучал с помощью скальпеля и микроскопа, Фрейд предпринял отважную попытку набросать теоретическую схему процессов, происходящих в нервной системе, когда ее энергия не находит нормального выхода, а разряжается на путях, ведущих к нарушению работы органов зрения, слуха, мышечного аппарата и другим симптомам болезни. Сохранились записи с изложением этой схемы, получившей уже в наше время высокую оценку физиологов. Но Фрейд испытывал крайнюю неудовлетворенность своим проектом (он известен как «Проект научной психологии»). Фрейд вскоре расстался и с ним, и с физиологией, которой отдал годы напряженного труда. Это вовсе не означало, что он с тех пор считал обращение к физиологии бессмысленным. Напротив, Фрейд полагал, что со временем знания о нервной системе шагнут столь далеко, что для его психоаналитических представлений будет найден достойный физиологический эквивалент. Но на современную ему физиологию, как показали его мучительные раздумья над «Проектом научной психологии», рассчитывать не приходилось. Он не предполагал, что через два десятилетия Павлов откроет в лабораторном эксперименте простейший физиологический механизм невротической реакции. Один описанный Фрейдом случай привлек внимание И. П. Павлова и дал импульс к разработке весьма продуктивной главы его учения о высшей нервной деятельности — концепции экспериментальных неврозов. О возникновении этой концепции Павлов рассказал на одной из своих знаменитых «сред»[1]. Цитирую по

[1] Еженедельно по средам он собирал сотрудников своей лаборатории, чтобы обсудить ход текущих опытов, рассмотреть новые планы, поделиться соображениями по общенаучным вопросам.

протоколу: «Иван Петрович сообщает о том, что именно натолкнуло его на мысль производить неврозы сшибками. В одной из своих ранних работ Фрейд описал случай невроза у девушки, которая много лет перед тем должна была ухаживать за больным отцом, обреченным на смерть, которого она очень любила и старалась поэтому казаться веселой, скрывая от него опасность болезни. Психоанализом Фрейд установил, что это легло в основу позже развившегося невроза. Рассматривая это как трудную встречу процессов возбуждения и торможения, Иван Петрович как раз и положил в основу метода вызывания экспериментальных неврозов на собаках это трудное столкновение двух противоположных процессов» (Павловские среды. — М.; Л., 1949. — Т. 1. — С. 112).

Через много лет Фрейд случайно узнал о том, что Павлов, создавая свое учение об экспериментальных неврозах, отталкивался от его пионерской работы. Об этом ему сообщил выдающийся нейрофизиолог Ральф Джерард, который в своей публикации свидетельствует: «Я посетил Павлова незадолго до его кончины, и он сказал мне, что его эксперименты по изучению условнорефлекторно вызываемых неврозов были стимулированы чтением одной работы Фрейда. Через неделю я выехал из Ленинграда в Вену, где сообщил об этом Фрейду. Сердито фыркнув, он воскликнул: "Это могло бы мне чрезвычайно помочь, если бы он сказал это несколькими десятилетиями раньше" (*Worden Fr., Swazey I., Adelman George* (eds.). The Neurosciences: Path of Discovery. — Cambridge and London, 1975. — P. 469). Возможно, что он вспомнил при этом о неудаче, постигшей его в попытках физиологически объяснить невроз. Вместе с тем, оставаясь в пределах этого объяснения, он не смог бы создать принесший ему всемирную славу психоанализ. В понятиях, которыми оперировал Павлов, отражалась динамика нервных физиологических процессов — возбуждения и торможения. Они образуют ту канву, без которой не мог бы возникнуть психологический «узор». Но сам этот «узор» жизнь создает по особым законам. Поиском этих законов занята психология. В течение многих столетий она считалась служанкой философии. Однако в середине прошлого века картина изменилась. Психология обрела самостоятельность, прочно заняв собственное место среди других наук.

В ту пору, когда к ней обратился Фрейд, психология считалась наукой о сознании. Под ним понималось прямое знание субъекта о том, что происходит в его собственной душе. Именно это знание принималось за незыблемый краеугольный камень психологии. Фрейд, опираясь на свой клинический опыт, его подорвал. Ведь его больные страдали именно от того, что не знали о своих влечениях, о том, что некогда вызвало душевную боль. Лишь подавив контроль сознания (в частности, применив гипноз), удавалось найти следы некогда травмировавших личность событий. В смелом вторжении в дебри бессознательной психики и заключался пионерский шаг Фрейда.

Попытка вывести психику из работы «нервной машины» Фрейду не удалась. Но и добытые в ту эпоху психологические представления были бессильны пролить свет на патологическое поведение людей, лечением которых был повседневно занят Фрейд, ибо эти представления охватывали лишь то, что подвластно сознанию. Фрейд открыл третью альтернативу. Ключ к тайнам душевной жизни он стал искать не в физиологии и не в психологии сознания, а в психологии бессознательно-

го. Мы увидим, что, вступив в эту область, он сделал немало ошибочных шагов, предложил немало решений, не выдержавших испытания научными средствами. Но эти заблуждения не должны дать повод пренебречь его новаторскими исканиями.

Работа в клинике требовала применения методических средств, позволяющих проникнуть в скрытые от сознания психические пласты. На первых порах главным и единственным орудием, как мы знаем, был гипноз. Фрейд не владел им столь мастерски, как Брейер. Неудовлетворенность гипнозом побудила его искать другие средства.

На одно из них Фрейда натолкнул феномен, приобретший в дальнейшем в психоанализе особое значение под именем «трансфера» (перенесения). Общение врача с пациентом приобретало особую эмоциональную окраску, когда этот пациент переносил свои неизжитые бессознательные желания, сохранявшиеся с детских лет, на личность самого врача. Фрейд установил этот факт, наблюдая за одной из пациенток доктора Брейера, которая стала выражать по отношению к последнему чувства страха, любви и другие, некогда испытываемые по отношению к родителям. Брейера это привело в смятение, и он отказался от дальнейшей терапии. Фрейд же, подвергнув это явление изучению, увидел в нем способ разъяснить больному истинные причины его невроза. Установив перенос бессознательных детских влечений с тех лиц, которые некогда их вызывали, на терапевта, последний мог обнажить смысл этих переживаний, довести их до сознания больного, помочь тем самым их изжить, освободиться от них (благодаря тому, что стал понимать, что же его мучает).

Трансфер, вслед за гипнозом, выступил как еще один способ проникновения в область подавленных, вытесненных влечений. Но главным терапевтическим средством, изобретенным Фрейдом и ставшим на многие годы «основой основ» его психоанализа, стали так называемые свободные ассоциации. Понятие «ассоциации» — одно из древнейших в психологии. Его можно встретить (как и понятие о катарсисе) у Платона и Аристотеля. Подобно тому как ствол дерева, развиваясь, обрастает новыми кольцами, эти понятия, передавая от эпохи к эпохе мудрость веков, обогащались новым содержанием. Закон образования ассоциаций веками считался главным законом психологии. Он гласил, что если какие-либо объекты воспринимаются одновременно или в непосредственной близости, то впоследствии появление одного из них влечет за собой осознание другого. Так, взглянув на какую-либо вещь, человек вспоминает ее отсутствующего владельца, поскольку прежде эти два объекта воспринимались одновременно, в силу чего между их следами в мозгу упрочилась связь-ассоциация. Различным видам ассоциаций было посвящено множество психологических трактатов. Когда психология превратилась в науку, ассоциации стали изучать экспериментально, чтобы определить законы памяти, воображения и других умственных процессов. Выяснялось, с какими представлениями ассоциируются у испытуемых различные слова, сколько раз нужно повторить список слов, чтобы между ними возникли связи, позволяющие его целиком либо частично запомнить и т. п. Во всех случаях ставилась задача изучить работу сознания. Фрейд же использовал материал ассоциаций в других целях. Он искал в этом материале путь в область неосознаваемых побуждений, намеки на то, что происходит в «кипящем котле» аффектов, влечений. Для этого, пола-

гал он, ассоциации следует вывести из-под контроля сознания. Они должны стать свободными. Так родилась главная процедура психоанализа, его основной технический прием. Пациенту предлагалось, находясь в расслабленном состоянии (обычно лежа на кушетке), непринужденно говорить обо всем, что ему приходит в голову, «выплескивать» свои ассоциации, какими бы странными возникающие мысли ни казались. В тех случаях, когда пациент испытывал замешательство, начинав запинаться, повторял несколько раз одно и то же слово, жаловался на то, что не в состоянии припомнить что-либо, Фрейд останавливал на этих реакциях свое внимание, предполагая, что в данном случае его больной, сам того не подозревая, сопротивляется некоторым своим тайным мыслям, притом сопротивляется не умышленно, как бывает в тех случаях, когда человек стремится намеренно что-либо утаить, а неосознанно. Для этого, конечно, должны быть какие-то причины особой, «тормозящей» активности психики. Еще раз подчеркнем, что такая особая, обладающая большой энергией сопротивляемость, открытая Фрейдом в его медицинском опыте, в кропотливом анализе реакций его пациентов, явилась принципиально важным новым словом в понимании устройства человеческой психики. Выявилась удивительная сложность этого устройства, присутствие в его работе особого внутреннего «цензора», о котором самому человеку не известно. И тем не менее этот незримый, неосознаваемый самим субъектом цензор бдительно следит за тем, что происходит в сознании, пропуская в него или не пропуская различные мысли и представления. Необычность такого подхода, утвердившегося в психологической науке после Фрейда, очевидна. Вера в то, что поведение человека находится под надежным контролем сознания, веками считалась неоспоримой. «Находиться под контролем сознания» значило не что иное, как отдавать себе ясный отчет о своих желаниях, побуждениях, стимулах к действию. Осознание целей, наличие придуманного плана, который регулирует действия, направленные на достижение этой цели, действительно является той решающей особенностью человеческих поступков, которая отличает их от действий остальных живых существ. Из этого, однако, не следует прямолинейный взгляд на человеческую личность как свободную от противоречий между желаемым и должным, между порой несовместимыми влечениями к объектам, имеющим различную привлекательность, и т. п. Обыденная человеческая жизнь полна конфликтов различной степени напряженности, достигающей порой истинного драматизма. Наше сознание — не простой созерцатель этой драмы, безучастный к ее исходу. Оно ее активное «действующее» лицо, которое вынуждено выбирать и накладывать вето, защищать от влечений и мыслей, способных (как, например, при тяжелом заболевании или душевном конфликте) сделать жизнь несносной и даже погубить личность. Именно личность как особую психическую целостность, даже при сохранении ее физического существования. Это дает право прийти к важному для понимания учения Фрейда заключению.

Как уже сказано, его учение прославилось прежде всего тем, что проникло в тайники бессознательного, или, как иногда говорил Фрейд, «преисподнюю» психики. Однако если ограничиться этой оценкой, то можно упустить из виду другой важный аспект: открытие Фрейдом сложных, конфликтных отношений между сознанием и неосознаваемыми психическими процессами, бурлящими за поверхностью сознания, по которой скользит при самонаблюдении взор субъекта.

Сам человек, полагал Фрейд, не имеет перед собой прозрачной, ясной картины сложного устройства собственного внутреннего мира со всеми его подводными течениями, бурями, взрывами. И здесь на помощь призван прийти психоанализ с его методом «свободных ассоциаций». Этот метод позволяет субъекту при помощи психотерапевта осознать свои влечения, хотя и подавленные, но продолжающие «взрывать» поведение, влиять на его ход. На понятии о влечении (потребности, мотиве, побуждении) как моторе и «горючем» всех действий, мыслей, переживаний человека и сосредоточилась напряженная творческая работа Фрейда на протяжении десятилетий. Напомним еще раз, что он прошел естественнонаучную школу, что он воспитывался на трудах великого Гельмгольца, открывшего закон сохранения и превращения энергии, и великого Дарвина, открывшего закон эволюции животного царства. Напомним также, что его пионерский шаг заключался в переходе из области физики и биологии в область психологии. Перейдя к изучению человеческой души, он опирался на созданное науками о природе. Он использовал и понятие об энергии, сложившееся в недрах физики, и понятие об инстинкте, разработанное Дарвином. Однако оба понятия были им радикально преобразованы. Этого требовал тот новый мир явлений, в изучение которого он теперь погрузился. Фрейд придает термину «энергия» значение психологического «заряда», служащего источником влечения. Этот «заряд» изначально заложен в организме и в этом смысле подобен инстинкту. Следуя биологическому стилю мышления, Фрейд выделял два инстинкта, движущие поведением, — инстинкт самосохранения, без которого живая система рухнула бы, и сексуальный инстинкт, обеспечивающий сохранение не индивида, а всего вида. Именно этот второй инстинкт был возведен Фрейдом в его теперь уже не биологической, а психологической теории на царственное место и окрашен именем либидо, ставшим своего рода паролем всего психоанализа. Бессознательное трактовалось как сфера, насыщенная энергией либидо, слепого инстинкта, не знающего ничего, кроме принципа удовольствия, которое человек испытывает, когда эта энергия разряжается. Поскольку же сознание, в силу запретов, налагаемых обществом, готово препятствовать этому, энергия либидо ищет обходные пути, прорываясь в умственных и телесных реакциях — порой безобидных, а порой патологических, приобретающих характер психоневроза, в частности истерии. Подавленное, вытесненное сексуальное влечение и расшифровывалось Фрейдом по свободным от контроля сознания ассоциациям его пациентов. Такую расшифровку он и назвал психоанализом. При этом из свободных ассоциаций невротиков Фрейд извлек материал, истолкованный в том смысле, что они в детстве были совращены взрослыми. Затем он пришел к выводу, что реального совращения не было и речь должна идти о детских фантазиях на сексуальные темы. Тем не менее по-прежнему осью, вокруг которой вращался изобретенный им психоанализ, оставался принцип редукции (сведения) всего реального драматизма отношений между сознанием и бессознательной психикой к сексуальному влечению — его энергии и динамике. Именно этот принцип придал всем построениям Фрейда специфическую окраску, породив и ныне не утихающие споры о правоте и степени научности этих построений. Эти споры обострились, когда Фрейд присоединил к общей идее о всемогуществе сексуальности новые, еще более сомнительные темы, где эта идея конкретизировалась в ряде мифов, о которых речь пойдет дальше.

Открыв роль глубинных, неосознаваемых мотивов в регуляции человеческого поведения, утвердив тем самым новую ориентацию в психотерапии неврозов, Фрейд представил свое открытие ученому миру в категориях и схемах, легко уязвимых для критики, которая вместе с плевелами повыбрасывала и зерна, проросшие впоследствии в ряд продуктивных гипотез и представлений. Но твердая убежденность Фрейда (до 20-х годов) в том, что главным объяснительным принципом всех побуждений, страстей и бед человеческих следует считать либидо, восстановила против него подавляющее большинство тех, с кем он вел исследования бессознательной психики, начиная от Брейера, решительно рассорившегося со своим вчерашним соавтором. Порвав с Брейером, Фрейд, наряду с тремя испытанными им методами лечения истерии (гипнозом, анализом трансфера и свободных ассоциаций), решил испытать психоанализ с целью выявить причины собственных душевных конфликтов и невротических состояний. Конечно, ни один из прежних методов для этого не был пригоден. И тогда он обратился к изучению собственных сновидений, результаты которого изложил в уже упоминавшейся книге «Толкование сновидений» (1900 г.). Ее он неизменно считал своим главным трудом, хотя того пансексуализма, с которым обычно связывается имя Фрейда, в ней нет.

Впрочем, уже до этого труда Фрейд напал на мысль о том, что «сценарий» сновидений при его кажущейся нелепости — не что иное, как код потаенных желаний, которые удовлетворяются в образах-символах этой формы ночной жизни. Это предположение настолько поразило Фрейда, что он запомнил, при каких обстоятельствах оно пришло ему на ум. Это было в четверг вечером 24 июля 1895 г. в северо-восточном углу террасы одного из венских ресторанов. По этому поводу Фрейд иронически заметил, что на этом месте следовало бы прибить табличку: «Здесь доктором Фрейдом была открыта тайна сновидений». Естественно поэтому, что и собственные сны Фрейд рассматривал после пробуждения, исходя из сложившейся уже у него гипотезы о символике образов. В книге описывались приемы построения этих образов: их сгущение в некий причудливый комплекс, замена целого частью, олицетворение и т. п. При этом полагалось, что существуют символы (полета, падения, видения воды, острых предметов, выпавшего зуба и т. п.), имеющие универсальный смысл для всех людей. Проверка данного положения независимыми авторами не подтвердила этот вывод.

Фрейд объяснял образы сновидений как разряды аффектов. По его мнению, говоря словами одного советского психолога, «сновидение, подобно луне, светит отраженным светом». Источник энергии скрыт в бессознательном, в аффектах страха, влечениях и других переживаниях, вытесненных из дневной жизни. Они говорят о себе на особом символическом языке, словарь и способ построения которого Фрейд попытался восстановить. Он предполагал, что сновидения относятся к тому же разряду явлений, с которыми приходится иметь дело врачу, лечащему симптомы истерии. Поскольку образы сновидений посещают здоровых людей, то обращение к механизму порождения этих образов (тщательно разобранному Фрейдом) представилось «царством бессознательного», как древний, архаический слой психической жизни, скрытый за сеткой сознания современного индивида.

Идея о том, что на наше повседневное поведение влияют неосознаваемые мотивы, была блестяще продемонстрирована Фрейдом в книге «Психопатология

обыденной жизни» (1901 г.). Различные ошибочные действия, забывание имен, оговорки, описки обычно принято считать случайными, объяснять их слабостью памяти. По Фрейду же в них прорываются скрытые мотивы. Если, например, открывая заседание, председатель объявляет его закрытым, то это не простая оговорка, а выражение его нежелания обсуждать на этом заседании неприятный для него вопрос. Заменяя в беседе слово «организм» на слово «оргазм», субъект выражает потаенную мысль. Подобные примеры читатель найдет в работе Фрейда, согласно которой ничего случайного в психических реакциях человека нет. Все причинно обусловлено. Причины и здесь, подобно тому как об этом говорят свободные ассоциации и сновидения, скрыты от сознания субъекта. Их следует искать в исходящих из глубин его психики напряженных импульсах, влечениях, позывах, которые получают выражение в явлениях, имеющих при видимой бессмысленности личностный смысл симптома или символа.

В другой работе — «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905 г.) шутки или каламбуры интерпретируются Фрейдом как разрядка напряжения, созданного теми ограничениями, которые накладывают на сознание индивида различные социальные нормы. Конечно, среди этих норм имеются обусловленные исторически складывающимися типами семейно-брачных отношений, характером сексуальных связей или запретов. Реальны и конфликтные ситуации, создаваемые столкновением интересов индивида и общества, своеобразием принятых в этом обществе моральных санкций. Поэтому среди вытесненных влечений могут оказаться также и имеющие сексуальную направленность. Но это вовсе не означает, что они монопольно царят над всеми движущими поведением человека потребностями, как это со все большей настойчивостью утверждал Фрейд.

Именно этот подход он отстаивал в «Трех очерках по теории сексуальности» (1905 г.), где весь анализ психоневрозов вращался вокруг подавленного сексуального влечения как главной причины страхов, неврастении и других болезненных состояний. Здесь же предлагалась схема психосексуального развития личности — от младенческого возраста до стадии, на которой возникает естественное половое влечение к лицу противоположного пола. Одной из излюбленных версий Фрейда становится Эдипов комплекс как извечная формула отношений мальчика к родителям. В греческом мифе о царе Эдипе, убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ к тяготеющему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: мальчик испытывает влечение к матери, воспринимая отца (с коим он себя идентифицирует) как соперника, который вызывает и ненависть, и страх. Под этот древнегреческий миф Фрейд стремился подвести как можно большее количество клинических случаев и фактов истории культуры.

Продолжая практику психотерапевта, Фрейд обратился от индивидуального поведения к социальному. В памятниках культуры (мифах, обычаях, искусстве, литературе и т. д.) он искал выражение все тех же комплексов, все тех же сексуальных инстинктов и извращенных способов их удовлетворения. Следуя тенденциям биологизации человеческой психики, Фрейд распространил на объяснение ее развития так называемый биогенетический закон. Согласно этому закону, индивидуальное развитие организма (онтогенез) в краткой и сжатой форме повторяет основные стадии развития всего вида (филогенез). Применительно к ребенку это озна-

чало, что, переходя от одного возраста к другому, он следует за теми основными этапами, которые прошел человеческий род в своей истории. Руководствуясь этой версией, Фрейд утверждал, что ядро бессознательной психики современного ребенка образовано из древнего наследия человечества. В фантазиях ребенка и его влечениях воспроизводятся необузданные инстинкты наших диких предков. Никакими объективными данными, говорящими в пользу этой схемы, Фрейд не располагал. Она носила чисто умозрительный, спекулятивный характер. Современная детская психология, располагая огромным экспериментально проверенным материалом об эволюции поведения ребенка, полностью отвергает эту схему. Против нее однозначно говорит и тщательно проведенное сравнение культур многих народов. Оно не обнаружило тех комплексов, которые, согласно Фрейду, как проклятие висят над всем человеческим родом и обрекают на невроз каждого смертного. Фрейд надеялся, что, черпая сведения о сексуальных комплексах не в реакциях своих пациентов, а в памятниках культуры, он придаст своим схемам универсальность и вящую убедительность. В действительности же его экскурсы в область истории лишь укрепили в научных кругах недоверие к притязаниям психоанализа. Его обращение к данным, касающимся психики «первобытных людей», «дикарей» (Фрейд опирался на литературу по антропологии), ставило целью доказать сходство между их мышлением и поведением и симптомами неврозов. Об этом говорилось в его работе «Тотем и табу» (1913 г.).

С тех пор Фрейд стал на путь приложения понятий своего психоанализа к коренным вопросам религии, морали, истории общества. Это был путь, оказавшийся тупиковым. Не от сексуальных комплексов, не от либидо и его превращений зависят социальные отношения людей, а именно характер и строй этих отношений определяют в конечном счете психическую жизнь личности, в том числе и мотивы ее поведения.

Не эти культурно-исторические изыскания Фрейда, а его идеи, касающиеся роли неосознаваемых влечений как при неврозах, так и в обыденной жизни, его ориентация на глубинную психотерапию стали центром объединения вокруг Фрейда большого сообщества врачей, психиатров, психотерапевтов. Прошло то время, когда его книги не вызывали никакого интереса. Так, потребовалось 8 лет, чтобы была раскуплена книга «Толкование сновидений», отпечатанная тиражом в 600 экземпляров. В наши дни на Западе столько же экземпляров продается ежемесячно. К Фрейду приходит международная слава. В 1909 г. он приглашен в США, его лекции прослушали многие ученые, в том числе патриарх американской психологии Вильям Джемс. Обняв Фрейда, он сказал: «За вами будущее».

В 1910 г. в Нюрнберге собрался Первый Международный конгресс по психоанализу. Правда, вскоре среди этого сообщества, которое объявило психоанализ особой наукой, отличной от психологии, начались распри, приведшие к его распаду. Многие вчерашние ближайшие сподвижники Фрейда порвали с ним и создали собственные школы и направления. Среди них были такие, в частности, ставшие крупными психологами исследователи, как Альфред Адлер и Карл Юнг. Большинство рассталось с Фрейдом из-за его приверженности принципу всемогущества сексуального инстинкта. Против этого догмата говорили как факты психотерапии, так и их теоретическое осмысление.

Вскоре и самому Фрейду пришлось вносить коррективы в свою схему. К этому вынудила жизнь. Грянула Первая мировая война. Среди военных врачей имелись и знакомые с методами психоанализа. Пациенты, которые теперь у них появились, страдали от неврозов, сопряженных не с сексуальными переживаниями, а с травмировавшими их испытаниями военного времени. С этими пациентами сталкивается и Фрейд. Его прежняя концепция сновидений невротика, возникшая под впечатлением лечения венских буржуа в конце XIX века, оказалась непригодной, чтобы истолковать психические травмы, возникшие в боевых условиях у вчерашних солдат и офицеров. Фиксация новых пациентов Фрейда на этих травмах, вызванных встречей со смертью, дала ему повод выдвинуть версию об особом влечении, столь же могучем, как сексуальное, и потому провоцирующем болезненную фиксацию на событиях, сопряженных со страхом, вызывающих тревогу и т. п. Этот особый инстинкт, лежащий наряду с сексуальным в фундаменте любых форм поведения, Фрейд обозначил древнегреческим термином «Танатос», как антипод Эросу — силе, обозначающей, согласно философии Платона, любовь в широком смысле слова, стало быть, не только половую любовь[1]. Под именем Танатоса имелось в виду особое тяготение к смерти, к уничтожению либо других, либо себя. Тем самым агрессивность возводилась в ранг извечного, заложенного в самой природе человека биологического побуждения. Представление об исконной агрессивности человека еще раз обнажило антиисторизм концепции Фрейда, пронизанной неверием в возможность устранить причины, порождающие насилие. Вместе с тем, как отмечал Л. С. Выготский (см. его предисловие к работе Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия»), проблема смерти и сопряженных с ней испытаний требует как философского, так и естественнонаучного осмысления.

Наряду с социальными обстоятельствами (военные неврозы) у Фрейда имелись и личные мотивы обращения к этой проблеме. В начале 20-х годов на него обрушилась тяжелая болезнь, вызванная тем, что он был злостным курильщиком сигар. Терпеливо перенося одну мучительную операцию за другой, он продолжал напряженно работать. В 1915–1917 гг. он выступил в Венском университете с большим курсом, опубликованным под названием «Вводные лекции в психоанализ». Курс требовал дополнений, их он опубликовал в виде 8 лекций в 1933 г. В этот же последний период творчества Фрейда увидели свет его работы, запечатлевшие изменения, которые претерпели его взгляды на структуру человеческой личности: «Психология масс и анализ *Я*» (1921), «*Я* и *Оно*» (1923)[2]. Организация психической жизни выступала теперь в виде модели, имеющей своими компонентами различные психические инстанции, обозначенные терминами: *Оно* (ид), *Я* (эго) и сверх-*Я* (супер-эго).

Под *Оно* (ид) понималась наиболее примитивная инстанция, которая охватывает все прирожденное, генетически первичное, подчиненное принципу удоволь-

---

[1] Тем самым значение либидо расширялось до любовного влечения к окружающим людям и любым предметам, а также духовным ценностям.

[2] Фрейд продолжал также публиковать сочинения по проблемам религии: «Будущее одной иллюзии» (1927), «Моисей и монотеизм» (1939). Остался незаконченным его «Очерк психологии», вышедший из печати в 1940 г.

ствия и ничего не знающее ни о реальности, ни об обществе. Она изначально иррациональна и аморальна. Ее требованиям должна удовлетворять инстанция *Я* (эго).

Эго следует принципу реальности, вырабатывая ряд механизмов, позволяющих адаптироваться к среде, справляться с ее требованиями. Эго — посредник между стимулами, идущими как из этой среды, так и из глубин организма, с одной стороны, и ответными двигательными реакциями — с другой. К функциям эго относится самосохранение организма, запечатление опыта внешних воздействий в памяти, избегание угрожающих влияний, контроль над требованиями инстинктов (исходящих от ид).

Особое значение придавалось сверх-*Я* (супер-эго), которое служит источником моральных и религиозных чувств, контролирующим и наказующим агентом. Если ид предопределен генетически, а *Я* — продукт индивидуального опыта, то суперэго — продукт влияний, исходящих от других людей. Оно возникает в раннем детстве (связано, согласно Фрейду, с комплексом Эдипа) и остается практически неизменным в последующие годы. Сверх-*Я* (супер-эго) образуется благодаря механизму идентификации ребенка с отцом, который служит для него моделью. Если *Я* (эго) примет решение или совершит действие в угоду *Оно* (ид), но в противовес сверх-Я (супер-эго), то *Оно* испытывает наказание в виде укоров совести, чувства вины. Поскольку сверх-*Я* черпает энергию от ид, постольку сверх-*Я* часто действует жестоко, даже садистски.

На новом этапе эволюции психоанализа Фрейд объяснял чувство вины у неврастеников влиянием сверх-*Я*. С помощью такого подхода объяснялся феномен тревожности, занимавший теперь большое место в психоанализе. Различались три вида тревожности: вызванная реальностью, обусловленная давлением со стороны бессознательного *Оно* (ид) и со стороны сверх-*Я* (супер-эго). Соответственно задача психоанализа усматривалась в том, чтобы освободить *Я* (эго) от различных форм давления на него и увеличить его силу (отсюда понятие о «силе *Я*»). От напряжений, испытываемых под давлением различных сил, *Я* (эго) спасается с помощью специальных «защитных механизмов» — вытеснения, рационализации, регрессии, сублимации и др. Вытеснение означает непроизвольное устранение из сознания чувств, мыслей и стремлений к действию. Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать поведение, оказывают на него давление, переживаются в виде чувства тревожности и т. д. Регрессия — соскальзывание на более примитивный уровень поведения или мышления. Сублимация — один из механизмов, посредством которого запретная сексуальная энергия, перемещаясь на несексуальные объекты, разряжается в виде деятельности, приемлемой для индивида и общества. Разновидностью сублимации является творчество.

Трехкомпонентная модель личности позволяла разграничить понятие о *Я* и о сознании, истолковать *Я* как самобытную психическую реальность и тем самым как фактор, играющий собственную роль в организации поведения. Правда, вводя этот фактор и ориентируясь на него как на главную опору в психотерапевтической процедуре избавления субъекта от невроза, Фрейд не отступал от своего давнего сравнения отношения *Я* к *Оно* с отношением всадника к своей лошади. Наездник определяет цель и направление движения, но энергия последнему придается лошадью, т. е. исходит из того же самого котла влечений и аффектов, который заложен в орга-

низме как биологической системе. Принцип антагонизма биологического и социального (сведенного к воображаемому типу связей между людьми различного пола, возникшему в праисторические времена и перешедшему через поколения в структуру современной семьи) препятствовал пониманию того, что, говоря словами А. А. Ухтомского, «природа наша делаема и возделываема». Предвзятое положение о том, что мотивационные ресурсы личности начисто исчерпываются энергией нескольких квазибиологических влечений, которые *Я* как ядро личности вынуждено подчинять тирании навязанного ему с детства квазисоциального сверх-*Я*, лишило Фрейда возможности объяснить динамику развития *Я*, пути наращивания его собственных сил, его преобразований в континууме жизненных встреч с социальным миром. Проведя демаркационную линию между *Я* и сознанием, показав, что *Я* как психическая (а не гносеологическая) реальность — это особая подсистема в системе личности, решающая свои задачи благодаря тому, что оперирует собственными психологическими (а не физиологическими) «снарядами», указав на драматизм ее отношений с другими подсистемами личности, Фрейд столкнул психологию с областью, которая хотя и имеет жизненно важное значение для бытия человека в мире, однако оставалась для науки неизведанной.

В своих завершающих «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд сосредоточился на проблеме отношения психоанализа к религии, науке и, наконец, к мировоззрению, понятому как обобщающая интеллектуальная конструкция, исходя из единообразных принципов которой решаются основные проблемы бытия и познания. Он утверждал, что психоанализ в качестве специальной науки не способен образовать особое мировоззрение, что он заимствует свои мировоззренческие принципы у науки. Между тем в действительности как ряд общих положений самого Фрейда, так и многие концепции его учеников имели определенную мировоззренческую направленность, что отчетливо выражено как в их притязаниях на решение общих проблем, касающихся поведения человека, его отношения к природе и социальной среде, так и в объяснении генезиса и закономерностей развития культуры.

Считая свои теоретические построения строго научными, Фрейд подверг острой критике религиозное мировоззрение, а также субъективно-идеалистическую философию. Будучи бескомпромиссным атеистом, считая религию несовместимой с опытом и разумом, Фрейд считал ее формой массового невроза, имеющего в основе психосексуальные отношения и отражающего желания и потребности детства. Тем самым он оставлял без внимания общественно-исторические истоки и функции религии, своеобразную представленность в религиозном сознании ценностных ориентаций, порожденных жизнью людей в реальном, земном мире, иррациональное переживание этими людьми своей зависимости от природных и социальных сил. Вместе с тем психоанализ дал импульс изучению сопряженных с религией личностных смыслов и переживаний, разработке проблем психологии религии. Решительно отграничивая религиозное мировоззрение от научного, Фрейд с полным основанием усматривает своеобразие научного мышления в том, что оно представляет собой особого рода деятельность, которая в неустанном поиске адекватной реальности истины дает подлинную, а не иллюзорную картину этой реальности.

Наконец, наряду с религиозным и научным мировоззрением Фрейд выделяет еще одну его форму — философию. Он подвергает острой критике приобретшую

на Западе доминирующее влияние субъективно-идеалистическую философию, исповедующую интеллектуальный анархизм. Игнорируя принцип согласованности знания с внешним миром, это направление, согласно Фрейду, несмотря на попытки найти поддержку в новейших достижениях естественных наук (в частности, теории относительности), обнажает свою несостоятельность при первом же соприкосновении с практикой. Затем Фрейд обращается к другому философскому направлению — марксизму, сразу же отмечая, что «живейшим образом сожалеет о своей недостаточной ориентированности в нем». Заслуживает внимания признание Фрейдом того, что исследования Маркса завоевали неоспоримый авторитет. Фрейд не касается вопроса о влиянии марксистских идей на психоаналитическое направление, связанное с его именем. Между тем именно в ту эпоху ряд приверженцев его концепции (в том числе и некоторые практикующие психоаналитики) обратились к марксистскому учению о влиянии социальных условий на формирование личности с целью преодолеть версию классического психоанализа о предопределенности поведения человека древними инстинктами. Возник неофрейдизм, опиравшийся в критике Фрейда на представления, отразившие влияние Маркса. Фрейд неоднократно оговаривается, что его мнение по поводу марксистской философии носит дилетантский характер. И это верно. Именно это обстоятельство побудило Фрейда свести марксизм к доктрине, ставящей все проявления человеческой жизни в фатальную зависимость от экономических форм. Соответственно свое рассмотрение этого учения Фрейд, по существу, ограничивает указанным тезисом. С одной стороны, Фрейду приходится признать, что события в сфере экономики, техники, производства действительно изменяют ход человеческой истории, что сила марксизма в «проницательном доказательстве неизбежного влияния, которое оказывают экономические отношения людей на их интеллектуальные, этические и эстетические установки». С другой стороны, Фрейд возражает против того, чтобы считать «экономические мотивы» единственными детерминантами поведения. Но марксизм, как известно (вопреки тому, каким представлял его Фрейд), объясняя своеобразие и многообразие духовной жизни личности, никогда не относил всю сложность мотивационной сферы людей за счет диктата экономики. Полагая, будто, согласно марксизму, этим диктатом аннигилируется роль психологических факторов, Фрейд неадекватно оценивал историко-материалистическое воззрение на активность сознания как фактора, не только отражающего, но и преобразующего в качестве регулятора практических действий социальный мир. Именно принцип историзма позволяет понять истинную природу человеческих потребностей, влечений, мотивов, которые, вопреки Фрейду, преобразуются в процессе созидания материальных и духовных ценностей, а не изначально предопределены биологической конституцией организма. Отрицание социокультурных законов, которым подчинено поведение людей, неизбежно привело Фрейда к психологическому редукционизму, к сведению движущих пружин человеческого бытия к «инстинктивной предрасположенности» в виде психоэнергетики и психодинамики. Видя преимущество марксизма в том, что он «безжалостно покончил со всеми идеалистическими системами и иллюзиями», Фрейд в то же время инкриминирует марксизму создание новых иллюзий, прежде всего стремление вселить веру в то, что за короткий срок удастся изменить человеческую сущность и создать об-

щество всеобщего благоденствия. Между тем марксистская теория общественно-исторического развития, открыв общие законы этого развития, никогда не предрекала ни сроки перехода от одной стадии к другой, ни конкретные формы реализации этих законов. Если марксистская теория обращалась к развитию общества как целостной системы, изменяющейся по присущим ей законам, то Фрейд, как это явствует из его критических замечаний, принимал за основу самодвижения социальной системы изъятый из этой целостности компонент, а именно — влечения человека. Поэтому и изменившая облик мира социальная революция в России трактуется Фрейдом не в контексте всемирно-исторического развития человечества, а как эффект перенесения «агрессивных наклонностей бедных людей на богатых».

Неверно и мнение Фрейда, будто смысл большевистской революции в обещании создать такое общество, где «не будет ни одной неудовлетворенной потребности». За этим мнением Фрейда скрыта его трактовка потребностей как нескольких изначально заложенных в биологическом устройстве человека величин, тогда как марксизм исходит из положения, согласно которому сами потребности являются продуктом истории, изменяясь и обогащаясь с прогрессом культуры. Признавая критический дух марксизма и то, что для него опорой послужили принципы строгого научного знания, Фрейд в то же время усматривал в русском большевизме зловещее подобие того, против чего марксизм борется, а именно — «запрет на мышление», поскольку «критические исследования марксистской теории запрещены». Известно, с какой настойчивостью с первых же послереволюционных лет В. И. Ленин учил молодых марксистов мыслить самостоятельно, критически и всесторонне оценивать реальные социальные процессы, решительно перечеркивать свои прежние представления, когда они оказываются неадекватными новым запросам времени. Догматизм и «запрет на мышление» стали насаждаться во времена сталинщины, за которую исполненная критического духа философия Маркса ответственность не несет. Ленинский подход, реализующий принципы этой философии, утверждается ныне в советском обществе, где доминирующим становится новое мышление, которое не только не запрещает, но, напротив, требует самостоятельного, критического осмысления действительности, творческих инициатив, решительной борьбы с попытками читать произведения Маркса подобно тому, как верующие мусульмане — Коран. Размышляя о будущем человечества, Фрейд сопоставлял ситуацию в капиталистических странах («цивилизованных нациях») с «грандиозным экспериментом в России». Что касается первых, то они, писал Фрейд, ждут спасения в сохранении христианской религиозности. Но ведь религия, с его точки зрения, лишь иллюзия, невроз, «который каждый культурный человек должен был преодолеть на своем пути от детства к зрелости».

Что же касается «русского эксперимента», то он — по Фрейду — «выглядит все же предвестником лучшего будущего». Отступая от своей веры в неизменность человеческой природы, Фрейд завершал свою последнюю лекцию о психоанализе выражением надежды на то, что с увеличением власти человека над природой «новый общественный строй не только покончит с материальной нуждой масс, но и услышит культурные притязания отдельного человека». Сочетание справедливых социальных порядков с прогрессом науки и техники — таково условие расцвета

личности, реализации ее притязаний как самого ценного и высшего творения культуры.

Тем временем социально-психологическая ситуация в Европе становилась все более тревожной. В 1933 г. в Германии к власти пришел фашизм. Среди сожженных идеологами «нового порядка» книг оказались и книги Фрейда. Узнав об этом, Фрейд воскликнул: «Какого прогресса мы достигли! В средние века они сожгли бы меня, в наши дни они удовлетворились тем, что сожгли мои книги». Он не подозревал, что пройдет несколько лет и в печах Освенцима и Майданека погибнут миллионы евреев и других жертв нацизма, и среди них — четыре сестры Фрейда. Его самого, всемирно известного ученого, ждала бы после захвата Австрии нацистами та же участь, если бы при посредничестве американского посла во Франции не удалось добиться разрешения на его эмиграцию в Англию. Перед отъездом он должен был дать расписку в том, что гестапо обращалось с ним вежливо и заботливо и что у него нет оснований жаловаться. Ставя свою подпись, Фрейд спросил: нельзя ли к этому добавить, что он может каждому сердечно рекомендовать гестапо? В Англии Фрейда встретили восторженно, но дни его были сочтены. Он мучился от болей, и по его просьбе его лечащий врач сделал два укола, положившие конец страданиям. Это произошло в Лондоне 21 сентября 1939 г.

В заключение отметим, что сознание являлось в конечном счете главным рычагом терапии, главной опорой доктора Фрейда, имя которого в истории культуры навсегда поглотило понятие о бессознательном. Рациональный анализ иррациональных побуждений и, тем самым, избавление от них — таково было его кредо. Но разве возможен иной рациональный анализ, кроме осознанного? И не случайно в одной из своих завершающих публикаций Фрейд признал, что прежде, из-за ненадежности критерия сознательности он недооценивал его. «Здесь, — отмечал он, — дело обстоит так же, как с нашей жизнью, — она немногого стоит, но это все, что у нас есть. Без света этого качества сознательности мы бы затерялись в потемках глубинной психологии». Ему долго пришлось блуждать в этих потемках, прежде чем поставить знак равенства между ценностью сознания и ценностью нашей жизни.

Наука о человеке призвана рассказать ему больше, чем он сам о себе знает. Сперва она раскрыла механизмы его восприятия окружающего мира, работы его сознания. Ее следующим шагом было проникновение в глубины неосознаваемой душевной жизни. Фрейд первым отважился на этот шаг, и в этом историческое значение его психоанализа. Мы видели, сколь извилисты были его пути, со всеми его прозрениями и просчетами. Десятилетия погружаясь в ежедневное изучение психических недугов, он в работе по их исцелению обогатил знание о человеческой личности широким спектром различной ценности подходов, проблем и понятий. Не приемля умозрительные мифологические концепции Фрейда, современная научная психология и психотерапия усвоили его уроки, отбирая в них все будоражащее творческую мысль.

М. Г. Ярошевский, профессор,
доктор психологических наук

Предисловие к русскому переводу работы «По ту сторону принципа удовольствия»

I

Фрейд принадлежит, вероятно, к числу самых бесстрашных умов нашего века. Эта добродетель всегда почиталась скорее достоинством практического деятеля, чем ученого и мыслителя. Чтобы действовать, нужна смелость; оказывается, нужно еще неизмеримо большее бесстрашие, чтобы мыслить. Столько половинчатых умов, робких мыслей, неотважных гипотез встречаешь на каждом шагу в науке, что начинает казаться, будто осторожность и следование по чужим стопам сделались чуть ли не обязательными атрибутами официального академического знания.

З. Фрейд выступил сразу как революционер. Та оппозиция, которую вызвал против себя психоанализ в кругах официальной науки, непререкаемо свидетельствует о том, что здесь были дерзко нарушены вековые традиции буржуазной морали и науки и сделан шаг за границы дозволенного. Новой научной мысли и ее создателям пришлось пережить годы глухого отъединения; против нового учения поднялась в широких кругах общества активнейшая вражда и открытое сопротивление. Сам Фрейд говорит, что он «принадлежит к тому сорту людей, которые, по выражению Хеббеля, нарушили покой мира». Так оно и было в действительности.

Шум, поднятый вокруг нового учения, постепенно улегся. Ныне всякая новая работа по психоанализу не встречает такого враждебного приема. Мировое признание если не вполне, то отчасти сменило прежнюю травлю, и вокруг нового учения создалась атмосфера напряженного интереса, глубокого внимания и пристального любопытства, в котором не могут отказать ему даже его принципиальные враги. Психоанализ давно перестал быть только одним из методов психотерапии, но разросся в ряд первостепенных проблем общей психологии и биологии, истории культуры и всех так называемых наук о духе.

В частности, у нас в России фрейдизм пользуется исключительным вниманием не только в научных кругах, но и у широкого читателя. В последнее время почти

все работы Фрейда переведены на русский язык и выпущены в свет. На наших глазах в России начинает складываться новое и оригинальное течение в психоанализе, которое пытается осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах и развернуть систему «рефлексологического фрейдизма» в духе диалектического материализма. Этот перевод Фрейда на язык Павлова, попытка объективно расшифровать темную «глубинную психологию» представляет собой живое свидетельство величайшей жизненности этого учения и его неисчерпаемых научных возможностей.

С этим признанием не только не миновало «героическое время» для Фрейда, но потребовались неизмеримо большее мужество и еще больший героизм, чем прежде. Тогда он был предоставлен самому себе в своем «Splendid isolation»[1] и устраивался «как Робинзон на необитаемом острове». Теперь же возникли новые и серьезные опасности — искажения самых основ нового учения, приспособления научной истины к потребностям и вкусам буржуазного миропонимания. Коротко говоря, прежде опасность грозила со стороны врагов, теперь — со стороны друзей. И действительно, ряд виднейших вождей, которым «стало неуютно пребывание в преисподней психоанализа», отошли от него.

Эта внутренняя борьба потребовала гораздо большего напряжения сил, чем борьба с врагами. Основная особенность Фрейда заключается в том, что он имеет смелость додумывать всякую мысль до конца, доводить всякое положение до последних и крайних выводов. В этом трудном и страшном деле у него не всегда находились спутники, и многие покидали его сейчас же за исходным пунктом и сворачивали в сторону. Этот максимализм мысли послужил причиной того, что и на вершине подъема научного интереса к психоанализу Фрейд как мыслитель остался, в сущности, в одиночестве.

Предлагаемая вниманию читателя в настоящем переводе книга «Jenseits des Lustprinzips» (1920) принадлежит к числу таких именно одиноких работ Фрейда. Даже правоверные психоаналитики иной раз находят возможным обойти эту работу молчанием; что же касается более постороннего круга читателей, то здесь приходится столкнуться — и за границей, и в России — с настоящим предубеждением, которое необходимо разъяснить и рассеять.

Книга эта приводит к таким ошеломляющим и неожиданным выводам, которые стоят на первый взгляд в коренном противоречии со всем тем, что все мы привыкли считать за незыблемую научную истину. Больше того: она противоречит основным положениям, выдвинутым в свое время самим же Фрейдом. Здесь Фрейдом брошен вызов не только общему мнению, но взято под сомнение утверждение, лежащее в основе всех психоаналитических объяснений самого же автора. Бесстрашие мысли в этой книге достигает апогея.

Основными объяснительными принципами всех биологических наук мы привыкли считать принцип самосохранения живого организма и принцип приспособления его к условиям той среды, в которой ему приходится жить. Стремление к сохранению жизни своей и своего рода и стремление к возможно более полному и безболезненному приспособлению к среде являются главными движущими силами всего орга-

---

[1] Гордом одиночестве. — *Примеч. ред. перевода.*

нического развития. В полном согласии с этими предпосылками традиционной биологии Фрейд в свое время выдвинул положение о двух принципах психической деятельности. Высшую тенденцию, которой подчиняются психические процессы, Фрейд назвал принципом удовольствия. Стремление к удовольствию и отвращение от неудовольствия, однако, не безраздельно и не исключительно направляют психическую жизнь. Необходимость приспособления вызывает потребность в точном осознании внешнего мира; этим вводится новый принцип душевной деятельности — принцип реальности, который диктует подчас отказ от удовольствия во имя «более надежного, хотя и отсроченного». Все это чрезвычайно элементарно, азбучно и, по-видимому, принадлежит к числу неопровержимых самоочевидных истин.

Однако факты, добытые психоаналитическим исследованием, толкают мысль к выходу за узкие пределы этой самоочевидной истины. Попытка пробиться мыслью сквозь эту истину — по ту сторону принципа удовольствия — и создала настоящую книгу. Первоначальнее этого принципа, по мысли Фрейда, следует считать, как это ни парадоксально звучит, принцип влечения к смерти, который является основным, первоначальным и всеобщим принципом органической жизни. Следует различать два рода влечений. Один, как более доступный наблюдению, давно подвергся изучению — это эрос в широком смысле, сексуальное влечение, включающее в себя не только половое влечение во всем его многообразии, но и весь инстинкт самосохранения; это — влечение к жизни. Другой род влечений, типическим примером которых следует считать садизм, может быть обозначен как влечение к смерти. Задачей этого влечения является, как говорит Фрейд в другой книге, «возвращение всех живых организмов в безжизненное состояние», т. е. его цель — «восстановить состояние, нарушенное возникновением жизни», вернуть жизнь к неорганическому существованию материи. При этом все положительные жизнеохранительные тенденции, как стремление к самосохранению и проч., рассматриваются как частные влечения, имеющие целью обеспечить организму его собственный путь к смерти и удалить все посторонние вероятности возвращения его в неорганическое состояние. Вся жизнь при этом раскрывается как стремление к восстановлению нарушенного жизненного равновесия энергии, как окольные пути (Umwege) к смерти, как непрестанная борьба и компромисс двух непримиримых и противоположных влечений.

Такое построение вызывает естественное сопротивление против себя по двум мотивам. Во-первых, сам Фрейд отмечает отличие этой работы от других его построений. То были прямые и точные переводы фактических наблюдений на язык теории. Здесь часто место наблюдения заступает размышление; умозрительное рассуждение заменяет недостаточный фактический материал. Поэтому легко может показаться, что мы имеем здесь дело не с научно достоверными конструкциями, а с метафизической спекуляцией. Легко поэтому провести знак равенства между тем, что сам Фрейд называет метапсихологической точкой зрения, и точкой зрения метафизической.

Второе возражение напрашивается само собой у всякого, по существу, против самого содержания этих идей. Является подозрение, не проникнуты ли они психологией безнадежного пессимизма, не пытается ли автор под маской биологического принципа провести контрабандою упадочническую философию нирваны и смерти.

Объявить целью всякой жизни смерть — не означает ли заложить динамит под самые основы научной биологии — этого знания о жизни?

Оба эти возражения заставляют крайне осторожно отнестись к настоящей работе, а некоторых приводят даже к мысли, что в системе научного психоанализа ей нет места и что надо обойтись без нее при построении рефлексологического фрейдизма. Однако внимательному читателю не трудно убедиться в том, что оба эти возражения несправедливы и неспособны выдержать легчайшего прикосновения критической мысли.

Сам Фрейд указывает на бесконечную сложность и темноту исследуемых вопросов. Он называет область своего учения уравнением с двумя неизвестными или потемками, куда не проникал ни один луч гипотезы. Научные средства его совершенно исключают всякое обвинение в метафизичности его спекуляции. Это — спекуляция, совершенно верно, но научная. Это — метапсихология, но не метафизика. Здесь сделан шаг за границы опытного знания, но не в сверхопытное и сверхчувственное, а только в недостаточно еще изученное и освещенное. Речь идет все время не о непознаваемом, но только о непознанном. Фрейд сам говорит, что он стремится только к трезвым результатам. Он охотно заменил бы образный язык психологии на физиологические и химические термины, если бы это не означало отказа от всякого описания изучаемых явлений. Биология — царство неограниченных возможностей, и сам автор готов допустить, что его построения могут оказаться опровергнутыми.

Означает ли это, что неуверенность автора в своих собственных построениях лишает их научной значимости и ценности? Ни в какой мере. Сам автор говорит, что он в одинаковой мере и сам не убежден в истинности своих допущений, и других не хочет склонять к вере в них. Он сам не знает, насколько он в них верит. Ему кажется, что здесь следует вовсе исключить «аффективный момент убеждения»: в этом вся суть. Это раскрывает истинную природу и научную цену выраженных здесь мыслей. Наука вовсе не состоит исключительно из готовых решений, найденных ответов, истинных положений, достоверных законов и знаний. Она включает в себя в равной мере и поиски истины, процессы открытия, предположения, опыт и риск. Научная мысль тем и отличается от религиозной, что вовсе не требует непременной веры в себя. «Можно отдаться какому-либо течению мыслей, — говорит Фрейд, — следовать за ними только из научного любопытства до самой его конечной точки». Сам Фрейд говорит, что «психоанализ старательно избегал того, чтобы стать системой». И если на этом пути нас ждут головокружительные мысли, то в этой спекуляции надо иметь только мужество безбоязненно следовать за ними, как по горным тропинкам в Альпах, рискуя ежеминутно сорваться в пропасть. «Nur für schwindelfreie» — «только для не боящихся головокружений», по прекрасному выражению Льва Шестова, открыты эти альпийские дороги в философии и науке.

При таком положении, когда автор сам готов всякую минуту свернуть в сторону со своего пути и сам первый усомниться в истине своих мыслей, — не может быть речи, разумеется само собой, и о философии смерти, якобы пропитывающей эту книгу. В ней вообще нет никакой философии; она вся исходит из точного знания и обращения к точному знанию, но она делает огромный, головокружительный прыжок с крайней точки твердо установленных наукой фактов в неисследованную область по ту сторону очевидности. Но не следует забывать, что психоанализ, во-

обще, имеет своей задачей пробиться по ту сторону видимого, и в некотором смысле всякое научное знание заключается не в констатировании очевидностей, но в раскрытии за этой очевидностью более действительных и более реальных, чем сама очевидность, фактов, и открытия Галилея точно так же уводят нас по ту сторону очевидности, как и открытия психоанализа.

Некоторое недоразумение может произойти от того разве, что употребляемые автором психологические термины несколько двусмысленны в применении к биологическим и химическим понятиям. Влечение, или стремление к смерти, приписываемое всей органической материи, здесь может показаться легко с первого взгляда, действительно, отрыжкой пессимистической философии. Но это все проистекает из того, что до сих пор обычно психология всегда заимствовала у биологии основные понятия, объяснительные принципы и гипотезы и распространяла на психический мир то, что установлено было на более простом органическом материале. Здесь чуть ли не впервые биология одолжается у психологии, и научной мысли придан как раз обратный ход: она умозаключает от анализа человеческой психики к универсальным законам органической жизни. Биология здесь заимствует у психологии. Надо ли после этого добавлять, что такие термины, как влечение, стремление и проч., утрачивают при этом весь свой первоначальный характер психических сил и обозначают только общие тенденции органической клетки, вне всякой зависимости от философской расценки жизни и смерти в плане человеческого разума. Эти влечения Фрейд сводит, без остатка, на химические и физиологические процессы в живой клетке и обозначает ими только направление, в котором происходит энергетическое уравновешивание.

Ценность и достоинства всякой научной гипотезы измеряются ее практической выгодностью, тем, насколько она помогает продвигаться вперед, служа рабочим объяснительным принципом. И в этом смысле лучшим свидетельством научной полноценности этой гипотезы о первоначальности Todestrieb является позднейшее развитие тех же мыслей в книге Фрейда «Das Ich und das Es» («*Я* и *Оно*»), где психологическое учение о сложной структуре личности, об амбивалентности, об инстинкте разрушения и проч. поставлено в прямую связь с мыслями, развитыми в предлагаемой книге.

Но еще большие возможности сулит смелая гипотеза Фрейда для общебиологических выводов. Она расстается нацело и окончательно со всякой телеологией в области психики и биологии. Всякое влечение причинно обусловлено предшествующим состоянием, которое оно стремится восстановить. Всякое влечение имеет консервативный характер, оно влечет назад, а не вперед. Таким образом перебрасывается мост (гипотетический) от учения о происхождении и развитии органической жизни к наукам о неорганической материи. Органическое впервые в этой гипотезе вводится так тесно в общий контекст мира.

Фрейд готов допустить, что «в каждом кусочке живой субстанции», в каждой клетке действуют оба рода влечений, смешанные в неравной дозе. И только соединение простейших одноклеточных организмов в многоклеточные живые существа дает возможность «нейтрализовать влечение к смерти отдельной клеточки и... отвлечь разрушительные побуждения на внешний мир». Из этой мысли раскрываются огромные возможности для учения о социальной субстанции этих влечений

к смерти. «Многоклеточный» социальный организм создает грандиозные, неисчислимые возможности для нейтрализования влечений к смерти и сублимации их, т. е. превращения в творческие импульсы социального человека.

По всем этим высказанным здесь соображениям мы полагаем, что новая книга Фрейда будет встречена и в научных кругах, и широким читателем с тем вниманием и интересом, на какие ей дают право ее необычайная смелость и оригинальность мысли. Интерес этот не стоит ни в какой зависимости от того, насколько положения, высказанные в книге, получат оправдание и фактическое подтверждение в ходе дальнейших исследований и критической проверки. Уже самое открытие новой Америки — страны по ту сторону принципа удовольствия — составляет Колумбову заслугу Фрейда, хотя бы ему и не удалось составить точную географическую карту новой земли и колонизовать ее. Искание истины, в конце концов, увлекательнее, поучительнее, плодотворнее и нужнее, чем найденная и готовая истина.

II

Еще до выхода русского перевода этой книги в русских научных кругах началась оживленная дискуссия по затронутым в ней вопросам.

Высказывали мнение, что Фрейд отступил в ней от своих исходных положений, что он вступил здесь на путь, не совпадающий с путем современного материализма.

Нам кажется — более глубокий подход к этой книге не оправдает этих подозрений. В «Jenseits des Lustprinzips» Фрейд развивает глубже и шире мысли, уже давно положенные им в основу психоанализа, он только вводит нас в лабораторию своей мысли. Ведь в этой книге, в сущности, все логически вытекает из мыслей, изложенных Фрейдом уже раньше, и однако — как ново, как подчас странно и оригинально звучат для нас страницы этой книги.

Автор не настаивает в ней на абсолютной правильности своих построений: он еще сам не уверен в них и, давая волю своим построениям, он хочет лишь сделать широкие биологические выводы из изученных им прежде фактов психической жизни. К чему же они ведут нас? Какие общеметодологические тенденции скрыты под этими подчас непонятными нам построениями?

В основе всех построений этой книги лежит одна тенденция: построить общую биологию психической жизни. Те психические принципы, которые, по мнению психоанализа, регулируют все поведение человека — например, «принцип удовольствия», — не удовлетворяют Фрейда всецело: он ищет более глубокую, более общезначимую биологическую закономерность и находит ее в общем принципе сохранения равновесия — общем тяготении к сохранению равно разлитого напряжения энергии, которое мы замечаем в неорганическом мире. Стабильность и возврат к неорганическому — вот основные тенденции чистой биологии, отзвуки которой мы находим в глубинах человеческой психики («навязчивое воспроизведение прежних состояний»). Эти странные процессы в психической жизни не являются, однако, особыми качествами «духа» — они говорят нам лишь о существовании более широких законов, охватывающих как деятельность психики, так и более фундаментальные биологические процессы. Психика вводится здесь в круг общебиологических явлений; в ней отражается та же тенденция, которая играет свою роль и в мире неор-

ганическом. Так чуждо звучащее для нас понятие «влечение к смерти» (Todestrieb) мы должны понимать лишь как констатирование отзвука более глубоких закономерностей биологического порядка, как попытку отойти от чисто психологического понятия «влечение», вскрыть в нем его глубоко биологическую сторону.

От чисто психологического подхода к принципам психической жизни и влечениям — к биологическому подходу к ним — вот путь этой книги, углубляющей прежние построения Фрейда.

Однако, если в глубоких слоях психической жизни скрыта биологическая консервативность тенденции сохранения неорганического равновесия, — чем же объяснить развитие человечества от низших форм к высшим? Где искать корень бурно развивающегося исторического процесса? Фрейд дает нам на это в высшей степени интересный и глубоко материалистический ответ: если в человеке в глубинах его психики еще остались консервативные тенденции древней биологии, если в конечном счете к ним сводим даже эрос, то единственными силами, выводящими нас из состояния биологической консервативности, понуждающими к прогрессу, к деятельности, являются внешние силы; мы скажем — внешние условия материальной среды, в которой существует индивид. Именно они являются настоящей основой прогресса, именно они и формируют реальную личность, заставляя ее приспособляться к себе, вырабатывать новые формы психической жизни, наконец, именно они оттесняют вглубь и переделывают остатки старой консервативной биологии. В этом отношении психология Фрейда по своим тенденциям насквозь социологична, и лишь задачей других психологов-материалистов, находящихся в лучших условиях, чем Фрейд, остается раскрыть и до конца аргументировать материалистические основы этого учения.

Итак, история человеческой психики складывается, по Фрейду, из двух тенденций: консервативной — биологической и прогрессивной — социологической. Именно из этих моментов складывается вся диалектика организма, и именно они ведут к своеобразному «спиральному» развитию человека. Эта книга — шаг вперед, а не назад по пути к построению цельной монистической системы; и диалектик, прочитавший эту книгу, поймет, какие огромные возможности монистического понимания мира вытекают из нее.

Вовсе не надо быть согласным с каждым из многочисленных утверждений Фрейда, вовсе не нужно разделять все его гипотезы, важно лишь суметь за частными (быть может, и различными по ценности) построениями вскрыть одну общую тенденцию и суметь использовать ее для целей материалистического объяснения мира.

Одно здесь сделано безусловно: психика окончательно потеряла здесь свою мистическую специфичность, в ней вскрыты те общебиологические законы, которые господствуют во всем мире, она окончательно развенчана как носительница некоей «высшей» сущности: «мы можем исправить много наших ошибок, когда мы заместим наши психологические термины — физиологическими и химическими».

Буржуазная наука рождает материализм; роды эти часто бывают тяжелыми и затяжными; но надо только найти, где зреет в ее недрах материализм, — найти, чтобы охранить и использовать эти ростки.

Л. С. Выготский, Ал. Лурия (Москва, 1988)

Психоанализ детских неврозов



Анализ фобии пятилетнего мальчика

Введение

Болезнь и излечение весьма юного пациента, о которых я буду говорить ниже, строго говоря, наблюдались не мной. Хотя в общем я и руководил лечением и даже раз лично принимал участие в разговоре с мальчиком, но само лечение проводилось отцом ребенка, которому я и приношу свою благодарность за заметки, переданные им мне для опубликования. Заслуга отца идет еще дальше; я думаю, что другому лицу вообще не удалось бы побудить ребенка к таким признаниям; без знаний, благодаря которым отец мог истолковывать показания своего пятилетнего сына, нельзя было бы никак обойтись, и технические трудности психоанализа в столь юном возрасте остались бы непреодолимыми. Только совмещение в одном лице родительского и врачебного авторитета, совпадение нежных чувств с научным интересом сделало здесь возможным использовать метод, который в подобных случаях вообще вряд ли мог бы быть применим. Но особенное значение этого наблюдения заключается в следующем. Врач, занимающийся психоанализом взрослого невротика, раскрывающий слой за слоем психические образования, приходит наконец к известным предположениям о детской сексуальности, в компонентах которой он видит движущую силу для всех невротических симптомов последующей жизни. Я изложил эти предположения в опубликованных мною в 1905 году «Трех очерках по теории сексуальности». И я знаю, что для незнакомого с психоанализом они покажутся настолько же чуждыми, насколько для психоаналитика неопровержимыми. Но и психоаналитик должен сознаться в своем желании получить более прямым и коротким путем доказательства этих основных положений. Разве невозможно изучить у ребенка, во всей свежести, те его сексуальные побуждения и желания, которые мы у взрослого с таким трудом должны извлекать из-под многочисленных наслоений? Тем более что, по нашему

убеждению, они составляют конституциональное достояние всех людей и только у невротика оказываются усиленными или искаженными.

С этой целью я уже давно побуждаю своих друзей и учеников собирать наблюдения над половой жизнью детей, которая обыкновенно по тем или другим причинам остается незамеченной или скрытой. Среди материала, который благодаря моему предложению попадал в мои руки, сведения о маленьком Гансе заняли выдающееся место. Его родители, оба мои ближайшие приверженцы, решили воспитать своего первенца с минимальным принуждением, какое безусловно требуется для сохранения добрых нравов. И так как дитя развилось в веселого, славного и бойкого мальчишку, попытки воспитать его без строгостей, дать ему возможность свободно расти и проявлять себя привели к хорошим результатам. Я здесь воспроизвожу записки отца о маленьком Гансе, и, конечно, я всячески воздержусь от искажения наивности и искренности, столь обычных для детской, не соблюдая ненужные условности.

Первые сведения о Гансе относятся ко времени, когда ему еще не было полных трех лет. Уже тогда его различные разговоры и вопросы обнаруживали особенно живой интерес к той части своего тела, которую он на своем языке обычно называл Wiwimacher. Так, однажды он задал своей матери вопрос:

Ганс: «Мама, у тебя есть Wiwimacher?»

Мать: «Само собой разумеется. Почему ты спрашиваешь?»

Ганс: «Я только подумал».

В этом же возрасте он входит в коровник и видит, как доят корову. «Смотри, — говорит он, — из Wiwimacher'а течет молоко».

Уже эти первые наблюдения позволяют ожидать, что многое, если не большая часть из того, что проявляет маленький Ганс, окажется типичным для сексуального развития ребенка. Я уже однажды указывал[1], что не нужно приходить в ужас, когда находишь у женщины представление о сосании полового члена. Это непристойное побуждение довольно безобидно по своему происхождению, так как представление о сосании связано в нем с материнской грудью, причем вымя коровы выступает здесь опосредствующим звеном, ибо по природе это — грудная железа, а по виду и положению своему — пенис. Открытие маленького Ганса подтверждает последнюю часть моего предположения.

В то же время его интерес к Wiwimacher'у не исключительно теоретический. Как можно предполагать, у него также имеется стремление прикасаться к своему половому органу. В возрасте 3 ½ года мать застала его держащим руку на пенисе. Мать грозит ему: «Если ты это будешь делать, я позову д-ра А., и он отрежет тебе твой Wiwimacher. Чем же ты тогда будешь делать wiwi?»

Ганс: «Моим popo».

Тут он отвечает еще без сознания вины, но приобретает при этом «кастрационный комплекс», который так часто можно найти при анализе невротиков, в то время как они все протестуют против этого. О значении этого элемента в истории развития ребенка можно было бы сказать много весьма существенного. Кастрационный комплекс оставил заметные следы в мифологии (и не только

---

[1] Brüchstück einer Hysterie-Analyse, 1905.

в греческой). Я уже говорил о роли его в «Толковании сновидений» и в других работах.

Почти в том же возрасте (3 $^1/_2$ года) он возбужденно и с радостью кричит: «Я видел у льва Wiwimacher».

Большую часть значения, которое имеют животные в мифах и сказках, нужно, вероятно, приписать той откровенности, с которой они показывают любознательному младенцу свои половые органы и их сексуальные функции. Сексуальное любопытство нашего Ганса не знает сомнений, но оно делает его исследователем и дает ему возможность правильного познания.

В 3 $^3/_4$ года он видит на вокзале, как из локомотива выпускается вода. «Локомотив делает wiwi. А где его Wiwimacher?»

Через минутку он глубокомысленно прибавляет: «У собаки, у лошади есть Wiwimacher, а у стола и стула — нет». Таким образом, он установил существенный признак для различия одушевленного и неодушевленного.

Любознательность и сексуальное любопытство, по-видимому, тесно связаны между собой. Любопытство Ганса направлено преимущественно на родителей.

Ганс, 3 $^3/_4$ года: «Папа, и у тебя есть Wiwimacher?»

Отец: «Да, конечно».

Ганс: «Но я его никогда не видел, когда ты раздевался».

В другой раз он напряженно смотрит на мать, когда та раздевается на ночь. Она спрашивает: «Чего ты так смотришь?»

Ганс: «Я смотрю только, есть ли у тебя Wiwimacher?»

Мать: «Конечно. Разве ты этого не знал?»

Ганс: «Нет, я думал, что так как ты большая, то и Wiwimacher у тебя как у лошади».

Заметим себе это ожидание маленького Ганса. Позже оно получит свое значение.

Большое событие в жизни Ганса — рождение его маленькой сестры Анны — имело место, когда Гансу было как раз 3 $^1/_2$ года (апрель 1903 — октябрь 1906 г.). Его поведение при этом непосредственно отмечено отцом: «В 5 ч утра, при начале родовых болей, постель Ганса переносят в соседнюю комнату. Здесь он в 7 ч просыпается, слышит стоны жены и спрашивает: «Чего это мама кашляет?» — И после паузы: «Сегодня, наверно, придет аист».

Конечно же, ему в последние дни часто говорили, что аист принесет мальчика или девочку, и он совершенно правильно ассоциирует необычные стоны с приходом аиста.

Позже его приводят на кухню. В передней он видит сумку врача и спрашивает: «Что это такое?» Ему отвечают: «Сумка». Тогда он убежденно заявляет: «Сегодня придет аист». После родов акушерка входит на кухню и заказывает чай. Ганс обращает на это внимание и говорит: «Ага, когда мамочка кашляет, она получает чай». Затем его зовут в комнату, но он смотрит не на мать, а на сосуды с окрашенной кровью водой и с некоторым смущением говорит: «А у меня из Wiwimacher'а никогда кровь не течет».

Все его замечания показывают, что он приводит в связь необычное в окружающей обстановке с приходом аиста. На все он смотрит с усиленным вниманием и с гри-

масой недоверия. Без сомнения, в нем прочно засело первое недоверие по отношению к аисту.

Ганс относится весьма ревниво к новому пришельцу, и, когда последнего хвалят, находят красивым и т. д., он тут же презрительно замечает: «А у нее зато нет зубов»[1]. Дело в том, что, когда он ее в первый раз увидел, он был поражен, что она не говорит, и объяснил это тем, что у нее нет зубов. Само собой разумеется, что в первые дни на него меньше обращали внимания, и он заболел ангиной. В лихорадочном бреду он говорил: «А я не хочу никакой сестрички!»

Приблизительно через полгода ревность его прошла, и он стал нежным, но уверенным в своем превосходстве братом[2].

«Несколько позже (через неделю) Ганс смотрит, как купают его сестрицу, и замечает: “А Wiwimacher у нее еще мал”,— и как бы утешительно прибавляет: “Ну, когда она вырастет — он станет больше”[3].

Для реабилитации нашего маленького Ганса мы сделаем еще больше. Собственно говоря, он поступает не хуже философа Вундтовской школы, который считает сознание никогда не отсутствующим признаком психической жизни, как Ганс считает Wiwimacher неотъемлемым признаком всего живого. Когда философ наталкивается на психические явления, в которых сознание совершенно не участвует, он называет их не бессознательными, а смутно сознаваемыми. Wiwimacher еще очень мал! И при этом сравнении преимущество все-таки на стороне нашего маленького Ганса, потому что, как это часто бывает при сексуальных исследованиях детей, за их заблуждениями всегда кроется частица правды. Ведь у маленькой девочки все-таки есть маленький Wiwimacher, который мы называем клитором, но который не растет, а остается недоразвитым. Ср. мою небольшую работу: Über infantile Sexualtheorien // Sexualprobleme, 1903.

В этом же возрасте (3 $^{3}/_{4}$ года) Ганс в первый раз рассказывает свой сон: “Сегодня, когда я спал, я думал, что я в Гмундене с Марикой”.

Марика — это 13-летняя дочь домохозяина, которая часто играла с ним».

Когда отец в его присутствии рассказывает про этот сон матери, Ганс поправляет его: «Не с Марикой, а совсем один с Марикой».

Здесь нужно отметить следующее: «Летом 1906 г. Ганс находился в Гмундене, где он целые дни возился с детьми домохозяина. Когда мы уехали из Гмундена,

---

[1] Опять типичное поведение. Другой брат, старше всего на 2 года, при аналогичных обстоятельствах выкрикивал со слезами: «Слишком мала, слишком мала».

[2] Другой мальчик, постарше, при появлении на свет братца говорит: «Пусть его аист назад заберет». Сравним это с тем, что я говорил в «Толковании сновидений» о являющейся в сновидениях смерти дорогих родных.

[3] К подобному же умозаключению в тех же выражениях пришли другие два мальчика, когда с любопытством в первый раз разглядывали живот своей маленькой сестрички. Можно было бы прийти в ужас по поводу этой ранней испорченности детского интеллекта. Почему эти юные исследователи не констатируют того, что видят, а именно: никакого Wiwimacher'а нет? Для нашего маленького Ганса это понятно. Мы знаем, как при помощи тщательной индукции он установил для себя общее положение, что живое отличается от неживого наличностью Wiwimacher'а; мать поддержала его в этом убеждении, давая ему утвердительные ответы относительно лиц, уклонившихся от его наблюдения. И теперь он совершенно неспособен отказаться от своего приобретения после наблюдения над маленькой сестрой. Он приходит к заключению, что Wiwimacher имеется и здесь и он слишком мал, но он будет расти, пока не станет столь же большим, как у лошади.

мы думали, что для Ганса прощание и переезд в город окажутся тяжелыми. К удивлению, ничего подобного не было. Он, по-видимому, радовался перемене и несколько недель о Гмундене говорил очень мало. Только через несколько недель у него начали появляться довольно живые воспоминания о времени, проведенном в Гмундене. Уже 4 недели как он эти воспоминания перерабатывает в фантазии. В своих фантазиях он играет с детьми Олей, Бертой и Фрицем, разговаривает с ними, как будто они тут же находятся, и способен развлекаться таким образом целые часы. Теперь, когда у него появилась сестра, его, по-видимому, занимает проблема появления на свет детей; он называет Берту и Ольгу "своими детьми" и один раз заявляет: "И моих детей Берту и Олю принес аист". Теперешний сон его после 6-месячного отсутствия в Гмундене нужно, по-видимому, понимать как выражение желания поехать в Гмунден».

Так пишет отец; я тут же отмечу, что Ганс своим последним заявлением о «своих детях», которых ему как будто бы принес аист, громко противоречит скрытому в нем сомнению.

К счастью, отец отметил здесь кое-что, оказавшееся в будущем необыкновенно значимым.

«Я рисую Гансу, который в последнее время часто бывал в Шёнбрунне, жирафа. Он говорит мне: "Нарисуй же и Wiwimacher". Я: "Пририсуй его сам". Тогда он пририсовывает посредине живота маленькую палочку, которую сейчас же удлиняет, замечая: "Wiwimacher длиннее".

Я прохожу с Гансом мимо лошади, которая уринирует. Он замечает: "У лошади Wiwimacher внизу, как и у меня".

Он смотрит, как купается его 3-месячная сестра, и сожалеюще говорит: "У нее совсем, совсем маленький Wiwimacher".

Он раздевает куклу, которую ему подарили, внимательно осматривает ее и говорит: "А у этой совсем маленький Wiwimacher".

Мы уже знаем, что благодаря этой формуле ему удается поддержать правильность своего открытия.

Всякий исследователь рискует иной раз впасть в ошибку. Утешением ему послужит то обстоятельство, что в ее основе может лежать смешение понятий, имеющееся в разговорном языке. Такого же оправдания заслуживает и Ганс. Так, он видит в своей книжке обезьяну, показывает на ее закрученный кверху хвост и говорит: «Смотри, папа, Wiwimacher[1]».

Из-за своего интереса к Wiwimacher'у он выдумал себе совершенно своеобразную игру. В передней помещаются клозет и кладовая. С некоторого времени Ганс ходит в эту кладовую и говорит: «Я иду в мой клозет». Однажды я заглядываю туда, чтобы посмотреть, что он там делает. Оказывается, он обнажает свой пенис и говорит: «Я делаю wiwi», — это означает, что он играет в клозет. Характер игры виден не только в том, что он на самом деле не уринирует, но и в том, что вместо того, чтобы идти в клозет, он предпочитает кладовую, которую он называет «своим клозетом».

Мы будем несправедливы к Гансу, если проследим только ауто-эротические черты его сексуальной жизни. Его отец может нам сообщить свои подробные на-

[1] На немецком (нелитературном) языке хвост и пенис носят одно название. — *Примеч. перев.*

блюдения над его любовными отношениями с другими детьми, в которых можно констатировать «выбор объекта», как у взрослого. И здесь мы имеем дело с весьма замечательной подвижностью и полигамическими склонностями.

«Зимой (3 $^3/_4$ года) я беру с собой Ганса на каток и знакомлю его там с двумя дочурками моего коллеги в возрасте приблизительно около 10 лет. Ганс присаживается к ним. Они, в сознании своего зрелого возраста, смотрят с презрением на малыша. А он глядит на них с обожанием во взгляде, и, хотя это не производит на них никакого впечатления, он называет их уже "своими девочками": "Где же мои девочки? Когда же придут мои девочки?" А дома несколько недель он пристает ко мне с вопросом: "А когда я опять пойду на каток к моим девочкам?"

5-летний кузен находится в гостях у Ганса (которому теперь 4 года). Ганс много раз обнимает его и однажды при таком нежном объятии говорит: "Как я тебя люблю"».

Это первая, но не последняя черта гомосексуальности, с которой мы встретимся у Ганса. Наш маленький Ганс начинает казаться образцом испорченности.

«Мы переехали на новую квартиру (Гансу 4 года). Из кухни дверь ведет на балкончик, с которого видна находящаяся напротив во дворе квартира. Здесь Ганс открыл девочку 7–8 лет. Теперь он, чтобы глядеть на нее, садится на ступеньку, ведущую к балкончику, и остается там часами. Особенно в 4 часа пополудни, когда девочка приходит из школы, его нельзя удержать в комнатах или увести с его наблюдательного поста. Однажды, когда девочка в обычное время не показывается у окна, Ганс начинает волноваться и приставать ко всем с вопросами: "Когда придет девочка? Где девочка?" и т. д., а затем, когда она появляется, Ганс счастлив и уже не отводит глаз от ее квартиры. Сила, с которой проявляется эта "любовь на расстоянии", объясняется тем, что у Ганса нет товарищей и подруг. Для нормального развития ребенка, по-видимому, необходимо постоянное общение с другими детьми.

Такое общение выпало на долю Ганса, когда мы на лето (4 $^1/_2$ года) переехали в Гмунден. В нашем доме с ним играют дети домохозяина: Франц (12 лет), Фриц (8 лет), Ольга (7 лет) и Берта (5 лет) и, кроме того, дети соседей: Анна (10 лет) и еще две девочки 9 и 7 лет, имен которых я не знаю. Его любимец — Фриц, которого он часто обнимает и уверяет в своей любви. Однажды на вопрос, какая из девочек ему больше всего нравится, он отвечает: "Фриц". В то же время он по отношению к девочкам очень агрессивен, держится мужчиной, завоевателем, обнимает и целует их, что Берте, например, очень нравится. Вечером, когда Берта выходит из комнаты, Ганс обнимает ее и самым нежным тоном говорит: "Берта, и милая же ты!" Но это ему не мешает целовать и других девочек и уверять в своей любви. Ему нравится и Марика — 14-летняя дочь домохозяина, которая с ним играет. Вечером, когда его укладывают в постель, он говорит: "Пусть Марика спит со мной". Когда ему указывают, что это невозможно, он говорит: "Тогда пусть она спит с папой или с мамой". Когда ему возражают, что и это невозможно, так как она должна спать у своих родителей, завязывается следующий диалог:

Ганс: "Тогда я пойду вниз спать к Марике".

Мама: "Ты действительно хочешь уйти от мамы и спать внизу?"

Ганс: "Но я ведь утром к кофе опять приду наверх".

Мама: “Если ты действительно хочешь уйти от папы и мамы, забери свою куртку, штанишки и — с богом!”

Ганс забирает свои вещи и идет спать к Марике, но его, конечно, возвращают обратно».

(За желанием «пусть Марика спит у нас» скрыто иное: пусть Марика, в обществе которой он так охотно бывает, войдет в наш дом. Но несомненно и другое. Так как отец и мать Ганса, хотя и не часто, брали его к себе в кровать и при лежании с ними у него пробуждались эротические ощущения, то, вероятно, и желание спать с Марикой имеет свой эротический смысл. Для Ганса, как и для всех детей, лежать в постели с отцом или матерью есть источник эротических возбуждений.)

Наш Ганс, несмотря на его гомосексуальные склонности, при расспросах матери ведет себя как настоящий мужчина.

И в нижеследующем случае Ганс говорит матери: “Слушай, я ужасно хотел бы один раз поспать с этой девочкой”. Этот случай весьма забавляет нас, так как Ганс держится как взрослый влюбленный. В ресторан, где мы обедаем уже несколько дней, приходит хорошенькая 8-летняя девочка, в которую Ганс, конечно, сейчас же влюбляется. Он все время вертится на своем стуле, чтобы одним глазком поглядеть на нее; после обеда он становится около нее, чтобы пококетничать с ней, но жестоко краснеет, если замечает, что за ним наблюдают. Когда взгляд его встречается со взглядом девочки, он стыдливо отворачивается в противоположную сторону. Его поведение, конечно, развлекает всех посетителей ресторана. Каждый день, когда его ведут в ресторан, он спрашивает: “Как ты думаешь, девочка будет там сегодня?” Когда она наконец приходит, он краснеет, как взрослый в той же ситуации. Однажды он приходит ко мне сияющий и шепчет мне на ухо: “Слушай, я уже знаю, где живет девочка. Я видел, где она подымалась по лестнице”. В то время как у себя он агрессивен по отношению к девочкам, здесь он держится как платонически вздыхающий поклонник. Быть может, это связано и с тем, что девочки в доме — деревенские дети, а это — культурная дама. Выше уже было упомянуто, что он высказывал желание спать с этой девочкой.

Так как я не хочу оставить Ганса в том состоянии душевного напряжения, в котором он находится из-за любви к девочке, я знакомлю его с ней и приглашаю ее прийти к нам в сад к тому времени, когда он выспится после обеда. Ганс так возбуждается ожиданием прихода девочки, что он в первый раз не может после обеда заснуть и беспокойно вертится в постели. Мать его спрашивает: “Почему ты не спишь? Быть может, ты думаешь о девочке?” На что Ганс, счастливый, отвечает: “Да”. Кроме этого, когда он пришел домой, он всем рассказал: “Сегодня ко мне придет девочка”, — и все время приставал к Марике: “Послушай, как ты думаешь, будет она со мной мила, поцелует она меня, когда я ее поцелую”, и т. п.

После обеда шел дождь, и посещение не состоялось, а Ганс утешился с Бертой и Ольгой».

Дальнейшие наблюдения все еще из периода пребывания в деревне заставляют думать, что у мальчика появляется и кое-что новое.

«Ганс (4 $^{1}/_{4}$ года). Сегодня утром мать, как каждый день, купает Ганса и после купанья вытирает его и припудривает. Когда мать очень осторожно припудривает пенис, чтобы его не коснуться, Ганс говорит: “Почему ты здесь не трогаешь пальцем?”

Мать: “Потому что это свинство”.

Ганс: “Что это значит — свинство? Почему?”

Мать: “Потому что это неприлично».

Ганс (смеясь): «Но приятно”»[1].

Почти в то же время сновидение Ганса по содержанию своему резко отличается от той смелости, которую он проявил по отношению к матери. Это первый искаженный до неузнаваемости сон мальчика. Только благодаря проницательности отца удается истолковать его.

«Гансу 4 ¼ года. Сон. Сегодня утром Ганс просыпается и рассказывает: “Слушай, сегодня ночью я думал: “Один говорит: кто хочет ко мне прийти? Тогда кто-то говорит: “Я”. Тогда он должен его заставить сделать wiwi”.

Из дальнейших вопросов становится ясно, что в этом сне зрительные впечатления отсутствуют и он принадлежит к чисто type auditif[2]. Несколько дней назад Ганс играл с детьми домохозяина, своими приятельницами Бертой (7 лет) и Ольгой (5 лет), в разные игры и между прочим в фанты (А: “Чей фант в моей руке?” В: “Мой”. Тогда В назначают, что он должен сделать). Сон Ганса есть подражание игре в фанты, только Ганс хочет, чтобы тот, кому принадлежит фант, был присужден не к обычным поцелуям или пощечинам, а к уринированию, или, точнее говоря, кто-то должен его (Ганса) заставить делать wiwi.

Я прошу его еще раз рассказать свой сон; он рассказывает его теми же словами, но вместо “тогда кто-то говорит” произносит: “тогда она говорит”. Эта “она”, вероятно, Берта или Ольга, с которыми он играл. Следовательно, в переводе сон означает следующее: я играю с девочками в фанты и спрашиваю, кто хочет ко мне прийти? Она (Берта или Ольга) отвечает: “Я”. Тогда она должна меня заставить делать wiwi (т. е. помочь при этом, что, по-видимому, для Ганса приятно).

Ясно, что этот процесс, когда Гансу расстегивают штанишки и вынимают его пенис, окрашен для него приятным чувством. Во время прогулок эту помощь Гансу оказывает отец, что и дает повод фиксировать гомосексуальную склонность к отцу.

Два дня назад он, как я уже сообщал, спрашивал мать, почему она не прикасается к его пенису пальцами. Вчера, когда я его отвел в сторонку для уринирования, он впервые попросил меня отвести к задней стороне дома, чтобы никто не мог видеть, и заметил: “В прошлом году, когда я делал wiwi, Берта и Ольга смотрели на меня”. Это, по моему мнению, должно означать, что в прошлом году это любопытство девиц было для него приятно, а теперь — нет. Эксгибиционистское удовольствие (от обнажения половых органов) теперь подвергается вытеснению. Вытеснение желания, чтобы Берта или Ольга смотрели, как он делает wiwi (или заставляли его делать wiwi), объясняет появление этого желания во сне, которому он придал красивую форму игры в фанты. С этого времени я несколько раз наблюдал, что он хочет делать wiwi незаметно для всех».

---

[1] Про подобную же попытку совращения рассказывала мне одна страдающая неврозом мать, которая не хотела верить в возможность детской мастурбации. Ей пришлось сшить ее маленькой девочке 3 ½ года панталоны; когда она примеряла их, то, чтобы узнать, не будут ли они ее беспокоить при ходьбе, она провела рукой по внутренней поверхности бедер. Тут девочка вдруг сразу прижала ногами руку и попросила: «Мама, оставь там руку — это так хорошо».

[2] Слуховому типу. — *Примеч. ред. перевода.*

Я тут же отмечу, что и этот сон подчиняется закону, который я привел в своем «Толковании сновидений». Разговоры, которые имеют место во сне, происходят от собственных или слышанных разговоров в течение ближайших ко сну дней.

Вскоре после переезда в Вену отец фиксирует еще одно наблюдение: «Ганс, 4 ½ года, еще раз смотрит, как купают его маленькую сестру, и начинает смеяться. Его спрашивают, почему он смеется.

Ганс: “Я смеюсь над Wiwimacher’ом Анны”.— “Почему?” — “Потому что Wiwimacher у нее такой красивый”».

Ответ, конечно, ложный. Wiwimacher ему показался комичным. Но, между прочим, теперь он впервые в такой форме признает разницу между мужским и женским половым органом вместо того, чтобы отрицать ее.

История болезни и анализ

«Уважаемый г-н профессор! Я посылаю вам опять частицу Ганса, на этот раз, к сожалению, материал к истории болезни. Как вы увидите из прочитанного, у Ганса в последние дни развилось нервное расстройство, которое меня с женой беспокоит, так как мы не можем найти средства устранить его. Прошу разрешить мне прийти к вам завтра, а пока посылаю вам имеющийся у меня материал в записях.

Сексуальное возбуждение, вызванное нежностью матери, вероятно, является причиной нервного расстройства, но вызывающего повода я указать не в состоянии. Боязнь, что его на улице укусит лошадь, быть может, связана с тем, что он был где-нибудь испуган видом большого пениса. Как вы знаете, он уже раньше заметил большой пенис лошади, и тогда он пришел к заключению, что у матери, так как она большая, Wiwimacher должен быть как у лошади.

Как взяться за то, чтобы извлечь полезное из этих предположений, я не знаю. Быть может, он где-нибудь видел эксгибициониста? Или все это имеет отношение только к матери?

Нам весьма неприятно, что он уже теперь начинает нам задавать загадки.

Если не считать страха выйти на улицу и дурного настроения по вечерам, то Ганс и теперь все такой же бойкий и веселый мальчик».

Оставим пока в стороне и вполне понятное беспокойство отца, и его первые попытки объяснения и попробуем раньше разобраться в материале. В нашу задачу вовсе не входит сразу «понять» болезнь. Это может удаться только позже, когда мы получим достаточно впечатлений о ней. Пока мы оставим в стороне и наше мнение и с одинаковым вниманием отнесемся ко всем данным наблюдения.

Первые сведения, которые относятся к первым числам января 1908 г., гласят:

«Ганс (4 ¾ года) утром входит к матери с плачем и на вопрос, почему он плачет, говорит: “Когда я спал, я думал, что ты ушла и у меня нет мамы, чтобы ласкаться к ней”.

Итак — страшное сновидение. Нечто подобное я уже заметил летом в Гмундене. Вечером в постели он большею частью бывал нежно настроен, и однажды он выразился приблизительно так: “А если у меня не будет мамы, если ты уйдешь”, или что-то в этом роде, я не могу вспомнить слов. Когда он приходил в такое элегическое настроение, мать брала его к себе в постель.

Примерно 5 января Ганс пришел к матери в кровать и по этому поводу рассказал ей следующее: “Ты знаешь, что тетя М. сказала: “А у него славная птичечка”»[1].

(Тетка М. 4 недели тому назад жила у нас; однажды при купании мальчика она действительно сказала тихо вышеприведенные слова моей жене. Ганс слышал это и постарался это использовать.)

7 января он идет, как обычно, с няней в городской парк; на улице он начинает плакать и требует, чтобы его вели домой, так как он хочет приласкаться к матери. Дома на вопрос, почему он не хотел идти дальше и плакал, он ответа дать не хочет. Вплоть до вечера он, как обыкновенно, весел, вечером становится, по-видимому, тревожен, плачет, и его никак нельзя увести от матери, он опять хочет “ласкаться”. Потом он становится весел и ночь спит хорошо.

8 января жена хочет сама с ним пойти гулять, чтобы видеть, что с ним происходит, и именно в Шёнбрунн, куда он обыкновенно охотно ходит. Он опять начинает плакать, не хочет отойти от матери, боится. Наконец он все-таки идет, но на улице на него находит, по-видимому, страх. По возвращении из Шёнбрунна Ганс после долгого запирательства заявляет матери: “Я боялся, что меня укусит лошадь”. (Действительно, в Шёнбрунне он волновался, когда видел лошадь.) Вечером у него опять был припадок вроде вчерашнего с требованием материнских ласк. Его успокаивают. Он со слезами говорит: “Я знаю, завтра я должен опять пойти гулять”, — и позже: “Лошадь придет в комнату”.

В тот же день его спрашивает мать: “Ты, может, трогаешь рукой Wiwimacher?” На это он отвечает: “Да, каждый вечер, когда я в кровати”. На следующий день, 9 января, его перед послеобеденным сном предупреждают не трогать рукой Wiwimacher’а. После пробуждения он на соответствующий вопрос отвечает, что он все-таки на короткое время клал туда руку».

Все это могло быть началом и страха и фобии. Мы видим, что у нас есть достаточное основание отделить их друг от друга. В общем материала кажется нам вполне достаточно для ориентировки, и никакой другой момент не является столь благоприятным для понимания, как эта, к сожалению, обычно пропускаемая или замалчиваемая начальная стадия. Расстройство начинается с тревожно-нежных мыслей, а затем со страшного сновидения. Содержание последнего: потерять мать, так что к ней нельзя будет приласкаться. Итак, нежность к матери должна быть ненормально повышена. Это — основной феномен болезненного состояния. Вспомним еще обе попытки совращения, которые Ганс предпринимал по отношению к матери. Первая из них имела место летом, вторая непосредственно перед появлением боязни улицы и представляла собой просто рекомендацию своего полового органа. Эта повышенная нежность к матери превращается в страх, или, как мы говорим, она подвергается вытеснению. Мы не знаем еще, откуда идет толчок к вытеснению; быть может, здесь играет роль интенсивность возбуждения, которая не по силам ребенку, быть может, здесь принимают участие другие силы, которых мы еще не знаем.

---

[1] Птичка — пенис. Нежность по отношению к половым органам детей, выражающаяся в словах и поступках со стороны нежных родственников, а иногда и самих родителей, представляет собой самое обычное явление, отмечаемое психоанализами.

Мы узнаем все это позже. Этот страх, соответствующий вытесненному эротическому влечению, как и всякий детский страх, не имеет объекта; это еще страх (Angst), а не боязнь (Furcht). Дитя не может знать, чего оно боится, и когда Ганс на прогулке с няней не хочет сказать, чего он боится, то это потому, что он этого еще не знает. Он говорит то, что знает: ему на улице не хватает мамы, с которой он мог бы понежничать и от которой он не хочет уйти. Тут он со всей своей искренностью выдает первый смысл своего отвращения к улице.

Кроме этого, его тревожные состояния перед сном, отчетливо окрашенные нежностью, следовавшие одно за другим два вечера подряд, доказывают, что в начале болезни у него еще не было фобии улиц, прогулок или даже лошадей, в противном случае его вечернее состояние было бы необъяснимо: кто перед тем, как идти спать, думает об улице или прогулке? Напротив, весьма легко себе представить, что на него вечером нападает страх потому, что его перед тем, как лечь в постель, с особенной силой охватывает либидо, объектом которого является мать, а цель которого — спать у матери. Он уже из опыта знает, что при подобных настроениях в Гмундене мать брала его к себе в постель, и ему хотелось бы добиться этого и в Вене. При этом не надо забывать, что в Гмундене он одно время был с матерью один, так как отец не мог там находиться в продолжение всего каникулярного времени, а кроме того, там нежность Ганса была распределена между рядом товарищей, друзей и приятельниц, которых здесь не было, и либидо могло нераздельно направляться на мать.

Итак, страх соответствует вытесненному желанию (Sehnsucht). Но он далеко не эквивалентен этому желанию, и вытеснение кое в чем оказывает свое влияние. Желание может целиком вылиться в удовлетворение, когда к нему допускают желаемый объект. При страхе это лечение уже бесполезно. Страх остается даже тогда, когда желание могло бы быть удовлетворенным. Страх уже больше нельзя обратно превратить в либидо, которое чем-то удерживается в состоянии вытеснения. Это обнаруживается на первой же прогулке с матерью. Ганс теперь с матерью и все-таки одержим страхом, иначе говоря, неудовлетворенным стремлением к ней. Конечно, страх слабее, — он все-таки гуляет, в то время как няню он заставил вернуться; к тому же улица не совсем подходящее место для ласк и для всего того, чего хочется маленькому влюбленному. Но страх уже выдержал испытание, и теперь он должен найти объект. На этой прогулке он в первый раз высказывает опасение, что его укусит лошадь. Откуда взялся материал для этой фобии? Вероятно, из тех еще неизвестных комплексов, которые повели к вытеснению и удержали в вытесненном состоянии либидо к матери. Некоторые опорные пункты для понимания дал нам уже отец, а именно — что Ганс с интересом наблюдал лошадей из-за их большого Wiwimacher'a, что, по его мнению, у матери должен быть такой же Wiwimacher, как у лошадей, и т. п. На основании этого можно было бы думать, что лошадь — это только заместительница матери. Но почему Ганс выказывает вечером страх, что лошадь придет в комнату? Скажут, что это глупая тревожная мысль маленького ребенка. Но невроз, как и сон, не говорит ничего глупого. Мы всегда бранимся тогда, когда ничего не понимаем. Это значит облегчить себе задачу.

От этого искушения мы должны удержаться еще и в другом отношении. Ганс сознавался, что для удовольствия перед засыпанием возится со своим пенисом.

Ну, скажет практический врач, теперь все ясно. Ребенок мастурбирует, и отсюда страх. Пусть так! То, что дитя вызывало у себя мастурбацией ощущения удовольствия, никак не объясняет нам его страха, а, наоборот, делает его загадочным. Состояния страха не вызываются ни мастурбацией, ни удовлетворением. При этом мы должны иметь в виду, что наш Ганс, которому теперь 4 $^{3}/_{4}$ года, доставляет себе ежевечерне это удовольствие уже примерно с год, и мы позже узнаем, что он как раз теперь «борется» с этой привычкой, что уже скорее вяжется с вытеснением и образованием страха.

Мы должны стать и на сторону доброй и, конечно, весьма заботливой матери. Отец обвиняет ее, и не совсем без основания, что она своей преувеличенной нежностью и слишком частой готовностью взять мальчика к себе в кровать вызвала появление невроза; мы могли бы также сделать ей упрек в том, что она ускорила наступление вытеснения своим энергичным отказом в ответ на его домогательства («это — свинство»).

Но ее положение затруднительно, и она только исполняет веление судьбы.

Я условливаюсь с отцом, чтобы тот сказал мальчику, что история с лошадьми — это глупость и больше ничего. На самом деле он болен оттого, что слишком нежен с матерью и хочет, чтобы она брала его к себе в кровать. Он теперь боится лошадей потому, что его так заинтересовал Wiwimacher у лошадей. Он сам заметил, что неправильно так сильно интересоваться Wiwimacher'ом, даже своим собственным, и это совершенно верно. Далее я предложил отцу взяться за сексуальное просвещение Ганса. Так как мы из записей отца знаем, что либидо Ганса связано с желанием видеть Wiwimacher матери, то нужно отвлечь его от этой цели, сообщив ему, что у матери и у всех других женщин, как это он уже видел у Анны, Wiwimacher'a вообще не имеется. Последнее объяснение следует дать при удобном случае, после какого-нибудь вопроса со стороны Ганса.

Следующие известия, касающиеся нашего маленького Ганса, обнимают период с 1 до 17 марта. Месячная пауза вскоре получит свое объяснение.

«После разъяснения[1] следует более спокойный период, когда Ганса можно ежедневно без особенного труда вести гулять в городской парк. Его страх перед лошадьми все больше превращается в навязчивое стремление смотреть на лошадей. Он говорит: "Я должен смотреть на лошадей, и тогда я их боюсь".

После инфлюэнцы, которая его на 2 недели приковала к постели, фобия его опять настолько усилилась, что его никак нельзя было заставить выйти на улицу; в крайнем случае он выходит на балкон. Еженедельно он ездит со мной в Лайнц[2] по воскресеньям, так как в эти дни на улицах мало экипажей и ему нужно пройти очень короткое расстояние до станции. В Лайнце он однажды отказывается выйти из сада на улицу гулять, так как перед садом стоит экипаж. Еще через неделю, которую ему пришлось оставаться дома, так как у него вырезали миндалины, фобия опять усилилась. Он хотя все еще выходит на балкон, но не идет гулять; он быстро возвращается, когда подходит к воротам.

В воскресенье 1 марта по дороге на вокзал у меня завязывается с ним следующий разговор. Я опять стараюсь ему объяснить, что лошади не кусаются. Он: "Но

---

[1] Что означает его страх, но еще ничего о Wiwimacher'е женщин.

[2] Предместье Вены, где живут его дедушка и бабушка.

белые лошади кусаются. В Гмундене есть белая лошадь, которая кусается. Когда перед ней держат палец, она кусает". (Меня удивляет, что он говорит "палец" вместо "руку".) Затем он рассказывает следующую историю, которую я здесь передаю более связно.

Когда Лицци должна была уезжать, перед ее домом стоял экипаж с белой лошадью, чтобы отвезти вещи на вокзал. (Лицци, как он мне рассказывает, это девочка, жившая в соседнем доме.) Ее отец стоял близко около лошади; лошадь повернула голову (чтобы его тронуть), а он и говорит Лицци: "Не давай пальцев белой лошади, а то она тебя укусит". Я говорю на это: "Слушай, мне кажется, что то, что ты думаешь, вовсе не лошадь, а Wiwimacher, который нельзя трогать руками".

Он: "Но ведь Wiwimacher не кусается?"

Я: "Все может быть!" На что он мне весьма оживленно старается доказать, что там действительно была белая лошадь[1].

2 марта, когда он опять выказывает страх, я говорю ему: "Знаешь что? Глупость (так называет он свою фобию) пропадет, если ты будешь чаще ходить гулять. Теперь она так сильна, потому что ты из-за болезни не выходил из дому".

Он: "О нет, она сильна потому, что я начал каждую ночь трогать рукой свой Wiwimacher"».

Врач и пациент, отец и сын сходятся на том, что приписывают отвыканию от онанизма главную роль в патогенезе нынешнего состояния. Но имеются указания и на значение других моментов.

«3 марта к нам поступила новая прислуга, которая возбудила в Гансе особую симпатию. Так как она при уборке комнат сажает его на себя, он называет ее "моя лошадь" и всегда держит ее за юбку, понукая ее. 10 марта он говорит ей: "Когда вы сделаете то-то и то-то, вы должны будете совершенно раздеться, даже снять рубашку". (Он думает — в наказание, но за этими словами легко видеть и желание.)

Она: "Ну что же из этого: я себе подумаю, что у меня нет денег на платье".

Он: "Но это же стыд, ведь все увидят Wiwimacher".

Старое любопытство направлено на новый объект, и, как это бывает в периоды вытеснения, оно прикрывается морализирующей тенденцией!

Утром 13 марта я говорю Гансу: "Знаешь, когда ты перестанешь трогать свой Wiwimacher, твоя глупость начнет проходить".

Ганс: "Я ведь теперь больше не трогаю Wiwimacher".

Я: "Но ты этого всегда хотел бы".

Ганс: "Да, это так, но "хотеть" не значит делать, а "делать" — это не "хотеть" (!!).

Я: «Для того чтобы ты не хотел, на тебя сегодня на ночь наденут мешок».

После этого мы выходим за ворота. Он хотя еще и испытывает страх, но благодаря надежде на облегчение своей борьбы говорит заметно храбрее: "Ну, завтра, когда я получу мешок, глупости больше не будет". В самом деле, он пугается лошадей значительно меньше и довольно спокойно пропускает мимо себя проезжающие кареты.

[1] У отца нет основания сомневаться, что Ганс рассказывает здесь действительное происшествие. Впрочем, при ощущениях зуда в головке члена, которые заставляют прикасаться к нему, дети говорят обыкновенно: «Меня кусает».

В следующее воскресенье, 15 марта, Ганс обещал поехать со мной в Лайнц. Сначала он капризничает, наконец он все-таки идет со мной. На улице, где мало экипажей, он чувствует себя заметно лучше и говорит: "Это умно, что боженька уже выпустил лошадь". По дороге я объясняю ему, что у его сестры нет такого же Wiwimacher'a, как у него. Девочки и женщины не имеют совсем Wiwimacher'a. У мамы нет, у Анны нет и т. д.

Ганс: "У тебя есть Wiwimacher?"

Я: "Конечно, а ты что думал?"

Ганс (после паузы): "Как же девочки делают wiwi, когда у них нет Wiwimacher'a?"

Я: "У них нет такого Wiwimacher'a, как у тебя, разве ты не видел, когда Анну купали?"

В продолжение всего дня он весел, катается на санях и т. д. Только к вечеру он становится печальным и, по-видимому, опять боится лошадей.

Вечером нервный припадок и нужда в нежничании выражены слабее, чем в прежние дни. На следующий день мать берет его с собой в город, и на улице он испытывает большой страх. На другой день он остается дома — и очень весел. На следующее утро около 6 ч он входит к нам с выражением страха на лице. На вопрос, что с ним, он рассказывает: "Я чуть-чуть трогал пальцем Wiwimacher. Потом я видел маму совсем голой в сорочке, и она показала мне свой Wiwimacher. Я показал Грете[1], моей Грете, что мама делает, и показал ей мой Wiwimacher. Тут я скоро и отнял руку от Wiwimacher'a". На мое замечание, что может быть только одно из двух: или в сорочке, или совершенно голая, Ганс говорит: "Она была в сорочке, но сорочка была такая короткая, что я видел Wiwimacher".

Все это в целом — не сон, но эквивалентная сну онанистическая фантазия. То, что он заставляет делать мать, служит, по-видимому, для его собственного оправдания: раз мама показывает Wiwimacher, можно и мне».

Из этой фантазии мы можем отметить следующее: во-первых, что замечание матери в свое время имело на него сильное влияние, и, во-вторых, что разъяснение об отсутствии у женщин Wiwimacher'a еще не было им принято. Он сожалеет, что на самом деле это так, и в своей фантазии прочно держится за свою точку зрения. Быть может, у него есть свои основания отказывать отцу в доверии.

Недельный отчет отца: «Уважаемый г-н профессор! Ниже следует продолжение истории нашего Ганса, интереснейший отрывок. Быть может, я позволю себе посетить вас в понедельник, в приемные часы и, если удастся, приведу с собой Ганса, конечно, если он пойдет. Сегодня я его спросил: "Хочешь пойти со мной в понедельник к профессору, который у тебя отнимет глупость?"

Он: "Нет".

Я: "Но у него есть очень хорошенькая девочка". После этого он охотно и с удовольствием дает свое согласие.

Воскресенье, 22 марта. Чтобы несколько расширить воскресную программу дня, я предлагаю Гансу поехать сначала в Шёнбрунн и только оттуда к обеду — в Лайнц. Таким образом, ему приходится не только пройти пешком от квартиры

[1] Грета — одна из девочек в Гмундене, о которой Ганс теперь как раз фантазирует; он разговаривает и играет с ней.

до станции у таможни, но еще от станции Гитцинг в Шёнбрунн, а оттуда к станции парового трамвая Гитцинг. Все это он и проделывает, причем он, когда видит лошадей, быстро отворачивается, так как ему делается, по-видимому, страшно. Отворачивается он по совету матери.

В Шёнбрунне он проявляет страх перед животными. Так, он ни за что не хочет войти в помещение, в котором находится жираф, не хочет войти к слону, который обыкновенно его весьма развлекает. Он боится всех крупных животных, а у маленьких чувствует себя хорошо. Среди птиц на этот раз он боится пеликана, чего раньше никогда не было, вероятно, из-за его величины.

Я ему на это говорю: "Знаешь, почему ты боишься больших животных? У больших животных большой Wiwimacher, а ты на самом деле испытываешь страх перед большим Wiwimacher'ом".

Ганс: "Но я ведь никогда не видел Wiwimacher у больших животных"[1].

Я: "У лошади ты видел, а ведь лошадь тоже большое животное".

Ганс: "Да, у лошади — часто. Один раз в Гмундене, когда перед домом стоял экипаж, один раз перед таможней".

Я: "Когда ты был маленьким, ты, вероятно, в Гмундене пошел в конюшню..."

Ганс (прерывая): "Да, каждый день в Гмундене, когда лошади приходили домой, я заходил в конюшню".

Я: "...и ты, вероятно, начал бояться, когда однажды увидел у лошади большой Wiwimacher. Но тебе этого нечего пугаться. У больших животных большой Wiwimacher, у маленьких — маленький".

Ганс: "И у всех людей есть Wiwimacher, и Wiwimacher вырастет вместе со мной, когда я стану больше; ведь он уже вырос".

На этом разговор прекращается; в следующие дни страх как будто опять увеличился. Он не решается выйти за ворота, куда его обыкновенно водят после обеда».

Последняя утешительная речь Ганса проливает свет на положение вещей и дает нам возможность внести некоторую поправку в утверждения отца. Верно, что он боится больших животных, потому что он должен думать об их большом Wiwimacher'е, но, собственно, нельзя еще говорить, что он испытывает перед самим большим Wiwimacher'ом. Представление о таковом было у него раньше, безусловно, окрашено чувством удовольствия, и он всячески старался как-нибудь увидеть этот Wiwimacher. С того времени это удовольствие было испорчено превращением его в неудовольствие, которое, непонятным еще для нас образом, охватило все его сексуальное исследование и, что для нас более ясно, после известного опыта и размышлений привело его к мучительным выводам. Из его самоутешения: Wiwimacher вырастет вместе со мною — можно заключить, что он при своих наблюдениях всегда занимался сравнениями и остался весьма неудовлетворенным величиной своего собственного Wiwimacher'а. Об этом дефекте напоминают ему большие животные, которые для него по этой причине неприятны. Но так как весь ход мыслей, вероятно, никак не может стать ясно сознавае-

[1] Это неверно. Ср. его восклицание перед клеткой льва; здесь, вероятно, начинающееся забывание вследствие вытеснения.

мым, то это тягостное ощущение превращается в страх; таким образом, страх его построен как на прежнем удовольствии, так и на теперешнем неудовольствии. После того как состояние страха уже установилось, страх поглощает все остальные ощущения. Когда процесс вытеснения прогрессирует, когда представления, связанные с аффектом и уже бывшие осознанными, все больше отодвигаются в бессознательное, — все аффекты могут превратиться в страх.

Курьезное замечание Ганса «он ведь уже вырос» дает нам возможность в связи с его самоутешением угадать многое, что он не может высказать и чего он не высказал при настоящем анализе.

Я заполняю этот пробел моими предположениями, составленными на основании опыта с анализами взрослых. Но я надеюсь, что мои дополнения не покажутся включенными насильственно и произвольно. «Ведь он уже вырос». Об этом Ганс думает назло и для самоутешения; но это напоминает нам и старую угрозу матери: что ему отрежут Wiwimacher, если он будет продолжать возиться с ним. Эта угроза тогда, когда ему было 3 ½ года, не произвела впечатления. Он с невозмутимостью ответил, что он тогда будет делать wiwi своим popo. Можно считать вполне типичным, что угроза кастрацией оказала свое влияние только через большой промежуток времени, и он теперь — через 1 ¼ года — находится в страхе лишиться дорогой частички своего Я. Подобные проявляющиеся лишь впоследствии влияния приказаний и угроз, сделанных в детстве, можно наблюдать и в других случаях болезни, где интервал охватывает десятилетия и больше. Я даже знаю случаи, когда «запоздалое послушание» вытеснения оказывало существенное влияние на детерминирование болезненных симптомов.

Разъяснение, которое Ганс недавно получил об отсутствии Wiwimacher'a у женщин, могло только поколебать его доверие к себе и пробудить кастрационный комплекс. Поэтому он и протестовал против него, и поэтому не получилось лечебного эффекта от этого сообщения: раз действительно имеются живые существа, у которых нет никакого Wiwimacher'a, тогда уже нет ничего невероятного в том, что у него могут отнять Wiwimacher и таким образом сделают его женщиной[1].

«Ночью с 27-го на 28-е Ганс неожиданно для нас в темноте встает со своей кровати и влезает в нашу кровать. Его комната отделена от нашей спальни кабинетом. Мы спрашиваем его, зачем он пришел, не боялся ли он чего-нибудь. Он говорит: "Нет, я это скажу завтра", засыпает в нашей кровати, и затем уже его относят в его кровать.

---

[1] Я не могу настолько прерывать изложение, чтобы указать, как много типичного в этом бессознательном ходе мыслей, который я приписываю маленькому Гансу. Кастрационный комплекс — это самый глубокий бессознательный корень антисемитизма, потому что еще в детской мальчик часто слышит, что у евреев отрезают что-то, — он думает, кусочек пениса, и это дает ему право относиться с презрением к евреям. И сознание превосходства над женщиной имеет тот же бессознательный корень. Вайнингер, этот талантливый и сексуально больной молодой философ, который после своей удивительной книги «Пол и характер» покончил жизнь самоубийством, в одной обратившей на себя внимание многих главе осыпал евреев и женщин с одинаковой злобой одинаковыми ругательствами. Вайнингер, как невротик, находился всецело под влиянием инфантильных комплексов; отношение к кастрационному комплексу — это общее для женщины и еврея.

На следующее утро я начинаю его усовещивать, чтобы узнать, зачем он ночью пришел к нам. После некоторого сопротивления развивается следующий диалог, который я сейчас же стенографически записываю.

Он: “Ночью в комнате был один большой и другой измятый жираф, и большой поднял крик, потому что я отнял у него измятого. Потом он перестал кричать, а потом я сел на измятого жирафа”.

Я, с удивлением: “Что? Измятый жираф? Как это было?”

Он: “Да”. Быстро приносит бумагу, быстро мнет и говорит мне: “Вот так был он измят”.

Я: “И ты сел на измятого жирафа? Как?” Он это мне опять показывает и садится на пол.

Я: “Зачем же ты пришел в комнату?”

Он: “Этого я сам не знаю”.

Я: “Ты боялся?”

Он: “Нет, как будто нет”.

Я: “Тебе снились жирафы?”

Он: “Нет, не снились; я себе это думал, все это я себе думал, проснулся я уже раньше”.

Я: “Что это должно значить: измятый жираф? Ведь ты знаешь, что жирафа нельзя смять, как кусок бумаги”.

Он: “Это я знаю. Я себе так думал. Этого даже не бывает на свете[1]. Измятый жираф совсем лежал на полу, а я его взял себе, взял руками”.

Я: “Что, разве можно такого большого жирафа взять руками?”

Он: “Я взял руками измятого”.

Я: “А где в это время был большой?”

Он: “Большой-то стоял дальше, в сторонке”.

Я: “А что ты сделал с измятым?”

Он: “Я его немножко подержал в руках, пока большой перестал кричать, а потом сел на него”.

Я: “А зачем большой кричал?”

Он: “Потому что я у него отнял маленького”. Замечает, что я все записываю, и спрашивает: “Зачем ты все записываешь?”

Я: “Потому что я это пошлю одному профессору, который у тебя отнимет глупость”.

Он: “Ага, а ты ведь написал и то, что мама сняла рубашку, ты это тоже дашь профессору?”

Я: “Да, и ты можешь поверить, что он не поймет, как можно измять жирафа”.

Он: “А ты ему скажи, что я сам этого не знаю, и тогда он не будет спрашивать, а когда он спросит, что такое измятый жираф, пусть он нам напишет, и мы ему ответим или сейчас напишем, что я сам этого не знаю”.

Я: “Почему же ты пришел ночью?”

Он: “Я этого не знаю”.

---

[1] Ганс на своем языке определенно заявляет, что это была фантазия.

Я: "Скажи-ка мне быстро, о чем ты теперь думаешь?"

Он (с юмором): "О малиновом соке".

Я: "О чем еще?"

Он: "О настоящем ружье для убивания насмерть"[1].

(Его желания)

Я: "Тебе ведь это не снилось?"

Он: "Наверно, нет; нет — я знаю совершенно определенно".

Он продолжает рассказывать: "Мама меня так долго просила, чтобы я ей сказал, зачем я приходил ночью. А я этого не хотел сказать, потому что мне было стыдно перед мамой".

Я: "Почему?"

Он: "Я этого не знаю".

В действительности жена моя расспрашивала его все утро, пока он не рассказал ей историю с жирафами.

В тот же день находит разгадку фантазия с жирафами.

Большой жираф — это я (большой пенис — длинная шея), измятый жираф — моя жена (ее половые органы), и все это — результат моего разъяснения.

Жираф: см. поездку в Шёнбрунн.

Кроме того, изображения жирафа и слона висят над его кроватью.

Все вместе есть репродукция сцены, повторяющейся в последнее время почти каждое утро. Ганс приходит утром к нам, и моя жена не может удержаться, чтобы не взять его на несколько минут к себе в кровать. Тут я обыкновенно начинаю ее убеждать не делать этого ("большой жираф кричал, потому что я отнял у него измятого"), а она с раздражением мне отвечает, что это бессмысленно, что одна минута не может иметь последствий и т. д. После этого Ганс остается у нее на короткое время (тогда большой жираф перестал кричать и тогда я сел на измятого жирафа).

Разрешение этой семейной сцены, транспонированной на жизнь жирафов, сводится к следующему: ночью у него появилось сильное стремление к матери, к ее ласкам, ее половому органу, и поэтому он пришел в спальню. Все это — продолжение его боязни лошадей».

Я мог бы к остроумному толкованию отца прибавить только следующее: «сесть (Das Drauf setzen) на что-нибудь» у Ганса, вероятно, соответствует представлению об обладании (Besit zergreifen). Все вместе — это фантазия упрямства, которая с чувством удовлетворения связана с победой над сопротивлением отца: «Кричи сколько хочешь, а мама все-таки возьмет меня в кровать, и мама принадлежит мне». Таким образом, за этой фантазией скрывается все то, что предполагает отец: страх, что его не любит мать, потому что его Wiwimacher несравненно меньше, чем у отца.

На следующее утро отец находит подтверждение своего толкования.

"В воскресенье, 28 марта, я еду с Гансом в Лайнц. В дверях, прощаясь, я шутя говорю жене: "Прощай, большой жираф". Ганс спрашивает: "Почему жираф?" Я: "Большой жираф — это мама". Ганс: "Неправда, а разве Анна — это измятый жираф?"

---

[1] Отец, чувствуя свою беспомощность, пробует применить классический прием психоанализа. Это не много ему помогает, но полученные данные могут все-таки иметь глубокий смысл в свете дальнейших открытий.

В вагоне я разъясняю ему фантазию с жирафами. Он сначала говорит: “Да, это верно”, а затем, когда я ему указал, что большой жираф — это я, так как длинная шея напомнила ему Wiwimacher, он говорит: “У мамы тоже шея как у жирафа — я это видел, когда мама мыла свою белую шею”[1].

В понедельник 30 марта утром Ганс приходит ко мне и говорит: “Слушай, сегодня я себе подумал две вещи. Первая? Я был с тобой в Шёнбрунне у овец, и там мы пролезли под веревки, потом мы это сказали сторожу у входа, а он нас и сцапал”. Вторую он забыл.

По поводу этого я могу заметить следующее: когда мы в воскресенье в зоологическом саду хотели подойти к овцам, оказалось, что это место было огорожено веревкой, так что мы не могли попасть туда. Ганс был весьма удивлен, что ограждение сделано только веревкой, под которую легко пролезть. Я сказал ему, что приличные люди не пролезают под веревку. Ганс заметил, что ведь это так легко сделать. На это я ему сказал, что тогда придет сторож, который такого человека и уведет. У входа в Шёнбрунн стоит гвардеец, о котором я говорил Гансу, что он арестовывает дурных детей.

В этот же день, по возвращении от вас, Ганс сознался еще в нескольких желаниях сделать что-нибудь запрещенное. “Слушай, сегодня рано утром я опять о чем-то думал”. — “О чем?” — “Я ехал с тобой в вагоне, мы разбили стекло, и полицейский нас забрал”».

Правильное продолжение фантазии с жирафами. Он чувствует, что нельзя стремиться к обладанию матерью; он натолкнулся на границу, за которой следует кровосмешение. Но он считает это запретным только для себя. При всех запретных шалостях, которые он воспроизводит в своей фантазии, всегда присутствует отец, который вместе с ним подвергается аресту. Отец, как он думает, ведь тоже проделывает с матерью загадочное и запретное, как он себе представляет, что-то насильственное вроде разбивания стекла или проникания в загражденное пространство.

В этот же день в мои приемные часы меня посетили отец с сыном. Я уже раньше знал этого забавного малыша, милого в своей самоуверенности, которого мне всегда приятно было видеть. Не знаю, вспомнил ли он меня, но он вел себя безупречно, как вполне разумный член человеческого общества. Консультация была коротка. Отец начал с того, что страх Ганса перед лошадьми, несмотря на все разъяснения, не уменьшился. Мы должны были сознаться и в том, что связь между лошадьми, перед которыми он чувствовал страх, и между вскрытыми нежными влечениями к матери довольно слабая. Детали, которые я теперь узнал (Ганса больше всего смущает то, что лошади имеют над глазами и нечто черное у их рта), никак нельзя было объяснить теми данными, которые у нас имелись. Но когда я смотрел на них обоих и выслушивал рассказ о страхе, у меня блеснула мысль о следующей части толкования, которая, как я мог понять, должна была ускользнуть от отца. Я шутя спросил Ганса: не носят ли его лошади очков? Он отрицает это. Носит ли его отец очки? Это он опять отрицает, даже вопреки очевидности. Не называет ли он «черным у рта» усы? Затем я объясняю ему, что он чувствует страх

[1] Ганс подтверждает теперь толкование в той части, что оба жирафа соответствуют отцу и матери, но он не соглашается с сексуальной символикой, по которой жираф должен соответствовать пенису. Возможно, что эта символика верна, но от Ганса, по-видимому, пока большего нельзя и требовать.

перед отцом, потому что он так любит мать. Он мог бы думать, что отец за это на него зол. Но это неправда. Отец его все-таки сильно любит, и он может без страха во всем ему сознаваться. Уже давно, когда Ганса не было на свете, я уже знал, что появится маленький Ганс, который будет так любить свою маму и поэтому будет чувствовать страх перед отцом. И я об этом даже рассказывал его отцу. Тут отец прерывает меня. «Почему ты думаешь, что я сержусь на тебя? Разве я тебя ругал или бил?» — «Да, ты меня бил», — заявляет Ганс. «Это неправда. Когда?» — «Сегодня перед обедом». И отец вспоминает, что Ганс его совершенно неожиданно толкнул в живот, после чего он его рефлекторно шлепнул рукой. Замечательно, что эту деталь отец не привел в связь с неврозом, и только теперь он усмотрел в этом поступке выражение враждебного отношения мальчика, а также, быть может, проявление стремления получить за это наказание[1].

На обратном пути Ганс спрашивает у отца: «Разве профессор разговаривает с богом, что он все может знать раньше?» Я мог бы очень гордиться этим признанием из детских уст, если бы я сам не вызвал его своим шутливым хвастовством. После этой консультации я почти ежедневно получал сведения об изменениях в состоянии маленького пациента. Нельзя было, конечно, ожидать, что он после моего сообщения сразу освободится от страхов, но оказалось, что ему теперь дана уже была возможность обнаружить свою бессознательную продукцию и расплести свою фобию. С этого времени он проделал программу, которую я уже заранее мог бы изложить его отцу.

«2 апреля можно констатировать первое существенное улучшение. В то время как до сих пор его никак нельзя было заставить выйти за ворота на сколько-нибудь продолжительное время и он со всеми признаками ужаса мчался домой, когда появлялись лошади, теперь он остается перед воротами целый час и даже тогда, когда проезжают мимо экипажи, что у нас случается довольно часто. Время от времени он бежит в дом, когда видит вдали лошадей, но сейчас же, как бы передумав, возвращается обратно. Но от страха осталась уже только частица, и нельзя не констатировать улучшения с момента разъяснения.

Вечером он говорит: “Раз мы уже идем за ворота, мы поедем и в парк”.

3 апреля он рано утром приходит ко мне в кровать, в то время как за последние дни он больше не приходил ко мне и как бы гордился своим воздержанием. Я спрашиваю: “Почему же ты сегодня пришел?”

Ганс: “Пока я не перестану бояться, я больше не приду”.

Я: “Значит, ты приходишь ко мне потому, что ты боишься?”

Ганс: “Когда я не у тебя — я боюсь; когда я не у тебя в кровати — я боюсь. Когда я больше не буду бояться, я больше не приду”.

Я: “Значит, ты меня любишь, и на тебя находит страх, когда ты утром находишься в своей постели; поэтому ты приходишь ко мне?”

Ганс: “Да. А почему ты сказал мне, что я люблю маму и на меня находит страх, потому что я люблю тебя?”

Мальчик теперь в своих выражениях достигает необыкновенной ясности. Он дает понять, что в нем борется любовь к отцу с враждебностью к нему же из-за

---

[1] Эту реакцию мальчик повторил позже более отчетливым и полным образом. Он сначала ударил отца по руке, а затем начал эту же руку нежно целовать.

соперничества к матери, и он делает отцу упрек за то, что тот до сих пор не обратил его внимания на эту игру сил, которая превращалась в страх. Отец еще его не вполне понимает, потому что он только после этого разговора убеждается во враждебности мальчика, на которой я настаивал уже при нашей консультации. Нижеследующее, которое я привожу в неизмененном виде, собственно говоря, более важно в смысле разъяснения для отца, чем для маленького пациента.

"Это возражение я, к сожалению, не сразу понял во всем его значении. Так как Ганс любит мать, он, очевидно, хочет, чтобы меня не было, и он был бы тогда на месте отца. Это подавленное враждебное желание становится страхом за отца, и он приходит рано утром ко мне, чтобы видеть, не ушел ли я. К сожалению, я в этот момент всего этого не понимал и говорю ему:

"Когда ты один, тебе жутко, что меня нет, и ты приходишь сюда".

Ганс: "Когда тебя нет, я боюсь, что ты не придешь домой".

Я: "Разве я когда-нибудь грозил тебе тем, что не приду домой?"

Ганс: "Ты — нет, но мама — да. Мама говорила мне, что она больше не приедет". (Вероятно, он дурно вел себя, и она пригрозила ему своим уходом.)

Я: "Она это сказала тебе, потому что ты себя дурно вел?"

Ганс: "Да".

Я: "Значит, ты боишься, что я уйду, потому что ты себя дурно вел, и из-за этого ты приходишь ко мне?"

За завтраком я встаю из-за стола, и Ганс говорит мне: "Папа, не убегай отсюда!" Я обращаю внимание на то, что он говорит "убегай" вместо "уходи", и отвечаю ему: "Ага, ты боишься, что лошадь убежит отсюда?" Он смеется».

Мы знаем, что эта часть страха Ганса носит двойственный характер: страх перед отцом и страх за отца. Первое происходит от враждебности по отношению к отцу, второе — от конфликта между нежностью, которая здесь реактивно увеличена, и враждебностью.

Отец продолжает: «Это, несомненно, начало важной части анализа. То, что он решается в крайнем случае только выйти за ворота, но от ворот не отходит, что он при первом приступе страха возвращается с половины пути, — мотивировано страхом не застать родителей дома, потому что они ушли. Он не отходит от дома из любви к матери, и он боится, что я уйду вследствие его враждебных желаний (по отношению ко мне) занять место отца.

Летом я несколько раз по своим делам ездил из Гмундена в Вену; тогда отцом был он. Напоминаю, что страх перед лошадьми связан с переживанием в Гмундене, когда лошадь должна была отвезти багаж Лицци на вокзал. Вытесненное желание, чтобы я поехал на вокзал и он остался один с матерью ("чтобы лошадь уехала"), превращается в страх перед отъездом лошадей. И действительно, ничто не наводит на него большего страха, как отъезд экипажей со двора таможни, находящейся против нас.

Эта новая часть (враждебные помыслы против отца) обнаруживается только после того, как он узнает, что я не сержусь на него за то, что он так любит маму.

После обеда я опять выхожу с ним за ворота, он опять ходит перед домом и остается там даже тогда, когда проезжают экипажи. Только при проезде некоторых экипажей он испытывает страх и бежит во двор. Он даже мне объясняет: "Не все

белые лошади кусаются”. Это значит: после анализа в некоторых белых лошадях он узнал отца, и они больше не кусаются, но остаются еще другие лошади, которые кусаются.

План улицы перед нашими воротами следующий: напротив находится склад таможни с платформой, к которой в течение всего дня подъезжают возы, чтобы забрать ящики и т. п. От улицы этот двор отделяется решеткой. Как раз против нашей квартиры находятся ворота этого двора. Я уже несколько дней замечаю, что Ганс испытывает особенно сильный страх, когда возы въезжают и выезжают из этих ворот и при этом должны поворачивать. В свое время я его спросил, чего он так боится, на что он сказал мне: “Я боюсь, что лошади упадут во время поворота” (A). Так же сильно волнуется он, когда возы, стоящие перед платформой для выгрузки, неожиданно приходят в движение, чтобы отъехать (B). Далее (C) он больше боится больших ломовых лошадей, чем маленьких, крестьянских лошадей — больше, чем элегантных (как, например, в экипажах). Он также испытывает больший страх, когда воз проезжает мимо очень быстро (D), чем когда лошади плетутся медленно. Все эти различия выступили отчетливо только в последние дни».

Я позволил бы себе сказать, что благодаря анализу стал смелее не только пациент, но и его фобия, которая решается выступать с большей ясностью.

«5 апреля Ганс опять приходит в спальню и направляется нами обратно в свою кровать. Я говорю ему. “До тех пор, пока ты будешь рано утром приходить в спальню, страх перед лошадьми не исчезнет”. Но он упорствует и отвечает: “Я все-таки буду приходить, когда у меня страх”. Итак, он не хочет, чтобы ему запретили визиты к маме.

После завтрака мы должны сойти вниз. Ганс очень радуется этому и собирается вместо того, чтобы остаться, как обыкновенно, у ворот, перейти через улицу во двор, где, как он часто наблюдал, играет много мальчиков. Я говорю ему, что мне доставит удовольствие, когда он перейдет улицу, и, пользуясь случаем, спрашиваю его, почему он испытывает страх, когда нагруженные возы отъезжают от платформы (B).

Ганс: “Я боюсь, когда я стою у воза, а воз быстро отъезжает, и я стою на нем, хочу оттуда влезть на доски (платформу), и я отъезжаю вместе с возом”.

Я: “А когда воз стоит, тогда ты не боишься? Почему?”

Ганс: “Когда воз стоит, я быстро вхожу на него и перехожу на доски”.

(Ганс, таким образом, собирается перелезть через воз на платформу и боится, что воз тронется, когда он будет стоять на нем.)

Я: “Может быть, ты боишься, что, когда ты уедешь с возом, ты не придешь больше домой?”

Ганс: “О нет, я всегда могу еще прийти к маме на возу или на извозчике; я ему даже могу сказать номер дома”.

Я: “Чего же ты тогда боишься?”

Ганс: “Я этого не знаю, но профессор это будет знать”.

Я: “Так ты думаешь, что он узнает? Почему тебе хочется перебраться через воз на доски?”

Ганс: “Потому, что я еще никогда там наверху не был, а мне так хотелось бы быть там, и знаешь почему? Потому, что я хотел бы нагружать и разгружать тюки

и лазать по ним. Мне ужасно хотелось бы лазать по тюкам. А знаешь, от кого я научился лазать? Я видел, что мальчишки лазают по тюкам, и мне тоже хотелось бы это делать".

Его желание не осуществилось потому, что, когда Ганс решился выйти за ворота, несколько шагов по улице вызвали в нем слишком большое сопротивление, так как во дворе все время проезжали возы».

Профессор знает также только то, что эта предполагаемая игра Ганса с нагруженными возами должна иметь символическое, замещающее отношение к другому желанию, которое еще не высказано. Но это желание можно было бы сконструировать и теперь, как бы это ни показалось смелым.

«После обеда мы опять идем за ворота, и по возвращении я спрашиваю Ганса: "Каких лошадей ты, собственно, больше всего боишься?"

Ганс: "Всех".

Я: "Это неверно".

Ганс: "Больше всего я боюсь лошадей, которые имеют что-то у рта".

Я: "О чем ты говоришь? О железе, которое они носят во рту?"

Ганс: "Нет, у них есть что-то черное у рта" (прикрывает свой рот рукой).

Я: "Может быть, усы?"

Ганс (смеется): "О нет!"

Я: "Это имеется у всех лошадей?"

Ганс: "Нет, только у некоторых".

Я: "Что же это у них у рта?"

Ганс: "Что-то черное". (Я думаю, что на самом деле это — ремень, который ломовые лошади носят поперек головы.) "Я боюсь тоже больше всего мебельных фургонов".

Я: "Почему?"

Ганс: "Я думаю, что, когда ломовые лошади тянут тяжелый фургон, они могут упасть".

Я: "Значит, маленьких возов ты не боишься?"

Ганс: "Нет, маленьких и почтовых я не боюсь. Я еще больше всего боюсь, когда проезжает омнибус".

Я: "Почему? Потому что он такой большой?"

Ганс: "Нет, потому что однажды в таком омнибусе упала лошадь".

Я: "Когда?"

Ганс: "Однажды, когда я шел с мамой, несмотря на глупость, когда я купил жилетку". (Это потом подтверждается матерью.)

Я: "Что ты себе думал, когда упала лошадь?"

Ганс: "Что теперь всегда будет так — все лошади в омнибусах будут падать".

Я: "В каждом омнибусе?"

Ганс: "Да, и в мебельных фургонах. В мебельных не так часто".

Я: "Тогда уже у тебя была твоя глупость?"

Ганс: "Нет, я получил ее позже. Когда лошадь в мебельном фургоне опрокинулась, я так сильно испугался! Потом уже, когда я пошел, я получил свою глупость".

Я: "Ведь глупость была в том, что ты себе думал, что тебя укусит лошадь. А теперь, как оказывается, ты боялся, что упадет лошадь?"

Ганс: “Опрокинется и укусит”[1].

Я: “Почему же ты так испугался?”

Ганс: “Потому что лошадь делала ногами так (ложится на землю и начинает барахтаться). Я испугался, потому что она ногами производила шум”.

Я: “Где ты тогда был с мамой?”

Ганс: “Сначала на катке, потом в кафе, потом покупали жилетку, потом в кондитерской, а потом вечером домой мы проходили через парк”.

(Моя жена подтверждает все это, а также и то, что непосредственно за этим появился страх.)

Я: “Лошадь умерла после того, как упала?”

Ганс: “Да”.

Я: “Откуда ты это знаешь?”

Ганс: “Потому что я это видел (смеется). Нет, она совсем не умерла”.

Я: “Быть может, ты себе думал, что она умерла?”

Ганс: “Нет, наверное, нет. Я это сказал только в шутку”. (Выражение лица его тогда было серьезным.)

Так как он уже устал, я оставляю его в покое. Он успевает еще мне рассказать, что он сначала боялся лошадей, впряженных в омнибус, а позже всяких других и только недавно — лошадей, впряженных в мебельные фургоны.

На обратном пути из Лайнца еще несколько вопросов:

Я: “Когда лошадь в омнибусе упала, какого цвета она была? Белого, красного, коричневого, серого?”

Ганс: “Черного, обе лошади были черные”.

Я: “Была она велика или мала?”

Ганс: “Велика”.

Я: “Толстая или худая?”

Ганс: “Толстая, очень большая и толстая”.

Я: “Когда лошадь упала, ты думал о папе?”

Ганс: “Может быть. Да, это возможно”».

Отец, быть может, во многих пунктах производит свои исследования без успеха; но, во всяком случае, нисколько не вредно ближе познакомиться с подобной фобией, которой мы охотно давали бы названия по ее новым объектам. Мы таким образом узнаем, насколько, собственно говоря, эта фобия универсальна. Она направлена на лошадей и на экипажи, на то, что лошади падают и кусаются, на лошадей с особенными признаками, на возы, которые сильно нагружены. Как нам удается узнать, все эти особенности происходят оттого, что страх первоначально относился не к лошадям и только вторично был перенесен (транспонирован) на них и фиксировался в тех местах комплекса лошадей, которые оказывались подходящими для известного переноса. Мы должны особенно высоко оценить один существенный факт, добытый исследованием отца. Мы узнали действительный повод, вызвавший появление фобии. Это — момент, когда мальчик видел, как упала большая ломовая лошадь, и, во всяком случае, одно из толкований этого впечатления, подчеркнутое отцом, указывает на то, что Ганс тогда ощущал желание,

[1] Ганс прав, как бы невероятно ни звучала эта комбинация. Как окажется впоследствии, связь заключалась в том, что лошадь (отец) укусит его за его желание, чтобы она (отец) опрокинулась.

чтобы его отец также упал — умер. Серьезное выражение во время рассказа как бы соответствует этой бессознательной идее. Не скрывается ли за этим и другая мысль? И что же означает этот шум, производимый ногами?

«С некоторого времени Ганс играет в комнате в лошадки, бегает, падает, топает ногами, ржет. Один раз он подвязывает себе мешочек, как бы мешок для корма. Несколько раз он подбегает ко мне и кусает».

Таким образом, он принимает последние толкования более решительно, чем он может сделать это на словах. Но при этом меняются роли, так как эта игра служит фантазии, основанной на желании. Следовательно, он — лошадь, он кусает отца, а в остальном он отождествляет себя с отцом.

«В последние два дня я замечаю, что Ганс самым решительным образом выступает против меня, хотя без дерзости, а скорее шаловливо. Не оттого ли это, что он больше не боится меня — лошади?

6 апреля. После обеда я и Ганс находимся перед домом. При появлении лошадей я каждый раз спрашиваю, не видит ли он у них "черного у рта". Он каждый раз отвечает на это отрицательно. Я спрашиваю, как именно выглядит это черное; он говорит, что это черное железо. Таким образом, мое первое предположение, что это толстый ремень в упряжи ломовых лошадей, не подтверждается. Я спрашиваю, не напоминает ли это "черное" усы; он говорит: только цветом. Итак, я до сих пор не знаю, что это на самом деле.

Страх становится меньше. Он решается на этот раз подойти к соседнему дому, но он быстро возвращается, когда слышит издали приближение лошадей. Если воз проезжает и останавливается у нашего дома, он в страхе бежит домой, так как лошадь топает ногой. Я спрашиваю его, почему он боится, быть может, его пугает то, что лошадь так делает (при этом я топаю ногой). Он говорит: "Не делай же такого шума ногами!" Сравни с его словами по поводу падения лошади в омнибусе.

Особенно пугается он, когда проезжает мебельный фургон. Он тогда вбегает в комнаты. Я равнодушно спрашиваю его: "Разве мебельный фургон не выглядит точно так же, как омнибус?"

Он ничего не отвечает. Я повторяю вопрос. Тогда он говорит: "Ну, конечно, иначе я не боялся бы мебельного фургона".

7 апреля. Сегодня я опять спрашиваю, как выглядит "черное у рта" лошади. Ганс говорит: "Как намордник". Удивительно то, что за последние три дня ни разу не проезжала лошадь, у которой имелся бы подобный "намордник". Я сам ни разу не видел подобной лошади во время прогулок, хотя Ганс настаивал на том, что такие лошади существуют. Я подозреваю, что ему действительно толстый ремень у рта напомнил усы и что после моего толкования и этот страх исчез.

Улучшение состояния Ганса становится более прочным, радиус круга его деятельности, считая наши ворота центром, становится все больше. Он решается даже на то, что до сих пор было невозможно, — перебежать на противоположный тротуар. Весь страх, который остался, связан только с омнибусом, и смысл этого страха мне во всяком случае еще неясен.

9 апреля. Сегодня утром Ганс входит, когда я, обнаженный до пояса, умываюсь.

Ганс: "Папа, ведь ты красивый, такой белый!"

Я: "Не правда ли, как белая лошадь?"

Ганс: "Только усы черные. Или, может быть, это черный намордник?"

Я рассказываю ему, что я вчера вечером был у профессора, и говорю: “Он хотел бы еще кое-что узнать”, — на что Ганс замечает: “Это мне ужасно любопытно”.

Я говорю ему, что знаю, при каких обстоятельствах он подымает шум ногами. Он прерывает меня: “Не правда ли, когда я сержусь или когда мне нужно делать Lumpf, а хочется лучше играть”. (Когда он злится, он обыкновенно топает ногами. Делать Lumpf означает акт дефекации. Когда Ганс был маленьким, он однажды, вставая с горшочка, сказал: “Смотри — Lumpf”. Он хотел сказать Strumpf (чулок), имея в виду сходство по форме и по цвету. Это обозначение осталось и до сих пор. Раньше, когда его нужно было сажать на горшок, а ему не хотелось прекратить игру, он обыкновенно топал ногами, начинал дрожать и иногда бросался на землю.)

“Ты подергиваешь ногами и тогда, когда тебе нужно сделать wiwi, а ты удерживаешься, потому что предпочитаешь играть”.

Он: “Слушай, мне нужно сделать wiwi”, — и он как бы для подтверждения выходит».

Отец во время его визита ко мне спрашивал меня, что должно было напоминать Гансу подергивание ногами лошади. Я указал ему на то, что это может напоминать Гансу его собственную реакцию задерживаемого позыва к мочеиспусканию. Ганс подтверждает это тем, что у него во время разговора появляется позыв, и он указывает еще и другие значения «шума, производимого ногами».

“Затем мы идем за ворота. Когда проезжает воз с углем, он говорит мне: “Слушай, угольный воз тоже наводит на меня страх”.

Я: “Быть может, потому, что он такой же большой, как омнибус?”

Ганс: “Да, и потому, что он сильно нагружен, и лошадям приходится так много тянуть, и они легко могут упасть. Когда воз пустой, я не боюсь”. Все это соответствует действительности».

И все же ситуация довольно неясна. Анализ мало подвигается вперед, и я боюсь, что изложение его скоро может показаться скучным для читателя. Но такие темные периоды бывают в каждом психоанализе. Вскоре Ганс, совершенно неожиданно для нас, переходит в другую область.

* * *

«Я прихожу домой и беседую с женой, которая сделала разные покупки и показывает их мне. Между ними — желтые дамские панталоны. Ганс много раз говорит “пфуй”, бросается на землю и отплевывается. Жена говорит, что он так делал уже несколько раз, когда видел панталоны.

Я спрашиваю: “Почему ты говоришь “пфуй”?”

Ганс: “Из-за панталон”.

Я: “Почему? Из-за цвета, потому что они желтые и напоминают тебе wiwi или Lumpf?”

Ганс: “Lumpf ведь не желтый, он белый или черный”. Непосредственно за этим: “Слушай, легко делать Lumpf, когда ешь сыр?” (Это я ему раз сказал, когда он меня спросил, почему я ем сыр.)

Я: “Да”.

Ганс: “Поэтому ты всегда рано утром уже идешь делать Lumpf. Мне хотелось бы съесть бутерброд с сыром”.

Уже вчера, когда он играл на улице, он спрашивал меня: “Слушай, не правда ли, после того как много прыгаешь, легко делаешь Lumpf?” Уже давно действие его кишечника связано с некоторыми затруднениями, часто приходится прибегать к детскому меду и к клистирам. Один раз его привычные запоры настолько усилились, что жена обращалась за советом к доктору Л. Доктор высказал мнение, что Ганса перекармливают, что соответствует действительности, и посоветовал сократить количество принимаемой им пищи, что сейчас же вызвало заметное улучшение. В последние дни запоры опять стали чаще.

После обеда я говорю ему: “Будем опять писать профессору”, — и он мне диктует: “Когда я видел желтые панталоны, я сказал “пфуй”, плюнул, бросился на пол, зажмурил глаза и не смотрел”.

Я: “Почему?”

Ганс: “Потому что я увидел желтые панталоны, и когда я увидел черные[1] панталоны, я тоже сделал что-то в этом роде. Черные это тоже панталоны, только они черные (прерывает себя). Слушай, я очень рад; когда я могу писать профессору, я всегда очень рад”.

Я: “Почему ты сказал “пфуй”? Тебе было противно?”

Ганс: “Да, потому что я их увидел. Я подумал, что мне нужно делать Lumpf”.

Я: “Почему?”

Ганс: “Я не знаю”.

Я: “Когда ты видел черные панталоны?”

Ганс: “Однажды давно, когда у нас была Анна (прислуга), у мамы, она только что принесла их после покупки домой”.

(Это подтверждается моей женой.)

Я: “И тебе было противно?”

Ганс: “Да”.

Я: “Ты маму видел в таких панталонах?”

Ганс: “Нет”.

Я: “А когда она раздевалась?”

Ганс: “Желтые я уже раз видел, когда она их купила” (противоречие! — желтые он увидел впервые, когда она их купила). “В черных она ходит сегодня (верно!), потому что я видел, как она их утром снимала”.

Я: “Как? Утром она снимала черные панталоны?”

Ганс: “Утром, когда она уходила, она сняла черные панталоны, а когда вернулась, она еще раз надела себе черные панталоны”.

Мне это кажется бессмыслицей, и я расспрашиваю жену. И она говорит, что все это неверно. Она, конечно, не переодевала панталон перед уходом.

Я тут же спрашиваю Ганса: “Ведь мама говорит, что все это неверно”.

Ганс: “Мне так кажется. Быть может, я забыл, что она не сняла панталон. (С неудовольствием.) Оставь меня наконец в покое”».

К разъяснению этой истории с панталонами я тут же должен заметить следующее: Ганс, очевидно, лицемерит, когда притворяется довольным, собираясь говорить на эти темы. К концу он отбрасывает свою маску и становится дерзким по отношению к отцу. Разговор идет о вещах, которые раньше доставляли ему много

[1] У моей жены имеются уже несколько недель панталоны «реформ» для велосипедной езды.

удовольствия и которые теперь, после наступившего вытеснения, вызывают в нем стыд и даже отвращение. Он даже в этом случае лжет, придумывая для наблюдавшейся им перемены панталон у матери другие поводы. На самом деле снимание и надевание панталон находится в связи с комплексом дефекации. Отец в точности знает, в чем здесь дело и что Ганс старается скрыть.

«Я спрашиваю свою жену, часто ли Ганс присутствовал, когда она отправлялась в клозет. Она говорит: “Да, часто он хнычет до тех пор, пока ему это не разрешат; это делали все дети”».

Запомним себе хорошо это вытесненное уже теперь удовольствие видеть мать при акте дефекации.

“Мы идем за ворота. Ганс очень весел, и, когда он бегает, изображая лошадь, я спрашиваю: “Послушай, кто, собственно говоря, вьючная лошадь? Я, ты или мама?”

Ганс (сразу): “Я, я — молодая лошадь”.

В период сильнейшего страха, когда страх находил на него при виде скачущих лошадей, я, чтобы успокоить его, сказал: “Знаешь, это молодые лошади — они скачут, как мальчишки. Ведь ты тоже скачешь, а ты мальчик”. С того времени он при виде скачущих лошадей говорит: “Это верно — это молодые лошади!”

Когда мы возвращаемся домой, я на лестнице, почти ничего не думая, спрашиваю: “В Гмундене ты играл с детьми в лошадки?”

Он: “Да! (Задумывается.) Мне кажется, что я там приобрел мою глупость”.

Я: “Кто был лошадкой?”

Он: “Я, а Берта была кучером”.

Я: “Не упал ли ты, когда был лошадкой?”

Ганс: “Нет! Когда Берта погоняла меня — но! — я быстро бегал, почти вскачь”[1].

Я: “А в омнибус вы никогда не играли?”

Ганс: “Нет — в обыкновенные возы и в лошадки без воза. Ведь когда у лошадки есть воз, он может оставаться дома, а лошадь бегает без воза”.

Я: “Вы часто играли в лошадки?”

Ганс: “Очень часто. Фриц (тоже сын домохозяина) был тоже однажды лошадью, а Франц кучером, и Фриц так скоро бежал, что вдруг наступил на камень, и у него пошла кровь”.

Я: “Может быть, он упал?”

Ганс: “Нет, он опустил ногу в воду и потом обернул ее платком”[2].

Я: “Ты часто был лошадью?”

Ганс: “О да”.

Я: “И ты там приобрел глупость?”

Ганс: “Потому что они там всегда говорили “из-за лошади” и “из-за лошади” (он подчеркивает это “из-за” — wegen); поэтому я и заполучил свою глупость”»[3].

---

[1] Он играл также в лошадки с колокольчиками.

[2] См. дальше — отец вполне справедливо полагает, что Фриц тогда упал.

[3] По моему мнению, Ганс не хочет утверждать, что он тогда заполучил глупость, а только в связи с теми событиями. Обыкновенно так и бывает, как в теории, что тот же предмет, который раньше вызывал высокое наслаждение, сегодня делается объектом фобии. И я могу дополнить за ребенка, который этого не умеет сказать, что словечко «из-за» (wegen) открыло путь распространению фобии с лошади на воз. (Ганс на своем детском языке называет воз Wägen вм. Wagen.) Не нужно забывать, насколько конкретнее, чем взрослые, относятся к словам дети и сколь значительны должны быть для них ассоциации по сходству слов.

Некоторое время отец бесплодно производит исследования по другим путям.

Я: «Дети тогда рассказывали что-нибудь о лошади?»

Ганс: «Да!»

Я: «А что?»

Ганс: «Я это забыл».

Я: «Может быть, они что-нибудь рассказывали о ее Wiwimacher'е?»

Ганс: «О нет!»

Я: «Там ты уже боялся лошадей?»

Ганс: «О нет, я совсем не боялся».

Я: «Может быть, Берта говорила о том, что лошадь...»

Ганс (прерывая): «Делает wiwi? Нет!»

10 апреля я стараюсь продолжить вчерашний разговор и хочу узнать, что означает «из-за лошади». Ганс не может этого вспомнить; он знает только, что утром несколько детей стояли перед воротами и выкрикивали: «из-за лошади», «из-за лошади». Он сам тоже стоял там. Когда я становлюсь настойчивее, он заявляет, что дети вовсе не говорили «из-за лошади» и что он неправильно вспомнил.

Я: «Ведь вы часто бывали также в конюшне и, наверное, говорили о лошади?» — «Мы ничего не говорили». — «А о чем же вы разговаривали?» — «Ни о чем». — «Вас было столько детей, и вы ни о чем не говорили?» — «Кое о чем мы уже говорили, но не о лошади». — «А о чем?» — «Я теперь уже этого не знаю».

Я оставляю эту тему, так как очевидно, что сопротивление слишком велико[1], и спрашиваю: «С Бертой ты охотно играл?»

Он: «Да, очень охотно, а с Ольгой — нет; знаешь, что сделала Ольга? Грета наверху подарила мне раз бумажный мяч, а Ольга его разорвала на куски, Берта бы мне никогда его не разорвала. С Бертой я очень охотно играл».

Я: «Ты видел, как выглядит Wiwimacher Берты?»

Он: «Нет, я видел Wiwimacher лошади, потому что я всегда бывал в стойле».

Я: «И тут тебе стало интересно знать, как выглядит Wiwimacher у Берты и у мамы?»

Он: «Да».

Я напоминаю ему его жалобы на то, что девочка всегда хотела смотреть, как он делает wiwi.

Он: «Берта тоже всегда смотрела (без обиды, с большим удовольствием), очень часто. В маленьком саду, там, где посажена редиска, я делал wiwi, а она стояла у ворот и смотрела».

Я: «А когда она делала wiwi, смотрел ты?»

Он: «Она ходила в клозет».

Я: «А тебе становилось интересно?»

Он: «Ведь я был внутри, в клозете, когда она там была».

(Это соответствует действительности: хозяева нам это раз рассказали, и я припоминаю, что мы запретили Гансу делать это.)

Я: «Ты ей говорил, что хочешь пойти?»

---

[1] Здесь, собственно, ничего другого нельзя было извлечь, кроме словесной ассоциации, ускользнувшей от отца. Хороший образчик условий, при которых психоаналитические попытки оканчиваются неудачей.

Он: «Я входил сам и потому, что Берта мне это разрешила. Это ведь не стыдно».

Я: «И тебе было бы приятно увидеть Wiwimacher?»

Он: «Да, но я его не видел».

Я напоминаю ему сон в Гмундене относительно фантов и спрашиваю: «Тебе в Гмундене хотелось, чтобы Берта помогла тебе сделать wiwi?»

Он: «Я ей никогда этого не говорил».

Я: «А почему ты этого ей не говорил?»

Он: «Потому что я об этом никогда не думал (прерывает себя). Когда я обо всем этом напишу профессору, глупость скоро пройдет, не правда ли?»

Я: «Почему тебе хотелось, чтобы Берта помогла тебе делать wiwi?»

Он: «Я не знаю. Потому что она смотрела».

Я: «Ты думал о том, что она положит руку на Wiwimacher?»

Он: «Да. (Отклоняется.) В Гмундене было очень весело. В маленьком саду, где растет редиска, есть маленькая куча песку, там я играл с лопаткой». (Это сад, где он делал wiwi.)

Я: «А когда ты в Гмундене ложился в постель, ты трогал рукой Wiwimacher?»

Он: «Нет, еще нет. В Гмундене я так хорошо спал, что об этом еще не думал. Только на прежней квартире и теперь я это делал».

Я: «А Берта никогда не трогала руками твоего Wiwimacher'а?»

Он: «Она этого никогда не делала, потому что я ей об этом никогда не говорил».

Я: «А когда тебе этого хотелось?»

Он: «Кажется, однажды в Гмундене».

Я: «Только один раз?»

Он: «Да, чаще».

Я: «Всегда, когда ты делал wiwi, она подглядывала, — может, ей было любопытно видеть, как ты делаешь wiwi?»

Он: «Может быть, ей было любопытно видеть, как выглядит мой Wiwimacher?»

Я: «Но и тебе это было любопытно, только по отношению к Берте?»

Он: «К Берте и к Ольге».

Я: «К кому еще?»

Он: «Больше ни к кому».

Я: «Ведь это неправда. Ведь и по отношению к маме?»

Он: «Ну, к маме, конечно».

Я: «Но теперь тебе больше уже не любопытно. Ведь ты знаешь, как выглядит Wiwimacher Анны?»

Он: «Но он ведь будет расти, не правда ли?»[1]

Я: «Да, конечно... Но когда он вырастет, он все-таки не будет походить на твой».

Он: «Это я знаю. Он будет такой, как теперь, только больше».

Я: «В Гмундене тебе было любопытно видеть, как мама раздевается?»

Он: «Да, и у Анны, когда ее купали, я видел маленький Wiwimacher».

Я: «И у мамы?»

Он: «Нет!»

---

[1] Он хочет быть уверенным, что его собственный Wiwimacher будет расти.

Я: «Тебе было противно видеть мамины панталоны?»

Он: «Только черные, когда она их купила, и я их увидел и плюнул. А когда она их надевала и снимала, я тогда не плевал. Я плевал тогда потому, что черные панталоны черны, как Lumpf, а желтые — как wiwi, и когда я смотрю на них, мне кажется, что нужно делать wiwi. Когда мама носит панталоны, я их не вижу, потому что сверху она носит платье».

Я: «А когда она раздевается?»

Он: «Тогда я не плюю. Но когда панталоны новые, они выглядят как Lumpf. А когда они старые, краска сходит с них, и они становятся грязными. Когда их покупают, они новые, а когда их не покупают, они старые».

Я: «Значит, старые панталоны не вызывают в тебе отвращение?»

Он: «Когда они старые, они ведь немного чернее, чем Lumpf, не правда ли? Немножечко чернее»[1].

Я: «Ты часто бывал с мамой в клозете?»

Он: «Очень часто».

Я: «Тебе там было противно?»

Он: «Да... Нет!»

Я: «Ты охотно присутствуешь при том, когда мама делает wiwi или Lumpf?»

Он: «Очень охотно».

Я: «Почему так охотно?»

Он: «Я этого не знаю».

Я: «Потому что ты думаешь, что увидишь Wiwimacher?»

Он: «Да, я тоже так думаю».

Я: «Почему ты в Лайнце никогда не хочешь идти в клозет?»

(В Лайнце он всегда просит, чтобы я его не водил в клозет. Он один раз испугался шума воды, спущенной для промывания клозета.)

Он: «Потому что там, когда тянут ручку вниз, получается большой шум».

Я: «Этого ты боишься?»

Он: «Да!»

Я: «А здесь, в нашем клозете?»

Он: «Здесь — нет. В Лайнце я пугаюсь, когда ты спускаешь воду. И когда я нахожусь в клозете и вода стекает вниз, я тоже пугаюсь».

Чтобы показать мне, что в нашей квартире он не боится, он заставляет меня пойти в клозет и спустить воду. Затем он мне объясняет: «Сначала делается большой шум, а потом поменьше. Когда большой шум, я лучше остаюсь внутри клозета, а когда слабый шум, я предпочитаю выйти из клозета».

Я: «Потому что ты боишься?»

Он: «Потому что мне всегда ужасно хочется видеть большой шум (он поправляет себя), слышать, и я предпочитаю оставаться внутри, чтобы хорошо слышать его».

Я: «Что же напоминает тебе большой шум?»

---

[1] Наш Ганс не может справиться с темой, которую он не знает как изложить. И нам трудно понять его. Быть может, он думает, что панталоны вызывают в нем отвращение только после их покупки; на теле матери они больше не вызывают у него ассоциации с Lumpf'ом или с wiwi; тогда уже они интересуют его в другом направлении.

Он: «Что мне в клозете нужно делать Lumpf» (то же самое, что при виде черных панталон).

Я: «Почему?»

Он: «Не знаю. Нет, я знаю, что большой шум напоминает мне шум, который слышен, когда делаешь Lumpf. Большой шум напоминает Lumpf, маленький — wiwi» (ср. черные и желтые панталоны).

Я: «Слушай, а не был ли омнибус такого же цвета, как Lumpf?» (По его словам — черного цвета.)

Он (пораженный): «Да!»

Я должен здесь вставить несколько слов. Отец расспрашивает слишком много и исследует по готовому плану вместо того, чтобы дать мальчику высказаться. Вследствие этого анализ становится неясным и сомнительным. Ганс идет по своему пути, и когда его хотят свести с него, он умолкает. Очевидно, его интерес, неизвестно почему, направлен теперь на Lumpf и на wiwi. История с шумом выяснена так же мало, как и история с черными и желтыми панталонами. Я готов думать, что его тонкий слух отметил разницу в шуме, который производят при мочеиспускании мужчины и женщины. Анализ искусственно сжал материал и свел его к разнице между мочеиспусканием и дефекацией. Читателю, который сам еще не производил психоанализа, я могу посоветовать не стремиться понимать все сразу. Необходимо ко всему отнестись с беспристрастным вниманием и ждать дальнейшего.

«11 апреля. Сегодня утром Ганс опять приходит в спальню и, как всегда в последние дни, его сейчас же выводят вон.

После он рассказывает: "Слушай, я кое о чем подумал. Я сижу в ванне[1], тут приходит слесарь и отвинчивает ее[2]. Затем берет большой бурав и ударяет меня в живот"».

Отец переводит для себя эту фантазию: «Я — в кровати у мамы. Приходит папа и выгоняет меня. Своим большим пенисом он отталкивает меня от мамы».

Оставим пока наше заключение невысказанным.

«Далее он рассказывает еще нечто другое, что он себе придумал: "Мы едем в поезде, идущем в Гмунден. На станции мы начинаем надевать верхнее платье, но не успеваем этого сделать, и поезд уходит вместе с нами".

Позже я спрашиваю: "Видел ли ты, как лошадь делает Lumpf?"

Ганс: "Да, очень часто".

Я: "Что же, она при этом производит сильный шум?"

Ганс: "Да!"

Я: "Что же напоминает тебе этот шум?"

Ганс: "Такой же шум бывает, когда Lumpf падает в горшочек"».

Вьючная лошадь, которая падает и производит шум ногами, вероятно, и есть Lumpf, который при падении производит шум. Страх перед дефекацией, страх перед перегруженным возом главным образом соответствует страху перед перегруженным животом».

---

[1] Ганса купает мать.

[2] Чтобы взять ее в починку.

По этим окольным путям начинает для отца выясняться истинное положение вещей.

«11 апреля за обедом Ганс говорит: “Хорошо, если бы мы в Гмундене имели ванну, чтобы мне не нужно было ходить в баню”. Дело в том, что в Гмундене его, чтобы вымыть, водили всегда в соседнюю баню, против чего он обыкновенно с плачем протестовал. И в Вене он всегда подымает крик, когда его, чтобы выкупать, сажают или кладут в большую ванну. Он должен купаться стоя или на коленях”.

Эти слова Ганса, который теперь начинает своими самостоятельными показаниями давать пищу для психоанализа, устанавливают связь между обеими последними фантазиями (о слесаре, отвинчивающем ванну, и о неудавшейся поездке в Гмунден). Из последней фантазии отец совершенно справедливо сделал вывод об отвращении к Гмундену. Кроме того, мы имеем здесь опять хороший пример того, как выплывающее из области бессознательного становится понятным не при помощи предыдущего, а при помощи последующего.

“Я спрашиваю его, чего и почему он боится в большой ванне.

Ганс: “Потому, что я упаду туда”.

Я: “Почему же ты раньше никогда не боялся, когда тебя купали в маленькой ванне?”

Ганс: “Ведь я в ней сидел, ведь я в ней не мог лечь, потому что она была слишком мала”.

Я: “А когда ты в Гмундене катался на лодке, ты не боялся, что упадешь в воду?”

Ганс: “Нет, потому что я удерживался руками, и тогда я не мог упасть. Я боюсь, что упаду, только тогда, когда купаюсь в большой ванне”.

Я: “Тебя ведь купает мама. Разве ты боишься, что мама тебя бросит в ванну?”

Ганс: “Что она отнимет свои руки и я упаду в воду с головой”.

Я: “Ты же знаешь, что мама любит тебя, ведь она не отнимет рук”.

Ганс: “Я так подумал”.

Я: “Почему?”

Ганс: “Этого я точно не знаю”.

Я: “Быть может, потому, что ты шалил и поэтому думал, что она тебя больше не любит?”

Ганс: “Да”.

Я: “А когда ты присутствовал при купании Анны, тебе не хотелось, чтобы мама отняла руки и уронила Анну в воду?”

Ганс: “Да”».

Мы думаем, что отец угадал это совершенно верно.

«12 апреля. На обратном пути из Лайнца в вагоне 2-го класса Ганс при виде черной кожаной обивки говорит: “Пфуй, я плюю, а когда я вижу черные панталоны и черных лошадей, я тоже плюю, потому что я должен делать Lumpf”.

Я: “Быть может, ты у мамы видел что-нибудь черное, что тебя испугало?”

Ганс: “Да”.

Я: “А что?”

Ганс: “Я не знаю, черную блузку или черные чулки”.

Я: “Быть может, ты увидел черные волосы на Wiwimacher’e, когда ты был любопытным и подглядывал?”

Ганс (оправдываясь): “Но Wiwimacher’а я не видел”.

Когда он однажды снова обнаружил страх при виде воза, выезжавшего из противоположных ворот, я спросил его: “Не похожи ли эти ворота на popo?”

Он: “А лошади на Lumpf?” После этого каждый раз при виде выезжающего из ворот воза он говорит: “Смотри, идет Lumpfi”. Выражение Lumpfi он употребляет в первый раз; оно звучит как ласкательное имя. Моя свояченица называет своего ребенка Wumpfi.

13 апреля при виде куска печенки в супе он говорит: “Пфуй, Lumpf”. Он ест, по-видимому, неохотно и рубленое мясо, которое ему по форме и цвету напоминает Lumpf.

Вечером моя жена рассказывает, что Ганс был на балконе и сказал ей: “Я думал, что Анна была на балконе и упала вниз”. Я ему часто говорил, что, когда Анна на балконе, он должен следить за ней, чтобы она не подошла к барьеру, который слесарь-сецессионист[1] сконструировал весьма нелепо, с большими отверстиями. Здесь вытесненное желание Ганса весьма прозрачно. Мать спросила его, не было ли бы ему приятнее, если бы Анна совсем не существовала. На это он ответил утвердительно.

14 апреля. Тема, касающаяся Анны, все еще на первом плане. Мы можем вспомнить из прежних записей, что он почувствовал антипатию к новорожденной, отнявшей у него часть родительской любви; эта антипатия и теперь еще не исчезла и только отчасти компенсируется преувеличенной нежностью. Он уже часто поговаривал, чтобы аист больше не приносил детей, чтобы мы дали аисту денег, чтобы тот больше не приносил детей из большого ящика, в котором находятся дети. (Ср. страх перед мебельным фургоном. Не выглядит ли омнибус как большой ящик?) Анна так кричит, это ему тяжело.

Однажды он неожиданно заявляет: “Ты можешь вспомнить, как пришла Анна? Она лежала на кровати у мамы такая милая и славная” (эта похвала звучит подозрительно фальшиво).

Затем мы внизу перед домом. Можно опять отметить большое улучшение. Даже ломовики вызывают в нем более слабый страх. Один раз он с радостью кричит: “Вот едет лошадь с черным у рта”, — и я, наконец, могу констатировать, что это лошадь с кожаным намордником. Но Ганс не испытывает никакого страха перед этой лошадью.

Однажды он стучит своей палочкой о мостовую и спрашивает: “Слушай, тут лежит человек... который похоронен... или это бывает только на кладбище?” Таким образом, его занимает теперь не только загадка жизни, но и смерти.

По возвращении я вижу в передней ящик, и Ганс говорит[2]: “Анна ехала с нами в Гмунден в таком ящике. Каждый раз, когда мы ехали в Гмунден, она ехала с нами в ящике. Ты мне уже опять не веришь? Это, папа, уже на самом деле. Поверь мне, мы достали большой ящик, полный детей, и они сидели там, в ванне. (В этот

[1] Сецессион — название ряда объединений немецких и австрийских художников конца XIX — начала XX в. — *Примеч. ред. перевода.*

[2] Для нас ясно, почему тема «Анна» идет непосредственно за темой «Lumpf»: Анна — сама Lumpf, все новорожденные дети — Lumpf’ы.

ящик упаковывалась ванна.) Я их посадил туда, верно. Я хорошо припоминаю это"[1].

Я: "Что ты можешь припомнить?"

Ганс: "Что Анна ездила в ящике, потому что я этого не забыл. Честное слово!"

Я: "Но ведь в прошлом году Анна ехала с нами в купе".

Ганс: "Но раньше она всегда ездила с нами в ящике".

Я: "Не маме ли принадлежал ящик?"

Ганс: "Да, он был у мамы".

Я: "Где же?"

Ганс: "Дома на полу".

Я: "Может быть, она его носила с собой?"[2]

Ганс: "Нет! Когда мы теперь поедем в Гмунден, Анна опять поедет в ящике".

Я: "Как же она вылезла из ящика?"

Ганс: "Ее вытащили".

Я: "Мама?"

Ганс: "Я и мама. Потом мы сели в экипаж. Анна ехала верхом на лошади, а кучер погонял. Кучер сидел на козлах. Ты был с нами. Даже мама это знает. Мама этого не знает, потому что она опять это забыла, но не нужно ей ничего говорить".

Я заставляю его все повторить.

Ганс: "Потом Анна вылезла".

Я: "Она ведь еще и ходить не могла!"

Ганс: "Мы ее тогда снесли на руках".

Я: "Как же она могла сидеть на лошади, ведь в прошлом году она еще совсем не умела сидеть".

Ганс: "О да, она уже сидела и кричала: но! но! И щелкала кнутом, который раньше был у меня. Стремян у лошади не было, а Анна ехала верхом; папа, а может быть, это не шутка"».

Что должна означать эта настойчиво повторяемая и удерживаемая бессмыслица? О, это ничуть не бессмыслица; это пародия — месть Ганса отцу. Она должна означать приблизительно следующее: если ты в состоянии думать, что я могу поверить в аиста, который в октябре будто бы принес Анну, тогда как я уже летом, когда мы ехали в Гмунден, заметил у матери большой живот, то я могу требовать, чтобы и ты верил моим вымыслам. Что другое может означать его утверждение, что Анна уже в прошлое лето ездила в ящике в Гмунден, как не его осведомленность о беременности матери? То, что он и для следующего года предполагает эту поездку в ящике, соответствует обычному появлению из прошлого бессознательных мыслей. Или у него есть особые основания для страха, что к ближайшей летней поездке мать опять будет беременна. Тут уже мы узнали, что именно испортило ему поездку в Гмунден, — это видно из его второй фантазии. «Позже я спрашиваю его, как, собственно говоря, Анна после рождения пришла к маме, в постель».

---

[1] Тут он начинает фантазировать. Мы узнаем, что для него ящик и ванна обозначают одно и то же — это пространство, в котором находятся дети. Обратим внимание на его повторные уверения.

[2] Ящик — конечно, живот матери. Отец хочет указать Гансу, что он это понял.

Тут он уже имеет возможность развернуться и подразнить отца.

Ганс: «Пришла Анна. Госпожа Краус (акушерка) уложила ее в кровать. Ведь она еще не умела ходить. А аист нес ее в своем клюве. Ведь ходить она еще не могла (не останавливаясь, продолжает). Аист подошел к дверям и постучал; здесь все спали, а у него был подходящий ключ; он отпер двери и уложил Анну в твою[1] кровать, а мама спала; нет, аист уложил Анну в мамину кровать. Уже была ночь, и аист совершенно спокойно уложил ее в кровать совсем без шума, а потом взял себе шляпу и ушел обратно. Нет, шляпы у него не было».

Я: «Кто взял себе шляпу? Может быть, доктор?»

Ганс: «А потом аист ушел к себе домой и потом позвонил, и все в доме уже больше не спали. Но ты этого не рассказывай ни маме, ни Тине (кухарка). Это тайна!»

Я: «Ты любишь Анну?»

Ганс: «Да, очень».

Я: «Было бы тебе приятнее, если бы Анны не было, или ты рад, что она есть?»

Ганс: «Мне было бы приятнее, если бы она не появилась на свет».

Я: «Почему?»

Ганс: «По крайней мере она не кричала бы так, а я не могу переносить крика».

Я: «Ведь ты и сам кричишь?»

Ганс: «А ведь Анна тоже кричит».

Я: «Почему ты этого не переносишь?»

Ганс: «Потому что она так сильно кричит».

Я: «Но ведь она совсем не кричит».

Ганс: «Когда ее шлепают по голому роро, она кричит».

Я: «Ты уже ее когда-нибудь шлепал?»

Ганс: «Когда мама шлепает ее, она кричит».

Я: «Ты этого не любишь?»

Ганс: «Нет... Почему? Потому что она своим криком производит такой шум».

Я: «Если тебе было бы приятнее, чтобы ее не было на свете, значит, ты ее не любишь?»

Ганс: «Гм, гм...» (утвердительно).

Я: «Поэтому ты думаешь, что мама отнимет руки во время купания и Анна упадет в воду...»

Ганс (дополняет): «...и умрет».

Я: «И ты остался бы тогда один с мамой. А хороший мальчик этого все-таки не желает».

Ганс: «Но думать ему можно».

Я: «А ведь это нехорошо».

Ганс: «Когда об этом он думает, это все-таки хорошо, потому что тогда можно написать об этом профессору»[2].

Позже я говорю ему: «Знаешь, когда Анна станет больше и научится говорить, ты будешь ее уже больше любить».

---

[1] Конечно, ирония, как и последующая просьба не выдать этой тайны матери.

[2] Славный маленький Ганс! Я даже у взрослых не желал бы для себя лучшего понимания психоанализа.

Ганс: «О нет! Ведь я ее люблю. Когда она осенью уже будет большая, я пойду с ней один в парк и буду все ей объяснять».

Когда я хочу заняться дальнейшими разъяснениями, он прерывает меня, вероятно, чтобы объяснить мне, что это не так плохо, когда он желает Анне смерти.

Ганс: «Послушай, ведь она уже давно была на свете, даже когда ее еще не было. Ведь у аиста она уже тоже была на свете.

Я: «Нет, у аиста она, пожалуй, и не была».

Ганс: «Кто же ее принес? У аиста она была».

Я: «Откуда же он ее принес?»

Ганс: «Ну, от себя».

Я: «Где она у него там находилась?»

Ганс: «В ящике, в аистином ящике».

Я: «А как выглядит этот ящик?»

Ганс: «Он красный. Выкрашен в красный цвет (кровь?)».

Я: «А кто тебе это сказал?»

Ганс: «Мама; я себе так думал; так в книжке нарисовано».

Я: «В какой книжке?»

Ганс: «В книжке с картинками». (Я велю ему принести его первую книжку с картинками. Там изображено гнездо аиста с аистами на красной трубе. Это и есть тот ящик. Интересно, что на той же странице изображена лошадь, которую подковывают. Ганс помещает детей в ящик, так как он их не находит в гнезде.)

Я: «Что же аист с ней сделал?»

Ганс: «Тогда он принес Анну сюда. В клюве. Знаешь, это тот аист из Шёнбрунна, который укусил зонтик». (Воспоминание о маленьком происшествии в Шёнбрунне.)

Я: «Ты видел, как аист принес Анну?»

Ганс: «Послушай, ведь я тогда еще спал. А утром уже никакой аист не может принести девочку или мальчика».

Я: «Почему?»

Ганс: «Он не может этого. Аист этого не может. Знаешь, почему? Чтобы люди этого сначала не видели и чтобы сразу, когда наступит утро, девочка уже была тут»[1].

Я: «Но тогда тебе было очень интересно знать, как аист это сделал?»

Ганс: «О да!»

Я: «А как выглядела Анна, когда она пришла?»

Ганс (неискренно): «Совсем белая и миленькая, как золотая».

Я: «Но когда ты увидел ее в первый раз, она тебе не понравилась?»

Ганс: «О, очень!»

Я: «Ведь ты был поражен, что она такая маленькая?»

Ганс: «Да».

Я: «Как велика была она?»

[1] Непоследовательность Ганса не должна нас останавливать. В предыдущем разговоре из его сферы бессознательного выявилось его недоверие к басне об аисте, связанное с чувством горечи по отношению к делающему из этого тайну отцу. Теперь он спокойнее и отвечает официальными соображениями, при помощи которых он кое-как мог себе разъяснить столь трудную гипотезу об аисте.

Ганс: «Как молодой аист».

Я: «А еще как что? Может быть, как Lumpf?»

Ганс: «О нет, Lumpf много больше — капельку меньше, чем Анна теперь».

Я уже раньше говорил отцу, что фобия Ганса может быть сведена к мыслям и желаниям, связанным с рождением сестренки. Но я упустил обратить его внимание на то, что по инфантильной сексуальной теории ребенок — это Lumpf, так что Ганс должен пройти и через экскрементальный комплекс. Вследствие этого моего упущения и произошло временное затемнение лечения. Теперь после сделанного разъяснения отец пытается выслушать вторично Ганса по поводу этого важного пункта.

«На следующий день я велю ему рассказать еще раз вчерашнюю историю. Ганс рассказывает: "Анна поехала в Гмунден в большом ящике, мама в купе, а Анна в товарном поезде с ящиком, и тогда, когда мы приехали в Гмунден, я и мама вынули Анну и посадили на лошадь. Кучер сидел на козлах, а у Анны был прошлый (прошлогодний) кнут; она стегала лошадь и все кричала — но-но, и это было ужасно весело, а кучер тоже стегал лошадь. (Кучер вовсе не стегал, потому что кнут был у Анны.) Кучер держал вожжи, и Анна держала вожжи, мы каждый раз с вокзала ездили домой в экипаже. (Ганс старается здесь согласовать действительность с фантазией.) В Гмундене мы сняли Анну с лошади, и она сама пошла по лестнице".

Когда Анна в прошлом году жила в Гмундене, ей было всего 8 месяцев. Годом раньше, в период, на который, по-видимому, направлена фантазия Ганса, ко времени приезда в Гмунден жена находилась в конце 5-го месяца беременности.

Я: "Ведь в прошлом году Анна была уже на свете?"

Ганс: "В прошлом году она ездила в коляске, но годом раньше, когда уже она у нас была на свете..."

Я: "Анна уже была у нас?"

Ганс: "Да, ведь ты же всегда ездил со мной в лодке, и Анна помогала тебе".

Я: "Но ведь это происходило не в прошлом году. Анны тогда еще не было вовсе на свете".

Ганс: "Да, тогда уже она была на свете. Когда она ехала в ящике, она уже могла ходить и говорить: "Анна". (Она научилась этому только 4 месяца назад.)

Я: "Но она тогда ведь не была еще у нас".

Ганс: "О да, тогда она все-таки была у аиста".

Я: "А сколько лет Анне?"

Ганс: "Осенью ей будет два года; Анна была тогда, ведь ты это знаешь?"

Я: "А когда же она была у аиста в аистином ящике?"

Ганс: "Уже давно, еще до того, как она ехала в ящике. Уже очень давно".

Я: "А когда Анна научилась ходить? Когда она была в Гмундене, она ведь еще не умела ходить".

Ганс: "В прошлом году — нет, а то умела".

Я: "Но Анна только раз была в Гмундене".

Ганс: "Нет! Она была два раза; да, это верно. Я это очень хорошо помню. Спроси только маму, она тебе это уже скажет".

Я: "Ведь это уже неверно".

Ганс: “Да, это верно. Когда она в первый раз была в Гмундене, она могла уже ходить и ездить верхом, а уже позже нужно было ее нести... Нет, она только позже ездила верхом, а в прошлом году ее нужно было нести”.

Я: “Но она ведь только недавно начала ходить. В Гмундене она еще не умела ходить”.

Ганс: “Да, запиши себе только. Я могу очень хорошо вспомнить. Почему ты смеешься?”

Я: “Потому, что ты плут, ты очень хорошо знаешь, что Анна была только раз в Гмундене”.

Ганс: “Нет, это неверно. В первый раз она ехала верхом на лошади... а во второй раз” (по-видимому, начинает терять уверенность).

Я: “Быть может, мама была лошадью?”

Ганс: “Нет, на настоящей лошади в одноконном экипаже”.

Я: “Но мы ведь всегда ездили на паре”.

Ганс: “Тогда это был извозчичий экипаж”.

Я: “Что Анна ела в ящике?”

Ганс: “Ей дали туда бутерброд, селедку и редиску (гмунденовский ужин), и, так как Анна ехала, она намазала себе бутерброд и 50 раз ела”.

Я: “И она не кричала?”

Ганс: “Нет”.

Я: “Что же она делала?”

Ганс: “Сидела там совершенно спокойно”.

Я: “И не стучала?”

Ганс: “Нет, она все время ела и ни разу даже не пошевелилась. Она выпила два больших горшка кофе — до утра ничего не осталось, а весь сор она оставила в ящике, и листья от редиски и ножик, она все это прибрала, как заяц, и в одну минуту была уже готова. Вот была спешка! Я даже сам с Анной ехал в ящике, и я в ящике спал всю ночь (мы на самом деле года два назад ночью ездили в Гмунден), а мама ехала в купе; мы все время ели и в вагоне, это было очень весело... Она вовсе не ехала верхом на лошади (он теперь уже колеблется, так как знает, что мы ехали в парном экипаже)... она сидела в экипаже. Это уже верно, но я ехал совсем один с Анной... мама ехала верхом на лошади, а Каролина (прошлогодняя прислуга) ехала на другой... Слушай, все, что я тебе тут рассказываю, все неверно”.

Я: “Что неверно?”

Ганс: “Все не так. Послушай. Мы посадим ее и меня в ящик[1], а я в ящике сделаю wiwi. И я сделаю wiwi в панталоны, мне это все равно, это совсем не стыдно. Слушай, это серьезно, а все-таки очень весело!”

Затем он рассказывает историю, как вчера, о приходе аиста, но не говорит, что аист при уходе взял шляпу.

Я: “Где же у аиста был ключ от дверей?”

Ганс: “В кармане”.

Я: “А где у аиста карман?”

Ганс: “В клюве”.

Я: “В клюве? Я еще не видел ни одного аиста с ключом в клюве”.

---

[1] Ящик для гмунденовского багажа, который стоит в передней.

Ганс: “А как же он мог войти? Как входит аист в двери? Это неверно, я ошибся, аист позвонил, и кто-то ему открыл дверь”.

Я: “Как же он звонит?”

Ганс: “В звонок”.

Я: “Как он это делает?”

Ганс: “Он берет клюв и нажимает им звонок”.

Я: “И он опять запер дверь?”

Ганс: “Нет, прислуга ее заперла. Она уже проснулась. Она отперла ему дверь и заперла”.

Я: “Где живет аист?”

Ганс: “Где? В ящике, где он держит девочек. Может быть, в Шёнбрунне”.

Я: “Я в Шёнбрунне не видел никакого ящика”.

Ганс: “Он, вероятно, находится где-то подальше. Знаешь, как аист открывает ящик? Он берет клюв — в ящике есть замок — и одной половинкой его так открывает (демонстрирует это мне на замке письменного стола). Тут есть и ручка”.

Я: “Разве такая девочка не слишком тяжела для аиста?”

Ганс: “О нет!”

Я: “Послушай, не похож ли омнибус на ящик аиста?”

Ганс: “Да!”

Я: “И мебельный фургон?”

Ганс: “Гадкий фургон — тоже”.

17 апреля. Вчера Ганс вспомнил свое давнишнее намерение и пошел во двор, находящийся напротив нашего дома. Сегодня он этого уже не хотел сделать, потому что как раз против ворот у платформы стоял воз. Он сказал мне: “Когда там стоит воз, я боюсь, что я стану дразнить лошадей, они упадут и произведут ногами шум”.

Я: “А как дразнят лошадей?”

Ганс: “Когда их ругают, тогда дразнят их, и когда им кричат но-но”[1].

Я: “Ты дразнил уже лошадей?”

Ганс: “Да, уже часто. Я боюсь, что я это сделаю, но это не так”.

Я: “В Гмундене ты уже дразнил лошадей?”

Ганс: “Нет”.

Я: “Но ты охотно дразнишь лошадей?”

Ганс: “Да, очень охотно”.

Я: “Тебе хотелось и стегнуть их кнутом?”

Ганс: “Да”.

Я: “Тебе хотелось бы так бить лошадей, как мама бьет Анну. Ведь тебе это тоже приятно?”

Ганс: “Лошадям это не вредно, когда их бьют. (Я так ему говорил в свое время, чтобы умерить его страх перед битьем лошадей.) Я это однажды на самом деле сделал. У меня однажды был кнут, и я ударил лошадь, она упала и произвела ногами шум”.

Я: “Когда?”

Ганс: “В Гмундене”.

Я: “Настоящую лошадь? Запряженную в экипаж?”

[1] Часто, когда кучера били и понукали лошадей, на него находил большой страх.

Ганс: “Она была без экипажа”.

Я: “Где же она была?”

Ганс: “Я ее держал, чтобы она не убежала”. (Все это, конечно, весьма невероятно.)

Я: “Где это было?”

Ганс: “У источника”.

Я: “Кто же тебе это позволил? Разве кучер ее там оставил?”

Ганс: “Ну, лошадь из конюшни”.

Я: “Как же она пришла к источнику?”

Ганс: “Я ее привел”.

Я: “Откуда? Из конюшни?”

Ганс: “Я ее вывел потому, что я хотел ее побить”.

Я: “Разве в конюшне никого не было?”

Ганс: “О да, Людвиг (кучер в Гмундене)”.

Я: “Он тебе это позволил?”

Ганс: “Я с ним ласково поговорил, и он сказал, что я могу это сделать”.

Я: “А что ты ему сказал?”

Ганс: “Можно ли мне взять лошадь, бить ее и кричать. А он сказал — да”.

Я: “А ты ее много бил?”

Ганс: “Все, что я тебе тут рассказываю, совсем неверно”.

Я: “А что же из этого верно?”

Ганс: “Ничего не верно. Я тебе все это рассказал только в шутку”.

Я: “Ты ни разу не уводил лошадь из конюшни?”

Ганс: “О нет!”

Я: “Но тебе этого хотелось?”

Ганс: “Конечно, хотелось. Я себе об этом думал”.

Я: “В Гмундене?”

Ганс: “Нет, только здесь. Я себе уже об этом думал рано утром, когда я только что оделся; нет, еще в постели”.

Я: “Почему же ты об этом мне никогда не рассказывал?”

Ганс: “Я об этом не подумал”.

Я: “Ты думал об этом, потому что видел это на улицах”.

Ганс: “Да!”

Я: “Кого, собственно, тебе хотелось бы ударить — маму, Анну или меня?”

Ганс: “Маму”.

Я: “Почему?”

Ганс: “Вот ее я хотел бы побить”.

Я: “Когда же ты видел, что кто-нибудь бьет маму?”

Ганс: “Я этого еще никогда не видел, во всей моей жизни”.

Я: “И ты все-таки хотел бы это сделать? Как бы ты это хотел сделать?”

Ганс: “Выбивалкой”. (Мама часто грозит ему побить его выбивалкой.)

На сегодня я должен был прекратить разговор.

На улице Ганс разъясняет мне: омнибусы, мебельные, угольные возы — все это аистиные ящики».

Это должно означать — беременные женщины. Садистский порыв непосредственно перед разговором имеет, вероятно, отношение к нашей теме.

«21 апреля. Сегодня утром Ганс рассказывает, что он себе подумал: "Поезд был в Лайнце, и я поехал с лайнцской бабушкой в таможню. Ты еще не сошел с моста, а второй поезд был уже в Сан-Вайт. Когда ты сошел, поезд уже пришел, и тут мы вошли в вагон".

(Вчера Ганс был в Лайнце. Чтобы войти на перрон, нужно пройти через мост. С перрона вдоль рельсов видна дорога до самой станции Сан-Вайт. Здесь дело не совсем ясно. Вероятно, вначале Ганс представлял себе, что он уехал с первым поездом, на который я опоздал. Потом пришел с полустанка Сан-Вайт другой поезд, на котором я и поехал. Он изменил часть этой фантазии о бегстве, и у него вышло, что мы оба уехали со вторым поездом.

Эта фантазия имеет отношение к последней неистолкованной, по которой мы в Гмундене потратили слишком много времени на переодевание в вагоне, пока поезд не ушел оттуда.)

После обеда мы перед домом. Ганс вбегает внезапно в дом, когда проезжает парный экипаж, в котором я не могу заметить ничего необыкновенного. Я спрашиваю его, что с ним. Он говорит: "Я боюсь, потому что лошади так горды, что они упадут". (Лошади были сдерживаемы на вожжах кучером и шли мелким шагом с поднятой головой, — они, действительно, шли "гордо".)

Я спрашиваю его, кто, собственно, так горд?

Он: "Ты, когда я иду к маме в кровать".

Я: "Ты, значит, хотел бы, чтобы я упал?"

Он: "Да, чтобы ты голый (он думает: босой, как в свое время Фриц) ушибся о камень, чтобы потекла кровь; по крайней мере я смогу хоть немножко побыть с мамой наедине. Когда ты войдешь в квартиру, я смогу скоро убежать, чтобы ты этого не видел".

Я: "Ты можешь вспомнить, кто ушибся о камень?"

Он: "Да, Фриц".

Я: "Что ты себе думал, когда упал Фриц?"

Он: "Чтобы ты споткнулся о камень и упал".

Я: "Тебе, значит, сильно хотелось к маме?"

Он: "Да!"

Я: "А почему я, собственно, ругаюсь?"

Он: "Этого я не знаю (!!)".

Я: "Почему?"

Он: "Потому что ты ревнуешь".

Я: "Ведь это неправда".

Он: "Да, это правда, ты ревнуешь, я это знаю. Это, должно быть, верно".

По-видимому, мое объяснение, что маленькие мальчики приходят к маме в кровать, а большие спят в собственной кровати, мало импонировало ему.

Я подозреваю, что желание дразнить лошадь, бить и кричать на нее относится не к маме, как он говорил, а ко мне. Он тогда указал на мать, потому что не решился мне сознаться в другом. В последние дни он особенно нежен по отношению ко мне».

С чувством превосходства, которое так легко приобретается «потом», мы можем внести поправку в предположения отца, что желание Ганса дразнить лошадь

двойное и составилось из темного садистского чувства по отношению к матери и ясного желания мести по отношению к отцу. Последнее не могло быть репродуцировано раньше, чем в связи с комплексом беременности не наступила очередь первого. При образовании фобии из бессознательных мыслей происходит процесс сгущения; поэтому пути психоанализа никогда не могут повторить пути развития невроза.

«22 апреля. Сегодня утром Ганс опять “что-то подумал”. “Один уличный мальчишка ехал в вагончике; пришел кондуктор, раздел мальчишку донага и оставил его там до утра, а утром мальчик заплатил кондуктору 50 000 гульденов, чтобы тот позволил ему ехать в этом вагончике”.

(Против нас проходит Северная железная дорога. На запасном пути стоит дрезина. На ней Ганс видел мальчишку, и ему самому хотелось прокатиться на ней. Я ему сказал, что этого нельзя делать, а то придет кондуктор. Второй элемент фантазии — вытеснение желания обнажаться.)»

Мы замечаем уже некоторое время, что фантазия Ганса работает «под знаком способов передвижения» и с известной последовательностью идет от лошади, которая тащит воз, к железной дороге. Так ко всякой боязни улиц со временем присоединяется страх перед железной дорогой.

«Днем я узнаю, что Ганс все утро играл с резиновой куклой, которую он называл Гретой. Через отверстие, в которое раньше был вделан свисток, он воткнул в середину маленький перочинный ножик, а затем для того, чтобы ножик выпал из куклы, оторвал ей ноги. Няне он сказал, указывая на соответствующее место: “Смотри, здесь Wiwimacher”.

Я: “Во что ты сегодня играл с куклой?”

Он: “Я оторвал ей ноги, знаешь почему? Потому что внутри был ножичек, который принадлежал маме. Я всунул его туда, где пуговка пищит, а потом я вырвал ноги, и оттуда ножик и выпал”.

Я: “Зачем же ты оторвал ноги? Чтобы ты мог видеть Wiwimacher?”

Он: “Он и раньше там был, так что я его мог видеть”.

Я: “А зачем же ты всунул нож?”

Он: “Не знаю”.

Я: “А как выглядит ножичек?”

Он приносит мне его.

Я: “Ты думаешь, что это, быть может, маленький ребенок?”

Он: “Нет, я себе ничего не думал, но мне кажется, что аист или кто другой однажды получил маленького ребенка”.

Я: “Когда?”

Он: “Однажды. Я об этом слышал, или я вовсе не слышал, или я заговорился”.

Я: “Что значит заговорился?”

Он: “Это неверно”.

Я: “Все, что ни говорят, немножко верно”.

Он: “Ну да, немножко”.

Я (сменяя тему): “Как, по-твоему, появляются на свет цыплята?”

Он: “Аист выращивает их, нет, боженька”.

Я объясняю ему, что курицы несут яйца, а из яиц выходят цыплята. Ганс смеется.

Я: “Почему ты смеешься?”

Ганс: “Потому что мне нравится то, что ты рассказываешь”.

Он говорит, что он это уже видел.

Я: “Где же?”

Он: “У тебя”.

Я: “Где же я нес яйца?”

Ганс: “В Гмундене ты положил яйцо в траву, и тут вдруг выскочил цыпленок. Ты однажды положил яйцо — это я знаю, я знаю это совершенно точно, потому что мне это мама рассказывала”.

Я: “Я спрошу маму, правда ли это”.

Ганс: “Это совсем неверно, но я уже раз положил яйцо, и оттуда выскочила курочка”.

Я: “Где?”

Ганс: “В Гмундене; я лег в траву, нет, стал на колени, и дети тут совсем не смотрели, а наутро я и сказал им: “Ищите, дети, я вчера положил яйцо”. И тут они вдруг посмотрели и вдруг нашли яйцо, и тут из него вышел маленький Ганс. Чего же ты смеешься? Мама этого не знает, и Каролина этого не знает, потому что никто не смотрел, а я вдруг положил яйцо, и вдруг оно там оказалось. Верно. Папа, когда вырастает курочка из яйца? Когда его оставляют в покое? Можно его есть?”

Я объясняю ему это.

Ганс: “Ну да, оставим его у курицы, тогда вырастет цыпленок. Упакуем его в ящик и отправим в Гмунден».

Ганс смелым приемом захватил в свои руки ведение анализа, так как родители медлили с давно необходимыми разъяснениями, и в блестящей форме симптоматического действия показал: «Видите, я так представляю себе рождение».

То, что он рассказывал няне о смысле его игры с куклой, было неискренне, а перед отцом он это прямо отрицает и говорит, что он только хотел видеть Wiwimacher. После того как отец в виде уступки рассказывает о происхождении цыплят из яиц, его неудовлетворенность, недоверие и имеющиеся знания соединяются для великолепной насмешки, которая в последних словах содержит уже определенный намек на рождение сестры.

«Я: “Во что ты играл с куклой?”

Ганс: “Я говорил ей: Грета”.

Я: “Почему?”

Ганс: “Потому что я говорил — Грета”.

Я: “Кого же ты изображал?”

Ганс: “Я ее нянчил как настоящего ребенка”.

Я: “Хотелось бы тебе иметь маленькую девочку?”

Ганс: “О да. Почему нет? Я бы хотел иметь, но маме не надо иметь, я этого не хочу”.

(Так он уже часто говорил. Он боится, что третий ребенок еще больше сократит его права.)

Я: “Ведь только у женщины бывают дети”.

Ганс: “У меня будет девочка”.

Я: “Откуда же ты ее получишь?”

Ганс: “Ну, от аиста. Он вынет девочку, положит девочку в яйцо, и из яйца тогда выйдет еще одна Анна, еще одна Анна. А из Анны будет еще одна Анна. Нет, выйдет только одна Анна”.

Я: “Тебе бы очень хотелось иметь девочку?”

Ганс: “Да, в будущем году у меня появится одна, которая тоже будет называться Анна”.

Я: “Почему же мама не должна иметь девочки?”

Ганс: “Потому что я хочу иметь девочку”.

Я: “Но у тебя же не может быть девочки”.

Ганс: “О да, мальчик получает девочку, а девочка получает мальчика”[1].

Я: “У мальчика не бывает детей. Дети бывают только у женщин, у мам”.

Ганс: “Почему не у меня?”

Я: “Потому что так это устроил господь бог”.

Ганс: “Почему у тебя не может быть ребенка? О, да, у тебя уже будет, подожди только”.

Я: “Долго мне придется ждать?”

Ганс: “Ведь я принадлежу тебе?”

Я: “Но на свет принесла тебя мама. Значит, ты принадлежишь маме и мне”.

Ганс: “А Анна принадлежит мне или маме?”

Я: “Маме”.

Ганс: “Нет, мне. А почему не мне и маме?”

Я: “Анна принадлежит мне, маме и тебе”.

Ганс: “Разве вот так!”»

Естественно, что ребенку недостает существенной части в понимании сексуальных отношений до тех пор, пока для него остаются неоткрытыми женские гениталии.

«24 апреля мне и моей жене удается разъяснить Гансу, что дети вырастают в самой маме и потом они при сильных болях, с помощью напряжения, как Lumpf, выходят на свет.

После обеда мы сидим перед домом. У него наступило уже заметное улучшение — он бежит за экипажами, и только то обстоятельство, что он не решается отойти далеко от ворот, указывает на остатки страха.

25 апреля Ганс налетает на меня и ударяет головой в живот, что случилось уже однажды. Я спрашиваю его, не коза ли он. Он говорит: “Нет, баран”. — “Где ты видел барана?”

Он: “В Гмундене. У Фрица был баран” (у Фрица была для игры маленькая живая овца).

Я: “Расскажи мне об овечке — что она делала?”

Ганс: “Знаешь, фрейлейн Мицци (учительница, которая жила в доме) сажала всегда Анну на овечку, так что овечка не могла встать и не могла бодаться. А когда от нее отходят, она бодается, потому что у нее есть рожки. Вот Фриц водит ее на веревочке и привязывает к дереву. Он всегда привязывает ее к дереву”.

Я: “А тебя овечка боднула?”

[1] Опять отрывок из детской сексуальной теории с неожиданным смыслом.

Ганс: “Она вскочила на меня; Фриц меня однажды подвел. Я раз подошел к ней и не знал, а она вдруг на меня вскочила. Это было очень весело — я не испугался”.

Это, конечно, неправда.

Я: “Ты папу любишь?”

Ганс: “О да!”

Я: “А может быть, и нет”.

Ганс играет маленькой лошадкой. В этот момент лошадка падает. Он кричит: “Упала лошадка! Смотри, какой шум она делает!”

Я: “Ты немного злишься на папу за то, что мама его любит”.

Ганс: “Нет”.

Я: “Почему же ты так всегда плачешь, когда мама целует меня? Потому что ты ревнив?”

Ганс: “Да, пожалуй”.

Я: “Тебе бы, небось, хотелось быть папой?”

Ганс: “О да”.

Я: “А что бы ты захотел сделать, если бы ты был папой?”

Ганс: “А ты Гансом? Я бы тогда возил тебя каждое воскресенье в Лайнц, нет, каждый будний день. Если бы я был папой, я был бы совсем хорошим”.

Я: “А что бы ты делал с мамой?”

Ганс: “Я брал бы ее тоже в Лайнц”.

Я: “А что еще?”

Ганс: “Ничего”.

Я: “А почему же ты ревнуешь?”

Ганс: “Я этого не знаю”.

Я: “А в Гмундене ты тоже ревновал?”

Ганс: “В Гмундене — нет (это неправда). В Гмундене я имел свои вещи, сад и детей”.

Я: “Ты можешь вспомнить, как у коровы родился теленок?”

Ганс: “О да. Он приехал туда в тележке. (Это, наверно, ему рассказали в Гмундене. И здесь — удар по теории об аисте.) А другая корова выжала его из своего зада”. (Это уже результат разъяснения, которое он хочет привести в соответствие с “теорией о тележке”.)

Я: “Ведь это неправда, что он приехал в тележке, ведь он вышел из коровы, которая была в стойле”.

Ганс, оспаривая это, говорит, что он видел утром тележку. Я обращаю его внимание на то, что ему, вероятно, рассказали про то, что теленок прибыл в тележке. В конце концов он допускает это: “Мне, вероятно, это рассказывала Берта, или нет, или, может быть, хозяин. Он был при этом, и это ведь было ночью, — значит, это все так, как я тебе говорю; или, кажется, мне про это никто не говорил, а я думал об этом ночью”.

Если я не ошибаюсь, теленка увезли в тележке; отсюда и путаница.

Я: “Почему ты не думал, что аист принес его?”

Ганс: “Я этого не хотел думать”.

Я: “Но ведь ты думал, что аист принес Анну?”

Ганс: “В то утро (родов) я так и думал. Папа, а г-н Райзенбихлер (хозяин) был при том, как теленок вышел из коровы?”[1]

Я: “Не знаю. А ты как думаешь?”

Ганс: “Я уже верю... Папа, ты часто видел у лошади что-то черное вокруг рта?”

Я: “Я это уже много раз видел на улице в Гмундене”[2].

Я: “В Гмундене ты часто бывал в кровати у матери?”

Ганс: “Да!”

Я: “И ты себе вообразил, что ты папа!”

Ганс: “Да!”

Я: “И тогда у тебя был страх перед папой?”

Ганс: “Ведь ты все знаешь, я ничего не знал”.

Я: “Когда Фриц упал, ты думал: “если бы так папа упал”, и когда овечка тебя боднула, ты думал: “если бы она папу боднула”. Ты можешь вспомнить о похоронах в Гмундене?” (Первые похороны, которые видел Ганс. Он часто вспоминает о них — несомненное покрывающее воспоминание.)

Ганс: “Да, а что там было?”

Я: “Ты думал тогда, что если бы умер папа, ты был бы на его месте?”

Ганс: “Да!”

Я: “Перед какими возами ты, собственно, еще испытываешь страх?”

Ганс: “Перед всеми”.

Я: “Ведь это неправда?”

Ганс: “Перед пролетками и одноконными экипажами я страха не испытываю. Перед омнибусами и вьючными возами только тогда, когда они нагружены, а когда они пусты, не боюсь. Когда воз нагружен доверху и при нем одна лошадь, я боюсь, а когда он нагружен и впряжены две лошади, я не боюсь”.

Я: “Ты испытываешь страх перед омнибусами потому, что на них много людей?”

Ганс: “Потому, что на крыше так много поклажи”.

Я: “А мама, когда она получила Анну, не была тоже нагружена?”

Ганс: “Мама будет опять нагружена, когда она опять получит ребенка, пока опять один вырастет и пока опять один будет там внутри”.

Я: “А тебе бы этого хотелось?”

Ганс: “Да!”

Я: “Ты говорил, что не хочешь, чтобы мама получила еще одного младенца”.

Ганс: “Тогда она больше не будет нагружена. Мама говорит, что когда она больше не захочет, то и бог этого не захочет”. (Понятно, что Ганс вчера уже спрашивал, нет ли в маме еще детей. Я ему сказал, что нет и что если господь не захочет, в ней не будут расти дети.)

Ганс: “Но мне мама говорила, что когда она не захочет, больше у нее не вырастет детей, а ты говоришь, когда бог не захочет”.

---

[1] Ганс, имеющий основание относиться недоверчиво к показаниям взрослых, теперь соображает, не заслуживает ли хозяин большего доверия, чем отец.

[2] Связь здесь следующая: по поводу черного у рта лошади отец долго не хотел ему верить, пока наконец истина не выяснилась.

Я ему сказал, что это именно так, как я говорю, на что он заметил: “Ведь ты был при этом и знаешь это, наверно, лучше”. Он вызвал на разговор и мать, и та примирила оба показания, сказав, что когда она не захочет, то и бог не захочет[1].

Я: “Мне кажется, что ты все-таки хотел бы, чтобы у мамы был ребенок?”

Ганс: “А иметь его я не хочу”.

Я: “Но ты этого желаешь?”

Ганс: “Пожалуй, желаю”.

Я: “Знаешь, почему? Потому что тебе хотелось бы быть папой”.

Ганс: “Да... Как эта история?”

Я: “Какая история?”

Ганс: “У папы не бывает детей, а как потом говорится в истории, когда я хотел бы быть папой?”

Я: “Ты хотел бы быть папой и женатым на маме, хотел бы быть таким большим, как я, иметь такие же усы, как у меня, и ты хотел бы, чтобы у мамы был ребенок”.

Ганс: “Папа, когда я буду женатым, у меня будет ребенок только тогда, когда я захочу, а когда я не захочу, то и бог не захочет”.

Я: “А тебе хотелось бы быть женатым на маме?”

Ганс: “О да!”».

Здесь ясно видно, как в фантазии радость еще омрачается из-за неуверенности относительно роли отца и вследствие сомнений в том, от кого зависит деторождение.

«Вечером в тот же день Ганс, когда его укладывают в постель, говорит мне: “Послушай, знаешь, что я теперь делаю? Я теперь до 10 часов еще буду разговаривать с Гретой, она у меня в кровати Мои дети всегда у меня в кровати. Ты мне можешь сказать, что это означает”. Так как он уже совсем сонный, я обещаю ему записать это завтра, и он засыпает”.

Из прежних записей видно, что Ганс со времени возвращения из Гмундена всегда фантазирует о своих “детях”, ведет с ними разговоры и т. д.[2]

“26 апреля я его спрашиваю: почему он всегда говорит о своих детях?

Ганс: “Почему? Потому что мне так хочется иметь детей, но я этого не хочу, мне не хотелось бы их иметь”[3].

Я: “Ты себе всегда так представлял, что Берта, Ольга и т. д. твои дети?”

Ганс: “Да, Франц, Фриц, Поль (его товарищ в Лайнце) и Лоди”. (Вымышленное имя, его любимица, о которой он чаще всего говорит. Я отмечаю здесь, что эта Лоди появилась не только в последние дни, но существует со дня последнего разъяснения (24 апреля).)

Я: “Кто эта Лоди? Она живет в Гмундене?”

Ганс: “Нет”.

---

[1] Ce que femme veut, dieu le veut. Умный Ганс и здесь додумался до очень серьезной проблемы.

[2] Нет необходимости видеть здесь в этой страсти к обладанию детьми женскую черту. Так как он самые счастливые переживания испытывал рядом с матерью как ребенок, он теперь воспроизводит их в активной роли, причем он сам изображает мать.

[3] Это столь удивительное противоречие — то же, что и между фантазией и действительностью, «желать» и «иметь». Он знает, что в действительности он ребенок и другие дети мешали бы ему, а в своей фантазии он — мать и хочет иметь детей, чтобы иметь возможность повторить на них пережитые им ласки.

Я: “А существует на самом деле эта Лоди?”

Ганс: “Да, я знаю ее”.

Я: “Которую?”

Ганс: “Ту, которая у меня есть”.

Я: “Как она выглядит?”

Ганс: “Как? Черные глаза, черные волосы; я ее однажды встретил с Марикой (в Гмундене), когда я шел в город”.

Когда я хочу узнать подробности, оказывается, что все это выдумано[1].

Я: “Значит, ты думал, что ты мама?”

Ганс: “Я действительно и был мамой”.

Я: “Что же ты, собственно, делал с детьми?”

Ганс: “Я их клал к себе спать, мальчиков и девочек”.

Я: “Каждый день?”

Ганс: “Ну, конечно”.

Я: “Ты разговаривал с ними?”

Ганс: “Когда не все дети влезали в постель, я некоторых клал на диван, а некоторых в детскую коляску, а когда еще оставались дети, я их нес на чердак и клал в ящик; там еще были дети, и я их уложил в другой ящик”.

Я: “Значит, аистиные ящики стояли на чердаке?”

Ганс: “Да”.

Я: “Когда у тебя появились дети, Анна была уже на свете?”

Ганс: “Да, уже давно”.

Я: “А как ты думал, от кого ты получил этих детей?”

Ганс: “Ну, от меня”[2].

Я: “Ведь тогда ты еще не знал, что дети рождаются кем-нибудь?”

Ганс: “Я себе думал, что их принес аист”. (Очевидно, ложь и увертка[3].)

Я: “Вчера у тебя была Грета, но ты ведь знаешь, что мальчик не может иметь детей”.

Ганс: “Ну да, но я все-таки в это верю”.

Я: “Как тебе пришло в голову имя Лоди? Ведь так ни одну девочку не зовут. Может быть, Лотти?”

Ганс: “О нет, Лоди. Я не знаю, но ведь это все-таки красивое имя”.

Я (шутя): “Может быть, ты думаешь. Шоколоди?”

Ганс (сейчас же): “Saffalodi[4]... потому что я так люблю есть колбасу и салями”.

Я: “Послушай, не выглядит ли Saffalodi как Lumpf?”

Ганс: “Да!”

Я: “А как выглядит Lumpf?”

Ганс: “Черным. Как это и это” (показывает на мои брови и усы).

Я: “А как еще — круглый, как Saffalodi?”

---

[1] Возможно, что Ганс случайно встреченную девочку возвел в идеал, который, впрочем, по цвету глаз и волос уподобил матери.

[2] Иначе как с точки зрения аутоэротизма Ганс и не может ответить.

[3] Это — дети фантазии, онанизма.

[4] Saffaladi — сервелатная колбаса. Моя жена иногда рассказывает, что ее тетка говорила всегда Soffilodi. Ганс, быть может, слышал это.

Ганс: “Да”.

Я: “Когда ты сидел на горшке и когда выходил Lumpf, ты думал себе, что у тебя появляется ребенок?”

Ганс (смеясь): “Да, на улице и здесь”.

Я: “Ты знаешь, как падали лошади в омнибусе. Ведь воз выглядит как детский ящик, и когда черная лошадь падала, то это было так...”

Ганс (дополняет): “Как когда имеют детей”.

Я: “А что ты себе думал, когда она начала топать ногами?”

Ганс: “Ну, когда я не хочу сесть на горшочек, а лучше хочу играть, я так топаю ногами”. (Тут же он топает ногой.)

При этом он интересуется тем, охотно или неохотно имеют детей.

Ганс сегодня все время играет в багажные ящики, нагружает их и разгружает, хочет иметь игрушечный воз с такими ящиками. Во дворе таможни его больше всего интересовали погрузка и разгрузка возов. Он и пугался больше всего в тот момент, когда нагруженный воз должен был отъехать. “Лошади упадут (fallen)”[1]. Двери таможни он называл “дырами” (Loch) (первая, вторая, третья... дыра). Теперь он говорит Podlloch (anus).

Страх почти совершенно прошел. Ганс старается только оставаться вблизи дома, чтобы иметь возможность вернуться в случае испуга. Но он больше не вбегает в дом, и все время остается на улице. Его болезнь, как известно, началась с того, что он плача вернулся с прогулки, и когда его второй раз заставили идти гулять, он дошел только до городской станции “Таможня”, с которой виден еще наш дом. Во время родов жены он, конечно, был удален от нее, и теперешний страх, мешающий ему удалиться от дома, соответствует тогдашней тоске по матери”.

“30 апреля. Так как Ганс опять играет со своими воображаемыми детьми, я говорю ему: “Как, дети твои все еще живут? Ведь ты знаешь, что у мальчика не бывает детей”.

Ганс: “Я знаю это. Прежде я был мамой, а теперь я папа”.

Я: “А кто мать этих детей?”

Ганс: “Ну, мама, а ты дедушка”.

Я: “Значит, ты хотел бы быть взрослым, как я, женатым на маме, и чтобы у нее были дети?”

Ганс: “Да, мне хотелось бы, а та из Лайнца (моя мать) тогда будет бабушкой”».

Все выходит хорошо. Маленький Эдип нашел более счастливое разрешение, чем это предписано судьбой. Он желает отцу вместо того, чтобы устранить его, того же счастья, какое он требует и для себя; он производит отца в дедушки и женит на его собственной матери.

«1 мая. Ганс днем приходит ко мне и говорит: “Знаешь, что? Напишем кое-что для профессора”.

Я: “А что?”

Ганс: “Перед обедом я со всеми своими детьми был в клозете. Сначала я делал Lumpf и wiwi, а они смотрели. Потом я их посадил, они делали Lumpf и wiwi, а я их вытер бумажкой. Знаешь, почему? Потому что мне очень хотелось бы иметь де-

[1] Не означает ли это «niederkommen» [разрешиться от бремени, букв. «опадать»], когда женщина родит?

тей; я бы делал с ними все, что делают с маленькими детьми, водил бы их в клозет, обмывал и подтирал бы их, все, что делают с детьми"».

После признания в этой фантазии вряд ли можно еще сомневаться в удовольствии, которое связано у Ганса с экскрементальными функциями.

«После обеда он в первый раз решается пойти в городской парк. По случаю 1 мая на улице меньше, чем обычно, но все же достаточно экипажей, которые на него до сих пор наводили страх. Он гордится своим достижением, и я должен с ним вечером еще раз пойти в городской парк. На пути мы встречаем омнибус, который он мне указывает: смотри, вот воз, воз для аистиного ящика! Когда он утром идет со мной опять в парк, он ведет себя так, что его болезнь можно считать излеченной.

2 мая Ганс рано утром приходит ко мне: "Слушай, я сегодня себе что-то думал". Сначала он это забыл, а потом рассказывает мне со значительными сопротивлениями: "Пришел водопроводчик и сначала клещами отнял у меня мой зад и дал мне другой, а потом и другой Wiwimacher. Он сказал мне: "Покажи мне зад", и я должен был повернуться, а потом он мне сказал: "Покажи мне Wiwimacher"».

Отец улавливает смысл этой фантазии-желания и ни минуты не сомневается в единственно допустимом толковании.

«Я: "Он дал тебе больший Wiwimacher и больший зад".

Ганс: "Да!"

Я: "Как у папы, потому что ты очень хотел бы быть папой".

Ганс: "Да, и мне хотелось бы иметь такие же усы, как у тебя, и такие же волосы (показывает волосы на моей груди)".

Толкование недавно рассказанной фантазии — водопроводчик пришел и отвинтил ванну, а потом воткнул мне бурав в живот — сводится теперь к следующему. Большая ванна обозначает зад. Бурав или отвертка, как это и тогда указывалось, — Wiwimacher[1]. Эти фантазии идентичны. Тут открывается также новый подход к страху Ганса перед большой ванной. Ему неприятно, что его зад слишком мал для большой ванны».

В следующие дни мать несколько раз обращается ко мне с выражением своей радости по поводу выздоровления мальчика.

Дополнение, сделанное отцом спустя неделю.

«Уважаемый профессор! Я хотел бы дополнить историю болезни Ганса еще нижеследующим.

1. Ремиссия после первого разъяснения не была настолько совершенна, насколько я ее, быть может, изобразил. Ганс во всяком случае шел гулять, но под принуждением и большим страхом.

Один раз он дошел со мной до станции "Таможня", откуда виден наш дом, а дальше ни за что не хотел идти.

2. К словам "малиновый сок" и "ружье". Малиновый сок Ганс получает при запоре. Ружье — Schießgewehr. Ганс часто смешивает слова schießen и scheißen — стрелять и испражняться.

[1] Может быть, следует прибавить, что слово «бурав» имеет отношение к слову «родить» (Bohrer — geboren, Geburt). Ребенок не отличает gebohrt от geboren. Я принимаю это предположение, высказанное опытным коллегой, но сомневаюсь, имеем ли мы здесь дело с глубокой общей связью или только с использованием случайного созвучия в немецком языке. И Прометей (Праманта) — создатель людей — этимологически соответствует бураву. Ср.: *Abraham*. Traum und Mythus.

3. Когда Ганса перевели из нашей спальни в отдельную комнату, ему было приблизительно четыре года.

4. Следы остались еще теперь и выражаются не в страхе, а во вполне нормальной страсти к вопросам. Вопросы относятся преимущественно к тому, из чего делаются различные предметы (трамваи, машины и т. д.), кто их делает и т. д. Характерно для большинства вопросов, что Ганс задает их несмотря на то, что у него для себя ответ уже готов. Он хочет только удостовериться. Когда он меня однажды своими вопросами довел до утомления и я сказал ему: “Разве ты думаешь, что я могу ответить на все твои вопросы?” — он ответил мне: “Я думал, что ты и это знаешь, раз ты знал о лошади”.

5. О своей болезни Ганс говорит как о чем-то давно прошедшем: “тогда, когда у меня была глупость”.

6. Неразрешенный остаток, над которым Ганс ломает себе голову, это: что делает с ребенком отец, раз мать производит его на свет. Это можно заключить из его вопросов. Не правда ли, я принадлежу также тебе (он думает), не только матери. Ему неясно, почему он принадлежит мне. С другой стороны, у меня нет прямых доказательств, чтобы предполагать, как говорили вы, что он подглядел коитус родителей.

7. При изложении, быть может, следовало больше подчеркнуть силу страха. Иначе могут сказать: нужно было бы его основательно поколотить, и он бы тогда пошел гулять».

Я здесь же могу прибавить: с последней фантазией Ганса был побежден страх, исходящий из кастрационного комплекса, причем томительное ожидание превратилось в надежду на лучшее. Да, приходит врач, водопроводчик и т. п., отнимает пенис, но только для того, чтобы дать ему больший. Что касается остального, пусть наш маленький исследователь преждевременно приобретает опыт, что всякое знание есть только частица и что на каждой ступени знания всегда остается неразрешенный остаток.

Эпикриз

Это наблюдение над развитием и изменением фобии у 5-летнего мальчика я намерен исследовать с трех точек зрения: во-первых, насколько оно подтверждает положения, предложенные мною в 1905 г. в «Трех очерках по теории сексуальности»; во-вторых, что дает это наблюдение к пониманию этой столь частой формы болезни; в-третьих, что можно извлечь из него для выяснения душевной жизни ребенка и для критики наших обычных программ воспитания.

I

У меня складывается впечатление, что картина сексуальной жизни ребенка, представляющаяся из наблюдений над маленьким Гансом, хорошо согласуется с изображением, которое я дал в моей теории полового влечения на основании психоаналитических исследований над взрослыми. Но прежде чем я приступлю к исследованию деталей этого согласования, я должен ответить на два возражения, которые могут возникнуть при оценке этого анализа. Первое возражение: быть

может, Ганс ненормальный ребенок и, как видно из его болезни, он предрасположен к неврозу, т. е. маленький дегенерат, а поэтому, быть может, неуместно переносить наши заключения с больного на здоровых детей. На это возражение, которое не уничтожает, а только ограничивает ценность наблюдения, я отвечу позже. Второе и более строгое возражение — это то, что анализ ребенка его отцом, находящимся под влиянием моих теоретических взглядов, захваченным моими предвзятостями, вряд ли может иметь какую-нибудь объективную цену. Само собой понятно, что ребенок в высокой степени внушаем и, быть может, особенно по отношению к отцу. Чтобы угодить отцу, он даст взвалить на себя все что угодно, в благодарность за то, что тот с ним так много занимается; естественно, что все его продукции в идеях, фантазиях и снах идут в желательном для отца направлении. Короче, это опять все «внушение», которое у ребенка по сравнению со взрослым удается легче раскрыть.

Удивительно, я припоминаю время, когда я, 22 года назад, начал вмешиваться в научные споры. С какой насмешкой тогда старшее поколение неврологов и психиатров относилось к «внушению» и его влияниям. С того времени положение вещей совершенно изменилось: противодействие быстро перешло в готовность идти навстречу. И это произошло не только благодаря влиянию, которое в эти десятилетия приобрели работы Льебо, Бернгейма и их учеников, но еще вероятнее благодаря сделанному открытию, что использование этого модного термина «внушение» дает большую экономию в процессе мышления. Ведь никто не знает и не старается узнать, что такое внушение, откуда оно идет и когда оно имеет место. Достаточно, что все неудобное в психической жизни можно называть «внушением».

Я не разделяю излюбленного теперь взгляда, что детские показания все без исключения произвольны и не заслуживают доверия. В психическом вообще нет произвола. Недостоверность показаний у детей основана на преобладании фантазии, у взрослых — на преобладании предвзятых мнений. Вообще говоря, и ребенок не лжет без основания, и у него имеется даже большая любовь к правде, чем у взрослого. Было бы слишком несправедливо по отношению к Гансу отбросить все его показания. Можно вполне отчетливо исследовать, где он под давлением сопротивления лукавит или старается скрыть что-нибудь, где он во всем соглашается с отцом (и эти места совсем недоказательны) и, наконец, где он, освобожденный от давления, стремительно сообщает все, что является его внутренней правдой и что он до сих пор знал только один. Большей достоверности не дают и показания взрослых. Но остается все-таки сожалеть, что никакое изложение психоанализа не передает впечатлений, которые выносишь от него, и что окончательная убежденность никогда не наступает после чтения, а только после личного переживания. Но этот недостаток в одинаковой степени присущ и анализам взрослых.

Родители изображают Ганса веселым, откровенным, сердечным ребенком; таким он и должен быть, судя по воспитанию, которое дают ему родители, из которого исключены наши обычные грехи воспитания. До тех пор, пока Ганс в веселой наивности производил свои исследования, не подозревая возможного появления конфликтов, он сообщал их без задержки, и наблюдения из периода до

фобии можно принимать тут же, без всякого сомнения. В период болезни и во время психоанализа у него возникает несоответствие между тем, что он говорит, и тем, что он думает. Причина этому отчасти та, что у него набирается слишком много бессознательного материала, чтобы он мог им сразу овладеть, а отчасти это внутренние задержки, происходящие от его отношений к родителям. Я утверждаю совершенно беспристрастно, что и эти последние затруднения оказались ничуть не больше, чем при анализах взрослых.

Конечно, при анализе приходилось говорить Гансу много такого, что он сам не умел сказать; внушать ему мысли, которые у него еще не успели появиться; приходилось направлять его внимание в сторону, желательную для отца. Все это ослабляет доказательную силу анализа; но так поступают при всех психоанализах. Психоанализ не есть научное, свободное от тенденциозности исследование, а терапевтический прием, он сам по себе ничего не хочет доказать, а только кое-что изменить. Каждый раз в психоанализе врач дает пациенту ожидаемые сознательные представления, с помощью которых он был бы в состоянии познать бессознательное и воспринять его один раз в большем, другой раз в более скромном размере. И есть случаи, где требуется большая поддержка, а другие — где меньшая. Без подобной поддержки никто не обходится. То, с чем пациент может справиться сам, есть только легкое расстройство, а ничуть не невроз, который является совершенно чуждым для нашего *Я*. Чтобы осилить такой невроз, нужна помощь другого, и только если этот другой может помочь, тогда невроз излечим. Если же в самом существе психоза лежит отворачивание от «другого», как это, по-видимому, характерно для состояний dementia praecox[1], то такие психозы, несмотря на все наши усилия, окажутся неизлечимыми. Можно допустить, что ребенок, вследствие слабого развития его интеллектуальной системы, нуждается в особенно интенсивной помощи. Но все то, что врач сообщает больному, вытекает из аналитического опыта, и если врачебное вмешательство связывает и устраняет патогенный материал, то этот факт можно считать достаточно убедительным.

И все-таки наш маленький пациент во время анализа проявил достаточно самостоятельности, чтобы его можно было оправдать по обвинению во «внушаемости». Он, как все дети, без всякого внешнего побуждения применяет свои детские сексуальные теории к своему материалу. Эти теории слишком далеки от взрослого; в этом случае я даже сделал упущение, не подготовив отца к тому, что путь к теме о разрешении от беременности идет через экскрементальный комплекс. И то, что вследствие моей поспешности привело к затемнению части анализа, дало по крайней мере хорошее свидетельство в неподдельности и самостоятельности мыслительной работы у Ганса. Он вдруг заинтересовался экскрементами, в то время как отец, подозреваемый во внушении, еще не знал, что из этого выйдет. Столь же мало зависело от отца развитие обеих фантазий о водопроводчике, которые исходили из давно приобретенного «кастрационного комплекса». Я должен здесь сознаться в том, что я совершенно скрыл от отца ожидание этой связи из теоретического интереса, чтобы не ослабить силы столь трудно достигаемого доказательства.

---

[1] Раннего слабоумия. Одно из названий шизофрении. — *Примеч. ред. перевода.*

При дальнейшем углублении в детали анализа мы встретим еще много новых доказательств в независимости нашего Ганса от «внушения», но здесь я прекращаю обсуждение первого возражения. Я знаю, что и этот анализ не убедит тех, кто не дает себя убедить, и продолжаю обработку этих наблюдений для тех читателей, которые уже имели случаи убедиться в объективности бессознательного патогенного материала. Я не могу не высказать приятной уверенности, что число последних все растет.

Первая черта, которую можно отнести к сексуальной жизни маленького Ганса, это необыкновенно живой интерес к своему Wiwimacher'у, как он называет этот орган по одной из двух важных его функций, не оставленной без внимания в детской. Интерес этот делает его исследователем; таким образом он открывает, что на основании присутствия или отсутствия этого органа можно отличать живое от неживого. Существование этой столь значительной части тела он предполагает у всех живых существ, которых он считает подобными себе; он изучает его на больших животных, делает предположения о существовании его у родителей, и даже сама очевидность не мешает ему констатировать наличность этого органа у новорожденной сестры. Можно сказать, что если бы ему пришлось признать отсутствие этого органа у подобного себе живого существа, это было бы слишком большим потрясением основ его «миросозерцания» — все равно что этот орган отняли бы и у него. Поэтому, вероятно, угроза, содержащая в себе возможность потери Wiwimacher'а, самым поспешным образом подвергается вытеснению, и ей придется обнаружить свое действие только впоследствии. В этом комплексе принимает участие мать, потому что прикосновение к этому органу доставляло ему ощущение удовольствия. Наш мальчик начал свою аутоэротическую сексуальную деятельность обычным и самым нормальным образом.

Удовольствие, испытываемое на собственном половом органе, переходит в удовольствие при разглядывании в его активной и пассивной формах; это то, что А. Адлер весьма удачно назвал скрещением влечения (Triebverschränkung). Мальчик ищет случая видеть Wiwimacher других лиц; у него развивается сексуальное любопытство, и ему нравится показывать свои половые органы. Один из его снов из начального периода вытеснения содержит желание, чтобы одна из его маленьких приятельниц помогала ему при мочеиспускании и таким образом могла видеть его половой орган. Сон этот доказывает, что его желание оставалось невытесненным. Более поздние сообщения подтверждают, что ему удавалось находить себе такого рода удовлетворение. Активные формы сексуального удовольствия от рассматривания вскоре связываются у него с определенным мотивом. Когда он повторно высказывает отцу и матери сожаление, что он никогда не видел их половых органов, то причиной этого является, вероятно, его желание сравнивать. *Я* всегда остается масштабом, которым оценивается мир; путем постоянного сравнения с собой научаешься понимать его. Ганс заметил, что большие животные имеют половой орган намного больший, чем у него; поэтому он предполагает подобное же соотношение и для своих родителей и ему хотелось бы убедиться в этом. У мамы, думает он, наверное, такой же Wiwimacher, «как у лошади». Таким образом, у него уже готово утешение, что Wiwimacher будет расти вместе с ним; воз-

никает впечатление, что желание ребенка быть большим он проецирует только на половые органы.

Итак, в сексуальной конституции маленького Ганса уже с самого начала зона половых органов оказывается более других эрогенных зон окрашенной чувством удовольствия.

Когда он в своей последней «фантазии о счастье», с которой кончилась его болезнь, имеет детей, водит их в клозет, заставляет их делать wiwi, подтирает их и делает с ними все то, что делают с детьми, то из этого можно, несомненно, сделать вывод, что все эти процедуры в его детские годы были для него источником наслаждения. Это наслаждение, которое он получал во время ухода со стороны матери, ведет его к выбору объекта, но все-таки нужно считать возможным, что он уже и раньше привык доставлять себе это наслаждение аутоэротическим путем, что он принадлежит к числу тех детей, которые любят задерживать экскременты до тех пор, пока выделение их не доставит им наслаждение. Я говорю лишь, что это возможно, потому что в анализе это не выяснено; «делание шума ногами», перед которым он позже испытывает страх, дает некоторые указания в этом направлении. В общем эти источники наслаждения не выделены у него так резко, как у других детей. Он вскоре стал опрятным; недержание мочи в постели и в течение дня не играло никакой роли в его первые годы; у него не было даже следа отвратительной для взрослых привычки играть своими экскрементами (эта привычка вновь часто появляется на исходе психической инволюции).

Отметим здесь же, что мы, несомненно, наблюдали у него в период фобии вытеснение этих обоих хорошо развитых у него компонентов. Он стыдится мочиться перед посторонними, он жалуется на себя за то, что кладет руку на свой Wiwimacher, старается избавиться от онанизма и чувствует отвращение перед Lumpf, wiwi и всем, что это напоминает. В своей фантазии об уходе за детьми он опять оставляет это вытеснение.

Сексуальная конституция нашего Ганса, по-видимому, не содержит в себе предрасположения к развитию перверсий и их негатива (здесь мы можем ограничиться истерией). Насколько мне пришлось узнать (а здесь, действительно, надо быть осторожным), прирожденная конституция истериков (при перверсиях это понятно само собой) отличается тем, что зона половых органов отступает на второй план перед другими эрогенными зонами. Из этого правила имеется одно определенное исключение. У лиц, ставших впоследствии гомосексуалистами и которые, по моим ожиданиям и по наблюдениям Задгера, проделывают в детстве амфигенную фазу, мы встречаем инфантильное преобладание зоны половых органов и особенно мужского органа. И это превознесение мужского полового органа становится роковым для гомосексуалистов. Они в детстве избирают женщину своим сексуальным объектом до тех пор, пока подозревают у нее обязательное существование такого же органа, как у мужчин; как только они убеждаются, что женщина обманула их в этом пункте, она становится для них неприемлемой в качестве сексуального объекта. Они не могут себе представить без пениса лицо, которое должно их привлекать в сексуальном отношении, и при благоприятном случае они фиксируют свое либидо на «женщине с пенисом», на юноше с женоподобной внешностью. Итак, гомосексуалисты — это лица, которые вследствие эроген-

ного значения собственных половых органов лишены возможности принять сексуальный объект без половых органов, подобных своим. На пути развития от аутоэротизма до любви к объектам они застряли на участке, находящемся ближе к аутоэротизму.

Нет никакого основания допускать существование особого гомосексуального влечения. Гомосексуализм вырабатывается не вследствие особенности во влечении, но в выборе объекта. Я могу сослаться на указание, которое я сделал в «Трех очерках по теории сексуальности», что мы ошибочно принимаем сосуществование влечения и объекта за глубокую связь между ними. Гомосексуалист со своими, быть может, нормальными влечениями не может развязаться со своим объектом, выбранным им благодаря известному условию. В своем детстве, когда это условие обычно имеет место, он может вести себя как наш маленький Ганс, который без различия нежен как с мальчиками, так и с девочками и который при случае называет своего друга Фрица «своей милейшей девочкой». Ганс гомосексуален, как все дети, соответственно тому, что он знает только один вид половых органов, такой, какой у него.

Дальнейшее развитие нашего маленького эротика идет не к гомосексуальности, но к энергичной полигамически проявляющейся мужественности, в которой он в зависимости от меняющихся женских объектов знает, как действовать: в одном случае он решительно наступает, в других он страстно и стыдливо тоскует. В период, когда других объектов в любви нет, его склонность возвращается к матери (от которой он уходит к другим), чтобы здесь потерпеть крушение в форме невроза. Тут только мы узнаем, до какой интенсивности развивается любовь к матери и какая судьба ее постигает. Сексуальная цель, которую он преследовал у своих приятельниц, «спать у них», исходила от матери. Цель эта определена словами, которыми пользуются и в зрелом возрасте, хотя с другим, более богатым содержанием. Мальчик наш обычным путем, в годы раннего детства, нашел путь к любви к объекту и новый источник наслаждения: сон рядом с матерью стал для него определяющим. В этом сложном чувстве мы могли бы на первое место поставить удовольствие при прикосновении к коже, которое лежит в нашей конституции и которое по кажущейся искусственной номенклатуре Молля можно было бы назвать удовлетворением стремления к контректации (к соприкосновению).

В своих отношениях к отцу и матери Ганс самым ярким образом подтверждает все то, что я в своих работах «Толкование сновидений» и «Три очерка по теории сексуальности» говорил о сексуальных отношениях детей к родителям. Он действительно маленький Эдип, который хотел бы «устранить» отца, чтобы остаться самому с красивой матерью, спать с ней. Это желание появилось во время летнего пребывания в деревне, когда перемены, связанные с присутствием или отсутствием отца, указали ему на условия, от которых зависела желаемая интимность с матерью. Тогда, летом, он удовольствовался желанием, чтобы отец уехал. К этому желанию позже присоединился страх быть укушенным белой лошадью, — благодаря случайному впечатлению, полученному при отъезде другого отца. Позже, вероятно в Вене, где на отъезд отца больше нельзя было рассчитывать, уже появилось другое содержание: чтобы отец подолгу был в отсутствии, был мертв.

Исходящий из этого желания смерти отца и, следовательно, нормально мотивированный страх перед ним образовал самое большое препятствие для анализа, пока оно не было устранено во время разговора у меня на дому[1].

На самом деле наш Ганс вовсе не злодей и даже не такой ребенок, у которого жестокие и насильственные склонности человеческой природы развиваются без задержек в этот период его жизни. Напротив, он необыкновенно добродушен и нежен; отец отметил, что превращение агрессивной склонности в сострадание произошло довольно рано. Еще задолго до фобии он начинал беспокоиться, когда при нем в детской игре били «лошадку», и он никогда не оставался равнодушным, когда в его присутствии кто-нибудь плакал. В одном месте анализа у него в известной связи обнаруживается подавленная частица садизма[2], но она подавлена, и мы позже из этой связи сможем догадаться, зачем эта частица появилась и что она должна заместить. Ганс сердечно любит отца, которому он желает смерти, и в то время, когда его ум не признает этого противоречия, он оказывается вынужденным демонстрировать его тем, что ударяет отца и сейчас же целует то место, которое ударил. И нам следует остеречься признать это противоречие предосудительным; из таких противоположностей преимущественно и складывается жизнь чувств у людей[3]; быть может, если бы это было иначе, дело не доходило бы до вытеснения и до неврозов. Эти контрастные пары в сфере чувств у взрослых доходят одновременно до сознания только на высоте любовной страсти; обыкновенно один член такой пары подавляет другой до тех пор, пока удается держать его скрытым. В душе детей такие пары могут довольно долго мирно рядом сосуществовать, несмотря на их внутреннее противоречие.

Наибольшее значение для психосексуального развития нашего мальчика имело рождение сестры, когда ему было 3 ½ года. Это событие обострило его отношения к родителям, поставило для его мышления неразрешенные задачи, а присутствие при ее туалете оживило в нем следы воспоминания из его собственных прежних переживаний, связанных с наслаждением. И это влияние вполне типично. В неожиданно большом количестве историй жизни и болезни нужно взять за исходный пункт эту вспышку сексуального наслаждения и сексуального любопытства, связанных с рождением следующего ребенка. Поведение Ганса по отношению к пришельцу то же самое, что я описал в «Толковании сновидений». Во время лихорадки, через несколько дней после рождения сестры, он обнаруживает, насколько мало он соглашается с этим увеличением семьи. Здесь всегда раньше всего появляется враждебность, а затем уже может последовать и нежность[4].

---

[1] Обе случайные мысли Ганса: малиновый сок и ружье для убивания, наверное, детерминированы не с одной только стороны. Вероятно, они столько же связаны с ненавистью к отцу, сколько с комплексом запора. Отец, который сам угадал последнюю связь, думает еще при «малиновом соке» и о «крови».

[2] Желание бить и дразнить лошадей.

[3] Не книга — человек я во плоти, и мне в себе согласья не найти (*Мейер К. Ф.* Последние дни Гуттена. Перевод С. Петрова).

[4] Ср. его намерения по отношению к тому периоду, когда маленькая девочка сможет говорить (см. выше).

Страх, что может появиться еще новый ребенок, с этого момента занимает определенное место в его сознательном мышлении. В неврозе эта подавленная враждебность замещается особым страхом перед ванной. В анализе он откровенно обнаруживает свое желание смерти сестре, и не только в тех намеках, которые отец должен дополнить. Его самокритика указывает ему, что это желание не столь скверно, как аналогичное желание по отношению к отцу. Но бессознательно он, очевидно, к обоим относился одинаково, потому что и отец и сестра отнимают у него его маму, мешают ему быть с ней одному.

Это событие и связанные с ним вновь ожившие переживания дали еще и другое направление его желаниям. В победной заключительной фантазии он подводит итог всем своим эротическим побуждениям, происходящим из аутоэротической фазы и связанным с любовью объекта. Он женится на своей прекрасной матери, имеет несчетное число детей, за которыми он по-своему может ухаживать.

II

В один прекрасный день Ганс заболевает на улице страхом. Он не может еще сказать, чего он боится, но уже в начале своего тревожного состояния он выдает отцу мотив его заболевания, выгоды от болезни. Он хочет остаться у матери, ласкаться к ней; некоторую роль, как думает отец, здесь сыграло воспоминание, что он был удален от нее, когда появилась новорожденная. Вскоре выясняется, что этот страх уже больше не может быть обратно замещен желанием, так как он испытывает страх даже тогда, когда и мать идет с ним. А между тем мы получаем указание, на чем фиксируется его либидо, превратившееся в страх. Он обнаруживает весьма специфический страх, что его укусит белая лошадь.

Такое болезненное состояние мы называем «фобией», и мы могли бы причислить ее к боязни площадей, но последняя отличается тем, что неспособность ходить по улице легко исправима, когда больного сопровождает известное выбранное для этого лицо и в крайнем случае врач. Фобия Ганса не исчезает и при этом условии, она перестает быть связанной с пространством и все отчетливее избирает своим объектом лошадь; в первые же дни на высоте своего тревожного состояния он высказывает опасение, которое мне так облегчило понимание его страха, что «лошадь войдет в комнату».

Положение фобий в системе неврозов до сих пор было неопределенным. По-видимому, можно с уверенностью сказать, что в фобиях нужно видеть только синдромы, принадлежащие к различным неврозам, и им не следует придавать значение особых болезненных процессов. Для фобий наиболее частых, как у нашего пациента, мне кажется целесообразным название истерии страха (Angsthysterie); я предложил его д-ру Штеккелю, когда он взялся за описание нервных состояний страха, и, я надеюсь, что это название получит права гражданства. Оправданием ему служит полное соответствие между психическим механизмом этих фобий и истерией, за исключением одного пункта, очень важного для различения этих форм. А именно: либидо, освобожденное из патогенного материала путем вытеснения, не конвертируется, т. е. не переходит из сферы психики на телесную иннервацию, а остается свободным в виде страха. Во всех случаях болезни эта истерия страха может в каких угодно размерах комбинироваться с «конверсионной

истерией». Но существуют как чистые случаи конверсионной истерии без всякого страха, так и случаи чистой истерии страха, выражающиеся в ощущениях страха и фобиях без примеси конверсии; случай нашего Ганса принадлежит к числу последних.

Истерия страха принадлежит к числу наиболее частых психоневротических заболеваний, появляющихся ранее всех в жизни; это, можно сказать, неврозы периода детства. Когда мать рассказывает про своего ребенка, что он «нервен», то можно в 9 случаях из 10 рассчитывать, что ребенок имеет какой-нибудь страх или много страхов сразу. К сожалению, более тонкий механизм этих столь важных заболеваний еще недостаточно изучен. Еще не установлено, являются ли единственным условием происхождения истерии страха (в отличие от конверсионной истерии и других неврозов) конституциональные факторы или случайные переживания, или же какая комбинация тех и других условий дает эту болезнь. Мне кажется, что это невротическое заболевание меньше всего зависит от особенностей конституции и вследствие этого легче всего может быть приобретено во всякий период жизни.

Довольно легко выделить один существенный признак истерии страха. Эта болезнь всегда развивается преимущественно в фобию; в конце концов больной может освободиться от страхов, но только за счет задержек и ограничений, которым он должен себя подвергнуть. При истерии страха уже начинается психическая работа, имеющая целью психически связать ставший свободным страх. Но эта работа не может ни превратить страх обратно в либидо, ни связать его с теми комплексами, из которых это либидо происходит. Не остается ничего другого, как предупреждать всякий повод к развитию страха путем психических надстроек в форме осторожности, задержки, запрещения. Эти психические прикрытия проявляются наружу в форме фобии и кажутся нам сущностью болезни.

Нужно сказать, что лечение истерии страха было до сих пор чисто отрицательным. Опыт показал, что невозможно, а при некоторых обстоятельствах даже опасно достигать излечения болезни насильственным образом. Так, например, несомненно вредно приводить больного в положение, в котором у него должен развиться страх, после чего его лишают прикрытия. Таким образом его заставляют искать себе защиты и выказывают по отношению к нему не имеющее на него влияния презрение к его «непонятной трусости».

Для родителей нашего маленького пациента с самого начала уже было ясно, что здесь ни насмешкой, ни строгостью ничего сделать нельзя и что нужно искать доступа к его вытесненным желаниям психоаналитическим путем. Успех вознаградил необычные труды отца, и его сообщения дают нам возможность проникнуть в самую структуру подобной фобии и проследить путь предпринятого анализа.

Мне не кажется невероятным, что для читателя этот анализ вследствие его обширности и обстоятельности потерял в некоторой мере свою ясность. Поэтому я хочу сначала вкратце повторить его, оставляя ненужные подробности и отмечая те факты, которые шаг за шагом можно будет констатировать.

Прежде всего мы узнаем, что вспышка припадка страха была не столь внезапна, как это может показаться с первого взгляда. За несколько дней до этого ребенок проснулся от страшного сновидения, содержание которого было, что мать ушла

и теперь у него «нет мамы, чтобы ласкаться к ней». Уже этот сон указывает на процесс вытеснения значительной интенсивности. Его нельзя истолковать так, как большинство страшных сновидений, что мальчик испытывал во сне страх соматического происхождения и затем уже использовал его для исполнения интенсивно вытесненного желания (ср. «Толкование сновидений»). Сновидение Ганса — это настоящее сновидение наказания и вытеснения, при котором остается неисполненной самая функция сновидения, так как Ганс со страхом пробуждается. Можно легко восстановить самый процесс, имевший место в бессознательном. Мальчику снилось, что его ласкает мать, что он спит у нее: все наслаждение претворилось в страх и все содержание представления стало прямо противоположным. Вытеснение одержало победу над механизмом сновидения.

Но начало этой психологической ситуации можно отнести еще к более раннему периоду. Уже летом у него появились подобные тоскливо-тревожные настроения, во время которых он высказывал приблизительно то же, что и теперь, и которые давали ему то преимущество, что мать брала его к себе в постель. С этого периода мы могли бы уже признать существование у Ганса повышенного сексуального возбуждения, объектом которого оказалась мать, а интенсивность которого выразилась в двух попытках совращения матери (последняя незадолго до появления страха). Это возбуждение привело Ганса к ежевечернему мастурбационному удовлетворению. Произошло ли превращение возбуждения спонтанно, вследствие отказа матери или вследствие случайного пробуждения прежних впечатлений при случаях, послуживших «поводом» для заболевания, этого решить нельзя, но это и безразлично, так как все три возможности не противоречат друг другу. Но несомненен факт превращения сексуального возбуждения в страх.

Мы уже слышали о поведении мальчика в период возникновения его страха и о первом содержании страха, которое он давал, а именно — что его укусит лошадь. Тут происходит первое вмешательство терапии. Родители указывают на то, что страх является результатом мастурбации, и стараются его отучить от нее. Я принимаю меры к тому, чтобы ему основательно подчеркнули его нежность к матери, которую ему хотелось бы выменять на страх перед лошадьми. Маленькое улучшение, наступившее после этой меры, вскоре во время соматической болезни исчезает. Состояние остается неизменным. Вскоре Ганс находит источник боязни, что его укусит лошадь, в воспоминании о впечатлении в Гмундене. Уезжающий отец предупреждал тогда сына: «Не подноси пальца к лошади, иначе она тебя укусит». Словесная форма, в которую Ганс облек предостережение отца, напоминает форму, в которой сделано было предупреждение против онанизма. Возникает впечатление, что родители правы, полагая, что Ганс испытывает страх перед своим онанистическим удовлетворением. Но связь получается все еще непрочная, и лошадь кажется попавшей в свою устрашающую роль совершенно случайно.

Я высказал предположение, что вытесненное желание Ганса могло означать, что он во что бы то ни стало хочет видеть Wiwimacher матери. Воспользовавшись отношением Ганса к новопоступившей прислуге, отец делает ему первое разъяснение: «У женщин нет Wiwimacher'а». На эту первую помощь Ганс реагирует сообщением своей фантазии, в которой он видел мать прикасающейся к его Wiwimacher'у. Эта фантазия и высказанное в разговоре замечание, что его Wiwimacher

все-таки вырос, дают возможность в первый раз заглянуть в течение мыслей пациента. Он действительно находился под впечатлением угрозы матери кастрацией, которая имела место 1 $^{1}/_{4}$ года назад, так как фантазия, что мать делает то же самое (обыкновенный прием обвиняемых детей), должна освободить его от страха перед угрозой, это — защитная фантазия. В то же время мы должны себе сказать, что родители извлекли у Ганса из его патогенно действующего материала тему интереса к Wiwimacher'у. Он за ними в этом направлении последовал, но самостоятельно в анализ еще не вступил. Терапевтического успеха еще не было заметно. Анализ далеко ушел от лошадей, и сообщение, что у женщин нет Wiwimacher'a, по своему содержанию скорее способно было усилить его заботы о сохранении собственного Wiwimacher'a.

Но мы в первую очередь стремимся не к терапевтическому успеху; мы желаем привести пациента к тому, чтобы он мог сознательно воспринять свои бессознательные побуждения. Этого мы достигаем, когда на основании указаний, которые он нам делает, при помощи нашего искусства толкования своими словами вводим в его сознание бессознательный комплекс. Следы сходства между тем, что он услышал, и тем, что он ищет, что само, несмотря на все сопротивления, стремится дойти до сознания, помогают ему найти бессознательное. Врач идет немного впереди; пациент идет за ним своими путями до тех пор, пока у определенного пункта они не встретятся. Новички в психоанализе обыкновенно сливают в одно эти два момента и считают, что момент, в котором им стал известен бессознательный комплекс больного, в то же время есть момент, когда этот комплекс стал и больному понятен. Они ожидают слишком многого, когда хотят вылечить больного сообщением ему факта, который может только помочь больному найти бессознательный комплекс в сфере бессознательного там, где он застрял. Первого успеха подобного рода мы достигаем теперь у Ганса. После частичной победы над его кастрационным комплексом он теперь в состоянии сообщить свои желания по отношению к матери, и он делает это в еще искаженной форме в виде фантазии о двух жирафах, из которых один безуспешно кричит в то время, как сам Ганс овладевает другим. Овладение он изображает тем, что он садится на него. В этой фантазии отец узнает воспроизведение сцены, которая утром разыгралась в спальне между родителями и мальчиком, и он тут же спешит освободить желание от всего, что его искажает. Оба жирафа — это отец и мать. Форма фантазии с жирафами в достаточной мере детерминирована посещением этих больших животных в Шёнбрунне, которое имело место несколько дней назад, рисунком жирафа, который отец сохранил из прежнего времени, и, быть может, вследствие бессознательного сравнения, связанного с высокой и неподвижной шеей жирафа[1]. Мы замечаем, что жираф, как большое и по своему Wiwimacher'у интересное животное, мог бы сделаться конкурентом лошади в ее устрашающей роли; а то, что отец и мать выведены в виде жирафов, дает нам пока еще не использованное указание на значение вызывающих страх лошадей.

Две меньшие фантазии, которые Ганс рассказывает непосредственно после истории с жирафами, ускользают от истолкования со стороны отца, а их сообщение

---

[1] С этим находится в соответствии высказанное позже удивление Ганса по поводу шеи его отца.

не приносит Гансу никакой пользы. Содержание этих фантазий состоит в том, что он в Шёнбрунне стремится проникнуть в огороженное пространство и что он в вагоне разбивает стекло; в обоих случаях подчеркивается преступное в поступках и соучастие отца. Но все, что оставалось непонятным, приходит опять; как рвущийся на свободу дух, оно не находит себе покоя до тех пор, пока дело не доходит до освобождения и разрешения.

Понимание обеих фантазий о преступлении не представляет для нас никаких затруднений. Они принадлежат комплексу овладения матерью. В мальчике как будто пробивает себе дорогу неясное представление о том, что следовало бы сделать с матерью, чтобы можно было достичь обладания. И для того, что он не может понять, он находит известные образные подстановки, общим для которых является насильственное, запретное, а содержание которых так удивительно хорошо соответствует скрытой действительности. Мы можем теперь сказать, что это — символические фантазии о коитусе, и ни в коем случае нельзя считать второстепенным то, что отец в них принимает участие: «Я бы хотел делать с мамой что-то запретное, не знаю, что именно, но знаю, что ты это тоже делаешь».

Фантазия о жирафах усилила во мне убеждение, которое возникло при словах маленького Ганса «лошадь придет в комнату», и я нашел этот момент подходящим, чтобы сообщить ему существенно важную предпосылку в его бессознательных побуждениях; его страх перед отцом вследствие ревнивых и враждебных желаний по отношению к нему. Этим я отчасти истолковал ему страх перед лошадьми, а именно, что лошадь — это отец, перед которым он испытывает страх с достаточным основанием. Известные подробности, как страх перед чем-то черным у рта и у глаз (усы и очки как преимущества взрослого), казались мне перенесенными на лошадей с отца.

Подобным разъяснением я устранил у Ганса самое существенное сопротивление по отношению к обнаружению бессознательных мыслей, так как отец сам исполнял роль врача. С этого времени мы перешагнули через высшую точку болезни, материал начал притекать в изобилии, маленький пациент обнаруживал мужество сообщать отдельные подробности своей фобии и вскоре самостоятельно принял участие в ходе анализа[1].

Теперь только можно понять, перед какими объектами и впечатлениями Ганс испытывает страх. Не только перед лошадьми и перед тем, что его укусит лошадь (этот страх скоро утихает), а перед экипажами, мебельными фургонами и омнибусами, общим для которых оказывается их тяжелый груз, перед лошадьми, которые приходят в движение, которые выглядят большими и тяжелыми, которые быстро бегут. Смысл этих определений указывает сам Ганс: он испытывает страх, что лошади упадут, и содержанием его фобии он делает все то, что может облегчить лошади это падение.

Весьма нередко приходится услышать настоящее содержание фобии, правильное словесное определение навязчивого импульса и т. п. только после ряда пси-

[1] Страх перед отцом, даже в тех анализах, которые врач предпринимает с посторонними, играет весьма значительную роль как сопротивление против репродукции бессознательного патогенного материала. Эти сопротивления отчасти принадлежат к «мотивам», с другой стороны, как в настоящем случае, они составляют частицу бессознательного материала, по содержанию способного служить задержкой для репродукции другой части анализа.

хоаналитических усилий. Вытеснение касается не только бессознательных комплексов, оно направлено также на непрерывно образующиеся дериваты их и мешает самим больным заметить продукты их болезни. Тут часто оказываешься в необыкновенном положении, когда в качестве врача приходится прийти на помощь болезни, чтобы вызвать к ней внимание. Но только тот, кто совершенно не разбирается в сущности психоанализа, будет выставлять на первый план эту фазу усилий и ждать из-за этого от анализа вреда. Истина в том, что нюрнбержцы никого не вешают раньше, чем не заполучат его в свои руки, и что требуется известная работа, чтобы овладеть теми болезненными образованиями, которые хочешь разрушить.

В своих замечаниях, сопровождающих историю болезни, я упомянул уже о том, что весьма поучительно настолько углубиться в детали фобии, чтобы можно было вынести верное впечатление о вторично появившемся соотношении между страхом и его объектами. Отсюда происходит своеобразная расплывчатость и в то же время строгая обусловленность сущности фобии. Материал для этих вторичных образований наш маленький пациент, очевидно, получил из впечатлений, связанных с расположением жилья напротив таможни. По этой причине он высказывает заторможенное страхом побуждение играть, подобно мальчикам на улице, вокруг нагруженных возов, багажа, бочек и ящиков.

В этой стадии анализа он сталкивается опять с довольно безобидным переживанием, которое непосредственно предшествовало началу заболевания и которое можно считать поводом для него. Во время прогулки с матерью он видел, как впряженная в омнибус лошадь упала и задергала ногами. Это произвело на него большое впечатление. Он сильно испугался и думал, что лошадь скончалась; с этого времени все лошади могут упасть. Отец указывает Гансу на то, что, когда лошадь упала, тот думал об отце и, вероятно, чтобы отец также упал и умер. Ганс не протестует против этого толкования; несколько позже он принимает его, изображая в игре, что он кусает отца. При этом он идентифицирует отца с лошадью и теперь уже держится по отношению к отцу свободно, без страха и даже несколько дерзко. Но страх перед лошадьми не исчез, и еще неясно, вследствие каких ассоциаций падающая лошадь пробудила бессознательные желания.

Резюмируем все, что получили до сих пор: за высказанным страхом, что лошадь укусит его, открывается более глубоко лежащий страх, что лошади упадут; и обе лошади, кусающая и падающая, — это отец, который его накажет за его дурные желания. Матери в этом анализе мы пока не касались.

Совершенно неожиданно и уже, наверно, без участия отца Ганса начинает занимать «комплекс Lumpf'a», и он обнаруживает отвращение к предметам, которые напоминают ему действие кишечника. Отец, который здесь идет за Гансом довольно неохотно, проводит, между прочим, свой анализ в желательном для него направлении и напоминает Гансу одно переживание в Гмундене, впечатление от которого скрывается за падающей лошадью. Его любимый приятель и, быть может, конкурент у его приятельниц Фриц во время игры в лошадки споткнулся о камень, упал, а из раненой ноги у него пошла кровь. Переживание с упавшей лошадью в омнибусе вызвало воспоминание об этом несчастном случае. Любопытно, что Ганс, который в это время был занят другими вещами, сначала отрица-

ет падение Фрица (которое устанавливает связь) и признает его только в более поздней стадии анализа. Но для нас очень интересно отметить, каким образом превращение либидо в страх проецируется на главный объект фобии — лошадь. Лошади были для Ганса самыми интересными большими животными, игра в лошадки — самой любимой игрой с его товарищами-детьми. Предположение, что сначала отец изображал для него лошадь, подтверждается отцом, и, таким образом, при несчастном случае в Гмундене Фриц мог быть замещен отцом. После наступившей волны вытеснения он должен был уже испытывать страх перед лошадьми, с которыми до этого у него было связано столько удовольствий.

Но мы уже сказали, что этим последним важным разъяснением о действительности повода болезни мы обязаны вмешательству отца. Ганс остается при своих фекальных интересах, и мы в конце концов должны за ним следовать. Мы узнаем, что он уже обыкновенно навязывался матери с просьбой сопровождать ее в клозет и что он то же предлагал заместительнице матери — своей приятельнице Берте, пока это не стало известным и не было запрещено. Удовольствие, испытываемое при наблюдении за известными операциями у любимого лица, соответствует также «скрещению влечения», пример которого мы уже заметили у Ганса. Наконец, и отец идет на эту фекальную символику и признает аналогию между тяжело нагруженным возом и обремененным каловыми массами животом, между тем, как выезжает из ворот воз, и тем, как выделяется кал из живота, и т. п.

Но позиция Ганса в анализе сравнительно с прежними стадиями существенно изменилась. В то время как раньше отец мог всегда сказать ему наперед, что будет потом, и Ганс, следуя указаниям, плелся за ним, теперь, наоборот, Ганс уверенно спешит вперед, и отец должен прилагать усилия, чтобы поспевать за ним. Ганс, как бы самостоятельно, приводит новую фантазию: слесарь или водопроводчик отвинтил ванну, в которой находился Ганс, и своим большим буравом толкнул его в живот. С этого момента уже наше понимание с трудом поспевает за материалом. Только позже нам удается догадаться, что это есть искаженная страхом переработка фантазии оплодотворения. Большая ванна, в которой Ганс сидит в воде, это живот матери; «бурав», который уже отцу напомнил большой пенис, упоминается как способ оплодотворения. Конечно, это звучит довольно курьезно, если мы истолкуем фантазию так: «Твоим большим пенисом ты меня «пробуравил» (gebohrt) (привел к появлению на свет — zur Geburt gebracht) и всадил меня в чрево матери». Но пока фантазия остается неистолкованной и служит Гансу только связью для продолжения его сообщений.

Перед купанием в большой ванне Ганс выказывает страх, который тоже оказывается сложным. Одна часть его пока еще ускользает от нас, другая вскоре выясняется отношением его к купанию маленькой сестры. Ганс соглашается с тем, что у него есть желание, чтобы мать во время купания сестренки уронила ее и чтобы та умерла; его собственный страх при купании был страхом перед возмездием за это злое желание, перед наказанием, которое будет состоять в том, что так и с ним поступят. Тут он оставляет тему экскрементов и непосредственно переходит к теме сестренки. Но мы можем подозревать, что означает этот переход: ничего другого, как то, что маленькая Анна сама Lumpf, что все дети Lumpf'ы и рождаются наподобие дефекации. Теперь мы понимаем, что все виды возов суть только

возы для аистиных ящиков и представляют для него интерес только как символическое замещение беременности и что падение ломовой или тяжело нагруженной лошади может означать только разрешение от беременности. Таким образом, падающая лошадь означала не только умирающего отца, но также и рожающую мать.

И тут Ганс преподносит сюрприз, к которому мы на самом деле не были подготовлены. Уже когда ему было 3 ½ года, он обратил внимание на беременность матери, закончившуюся рождением сестренки, и он сконструировал для себя — во всяком случае, после родов — истинное положение вещей, никому не открывая этого и, быть может, не будучи в состоянии сделать это. Тогда можно было только наблюдать, что непосредственно после родов он скептически относился ко всем признакам, которые должны были указывать на присутствие аиста. Но то, что он в бессознательном и в противоположность своим официальным заявлениям знал, откуда пришло дитя и где оно раньше находилось, подтверждается этим анализом вне всякого сомнения; быть может, это даже самая неопровержимая часть анализа.

Доказательством этому служит упорно держащаяся и украшенная столькими деталями фантазия, из которой видно, что Анна уже летом, до ее рождения, находилась с ними в Гмундене, в которой излагается, как она туда переезжала и что она тогда была способна к большему, чем через год после ее рождения. Дерзость, с которой Ганс преподносит эту фантазию, бесчисленные лживые вымыслы, которые он в нее вплетает, не совсем лишены смысла; все это должно служить местью отцу, на которого он сердится за то, что тот вводил его в заблуждение сказкой об аисте. Как будто он хотел сказать: если ты мог меня считать столь глупым, чтобы я поверил в аиста, который принес Анну, тогда я могу и от тебя требовать, чтобы ты мои выдумки принял за истину. В довольно прозрачном соотношении с этим актом мести маленького исследователя находится фантазия о том, как он дразнит и бьет лошадей. И эта фантазия тоже связана с двух сторон: с одной — она опирается на дерзости, которые он только что говорил отцу, а с другой стороны — она вновь обнаруживает неясные садистские желания по отношению к матери, которые вначале, когда мы еще их не понимали, проявлялись в фантазиях о преступных поступках. Он и сознательно признает весьма приятным бить маму.

Теперь нам уже нечего ожидать многих загадок. Неясная фантазия об опоздании поезда кажется предшественницей последующего помещения отца у бабушки в Лайнце, так как в этой фантазии дело идет о путешествии в Лайнц и бабушка участвует в ней. Другая фантазия, в которой мальчик дает кондуктору 50 000 гульденов, чтобы тот позволил ему ехать на дрезине, звучит почти как план откупить мать у отца, сила которого отчасти в его богатстве. Затем он признается в желании устранить отца и соглашается с обоснованием этого желания (потому что отец мешает его интимности к матери) с такой откровенностью, до какой он до сих пор еще не доходил. Мы не должны удивляться, что одни и те же побуждения во время анализа всплывают по нескольку раз; дело в том, что монотонность вытекает только из приемов толкования; для Ганса это не простые повторения, а п-рогрессирующее развитие от скромного намека до сознательной ясности, свободной от всяких искажений.

Все, что последует теперь, это только исходящие от Ганса подтверждения фактов, несомненных благодаря анализу для нашего толкования. В довольно недвусмысленных симптоматических поступках, которые он слегка прикрывает перед прислугой, а не перед отцом, он показывает, как он себе представляет деторождение; но при более внимательном наблюдении мы можем отметить еще кое-что, в анализе больше не появившееся. Он втыкает в круглое отверстие резиновой куклы маленький ножичек, принадлежащий матери, и затем дает ему выпасть оттуда, причем он отрывает ноги кукле, раздвигая их в стороны. Последовавшее за этим разъяснение родителей, что дети действительно вырастают в чреве матери и выходят оттуда, как каловые массы при испражнении, оказывается запоздавшим; оно ему уже ничего нового сказать не может. При помощи другого как бы случайно последовавшего симптоматического поступка он допускает, что желал смерти отца: он опрокидывает лошадь, с которой играл, в тот момент, когда отец говорит об этом желании смерти. На словах он подтверждает, что тяжело нагруженные возы представляют для него беременность матери, а падение лошади — процесс родов.

Великолепное подтверждение того, что дети — Lumpf'ы, мы видим в придуманном им для его любимого ребенка имени Lodi. Но оно становится нам известным несколько позже, так как мы узнаем, что он давно играет с этим «колбасным» ребенком[1].

Обе заключительные фантазии Ганса, с которыми закончилось его излечение, мы отметили уже раньше. Одна о водопроводчике, который ему приделывает новый и, как угадывает отец, больший Wiwimacher, является не только повторением прежней фантазии, в которой фигурировали водопроводчик и ванна. Это — победная фантазия, содержащая желание и победу над страхом перед кастрацией.

Вторая фантазия, подтверждающая желание быть женатым на матери и иметь с ней много детей, не исчерпывает одного только содержания тех бессознательных комплексов, которые пробудились при виде падающей лошади и вызвали вспышку страха. Цель ее в коррекции всего того, что было совершенно неприемлемо в тех мыслях; вместо того чтобы умертвить отца, он делает его безвредным женитьбой на бабушке. С этой фантазией вполне справедливо заканчиваются болезнь и анализ.

Во время анализа определенного случая болезни нельзя получить наглядного впечатления о структуре и развитии невроза. Это дело синтетической работы, которую нужно предпринимать потом. Если мы произведем этот синтез для фобии нашего маленького Ганса, то мы начнем с его конституции, с его направляющих сексуальных желаний и его переживаний до рождения сестры, о чем мы говорили на первых страницах этой статьи.

Появление на свет этой сестры принесло для него много такого, что с этого момента больше не оставляло его в покое. Прежде всего некоторая доля лишения:

---

[1] Кажущаяся сначала странной мысль гениального рисовальщика Т. Т. Хейне, изображающего на страницах «Симплициссимуса», как ребенок мясника попадает в колбасную машину, как родители оплакивают его в виде сосиски, как его отпевают и как он возносится на небо, благодаря эпизоду о Лоди находит свое объяснение в инфантильных фантазиях.

вначале временная разлука с матерью, а позже длительное уменьшение ее заботливости и внимания, которые он должен был делить с сестрой. Во-вторых, все то, что на его глазах мать проделывала с его сестричкой, пробудило в нем вновь его переживания, связанные с чувством наслаждения, из того периода, когда он был грудным младенцем. Оба эти влияния усилили в нем его эротические потребности, вследствие чего он начал чувствовать необходимость удовлетворения. Ущерб, который ему принесла сестра, он компенсировал себе фантазией, что у него самого есть дети. Пока он в Гмундене на самом деле мог играть с этими детьми, его нежность находила себе достаточное отвлечение. Но по возвращении в Вену, опять одинокий, он направил все свои требования на мать и претерпел опять лишение, когда его в возрасте 4 лет удалили из спальни родителей. Его повышенная эротическая возбудимость обнаружилась в фантазиях, в которых вызывались, чтобы разделить его одиночество, его летние товарищи, и в регулярных аутоэротических удовлетворениях при помощи мастурбационного раздражения полового органа.

В-третьих, рождение его сестры дало толчок для мыслительной работы, которой, с одной стороны, нельзя было разрушить, и которая, с другой стороны, впутывала его в конфликты чувств.

Перед ним предстала большая загадка, откуда появляются дети, — быть может, первая проблема, разрешение которой начинает пробуждать духовные силы ребенка и которая в измененном виде воспроизведена, вероятно, в загадке фиванского сфинкса. Предложенное Гансу объяснение, что аист принес Анну, он отклонил. Все-таки он заметил, что у матери за несколько месяцев до рождения девочки сделался большой живот, что она потом лежала в постели, во время рождения девочки стонала и затем встала похудевшей. Таким образом, он пришел к заключению, что Анна находилась в животе матери и затем вылезла из него, как Lumpf. Этот процесс в его представлении был связан с удовольствием, так как он опирался на прежние собственные ощущения удовольствия при акте дефекации, и поэтому с удвоенной мотивировкой мог желать иметь детей, чтобы их с удовольствием рожать, а потом (наряду с удовольствием от компенсации) ухаживать за ними. Во всем этом не было ничего, что могло его привести к сомнению или к конфликту.

Но тут было еще кое-что, нарушавшее его покой. Что-то должен был делать и отец при рождении маленькой Анны, так как тот утверждал, что как Анна, так и он — его дети. Но ведь это не отец принес их на свет, а мама. Этот отец стоял у него поперек дороги к маме. В присутствии отца он не мог спать у матери, а когда мать хотела брать Ганса в постель, отец подымал крик. Гансу пришлось испытать, как это хорошо, когда отец находится в отсутствии, и желание устранить отца было у него вполне оправдываемым. Затем эта враждебность получила подкрепление. Отец сказал ему неправду про аиста и этим сделал для него невозможным просить разъяснения по поводу этих вещей. Он не только мешал ему лежать у мамы в постели, а скрывал от него знание, к которому Ганс стремился. Отец наносил ему ущерб в обоих направлениях, и все это, очевидно, к своей выгоде.

Первый, сначала неразрешимый душевный конфликт создало то обстоятельство, что того же самого отца, которого он должен был ненавидеть как конкурента, он раньше любил и должен был любить дальше, потому что тот для него был первым образом, товарищем, а в первые годы и нянькой. С развитием Ганса лю-

бовь должна была одержать верх и подавить ненависть в то самое время, когда эта ненависть поддерживалась любовью к матери.

Но отец не только знал, откуда приходят дети, он сам в этом принимал участие, что Ганс не совсем ясно мог предполагать. Что-то здесь должен был делать Wiwimacher, возбуждение которого сопровождало все эти мысли, и, вероятно, большой Wiwimacher, больший, чем Ганс находил у себя. Если следовать ощущениям, которые тут появлялись, то здесь должно было иметь место насилие над мамой, разбивание, открывание, внедрение в закрытое пространство, импульсы, которые Ганс чувствовал и в себе. Но хотя он находился уже на пути, чтобы на основании своих ощущений в пенисе постулировать влагалище, он все-таки не мог разрешить этой загадки, так как у него не было соответствующих знаний. И наоборот, разрешению препятствовала уверенность в том, что у мамы такой же Wiwimacher, как и у него. Попытка решения вопроса о том, что нужно было предпринять с матерью, чтобы у нее появились дети, затерялась в области бессознательного. И без применения остались оба активных импульса — враждебный против отца и садистско-любовный по отношению к матери: первый вследствие существующей наряду с ненавистью любви, второй — вследствие беспомощности, вытекающей из инфантильности сексуальных теорий.

Только в таком виде, опираясь на результаты анализа, я мог сконструировать бессознательные комплексы и стремления, вытеснение и новое пробуждение которых вызвало у маленького Ганса фобию. Я знаю, что тут возлагаются слишком большие надежды на мыслительные способности мальчика в возрасте 4–5 лет, но я руководствуюсь только тем, что мы узнали, и не поддаюсь влиянию предвзятостей, вытекающих из нашего познания. Быть может, можно было использовать страх перед топанием ногами лошади, чтобы восполнить несколько пробелов в нашем процессе толкования. Даже сам Ганс говорил, что это напоминает ему его топание ногами, когда его заставляют прервать игру, чтобы пойти в клозет; таким образом, этот элемент невроза становится в связь с проблемой, охотно или с принуждением получает мама детей. Но у меня не складывается впечатления, что этим вполне разъясняется значение комплекса «шума от топания ногами». Моего предположения, что у Ганса пробудилось воспоминание о половом сношении родителей, замеченном им в спальне, отец подтвердить не мог. Итак, удовлетворимся тем, что мы узнали.

Благодаря какому влиянию в описанной ситуации появилось у Ганса превращение либидозного желания в страх, с какого конца имело место вытеснение — сказать трудно, и это можно решить только после сравнения со многими подобными анализами. Вызвала ли вспышку интеллектуальная неспособность ребенка разрешить трудную загадку деторождения и использовать развившиеся при приближении к разрешению агрессивные импульсы, или же соматическая недостаточность, невыносливость его конституции к регулярному мастурбационному удовлетворению, или самая продолжительность сексуального возбуждения в столь высокой интенсивности должна была повести к перевороту, — все это я оставляю под вопросом, пока дальнейший опыт не придет нам на помощь.

Приписать случайному поводу слишком большое влияние на появление заболевания запрещают временные условия, так как намеки на страх наблюдались у Ганса задолго до того, как он присутствовал на улице при падении лошади.

Но, во всяком случае, невроз непосредственно опирается на это случайное переживание и сохраняет следы его, возводя лошадь в объект страха. Само по себе это впечатление не имеет «травматической силы»; только прежнее значение лошади, как предмета особой любви и интереса и ассоциация с более подходящим для травматической роли переживанием в Гмундене, когда во время игры в лошадки упал Фриц, а затем уже легкий путь ассоциации от Фрица к отцу придали этому случайно наблюдавшемуся несчастному случаю столь большую действенную силу. Да, вероятно, и этих отношений оказалось бы мало, если бы благодаря гибкости и многосторонности ассоциативных связей то же впечатление не оказалось способным затронуть другой комплекс, затаившийся у Ганса в сфере бессознательного, — роды беременной матери. С этого времени был открыт путь к возвращению вытесненного, и по этому пути патогенный материал был переработан (транспонирован) в комплекс лошади и все сопутствующие аффекты оказались превращенными в страх.

Весьма интересно, что идейному содержанию фобии пришлось еще подвергнуться искажению и замещению прежде, чем оно дошло до сознания. Первая формулировка страха, высказанная Гансом: «Лошадь укусит меня»; она обусловлена другой сценой в Гмундене, которая, с одной стороны, имеет отношение к враждебным желаниям, направленным на отца, с другой — напоминает предостережение по поводу онанизма. Здесь проявилось также отвлекающее влияние, которое, вероятно, исходило от родителей; я не уверен, что сообщения о Гансе тогда записывались достаточно тщательно, чтобы решиться сказать, дал ли он эту формулировку для своего страха до или только после предупреждения матери по поводу мастурбации. В противоположность приведенной истории болезни я склонен предположить последнее. В остальном довольно ясно, что враждебный комплекс по отношению к отцу повсюду скрывает похотливый комплекс по отношению к матери; точно так же, как и в анализе, он первым открывается и разрешается.

В других случаях болезни нашлось бы больше данных, чтобы говорить о структуре невроза, его развитии и распространении, но история болезни нашего маленького Ганса слишком коротка: она вскоре же после начала сменяется историей лечения. Когда фобия в продолжение лечения казалась дальше развивающейся, привлекала к себе новые объекты и новые условия, то лечивший Ганса отец оказывался, конечно, достаточно благоразумным, чтобы видеть в этом только проявление уже готовой, а не новой продукции, появление которой могло бы затормозить лечение. На такое благоразумное лечение в других случаях не всегда можно рассчитывать.

Прежде чем я объявлю этот синтез законченным, я должен принять в расчет еще другую точку зрения, встав на которую, мы окажемся перед определенными затруднениями в понимании невротических состояний. Мы видим, как нашего маленького пациента охватывает волна вытеснения, которое касается преимущественно его преобладающих сексуальных компонентов[1]. Он признается в онанизме, с отвращении отвергает от себя все то, что напоминает экскременты и опера-

[1] Отец наблюдал даже, что одновременно с этим вытеснением у ребенка наступает в известной мере сублимация. Вместе с наступлением боязливости он проявляет повышенный интерес к музыке и развивает унаследованное дарование.

ции, связанные с действием кишечника. Но это не те компоненты, которые затронуты поводом к заболеванию (падение лошади) и которые продуцируют материал для симптомов, содержания фобии.

Таким образом, здесь есть повод установить принципиальное различие. Вероятно, можно достигнуть более глубокого понимания случая болезни, если обратиться к тем другим компонентам, которые удовлетворяют обоим вышеприведенным условиям. У Ганса это — стремления, которые уже раньше были подавлены и которые, насколько мы знаем, никогда не могли проявиться свободно: враждебно-ревнивые чувства к отцу и садистские, соответствующие предчувствию коитуса, влечения к матери. В этих ранних торможениях лежит, быть может, предрасположение для появившейся позднее болезни. Эти агрессивные склонности не нашли у Ганса никакого выхода, и как только они в период лишения и повышенного сексуального возбуждения, получив поддержку, собирались проявиться наружу, вспыхнула борьба, которую мы называем «фобией». В период ее развития проникает в сознание, как содержание фобии, часть вытесненных представлений, искаженных и перенесенных на другой комплекс; но несомненно, что это жалкий успех. Победа остается за вытеснением, которое в этом случае захватывает и другие компоненты. Но это не меняет того, что сущность болезненного состояния остается безусловно связанной с природой компонентов влечения, подлежащих удалению. Цель и содержание фобии — это далеко идущее ограничение свободы движения и, таким образом, мощная реакция против неясных двигательных импульсов, которые особенно склонны быть направленными на мать. Лошадь для нашего мальчика всегда была образцом для удовольствия от движения («Я молодая лошадь», — говорит Ганс во время возни), но так как удовольствие от движения заключает в себе импульс коитуса, то это удовольствие невроз ограничивает, а лошадь возводится в символ ужаса. Кажется, что вытесненным влечениям в неврозе ничего больше не остается, кроме чести доставлять в сознание поводы для страха. Но как бы победа сексуального отклонения в фобии ни была отчетливо выраженной, все-таки компромиссная природа болезни не допускает, чтобы вытесненное не могло достичь ничего другого. Фобия лошади — все-таки препятствие выйти на улицу и может служить средством остаться дома у любимой матери. Здесь победила его нежность к матери: любящий цепляется вследствие своей фобии за любимый объект, но он, конечно, заботится и о том, чтобы не оказаться в опасности. В этих обоих влияниях обнаруживается настоящая природа невротического заболевания.

Недавно А. Адлер в богатой идеями работе[1], из которой я взял термин «скрещение влечения», написал, что страх происходит от подавления «агрессивного влечения», и в обширном синтезе он приписал этому влечению главную роль «в жизни и в неврозе». Если бы мы в конце концов были склонны признать, что в нашем случае фобии страх объясняется вытеснением тех агрессивных склонностей, то мы имели бы блестящее подтверждение взглядов Адлера. И все-таки я с этим не могу согласиться, так как это ведет к вносящим заблуждение обобщениям. Я не могу решиться признать особое агрессивное влечение наряду и на одина-

[1] См. выше.

ковых правах с известными нам влечениями самосохранения и сексуальным. Мне кажется, что Адлер неправильно считает за особенное влечение общий и непременный характер всякого влечения и именно то «влекущее», побуждающее, что мы могли бы описать как способность давать толчок двигательной сфере. Из всех влечений не осталось бы ничего, кроме отношения к цели, после того как мы отняли бы от них отношение к средствам для достижения этой цели, «агрессивное влечение». Несмотря на всю сомнительность и неясность нашего учения о влечениях, я все-таки пока держался бы привычных воззрений, которые признают за каждым влечением свою собственную возможность сделаться агрессивным и без того, чтобы быть направленным на объект. И в обоих влечениях, достигших вытеснения у Ганса, я признал бы давно известные компоненты сексуального либидо.

III

Прежде чем я приступлю к своим кратким замечаниям по поводу того, что можно извлечь ценного из фобии маленького Ганса для жизни и воспитания детей, я должен ответить на возражение, что Ганс — невротик, отягченный наследственностью дегенерат и ненормальный ребенок по сравнению с другими детьми. Мне уже заранее досадно думать, как сторонники существования «нормального человека» будут третировать нашего бедного маленького Ганса после того, как узнают, что у него действительно можно отметить наследственное отягощение.

Я в свое время пришел на помощь его матери, которая в своем конфликте девичьего периода заболела неврозом, и это даже было началом моих отношений с его родителями. Но я позволю себе лишь с большой робостью привести кое-что в его защиту.

Прежде всего Ганс совсем не то, что после строгого наблюдения можно было бы назвать дегенеративным, наследственно обреченным на нервозность ребенком. Наоборот, это скорее физически хорошо развитый, веселый, любезный, с живым умом мальчишка, который может вызвать радость не только у отца. Конечно, не подлежит сомнению его раннее половое развитие, но для правильного суждения у нас нет достаточного сравнительного материала. Так, например, из одного массового исследования, произведенного в Америке, я мог видеть, что подобные же ранний выбор объекта и любовные ощущения у мальчиков вовсе не так редки; а так как то же известно и из истории детства «великих» людей, то я склонен был думать, что раннее сексуальное развитие является редко отсутствующим коррелятом интеллектуального развития, и поэтому оно встречается чаще у одаренных детей, чем это можно было ожидать.

Открыто сознаваясь в моем неравнодушии к маленькому Гансу, я должен заявить, что он не единственный ребенок, который в периоде детства был одержим фобиями. Известно, что эти заболевания необыкновенно часты, и даже у таких детей, воспитание которых по строгости не оставляет желать ничего большего. Такие дети позже или делаются невротиками, или остаются здоровыми. Их фобии заглушаются в детской, потому что для лечения они недоступны и, наверно, весьма неудобны. В течение месяцев или лет эти фобии ослабевают и кажутся излеченными; какие психические изменения обусловливает подобное излечение,

какие связаны с ними изменения характера, об этом никто не знает. И когда приступаешь к психоанализу взрослого невротика, у которого болезнь, предположим, обнаружилась только в годы зрелости, то каждый раз узнаешь, что его невроз связан с таким детским страхом и представляет только продолжение его и что непрерывная и в то же время ничем не стесненная психическая работа, начинаясь с детских конфликтов, продолжается и дальше в жизни независимо от того, отличался ли первый симптом постоянством или под давлением обстоятельств исчезал. Таким образом, я думаю, что наш Ганс был болен не сильнее, чем столь многие другие дети, которые не носят клички дегенератов; но так как его воспитывали возможно бережнее, без строгостей и с возможно малым принуждением, то и его страх проявился более открыто. У этого страха не было мотивов нечистой совести и страха перед наказанием, которые, наверное, обыкновенно оказывают влияние на уменьшение его. Я склонен думать, что мы обращаем слишком много внимания на симптомы и мало заботимся о том, откуда они происходят. Ведь в деле воспитания детей мы ничего больше не желаем, как покоя, не желаем переживать никаких трудностей, короче говоря, мы культивируем послушного ребенка и слишком мало обращаем внимания, полезен ли для него такой ход развития. Итак, я могу предположить, что продуцирование фобии Гансом было для него целительным, потому что: 1) оно направило внимание родителей на неизбежные трудности, которые ребенку при современном культурном воспитании приносит преодоление прирожденных компонентов влечения; 2) потому что его болезнь повлекла за собой помощь со стороны отца. Быть может, у него даже есть то преимущество перед другими детьми, что он больше не носит в себе того ядра вытесненных комплексов, которое для будущей жизни всякий раз должно иметь какое-нибудь значение. Оно (ядро), наверно, приводит в известной мере к неправильностям в развитии характера, если не к предрасположению к будущему неврозу. Я склонен так думать, но я не знаю, разделят ли мое мнение и другие, подтвердит ли все это опыт.

Но должен спросить, чем повредили Гансу выведенные на свет комплексы, которые не только вытесняются детьми, но которых боятся и родители? Разве мальчик начал серьезно относиться к своим претензиям на мать или место дурных намерений по отношению к отцу заняли поступки? Этого, наверно, боялись бы все те, которые не могут оценить сущность психоанализа и думают, что можно усилить дурные побуждения, если сделать их сознательными. Эти мудрецы только тогда поступают последовательно, когда они всячески убеждают не заниматься всеми теми дурными вещами, которые кроются за неврозом. Во всяком случае, они при этом забывают, что они врачи и у них обнаруживается фатальное сходство с шекспировским Кизилом в «Много шуму из ничего», который тоже дает страже совет держаться подальше от всякого общения с попавшимися ворами и разбойниками. Подобный сброд вовсе не компания для честных людей!

Наоборот, единственные последствия анализа — это то, что Ганс выздоравливает, не боится больше лошадей и начинает относиться к отцу непринужденнее, о чем последний сообщает с усмешкой. Но все, что отец теряет в уважении, он выигрывает в доверии. «Я думал, что ты знаешь все, потому что ты знал это

о лошади». Благодаря анализу успешность в вытеснении не уменьшается, влечения, которые были в свое время подавлены, остаются подавленными. Но успех приходит другим путем, так как анализ замещает автоматический и экспрессивный процесс вытеснения планомерной и целесообразной переработкой при помощи высших духовных инстанций. Одним словом, он замещает вытеснение осуждением. Нам кажется, что анализ дает давно ожидаемое доказательство того, что сознание носит биологическую функцию, и его участие приносит значительную выгоду.

Если бы я мог сам все устроить по-своему, я решился бы дать мальчику еще одно разъяснение, которого родители не сделали. Я подтвердил бы его настойчивые предчувствия, рассказав ему о существовании влагалища и коитуса, и таким образом еще больше уменьшил бы неразрешенный остаток и положил бы конец его стремлению к задаванию вопросов. Я убежден, что вследствие этих разъяснений не пострадала бы ни его любовь к матери, ни его детский характер, и он понял бы, что с занятиями этими важными, даже импозантными вопросами нужно подождать, пока не исполнится его желание стать большим. Но педагогический эксперимент на зашел так далеко.

Что между «нервными» и «нормальными» детьми и взрослыми нельзя провести резкой границы, что болезнь — это чисто практическое суммарное понятие, что предрасположение и переживание должны встретиться, чтобы переступить порог достижения этой суммации, что вследствие этого то и дело многие индивидуумы переходят из класса здоровых в разряд нервнобольных, — все это вещи, о которых уже столько людей говорило и столько поддерживало, что я со своими утверждениями, наверное, окажусь не одиноким. Что воспитание ребенка может оказать мощное влияние в пользу или во вред предрасположению к болезни при этом процессе суммации, считается по меньшей мере весьма вероятным. Но чего надо добиваться при воспитании и где надо в него вмешаться, до сих пор остается под вопросом.

До сих пор воспитание всегда ставило себе задачей обуздывание или правильное подавление влечений; успех получался далеко не удовлетворительный, а там, где он имелся, то — к выгоде небольшого числа людей, для которых такого подавления и не требовалось. Никто также не спрашивал себя, каким путем и с какими жертвами достигается подавление неудобных влечений. Но попробуем эту задачу заменить другой, а именно — сделать индивидуума при наименьших потерях в его активности пригодным для культурной социальной жизни. Тогда нужно принять во внимание все разъяснения, полученные от психоанализа, по поводу происхождения патогенных комплексов и ядра всякой нервозности, и воспитатель найдет уже в этом неоценимые указания, как держать себя по отношению к ребенку. Какие практические выводы можно отсюда извлечь и насколько наш опыт может оправдать проведение этих выводов в нашу жизнь при современных социальных отношениях, я предоставляю другим для испытания и разрешения.

Я не могу расстаться с фобией нашего маленького пациента, не высказав предположения, которое делает для меня особенно ценным этот анализ, приведший к излечению. Строго говоря, из этого анализа я не узнал ничего нового, ничего

такого, чего я уже раньше, быть может, в менее отчетливой и непосредственной форме не мог угадать у других взрослых. Неврозы этих других больных каждый раз можно бы свести к таким же инфантильным комплексам, которые открывались за фобией Ганса. Поэтому я считал бы возможным считать этот детский невроз типичным и образцовым, как если бы ничто не мешало приписывать разнообразие невротических явлений вытеснения и богатство патогенного материала происхождению от очень немногих процессов с одними и теми же комплексами представлений.

Три очерка по теории сексуальности

I. Сексуальные отклонения[1]

Факт половой потребности у человека и животного выражают в биологии тем, что у них предполагается «половое влечение». При этом допускают аналогию с влечением к пище, голодом. Соответствующего слову «голод» обозначения не имеется в народном языке; наука пользуется словом «либидо».

Расхожее мнение содержит вполне определенные представления о природе и свойствах этого полового влечения. В детстве его будто бы нет, оно появляется приблизительно ко времени и в связи с процессами полового созревания, выражается в явлениях непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой, и цель его состоит в половом соединении или по крайней мере в таких действиях, которые находятся на пути к нему.

Но у нас имеется основание видеть в этих данных очень неправильное отражение действительности; если присмотреться к ним ближе, то они оказываются полными ошибок, неточностей и приблизительностей.

Введем два термина: назовем лицо, которое внушает половое влечение, сексуальным объектом, а действие, на которое влечение толкает, сексуальной целью; в таком случае точный научный опыт показывает, что имеются многочисленные отклонения в отношении обоих — как сексуального объекта, так и сексуальной цели, и их отношение к сексуальной норме требует детального исследования.

---

[1] Содержащиеся в первой статье данные имеются в известных публикациях фон Крафт-Эбинга, Молля, Мёбиуса, Х. Эллиса, фон Шренк-Нотцинга, Лёвенфельда, Эйленбурга, И. Блоха, М. Хиршфельда и в работах издаваемого последним «Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen»; так как в них указана и прочая литература на эту тему, то я не считал нужным приводить подробные указания. Взгляды, основанные на психоаналитическом исследовании инвертированных, заимствованы из сообщений И. Задгера и из собственного опыта.

1. Отклонения относительно сексуального объекта

Общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половины — мужчину и женщину, стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно услышать, что встречаются мужчины, сексуальным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют противоположно-сексуальными или, лучше, инвертированными, а самый факт — инверсией. Число таких лиц очень значительно, хотя точно установить его затруднительно[1].

А. Инверсия

Поведение инвертированных

Эти лица ведут себя в различных направлениях различно.

а) Они абсолютно инвертированы, т. е. их сексуальный объект может быть только одного с ними пола, между тем как противоположный пол никогда не может у них быть предметом полового желания, а оставляет их холодными или даже вызывает у них половое отвращение. Такие мужчины оказываются благодаря отвращению неспособными совершить нормальный половой акт или при выполнении его не испытывают никакого наслаждения.

б) Они амфигенно инвертированы (психосексуальные гермафродиты), т. е. их сексуальный объект может принадлежать как одинаковому с ними, так и другому полу; инверсия, следовательно, лишена характера исключительности.

в) Они случайно инвертированы, т. е. при известных внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание. Они могут избрать сексуальным объектом лицо одинакового с ними пола и в таком половом акте получить удовлетворение.

Инвертированные проявляют далее различное отношение в своем суждении об особенностях своего полового влечения. Одни из них относятся к инверсии как к чему-то само собой разумеющемуся, подобно тому как нормальный относится к направленности своего либидо, и энергично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом своей инверсии и ощущают ее как болезненную навязчивость[2].

Другие вариации касаются временных отношений. Или инверсия существует у индивида с давних пор, насколько хватает его воспоминаний, или она проявилась у него только в определенный момент до или после периода половой зрелости[3]. Эта характерная особенность сохраняется на всю жизнь или по временам ис-

---

[1] Об этих трудностях и о попытке установить число инвертированных см. работу Магнуса Хиршфельда в «Jahrb. für sexuelle Zwischenstufen», 1904.

[2] Такое сопротивление навязчивому характеру инверсии может составить условие, благоприятствующее терапевтическому воздействию при помощи внушения или психоанализа.

[3] С различных сторон вполне правильно указывалось, что автобиографические данные инвертированных о времени наступления их склонности к инверсии не заслуживают доверия, так как они могут вытеснить из своей памяти доказательство их гетеросексуального ощущения; психоанализ подтвердил это подозрение в отношении доступных ему случаев инверсии, изменив их анамнез устранением детской амнезии.

чезает, или составляет отдельный эпизод на пути нормального развития. Она может также проявиться в позднем возрасте по истечении длительного периода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание между нормальным и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны случаи, в которых либидо меняется в смысле инверсии после того, как был приобретен тягостный опыт (общения) с нормальным сексуальным объектом.

Эти различные ряды вариаций, в общем, существуют независимо один от другого. Относительно крайней формы можно всегда утверждать, что инверсия существовала уже с очень раннего возраста и что данное лицо вполне мирится с этой особенностью.

Много авторов отказались бы объединить в одну группу перечисленные здесь случаи и предпочли бы подчеркивать различие в пределах этой группы вместо свойственного всем группам общего; это зависит от предпочитаемого ими взгляда на инверсию. Однако как ни верны такие разделения, все же необходимо признать, что имеется множество переходных ступеней, так что как бы само собой напрашивается образование рядов.

Взгляд на инверсию

Первая оценка инверсии выразилась во взгляде, что она является врожденным признаком нервной дегенерации; это вполне соответствовало тому факту, что наблюдатели-врачи впервые встретились с ней у нервнобольных или у лиц, производивших впечатление больных. Эта характеристика содержит два указания, которые необходимо рассматривать одно независимо от другого: врожденность и дегенерацию.

Дегенерация

Относительно дегенерации возникает возражение, которое вообще относится к неуместному применению этого слова. Вошло в обычай относить к дегенерации всякого рода болезненные проявления не непосредственно травматического или инфекционного происхождения. Подразделение дегенератов, сделанное Маньяном, дало возможность в самых совершенных проявлениях нервной деятельности не исключать применения понятия дегенерации. При таких условиях позволительно спросить, какой вообще смысл и какое новое содержание имеется в оценке слова «дегенерация». Кажется более целесообразным не говорить о дегенерации: 1) в случаях, когда нет нескольких тяжелых отклонений от нормы; 2) в случаях, когда работоспособность и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали[1].

Много фактов указывает на то, что инвертированные не являются дегенератами в этом настоящем смысле.

1. Инверсия встречается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных отклонений от нормы.

[1] С какой осторожностью необходимо ставить диагноз дегенерации и какое незначительное практическое значение он имеет, можно видеть из рассуждений Мёбиуса (Über Entartung // Grenzfragen des Nerv. und Seelenleb., 1900, № 3): «Если окинуть взором обширную область вырождения, на которую здесь пролит некоторый свет, то без дальнейшего видно, что диагноз — дегенерация — имеет вообще очень мало значения».

2. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена, которые отличаются даже особенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой[1].
3. Если не обращать внимания на пациентов врачебного опыта и стараться охватить более широкую область, то в двух направлениях встречаешься с фактами, исключающими взгляд на инверсию как на признак дегенерации: а) нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их культуры инверсия была частым явлением, почти институтом, выполняющим важные функции; б) она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие дегенерации применяется обыкновенно к высокой цивилизации (И. Блох). Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса имеют самое большое влияние на распространение инверсии и на отношение к ней[2].

Врожденность

Вполне понятно, что врожденность приписывают только первому, самому крайнему классу инвертированных, на основании уверений этих лиц, что ни в какой период жизни у них не проявлялось никакой другой направленности полового влечения. Уже самый факт существования двух других классов, особенно третьего, трудно соединить со взглядом о врожденном характере инверсии. Поэтому защитники этого взгляда склонны отделить группу абсолютно инвертированных от всех других, что имеет следствием отказ от обобщающего взгляда на инверсию. Инверсия, согласно этому взгляду, в целом ряде случаев имеет врожденный характер, а в других случаях она могла бы развиться иным способом.

В противоположность этому взгляду, существует другой, согласно которому инверсия составляет приобретенный характер полового влечения. Взгляд этот основывается на следующем: 1) у многих (также абсолютно) инвертированных можно открыть имевшее место в раннем периоде жизни сексуальное впечатление, длительным последствием которого оказывается гомосексуальная склонность; 2) у многих других можно указать на внешние благоприятствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позже к фиксации инверсии (исключительное общение с лицами одинакового пола, совместный военный поход, содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения, целибат, половая слабость и т. д.); 3) что от инверсии можно избавиться при помощи гипнотического внушения, что было бы удивительным при врожденном ее характере.

С точки зрения этого взгляда можно вообще оспаривать несомненность возможности врожденной инверсии. Можно возразить (Х. Эллис), что более подробные расспросы в случаях, которые относятся к врожденной инверсии, вероятно, также открыли бы переживание в раннем детстве, предопределившее направленность либидо; это переживание не сохранилось только в сознательной памяти лица,

[1] Защитникам «уранизма» нужно отдать справедливость в том, что некоторые из самых выдающихся известных нам людей были инвертированными, может быть, даже абсолютно инвертированными.

[2] Во взгляде на инверсию патологическая точка зрения отделена от антропологической. Это изменение является заслугой И. Блоха (Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis, 2 части, 1902–1903), который энергично подчеркнул факт распространения инверсии в древних культурах.

но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоминание о нем. По мнению этих авторов, инверсию следовало бы считать частным вариантом полового влечения, предопределенным некоторыми внешними условиями жизни.

Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет почву от возражения, что многие люди испытывают, несомненно, подобные же сексуальные влияния (в том числе в ранней юности: совращение, взаимный онанизм), не став вследствие этого инвертированными или не сделавшись ими навсегда. Таким образом, возникает предположение, что альтернатива — врожденный и приобретенный — или неполна, или не совсем соответствует имеющимся при инверсии обстоятельствам.

Объяснение инверсии

Ни положение, что инверсия врожденна, ни противоположное ему, что она приобретается, не объясняют сущности инверсии. В первом случае нужно выяснить, что именно в ней врожденного, если не принять самого грубого объяснения, что у человека при рождении имеется уже связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В противном случае спрашивается, достаточно ли разнообразных побочных влияний, чтобы объяснить возникновение инверсии без того, что в самом индивиде кое-что не шло навстречу этим влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно изложенному мною ранее, недопустимо.

Введение бисексуальности

Для объяснения возможности сексуальной инверсии со времен Ф. Лидстона, Кьернана и Шевалье приводят рассуждения, содержащие новое противоречие расхожему мнению. Согласно этому мнению, человек может быть или мужчиной, или женщиной. Но науке известны случаи, в которых половые признаки кажутся стертыми и благодаря этому затрудняется определение пола, прежде всего в области анатомии. Гениталии этих лиц соединяют в себе мужские и женские признаки (гермафродитизм). В редких случаях оба половые аппарата развиты один наряду с другим (истинный гермафродитизм); чаще всего имеет место двойное уродство[1].

Замечательно в этих ненормальностях то, что они неожиданным образом облегчают понимание нормы. Известная степень анатомического гермафродитизма принадлежит и норме; у каждого нормально устроенного мужского или женского индивида имеются зачатки аппарата другого пола, сохранившиеся как рудиментарные органы без функции или преобразовавшиеся и взявшие на себя другие функции.

Взгляд, вытекающий из этих давно известных анатомических фактов, состоит в допущении первоначального бисексуального предрасположения, преобразующегося в течение развития в моносексуальность с незначительными остатками другого пола.

Весьма естественно было перенести этот взгляд на психическую область и понимать инверсию в различных ее видах как выражение психического гермафро-

---

[1] Ср. последнее описание соматического гермафродитизма: *Таруффи*. Hermaphroditismus und Zeugungsfähigkeit, нем. изд. Р. Тойшнера, 1903, и работы Нойгебауэра в нескольких томах «Jahrb. für sexuelle Zwischenstufen».

дитизма. Чтобы решить вопрос, недоставало только постоянного совпадения инверсии с душевными и соматическими признаками гермафродитизма.

Однако это ожидание не оправдалось. Зависимость между предполагаемым психическим и легко доказуемым анатомическим гермафродитизмом нельзя представить себе такой тесной. Часто у инвертированных наблюдается вообще снижение полового влечения (Х. Эллис) и незначительное анатомическое уродство органов. Это встречается часто, но никоим образом не всегда или хотя бы в большинстве случаев. Таким образом, приходится признать, что инверсия и соматический гермафродитизм, в общем, не зависят друг от друга.

Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным признакам и подчеркивалось, что они часто встречаются у инвертированных (Х. Эллис). И в этом есть большая доля правды, но нельзя забывать, что вторичные и третичные половые признаки вообще встречаются довольно часто у другого пола и образуют, таким образом, намеки на двуполость, хотя половой объект не проявляет при этом изменений в смысле инверсии.

Психический гермафродитизм вылился бы в телесные формы, если бы параллельно инверсии полового объекта шли по крайней мере изменения прочих душевных свойств, влечений и черт характера в смысле типичных для другого пола. Однако подобную инверсию характера можно встретить с некоторым постоянством только у инвертированных женщин. У мужчин с инверсией соединяется полнейшее душевное мужество. Если настаивать на существовании душевного гермафродитизма, то необходимо прибавить, что в проявлениях его в различных областях замечается только незначительная противоположная обусловленность. То же относится и к соматической двуполости: по Хальбану[1], единичные уродства органов и вторичные половые признаки встречаются довольно независимо друг от друга.

Учение о бисексуальности в своей самой грубой форме сформулировано одним из защитников инвертированных мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле. Однако нам неизвестны признаки «женского мозга». Замена психологической проблемы анатомической в равной мере бессмысленна и неоправдываема. Объяснение, предложенное фон Крафт-Эбингом, кажется более точно выраженным, чем Ульриха, но по существу ничем от него не отличается. Крафт-Эбинг полагает, что бисексуальное предрасположение награждает индивида как мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти центры развиваются только в период наступления половой зрелости, по большей части под влиянием независимых от них по своему строению половых желез. Но к мужским и женским «центрам» применимо то же, что и к мужскому и женскому мозгу, и, кроме того, даже неизвестно, следует ли нам предполагать существование ограниченных частей мозга («центров») для половых функций, как, например, для речи.

Две мысли все же сохраняют свою силу после всех этих рассуждений: что для объяснения инверсии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение, но что нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его фор-

[1] *Halban J.* Die Entstehung der Geschlechtscharaktere // Archiv für Gynäkologie, Bd. 70, 1903. Там же указана и литература.

мы, состоит это предрасположение и что дело тут идет о нарушениях, касающихся развития полового влечения[1].

Сексуальный объект инвертированных

Теория психического гермафродитизма предполагает, что половой объект инвертированных противоположен объекту нормальных. Инвертированный мужчина не может устоять перед очарованием, исходящим от мужских свойств тела и души, он сам себя чувствует женщиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду инвертированных, это далеко не составляет общего признака инверсии. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть инвертированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает сравнительно немногими вторичными признаками другого пола и в своем половом объекте ищет, в сущности, женских психических черт. Если бы было иначе, то оставалось бы совершенно непонятным, для чего мужская проституция, предлагающая себя инвертированным, — теперь, как и в древности, — копирует во всех внешних формах платья и манеры женщин; ведь такое подражание должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у которых в числе инвертированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что не мужественный характер мальчика, а телесное приближение его к женскому типу, так же, как и женские душевные свойства его, робость, сдержанность, потребность в посторонней помощи и в наставлении, разжигали любовь в мужчине. Как только мальчик становился взрослым, он не был уже больше половым объектом для мужчины, а сам становился любителем мальчиков. Сексуальным объектом, следовательно, в этом, как и во многих других случаях является не тот же пол, а соединение обоих половых признаков, компромисс между душевным стремлением к мужчине и женщине при сохранении условия мужественности тела (гениталий), так сказать, отражение собственной бисексуальной природы[2].

Было бы неосновательно утверждать, что благодаря этим прекрасным опытам учение об инверсии приобретает новое основание, и преждевременно ждать от них

---

[1] Первым, кто указал на бисексуальность для объяснения инверсии, был (согласно литературному отчету в 6 томе «Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen») Э. Глей, опубликовавший уже в январе 1884 г. статью («Les aberrations de l'instinct sexuel» в «Revue philosophique»). Замечательно, впрочем, что большинство авторов, объясняющих инверсию бисексуальностью, придают значение этому моменту не только в отношении инвертированных, но и всех нормальных и, следовательно, понимают инверсию как результат нарушенного развития. Так, уже Шевалье (Inversion sexuelle, 1893), Крафт-Эбинг (Zur Erklärung der konträren Sexualempfindung // Jahrb. f. Psychiatrie und Neurologie, Bd. XIII) говорят о том, что имеется множество наблюдений, из которых по меньшей мере явствует возможное существование этого второго центра (неразвившегося пола). Д-р Ардуэн (Die Frauenfrage und die sexuelle Zwischenstufen) высказывает во втором томе «Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen» положение: «В каждом человеке имеются мужские и женские элементы (сравни этот «Jahrbuch», Bd. 1889; «Die objektive Diagnose der Homosexualität» д-ра М. Хиршфельда, с. 8–9 и след.), только — соответственно принадлежности тому или другому полу — одни несоразмерно более развиты, чем другие, поскольку дело касается гетеросексуальных лиц». Для Г. Германа (Genesis. Das Gesetz der Zeugung, 9 Bd. Libido und Mania, 1903) не подлежит сомнению, «что в каждой женщине содержатся мужские зародыши и свойства, в каждом мужчине — женские» и т. д. В 1906 г. В. Флисс (Der Aufbau des Lebens) предъявил свое право собственности на идею бисексуальности (в смысле двуполости).

[2] См. ссылку в конце данной главы на стр. 179 — *Примеч. ред.*

прямо-таки нового пути к общему «излечению» гомосексуальности. В. Флисс вполне правильно подчеркнул, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учения об общем бисексуальном врожденном предрасположении высших животных. Мне кажется более вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предполагаемой бисексуальности.

Более определенными оказываются отношения у женщины, где активно инвертированные особенно часто обладают соматическими и душевными мужскими признаками и требуют женственности от своих половых объектов, хотя и здесь, при более близком знакомстве, вероятно, окажется большая пестрота отношений.

Сексуальная цель инвертированных

Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальные цели при инверсиях никоим образом нельзя называть однородными. У мужчин половое сношение per anum[1] далеко не совпадает с инверсией; мастурбация также часто составляет исключительную цель, и ограничения сексуальной цели — вплоть до одних только излияний чувств — встречаются здесь даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели инвертированных разнородны; особенным предпочтением, по-видимому, пользуется прикосновение слизистой оболочкой рта.

Выводы

Хотя мы не чувствуем себя в силах дать удовлетворительное объяснение образованию инверсии на основании имеющегося до сих пор материала, мы замечаем, однако, что при этом исследовании пришли к взгляду, который может приобрести для нас большее значение, чем разрешение поставленной выше задачи. Мы обращаем внимание на то, что представляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со случаями, считающимися ненормальными, показывает нам, что между сексуальным влечением и сексуальным объектом имеется спайка, которую нам грозит опасность не заметить при однообразии нормальных форм, в которых влечение как будто бы приносит от рождения с собой и объект. Это заставляет нас ослабить в наших мыслях связь между влечениями и объектом. Половое влечение, вероятно, сначала не зависит от объекта и не обязано своим возникновением его прелестям.

Б. Животные и незрелые в половом отношении лица как сексуальные объекты

В то время как лица, сексуальный объект которых не принадлежит к соответствующему в норме полу, т. е. инвертированные, кажутся наблюдателю целой группой индивидов, в других отношениях, может быть, полноценных, случаи, в которых сексуальными объектами выбираются незрелые в половом отношении лица (дети), с самого начала кажутся единичными отклонениями. Только в редких случаях сексуальными объектами являются исключительно дети; по большей части они приобретают эту роль, когда ленивый и ставший импотентом индивид или импульсивное (неотложное) влечение не может в данную минуту овладеть подходя-

[1] Через задний проход. — *Примеч. ред. перевода.*

щим объектом. Все же тот факт, что половое влечение допускает столько вариаций и такое умаление своего объекта, проливает свет на его природу; голод, гораздо более прочно привязанный к своему объекту, допустил бы это только в крайнем случае. То же замечание относится к половому сношению с животными, вовсе не редко встречающемуся среди сельского населения, причем половая притягательность переходит границы вида.

Из эстетических соображений появляется желание приписать это душевнобольным, как и другие тяжелые случаи отклонения полового влечения, но это неправильно. Опыт показывает, что у последних не наблюдается иных нарушений половых влечений, чем у здоровых, у целых рас и сословий. Так, сексуальное злоупотребление детьми с жуткой частотой встречается у учителей и воспитателей просто потому, что им предоставляются для этого наиболее благоприятные возможности. Только у душевнобольных соответствующее отклонение встречается в усиленной форме, или, что имеет особое значение, оно стало исключительным и заняло место нормального сексуального удовлетворения.

Это замечательное отношение сексуальных вариаций к шкале «здоровье — душевная болезнь» заставляет задуматься. Мне казалось бы, что нуждающийся в объяснении факт служит указанием на то, что побуждения в сфере половой жизни относятся к таким, которые и в пределах нормы хуже всего подчиняются высшим видам душевной деятельности. Кто, в каком бы то ни было отношении, душевно ненормален в смысле социальном, этическом, тот, согласно моему опыту, всегда является таким же в своей сексуальной жизни. Но есть много ненормальных в сексуальной жизни и соответствующих во всех остальных пунктах среднему человеку, не отставших от человеческого культурного развития, слабым пунктом которого остается сексуальность.

Как на самом общем результате этих рассуждений, остановимся на взгляде, что под влиянием многочисленных условий у поразительно многих индивидов род и ценность сексуального объекта отступают на задний план. Существенным и постоянным в половом влечении является что-то другое[1].

2. Отклонения по отношению к сексуальной цели

Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрядке сексуального напряжения и к временному угасанию сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде). И все же при нормальном сексуальном процессе можно заметить элементы, развитие которых ведет к отклонениям, которые были описаны как перверсии. Предварительными сексуальными целями считаются известные промежуточные процессы (лежащие на пути к совокуплению) отношения к сексуальному объекту — ощупывание и разглядывание его. Эти действия, с одной стороны, сами дают наслаждение, с другой стороны, они повышают возбуждение, которое должно существовать до достижения окончательной сексуальной цели. Одно определенное прикосновение из их числа, взаимное прикосновение слизистой оболочки

---

[1] Самое глубокое различие между любовной жизнью в древнем мире и нашем состоит, пожалуй, в том, что античный мир делал ударение на самом влечении, а мы переносим его на объект влечения. Древние уважали влечение и готовы были облагородить им и малоценный объект, между тем как мы низко оцениваем проявление влечения самого по себе и оправдываем его достоинствами объекта.

губ, получило далее как поцелуй у многих народов (в том числе и высокоцивилизованных) высокую сексуальную ценность, хотя имеющиеся при этом в виду части тела не относятся к половому аппарату, а составляют вход в пищеварительный тракт. Все это — те моменты, которые позволяют установить связь между перверсией и нормальной сексуальной жизнью и которые можно использовать для классификации перверсий. Перверсии представляют собой или: а) *выход* за анатомические границы частей тела, предназначенных для полового соединения, или б) *остановку* на промежуточных отношениях к сексуальному объекту, которые в норме быстро исчезают на пути к окончательной сексуальной цели.

а) Выход за анатомические границы

Переоценка сексуального объекта

Психическая оценка, которую получает сексуальный объект как желанная цель сексуального влечения, в самых редких случаях ограничивается его гениталиями, а распространяется на все его тело и имеет тенденцию включать в себя все ощущения, исходящие от сексуального объекта. Та же переоценка переносится в психическую область и проявляется как логическое ослепление (слабость суждения) по отношению к душевным проявлениям и совершенствам сексуального объекта, а также как готовность подчиниться и поверить всем его суждениям. Доверчивость любви становится, таким образом, важным, если не самым первым источником авторитета[1].

Именно эта сексуальная оценка так плохо гармонирует с ограничениями сексуальной цели соединением одних только гениталий и способствует тому, что другие части тела избираются сексуальной целью[2].

Значение фактора сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, любовная жизнь которого только и доступна исследованию, между тем как любовная жизнь женщины, отчасти вследствие культурных искажений, отчасти вследствие конвенциональной скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму[3].

Сексуальное использование слизистой оболочки рта и губ

Использование рта как сексуального органа считается перверсией, если губы (язык) одного лица приходят в соприкосновение с гениталиями другого, но не в том слу-

---

[1] Не могу отказаться от того, чтобы не напомнить о готовности гипнотизируемых подчиниться и поверить гипнотизеру, что заставляет меня предполагать, что сущность гипноза надо видеть в бессознательной фиксации либидо на личность гипнотизера (посредством мазохистского компонента сексуального влечения).

Ш. Ференци связал этот признак внушаемости с «родительским комплексом» (Jahrbucn für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1, 1909).

[2] Однако необходимо заметить, что сексуальная переоценка развивается не при всех механизмах выбора объекта и что ниже мы познакомимся с другим более непосредственным объяснением сексуальной роли других частей тела. Фактор «голода», который приводился Хохе и И. Блохом для объяснения перехода сексуального интереса с гениталий на другие части тела, как мне кажется, лишен этого значения. Различные пути, по которым с самого начала направляется либидо, относятся друг к другу как сообщающиеся сосуды, и необходимо считаться с феноменом коллатериальных течений.

[3] В типичных случаях у женщины не замечается «сексуальной переоценки» мужчины, но последняя почти никогда не отсутствует по отношению к ребенку, которого она родила.

чае, если слизистые оболочки губ обоих лиц прикасаются друг к другу. В последнем исключении заключается приближение к норме. Кому противны другие формы перверсий, существующие, вероятно, с самых древних доисторических времен человечества, тот поддается при этом явному чувству отвращения, которое не допускает его принять такую сексуальную цель. Но граница этого отвращения часто чисто условна; кто со страстью целует губы красивой девушки, тот, может быть, лишь с отвращением сможет воспользоваться ее зубной щеткой, хотя нет никакого основания предполагать, что полость его собственного рта, которая ему не противна, чище, чем рот девушки. Тут внимание привлекается к моменту отвращения, которое мешает либидозной переоценке сексуального объекта, но, в свою очередь, преодолевается либидо. В отвращении хотят видеть одну из сил, которые привели к ограничению сексуальной цели.

Обыкновенно влияние этих ограничивающих сил до гениталий не доходит. Но не подлежит сомнению, что и гениталии другого пола могут быть сами по себе предметом отвращения и что такое поведение составляет характерную черту всех истеричных больных (особенно женщин). Сила сексуального влечения обыкновеннее всего проявляется в преодолении этого отвращения (см. ниже).

Сексуальное использование заднего прохода

Еще отчетливее, чем в предыдущем случае, становится ясным при использовании заднего прохода, что именно отвращение налагает печать перверсий на эту сексуальную цель. Но пусть не истолкуют как известное пристрастие с моей стороны мое замечание, что оправдание этого отвращения тем, что эта часть тела служит выделениям и приходит в соприкосновение с самым отвратительным — с экскрементами, не более убедительно, чем то оправдание, которым истеричные девушки пользуются для объяснения своего отвращения к мужским гениталиям: они служат для мочеиспускания.

Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода абсолютно не ограничивается общением между мужчинами, оказываемое ей предпочтение не является чем-то характерным для инвертированных чувств. Наоборот, по-видимому, педерастия у мужчины обязана своим значением аналогии с актом с женщиной, между тем как при сношении инвертированных сексуальной целью скорее всего является взаимная мастурбация.

Значение других частей тела

Распространение сексуальной цели на другие части тела не представляет собой во всех своих вариациях нечто принципиально новое, ничего не прибавляет к нашему знанию о половом влечении, которое в этом проявляет только свое намерение овладеть сексуальным объектом по всем направлениям. Но наряду с сексуальной переоценкой при анатомическом выходе за границы половых органов проявляется еще второй момент, который с общепринятой точки зрения кажется странным. Определенные части тела, как слизистая оболочка рта и заднего прохода, всегда встречающиеся в этих приемах, как бы проявляют притязание, чтобы на них самих смотрели, как на гениталии, и поступали с ними соответственно этому. Мы еще услышим, что это притязание оправдывается развитием сексуального влечения и что в симптоматике некоторых болезненных состояний оно осуществляется.

Несоответствующее замещение сексуального объекта — фетишизм

Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексуальный объект замещен другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Согласно принципам классификации половых отклонений, нам следовало бы упомянуть об этой крайне интересной группе отклонений полового влечения уже при отступлениях от нормы в отношении сексуального объекта, но мы отложили это до момента нашего знакомства с сексуальной переоценкой, от которой зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели.

Заместителем сексуального объекта становится часть тела, в общем очень мало пригодная для сексуальных целей (нога, волосы), или неодушевленный объект, имеющий вполне определенное отношение к сексуальному лицу, скорее всего к его сексуальности (части платья, белое белье). Этот заместитель вполне правильно приравнивается к фетишу, в котором дикарь воплощает своего бога.

Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуальной цели составляют случаи, в которых требуется присутствие фетишистского условия в сексуальном объекте для того, чтобы достигнута была сексуальная цель (определенный цвет волос, платье, даже телесные недостатки). Ни одна вариация сексуального влечения, граничащая с патологическим, не имеет такого права на наш интерес, как эта, благодаря странности вызываемых ею явлений. Известное умаление стремления к нормальной сексуальной цели является, по-видимому, необходимой предпосылкой для всех случаев (исполнительная слабость полового аппарата)[1]. Связь с нормой осуществляется посредством психологически необходимой переоценки сексуального объекта, которая неизбежно переносится на все ассоциативно с ним связанное. Известная степень такого фетишизма всегда свойственна поэтому нормальной любви, особенно в тех стадиях влюбленности, в которых нормальная сексуальная цель кажется недостижимой или достижение ее невозможным.

Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь
С ее груди, подвязку с ног, наколку.

(И. Гёте. Фауст. Пер. Б. Пастернака)

Патологическим случай становится только тогда, когда стремление к фетишу зафиксировалось слишком сильно и заняло место нормальной цели, далее, когда фетиш теряет связь с определенным лицом, становится единственным сексуальным объектом. Таковы вообще условия перехода пока еще вариаций полового влечения в патологические отклонения.

Как впервые утверждал Бине, а впоследствии было доказано многочисленными фактами, в выборе фетиша сказывается непреходящее влияние воспринятого по большей части в раннем детстве сексуального впечатления, — что можно сравнить с известным постоянством любви нормального человека («On revient tou-

[1] Эта слабость зависит от конституциональных условий. Психоанализ доказал влияние сексуального запугивания в раннем детстве как привходящего условия, оттесняющего от нормальной сексуальной цели и побуждающего к ее замещению.

jours á ses premiers amours»)[1]. Такое происхождение особенно ясно в случаях, в которых выбор сексуального объекта обусловлен только фетишем (с вопросом о значимости сексуальных впечатлений в раннем детстве мы встретимся еще и в другом месте[2]).

В других случаях к замещению объекта фетишем привел символический ход мыслей, по большей части не осознанный данным лицом. Пути этого хода мыслей не всегда можно доказать с уверенностью (нога представляет собой древний сексуальный символ уже в мифах)[3]; «мех» обязан своей ролью фетиша ассоциации с волосами на mons Veneris[4]; однако и эта символика, по-видимому, не всегда независима от сексуальных переживаний детства[5].

б) Фиксации предварительных сексуальных целей

Возникновение новых намерений

Все внешние и внутренние условия, затрудняющие или отдаляющие достижение нормальной сексуальной цели (импотенция, дороговизна сексуального объекта, опасности полового акта), поддерживают, само собой разумеется, склонность к тому, чтобы задержаться на подготовительных актах и образовать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место нормальных. При ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что, по-видимому, самые странные из этих новых целей все же намечаются уже при нормальном сексуальном процессе.

Ощупывание и разглядывание

Известная доля ощупывания для человека необходима по крайней мере для достижения нормальной сексуальной цели. Также общеизвестно, каким источником

---

1 Старая любовь долго помнится. — *Примеч. ред. перевода.*

2 Более глубокое психоаналитическое исследование привело к правильной критике утверждения Бине. Все относящиеся сюда наблюдения имеют своим содержанием первое столкновение с фетишем, при котором этот фетиш оказывается уже привлекающим сексуальный интерес, между тем как из сопровождающих обстоятельств нельзя понять, каким образом он овладел этим интересом. Кроме того, все эти сексуальные впечатления «раннего детства» приходятся на возраст после 5–6-го года, между тем как психоанализ заставляет сомневаться в том, могут ли еще в таком позднем возрасте вновь образоваться патологические фиксации. Истинное положение вещей состоит в том, что за первым воспоминанием о появлении фетиша лежит погибшая и забытая фаза сексуального развития, которая замещена фетишем как «покрывающим воспоминанием», остатком и осадком которого и является фетиш. Поворот этой совпадающей с первыми детскими годами развития фазы в сторону фетишизма, как и выбор самого фетиша, детерминированы конституцией.

3 Соответственно этому ботинок или туфля является символом женских гениталий.

4 Mons Veneris — венерин бугор. — *Примеч. ред. перевода.*

5 Психоанализ заполнил имевшийся еще изъян в понимании фетишизма, указав на значение оставленного благодаря вытеснению копрофильного обонятельного наслаждения при выборе фетиша. Нога и волосы представляют собой сильно пахнущие объекты, становящиеся фетишами после отказа от ставших неприятными обонятельных ощущений. В перверсии, состоящей из фетишизма ноги, сексуальным объектом всегда является грязная, дурно пахнущая нога. Другой материал для объяснения предпочтения, оказываемого ноге как фетишу, вытекает из инфантильных сексуальных теорий (см. ниже). Нога заменяет недостающий пенис у женщины. В некоторых случаях фетишизма ноги удалось доказать, что направленное первоначально на гениталии влечение к подглядыванию, стремившееся снизу приблизиться к своему объекту, задержалось на своем пути благодаря запрещению и вытеснению и сохранило поэтому ногу или башмак как фетиш. Женские гениталии, в соответствии с детскими представлениями, рисовались воображению как мужские.

наслаждения, с одной стороны, и каким источником новой энергии, с другой стороны, становится кожа благодаря ощущениям от прикосновения сексуального объекта. Поэтому задержка на ощупывании, если только половой акт развивается дальше, вряд ли может быть причислена к перверсиям.

То же самое и с разглядыванием, сводящимся в конечном счете к ощупыванию. Зрительное впечатление приходит тем путем, которым чаще всего пробуждается либидозное возбуждение и на проходимость которого, если допустим такой телеологический подход, — рассчитывает естественный отбор, направляя развитие сексуального объекта в эстетическом плане. Прогрессирующее вместе с развитием культуры прикрывание тела будит сексуальное любопытство, стремящееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей дополнить для себя сексуальный объект; но это любопытство может быть отвлечено на художественные цели («сублимировано»), если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на тело в целом. Задержка на этой промежуточной сексуальной цели подчеркнутого сексуального разглядывания[1] свойственна в известной степени большинству нормальных людей, она дает им возможность направить известную часть своего либидо на высшие художественные цели. Перверсией же страсть к подглядыванию становится, напротив: а) если она ограничивается исключительно гениталиями, б) если она связана с преодолением чувства отвращения (voyeurs[2]: подглядывание при функции выделения), в) если она вместо подготовки к достижению нормальной сексуальной цели вытесняет ее. Последнее ярко выражено у эксгибиционистов, которые, если мне позволено будет судить на основании ряда анализов, показывают свои гениталии для того, чтобы в награду получить возможность увидеть гениталии других[3].

При перверсии, стремление которой состоит в разглядывании и показывании себя, проявляется очень замечательная черта, которая займет нас еще больше при следующем отклонении. Сексуальная цель проявляется при этом выраженной в двоякой форме: в активной и в пассивной.

Силой, противостоящей страсти к подглядыванию и иногда даже побеждающей ее, является стыд (как раньше — отвращение).

Садизм и мазохизм

Склонность причинять боль сексуальному объекту и противоположная ей, эти самые частые и значительные перверсии, названы Крафт-Эбингом в обеих ее формах, активной и пассивной, садизмом и мазохизмом (пассивная форма). Другие авторы предпочитают более узкое обозначение алголагнии, подчеркивающее удовольствие от боли, жестокость, между тем как при избранном Крафт-Эбингом названии на первый план выдвигаются всякого рода унижение и покорность.

---

[1] Мне кажется несомненным, что понятие «красивого» коренится в сексуальном возбуждении и первоначально означает возбуждающее сексуально («прелести»). В связи с этим находится тот факт, что сами гениталии, вид которых вызывает самое сильное сексуальное возбуждение, мы никогда, собственно, не находим «красивыми».

[2] Страдающие вуайеризмом. — *Примеч. ред. перевода.*

[3] Анализ открывает у этой перверсии — как и у большинства других — неожиданное многообразие мотивов и значений. Навязчивость эксгибиционизма, например, сильно зависит еще от кастрационного комплекса; благодаря ему при эксгибиционизме постоянно подчеркивается цельность собственных мужских гениталий и повторяется детское удовлетворение по поводу отсутствия такого органа у женщин.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сексуальность большинства мужчин содержит примесь агрессивности, склонности к насильственному преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством актов ухаживания. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным, преувеличенному, выдвинутому благодаря смещению на главное место агрессивному компоненту сексуального влечения.

Понятие садизма, в обычном употреблении этого слова, колеблется между только активной и затем насильственной установкой по отношению к сексуальному объекту и исключительной неразрывностью удовлетворения с подчинением и терзанием его. Строго говоря, только последний крайний случай имеет право на название перверсии.

Равным образом термин «мазохизм» обнимает все пассивные установки к сексуальной жизни и к сексуальному объекту, крайним выражением которых является неразрывность удовлетворения с испытанием физической и душевной боли со стороны сексуального объекта. Мазохизм как перверсия, по-видимому, дальше отошел от нормальной сексуальной цели, чем противоположный ему садизм; можно сомневаться в том, появляется ли он когда-нибудь первично или не развивается ли он всегда из садизма благодаря преобразованию. Часто можно видеть, что мазохизм представляет собой только продолжение садизма, обращенного на собственную личность, временно заменяющую при этом место сексуального объекта. Клинический анализ крайних случаев мазохистской перверсии приводит к совокупному влиянию большого числа факторов, преувеличивающих и фиксирующих первоначальную пассивную сексуальную установку (комплекс кастрации, сознание вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению и стыду, оказывающим сопротивление либидо.

Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверсий, так как лежащая в основе их противоположность активности и пассивности принадлежит к самым общим характерным чертам сексуальной жизни.

История человеческой культуры вне всякого сомнения доказывает, что жестокость и половое влечение связаны самым тесным образом, но для объяснения этой связи не пошли дальше подчеркивания агрессивного момента либидо. По мнению одних авторов, эта примешивающаяся к сексуальному влечению агрессивность является собственно остатком каннибалистских вожделений, т. е. в ней принимает участие аппарат овладения, служащий удовлетворению другой, онтогенетически более старой большой потребности[1]. Высказывалось также мнение, что всякая боль сама по себе содержит возможность ощущения наслаждения. Удовлетворимся впечатлением, что объяснение этой перверсии никоим образом не может считаться удовлетворительным и что возможно, что при этом несколько душевных стремлений соединяются для одного эффекта.

---

[1] По этому поводу ср. помещенное ниже сообщение о прегенитальной фазе сексуального развития, в котором подтверждается этот взгляд.

Самая разительная особенность этой перверсии заключается, однако, в том, что пассивная и активная формы ее всегда совместно встречаются у одного и того же лица. Кто получает удовольствие, причиняя другим боль в половом отношении, тот также способен испытывать наслаждение от боли, которая причиняется ему от половых отношений. Садист всегда одновременно и мазохист, хотя активная или пассивная сторона перверсий у него может быть сильнее выражена и представлять собой преобладающую сексуальную деятельность[1].

Мы видим, таким образом, что некоторые из перверсий всегда встречаются как противоположные пары, чему необходимо приписать большое теоретическое значение, принимая во внимание материал, который будет приведен ниже[2]. Далее совершенно очевидно, что существование противоположной пары, садизм — мазохизм, нельзя объяснить непосредственно и только примесью агрессивности. Взамен того является желание привести в связь эти одновременно существующие противоположности с противоположностью мужского и женского, заключающейся в бисексуальности, значение которой в психоанализе сводится к противоположности между активным и пассивным.

3. Общее о всех перверсиях

Вариация и болезнь

Врачи, изучавшие впервые перверсии в резко выраженных случаях и при особых условиях, были, разумеется, склонны приписать им характер болезни или дегенерации, подобно инверсиям. Однако в данном случае легче, чем в том, признать такой взгляд неправильным. Ежедневный опыт показывает, что большинство этих нарушений, по крайней мере наименее тяжелые из них, составляют редко отсутствующую составную часть сексуальной жизни здорового, который и смотрит на них так, как и на другие интимности. Там, где обстоятельства благоприятствуют этому, и нормальный человек может на некоторое время заменить нормальную сексуальную цель такой перверсией или уступить ей место наряду с первой. У всякого здорового человека имеется какое-нибудь дополнение по отношению к нормальной сексуальной цели, которое можно назвать перверсией, и достаточно уже такой общей распространенности, чтобы доказать нецелесообразность употребления в качестве упрека названия перверсии. Именно в области сексуальной жизни встречаешься с особыми, в настоящее время, собственно говоря, неразрешимыми трудностями, если хочешь провести резкую границу между только вариацией в пределах области физиологии и болезненными симптомами.

У некоторых из этих перверсий качество новой сексуальной цели все же таково, что требует особой оценки. Некоторые из перверсий по содержанию своему настолько удаляются от нормального, что мы не можем не объявить их «болезнен-

---

[1] Вместо многих доказательств для подтверждения этого взгляда цитирую только место из Х. Эллиса (Das Geschlechtsgefьhl, 1903): «Все известные случаи садизма и мазохизма, даже описанные Крафт-Эбингом, всегда носят следы (как уже доказали Колен, Скотт и Фере) обеих групп явлений у одного и того же индивида».

[2] Ср. упомянутую ниже «амбивалентность».

ными», особенно те, при которых сексуальное влечение при преодолении сопротивлений (стыд, отвращение, ужас, боль) проявляется в вызывающих изумление действиях (облизывание кала, насилование трупов). Но и в этих случаях нельзя с полной уверенностью думать, что преступники всегда окажутся лицами с другими тяжелыми отклонениями или душевнобольными. И здесь не уйдешь от факта, что лица, обычно ведущие себя как нормальные, только в области сексуальной жизни, во власти самого безудержного из всех влечений проявляют себя как больные. Напротив, за явной ненормальностью в других жизненных отношениях всегда обычно открывается на заднем плане ненормальное сексуальное поведение.

В большинстве случаев мы можем открыть болезненный характер перверсий не в содержании новой сексуальной цели, а в отношении к норме: если перверсия появляется не наряду с нормой (нормальными сексуальной целью и объектом), когда благоприятные условия способствуют нормальному, а неблагоприятные препятствуют ему, а при всяких условиях вытесняет и замещает нормальное; мы видим, следовательно, в исключительности и фиксации перверсий больше всего основания к тому, чтобы смотреть на нее как на болезненный симптом.

Участие психики в перверсиях

Может быть, именно в самых отвратительных перверсиях нужно признать наибольшее участие психики в превращении сексуального влечения. Здесь проделана определенная душевная работа, которой нельзя отказать в оценке в смысле идеализации влечения, несмотря на его отвратительное проявление. Всемогущество любви, быть может, нигде не проявляется так сильно, как в этих ее заблуждениях. Самое высокое и самое низкое всюду теснейшим образом связаны в сексуальности («...от неба через мир в преисподнюю»).

Два вывода

При изучении перверсии мы пришли к взгляду, что сексуальному влечению приходится бороться как с сопротивлением с определенными душевными силами, среди которых яснее всего выделяются стыд и отвращение. Допустимо предположение, что эти силы принимают участие в том, чтобы сдержать влечение в пределах, считающихся нормальными; и если они развились в индивидууме раньше, чем сексуальное влечение достигло полной своей силы, то, вероятно, они и дали определенное направление его развитию[1].

Далее мы заметим, что некоторые из исследованных перверсий становятся понятными только при совпадении некоторых мотивов. Если они допускают анализ (разложение), то они должны быть сложными по своей природе. Это может послужить нам намеком, что и само сексуальное влечение может быть не нечто простое, а состоит из компонентов, которые снова отделяются от него в виде перверсий

[1] Эти сдерживающие сексуальное развитие силы — отвращение, стыд, мораль — необходимо, с другой стороны, рассматривать как исторический осадок внешних задержек, которые испытало сексуальное влечение в психогенезе человечества. Можно наблюдать, как в развитии отдельного человека они появляются в свое время сами по себе, следуя намекам воспитания и стороннего влияния.

сии. Клиника, таким образом, обратила наше внимание на соединения, которые лишились своего выражения в однообразии нормального поведения[1].

4. Сексуальное влечение у невротиков

Психоанализ

Важное дополнение к знанию сексуального влечения у лиц, по крайней мере очень близких к нормальным, можно получить из источника, к которому открыт только один определенный путь. Одно только средство позволяет получить основательные и правильные сведения о половой жизни так называемых психоневротиков (при истерии, неврозе навязчивых состояний, неправильно названном неврастенией, несомненно, dementia praecox, паранойе), а именно если подвергнуть их психоаналитическому исследованию, которым пользуется изобретенный И. Брейером и мною в 1893 году метод лечения, названный тогда «катартическим».

Должен предупредить или повторить опубликованное уже ранее в другом месте, что эти психоневрозы, поскольку показывает мой опыт, являются результатом действия сил сексуальных влечений. Я понимаю под этим не то, что энергия сексуального влечения дополняет силы, питающие болезненные явления (симптомы), а определенно утверждаю, что эти влечения являются единственно постоянным и самым важным источником невроза, так что сексуальная жизнь означенных лиц проявляется исключительно или преимущественно, или только частично только в этих симптомах. Симптомы являются, как я это указал в другом месте, сексуальным осуществлением больных. Доказательством для этого утверждения служит мне увеличивающееся в течение 25 лет количество психоанализов истерических и других неврозов, о результатах которых я дал подробный отчет в отдельности в другом месте и еще в будущем буду давать[2].

Психоанализ устраняет симптомы истериков исходя из предположения, что эти симптомы являются заместителями — как бы транскрипцией ряда аффективных душевных процессов, желаний, стремлений, которым благодаря особому психическому процессу (вытеснение) прегражден доступ к исполнению путем способной к осознанию психической деятельности. Эти-то удержанные в бессознательном состоянии мысли стремятся найти выражение, соответствующее их аффективной силе, разрядиться, и при истерии находят его в процессе конверсии в соматических феноменах, т. е. в истерических симптомах. При правильном, проведенном при помощи особых приемов, обратном превращении симптомов ставшие сознательными аффективные представления дают возможность приобрести самые точные сведения о природе и о происхождении этих психических образований, прежде бессознательных.

---

[1] Забегая вперед, я замечу относительно развития перверсии, что есть основание предполагать, что до фиксации их совершенно так же, как при фетишизме, имели место зачатки нормального сексуального развития. До сих пор аналитическое исследование могло в отдельных случаях показать, что и перверсия является осадком развития доэдипова комплекса, после вытеснения которого снова выступают самые сильные врожденные компоненты сексуального влечения.

[2] Только дополнением, но не ограничением этого заявления может послужить изменение его следующим образом: нервные симптомы основываются, с одной стороны, на требовании либидозных влечений, с другой стороны — на требовании *Я* реакции против них.

Результаты психоанализа

Таким образом, было открыто, что симптомы представляют собой заместителей стремлений, заимствующих свою силу из источников сексуального влечения. В полном согласии с этим находится известное нам о характере взятых здесь за образец всех психоневротиков и истериков, об их заболевании и о поводах к этому заболеванию. В истерическом характере наблюдается некоторая доля сексуального вытеснения, выходящая за пределы нормы, повышение сопротивлений по отношению к сексуальному влечению, известных нам как стыд, отвращение, мораль, и как бы инстинктивное бегство от интеллектуальных занятий сексуальной проблемой, имеющее в ярко выраженных случаях следствием полное незнакомство с сексуальным вплоть до достижения половой зрелости[1].

Эта существенная, характерная для истерии черта часто недоступна для грубого наблюдения благодаря существованию другого конституционального фактора истерии — слишком сильно развитого сексуального влечения; но психологический анализ умеет всякий раз открыть его и разрешить противоречивую загадочность истерии констатированием противоположной пары: слишком сильной сексуальной потребности и слишком далеко зашедшего отрицания сексуального.

Повод к заболеванию наступает для предрасположенного к истерии лица, когда вследствие собственного созревания или внешних жизненных условий реальное сексуальное требование серьезно предъявляет к нему свои права. Из конфликта между требованием влечения и противодействием отрицания сексуальности находится выход в болезнь, не разрешающий конфликта, а старающийся уклониться от его разрешения путем превращения либидозного стремления в симптом. Если истеричный человек, к примеру мужчина, заболевает от какого-нибудь банального стремления, от конфликта, в центре которого не находится сексуальный интерес, то такое исключение — только кажущееся. Психоанализ в таких случаях всегда может доказать, что именно сексуальный компонент конфликта создает возможность заболевания, лишая душевные процессы возможности нормального протекания.

Невроз и перверсия

Значительная часть возражений против этого моего положения объясняется тем, что смешивают сексуальность, из которой я вывожу психоневротические симптомы, с нормальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что симптомы никоим образом не образуются за счет так называемого нормального сексуального влечения (по крайней мере не исключительно или преимущественно), а представляют собой конвертированное выражение влечений, которые получили бы название извращенных (в широком смысле), если бы их можно было проявить без отвлечения от сознания непосредственно в воображаемых намерениях и в поступках. Симптомы, таким образом, образуются отчасти за счет ненормальной сексуальности; невроз является, так сказать, негативом перверсии[2].

---

[1] Studien über Hysterie, 1895. И. Брейер говорит о своей пациентке, к которой он впервые применил катартический метод: «Сексуальный момент был удивительно неразвит».

[2] Ясно сознаваемые фантазии извращенных, воплощаемые при благоприятных обстоятельствах в действиях, проецированы во враждебном смысле на других: бредовые опасения параноиков и бессознательные фантазии истериков, открываемые психоанализом как основа их симптомов, по содержанию совпадают до мельчайших деталей.

В сексуальном влечении психоневротиков можно найти все те отклонения, которые мы изучили, как вариации нормальной сексуальной жизни и как выражение болезненной.

а) У всех невротиков (без исключения) находятся в бессознательной душевной жизни стремления к инверсии, фиксации либидо на лицах своего пола. Невозможно вполне выяснить влияние этого фактора на образование картины болезни, не вдаваясь в пространные объяснения; но могу уверить, что всегда имеется бессознательная склонность к инверсии, и особенно большие услуги оказывает эта склонность при объяснении мужской истерии[1].

б) У психоневротиков можно доказать в качестве образующих симптомы факторов наличие в бессознательном различных склонностей к выходу за анатомические границы и среди них особенно часто и интенсивно такие, которые возлагают роль гениталий на слизистую оболочку рта и заднего прохода.

в) Исключительную роль между образующими симптомы факторами при психоневрозах играют проявляющиеся большей частью в виде противоположных пар частные влечения, в которых мы узнали носителей новых сексуальных целей: влечение к подглядыванию и эксгибиционизму и активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Участие последнего необходимо для понимания страдания, причиняемого симптомом, и почти всегда оказывает решающее влияние на социальное поведение больных. Посредством этой связи жестокости с либидо совершается превращение любви в ненависть, нежных душевных движений во враждебные, характерные для большего числа невротических случаев и, как представляется, даже для всей паранойи.

Интерес к этим результатам повышается еще некоторыми особенностями фактического положения вещей.

а) Там, где в бессознательном находится такое влечение, которое способно составлять пару с противоположным, всегда удается доказать действие и этого противоположного. Каждая «активная» перверсия сопровождается, таким образом, ее «пассивной» парой; кто в бессознательном эксгибиционист, тот одновременно и любит подглядывать, кто страдает от последствий вытеснения садистских стремлений, у того находится и другой приток к симптомам из источника мазохистской склонности. Полное сходство с проявлением «положительных» перверсий заслуживает, несомненно, большого внимания, но в картине болезни та или другая из противоположных склонностей играет преобладающую роль.

б) В резко выраженном случае психоневроза редко находишь развитым только одно из этих перверсных влечений, по большей части значительное число их и, как правило, следы всех; но отдельное влечение по своей интенсивности не зависит от развития других. И в этом отношении изучение положительных перверсий открывает нам точную их противоположность.

[1] Психоневроз часто соединяется с явной инверсией, причем гетеросексуальное течение становится жертвой полного подавления. Отдавая справедливость мысли, на которую я был наведен, сообщаю, что только частное замечание В. Флисса в Берлине обратило мое внимание на закономерную склонность к инверсиям у всех психоневротиков, после того как я открыл ее в отдельных случаях. Этот недостаточно оцененный факт должен был бы оказать большое влияние на все теории гомосексуальности.

Частные влечения и эрогенные зоны

Резюмируя все, что нам дало исследование положительных и отрицательных перверсий, мы вполне естественно приходим к объяснению их рядом «частных влечений», которые, однако, не первичны, а могут быть еще и дальше разложены. Под «влечением» мы понимаем только психическое представительство постоянного внутрисоматического источника раздражения, в отличие от «раздражения», вызываемого отдельными возбуждениями, воспринимаемыми извне. Влечение является, таким образом, одним из понятий, отграничивающих душевное от телесного. Самым простым и естественным предположением о природе влечений было бы то, что они сами по себе не обладают никаким качеством, а могут приниматься во внимание только в качестве мерила требуемой работы, предъявляемой душевной жизни. Только отношение влечений к их соматическим источникам и их целям составляет отличие их друг от друга и придает им специфические свойства. Источником влечения является возбуждающий процесс в каком-нибудь органе, и ближайшей целью влечения является прекращение этого раздражения органа.

Дальнейшая предварительная гипотеза в учении о влечениях, которая для нас неизбежна, утверждает, что органы тела дают двоякого рода возбуждения, обусловленные различием их химической природы. Один род этого возбуждения мы называем специфически сексуальным и соответствующий орган «эрогенной зоной» зарождающегося в нем частного сексуального влечения[1].

В перверсиях, при которых придается сексуальное значение ротовой полости и заднепроходному отверстию, роль эрогенной зоны вполне очевидна. Она проявляется во всех отношениях как часть полового аппарата. При истерии эти части тела и исходящие из них тракты слизистой оболочки становятся таким же образом местом появления новых ощущений и изменений иннервации — даже процессов, которые можно сравнить с эрекцией, — как и настоящие гениталии под влиянием возбуждений при нормальных половых процессах.

Значение эрогенных зон как побочных аппаратов и суррогатов гениталий ярче всего из всех психоневрозов проявляется при истерии; этим, однако, не сказано, что им можно придавать меньшее значение при других формах заболевания, они здесь только менее заметны, потому что при них (неврозе навязчивых состояний, паранойе) образование симптомов происходит в областях душевного аппарата, находящихся несколько дальше от центров телесных движений. При неврозе навязчивых состояний самым замечательным становится значение импульсов, создающих новые сексуальные цели и, как кажется, независимых от эрогенных зон. Все же при наслаждении от подглядывания и эксгибиционизма глаз соответствует эрогенной зоне; при компонентах боли и жестокости сексуального влечения ту же роль берет на себя кожа, которая в отдельных местах тела дифференцируется в органы чувств и модифицируется в слизистую оболочку как эрогенная зона[2] (χατ ἐξοχηγ)[3].

---

[1] Нелегко здесь доказать правильность этой гипотезы, почерпнутой из изучения определенного класса невротических заболеваний. С другой стороны, однако, невозможно сказать что-нибудь заслуживающее внимания о влечении, отказавшись от указания на эту гипотезу.

[2] Здесь необходимо вспомнить положение Молля, который разлагает сексуальное влечение на контректационное и детумесцентное влечения. Контректация означает потребность в кожных прикосновениях.

[3] По преимуществу. — *Примеч. ред. перевода.*

Объяснение кажущегося преобладания извращенной сексуальности при психоневрозах

Вышеизложенные рассуждения пролили, быть может, ложный свет на сексуальность психоневротиков. Может показаться, что по врожденным своим особенностям психоневротики в своем сексуальном поведении очень приближаются к извращенным и в такой же мере отдаляются от нормальных. Однако весьма возможно, что конституциональное предрасположение этих больных, кроме слишком больших размеров сексуального вытеснения и чрезвычайной силы сексуального влечения, заключает в себе еще невероятную склонность к перверсиям в самом широком смысле слова; однако исследование легких случаев показывает, что последнее предположение не обязательно или что по крайней мере при оценке патологических эффектов необходимо игнорировать влияние одного фактора. У большинства психоневротиков заболевание появляется только после наступления половой зрелости под влиянием требований нормальной половой жизни, против чего прежде всего и направляется вытеснение. Или же наступают более поздние заболевания, когда либидо получает отказ в удовлетворении нормальным путем. В обоих случаях либидо ведет себя как поток, главное русло которого запружено; оно заполняет коллатеральные пути, остававшиеся до того пустыми. Таким образом, и кажущаяся такой большой (во всяком случае, отрицательная) склонность психоневротиков к перверсиям может быть обусловлена коллатеральным течением, или, во всяком случае, это коллатеральное течение усиливается. Но несомненен факт, что сексуальное вытеснение как внутренний фактор должно быть поставлено в один ряд с другими внешними факторами, которые, подобно лишению свободы, недоступности нормального сексуального объекта, опасности нормального полового акта, вызывают перверсии у индивидов, которые в противном случае остались бы нормальными.

В отдельных случаях неврозов положение в этом отношении может быть различно: один раз решающим является врожденная величина склонности к перверсиям, а в другой раз — коллатеральное усиление этой склонности благодаря оттеснению либидо от нормальной сексуальной цели и сексуального объекта. Ошибочно было бы создавать противоречие там, где имеется отношение кооперации. Больше всего невроз всегда проявится в тех случаях, когда в одном и том же смысле действуют совместно конституция и жизненное переживание. Ясно выраженная конституция сможет, пожалуй, обойтись без поддержки со стороны жизненных впечатлений, сильное жизненное потрясение приведет, пожалуй, к неврозу и при посредственной конституции. Эти точки зрения сохраняют, впрочем, свою силу и в других областях в равной мере как для этиологического значения врожденного, так и для случайно пережитого.

Если оказывается предпочтение предположению, что особенно выраженная склонность к перверсиям все же относится к особенностям психоневротической конституции, то появляется надежда, что в зависимости от врожденного преобладания той или другой эрогенной зоны, того или другого частного влечения можно различать большое разнообразие таких конституций. Соответствует ли врожденному предрасположению к перверсиям особое отношение к выбору определенной формы заболевания, — это, как и многое другое в этой области, еще не исследовано.

Ссылка на инфантилизм сексуальности

Доказав, что извращенные стремления образуют симптомы при психоневрозах, мы невероятным образом увеличили число людей, которых можно причислить к извращенным. Дело не только в том, что сами невротики представляют собой очень многочисленный класс людей, необходимо еще принять во внимание, что неврозы во всех своих формах постепенно, непрерывным рядом переходят в здоровье; ведь мог же Мёбиус с полным основанием сказать: «все мы немного истеричны». Таким образом, благодаря невероятному распространению перверсии мы вынуждены допустить, что и предрасположение к перверсиям не является редкой особенностью, а должно быть частью считающейся нормальной конституции.

Мы слышали, что спорен вопрос, являются ли перверсии следствием врожденных условий или возникают благодаря случайным переживаниям, как Бине это полагал о фетишизме. Теперь нам представляется его решение: хотя в основе перверсии лежит нечто врожденное, но нечто такое, что врождено всем людям как предрасположение, варьирует по своей интенсивности и ждет того, чтобы его пробудили влияния жизни. Дело идет о врожденных, данных в конституции корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде случаев до настоящих носителей сексуальной деятельности (перверсии), в других случаях испытывающих недостаточное подавление (вытеснение), так что обходным путем они могут как симптомы болезни привлечь к себе значительную часть сексуальной энергии; между тем как в самых благоприятных случаях, минуя обе крайности благодаря влиянию ограничения и прочей переработки, развивается так называемая нормальная сексуальная жизнь.

Однако далее мы будем утверждать, что предполагаемую конституцию, имеющую зародыши всех перверсий, можно демонстрировать только у ребенка, хотя у него все влечения могут проявляться только с небольшой интенсивностью. А если благодаря этому нам начинает казаться, что невротики сохранили свою сексуальность в инфантильном состоянии или вернулись к ней, то наш интерес должна привлечь сексуальная жизнь ребенка, и у нас явится желание проследить игру влияний, господствующих в процессе развития детской сексуальности до ее превращения в перверсию, невроз или нормальную половую жизнь.

II. Инфантильная сексуальность

Недостаточное внимание к детям

К общепринятому мнению о половом влечении относится и взгляд, что в детстве оно отсутствует и пробуждается только в период жизни, который получил название пубертатного[1]. Но это совсем не простая, но чреватая весьма тяжелыми последствиями ошибка, так как она главным образом виновата в нашем теперешнем незнании основных положений сексуальной жизни. Основательное изучение сексуальной деятельности в детстве, вероятно, открыло бы нам существенные черты полового влечения, показало его развитие и образование его из различных источников.

[1] Пубертатный — половозрелый, «возмужалый»; пубертатный период — период наступления половой зрелости. — *Примеч. ред. перевода.*

Замечательно, что авторы, занимающиеся объяснением свойств и реакций взрослого индивида, оказывали гораздо больше внимания доисторическому времени, жизни предков, т. е. приписывали гораздо больше влияния наследственности, чем другому доисторическому периоду, который приходится уже на индивидуальное существование личности, а именно детство. Можно было бы подумать, что влияние этого периода жизни легче понять и что он имеет больше права на внимание, чем наследственность[1]. Хотя в литературе встречаются случайные указания на преждевременную сексуальную деятельность маленьких детей, на эрекцию, мастурбацию и напоминающие коитус попытки, но только как на исключительные процессы, как на курьезы, как на отталкивающие примеры преждевременной испорченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел ясного представления о закономерностях сексуального влечения в детстве, и в появившихся в большом числе сочинениях о развитии ребенка глава «Сексуальное развитие» по большей части отсутствует[2].

Инфантильная амнезия

Причину этого примечательного упущения я вижу отчасти в соображениях, продиктованных общепринятыми взглядами, с которыми авторы считались вследствие их собственного воспитания, отчасти в психическом феномене, который до сих пор не поддавался объяснению. Я имею в виду своеобразную амнезию, кото-

---

[1] Невозможно также правильно оценить вклад наследственности, не отдав должного значения детству.

[2] Высказанное здесь мнение показалось мне самому потом таким рискованным, что я решил проверить его, просмотрев вторично литературу. В результате этого просмотра я оставлю это место без изменений. Научная разработка телесных и душевных феноменов сексуальности в детском возрасте находится еще в зачаточном состоянии. Один автор — С. Белл (A preliminary study of the emotion of love between the sexes //American Journal of Psychology, XIII, 1902) говорит: «Я не знаю ни одного ученого, который дал бы обстоятельный анализ эмоции такой, какова она в юности». Соматические сексуальные проявления до пубертатного периода привлекли внимание только как признаки вырождения и в связи с явлениями вырождения. Глава о любовной жизни детей отсутствует как во всех описаниях психологии этого возраста, которые я читал, так и в известных произведениях Прейера, Болдуина (Die Entwicklung des Geistes beim Kinde und bei der Rasse), Пере (L'enfant de 3–7 ans, 1894), Штрюмпеля (Die pädagogische Pathologie, 1899), Карла Грооса (Das Seelenleben des Kindes, 1904), Т. Геллера (Grundriß der Heilpädagogik, 1904), Сёлли (Untersuchungen über die Kindheit, 1897) и др. Самое лучшее представление о теперешнем положении вещей в этой области получаешь из газеты «Die Kinderfehler» (начиная с 1891 г.). Все же убеждаешься, что существование любви в детском возрасте открывать уже не приходится. Пере (1. с.) отстаивает ее, у К. Грооса (Игры людей, 1899) упоминается, как нечто общеизвестное, что некоторым детям уже в очень раннем возрасте доступны сексуальные стремления и они ощущают потребность в прикосновении к другому полу (s. 336); самый ранний случай появления половых любовных переживаний (sex-love), по наблюдениям С. Белла, касался ребенка в середине третьего года. По этому поводу сравни еще: *Эллис*. Das Geschlechtsgefühl (нем. перевод Курелла), 1903, Appendix, II.

Вышеупомянутое суждение о литературе по детской сексуальности должно быть изменено после появления обширного труда С. Холла (Adolescence, its psychology and its relation to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education, 2 vol., N. Y., 1908). Вновь появившаяся книга А. Молля «Das Sexualleben des Kindes» не дает повода к такой модификации. Смотри зато: *Bleuler*. Sexuelle Abnormitдten der Kinder // Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fьr Schulgesundheitspflege, IX, 1908.

Книга д-ра Г. Гуг-Гелльмут «Aus dem Seelenleben des Kindes», 1913, полностью считалась с сексуальным фактором, на который до того не обращали внимания.

рая у большинства людей (не у всех!) окутывает первые годы детства до 6-го или 8-го года жизни. До сих пор нам не приходило в голову удивляться этой амнезии; а между тем у нас есть для этого полное основание. Поэтому-то нам рассказывают, что в эти годы, о которых мы позже ничего не сохранили в памяти, кроме нескольких непонятных отрывков воспоминаний, мы живо реагировали на впечатления, что умели по-человечески выражать горе и радость, проявлять любовь, ревность и другие страсти, которые нас сильно тогда волновали, что мы даже выражали взгляды, обращавшие на себя внимание взрослых, как доказательство нашего понимания и пробуждающейся способности суждения. И обо всем этом, уже взрослые, сами мы ничего не помним. Почему же наша память так отстает от других наших душевных функций? У нас ведь есть основание полагать, что ни в какой другой период жизни она не была более восприимчива и способна к воспроизведению, чем именно в годы детства[1].

С другой стороны, мы должны допустить или можем убедиться, проделав психологические исследования над другими, что те же самые впечатления, которые мы забыли, оставили тем не менее глубочайшие следы в нашей душевной жизни и имели решающее влияние на наше дальнейшее развитие. Речь идет, следовательно, вовсе не о настоящем выпадении воспоминаний детства, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в отношении более поздних переживаний и сущность которой состоит только в недопущении в сознание (вытеснение). Но какие силы совершают это вытеснение детских впечатлений? Кто разрешит эту загадку, объяснит также и истерическую амнезию.

Все же не забудем подчеркнуть, что существование инфантильной амнезии создает новую точку соприкосновения между душевной жизнью ребенка и психоневротика. Прежде мы уже встречались с другой точкой соприкосновения, когда вынуждены были принять формулу, гласящую, что сексуальность психоневротиков сохранилась на детском уровне или вернулась к нему. Не следует ли в конце концов и самую инфантильную амнезию привести в связь опять-таки с сексуальными переживаниями детства.

Впрочем, идея связать инфантильную амнезию с истерической — нечто большее, чем просто остроумная игра мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объясняется только тем, что у индивида уже имеется запас воспоминаний, которыми он не может сознательно распоряжаться и которые по ассоциативной связи притягивают к себе все то, на что направляется со стороны сознания действие отталкивающих сил вытеснения[2]. Без инфантильной амнезии, можно сказать, не было бы истерической амнезии.

Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая для каждого человека его детство как бы в доисторическую эпоху и скрывающая от него начало его собственной половой жизни, виновна в том, что детскому возрасту, в общем, не придают никакого значения в развитии сексуальной жизни. Единичный наблю-

---

[1] Связанную с самыми ранними детскими воспоминаниями проблему я пытался разрешить в статье «Über Deckerinnerungen» (Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, VI, 1899).

[2] Невозможно понять механизм вытеснения, если принимать во внимание только один из этих двух совместно действующих процессов. Для сравнения может служить способ, пользуясь которым туристов поднимают на вершину большой пирамиды в Гизе: с одной стороны, их подталкивают, а с другой — тащат.

датель не в состоянии восполнить появившийся таким образом изъян в нашем знании. Уже в 1896 году я подчеркнул значение детских лет для появления известных важных феноменов, зависящих от половой жизни, и с тех пор не переставая выдвигал на первый план значение инфантильной жизни для сексуальности.

Латентный сексуальный период детства и его прорывы

Невероятно часто встречающиеся, будто бы противоречащие норме и испытываемые якобы лишь в виде исключения сексуальные стремления в детстве, как и открытие бессознательных до того детских воспоминаний невротика, позволяют набросать приблизительно следующую картину сексуального поведения в детском возрасте[1].

Кажется несомненным, что новорожденный приносит с собой на свет зачатки сексуальных стремлений, которые в течение некоторого времени развиваются дальше, а затем подлежат усиливающемуся подавлению, которое, в свою очередь, нарушается закономерными прорывами сексуального развития и которое может быть задержано благодаря индивидуальным особенностям. О закономерности и периодичности этого осциллирующего хода развития ничего точно не известно, но кажется, что сексуальная жизнь детей в возрасте приблизительно трех или четырех лет проявляется в форме, доступной для наблюдения[2].

---

[1] Последний материал может быть использован здесь в верном расчете на то, что детские годы взрослых невротиков не отличаются в этом отношении от детских лет здоровых людей ничем существенным, кроме как в отношении интенсивности и ясности.

[2] Возможная анатомическая аналогия того проявления инфантильных сексуальных функций, о которой я говорил, дается открытием Байера (Deutsche Archiv für klinische Medizin, Bd. 73), что внутренние половые органы (uterus) новорожденных обыкновенно больше, чем детей старшего возраста. Однако взгляд на эту установленную Хальбаном и для других частей генитального аппарата инволюцию после рождения не окончательно установлен. По Хальбану (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, LIII, 1904), этот регрессивный процесс приходит к концу в течение нескольких недель внеутробной жизни.

Авторы, видящие в интерстициальной части половой железы орган, определяющий пол, благодаря анатомическим исследованиям пришли, в свою очередь, к утверждению о существовании инфантильной сексуальности и латентного сексуального периода. Цитирую из упомянутой выше книги Липшютца о пубертатной железе: «...Скорее соответствует фактам утверждение, что созревание половых признаков, как оно происходит в пубертатном периоде, протекает только вследствие сильно ускоренного течения процессов, начавшихся гораздо раньше, по нашему мнению, уже в эмбриональной жизни» (S. 169). «То, что до сих пор называлось просто пубертатным периодом, представляет собой, вероятно, только “вторую большую фазу полового созревания”, начинающуюся в середине второго десятилетия». Детский возраст до начала второй большой фазы можно было бы назвать «срединной фазой полового созревания» (S. 170).

Это, подчеркнутое Ференци (Intern. Zeitschrift f. Psychoanalyse, VI, 1920), сходство анатомических находок с психологическим наблюдением нарушается только одним указанием, что «первый кульминационный пункт» развития сексуального органа приходится в ранний эмбриональный период, между тем как ранний расцвет детской сексуальной жизни нужно перенести в возраст третьего-четвертого года. Полного совпадения во времени анатомического формирования и психического развития, разумеется, не требуется. Соответствующие исследования сделаны над половой железой человека. Так как у животного латентного периода в психологическом смысле не бывает, то важно было бы знать, можно ли доказать и у других высших животных те же анатомические данные, на основании которых авторы предполагают два кульминационных пункта сексуального развития.

Сексуальные задержки

Во время этого периода полной или только частичной латентности формируются те душевные силы, которые впоследствии как задержки (препятствия) на пути сексуального влечения и как плотины сузят его направление (отвращение, чувство стыда, эстетические и моральные требования идеала). Наблюдая культурного ребенка, получаешь впечатление, что построение этих плотин является делом воспитания и, несомненно, воспитание во многом этому содействует. В действительности это развитие обусловлено органически, зафиксировано наследственно и иной раз может наступить без всякой помощи воспитания. Воспитание не выходит, безусловно, за пределы предуказанной ему области влияния, ограничиваясь только тем, что дополняет органически предопределенное и придает ему более четкое и глубокое выражение.

Реактивные образования и сублимация

Какими средствами создаются эти конструкции, имеющие такое большое значение для позднейшей культуры и нормы? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных стремлений, приток которых, следовательно, не прекратился и в этот латентный период, но энергия которых — полностью или отчасти — отводится от сексуального использования и передается на другие цели. Историки культуры, по-видимому, согласны с предположением, что благодаря такому отклонению сексуальных сил влечений от сексуальных целей и направлению их на новые цели — процессу, заслуживающему название сублимации, — освобождаются могучие компоненты для всех видов культурной деятельности; мы прибавили бы, что такой же процесс протекает в развитии отдельного индивида, и начало его переносим в сексуальный латентный период детства[1].

И относительно механизма такой сублимации можно рискнуть на некоторые предположения. Сексуальные стремления этих детских лет, с одной стороны, не могут найти себе применения, так как функции продолжения рода появляются позже, — что составляет главный признак латентного периода; с другой — они сами по себе были бы извращенными, так как исходят из эрогенных зон и руководятся влечениями, которые при данном направлении развития индивида могут вызвать только неприятные ощущения. Они вызывают поэтому только противоположные душевные силы (реактивные стремления), которые создают упомянутые психические плотины для сильного подавления таких неприятных чувств, как отвращение, стыд и мораль[2].

Прорывы латентного периода

Не обманув себя относительно гипотетической природы и недостаточной ясности наших взглядов на процессы детского латентного периода, вернемся к действительности и укажем, что такое применение детской сексуальности представляет

[1] Название «сексуальный латентный период» я также заимствую у В. Флисса.

[2] В случае, о котором здесь идет речь, сублимация сексуальных сил влечения идет по пути реактивных образований. В общем, однако, необходимо различать понятие о сублимации и реактивном образовании как о двух совершенно различных процессах. Сублимация возможна и посредством других и более простых механизмов.

собой идеал воспитания, от которого развитие отдельного лица отступает по большей части в каком-нибудь одном пункте и часто в значительной мере. Время от времени прорывается известная часть сексуальных проявлений, не поддавшихся сублимации, или сохраняется какая-нибудь сексуальная деятельность в течение всего латентного периода до момента усиленного проявления сексуального влечения при наступлении половой зрелости. Воспитатели ведут себя, поскольку они вообще обращают внимание на детскую сексуальность, точно так, как будто бы они разделяли наши взгляды на образование моральных сил противодействия за счет сексуальности и как будто бы они знали, что благодаря сексуальной деятельности ребенок не поддается воспитанию, так как они преследуют все виды сексуальной деятельности ребенка как «пороки», не имея возможности ничего предпринять против них. У нас же имеются большие основания направить наш интерес на эти внушающие воспитателям страх феномены, потому что мы ждем от них объяснения первоначальной формы полового влечения.

Выражения инфантильной сексуальности

По мотивам, которые станут ясны позже, мы возьмем за образец инфантильных сексуальных проявлений сосание, которому венгерский педиатр Линднер посвятил замечательный труд[1].

Сосание

Сосание (Ludeln, Lutschen), которое появляется уже у младенца и может продолжаться вплоть до зрелости или сохраниться в течение всей жизни, состоит в ритмически повторяемом сосущем прикосновении ртом (губами), причем цель принятия пищи исключается. Часть самих губ, язык, любое другое место кожи, которое можно достать, даже большой палец ноги — используются как объекты сосания. Появляющееся при этом стремление к схватыванию выражается посредством одновременного ритмического дерганья за ушную мочку и может воспользоваться для той же цели и частью тела другого человека (по большей части уха). Сосание по большей части поглощает все внимание и кончается или сном, или моторной реакцией вроде оргазма[2]. Нередко сосание сопровождается растирающими движениями рук по определенным чувствительным частям тела, груди, наружных гениталий. Таким путем многие дети переходят от сосания к мастурбации.

Линднер сам ясно понимал сексуальную природу этих действий и безоговорочно подчеркивал это. В обыденной жизни сосание часто приравнивается к другим проявлениям невоспитанности ребенка. Со стороны многих педиатров и невропатологов высказывались энергичные возражения против такого взгляда, основанного отчасти на смешении «сексуального» и «генитального». Это возражение ведет к трудному, но неизбежному вопросу, по каким общим признакам думаем мы узнавать о сексуальных действиях ребенка. Я полагаю, что связь явлений,

---

[1] В «Jahrbuch für Kinderheitskunde», N. F., XIV, 1879.

[2] Здесь уже проявляется то, что имеет значение в течение всей жизни: сексуальное удовлетворение представляет собой самое лучшее снотворное средство. Большинство случаев бессонницы на нервьной почве объясняется сексуальной неудовлетворенностью. Известно, что бессовестные няньки усыпляют плачущих детей поглаживанием их гениталий.

которую мы научились понимать благодаря психоаналитическому исследованию, позволяет нам считать сосание сексуальным проявлением и как раз на нем изучать существенные черты инфантильных сексуальных действий[1].

Аутоэротизм

На нас лежит обязанность подробно разобрать этот пример. Как самый яркий признак этого сексуального действия подчеркнем то, что влечение направляется не на другие лица; оно удовлетворяется на собственном теле, оно аутоэротично, если употребить удачное выражение Х. Эллиса[2].

Далее совершенно ясно, что действия сосущего ребенка определяются поисками удовольствия, уже пережитого и теперь воскресающего в воспоминании. Благодаря ритмическому сосанию кожи или слизистой оболочки он простейшим образом получает удовлетворение. Нетрудно также сообразить, по какому поводу ребенок впервые познакомился с этим удовольствием, которое теперь старается снова испытать. Первая и самая важная для жизни ребенка деятельность — сосание материнской груди (или суррогатов ее) должно было уже познакомить его с этим удовольствием. Мы сказали бы, что губы ребенка вели себя как эрогенная зона и раздражение теплым молоком было причиной ощущения удовольствия. Сначала удовлетворение от эрогенной зоны соединялось с удовлетворением пищевой потребности. Сексуальная деятельность сначала присоединяется к функции, служащей сохранению жизни, и только позже становится независимой от нее. Кто видел, как ребенок насыщенный отпадает от груди с раскрасневшимися щеками и с блаженной улыбкой погружается в сон, тот должен будет сознаться, что эта картина имеет характер типичного выражения сексуального удовлетворения в последующей жизни. Затем потребность в повторении сексуального удовлетворения отделяется от потребности в принятии пищи; это отделение становится необходимым, когда появляются зубы и пища принимается не только посредством сосания, но и жуется. Ребенок пользуется не посторонним объектом для сосания, а охотнее частью своей кожи, потому что она ему удобнее, потому что таким образом он приобретает большую независимость от внешнего мира, которым он еще не может овладеть, и потому что таким образом он как бы создает себе вторую эрогенную зону, хотя и невысокого качества. Низкое качество этой второй зоны будет позже способствовать тому, чтобы искать аналогичные части — губы другого лица. («Жаль, что не могу самого себя поцеловать» — хотелось бы ему подсказать.)

---

[1] Д-р Галант опубликовал в 1919 году в «Neurolog. Zentralblatt» № 20 под заглавием «Das Lutscherli» исповедь взрослой девушки, не отказавшейся от этой детской формы сексуальных действий, и описывает удовлетворение от сосания как вполне аналогичное сексуальному удовлетворению, особенно от поцелуя возлюбленного.

«Не все поцелуи похожи на lutscherli; нет, нет, далеко не все! Невозможно описать, как приятно становится во всем теле от сосания: совсем уносишься от этого мира, появляется полное удовлетворение, ощущение счастья и отсутствие всякого желания. Охватывает удивительное чувство; хочется только покоя, который ничем не должен нарушаться. Это несказанно прекрасно: не чувствуешь ни боли, ни страданий и уносишься в другой мир».

[2] Хотя Х. Эллис определил термин «аутоэротический» несколько иначе — в смысле возбуждения, вызванного не извне, но возникающего изнутри. Для психоанализа существенное значение имеет не происхождение, а отношение к объекту.

Не все дети сосут; можно предположить, что доходят до этого только те дети, у которых конституционально усилено значение губ. Если такое конституциональное усиление сохраняется, то такие дети, становясь взрослыми, делаются любителями поцелуев, имеют склонность к чувственным поцелуям или, будучи мужчинами, приобретают сильный мотив для пьянства и курения. Если же к этому присоединяется вытеснение, то они будут ощущать отвращение к пище и страдать истерической рвотой. Благодаря двойной функции зоны губ вытеснение перенесется на влечение к пище. Многие из моих пациенток, страдающих нарушениями в принятии пищи, истерическим глобусом[1], сжатием в горле и рвотами, были в детстве энергичными сосунами.

На примере сосания мы могли уже познакомиться с тремя существенными признаками инфантильных сексуальных проявлений. Они состоят в соединении с какой-нибудь важной для жизни телесной функцией, не знают сексуального объекта, аутоэротичны, и сексуальная цель их находится во власти эрогенной зоны. Скажем наперед, что эти признаки сохраняют свое значение и для большинства других проявлений инфантильных сексуальных влечений.

Сексуальная цель инфантильной сексуальности

Признаки эрогенных зон

Из примеров сосания можно извлечь еще некоторые признаки эрогенных зон. Это место на коже или на слизистой оболочке, в котором известного рода раздражения вызывают ощущения удовольствия определенного качества. Не подлежит сомнению, что вызывающие удовольствие раздражения связаны с особыми условиями; эти условия нам неизвестны. Здесь должен играть роль ритмический характер, сама напрашивается аналогия с щекотанием. Менее определенным кажется вопрос, следует ли называть «особенным» характер этого ощущения удовольствия, вызванного раздражением, понимая под этой особенностью именно сексуальный момент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психология еще настолько бродит в потемках, что самое осторожное суждение было бы наилучшим. Ниже, быть может, мы встретимся с доводами, которые как будто подтверждают особое качество удовольствия.

Эрогенное свойство может быть исключительным образом связано с отдельными частями тела. Имеются предрасположенные эрогенные зоны, как показывает пример сосания. Тот же пример показывает, однако, что и любое другое место кожи или слизистой оболочки может взять на себя роль эрогенной зоны, следовательно, уже заранее должно иметь к этому склонность. Поэтому качество раздражителя имеет больше отношения к вызываемому ощущению удовольствия, чем строение части тела. Сосущий ребенок ищет по всему своему телу и выбирает для сосания какое-нибудь место, которое благодаря привычке становится особенно предпочитаемым; если он случайно при этом наталкивается на предрасположенное место (грудной сосок, гениталии), то преимущество остается за ним. Совсем аналогичная смещаемость встречается и в симптоматике истерии. При этом неврозе вытеснение больше всего распространяется на собственно генитальные

[1] Истерический глобус — ощущение шара (кома) в пищеводе при истерии. — *Примеч. ред. перевода.*

зоны, и эти зоны передают свою раздражимость остальным, обычно в зрелом возрасте отсталым эрогенным зонам, которые тогда проявляют себя совсем как гениталии. Но, кроме того, совсем как при сосании, любая другая часть тела может приобрести возбудимость гениталий и стать эрогенной зоной. Эрогенные и истерогенные зоны имеют одинаковые признаки[1].

Инфантильная сексуальная цель

Сексуальная цель инфантильного влечения состоит в том, чтобы получить удовлетворение благодаря соответствующему раздражению так или иначе избранной эрогенной зоны. Это удовлетворение должно уже раньше быть пережито, чтобы оставить потребность в повторении его, и мы должны быть готовы к тому, что природа сделала верные приспособления для того, чтобы не предоставить случаю это переживание удовлетворения[2]. Устройства, выполняющие эту цель в отношении зоны губ, нам уже известны: это одновременная связь этой части тела с принятием пищи. Другие подобные устройства встретятся нам еще как источники сексуальности. Состояние потребности в повторении удовлетворения проявляется двояко: особенным чувством напряжения, имеющим больше характер неприятного, и ощущением зуда или раздражения, обусловленным центрально и проецированным на периферические эрогенные зоны. Поэтому сексуальную цель можно также сформулировать следующим образом: было бы важным заместить ощущения, проецированные на эрогенные зоны, таким внешним раздражением, которое прекращает ощущение раздражения, вызывая ощущение удовлетворения. Это внешнее раздражение состоит по большей части в какой-нибудь манипуляции, аналогичной сосанию.

В полном согласии с нашими физиологическими знаниями бывает так, что эта потребность вызывается также периферически каким-нибудь действительным изменением эрогенной зоны. Кажется только несколько странным, что одно раздражение как бы требует для своего прекращения другого раздражения в том же самом месте.

Мастурбационные сексуальные проявления[3]

Нас может только очень радовать, что нам осталось узнать не столь много важного о сексуальных действиях ребенка, после того как мы поняли влечение одной только эрогенной зоны. Самое ясное различие относится к необходимым для удовлетворения действиям, которые по отношению к зоне губ состояли в сосании и которые в зависимости от положения и устройства других зон нужно заместить другими мускульными действиями.

---

[1] Дальнейшие соображения и другие наблюдения заставляют приписывать свойство эрогенности всем частям тела и внутренним органам. По этому поводу ср. ниже сказанное о нарциссизме.

[2] В биологических рассуждениях почти невозможно избежать того, чтобы не прибегать к телеологическому образу мыслей, хотя хорошо известно, что в отдельных случаях нельзя быть застрахованным от ошибки.

[3] По этому поводу см. богатую, но большей частью плохо ориентированную по своим взглядам литературу об онанизме, например Rohleder «Die Masturbation», 1899, далее II книга венской дискуссии «Die Onanie», Wiesbaden, 1912.

Проявление зоны заднего прохода

Зона заднего прохода, подобно зоне губ, по своему положению вполне подходит к тому, чтобы стать местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. Нужно представить себе эрогенное значение этой части тела первоначально очень большим. Посредством психоанализа можно с удивлением узнать, каким превращениям в нормальных случаях подвергаются из этой зоны сексуальные возбуждения и как часто у этой зоны остается на всю жизнь значительная доля генитальной раздражимости[1].

Столь частые в детском возрасте кишечные расстройства ведут к тому, что у этой зоны нет недостатка в интенсивных раздражениях. Катары кишечника в раннем возрасте делают детей «нервными», как обыкновенно выражаются; при позднейшем невротическом заболевании они приобретают определенное влияние на симптоматическое выражение невроза, в распоряжение которого они предоставляют все разнообразие кишечных расстройств. Принимая во внимание оставшееся, по крайней мере в измененной форме, эрогенное значение зоны заднего прохода, не следует совсем игнорировать геморроидальные влияния, которым старая медицина придавала такое значение при объяснении невротических состояний.

Дети, которые пользуются эрогенной раздражимостью анальной зоны, выдают себя тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока эти массы, скопившись в большом количестве, не вызывают сильные мускульные сокращения и при прохождении через задний проход способны вызвать сильное раздражение слизистой оболочки. При этом вместе с ощущением боли возникает и сладострастное ощущение. Одним из вернейших признаков будущей странности характера или нервности является упорное нежелание младенца очистить кишечник, когда его сажают на горшок, т. е. когда это угодно няне, и желание его выполнять эту функцию только по собственному усмотрению. Для него, разумеется, не важно, что пачкается при этом его постель: он заботится только о том, чтобы не лишиться удовольствия при дефекации. Воспитатели опять-таки поступают правильно, называя плохими детей, которые «прячут для себя» выполнение этой функции.

Содержимое кишечника, которое как раздражитель для чувствительной в сексуальном отношении поверхности слизистой оболочки ведет себя как предтеча другого органа, которому предстоит вступить в действие только после того, как пройдет фаза детства, имеет для младенца еще и другое важное значение. Младенец относится к нему как к собственной части тела, смотрит на него как на «подарок», выделение которого выражает уступчивость маленького существа по отношению к окружающим, а отказ в котором свидетельствует об упрямстве. Через «подарок» он в дальнейшем приобретает значение «ребенка», который, согласно одной из инфантильных сексуальных теорий, возникает благодаря еде, а рождается через кишечник.

Задержка фекальных масс, преднамеренная сначала с целью использовать ее как бы для мастурбационного раздражения зоны заднего прохода или чтобы ис-

---

[1] Ср. статью «Charakter und Analerotik» в «Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre», второй том, 1909, далее: «Über Triebumsetzung, insbesondere der Analerotik» в «Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre» и т. д., четвертый том, 1918. (Русск. перевод в изд.: Психол. и психоанал. библиотека, вып. III и V.)

пользовать ее в отношениях к воспитателям, является, впрочем, одним из корней столь частых запоров у невропатов. Все значение анальной зоны отражается в факте, что встречается мало невротиков, у которых не было бы своих особых скатологических обычаев, церемоний и т. п., которые они тщательно скрывают[1].

Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны при помощи пальца, вызванное обусловленным центрально или поддерживаемым периферически зудом, очень нередко у детей старшего возраста.

Проявление генитальной зоны

Среди эрогенных зон детского тела имеется одна, которая играет несомненно не первую роль и не может также быть носительницей самых ранних сексуальных переживаний, но которой в будущем предназначается большая роль. Она у мальчика и у девочки имеет отношение к мочеиспусканию: клитор, головка пениса; последняя покрыта у мальчика слизистым мешком, так что у нее не может быть недостатка в раздражениях секретами, которые рано вызывают сексуальные раздражения. Сексуальные проявления этой эрогенной зоны, относящейся к действительным половым органам, составляют начало позднейшей «нормальной» половой жизни.

Благодаря анатомическому положению, раздражению секретами, мытью и вытиранию при гигиеническом уходе и благодаря определенным случайным возбуждениям (вроде выползания кишечных паразитов у девочек), ощущения удовольствия, которые способны давать эти части тела, неизбежно обращают на себя внимание ребенка уже в младенческом возрасте и будят потребность в их повторении. Если окинуть взором всю совокупность имеющихся условий и если принять во внимание, что мероприятия по соблюдению чистоты едва ли могут действовать иначе, чем загрязнения, то нельзя будет отказаться от взгляда, что благодаря младенческому онанизму, от которого вряд ли кто-нибудь свободен, утверждается будущий примат этой эрогенной зоны в половой деятельности. Действие, устраняющее раздражение и дающее удовлетворение, состоит в трущем прикосновении рукой или несомненно рефлекторном давлении сжатыми вместе бедрами. Последний прием применяется чаще всего девочками. У мальчика предпочтение, оказываемое руке, указывает уже на то, какое значительное добавление к мужской половой деятельности привнесет в будущем влечение к овладеванию[2].

Будет еще яснее, если я скажу, что нужно различать три фазы инфантильной мастурбации. Первая относится к младенческому возрасту, вторая к кратковре-

---

[1] В работе, необыкновенно углубляющей наше понимание значения анальной эротики («Anal» und «Sexual» // Imago, IV, 1916), Лу Андреа Саломе указала, что история первого запрещения, предъявленного ребенку, запрещения получать удовольствие от анальной функции и ее продуктов, является решающим для всего его развития. Маленькое существо должно при этом впервые почувствовать враждебный его влечениям окружающий мир, научиться отделять свое собственное существо от этого чуждого ему мира и затем совершить первое «вытеснение» возможного для него наслаждения. С этого времени «анальное» остается символом всего, что необходимо отбросить, устранить из жизни. Требуемому позже отделению анальных процессов от генитальных мешают близкие анатомическая и функциональная аналогии и зависимости между обеими. Генитальный аппарат остается по соседству с клоакой, «у женщины даже только позаимствован у нее».

[2] Необычные приемы при онанизме в более поздние годы указывают, по-видимому, на влияние преодоленного запрещения онанировать.

менному расцвету сексуальных проявлений в возрасте около четырех лет и лишь третья соответствует часто только принимаемому во внимание пубертатному онанизму.

Вторая фаза детской мастурбации

Младенческий онанизм после короткого периода как будто исчезает, но все же непрерывное продолжение его до наступления половой зрелости может составить первое большое отступление от желательного для культурного человека развития. Однажды в детские годы после периода младенчества, обыкновенно до 4-го года, сексуальное влечение этой генитальной зоны опять просыпается и существует затем снова некоторое время до нового подавления или же постоянно. Возможные обстоятельства чрезвычайно разнообразны и могут быть выяснены только при детальном расчленении отдельных случаев. Но все подробности этой второй фазы инфантильных сексуальных переживаний оставляют глубочайшие (бессознательные) следы в памяти данного лица, предопределяют развитие его характера, если человек остается здоровым, и симптоматику невроза, если он заболевает после достижения половой зрелости[1]. В последнем случае весь этот сексуальный период оказывается забытым, указывающие на него бессознательные воспоминания — смещенными; я уже упомянул, что хотел бы привести в связь с этой инфантильной сексуальной деятельностью также и нормальную инфантильную амнезию. Благодаря психоаналитическому исследованию удается довести забытое до сознания и этим устранить навязчивость, проистекающую из бессознательного психического материала.

Возвращение младенческой мастурбации

Сексуальные возбуждения младенческого возраста снова появляются в упомянутом детском возрасте или как центрально обусловленное щекочущее раздражение, требующее онанистического удовлетворения, или как процесс, похожий на поллюцию, который аналогично поллюции в период полового созревания дает удовлетворение даже и без помощи какого-нибудь действия. Последний случай чаще встречается у девочек и во второй половине детства; причины его не совсем ясны, и, по-видимому, не всегда ему должен предшествовать период более раннего активного онанизма. Симптоматика этого сексуального проявления очень бедна; вместо неразвитого еще полового аппарата дает о себе знать по большей части мочеиспускательный аппарат, как бы его опекун. Большинство болезней мочевого пузыря этого времени являются сексуальными заболеваниями; enuresis nocturna[2] соответствует такой поллюции, если только не представляет собой эпилептического припадка.

Для нового появления сексуальной деятельности имеют значение внутренние причины и внешние поводы; в случаях невротического заболевания можно уга-

---

[1] Исчерпывающего аналитического объяснения ждет еще тот факт, что сознание вины невротиков всегда, как это еще недавно признал Блейлер, связывается с воспоминаниями об онанистических действиях по большей части пубертатного периода. Самый грубый и важный фактор этой зависимости составляет, вероятно, факт, что онанизм является воплощением всей инфантильной сексуальности и потому способен взять на себя все чувство вины, относящееся к этой сексуальности.

[2] Ночное недержание мочи. — *Примеч. ред. перевода.*

дать и те и другие по форме симптомов, а при помощи психоаналитического исследования открыть полностью и те и другие. О внутренних причинах речь будет ниже; случайные внешние поводы к этому времени приобретают большое и непреходящее в течение длительного времени значение. На первом месте находится влияние соблазнения, которое преждевременно делает ребенка сексуальным объектом и знакомит его при оставляющих глубокое впечатление обстоятельствах с удовлетворением, исходящим из генитальной зоны: впоследствии ребенок оказывается вынужденным онанистическим путем возобновлять это удовлетворение. Такое влияние может исходить от взрослых или от других детей: не могу не признать, что в моей статье в 1896 году «Ätiologie der Hysterie» я переоценил частоту или значение этого влияния, хотя еще не знал тогда, что и оставшиеся здоровыми индивиды могли иметь в детском возрасте такие же переживания, и потому придавал соблазнению больше значения, чем факторам данной сексуальной конституции и развития[1]. Само собой разумеется, что нет необходимости в соблазнении, чтобы пробудить сексуальную жизнь ребенка, что такое пробуждение возможно само по себе по внутренним причинам.

Полиморфно-извращенные склонности

Поучительно, что ребенок под влиянием соблазнения может стать полиморфно-извращенным, что его можно соблазнить на всевозможные извращения. Это показывает, что у него есть склонность к этому в его конституции; соблазнение потому встречает так мало сопротивления, что душевные плотины против сексуальных излишеств — стыд, отвращение и мораль, в зависимости от возраста ребенка, еще не воздвигнуты или находятся в стадии образования. Ребенок ведет себя в этом отношении так, как средняя некультурная женщина, у которой сохраняются такие же полиморфно-извращенные склонности. Такая женщина при обычных условиях может остаться сексуально нормальной, а под руководством ловкого соблазнителя она приобретает вкус ко всем перверсиям и прибегает к ним в своей сексуальной деятельности. Той же полиморфной, т. е. инфантильной, склонностью пользуется проститутка для своей профессиональной деятельности; а при колоссальном количестве проституирующих женщин и таких, которым следует приписать склонность к проституции, хотя они избегли этой профессии, становится в конце концов невозможным не признать в такой склонности ко всем перверсиям нечто общечеловеческое и первоначальное.

Частные влечения

Впрочем, влияние соблазнения не помогает раскрыть первоначальные условия полового влечения, а только запутывает наше понимание его, давая ребенку преж-

---

[1] Х. Эллис в добавлении к своему труду о половом чувстве (1903) приводит несколько автобиографических отчетов лиц, которые остались в дальнейшем по большей части нормальными, об их первых переживаниях в детстве и о поводах к этим переживаниям. Эти сообщения страдают, понятно, тем недостатком, что не содержат доисторического периода половой жизни, покрытого инфантильной амнезией, который может быть дополнен только при помощи психоанализа у ставшего нервнобольным индивида. Но эти сообщения все же ценны во многих отношениях, и расспросы подобного же рода заставили меня сделать упомянутое в тексте изменение предполагаемой мной этиологии истерии.

девременно сексуальный объект, в котором детское сексуальное влечение пока не нуждается. Однако мы должны согласиться с тем, что детская сексуальная жизнь при всем преобладании господства эрогенных зон проявляет такие компоненты, для которых с самого начала имеются в виду другие лица как сексуальные объекты. Такого рода компонентами являются находящиеся в известной независимости от эрогенных зон влечения к разглядыванию и показыванию себя и к жестокости, которые только позже вступают в тесную связь с генитальной жизнью, но уже в детском возрасте наблюдаются как самостоятельные устремления, сначала отделенные от эрогенной сексуальной деятельности. Маленький ребенок прежде всего бесстыден и в определенном возрасте проявляет недвусмысленное удовольствие от обнажения своего тела, подчеркивая особенно свои половые части. В противоположность к этой считающейся извращенной склонности, любопытство при разглядывании половых органов других лиц проявляется, вероятно, в несколько более старшем возрасте, когда препятствие от чувства стыда достигло уже некоторого развития. Под влиянием соблазнения перверсия разглядывания может приобрести большое значение в сексуальной жизни ребенка. Все же из моего исследования детского возраста здоровых и нервнобольных я должен заключить, что влечение к разглядыванию может явиться у ребенка как самостоятельное сексуальное проявление. Маленькие дети, внимание которых направлено на собственные гениталии — по большей части мастурбационно, обыкновенно делают дальнейшие успехи без посторонней помощи и проявляют большой интерес к гениталиям своих товарищей по играм. Так как случай удовлетворить такое любопытство создается по большей части только при удовлетворении обеих экскрементальных потребностей, то такие дети становятся voyeur'ами[1], усердно подглядывают, когда другие мочатся или испражняются. После наступившего вытеснения этой склонности, любопытство, направленное на гениталии других (своего или противоположного пола), сохраняется как мучительное навязчивое стремление, которое становится источником сильнейших тенденций к образованию симптомов при некоторых невротических случаях.

Еще в большей независимости от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной деятельности развивается у ребенка компонент жестокости сексуального влечения. Детскому характеру вообще свойственна жестокость, так как задержка, удерживающая влечение к овладеванию от причинения боли другим, способность к состраданию развивается сравнительно поздно. Основательный психологический анализ этого влечения, как известно, еще не удался; мы можем полагать, что жестокие душевные движения происходят из влечения к овладеванию и проявляются в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще не получили своего позднейшего значения. Жестокость властвует в фазе сексуальной жизни, которую мы позже опишем как прегенитальную организацию. Дети, отличающиеся особенной жестокостью по отношению к животным и товарищам, справедливо вызывают подозрение в интенсивной и преждевременной сексуальной деятельности эрогенных зон, и при совпадении с преждевременной зрелостью всех сексуальных влечений эрогенная, сексуальная деятельность кажется все же первичной. Отсутствие задержки из сострадания несет с собой опасность, что эта

[1] См. с. 127.

имевшая место в детстве связь жестоких влечений с эрогенными окажется в жизни позже неразрушимой.

Болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем воспитателям со времени исповеди Ж.-Ж. Руссо как эрогенный источник пассивного влечения к жестокости (мазохизма). Они правильно вывели из этого требование, что телесное наказание, которое по большей части осуществляется именно на этой части тела, не должно иметь места у всех тех детей, у которых благодаря позднейшим требованиям культурного воспитания либидо может быть оттеснено на коллатеральные пути[1].

Инфантильное сексуальное исследование

Влечение к познанию

Приблизительно к тому времени, когда сексуальная жизнь ребенка достигает своего первого расцвета, от 3-го до 5-го года, у него появляются также зачатки той деятельности, которой приписывают стремление к познанию или исследованию. Влечение к познанию не может быть причислено к элементарным компонентам влечений, но подчинено исключительно сексуальности. Его деятельность соответствует сублимированному способу овладевания, с другой стороны, оно работает на основе энергии влечения к подглядыванию. Но его отношение к сексуальной жизни имеет особенное значение, потому что мы узнали из психоанализа, что влечение к познанию у детей поразительно рано и неожиданно интенсивно останавливается на сексуальных проблемах, может быть, даже пробуждается ими.

Загадка сфинкса

Не теоретические, а практические интересы движут исследовательской деятельностью у ребенка. Угроза условиям его жизни вследствие известия или предположения о появлении нового ребенка, страх потерять в связи с этим событием заботу и любовь заставляют ребенка задуматься и развивают его проницательность. Первая проблема, которая его занимает, в соответствии с этой историей ее возникновения не является вопросом о различии полов, а загадкой: откуда берутся дети? С небольшой поправкой это тождественно загадке, заданной фиванским сфинксом. Факт существования двух полов ребенок сперва воспринимает без раз-

[1] На вышеизложенные в 1905 г. утверждения об инфантильной сексуальности по существу мне дали право результаты психоаналитического исследования взрослых. Непосредственные наблюдения над ребенком не могли тогда быть в полной мере использованы и дали только отдельные намеки и ценные подтверждения. С тех пор удалось благодаря анализу отдельных случаев нервных заболеваний в раннем детском возрасте непосредственно изучить инфантильную психосексуальность (Jahrbuch f. psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, Bd. I, 1909, и след.). С удовлетворением могу указать на то, что непосредственное наблюдение вполне подтвердило выводы психоанализа и этим дало хорошее доказательство того, что этот метод исследования заслуживает полного доверия.

«Анализ фобии пятилетнего мальчика» научил, кроме того, еще многому новому, к чему не были подготовлены психоанализом, например, тому, что сексуальная символика, изображение сексуального при помощи несексуальных объектов и отношений начинается с первых же лет того периода, когда ребенок овладевает речью. Далее мое внимание обращают на недостаток вышеизложенного, в котором в интересах ясности различие в понятиях обеих фаз аутоэротизма и любви к объекту описывается как различное и во времени. Но из упомянутого анализа (как и из сообщений Белла: см. выше) видно, что дети в возрасте от 3 до 5 лет способны на очень ясный, сопровождающийся сильными аффектами выбор объекта.

думья и противодействия. Для мальчика является чем-то само собой понятным предположить у всех известных ему людей такие же гениталии, как его собственные, и кажется невозможным соединить отсутствие таких гениталий с его представлением об этих других людях. Мальчик крепко держится этого убеждения, упорно защищает его от возникающих возражений под влиянием наблюдения и отказывается от него только после тяжелой внутренней борьбы (комплекс кастрации). Замещающие образования этого утерянного пениса у женщины играют большую роль в формировании разнообразных перверсий[1].

Комплекс кастрации и зависть к пенису

Предположение о существовании у всех людей таких же (мужских) гениталий составляет первую замечательную и важную по своим последствиям инфантильную сексуальную теорию. Ребенку мало пользы в том, что биологическая наука оправдывает его предрассудки и видит в женском клиторе настоящего заместителя пениса. Маленькая девочка не попадает во власть подобных отрицаний, когда она замечает иначе устроенные гениталии мальчика. Она немедленно готова признать их, и в ней пробуждается зависть по поводу пениса, которая вырастает до желания, имеющего впоследствии важное значение, — также быть мальчиком.

Теория рождения

Многие люди могут ясно вспомнить, как интенсивно в период, предшествующий пубертатному, они интересовались вопросом, откуда берутся дети. Анатомическое разрешение вопроса было тогда различное: они появляются из груди или их вырезывают из живота, или пупок открывается, чтобы выпустить их. О соответствующем исследовании в раннем детстве вспоминают очень редко вне анализа; исследование это давно подверглось вытеснению, но результаты его были совершенно аналогичные. Детей получают оттого, что что-то определенное едят (как в сказках), и они рождаются через кишечник, как испражнения. Эти детские теории напоминают об анатомических структурах, встречающихся в животном мире, особенно о клоаке животных, стоящих ниже, чем млекопитающие.

Садистское понимание полового сношения

Если дети в столь нежном возрасте становятся свидетелями полового сношения между взрослыми, к чему дает повод убеждение больших, что маленький ребенок не может понять еще ничего сексуального, то они могут понять сексуальный акт только как своего рода избиение или насилие, т. е. в садистском смысле. Психоанализ дает нам возможность также узнать, что такое впечатление в раннем детстве много способствует предрасположению к позднейшему садистскому смещению сексуальной цели. В дальнейшем дети много занимаются проблемой, в чем же может заключаться половое сношение или, как они это понимают, быть замужем или женатым, и по большей части ищут разрешение загадки в общности с функциями мочеиспускания или испражнения.

[1] С полным правом можно говорить о кастрационном комплексе у женщин. И мальчики, и девочки создают теорию, что и у женщины первоначально имелся пенис, утерянный вследствие кастрации. Явившееся в конце концов убеждение в отсутствии пениса у женщины оставляет у мужского индивида часто навсегда пренебрежительное чувство к другому полу.

Типичная неудача детского сексуального исследования

В общем можно сказать о детских сексуальных теориях, что они являются отражением собственной сексуальной конституции ребенка и, несмотря на их странные ошибки, указывают на большее понимание сексуальных процессов, чем это можно было бы предполагать у их творцов. Дети замечают также и изменения при беременности у матери и умеют их правильно истолковывать; сказка об аисте очень часто рассказывается слушателям, относящимся к ней с глубоким, но по большей части немым недоверием. Но так как для детского сексуального исследования остаются неизвестными два элемента: роль оплодотворяющего семени и существование женского полового отверстия, — впрочем, именно те пункты, в которых инфантильная организация еще отстала, старание инфантильных исследователей все же остается всегда бесплодным и кончается отказом от дальнейшего изыскания, который нередко оставляет навсегда ослабление влечения к познанию. Сексуальное исследование в этом раннем детском периоде ведется всегда в одиночестве; оно означает первый шаг к самостоятельной ориентировке в мире и ведет к большому отчуждению ребенка от окружающих его лиц, пользовавшихся до того полным его доверием.

Фазы развития сексуальной организации

До сих пор мы подчеркивали как характерные признаки сексуальной организации, что она, по существу, аутоэротична (находит свой объект на собственном теле) и что отдельные частные влечения ее, в общем не связанные и независимые одно от другого, стремятся к получению удовольствия. Завершается развитие так называемой нормальной сексуальной жизнью взрослых, при которой получение удовольствия стало служить функции продолжения рода, и частные влечения составили под приматом одной-единственной эрогенной зоны твердую организацию для достижения сексуальной цели с посторонним сексуальным объектом.

Прегенитальные организации

Изучение задержек и нарушений в этом процессе развития при помощи психоанализа позволяет нам узнать зачатки и предварительные ступени такой организации частных влечений, которые составляют своего рода сексуальный режим. Эти фазы сексуальной организации в норме протекают ровно, давая знать о себе только намеками. Только в патологических случаях они приходят в действие и становятся заметными и для поверхностного наблюдения.

Организации сексуальной жизни, в которых генитальные зоны еще не приобрели своего преобладающего значения, мы назовем прегенитальными. До сих пор мы узнали две такие организации, которые производят впечатление возврата к раннему животному состоянию.

Первой такой прегенитальной сексуальной организацией является оральная, или, если хотите, каннибальная. Сексуальная деятельность еще не отделена здесь от принятия пищи, противоречия внутри этих влечений еще не дифференцированы. Объект одной деятельности является одновременно и объектом другой, сексуальная цель состоит в поглощении объекта, прообразе того, что позже как идентификация будет играть такую значительную психическую роль. Остаток этой

фиктивной, навязанной нам патологией фазы организации можно видеть в сосании, при котором сексуальная деятельность, отделенная от деятельности питания, отказалась от постороннего объекта ради объекта на собственном теле[1].

Вторую прегенитальную фазу составляет садистско-анальная организация. Здесь уже развилась противоположность, проходящая через всю сексуальную жизнь, но она еще может быть названа мужской и женской, а должна называться активной и пассивной. Активность появляется благодаря влечению к овладению со стороны мускулатуры тела, а эрогенная слизистая оболочка кишечника проявляет себя как орган с пассивной сексуальной целью; оба устремления имеют свои объекты, однако не совпадающие. Наряду с этим другие частные влечения проявляют свою деятельность аутоэротическим образом. В этой фазе уже можно поэтому доказать сексуальную полярность и посторонний объект. Организации и подчинения функции продолжения рода еще нет.

Амбивалентность

Эта форма организации может уже удержаться на всю жизнь и навсегда привязать к себе значительную часть сексуальной деятельности. Преобладание садизма и роль клоаки, выполняемая анальной зоной, придают ей яркий архаический характер. Другим признаком ее является то, что оба противоположных влечения, из пары в пару, развиты почти одинаково, — отношение, которое было удачно названо Блейером амбивалентностью.

Предположение о прегенитальных организациях сексуальной жизни основано на анализе неврозов и вряд ли может быть понято без знания этого анализа. Мы можем рассчитывать, что продолжение аналитической работы даст нам еще больше данных относительно строения нормальной сексуальной функции.

Чтобы дополнить картину инфантильной сексуальной жизни, необходимо прибавить, что часто или всегда уже в детском возрасте делается выбор объекта в такой форме, в какой мы обрисовали его как характерный для пубертатного периода, а именно — что все сексуальные устремления направляются только на одно лицо, у которого хотят достичь всех своих целей. Это образует тогда самое большое приближение к окончательной форме сексуальной жизни после наступления половой зрелости, которая возможна в детском возрасте. Отличие от последней состоит только в том, что объединение частных влечений и подчинение их примату гениталий в детстве еще совсем не проведено или только очень неполно. Последняя фаза, проделываемая сексуальной организацией, состоит, следовательно, в том, что этот примат начинает служить продолжению рода.

Двукратный выбор объекта

Можно считать типичным, что выбор объекта происходит двукратно, двумя толчками. Первый выбор начинается в возрасте между двумя и пятью годами и во время латентного периода приостанавливается или даже регрессирует; он отличается инфантильной природой своих сексуальных целей. Второй начинается с

[1] Ср. работу Абрахама об остатках этой фазы у взрослых невротиков: Untersuchungen über die früheste prägenitale Entwicklungsstufe der Libido // Intern. Zeitschrift f. ärztl. Psychoan., IV, 1916.

наступлением пубертатного периода и обусловливает окончательную форму сексуальной жизни.

Факт двукратного выбора объекта, который в сущности сводится к действию латентного периода, приобретает, однако, громадное значение для нарушения этого окончательного состояния. Результаты инфантильного выбора объекта выражаются в более поздний период жизни: или они сохранились как таковые, или они оживают ко времени наступления пубертатного периода. Вследствие развития вытеснения, имевшего место между этими двумя фазами, ими, как оказывается, невозможно воспользоваться. Их сексуальные цели подверглись умалению и теперь представляют собой то, что мы можем назвать нежным течением сексуальной жизни. Только психоаналитическое исследование может доказать, что за этой нежностью, обожанием и почтением скрываются старые, ставшие теперь непригодными сексуальные стремления инфантильных частных влечений. Выбор объекта в пубертатный период должен отказаться от инфантильных объектов и снова начаться как чувственное течение. Несовпадение обоих течений имеет часто следствием то, что не может быть достигнут один из идеалов сексуальной жизни — объединение всех желаний на одном объекте.

Источники инфантильной сексуальности

Прослеживая происхождение сексуального влечения, мы до сих пор полагали, что сексуальное возбуждение возникает: а) как воспроизведение удовлетворения, пережитого в связи с другими органическими процессами; б) благодаря соответствующему раздражению периферических эрогенных зон; в) как выражение некоторых не совсем понятных нам по своему происхождению «влечений», как влечение к подглядыванию и жестокости. Психоаналитическое исследование, возвращающееся к детству от более позднего периода, и одновременное наблюдение над ребенком вместе открывают нам и другие постоянные источники сексуального возбуждения. Наблюдение над детьми имеет тот недостаток, что ведется над объектами, которые легко неправильно понять; психоанализ затрудняется тем, что может дойти до своих объектов и до своих выводов только долгими обходными путями; но при совместном действии можно достичь обоими методами достаточной степени уверенности в их познании.

При исследовании эрогенных зон мы уже нашли, что эти участки кожи обнаруживают только особенно повышенную раздражительность, которая в известной степени свойственна всей поверхности кожи. Мы не станем поэтому удивляться, когда узнаем, что некоторым видам общей раздражимости кожи нужно приписать очень ясное эрогенное действие. Среди них особенно подчеркиваем прежде всего температурные раздражения: может быть, таким образом мы поймем терапевтическое действие теплых ванн.

Механические возбуждения

Далее мы должны здесь прибавить возможность вызвать сексуальное возбуждение ритмическими, механическими сотрясениями тела, при которых нам необходимо различать троякого вида раздражения: на чувственный аппарат вестибулярных нервов, на кожу и на глубоко залегающие структуры (мускулы, суставной аппарат). Ввиду появляющихся при этом ощущений удовольствия стоит особенно

подчеркнуть, что в данном случае мы довольно часто можем в одинаковом смысле употреблять понятие сексуальное «возбуждение» и «удовлетворение»; это возлагает на нас обязанность в дальнейшем искать этому объяснения. Доказательством появления удовольствия, вызываемого механическими сотрясениями тела, служит, таким образом, тот факт, что дети так сильно любят пассивные игры-движения, как качание и подбрасывание, и беспрерывно требуют их повторения[1]. Укачивание, как известно, применяется для того, чтобы усыпить беспокойных детей. Сотрясение при катании в экипаже и при поездке по железной дороге оказывает такое захватывающее действие на более взрослых детей, что по крайней мере все мальчики хоть раз в жизни хотят стать кучерами и кондукторами. Тому, что происходит на железной дороге, они обыкновенно уделяют загадочно большой интерес, и все происходящее становится у них в том возрасте, когда усиливается деятельность фантазии (незадолго до пубертатного периода), ядром чисто сексуальной символики. Необходимость связывать поездку по железной дороге с сексуальностью исходит, очевидно, из удовольствия от двигательных ощущений. Если к этому прибавляется вытеснение, которое превращает в противоположное так много из того, чему дети оказывают предпочтение, то те же лица в юношеском возрасте или взрослые реагируют на качание тошнотой, сильно устают от поездки по железной дороге или проявляют склонность к припадкам страха во время путешествия и защищаются от повторения мучительного переживания посредством страха перед железной дорогой.

Сюда присоединяется непонятный еще факт, что совпадение испуга и механического сотрясения вызывает тяжелый истериоподобный травматический невроз. Можно по крайней мере полагать, что эти влияния, становящиеся при небольшой интенсивности источниками сексуального возбуждения, в очень большом количестве вызывают глубокое расстройство сексуального механизма.

Работа мускулатуры

Известно, что большая активная мускульная деятельность является потребностью для ребенка, от удовлетворения которой он черпает необыкновенное наслаждение. Утверждение, что это наслаждение имеет кое-что общее с сексуальностью, что оно даже включает в себя сексуальное удовлетворение или может стать поводом к сексуальному возбуждению, может вызвать критические возражения, которые будут направлены и против высказанных раньше утверждений, что наслаждение от ощущения пассивных движений действует сексуальным образом или вызывает сексуальное возбуждение. Но многие рассказывают как несомненный факт, что первые признаки возбужденности в своих гениталиях они ощутили во время драки или борьбы с товарищами; в этом положении, однако, помимо общего мускульного напряжения оказывает свое влияние также касание значительных участков кожи противника. Склонность к мускульной борьбе с каким-нибудь лицом, как к словесной борьбе в более позднем возрасте («Кто кого любит, тот того дразнит»), принадлежит к хорошим признакам направленного на это лицо выбора объекта. В том, что мускульная деятельность способствует сексуальному возбуждению,

---

[1] Многие лица могут вспомнить, что, качаясь на качелях, они ощущают напор движущегося воздуха на гениталии прямо-таки как сексуальное удовольствие.

можно видеть один из корней садистского влечения. Для многих индивидов инфантильная связь между дракой и сексуальным возбуждением является предопределяющим фактором для избранной направленности полового влечения[1].

Аффективные процессы

Меньшему сомнению подлежат остальные источники сексуального возбуждения ребенка. Непосредственным наблюдением и более поздним исследованием легко установить, что все интенсивные аффективные процессы, даже возбуждения от испуга, передаются на сексуальность, что, впрочем, может способствовать пониманию патогенного влияния таких душевных движений. У школьника страх перед экзаменом, напряжение перед трудноразрешимой задачей может приобрести большое значение, влияя на вспышку сексуальных проявлений и на отношение к школе, так как при подобных условиях часто появляется чувство раздражения, заставляющее прикасаться к гениталиям, или процесс, похожий на поллюцию со всеми ее вызывающими замешательство следствиями. Поведение детей в школе, ставящее перед учителем достаточно загадок, заслуживает вообще быть поставленным в связь с их зарождающейся сексуальностью. Возбуждающее сексуальность действие многих неприятных самих по себе аффектов — боязливости, ужаса, жутких ощущений — сохраняется у многих людей и в зрелом возрасте и является объяснением того, что так много людей гонятся за всяким удобным случаем, чтобы испытать подобные ощущения, если только определенные, привходящие обстоятельства (отнесение к кажущемуся миру, чтение, театр) притупляют серьезность неприятных ощущений.

Если бы можно было допустить, что интенсивные болезненные ощущения имеют такое же эрогенное действие, особенно если боль приглушена каким-нибудь привходящим обстоятельством или удерживается дольше, то в этом положении заключался бы главный корень садистско-мазохистского влечения, многообразный и сложный состав которого мы, таким образом, начинаем постепенно понимать.

Интеллектуальная работа

Наконец, легко убедиться, что концентрация внимания на интеллектуальной работе и умственное напряжение вообще имеют следствием у многих юношей и людей зрелого возраста сексуальное возбуждение, которое должно считаться единственно верным основанием столь сомнительного объяснения нервных заболеваний умственным «переутомлением».

Если мы окинем взором источники детских сексуальных возбуждений согласно этим несовершенным и неполно перечисленным примерам и указаниям, то у нас является возможность предугадать или узнать следующие обобщения: по-

---

[1] Анализ случаев невротических болезней — неспособности ходить и страха пространства — устраняет сомнения в сексуальной природе наслаждения от движения. Современное культурное воспитание, как известно, пользуется в широких размерах спортом, чтобы отвлечь молодежь от сексуальной деятельности; правильнее было бы сказать, что оно заменяет сексуальное наслаждение наслаждением от движения и направляет сексуальную деятельность обратно на один из ее аутоэротических компонентов.

видимому, все сделано для того, чтобы процесс сексуального возбуждения — сущность которого, разумеется, стала для нас очень загадочной — был пущен в ход. Об этом прежде всего заботятся более или менее непосредственным образом возбуждения чувствительной поверхности — кожи и органов чувств и самым непосредственным образом — раздражения известных мест кожи, заслуживающих названия эрогенных зон. В этих источниках сексуального возбуждения решающее значение имеет качество раздражений, хотя и фактор интенсивности (при боли) не совсем безразличен. Но, кроме того, в организме имеются такие приспособления, вследствие которых при многих внутренних процессах возникает как побочное явление сексуальное возбуждение, как только интенсивность этих процессов переходит известные количественные границы. То, что мы называли частными сексуальными влечениями, или непосредственно исходит из этих внутренних источников сексуального возбуждения, или составляется из того, что дается этими источниками и эрогенными зонами. Возможно, что в организме не происходит ничего более или менее значительного, что не должно было бы отдавать своих компонентов для возбуждения сексуального влечения. В настоящее время мне кажется невозможным довести эти общие положения до большей ясности и уверенности, и я делаю за это ответственными два момента: во-первых, новизну всего образа мыслей и, во-вторых, то обстоятельство, что сущность сексуального возбуждения нам совершенно неизвестна. Но я не хотел бы отказаться от двух следующих замечаний, обещающих открыть нам далекие горизонты.

А. Различные сексуальные конституции

Подобно тому как мы прежде видели возможность обосновать многообразие врожденных сексуальных конституций различным развитием эрогенных зон, мы можем то же самое попробовать и теперь, прибавив к этому еще непосредственные источники полового возбуждения. Мы можем допустить, что хотя эти источники дают притоки у всех людей, но не у всех людей они одинаково сильны и что предпочтительное развитие отдельных источников сексуального возбуждения способствует дальнейшей дифференциации различных сексуальных конституций[1].

Б. Пути взаимного влияния

Оставляя образный способ выражения, которого так долго придерживались, говоря об «источниках» сексуального возбуждения, мы можем прийти к предположению, что все соединительные пути, ведущие от других функций к сексуальности, должны быть проходимы и в обратном направлении. Если, например, общее для обеих функций владение зоной губ является причиной того, что при приеме пищи возникает сексуальное удовлетворение, то тот же момент объясняет нарушение в приеме пищи, если нарушены эрогенные функции общей зоны. Если нам

[1] Обязательный вывод из вышеизложенного требует, чтобы каждому индивиду приписывалась оральная, анальная, уретральная и т. д. эротика и что констатация соответствующих этим эротикам душевных комплексов не означает суждения о ненормальности или неврозе. Различие, отличающее нормального человека от ненормального, может состоять только в относительной силе отдельных компонентов сексуального влечения и в использовании их в ходе развития.

известно, что концентрация внимания может вызвать сексуальное возбуждение, то у нас напрашивается предположение, что благодаря воздействию тем же путем, но только в обратном направлении сексуальное возбуждение влияет на возможность на чем-нибудь сосредоточить внимание. Большая часть симптоматики неврозов, которую я объясняю нарушениями в сексуальных процессах, выражается в нарушении других, не сексуальных телесных функций, и это непонятное до сих пор влияние становится менее загадочным, если оно представляет собой только параллель к тому влиянию, под которым находится продукция сексуального возбуждения.

Те же пути, однако, по которым сексуальные нарушения переходят на прочие телесные функции, должны и при норме сослужить и другую важную службу. По ним должно было происходить привлечение сексуальных сил влечений к другим, не сексуальным целям, т. е. сублимация сексуальности. Мы должны закончить признанием, что об этих несомненно имеющихся, возможно, проходимых в том и другом направлении путях нам известно еще очень мало достоверного.

III. Преобразования при половом созревании

С наступлением пубертатного периода начинаются изменения, которым предстоит перевести инфантильную сексуальную жизнь в ее окончательные нормальные формы. Сексуальное влечение до того было преимущественно аутоэротично, теперь оно находит сексуальный объект. До того его действия исходили из отдельных влечений и эрогенных зон, независимых друг от друга и искавших определенное наслаждение как единственную сексуальную цель. Теперь дается новая сексуальная цель, для достижения которой действуют совместно все частные влечения, между тем как эрогенные зоны подчиняются примату генитальной зоны[1]. Так как новая сексуальная цель наделяет оба пола очень различными функциями, их сексуальное развитие принимает разное направление. Развитие мужчины последовательнее и более доступно нашему пониманию, между тем как у женщины наступает даже своего рода регресс. Порукой нормальности половой жизни служит только точное совпадение обоих направленных на сексуальный объект и сексуальную цель течений, нежного и чувственного, из которых первое содержит в себе все, что остается из раннего инфантильного расцвета сексуальности. Это похоже на прокладку туннеля с двух сторон.

Новая сексуальная цель у мужчины состоит в выделении сексуальных продуктов: она абсолютно не чужда и прежней цели — получению удовольствия, наоборот, максимальное количество удовольствия связано именно с этим конечным актом сексуального процесса. Сексуальное влечение начинает теперь служить функции продолжения рода; оно становится, так сказать, альтруистическим. Чтобы это превращение удалось, необходимо при этом процессе принимать во внимание первоначальное предрасположение и все особенности влечения.

Как и при всяком другом случае, когда в организме должны иметь место новые связи и соединения в сложные механизмы, так и здесь открывается возможность

---

[1] Изложенное в тексте схематическое описание старается подчеркнуть различия. Насколько инфантильная сексуальность своим выбором объекта и выделением фаллической фазы приближается к окончательной сексуальной организации, указывается выше.

болезненных изменений благодаря выпадению этих новых организаций. Все болезненные нарушения в половой жизни с полным правом можно рассматривать как задержки в развитии.

Примат генитальной зоны и предварительное наслаждение

Перед нашим взором ясно открываются исходный пункт и конечная цель описанного хода развития. Посредствующие переходы во многих отношениях для нас еще темны; мы должны будем оставить в них неразрешенной не одну загадку.

Самым существенным в процессах пубертатного периода считалось то, что больше всего бросается в глаза, — явный рост внешних гениталий при относительной задержке роста в латентный период детства. Одновременно и развитие внутренних гениталий продвинулось настолько вперед, что они оказываются в состоянии выделять половые продукты или воспринимать их для образования нового существа. Таким образом, изготовлен очень сложный аппарат, ждущий того, чтобы им воспользовались.

Этот аппарат должен быть пущен в ход, и наблюдения показывают нам, что до него могут дойти раздражения тремя путями: из внешнего мира благодаря возбуждению уже известных нам эрогенных зон; из внутренних органов; и путями, которые еще предстоит исследовать, из душевной жизни, самой являющейся хранилищем внешних впечатлений и приемником внутренних возбуждений. Всеми тремя путями вызывается то же самое состояние, называемое «сексуальным возбуждением» и проявляющееся двоякого рода признаками, душевными и соматическими. Душевные признаки состоят в своеобразном чувстве напряжения крайне импульсивного характера; среди разнообразных телесных изменений на первом месте стоит ряд изменений гениталий, имеющих несомненный смысл, а именно готовности, приготовления к сексуальному акту (эрекция мужского органа, увлажнение влагалища).

Сексуальное возбуждение

С определенным характером напряжения при сексуальном возбуждении связана проблема, разрешение которой столь же трудно, как громадно ее значение для понимания сексуальных процессов. Несмотря на господствующее в психологии различие мнений по этому поводу, считаю нужным настаивать на том, что чувство напряжения должно носить в себе самом характер неудовольствия. Для меня является решающим, что такое чувство приносит с собой стремление к изменению психической ситуации, побуждает к действию, что совершенно чуждо сущности испытываемого удовольствия. Если же причислить напряжение при сексуальном возбуждении к неприятным чувствам, то сталкиваешься с фактом, что оно, вне всякого сомнения, переживается как приятное. Всюду к напряжению, вызванному сексуальными процессами, примешивается наслаждение, даже при подготовительных изменениях в гениталиях ясно ощущается своего рода чувство удовлетворения. Какова связь этого неприятного напряжения с этим чувством удовольствия?

Все, что относится к проблеме удовольствие–неудовольствие, затрагивает одно из самых больных мест современной психологии. Мы попробуем, по возможности, больше узнать об этом из условий имеющегося перед нами случая и избегнем подойти к проблеме в полном ее объеме. Бросим сперва взгляд на тот способ, каким эрогенные зоны подчиняются новому порядку. При возникновении сексуаль-

ного возбуждения они играют важную роль. Самая далекая от сексуального объекта зона — глаз — в условиях ухаживания за объектом оказывается чаще всего в таком положении, что возбуждается тем особым качеством возбуждения, повод к которому в сексуальном объекте мы называем красотой. Достоинства сексуального объекта называются поэтому также «прелестями». С этим раздражением, с одной стороны, связано уже удовольствие, с другой стороны, следствием его является то, что сексуальное возбуждение повышается или вызывается. Если присоединяется возбуждение другой эрогенной зоны, например ощупывающей руки, то получается такой же эффект: с одной стороны, ощущение удовольствия, усиливающееся сейчас же благодаря удовольствию от приготовительных изменений, а с другой стороны — дальнейшее усиление сексуального напряжения, скоро переходящего во вполне отчетливое неприятное чувство, если ему не дается возможность доставлять все новое удовольствие. Более ясным кажется другой случай, например когда у сексуально не возбужденного лица прикосновением раздражают эрогенную зону, хотя бы кожу на груди у женщины. Это прикосновение вызывает уже чувство удовольствия, но одновременно больше, чем что бы то ни было, способно разбудить сексуальное возбуждение, требующее нарастания удовольствия. В этом-то и заключается проблема: как происходит, что ощущаемое наслаждение вызывает потребность в еще большем наслаждении.

Механизм предварительного наслаждения

Однако роль, выпадающая при этом на долю эрогенных зон, ясна. То, что относилось к одной из них, относится ко всем. Назначение всех их — принести известное количество удовольствия благодаря соответствующему раздражению; удовольствие повышает напряжение, которое, со своей стороны, должно дать необходимую моторную энергию, чтобы довести половой акт до конца. Предпоследняя часть его состоит опять-таки в соответствующем раздражении эрогенной зоны, самой генитальной зоны на glans penis[1], посредством приспособленного для этого объекта — слизистой оболочки влагалища; под влиянием наслаждения, которое доставляет это возбуждение, на этот раз рефлекторным путем развивается моторная энергия, которая ведет к выделению половых секретов. Это последнее наслаждение, по своей интенсивности самое сильное, отличается по механизму своему от прежнего. Оно вызывается всецело разрешением этого напряжения, представляет собой полностью наслаждение от этого удовлетворения, и с ним временно угасает напряжение либидо.

Мне кажется, что необходимо отметить это отличие в сущности наслаждения от возбуждения эрогенных зон от другого — при выделении половых секретов и дать ему соответствующее название. Первое наслаждение может быть названо предварительным наслаждением, в противоположность конечному наслаждению, или наслаждению от удовлетворения. Предварительное наслаждение представляет собой в таком случае то же самое, что и доставляемое инфантильным сексуальным влечением, хотя и в меньшей степени; конечное наслаждение ново, т. е., вероятно, связано с условиями, возникшими только с наступлением половой зрелости. Формула новой функции эрогенных зон такова: ими пользуются для того, чтобы

---

[1] Головке полового члена. — *Примеч. ред. перевода.*

при посредстве получаемого от них, как и в инфантильной жизни, предварительного наслаждения сделать возможным наступление большего наслаждения от удовлетворения. Недавно мне удалось объяснить пример, взятый из совершенно другой области душевной деятельности, в котором также достигается больший эффект наслаждения благодаря незначительному ощущению удовольствия, действующему при этом как соблазнительная премия. Там явилась возможность ближе рассмотреть сущность наслаждения[1].

Опасности предварительного наслаждения

Однако связь предварительного наслаждения с инфантильной сексуальной жизнью подтверждается той патогенной ролью, которая может выпасть на ее долю. Из механизма, который принял в себя предварительное наслаждение, возникает, очевидно, явная опасность для возможности достижения нормальной сексуальной цели; опасность эта наступает тогда, когда в каком-нибудь месте подготовительных сексуальных процессов предварительное наслаждение становится слишком большим, а соответствующее напряжение слишком незначительным. Тогда пропадает сила стремления к продолжению сексуального процесса, весь путь сокращается и соответствующий подготовительный акт занимает место сексуальной цели. Этот случай, как известно, обусловлен тем, что соответствующая эрогенная зона или соответствующее частное влечение давали уже в детском возрасте необыкновенное количество удовольствия. Если прибавляются еще моменты, способствующие фиксации, то в будущем легко создается навязчивость, противодействующая тому, чтобы это предварительное наслаждение подчинилось новой связи. Таков в действительности механизм многих перверсий, представляющих собой остановку на подготовительных актах сексуального процесса. Легче всего избежать нарушения функций сексуального механизма по вине предварительного наслаждения, если примат генитальной зоны предначертан уже в детской инфантильной жизни. Для этого как будто действительно принимаются меры во второй половине детства (от 8 лет до наступления пубертатного периода). В эти годы генитальные зоны ведут себя так, как во время полового созревания, они становятся местом ощущений возбуждения и подготовительных изменений, если ощущается какое-нибудь наслаждение от удовлетворения других эрогенных зон, хотя этот эффект остается еще бесцельным, т. е. не способствует продолжению сексуального процесса. Таким образом, уже в детском возрасте наряду с наслаждением от удовлетворения имеет место известное количество сексуального напряжения, хотя менее постоянного и полного. Теперь мы можем понять, почему при исследовании источников сексуальности мы могли с таким же правом сказать, что соответствующий процесс действует в сексуальном отношении как удовлетворяюще, так и возбуждающе. Мы замечаем, что в процессе исследования мы сначала представили себе различие инфантильной и зрелой сексуальной жизни преувеличенно большим, и вносим теперь корректуру. Инфантильные проявления

[1] См. появившийся в 1905 г. мой труд «Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten»; возникающим вследствие приемов остроумия «предварительным» наслаждением пользуются для того, чтобы дать выход большему наслаждению благодаря уничтожению внутренних задержек.

сексуальности предопределяют не только отступление от нормальной сексуальной жизни, но и нормальную его форму.

Проблемы сексуального возбуждения

Для нас осталось совершенно необъяснимым, откуда берется сексуальное напряжение, развивающееся одновременно с наслаждением от удовлетворения эрогенных зон, и какова сущность этого наслаждения[1]. Ближайшее предположение, что это напряжение получается каким-то образом из самого наслаждения, не только само по себе очень невероятно, оно отпадает, потому что при самом большом наслаждении, связанном с излиянием половых продуктов, не появляется никакого напряжения, а, наоборот, всякое напряжение прекращается. Наслаждение и сексуальное напряжение могут поэтому быть связаны только не косвенным путем.

Роль половых продуктов

Помимо факта, что при обычных условиях только освобождение от половых продуктов кладет конец сексуальному возбуждению, имеются еще и другие основания привести сексуальное напряжение в связь с выбросом половых продуктов. При воздержании через различные, но правильные промежутки времени половой аппарат освобождается от половых продуктов ночью во время сновидения, представляющего половой акт и сопровождающегося ощущением наслаждения. Относительно этого процесса — ночной поллюции — трудно отказаться от взгляда, что сексуальное напряжение, которое умеет найти короткий галлюцинаторный путь для замещения акта, является функцией накопления семени в резервуарах для половых продуктов. В таком же смысле опыт указывает на относительную истощаемость сексуального механизма. При отсутствии запаса семени не только невозможно выполнение полового акта, но исчезает также раздражимость эрогенных зон, соответствующее раздражение которых не может вызвать наслаждения. Попутно мы, таким образом, узнаем, что известная степень сексуального напряжения требуется даже для возбуждения эрогенных зон.

Таким образом, приходится допустить, если я не ошибаюсь, довольно распространенную точку зрения, что накопление половых продуктов создает сексуальное напряжение и поддерживает его тем, что давление этих продуктов на стенки органов, в которых они содержатся, действует как раздражение на спинальный центр, состояние которого воспринимается высшими центрами и отражается в сознании как известное ощущение напряжения. Если возбуждение эрогенных зон повышает сексуальное напряжение, то это могло бы происходить только таким образом, что эрогенные зоны находятся в анатомической связи с этими центрами, повышают тонус возбуждения при достаточном сексуальном напряжении, приводят в действие половой акт, а при недостаточном — вызывают производство половых продуктов.

---

[1] Очень поучительно, что немецкий язык употреблением слова «Lust» — наслаждение (удовольствие) считается с упомянутой в тексте ролью подготовительного сексуального возбуждения, которое одновременно дает некоторое удовлетворение и некоторую сумму сексуального напряжения. «Lust» имеет двоякое значение, означая как ощущение сексуального напряжения (Ich habe Lust — я хотел бы, чувствую необходимость), так и удовлетворение.

Слабость этого учения, которого придерживается, например, и Крафт-Эбинг в своем описании сексуальных процессов, состоит в том, что, созданное для объяснения половой деятельности зрелого мужчины, оно обращает мало внимания на троякого рода обстоятельства, которым оно также должно дать объяснение. Эти обстоятельства относятся к ребенку, к женщине и к мужскому кастрату. Во всех трех случаях не может быть и речи о накоплении половых продуктов в таком же смысле, как у мужчины, что затрудняет простое применение схемы. Все же нужно признать, что можно найти факты, дающие возможность подчинить этому учению также и указанные случаи. Все-таки приходится опасаться того, чтобы не приписать фактору накопления половых продуктов нечто такое, на что он, по-видимому, не способен.

Оценка внутренних половых органов

Наблюдения над мужчинами-кастратами показывают, что сексуальное возбуждение может в значительной степени быть независимым от производства половых продуктов, так как бывают случаи, что операция не оказывает влияния на либидо, хотя, как правило, наблюдается противоположное поведение, которое является мотивом для операции. Кроме того, давно известно, что болезни, приводящие к прекращению продукции мужских половых клеток, оставляют нетронутыми либидо и потенцию ставшего уже стерильным индивида. Поэтому не так уже удивительно, как К. Ригер это описывает, что потеря мужских половых желез в зрелом возрасте может остаться без всякого влияния на душевное состояние индивида. Кастрация, совершенная в раннем возрасте, до пубертатного периода, хотя и приближается по своему влиянию к устранению половых признаков, однако при этом кроме потери самих по себе половых желез приходится принимать во внимание еще задержки в развитии других факторов, связанные с исчезновением этих желез.

Химическая теория

Опыты над животными с удалением половых желез (яички и яичники) и соответствующая измененная пересадка новых таких органов у позвоночных животных (см. цитированный труд Липшютца, с. 13) пролили, наконец, отчасти свет на происхождение сексуального возбуждения и при этом еще уменьшили значение накопления клеточных половых продуктов. При помощи эксперимента стало возможным превратить (Е. Штейнах) самца в самку и обратно самку в самца, причем менялось и психосексуальное поведение животного в соответствии и одновременно с соматическими половыми признаками. Но это определяющее пол влияние имеет не та часть половой железы, которая производит специфические половые клетки (сперматозоиды и яйцеклетки), а интерстициальная ткань ее, которой авторы придают особое значение как «пубертатной железе». Очень возможно, что дальнейшие исследования покажут, что в норме «пубертатная железа» имеет двуполое строение, — чем анатомически обосновывается учение о бисексуальности высших животных, и теперь уже вероятно, что она не единственный орган, имеющий отношение к образованию сексуального возбуждения и половых признаков. Во всяком случае это новое биологическое открытие примыкает к тому, что нам уже раньше было известно о значении щитовидной железы в сексуальности. Мы можем допустить, что из интерстициальной части половой железы выделяются

особые химические вещества, которые выбрасываются в кровяное русло и заряжают определенную часть центральной нервной системы сексуальным напряжением, как это нам известно относительно превращения токсического раздражения в особое раздражение органа другими посторонними для организма ядами. Каким образом возникает сексуальное возбуждение благодаря раздражению эрогенных зон, при прежнем заряжении центральных аппаратов, и какая смесь чисто токсических и физиологических раздражений получается при этих сексуальных процессах — в настоящее время об этом несвоевременно строить даже гипотезы. Для нас достаточно придерживаться как существенного в этом взгляде на сексуальные процессы предположения, что существуют особые вещества, обязанные своим происхождением сексуальному обмену веществ. Ибо эта кажущаяся произвольной гипотеза подкрепляется взглядом, на который мало обращали внимания, но который очень его заслуживает. Неврозы, которые можно объяснить только нарушениями сексуальной жизни, показывают самое большое клиническое сходство с феноменами интоксикации и абстиненции, которые возникают при первичном употреблении доставляющих наслаждение ядов (алкалоидов).

Теория либидо

С этими предположениями о химической основе сексуального возбуждения прекрасно согласовываются наши представления и наше понимание психических проявлений сексуальной жизни. Мы выработали себе понятие о либидо как о меняющейся количественно силе, которой можно измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую следует положить вообще в основу душевных процессов, в отношении ее особого происхождения, и этим приписываем ей также особый качественный характер. Отделением либидозной психической энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания организма особым химизмом. Анализ перверсий и психоневрозов убедил нас в том, что сексуальное возбуждение возникает не только из так называемых половых, но из всех органов тела. У нас, таким образом, возникает представление об определенном количестве психически представленного либидо, как мы его называем, *Я*-либидо, продукция которого, уменьшение или увеличение, распределение и смещение, должна дать нам возможность объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены.

Но аналитическое исследование этого *Я*-либидо становится доступным только тогда, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, т. е. превратиться в объект-либидо. Мы видим тогда, как оно концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному, временному угасанию либидо. Психоанализ так называемых неврозов перенесения (истерия, невроз навязчивых состояний) дает нам возможность убедиться в этом.

Относительно судеб объект-либидо мы можем еще узнать, что, будучи отнятым от объектов, оно остается в свободном состоянии и, наконец, возвращается к *Я*, так что оно снова становится *Я*-либидо. *Я*-либидо, в противоположность объект-ли-

бидо, мы называем также нарцистическим либидо. Из психоанализа мы, как через границу, переступить которую нам не дозволено, глядим в водоворот нарцистического либидо, и у нас составляется представление об отношении обеих форм либидо. Нарцистическое либидо, или *Я*-либидо, кажется нам большим резервуаром, из которого исходят привязанности к объектам и в который они снова возвращаются; нарцистическая привязанность либидо к *Я* кажется исходным состоянием, имевшим место в раннем детстве, только прикрытым поздним его использованием, но в сущности оставшимся неизменным.

Задача теории либидо невротических и психотических заболеваний должна была бы состоять в том, чтобы выразить в терминах экономии либидо все наблюдаемые феномены и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы либидо будут при этом иметь самое большое значение, особенно в тех случаях, где дело идет об объяснении глубоких психотических нарушений. Трудность состоит в таком случае в том, что метод нашего исследования, психоанализ, пока дает нам верные сведения только о превращениях объект-либидо, а *Я*-либидо он не может совершенно отделить от других действующих в *Я* энергий[1]. Дальнейшее развитие теории либидо пока поэтому возможно только путем спекуляций. Но если, по примеру К. Г. Юнга, слишком расширить понятие либидо, отождествляя его вообще с движущей психической силой, то благодаря этому исчезают завоевания всех психоаналитических наблюдений.

Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем ограничение понятия либидо этими первыми находят сильное подкрепление в изложенном выше предположении об особом химизме сексуальной функции.

Различия между мужчиной и женщиной

Известно, что только с наступлением половой зрелости устанавливается резкое отличие мужского и женского характера — противоположность, оказывающая большее влияние на весь склад жизни человека, чем что бы то ни было другое. Врожденные мужские и женские свойства хорошо заметны уже в детском возрасте: развитие тормозов сексуальности (стыда, отвращения, сострадания и т. д.) наступает у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика; склонность к сексуальному вытеснению кажется вообще большей; там, где проявляются частные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Но аутоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих полов, и благодаря этому сходству в детстве отсутствует возможность половых различий, как они появляются после наступления половой зрелости. Принимая во внимание аутоэротические и мастурбационные сексуальные проявления, можно было бы выставить положение, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Более того, если бы мы были в состоянии придать понятиям «мужской» и «женский» вполне определенное содержание, то можно было бы защищать также положение, что либидо всегда — и закономерно по природе своей — муж-

[1] См. Zur Einführung des Narzißmus // Jahrb. für Psychoanalyse, II, 1913. Термин «нарциссизм» создан не Некке, как там по ошибке указано, а Х. Эллисом. (Русск. перевод: *Фрейд З.* Очерки по психологии сексуальности. — М.; Пг., 1923.)

ское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или женщины, и независимо от своего объекта, будь то мужчина или женщина[1].

С тех пор как я познакомился с гипотезой бисексуальности, я считаю этот момент решающим в данном случае и полагаю, что, не отдавая должного бисексуальности, вряд ли можно будет понять фактически наблюдаемые сексуальные проявления мужчины и женщины.

Руководящие зоны у мужчины и у женщины

Независимо от вышесказанного я могу прибавить лишь следующее: и у ребенка женского пола руководящая эрогенная зона находится в клиторе, следовательно, вполне гомологична мужской половой зоне у головки полового члена. Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких девочек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий, имеющим значение для последующей генитальной функции. Я сам сомневаюсь, может ли девочка под влиянием соблазнения дойти до чего-нибудь другого кроме мастурбации клитора, разве только в совершенно исключительном случае. Встречающееся именно у девочек так часто самопроизвольное разряжение сексуального возбуждения выражается в пульсирующих сокращениях клитора, и частые эрекции его дают девочке возможность правильно и без специального поучения понимать сексуальные проявления другого пола, просто перенося на мальчиков ощущение собственных сексуальных процессов.

Кто хочет понять превращение маленькой девочки в женщину, тот должен проследить дальнейшую судьбу этой возбудимости клитора. Период полового созревания, в котором у мальчика наблюдается такой большой всплеск либидо, проявляется у девочки в виде новой волны вытеснения, касающейся особенно сексуальности клитора. При этом подвергается вытеснению известная доля мужской сексуальной жизни. Возникающее при этом вытеснение в периоде полового созревания женщины, усиление тормозов сексуальности вызывает раздражение для либидо мужчины и ведет к усилению его сексуальной деятельности; с повышением либидо усиливается сексуальная переоценка, которая в полной мере может выразиться только по отношению к отказывающей, отрицающей свою сексу-

---

[1] Необходимо признать, что понятия «мужской» и «женский», содержание которых по общепринятому мнению кажется таким недвусмысленным, принадлежат в науке к самым запутанным и поддаются разложению по меньшей мере в трех направлениях. Говорят «мужской» и «женский» то в смысле активности и пассивности, то в биологическом, а также в социологическом смысле. Первое из этих трех значений — самое существенное и единственно используемое в психоанализе. Соответственно этому значению либидо выше в тексте называется мужским, потому что влечение всегда активно, даже тогда, когда имеет пассивную цель. Второе, биологическое значение мужского и женского допускает самое ясное определение. Мужское и женское характеризуется здесь присутствием сперматозоидов или яйцеклеток и обусловленных ими функций. Активность и ее побочные проявления, более сильное развитие мускулатуры, агрессивность, бóльшая интенсивность либидо — обыкновенно сливаются с биологической мужественностью, но не связаны с ней обязательно, потому что имеются породы животных, у которых этими свойствами наделены женские особи. Третье, социологическое значение получает свое содержание благодаря наблюдению над действительно существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения у людей показывают, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле не встречается чистой мужественности или женственности. У каждой личности в отдельности наблюдается смесь ее биологических половых признаков с биологическими чертами другого пола и соединение активности и пассивности, как поскольку эти психические черты зависят от биологических, так и поскольку они не зависят от последних.

альность женщине. За клитором сохраняется тогда роль — когда он при допущенном, наконец, половом акте сам возбуждается — передатчика этого возбуждения соседним частям женских гениталий, подобно тому как щепка смолистого дерева употребляется для того, чтобы зажечь более твердое топливо. Часто проходит некоторое время, пока совершается эта передача, в течение которого молодая женщина остается фригидной. Эта фригидность может стать длительной, когда зона клитора не передает свою возбудимость, что подготовляется большой (мастурбаторной. — *Прим. перев.*) деятельностью в детском возрасте. Известно, что часто фригидность женщин — только кажущаяся, локальная. Они фригидны у входа во влагалище, но никоим образом не невозбудимы со стороны клитора или даже других эрогенных зон. К этим эрогенным поводам к фригидности присоединяются еще психические поводы, также обусловленные вытеснением.

Если перенесение эрогенной раздражимости от клитора на вход во влагалище удался, то вместе с этим у женщины изменилась зона, играющая руководящую роль в более поздней сексуальной деятельности, между тем как у мужчины с детства сохраняется одна и та же зона. В этой смене руководящей эрогенной зоны, так же как и в волне вытеснения с наступлением половой зрелости, которая как бы устраняет инфантильную мужественность, кроются главные причины предпочтительного заболевания неврозом, особенно истерией, преимущественно женщин. Эти условия, следовательно, теснейшим образом связаны с сущностью женственности.

Нахождение объекта

Между тем как благодаря процессам полового созревания утверждается примат генитальной зоны и появление эрекции мужского полового члена властно указывает на новую сексуальную цель, на проникновение в полость тела, возбуждающее генитальную зону, с психической стороны совершается процесс нахождения объекта, подготовка к которому идет с раннего детства. Когда самое первое сексуальное удовлетворение было связано с принятием пищи, сексуальное влечение имело в материнской груди сексуальный объект вне собственного тела. Позже оно лишилось его, может быть как раз тогда, когда у ребенка появилась возможность получить общее представление о лице, которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение орган. Обыкновенно половое влечение становится тогда аутоэротичным, и только по истечении латентного периода снова восстанавливается первоначальное отношение. Не без веского основания сосание ребенком груди матери стало прообразом всяких любовных отношений. Нахождение объекта представляет собой, в сущности, вторичную встречу[1].

Сексуальный объект во время младенчества

Но от этой первой и самой важной сексуальной связи и после отделения сексуальной деятельности от приема пищи остается еще значительная часть, подготов-

[1] Психоанализ показывает, что имеются два пути нахождения объекта: во-первых, описанный в тексте, который совершается с опорой на прообразы раннего детства, и, во-вторых, нарцистический, который ищет собственное *Я* и находит его в другом. Этот последний имеет особенно большое значение для патологического исхода, но не имеет прямой связи с обсуждаемой здесь темой.

ляющая выбор объекта, т. е. помогающая вернуть утерянное счастье. В течение всего латентного периода ребенок научается любить других лиц, помогающих ему в его беспомощности и удовлетворяющих его потребности, совершенно по образцу его младенческих отношений к кормилице, как бы продолжая эти отношения. Может быть, не согласятся отождествить нежные чувства и оценку ребенка, которые он проявляет к своим нянькам, с половой любовью; но я полагаю, однако, что более точное психологическое исследование докажет, что тождественность тех и других чувств не подлежит никакому сомнению. Общение ребенка со своими няньками составляет для него беспрерывный источник сексуального возбуждения и удовлетворения через эрогенные зоны, тем более что эта нянька — обыкновенно это бывает мать — сама питает к ребенку чувства, исходящие из области ее сексуальной жизни, она ласкает, целует и укачивает его и относится к нему совершенно явно как к полноценному сексуальному объекту[1]. Мать, вероятно, испугалась бы, если бы ей разъяснили, что она будит всеми своими нежностями сексуальное влечение ребенка и подготавливает будущую интенсивность этого влечения. Она считает свои действия проявлением асексуальной «чистой» любви, так как она тщательно избегает вызывать в гениталиях ребенка больше возбуждения, чем это необходимо при уходе за ребенком. Но половое влечение, как нам уже известно, можно разбудить не только возбуждая генитальную зону; то, что мы называем нежностью, в один прекрасный день непременно окажет свое влияние на генитальную зону. Если бы мать лучше понимала, какое большое значение имеют влечения для всей душевной жизни, для всех этических и психических проявлений, то она и после того, как узнала все это, все же чувствовала бы себя свободной от упреков. Она выполняет только свой долг, когда учит ребенка любить; пусть он станет дельным человеком с энергичной сексуальной потребностью и пусть совершит в своей жизни все то, на что толкает это влечение человека. Слишком много родительской нежности может стать, разумеется, вредным, так как ускоряет половую зрелость, а также и потому, что делает ребенка «избалованным», неспособным в дальнейшей жизни временно отказаться от любви или удовлетвориться меньшим количеством ее. Одним из несомненнейших признаков будущей нервозности является то, что ребенок оказывается ненасытным в своем требовании родительской нежности; а с другой стороны, именно невротичные родители, склонные по большей части к чрезмерной нежности, скорее всего будят своими ласками предрасположение ребенка к невротическому заболеванию. Из этого примера видно, впрочем, что у невротичных родителей имеются еще более прямые пути, чтобы передать свою болезнь детям, чем по наследственности.

Инфантильный страх

Сами дети с ранних лет ведут себя так, как будто их привязанность к няне по природе своей — сексуальная любовь. Страх детей первоначально является только выражением того, что им не хватает любимого человека; поэтому они встречают всякого постороннего человека со страхом; они боятся темноты, потому что в тем-

[1] Те, кому эти взгляды покажутся «кощунством», пусть прочтут исследование отношений между матерью и ребенком у Х. Эллиса, почти совпадающее по своему смыслу с нашими (Das Geschlechtsgefühl, S. 16).

ноте не видно любимого человека, и успокаиваются, если могут держать в темноте руку этого лица. Переоценивают значение всех детских испугов или жутких сказок нянек, когда обвиняют их в том, что они вызывают боязливость детей. Дети, склонные к боязливости, восприимчивы к таким сказкам, которые на других детей не производят никакого впечатления, а к страхам склонны дети с очень сильным или преждевременно развитым, или благодаря изнеженности ставшим слишком требовательным сексуальным влечением. Дитя ведет себя при этом как взрослый, превращая свое либидо в страх, когда он не в состоянии найти удовлетворение, а взрослый зато, став благодаря неудовлетворенному либидо невротичным, ведет себя в своем страхе как ребенок, начинает бояться, оставаясь один, т. е. без лица, в любви которого он уверен, и этот свой страх старается успокоить детскими мерами[1].

Ограничение инцеста

Если нежность родителей к ребенку счастливо избегла того, чтобы так сильно разбудить преждевременно, т. е. до наступления соответствующих физических условий пубертатного периода, сексуальное влечение ребенка, что душевные возбуждения явным образом прорываются к генитальной системе, — то она исполнила свою задачу руководства этим ребенком в зрелости при выборе сексуального объекта. Понятно, ребенку легче всего избрать своим сексуальным объектом тех лиц, которых он любит с детства, так сказать, притупленным либидо[2]. Но благодаря отсрочке сексуального созревания имелось достаточно времени, чтобы наряду с другими тормозами сексуальности воздвигнуть ограничение инцеста, впитать в себя те нравственные предписания, которые совершенно исключают при выборе объекта любимых с детства лиц кровных родственников. Соблюдение этого ограничения является прежде всего культурным требованием общества, которое должно бороться против поглощения семьей всех интересов, нужных ему для создания более высоких социальных единиц, поэтому общество всеми средствами добивается того, чтобы расшатать у каждого в отдельности, особенно у юношей, связь с семьей, имеющую только в детстве решающее значение[3].

Но выбор объекта производится сперва в представлении, и половая жизнь созревающего юношества может разыгрываться только в фантазии, т. е. в представ-

[1] Объяснением происхождения детского страха я обязан трехлетнему мальчику; однажды я слышал, как он из темной комнаты просил: «Тетя, поговори со мной: я боюсь, потому что так темно». Тетка ответила ему: «Что тебе с того? Ведь ты меня не видишь». «Это ничего не значит, — ответил ребенок, — когда кто-нибудь говорит, то становится светло». Он боялся, следовательно, не темноты, а потому что ему не хватало любимого человека, и мог обещать, что успокоится, как только получит доказательство его присутствия. Тот факт, что невротический страх происходит из либидо, представляет собой продукт его превращения, относится, следовательно, к либидо, как уксус к вину, является одним из самых значительных результатов психоаналитического исследования. Дальнейшее обсуждение этой проблемы см. в моих «Лекциях по введению в психоанализ», где, однако, все же не дано окончательного объяснения.

[2] Ср. сказанное о выборе объекта у ребенка: «нежное течение».

[3] Ограничение инцеста принадлежит, вероятно, к историческим завоеваниям человечества и, подобно другим нравственным требованиям табу, зафиксировано у многих индивидов органическим унаследованием. (Ср. мое сочинение «Тотем и табу», 1913.) Все же психоаналитическое исследование показывает, как интенсивно еще каждый в отдельности в своем развитии борется с искушениями инцеста и как часто поддается им в своей фантазии и даже в действительности.

лениях, которые никогда не должны осуществиться[1]. В этих фантазиях у всех людей снова проявляются инфантильные склонности, теперь усиленные соматически; среди этих фантазий, закономерно и часто повторяясь, на первом месте находится дифференцированное уже благодаря половому притяжению сексуальное стремление ребенка к родителям, сына к матери и дочери к отцу[2]. Одновременно с преодолением и оставлением этих ясных инцестуозных фантазий совершается одна из самых значительных и самых болезненных психических деятельностей пубертатного периода — освобождение от авторитета родителей, благодаря которому создается столь важная для культурного процесса противоположность нового и старого поколения. На каждой из остановок на пути развития, который предстоит совершить отдельным индивидам, некоторое число их застревает, и таким образом имеются также лица, которые никогда не смогли освободиться от авторитета родителей и оторвать от них свою нежность совсем или отчасти. В большинстве случаев это девушки, которые, к радости родителей, сохраняют полностью свою детскую любовь далеко за пределами пубертатного периода, и тут очень поучительно наблюдать, что в последующем браке у этих девушек не хватает возможности дарить своим мужьям то, что им следует. Они становятся холодными женами и остаются фригидными в сексуальных отношениях. Отсюда ясно, что как будто несексуальная любовь к родителям и половая любовь питаются из того же источника, т. е. первая соответствует инфантильной фиксации либидо.

Чем больше приближаешься к глубоким нарушениям психосексуального развития, тем очевиднее становится значение инцестуозного выбора объекта. У психоневротиков вследствие отрицательного отношения к сексуальности значительная часть или вся психосексуальная деятельность, направленная на нахождение

---

[1] Фантазии в период полового созревания имеют связь с прекращенным в детстве инфантильным сексуальным исследованием и захватывают еще часть латентного периода. Они могут быть совсем или по большей части бессознательными, и поэтому часто невозможно точно установить сроки их появления. Они имеют большое значение для возникновения разных симптомов, так как являются непосредственной предварительной ступенью их, т. е. представляют собой те формы, в которых находят свое удовлетворение вытесненные компоненты либидо. То же самое представляет собой то, что лежит в основе ночных фантазий, достигающих сознания как сновидение. Сновидения часто представляют собой только воскресшие фантазии такого рода под влиянием и в связи с каким-нибудь дневным раздражением, застрявшим из состояния бодрствования («остатки дневных впечатлений»). Среди сексуальных фантазий пубертатного периода выделяются некоторые, отличающиеся тем, что всеобще распространены и отличаются большой независимостью от индивидуальных переживаний отдельного человека. Таковы фантазии о подглядывании за половым сношением родителей, о соблазнении в раннем детстве любимым лицом, об угрозах кастрацией, фантазии о пребывании и даже о переживаниях в материнском чреве и так называемый «семейный роман», в котором подрастающий юноша реагирует на различие его направленности к родителям в настоящее время и в детстве. Близкое отношение этих фантазий к мифу доказал О. Ранк в своем труде «Das Mythus von der Geburt des Helden», 1909.

[2] Правильно утверждают, что Эдипов комплекс составляет комплексное ядро неврозов, представляя собой существенную часть их содержания. В нем завершается инфантильная сексуальность, оказывающая решающие влияния своим действием на сексуальность взрослых. Каждому новорожденному предстоит задача преодолеть Эдипов комплекс; кто не в состоянии этого сделать, заболевает неврозом. Успех психоаналитической работы все яснее показывает это значение Эдипова комплекса: признание его стало тем шибболетом (шибболет — перенос.: особенность, отличие; см. сноску на с. 425. — *Примеч. ред. перевода*), по которому можно отличить сторонников психоанализа от его противников.

объекта, остается в бессознательном[1]. Для девушек с очень большой потребностью в нежности и с таким же ужасом перед реальными требованиями сексуальной жизни непреодолимым искушением становится, с одной стороны, желание осуществить в жизни идеал сексуальной любви, а с другой стороны, скрыть свое либидо под нежностью, которую они могут проявлять без самоупреков, сохраняя на всю жизнь инфантильную, освеженную в период наступления половой зрелости склонность к родителям или братьям и сестрам. Психоанализ легко может доказать, что такие лица в обычном смысле слова влюблены в своих кровных родственников, скрывая при помощи симптомов и других проявлений болезни их бессознательные мысли и переводя их в сознание. Даже в тех случаях, когда человек, бывший прежде здоровым, заболел после несчастной любви, можно с несомненностью открыть, что механизм этого заболевания состоит в возвращении его либидо к предпочитаемым в детстве лицам.

Влияние инфантильного выбора объекта

И тот, кто счастливо избежал инцестуозной фиксации своего либидо, все же не свободен совершенно от ее влияния. Явным отзвуком этой фазы развития является серьезная влюбленность молодого человека, как это часто бывает, в зрелую женщину или девушки в немолодого, обладающего авторитетом мужчину, которые могут оживить у них образ матери и отца[2]. Под более отдаленным влиянием этих прообразов происходит вообще выбор объекта. Прежде всего мужчина ищет объект под влиянием воспоминаний о матери, поскольку они владеют им с самого раннего детства; в полном согласии с этим, если мать жива, она противится этому обновлению и враждебно встречает его. При таком значении детских отношений к родителям для выбора объекта в будущем легко понять, что всякое нарушение этих детских отношений имеет самые тяжелые последствия для сексуальной жизни после наступления половой зрелости, и ревность любящих всегда имеет инфантильные корни или по крайней мере подкрепления из инфантильных переживаний. Раздоры между самими родителями, несчастный брак их обусловливают сильнейшее предрасположение к нарушению сексуального развития или невротическому заболеванию детей.

Инфантильная склонность к родителям является, пожалуй, самым важным, но не единственным из следов, которые, будучи освеженными при половом созревании, указывают путь к выбору объекта. Другие предрасположения того же происхождения позволяют мужчине, все еще основываясь на переживаниях детства, направить свой выбор больше чем только в один сексуальный ряд и создать совершенно различные условия для выбора объекта[3].

Предупреждение инверсии

Возникающая при выборе объекта задача состоит в том, чтобы не упустить противоположный пол. Она, как известно, разрешается не без некоторого нащупывания.

---

[1] Ср. сказанное о неизбежном роке в сказании об Эдипе («Толкование сновидений»).

[2] Об особом типе выбора объекта у мужчин // *Фрейд З.* Очерки по психологии сексуальности. — М.; Пг., 1923.

[3] Бесчисленные особенности любовной жизни человека и навязчивость самой влюбленности можно вообще понять, только установив их отношение к детству и сохранившееся влияние этого детства.

Первые стремления после наступления половой зрелости часто без особого, впрочем, вреда идут по ложному пути. Дессуар вполне правильно обратил внимание на закономерность мечтательной дружбы юношей и молодых девушек с лицами одинакового пола и возраста. Самую большую силу, препятствующую тому, чтобы инверсия сексуального объекта осталась навсегда, составляет, несомненно, та притягательная сила, которую оказывают друг на друга противоположные половые признаки; для объяснения этого в нашем изложении ничего не может быть указано. Но фактор этот сам по себе недостаточен для того, чтобы исключить инверсию; к нему присоединяются еще другие моменты. Прежде всего сдерживающий авторитет общества; там, где инверсия не рассматривается как преступление, можно убедиться, что она вполне соответствует сексуальным склонностям многих индивидов. Далее, относительно мужчины можно допустить, что детские воспоминания о нежности матери и других женских лиц, попечению которых он в детстве был предоставлен, энергично содействуют тому, чтобы направить его выбор на женщину, между тем как испытанные со стороны отца в детстве сексуальное запугивание и соперничество с ним отвлекают от одинакового с ним пола. Но оба момента имеют, однако, силу и для девушки, сексуальная деятельность которой находится под особой опекой матери. Таким образом, создается враждебное отношение к своему собственному полу, которое оказывает решительное влияние на выбор объекта в смысле, считающемся нормальным. Воспитание мальчиков мужчинами (рабами Древнего мира), по-видимому, способствовало гомосексуальности; несколько более понятной становится частота инверсии у современной знати благодаря услугам мужской прислуги и благодаря меньшим личным заботам матерей о детях. У некоторых истериков происходит так, что благодаря отсутствию в раннем детстве одного из родителей (смерть, развод, отчуждение), после чего оставшийся привлекает к себе всю любовь ребенка, создается условие, предрешающее пол выбираемого позже в сексуальные объекты лица и вместе с тем и возможность постоянной инверсии.

Резюме

Теперь будет своевременным попытаться резюмировать вышеизложенное. Мы исходили из отклонений полового влечения относительно объекта и его цели и встретились с вопросом, появляются ли эти отклонения вследствие врожденного предрасположения или возникают в течение жизни. Ответ на этот вопрос вытекает из нашего взгляда на условия проявления полового влечения у психоневротиков, многочисленной и недалеко отстоящей от здоровых группы людей, — взгляда, основанного на психоаналитическом исследовании. Мы нашли, таким образом, что у этих лиц можно доказать склонность ко всем перверсиям как бессознательную силу, проявляющуюся в образовании симптомов, и могли сказать, что невроз представляет собой как бы негатив перверсии. Ввиду известного нам теперь большого распространения склонности к перверсиям мы вынуждены встать на ту точку зрения, что предрасположение к перверсиям составляет общее первоначальное предрасположение полового влечения человека, из которого в течение периода полового созревания развивается нормальное сексуальное поведение вследствие органических изменений и психических тормозов. Мы надеемся, что сможем доказать первоначальное предрасположение в детском возрасте; среди сил, ставящих

границы направленности сексуального влечения, мы подчеркиваем стыд, отвращение, сострадание и социальные конструкции морали и авторитета. Таким образом, в каждом зафиксированном отклонении от нормальной сексуальной жизни мы должны были увидеть задержку в развитии и инфантилизм. Значение изменчивости первоначального предрасположения мы должны были выдвинуть на первый план, а между ней и влияниями в течение жизни допустить отношения кооперации, а не противоположности. С другой стороны, нам казалось, что так как первоначальное предрасположение должно было быть комплексным, то само половое влечение представлялось нам чем-то состоящим из многих факторов, как бы распадающимся в перверсиях на свои компоненты. Таким образом, перверсии казались нам, с одной стороны, задержками, с другой стороны — диссоциациями нормального развития. Оба взгляда сливались в предположении, что половое влечение взрослого образуется благодаря соединению многих стремлений детской жизни в одно единство, одно стремление с одной-единственной целью.

Мы прибавили еще объяснение преобладания перверсных склонностей у психоневротиков, смотря на них как на коллатеральное заполнение побочных путей при преграждении главного русла течения благодаря вытеснению, и затем обратились к рассмотрению сексуальной жизни ребенка[1]. Мы высказали сожаление по поводу того, что детскому возрасту отказывали в сексуальном влечении и что часто наблюдаемые сексуальные проявления ребенка описывали как исключительные явления. Нам казалось, что ребенок приносит с собой на свет задатки сексуальной деятельности и уже при приеме пищи получает сексуальное удовлетворение, которое старается постоянно снова испытать посредством хорошо известных актов сосания. Но сексуальная деятельность ребенка развивается не наравне с другими его функциями, а регрессирует после короткого периода расцвета, от 2 до 5 лет, во время так называемого латентного периода. Продукция сексуального возбуждения в это время не прекращается, а продолжается и дает запас энергии, которая большей частью употребляется на другие, не сексуальные цели, а именно, с одной стороны, на присоединение сексуальных компонентов к социальным чувствам, с другой стороны (при помощи вытеснения и реактивного образования), на созидание позднейшего сексуального ограничения. Таким образом, силы, предназначенные для того, чтобы сдержать сексуальное влечение в определенных границах, создаются в детском возрасте за счет по большей части извращенных сексуальных стремлений и при помощи воспитания. Другая часть инфантильных сексуальных стремлений не находит такого применения и может выразиться как сексуальная деятельность. В таком случае можно узнать, что сексуальное возбуждение ребенка исходит из различных источников. Прежде всего возникает удовлетворение благодаря соответствующему чувственному возбуждению так называемых эрогенных зон, в качестве которых может функционировать, вероятно, любое место на коже и любой орган чувств, возможно, любой орган, между тем

[1] Это относится не только к возникающему в неврозе «негативу» склонностей к перверсиям, но также и к положительным, называемым собственно перверсиями. Эти последние объясняются, следовательно, не только фиксацией инфантильных склонностей, но и регрессией к ним вследствие преграждения других путей сексуального течения. Поэтому и положительные перверсии доступны психоаналитической терапии.

как существуют известные замечательные эрогенные зоны, возбуждение которых благодаря определенным органическим механизмам обеспечено с самого начала. Далее возникает сексуальное возбуждение как побочный продукт при целом ряде процессов в организме, как только они достигают определенной интенсивности, особенно при всяких сильных душевных потрясениях, хотя бы и мучительных по своей природе. Возбуждения из всех этих источников еще не объединяются, а только преследуют каждое в отдельности свою цель, состоящую только в переживании определенного удовольствия. Половое влечение, следовательно, в детстве не сконцентрировано и сначала не имеет объекта, аутоэротично.

Еще в детстве начинает выделяться эрогенная зона гениталий — или таким образом, что, как всякая другая зона, дает удовлетворение при соответствующем чувственном раздражении, или благодаря тому, что не совсем понятным образом вместе с удовлетворением из других источников одновременно вызывается сексуальное возбуждение, находящееся в особых отношениях к генитальной зоне. Нам приходится пожалеть, что не удалось достаточно выяснить отношение между сексуальным удовлетворением и сексуальным возбуждением, так же как между деятельностью генитальной зоны и другими источниками сексуальности.

Благодаря изучению невротических нарушений мы заметили, что в детской сексуальной жизни с самого начала наблюдаются зачатки организации сексуальных компонентов влечений. В первой, очень ранней стадии на первом плане находится оральная (ротовая) эротика; вторая из этих прегенитальных организаций характеризуется преобладанием садизма и анальной эротики; только в третьей фазе сексуальная жизнь предопределяется участием собственно генитальной зоны.

Как один из самых неожиданных результатов мы должны были установить, что этот ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни (2–5 лет) включает в себя также и выбор объекта со всей его богатой душевной деятельностью, так что связанную с ним соответствующую ему фазу, несмотря на недостаточное объединение отдельных компонентов влечения и на неуверенность сексуальной цели, приходится считать самым значительным предтечей позднейшей сексуальной организации.

Факт двукратного начала сексуального развития у человека, т. е. перерыв этого развития благодаря латентному периоду, казался нам достойным особого внимания. В нем, по-видимому, заключается условие способности человека к развитию высшей культуры, но также и его склонность к неврозу. У родственных человеку животных, насколько мы знаем, нельзя доказать ничего аналогичного. Источников происхождения этой человеческой особенности следовало бы искать в древнейшей истории человеческого рода.

В каком размере сексуальная деятельность в детском возрасте может считаться нормальной, невредной для дальнейшего развития, — этого мы сказать не могли. Характер сексуальных проявлений оказался мастурбационным. Далее опыт показал нам, что внешнее влияние соблазнения может привести к преждевременному прорыву латентного периода до его окончания и что при этом половое влечение ребенка оказывается фактически полиморфно-извращенным, далее, что всякая подобная ранняя сексуальная деятельность понижает способность ребенка поддаваться воспитанию.

Несмотря на неполноту наших знаний о детской сексуальной жизни, мы должны были сделать попытку изучить изменения ее, вызванные наступлением пубертатного периода. Мы выбрали из них два изменения как имеющие наибольшее значение: подчинение всех других источников сексуального возбуждения примату генитальной зоны и процесс выбора объекта. Оба имеют прообразы уже в детской жизни. Первое изменение происходит благодаря механизму использования предварительного наслаждения, причем обычно самостоятельные сексуальные акты, связанные с наслаждением и возбуждением, становятся подготовительными актами для новой сексуальной цели: излияния половых продуктов, с достижением которого при огромном наслаждении нужно было принимать во внимание дифференциацию половых существ на мужчин и женщин, и мы нашли, что, для того чтобы превратиться в женщину, нужно проделать новое вытеснение, уничтожающее известную часть инфантильной мужественности и подготовляющее женщину к перемене, руководящей генитальной зоной. Наконец, мы нашли, что выбором объекта руководит намечающаяся в инфантильном возрасте, обновленная при наступлении пубертатного периода сексуальная склонность ребенка к его родителям и нянькам и благодаря возникшему тем временем инцестуозному ограничению направленная с этих лиц на сходных с ними. Прибавим еще, наконец, что во время переходного пубертатного периода некоторое время соматические и психические процессы развития протекают параллельно, не связанные друг с другом, пока с прорывом интенсивного душевного, любовного движения к иннервации гениталий не возникает требуемое нормальное единство любовной функции.

Нарушающие развитие моменты

Всякий шаг на этом длинном пути развития может привести к фиксации, всякая спайка в этом запутанном сочетании может стать поводом к диссоциации полового влечения, как мы уже выяснили на различных примерах. Нам остается еще дать обзор различных мешающих развитию внутренних и внешних факторов и прибавить, в каком месте механизма возникает вызванное ими нарушение. То, что мы тут ставим в один ряд, может, разумеется, быть неравноценным, и мы должны считаться с трудностями при установлении значимости отдельных моментов.

Конституция и наследственность

На первом месте тут можно назвать врожденное различие сексуальной конституции, которое имеет, вероятно, решающее значение, но о котором, как понятно, можно заключить только по его поздним проявлениям, да и то не всегда с большой уверенностью. Под этим различием мы представляем себе преобладание того или другого из разнообразных источников сексуального возбуждения и полагаем, что подобное различие врожденного предрасположения во всяком случае должно найти себе выражение в конечном результате, даже если оно может оставаться в пределах нормального. Разумеется, мыслимы и такие вариации первоначального врожденного предрасположения, которые по необходимости и без посторонней помощи должны привести к образованию ненормальной сексуальной жизни. Их можно назвать «дегенеративными» и смотреть на них как на выражение наследственного отягощения. В связи с этим должен указать на замечательный факт. Больше чем у половины подвергнутых мною психотерапевтическому лечению

тяжелых случаев истерии, невроза навязчивых состояний и т. д. мне с несомненностью удалось доказать сифилис у отцов до брака — будь то tabes[1] или прогрессивный паралич, будь то другое какое-нибудь анамнестически установленное сифилитическое заболевание. Особенно отмечаю, что невротические впоследствии дети не имеют никаких телесных признаков сифилиса, так что ненормальную сексуальную конституцию нужно рассматривать как последнего потомка сифилитического наследства. Как я ни далек от того, чтобы считать происхождение от сифилитических родителей постоянным или необходимым этиологическим условием невропатической конституции, я все же считаю наблюдаемое мною совпадение не случайным и не лишенным значения.

Наследственные условия положительно-извращенных не так хорошо известны, потому что такие люди умеют укрываться от дачи сведений; все же есть основание полагать, что при перверсиях имеет значение то же, что и при неврозах. Нередко находят в тех же семьях перверсию и психоневроз таким образом, что мужские представители семьи или один из них положительно-перверсны, а женские — соответственно склонности их пола к вытеснению — отрицательно-перверсны, истеричны, — хорошее доказательство найденной нами существенной связи между обоими нарушениями.

Дальнейшая переработка

Однако нельзя стоять на той точке зрения, будто одни только зачатки различных компонентов сексуальной конституции предрешают формы сексуальной жизни. Существуют зависимости и от других причин, и дальнейшие возможности возникают в зависимости от судьбы, которую испытывают сексуальные течения, исходящие из отдельных источников. Эта дальнейшая переработка является, очевидно, окончательно определяющим фактором, между тем как, судя по описанию, одинаковая конституция может привести к трем различным конечным исходам. Если сохраняются все врожденные предрасположения в их относительном взаимоотношении, считающемся ненормальным, и укрепляются с наступлением зрелости, то в результате может быть перверсная сексуальная жизнь. Анализ таких ненормальных конституциональных предрасположений еще недостаточно разработан, но все же нам уже известны случаи, которые легко объясняются подобными предрасположениями. Авторы думают, например, о целом ряде фиксационных перверсий, что необходимым условием их является врожденная слабость сексуального влечения. В такой форме это положение мне кажется неправильным, но оно приобретает смысл, если имеется в виду конституциональная слабость одного фактора сексуального влечения — генитальной зоны, каковая впоследствии берет на себя функцию объединения отдельных сексуальных действий в целях продолжения рода. Это необходимое с наступлением пубертатного периода объединение должно в таком случае не удаться и самый сильный из остальных компонентов проявит свою деятельность как перверсия[2].

---

[1] Сухотка спинного мозга.— *Примеч. ред. перевода*.

[2] При этом часто видишь, что с наступлением половой зрелости сперва проходит нормальное сексуальное течение, которое, однако, вследствие своей внутренней слабости терпит крушение при первых внешних препятствиях и сменяется регрессией к первой фиксации.

Вытеснение

Другой результат возникает тогда, когда в ходе развития некоторые из особенно сильных врожденных компонентов подвергаются процессу вытеснения, о котором нужно помнить, что он представляет собой не то же самое, что полное упразднение. Соответствующие возбуждения вызываются при этом обычным образом, но благодаря психическим тормозам они не допускаются к достижению своей цели и оттесняются на различные другие пути, пока не проявятся как симптомы. В результате может сложиться приблизительно нормальная половая жизнь — по большей части ограниченная, но дополненная психоневротическим заболеванием. Как раз с такими случаями мы хорошо познакомились благодаря психоаналитическому исследованию невротиков. Сексуальная жизнь таких лиц началась так же, как и жизнь инвертированных, значительная часть их детства заполняется извращенной сексуальной их деятельностью, которая иногда простирается далеко за период полового созревания; затем по внутренним причинам — по большей части еще до наступления половой зрелости, а в иных случаях даже гораздо позже, — происходит поворот вытеснения, и с этого момента вместо перверсии появляется невроз, хотя старые стремления не исчезают. Припоминается поговорка: «В молодости гуляка, в старости монах», только молодость проходит здесь очень быстро. Эта смена перверсии неврозом в жизни того же лица должна быть так же, как и упомянутое прежде распределение перверсии и невроза между различными лицами той же семьи, приведена в связь с положением, что невроз представляет собой негатив перверсии.

Сублимация

Третий исход при ненормальном конституциональном предрасположении становится возможным благодаря процессу сублимации, при котором исключительно сильным возбуждениям, исходящим из отдельных источников сексуальности, открывается выход и применение в других областях, так что получается значительное повышение психической работоспособности из опасного самого по себе предрасположения. Один из источников художественного творчества можно найти здесь и в зависимости от того, полная ли или неполная это сублимация, анализ характера высокоодаренных, особенно имеющих способности к художественному творчеству лиц откроет различную смесь работоспособности, перверсии и невроза. Особым видом сублимации является подавление посредством реактивного образования, которое, как мы нашли, возникает уже в латентном периоде развития ребенка с тем, чтобы в благоприятном случае существовать в течение всей жизни. То, что мы называем «характером» человека, создано в значительной степени из материала сексуальных возбуждений и составляется из фиксированных с детства влечений, из приобретенных благодаря сублимации и из таких конструкций, которые имеют своим назначением энергичное подавление извращенных, признанных недопустимыми душевных движений[1]. Таким образом, общее перверсное сексуальное предрасположение детства может считаться источником наших добродетелей, поскольку оно дает толчок к развитию их посредством реактивных преобразований[2].

---

[1] За некоторыми чертами характера признана была даже связь с определенными эрогенными компонентами. Так, упрямство, скупость и любовь к порядку происходят из анальной эротики. Честолюбие предопределяется сильным уретрально-эротическим предрасположением.

[2] Такой знаток человеческой души, как Э. Золя, описывает в «Радости жизни» девушку, которая в радостном самопожертвовании отдает любимым лицам все, что имеет и на что имеет притязание, свое

Пережитое случайно

Все прочие влияния по своему значению далеко уступают сексуальным проявлениям, вытеснению и сублимации, причем внутренние условия последних процессов нам совершенно неизвестны. Кто причисляет вытеснение и сублимацию к конституциональным предрасположениям, рассматривая их как жизненные проявления этих предрасположений, тот имеет право утверждать, что конечная форма сексуальной жизни является прежде всего результатом врожденной конституции. Однако не дилетант не будет оспаривать, что в такой совокупности факторов остается место и для модифицирующих влияний, случайно пережитого в детстве и позже. Не так легко оценить влияние конституциональных и привходящих факторов и их взаимоотношение. В теории всегда склонны переоценивать значение первых; терапевтическая практика подчеркивает значительность последних. Никоим образом не следует забывать, что между обоими имеется отношение кооперации, а не исключения. Конституциональный фактор должен ждать переживания, которое способствует его проявлению. Привходящий момент нуждается в поддержке конституции, чтобы оказать действие. Для большинства случаев можно представить себе так называемый дополнительный ряд, в котором понижающаяся интенсивность одного фактора выравнивается благодаря повышающейся интенсивности другого фактора; но нет никакого основания отрицать существование крайних случаев на концах ряда.

Если предоставить переживаниям раннего детства преимущественное положение среди привходящих моментов, то это еще больше соответствует психоаналитическому исследованию. Один этиологический ряд разлагается в таком случае на два, из которых один можно назвать рядом предрасполагающим (dispositionelle) и другой окончательным (definitive). В первом совместно оказывают действие конституция и случайные переживания детства в той же мере, в какой во втором влияют предрасположение и травматическое переживание. Все нарушающие сексуальное развитие моменты проявляют свое действие таким образом, что вызывают регрессию, возврат к прежней фазе развития.

Здесь мы продолжаем осуществлять поставленную себе задачу — перечислить все известные нам факторы, имеющие влияние на сексуальное развитие, будь то действующие силы или только их проявления.

Преждевременная зрелость

Таким фактором является самопроизвольная сексуальная преждевременная зрелость, которую можно с несомненностью доказать в этиологии по крайней мере неврозов, хотя она одна сама по себе так же недостаточна, чтобы вызвать невроз, как и другие факторы. Она выражается в нарушении, сокращении или прекращении инфантильного латентного периода и становится причиной заболеваний, вызывая сексуальные проявления, которые, с одной стороны, благодаря отсутствию тормозов сексуальности, с другой стороны, вследствие неразвитой генитальной системы, могут носить характер одних только перверсий. Эти наклонности к перверсиям могут такими и остаться или же после происшедшего вытеснения стать движущими силами невротических симптомов; во всяком случае, преждевременная сексуаль-

---

имущество и свои надежды без награды с их стороны. В детстве эта девушка находилась во власти ненасытной потребности в нежности, которая превращается в жестокость, если оказано предпочтение другой.

ная зрелость затрудняет желательную в дальнейшем возможность овладения сексуальным стремлением со стороны высших душевных инстанций и повышает навязчивый характер, который и без того приобретают психические представители влечения. Часто ранняя сексуальная зрелость идет параллельно преждевременному интеллектуальному развитию; как таковая она встречается в истории детства самых значительных и способных индивидов; тогда она, по-видимому, не действует так патогенно, как в тех случаях, когда она появляется изолированно.

Временные моменты

Точно так же, как преждевременная зрелость, должны быть рассмотрены и другие факторы, которые можно объединить с преждевременной зрелостью как временные факторы. По-видимому, филогенетически предопределено, в каком порядке становятся активными те или другие влечения и как долго они могут проявляться, пока не подвергнутся влиянию появившегося нового влечения или вытеснению. Однако как в отношении этой временной последовательности, так и в отношении длительности активности влечений бывают, по-видимому, вариации, которые должны оказать влияние на результат этих процессов. Не может не иметь значения, появляется ли какое-нибудь течение раньше или позже, чем противоположное ему течение, потому что воздействие вытеснения нельзя устранить; временное изменение состава компонентов всегда влечет за собой изменение результата. С другой стороны, особенно интенсивно возникающие влечения часто протекают поразительно быстро, например гетеросексуальная привязанность лиц, ставших впоследствии гомосексуальными. Возникающие в детском возрасте очень сильные стремления не оправдывают опасения, что они навсегда будут преобладать в характере взрослого; можно также рассчитывать, что они исчезнут, уступив место противоположным стремлениям. (Строгие господа недолго властвуют.) Чем объясняется подобная временная спутанность процессов развития, мы не в состоянии указать даже приблизительно. Здесь открывается перспектива глубоких биологических, может быть, и исторических проблем, к которым мы еще не приблизились на боевое расстояние.

Цепкость

Значение всех ранних сексуальных проявлений увеличивается благодаря психическому фактору неизвестного происхождения, который пока можно описать как психологический феномен, разумеется, только предварительно. Я говорю о повышенной цепкости или способности к фиксации ранних впечатлений сексуальной жизни, которыми необходимо дополнить у будущих невротиков и у извращенных фактические данные, потому что такие же преждевременные сексуальные проявления не могут у других лиц запечатлеться так глубоко, чтобы навязчиво требовать повторения и предопределить пути сексуального влечения на всю жизнь. Объяснение этой цепкости кроется отчасти, может быть, в другом психическом факторе, от которого мы не можем отказаться для объяснения причин неврозов, а именно — в перевесе в душевной жизни значения воспоминаний в сравнении со свежими впечатлениями. Этот момент, очевидно, зависит от интеллектуального развития, и значимость его растет вместе с высотой личной культуры. В противоположность этому, дикаря характеризуют «как несчастное дитя момента»[1]. Вслед-

[1] Возможно, что увеличение цепкости является также следствием особенно интенсивных соматических сексуальных проявлений в ранние годы.

ствие противоположной зависимости, существующей между культурой и свободным сексуальным развитием, последствия которой можно проследить глубоко в складе нашей жизни, на низких ступенях культуры или социальности так маловажно, а на высоких — имеет столь большое значение, как протекала сексуальная жизнь ребенка.

Фиксация

Только что упомянутые благоприятно действующие психические факторы увеличивают значение случайно пережитых влияний на детскую сексуальность. Последние (в первую очередь соблазнение со стороны других детей или взрослых) дают материал, который может при помощи первых зафиксировать и повлечь за собой стойкие нарушения. Значительная часть наблюдаемых позже отклонений от нормальной сексуальной жизни у невротиков и у извращенных с самого начала имеет своим основанием впечатления свободного будто бы от сексуальности периода детства.

Ссылка к с. 119

Хотя психоанализ до сих пор не дал объяснения происхождению инверсии, он все же открыл психический механизм ее происхождения и значительно обогатил вопросы, которые приходится принимать во внимание. Во всех исследованных случаях мы установили, что инвертированные в более позднем возрасте проделали в детстве фазу очень интенсивной, но кратковременной фиксации на женщине (большей частью на матери), по преодолении которой они отождествляют себя с матерью и избирают себя самих в сексуальные объекты, т. е., исходя из нарциссизма, ищут мужчин в юношеском возрасте, похожих на них самих, которых хотят любить так, как любила их мать. Далее мы часто находили, что кажущиеся инвертированными никоим образом не были нечувствительными к прелестям женщины, а постоянно переносили на мужские объекты вызванное женщинами возбуждение. Таким образом, они всю жизнь воспроизводят механизм, благодаря которому появилась их инверсия. Их навязчивое устремление к мужчине оказалось обусловленным их тревожным бегством от женщины.

Психоаналитическое исследование самым решительным образом противится попыткам отделить гомосексуалистов от других людей как особого рода группу. Изучая еще и другие сексуальные возбуждения, а не только открыто проявляющие себя, оно узнает, что все люди способны на выбор объекта одинакового с собой пола и проделывают этот выбор в своем бессознательном. Больше того, привязанности либидозных чувств к лицам своего пола играют как факторы нормальной душевной жизни не меньшую, а как движущие силы заболевания большую роль, чем относящиеся к противоположному полу. Психоанализу, наоборот, кажется первичной независимость выбора объекта от его пола, одинаково свободная возможность располагать как мужскими, так и женскими объектами, как это наблюдается в детском возрасте, в первобытных условиях и в эпохи древней истории; и из этого первичного состояния путем ограничения в ту или другую сторону развивается нормальный или инвертированный тип. По мнению психоанализа, исключительный сексуальный интерес мужчины к женщине является проблемой, нуждающейся в объяснении, а не чем-то само собой понятным, что имеет своим основанием химическое притяжение. Решающий момент в отношении окончательного полового выбора наступает только после наступления половой зрелости и является результатом целого ряда не поддающихся еще учету факторов, частью конституциональных, частью привходящих по своей природе. Несомненно, некоторые из этих факторов могут оказаться настолько сильными, что имеют соответствующее решающее влияние на эти результаты. Но, в общем, многочисленность предопределяющих моментов находит свое отражение в многообразии исходных картин

явного сексуального поведения людей. Подтверждается, что у людей инвертированного типа, в общем, преобладают архаические конституции и примитивные психические механизмы. Самыми существенными их признаками кажутся влияние нарцистического выбора объекта и сохранение эротического значения анальной зоны. Но нет никакой пользы в том, чтобы на основании таких конституциональных свойств отделять крайние типы инвертированных от остальных. То, что находится у таких крайних типов как, по-видимому, вполне достаточное обоснование их ненормальности, можно также найти, только менее сильно выраженным, в конституции переходных типов и у явно нормальных. Различие в результатах по природе своей может быть качественного характера; анализ показывает, что различие в условиях только количественное. Среди привходящих факторов, оказывающих влияние на выбор объекта, заметим, что мы нашли вынужденный отказ (сексуальное запугивание в детстве) и обратили внимание на то, что наличность обоих родителей играет большую роль. Отсутствие сильного отца в детстве нередко благоприятствует инверсии. Необходимо, наконец, настаивать на требовании, чтобы проводилось строгое различие между инверсией сексуального объекта и смешением половых признаков у субъекта. Известная доля независимости совершенно очевидна и в этом отношении.

Целый ряд значительных взглядов на инверсию указал Ференци в статье «К нозологии мужской гомосексуальности (гомоэротики)» (Intern. Zeitschrift fьr дrztliche Psychoanalyse, II, 1914). Ференци вполне справедливо осуждает тот факт, что под названием «гомосексуальность», которое он хочет заменить более удачным словом «гомоэротика», смешивают много очень различных неравноценных в органическом и психическом отношении состояний на том основании, что у них всех имеется общий симптом инверсии. Он требует строгого различия по крайней мере между двумя типами: субъект-гомоэротика, чувствующего и ведущего себя, как женщина, и объект-гомоэротика, абсолютно мужественного и заменившего женский объект объектом одинакового с собой пола. Первого он считает настоящим «промежуточным сексуальным» типом в смысле М. Хиршфельда, второго он — менее удачно — называет невротиком, страдающим навязчивостью. Борьба со склонностью к инверсии так же, как и возможность психического воздействия, имеется только у объект-гомоэротика. И по признании этих двух типов необходимо прибавить, что у многих лиц смешивается известная доля субъект-гомоэротики с некоторой частью объект-гомоэротики.

В последние годы работы биологов, в первую очередь Е. Штейнаха, пролили яркий свет на органические условия гомоэротики, как и вообще половых признаков.

Посредством экспериментального опыта кастрации с последующей пересадкой половых желез другого пола удалось у различных млекопитающих превратить самцов в самок и обратно. Превращение коснулось более или менее полно соматических половых признаков и психосексуального поведения (т. е. субъект- и объект-эротики). Носителем этой предопределяющей пол силы считается не та часть половой железы, которая составляет половые клетки, а так называемая интерстициальная ткань этого органа (пубертатная железа).

В одном случае удалась перемена пола у мужчины, лишившегося яичек вследствие туберкулезного заболевания. В половой жизни он вел себя по-женски, как пассивный гомосексуалист, и у него наблюдались очень ясно выраженные женские половые признаки вторичного характера (особенности волосяного покрова, отложение жира на груди и на бедрах). После пересадки крипторхического человеческого яичка этот мужчина стал вести себя по-мужски и направлять свое либидо нормальным образом на женщину. Одновременно исчезли соматические женские признаки (A. Lipschütz. Die Pubertatsdruse und ihre Wirkung, Bern, 1919).

Было бы неосновательно утверждать, что благодаря этим прекрасным опытам учение об инверсии приобретает новое основание, и преждевременно ждать от них прямо-таки нового пути к общему «излечению» гомосексуальности. В. Флисс вполне правильно подчеркнул, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учения об общем бисексуальном врожденном предрасположении высших животных. Мне кажется более вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предполагаемой бисексуальности.

Психопатология обыденной жизни

Психопатология обыденной жизни

I. Забывание собственных имен

В 1898 году я поместил в «Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie» небольшую статью «К вопросу о психическом механизме забывчивости», содержание которой я здесь повторяю и рассматриваю как исходный пункт дальнейших рассуждений. В ней я подверг на примере, взятом из моей собственной жизни, психологическому анализу чрезвычайно распространенное явление временного забывания собственных имен и пришел к тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически не особенно важный вид расстройства одной из психических функций — способности припоминания — допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов.

Если я не очень заблуждаюсь, психолог, которому будет поставлен вопрос, чем объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность припомнить знакомое, по существу, имя, ограничится скорее всего простым указанием на то, что собственные имена вообще способны легче ускользать из памяти, нежели всякое другое содержание нашей памяти. Он приведет ряд более или менее правдоподобных предположений, обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен. Но мысль о существовании иной причинной зависимости будет ему чужда.

Для меня лично поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили некоторые частности, встречавшиеся если и не всегда, то все же в некоторых случаях обнаруживавшиеся с достаточной ясностью. Это было именно в тех случаях, когда наряду с забыванием наблюдалось и неверное припоминание. Субъекту, силящемуся вспомнить ускользнувшее из его памяти имя, приходят в голову иные имена, имена-заместители, и если эти имена и опознаются сразу же как неверные, то они все же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчи-

востью. Весь процесс, который должен вести к воспроизведению искомого имени, потерпел как бы известное смещение и приводит к своего рода подмене.

Наблюдая это явление, я исхожу из того, что смещение это отнюдь не является актом психического произвола, что оно, напротив, совершается в рамках закономерных и поддающихся научному учету. Иными словами, я предполагаю, что замещающие имя или имена стоят в известной, могущей быть вскрытой, связи с искомым словом, и думаю, что если бы эту связь удалось обнаружить, этим самым был бы пролит свет и на самый феномен забывания имен.

В том примере, на котором я построил свой анализ в указанной выше статье, забыто было имя художника, написавшего известные фрески в соборе итальянского городка Орвието. Вместо искомого имени — Синьорелли — мне упорно приходили в голову два других — Боттичелли и Больтраффио; эти два замещающих имени я тотчас же отбросил как неверные, и когда мне было названо настоящее имя, я тут же и без колебаний признал его. Я попытался установить, благодаря каким влияниям и путем каких ассоциаций воспроизведение этого имени претерпело подобного рода смещение (вместо Синьорелли — Боттичелли и Больтраффио), и пришел к следующим результатам:

а) Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло из моей памяти, не следует искать ни в особенностях этого имени самого по себе, ни в психологическом характере той связи, в которой оно должно было фигурировать. Само по себе имя это было мне известно не хуже, чем одно из имен-заместителей (Боттичелли), и несравненно лучше, чем второе имя-заместитель Больтраффио; об этом последнем я не знал почти ничего, разве лишь, что этот художник принадлежал к Миланской школе. Что же касается до связи, в которой находилось данное имя, то она носила ничего не значащий характер и не давала никаких нитей для выяснения вопроса: я ехал лошадьми с одним чужим для меня господином из Рагузы (в Далмации) в Герцеговину; мы заговорили о путешествиях по Италии, и я спросил моего спутника, был ли он уже в Орвието и видел ли знаменитые фрески ...NN.

б) Объяснить исчезновение из моей памяти имени мне удалось лишь после того, как я восстановил тему, непосредственно предшествовавшую данному разговору. И тогда весь феномен предстал предо мной как процесс вторжения этой предшествовавшей темы в тему дальнейшего разговора и нарушения этой последней. Непосредственно перед тем, как спросить моего спутника, был ли он уже в Орвието, я беседовал с ним о нравах и обычаях турок, живущих в Боснии и Герцеговине. Я рассказал, со слов одного моего коллеги, практиковавшего в их среде, о том, с каким глубоким доверием они относятся к врачу и с какой покорностью преклоняются пред судьбой. Когда сообщаешь им, что больной безнадежен, они отвечают: «Господин (Herr), о чем тут говорить? Я знаю, если бы его можно было спасти, ты бы спас его». Здесь, в этом разговоре, мы уже встречаем такие слова и имена: Босния, Герцеговина (Herzegowina), Herr (господин), которые поддаются включению в ассоциативную цепь, связывающую между собой имена Signorelli (signor — господин), Боттичелли и Больтраффио.

в) Я полагаю, что мысль о нравах боснийских турок оказалась способной нарушить течение следующей мысли благодаря тому, что я отвлек от нее свое внимание прежде, чем додумал ее до конца. Дело в том, что я хотел было рассказать

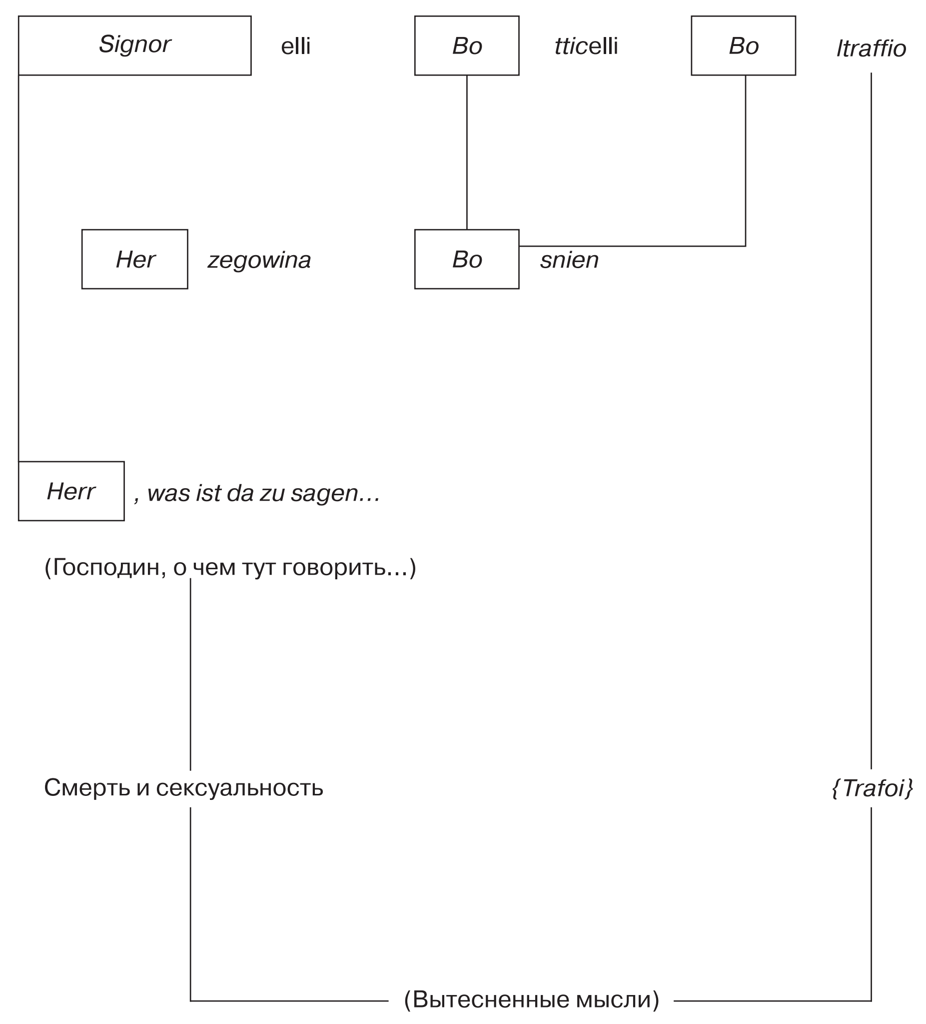
моему собеседнику еще один случай, связанный в моей памяти с первым. Боснийские турки ценят выше всего на свете половое наслаждение и в случаях заболеваний, делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко контрастирующее с их фаталистским равнодушием к смерти. Один из пациентов моего коллеги сказал ему раз: «Ты знаешь, господин (Herr), если лишиться этого, то жизнь теряет всякую цену». Я воздержался от сообщения об этой характерной черте, не желая касаться в разговоре с чужим человеком несколько щекотливой темы. Но я сделал при этом еще нечто большее: я отклонил свое внимание и от дальнейшего развития тех мыслей, которые готовы были у меня возникнуть в связи с темой «смерть и сексуальность». Я находился в то время под впечатлением известия, полученного несколькими неделями раньше, во время моего пребывания в Трафуа (Trafoi): один из моих пациентов, на лечение которого я потратил много труда, покончил с собой вследствие неисцелимой половой болезни. Я точно знаю, что во время моей поездки в Герцеговину это печальное известие и все то, что было с ним связано, не всплывало в моем сознании. Но совпадение звуков Trafoi — Boltraffio заставляет меня предположить, что в этот момент, несмотря на то что я намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное воспоминание все же оказало свое действие.

г) После всего сказанного я уже не могу рассматривать исчезновение из моей памяти имени Синьорелли как простую случайность. Я должен признать здесь наличность известного мотива. Имелись известные мотивы, побудившие меня воздержаться от сообщения моих мыслей (о нравах турок и т. д.), они же побудили меня исключить из моего сознания связанные с этим рассказом мысли, ассоциировавшиеся, в свою очередь, с известием, полученным мною в Трафуа. Я хотел таким образом нечто позабыть и вытеснил это нечто. Конечно, позабыть я хотел не имя художника из Орвието, а нечто другое, но этому другому удалось ассоциативно связаться с этим именем; так что мой волевой акт попал мимо цели, и в то время как намеренно я хотел забыть одну вещь, я забыл — против своей воли — другую. Нежелание вспомнить направлялось против одного, неспособность вспомнить обнаружилась на другом. Конечно, проще было бы, если бы и нежелание, и неспособность сказались на одном и том же объекте. С этой точки зрения замещающие имена представляются мне уже не столь произвольными. Они создают известного рода компромисс: напоминают и о том, что я хотел вспомнить, и о том, что я позабыл; они показывают, таким образом, что мое намерение позабыть нечто не увенчалось ни полным успехом, ни полным неуспехом.

д) Весьма очевидна та связь, которая установилась между искомым именем и вытесненной темой («смерть и сексуальность»; к ней же относятся имена: Босния, Герцеговина и Трафуа). Предлагаемая схема (из статьи 1898 года) пояснит эту связь (см. рисунок).

Имя Signorelli разложилось при этом на две части. Последние два слога (elli) воспроизведены в одном из имен-заместителей без изменения (Botticelli), первые же два подверглись переводу с итальянского языка на немецкий (signor — Herr), вступили в этом виде в целый ряд сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме (Herr, Herzegowina), и благодаря этому оказались также потерянными для воспроизведения. Замещение их произошло так, как будто было сделано смещение вдоль словосочетания «Герцеговина и Босния», причем смеще-

ние это совершилось независимо от смысла этих слов и от акустического разграничения отдельных слогов. Отдельные части фразы механически рассекались подобно тому, как это делается при построении ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьорелли заменилось двумя другими, протекал всецело вне сознания. За вычетом совпадения одних и тех же слогов (или, точнее, сочетаний букв) никакой иной связи, которая объединяла бы обе темы — вытесненную и следующую, установить на первых порах не удается.



Быть может, нелишне будет заметить, что приведенное выше объяснение не противоречит обычному у психологов взгляду на акт воспроизведения и забывания как обусловленный известным соотношением и расположением психических элементов. Мы лишь присоединили к этим обычным, давно признанным моментам для некоторых случаев еще один мотив; и, кроме того, выяснили механизм неправильного припоминания. Что же касается до того «предрасположения», о ко-

тором говорится обычно, то оно необходимо и в нашем случае, ибо иначе вытесненный элемент вообще не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым вовлечь его в круг вытесняемого. Быть может, если бы дело шло о каком-либо другом имени, более приспособленном для воспроизведения, это явление не имело бы места. Ибо вполне вероятно, что подавленный элемент постоянно стремится каким-либо иным путем пробиться наружу, но удается это ему лишь там, где имеются соответствующие благоприятные условия. С другой стороны, подавление может произойти и без функционального расстройства или, как мы могли бы с полным правом сказать, без симптомов.

Сводя воедино все те условия, при которых забываются и неправильно воспроизводятся имена, мы получаем: 1) известное предрасположение, благоприятное для забывания; 2) незадолго перед тем происшедшее подавление и 3) возможность установить внешнюю ассоциативную связь между соответствующим именем и подавленным элементом. Впрочем, этому последнему условию вряд ли приходится приписывать особое значение, ибо требования, предъявляемые к ассоциативной связи, столь невелики, что установить ее в большинстве случаев можно. Другой вопрос — и вопрос более глубокий — это: действительно ли достаточно одной внешней ассоциации для того, чтобы вытесненный элемент мог помешать воспроизведению искомого имени, и не требуется ли иной, более интимной связи между обеими темами. При поверхностном наблюдении это последнее требование кажется излишним, и простая смежность во времени, не предполагающая внутренней связи, представляется достаточной. Однако при более внимательном изучении все чаще оказывается, что связанные внешней ассоциацией элементы обладают, кроме того, известной связью и по своему содержанию, и в нашем примере с именем Синьорелли также можно вскрыть подобную связь.

Ценность тех выводов, к которым мы пришли в результате нашего анализа, зависит, конечно, от того, является ли данный пример (Синьорелли) типичным или единичным. Я со своей стороны утверждаю, что процесс забывания и ошибочного воспроизведения имен совершается сплошь да рядом именно так, как в данном случае. Почти каждый раз, как мне случалось наблюдать это явление на себе самом, я имел возможность объяснить его именно указанным образом: как акт, мотивированный вытеснением. Должен указать и еще на одно соображение, подтверждающее типичный характер нашего наблюдения. Я думаю, что нет основания делать принципиальное различие между теми случаями забывания, когда оно связано с ошибочным воспроизведением имен, и простым забыванием, не сопровождающимся замещающими именами. В ряде случаев эти имена-заместители всплывают самопроизвольно; в других случаях их можно вызвать усилением внимания, и тогда они обнаруживают такую же связь с вытесненным элементом и искомым именем, как и при спонтанном появлении. Решающее значение в этом процессе всплывания имеют, по-видимому, два момента: усиление внимания, с одной стороны, а с другой — некоторое внутреннее условие, относящееся уже к свойствам самого психического материала: это, быть может, та степень легкости, с какой создается между обоими элементами необходимая внешняя ассоциация. Таким образом, немалое количество случаев простого забывания без замещающих имен можно отнести к тому же разряду, для которого типичен пример Синьорел-

ли. Я не решусь утверждать, что к этому разряду могут быть отнесены все случаи забывания имен. Но думаю, что буду достаточно осторожен, если, резюмируя свои наблюдения, скажу: наряду с обыкновенным забыванием собственных имен встречаются и случаи забывания, которые мотивируются вытеснением.

II. Забывание иностранных слов

Слова, обычно употребляемые в нашем родном языке, по-видимому, в норме защищены от забывания. Иначе обстоит дело, как известно, со словами иностранными. Предрасположение к забыванию их существует по отношению ко всем частям речи, и первая ступень функционального расстройства сказывается в той неравномерности, с какой мы располагаем запасом иностранных слов в зависимости от нашего общего состояния и от степени усталости. Забывание это происходит в ряде случаев посредством того же механизма, который был раскрыт перед нами в примере «Синьорелли». Чтобы доказать это, я приведу анализ всего только одного, но имеющего примечательные особенности случая, когда забыто было иностранное слово (не существительное) из латинской цитаты. Позволю себе изложить этот небольшой эпизод подробно и наглядно.

Прошлым летом я возобновил — опять-таки во время вакационного путешествия — знакомство с одним молодым человеком, университетски образованным, который, как я вскоре заметил, читал некоторые мои психологические работы. В разговоре мы коснулись — не помню уже почему — социального положения той народности, к которой мы оба принадлежим, и он, как человек честолюбивый, стал жаловаться на то, что его поколение обречено, как он выразился, на захирение, не может развивать своих талантов и удовлетворять свои потребности. Он закончил свою страстную речь известным стихом из Вергилия, в котором несчастная Дидона завещает грядущим поколениям отмщение Энею: «Exoriare»[1] и т. д. Вернее, он хотел так закончить; ибо восстановить цитату ему не удалось, и он попытался замаскировать явный пропуск при помощи перестановки слов: «Exoriar(e) ex nostris ossibus ultor!» В конце концов он с досадой сказал мне: «Пожалуйста, не стройте такого насмешливого лица, словно бы вы наслаждались моим смущением; лучше помогите мне. В стихе чего-то не хватает. Как он, собственно, звучит в полном виде?»

«Охотно», — ответил я и процитировал подлинный текст: «Exoriar(e) aliquis nostris ex ossibus ultor!»

«Как глупо позабыть такое слово! Впрочем, вы ведь утверждаете, что ничто не забывается без основания. В высшей степени интересно было бы знать, каким образом я умудрился забыть это неопределенное местоимение aliquis (некий)».

Я охотно принял вызов, надеясь получить новый вклад в свою коллекцию. «Сейчас мы это узнаем, — сказал я ему, — я должен вас только просить сообщить мне откровенно и не критикуя все, что вам придет в голову, лишь только вы без какого-либо определенного намерения сосредоточите свое внимание на позабытом слове»[2].

---

[1] «Да восстанет из наших костей некий мститель!» — *Примеч. ред. перевода.*

[2] Это обычный путь, чтобы довести до сознания скрытые от него элементы представлений. Ср. мою работу «Толкование сновидений».

«Хорошо. Мне приходит в голову забавная мысль: расчленить слово следующим образом: a и liquis».

«Зачем?» — «Не знаю». — «Что вам приходит дальше на мысль?» — «Дальше идет так: реликвии, ликвидация, жидкость, флюид. Дознались вы уже до чего-нибудь?»

«Нет, далеко еще нет. Но продолжайте».

«Я думаю, — продолжал он с ироническим смехом, — о Симоне Триентском, реликвии которого я видел два года тому назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об обвинении в употреблении христианской крови, выдвигаемом как раз теперь против евреев, и о книге Кляйнпауля (Kleinpaul), который во всех этих якобы жертвах видит новые воплощения, так сказать, новые издания Христа».

«Эта мысль не совсем чужда той теме, о которой мы с вами беседовали, когда вы позабыли латинское слово».

«Верно. Я думал, далее, о статье в итальянском журнале, который я недавно читал. Помнится, она была озаглавлена: "Что говорит св. Августин о женщинах?" Что вы с этим сделаете?»

Я жду.

«Ну, теперь идет нечто такое, что уже наверное не имеет никакого отношения к нашей теме».

«Пожалуйста, воздержитесь от критики и...»

«Знаю. Мне вспоминается чудесный старый господин, с которым я встретился в пути на прошлой неделе. Настоящий оригинал. Имеет вид большой хищной птицы. Его зовут, если хотите знать, Бенедикт».

«Получаем по крайней мере сопоставление святых и отцов церкви — св. Симон, св. Августин, св. Бенедикт. Один из отцов церкви звался, кажется, Ориген. Три имени из перечисленных встречаются и в наше время, равно как и имя Paul (Павел) из Kleinpaul».

«Теперь мне вспоминается святой Януарий и его чудо с кровью, но мне кажется, что это идет дальше уже чисто механически!»

«Оставьте; и святой Януарий, и святой Августин имеют оба отношение к календарю. Не напомните ли вы мне, в чем состояло чудо с кровью св. Януария?»

«Вы, наверное, знаете это. В одной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь св. Януария, которая в определенный праздник чудесным образом становится вновь жидкой. Народ чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит случиться, как это и было раз во время французской оккупации. Тогда командующий генерал — или, может быть, это был Гарибальди? — отвел в сторону священника и, весьма выразительным жестом указывая на выстроенных на улице солдат, сказал, что он надеется, что чудо вскоре свершится. И оно действительно свершилось...»

«Ну, дальше? Почему вы запнулись?»

«Теперь мне действительно пришло нечто в голову... Но это слишком интимно для того, чтобы я мог рассказать... К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности рассказывать об этом».

«О связи уже я позабочусь. Я, конечно, не могу заставить вас рассказывать мне неприятные для вас вещи; но тогда уже и вы не требуйте от меня, чтобы я вам объяснил, каким образом вы забыли слово "aliquis".

«В самом деле? Вы так думаете? Ну так я внезапно подумал об одной даме, от которой я могу получить известие, очень неприятное для нас обоих».

«О том, что у нее не наступило месячное нездоровье?»

«Как вы могли это отгадать?»

«Теперь это уже нерудно, вы меня достаточно подготовили. Подумайте только о календарных святых, о переходе крови в жидкое состояние в определенный день, о возмущении, которое вспыхивает, если событие не происходит, и недвусмысленной угрозе, что чудо должно совершиться, не то... Вы сделали из чуда св. Януария прекрасный намек на нездоровье вашей знакомой».

«Сам того не зная. И вы думаете действительно, что из-за этого тревожного ожидания я был не в состоянии воспроизвести словечко aliquis?»

«Мне представляется это совершенно несомненным. Вспомните только ваше расчленение а — liquis и дальнейшие ассоциации: реликвии, ликвидация, жидкость... Я мог бы еще включить в связь принесенного в жертву ребенком св. Симона, о котором вы подумали в связи со словом "реликвии".

«Нет, уже не надо. Я надеюсь, что вы не примете всерьез этих мыслей, если даже они и появились у меня действительно. Зато я должен вам признаться, что дама, о которой идет речь, итальянка и что в ее обществе я посетил Неаполь. Но разве все это не может быть чистой случайностью?»

«Можно ли это объяснить случайностью — я предоставляю судить вам самому. Должен только вам сказать, что всякий аналогичный случай, подвергнутый анализу, приведет вас к столь же замечательным "случайностям"».

Целый ряд причин заставляет меня высоко ценить этот маленький анализ, за который я должен быть благодарен моему тогдашнему спутнику. Во-первых, я имел возможность в данном случае пользоваться таким источником, к которому обычно не имею доступа. По большей части мне приходится добывать примеры нарушения психических функций в обыденной жизни путем собственного самонаблюдения. Несравненно более богатый материал, доставляемый мне многими нервнобольными пациентами, я стараюсь оставлять в стороне во избежание возражений, что данные феномены происходят в результате и служат проявлениями невроза. Вот почему для моих целей особенно ценны те случаи, когда нервно здоровый чужой человек соглашается быть объектом исследования. Приведенный анализ имеет для меня еще и другое значение: он освещает случай забывания, не сопровождающегося появлением подставных слов, и подтверждает установленный мной выше тезис, что факт появления или отсутствия подставных слов не может обусловливать существенного различия[1].

---

[1] Более тщательное наблюдение несколько суживает различие между случаями Signorelli и aliquis, поскольку дело касается замещающих воспоминаний. По-видимому, и во втором примере забывание сопровождалось некоторым процессом замещения. Когда я впоследствии спросил своего собеседника, не пришло ли ему на мысль, в то время как он силился вспомнить недостающее слово, что-либо другое вместо него, он сообщил мне, что сперва испытывал поползновение вставить в стих слово ab: nostris ab ossibus (быть может, это оставшаяся свободной часть а — liquis), а затем — что ему особенно отчетливо и настойчиво навязывалось слово exoriare. Оставаясь скептиком, он добавил: «Это объясняется, очевидно, тем, что то было первое слово стиха». Когда я попросил его обратить внимание на слова, ассоциирующиеся у него с exoriare, он назвал: экзорцизм. Легко себе представить, что усиление слова exoriare при репродукции и было в сущности равносильно образованию замещающего слова. Оно могло исходить от имени святых через ассоциацию «экзорцизм». Впро-

Но главная ценность примера aliquis заключается в другой особенности, отличающей его от случая Синьорелли. В последнем примере воспроизведение имени было нарушено воздействием некоего хода мыслей, начавшегося и оборванного непосредственно перед тем, но по своему содержанию не стоявшего ни в какой заметной связи с новой темой, заключавшей в себе имя Синьорелли. Между вытесненным элементом и темой забытого имени существовала лишь смежность по времени, и ее было достаточно для того, чтобы оба эти элемента связались один с другим путем внешней ассоциации[1]. Напротив, в примере aliquis нет и следа подобной независимой, вытесненной темы, которая занимала бы непосредственно перед этим сознательное мышление и затем продолжала бы оказывать свое действие в качестве расстраивающего фактора. Расстройство репродукции исходит здесь изнутри, из самой же темы в силу того, что против выраженного в цитате пожелания бессознательно заявляется протест. Процесс этот следует представить себе в следующем виде. Говоривший выразил сожаление по поводу того, что нынешнее поколение его народа ограничено в правах; новое поколение — предсказывает он вслед за Дидоной — отомстит притеснителям. Он высказывает, таким образом, пожелание о потомстве. В этот момент сюда врезывается противоречащая этому мысль: «Действительно ли ты так горячо желаешь себе потомства? Это неправда. В каком затруднительном положении ты бы оказался, если бы получил теперь известие, что ты должен ожидать потомства от известной тебе женщины? Нет, не надо потомства, как ни нужно оно нам для отмщения». Этот протест производит свое действие тем же путем, что и в примере Синьорелли: образуется внешняя ассоциация между одним каким-либо из числа заключающихся в нем представлений и каким-нибудь элементом опротестованного пожелания; притом на сей раз ассоциация устанавливается обходным путем, имеющим вид в высшей степени искусственный. Второй существенный пункт схождения с примером Синьорелли заключается в том, что протест берет свое начало из вытесненных элементов и исходит от мыслей, которые могли бы отвлечь внимание.

На этом мы покончим с различиями и внутренним сходством обоих примеров забывания имен. Мы познакомились с одним механизмом забывания — это нарушение хода мысли силою внутреннего протеста, исходящего от чего-то вытеснен-

---

чем, это тонкости, которым нет надобности придавать значение. Но весьма возможно, что всплывание того или иного замещающего воспоминания служит постоянным, а может быть, только характерным и предательским признаком того, что данное забывание тенденциозно и мотивируется вытеснением. Процесс образования замещающих имен мог бы иметься налицо даже и в тех случаях, когда всплывание неверных имен и не совершается, и сказывался бы тогда в усилении какого-либо элемента, смежного с забытым. Так, в примере Signorelli у меня все то время, что я не мог вспомнить его фамилии, было необычайно ярко зрительное воспоминание о цикле фресок и о помещенном в углу одной из картин портрете художника, — во всяком случае оно было у меня гораздо интенсивнее, чем у меня бывают обычно зрительные воспоминания. В другом случае — также сообщенном в моей статье 1898 года — я безнадежно позабыл название одной улицы в чужом городе, на которую мне предстояло пойти с неприятным визитом; но номер дома запомнился мне с необычайной яркостью, в то время как обыкновенно я запоминаю числа лишь с величайшим трудом.

[1] Я не решился бы с полной уверенностью утверждать об отсутствии всякой внутренней связи между обоими кругами мыслей в примере Синьорелли. При тщательном рассмотрении вытесненных мыслей на тему «смерть и сексуальность» все же наталкиваешься на идею, близко соприкасающуюся с темой фресок в Орвието.

ного. С этим процессом, который представляется нам более удобным для запоминания, мы еще неоднократно встретимся в дальнейшем изложении.

III. Забывание имен и словосочетаний

В связи с тем, что мы сообщили выше о процессе забывания отдельных частей той или иной комбинации иностранных слов, может возникнуть вопрос, нуждается ли забывание словосочетаний на родном языке в существенно ином объяснении. Правда, мы обычно не удивляемся, когда заученная наизусть формула или стихотворение спустя некоторое время воспроизводится неточно, с изменениями и пропусками. Но так как забывание это неравномерно затрагивает заученные в общей связи вещи и опять-таки как бы выламывает из них отдельные куски, то не мешает подвергнуть анализу отдельные случаи подобного рода ошибочного воспроизведения.

Один молодой коллега в разговоре со мной высказал предположение, что забывание стихотворений, написанных на родном языке, быть может, мотивируется так же, как и забывание отдельных элементов иностранного словосочетания, и предложил себя в качестве объекта исследования. Я спросил его, на каком стихотворении он хотел бы произвести опыт, и он выбрал «Коринфскую невесту», стихотворение, которое он очень любит и из которого помнит наизусть по меньшей мере целые строфы. С самого же начала у него обнаружилась странная неуверенность. «Как оно начинается: “Von Korinthos nach Athen gezogen”, — спросил он, — или “Nach Korinthos von Athen gezogen“?»[1] Я тоже на минуту заколебался было, но затем заметил со смехом, что уже самое заглавие стихотворения «Коринфская невеста» не оставляет сомнения в том, куда лежал путь юноши. Воспроизведение первой строфы прошло затем гладко, или по крайней мере мой коллега на минуту запнулся; вслед за тем он продолжал так:

Aber wird er auch willkommen scheinen,
Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt?
Denn er ist noch Heide mit den Seinen
Und sie sind Christen und — getauft.

Мне уже раньше что-то резануло ухо; по окончании последней строки мы оба были согласны, что здесь произошло искажение[2]. И так как нам не удавалось его исправить, то мы отправились в библиотеку, взяли стихотворения Гёте и, к нашему удивлению, нашли, что вторая строка этой строфы имеет совершенно иное

---

[1] «Придя из Коринфа в Афины» или «из Афин в Коринф».

[2] В подлиннике эта строфа звучит так (перевод А. Толстого):

Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?
Он — дитя языческого дома,
А они — недавно крещены.

В пересказе вторая строка претерпела искажение, перевод приблизительно следующий:

Но будет ли он желанным гостем
Теперь, когда каждый день
Приносит что-то новое?

(*Примеч. ред. перевода*)

содержание, которое было выпало из памяти моего коллеги и замещено другим, по-видимому совершенно посторонним. У Гёте стих гласит:

Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft[1].

Слово «erkauft» (в русском переводе — «цены») срифмовано с «getauft» (крещены), и мне показалось странным, что сочетание слов «язычник», «христиане» и «крещены» так мало помогло восстановлению текста.

«Можете вы себе объяснить, — спросил я коллегу, — каким образом в этом, столь хорошо знакомом вам, по-вашему, стихотворении вы так решительно вытравили эту строку? И нет ли у вас каких-либо догадок насчет той связи, из которой возникла заместившая эту строку фраза?»

Оказалось, что он может дать мне объяснение, хотя и сделал он это с явной неохотой: «Строка "Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt" (Теперь, когда каждый день приносит что-то новое) представляется мне знакомой; по всей вероятности, я употребил ее недавно, говоря о моей практике, которая, как вам известно, все улучшается, чем я очень доволен. Но каким образом попала эта фраза сюда? Мне кажется, я могу найти связь. Строка "Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft" (какой... от него потребуют цены) мне была явно неприятна. Она находится в связи со сватовством, в котором я в первый раз потерпел неудачу и которое теперь, ввиду улучшившегося материального положения, я хочу возобновить. Больше я вам не могу сказать, но ясно, что, если я теперь получу утвердительный ответ, мне не может быть приятна мысль о том, что теперь, как и тогда, решающую роль сыграл известный расчет».

Это было для меня достаточно ясно даже и без ближайшего знакомства с обстоятельствами дела. Но я поставил следующий вопрос: «Каким образом вообще случилось, что вы связали ваши частные дела с текстом "Коринфской невесты"? Быть может, в вашем случае тоже имеются различия в вероисповедании, как и в этом стихотворении?»

Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb' und Treu
Wie ein böses Unkraut ausgerauft[2].

Я не угадал; но интересно было видеть, как удачно поставленный вопрос сразу раскрыл глаза моему собеседнику и дал ему возможность сообщить мне в ответ такую вещь, которая до того времени, наверное, не приходила ему в голову. Он бросил на меня взгляд, из которого видно было, что его что-то мучит и что он недоволен, и пробормотал дальнейшее место стихотворения:

Sieh' sie an genau!
Morgen ist sie grau

[1] Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?

(*Примеч. ред. перевода*)

[2] Где за веру спор,
Там, как ветром сор,
И любовь и дружба сметены.

(досл. перевод: «Взгляни на нее! Завтра она будет седой»)[1] — и добавил лаконически: «Она несколько старше меня».

Чтобы не мучить его дольше, я прекратил расспросы. Объяснение казалось мне достаточным. Но удивительно, что попытка вскрыть основу безобидной ошибки памяти должна была затронуть столь отдаленные, интимные и связанные с мучительным аффектом обстоятельства.

Другой пример забывания части известного стихотворения я заимствую у К. Г. Юнга[2] и излагаю его словами автора:

«Один господин хочет продекламировать известное стихотворение: “На севере диком”. На строке “и дремлет качаясь...” он безнадежно запинается; слова “и снегом сыпучим покрыта, как ризой, она” он совершенно позабыл. Это забывание столь известного стиха показалось мне странным, и я попросил его воспроизвести, что приходит ему в голову в связи со “снегом сыпучим покрыта, как ризой” (“mit weißer Decke”). Получился следующий ряд: “При словах о белой ризе я думаю о саване, которым покрывают покойников (пауза) — теперь мне вспоминается мой близкий друг — его брат недавно скоропостижно умер — кажется, от удара — он был тоже полного телосложения — мой друг тоже полного телосложения, и я уже думал, что с ним может то же случиться — он, вероятно, слишком мало двигается — когда я услышал об этой смерти, я вдруг испугался, что и со мной может случиться то же, потому что у нас в семействе и так существует склонность к ожирению, и мой дедушка тоже умер от удара; я считаю себя тоже слишком полным и потому начал на этих днях курс лечения”».

«Этот господин, таким образом, сразу же отождествил себя бессознательно с сосной, окутанной белым саваном», — замечает Юнг.

С тех пор я проделал множество анализов подобных же случаев забывания или неправильной репродукции, и аналогичные результаты исследований склоняют меня к допущению, что обнаруженный в примерах «aliquis» и «Коринфская невеста» механизм распространяет свое действие почти на все случаи забывания. Обыкновенно сообщение таких анализов не особенно удобно, так как они затрагивают — как мы видели выше — весьма интимные и тягостные для данного субъекта вещи, и я ограничусь поэтому приведенными выше примерами. Общим для всех этих случаев, независимо от материала, остается то, что забытое или искаженное слово или словосочетание соединяется ассоциативным путем с из-

---

[1] Впрочем, мой коллега несколько видоизменил это прекрасное место стихотворения и по содержанию, и по смыслу, в котором он употребил его. У Гёте девушка-привидение говорит своему жениху:

Meine Kette hab’ ich Dir gegeben.
Deine Locke nehm’ ich mit mir fort.
Sieh’ sie an genau!
Morgen bist Du grau,
Und nur braun erscheinst Du wieder dort.

В переводе:

Цепь мою тебе передала я,
Но волос твоих беру я прядь.
Ты их видишь цвет?
Завтра будешь сед.
Русым там лишь явишься опять.

[2] *Jung C. G.* Über die Psychologie der Dementia praecox, 1907, S. 64.

вестным бессознательным представлением, от которого и исходит действие, выражающееся в форме забывания.

Я возвращаюсь опять к забыванию имен, которого мы еще не исчерпали ни со стороны его конкретных форм, ни со стороны его мотивов. Так как я имел в свое время случай наблюдать в изобилии на себе самом как раз этот вид ошибок памяти, то примеров у меня имеется достаточно. Легкие мигрени, которыми я поныне страдаю, вызывают у меня еще за несколько часов до своего появления — и этим они предупреждают меня о себе — забывание имен; и в разгар мигрени я, не теряя способности работать, сплошь да рядом забываю все собственные имена. Правда, как раз такого рода случаи могут дать повод к принципиальным возражениям против всех наших попыток в области анализа. Ибо не следует ли из таких наблюдений тот вывод, что причина забывчивости и в особенности забывания собственных имен лежит в нарушении циркуляции и общем функциональном расстройстве головного мозга и что поэтому всякие попытки психологического объяснения этих феноменов излишни? По моему мнению — ни в коем случае. Ибо это значило бы смешивать единообразный для всех случаев механизм процесса с благоприятствующими ему условиями — изменяющимися и не необходимыми. Не вдаваясь в обстоятельный разбор, ограничусь для устранения этого довода одной лишь аналогией.

Допустим, что я был настолько неосторожен, чтобы совершить ночью прогулку по отдаленным пустынным улицам большого города; на меня напали и отняли часы и кошелек. В ближайшем полицейском участке я сообщаю о случившемся в следующих выражениях: я был на такой-то улице, и там одиночество и темнота отняли у меня часы и кошелек. Хотя этими словами я и не выразил ничего такого, что не соответствовало бы истине, все же весьма вероятно, что меня приняли бы за человека, находящегося не в своем уме. Чтобы правильно изложить обстоятельства дела, я должен был бы сказать, что, пользуясь уединенностью места и под покровом темноты, неизвестные люди ограбили меня. Я и полагаю, что при забывании имен положение дела то же самое: благоприятствуемая усталостью, расстройством циркуляции, интоксикацией, неизвестная психическая сила понижает у меня способность располагать имеющимися в моих воспоминаниях собственными именами — та же самая сила, которая в других случаях может совершить этот же отказ памяти и при полном здоровье и работоспособности.

Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи забывания имен, я почти регулярно нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма целесообразной практикой Цюрихской школы (Блейлер, Юнг, Риклен) я могу это выразить в такой форме: ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне «личный комплекс». Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации (двусмысленное слово, созвучие); его можно вообще обозначить как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его природу.

а) Пациент просит меня рекомендовать ему какой-либо курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию не-

мецкого врача, практикующего там, но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам: «Как называется эта местность близ Генуи, там, где лечебница д-ра N, в которой так долго лечилась такая-то дама?» — «Разумеется, как раз ты и должен был забыть это название. Она называется — Нерви». И в самом деле, с нервами мне приходится иметь достаточно дела.

б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание; название он мне скажет сейчас. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что семь летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный противодействием, он, однако, уже вспомнил название: ресторан называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти семь лет я жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал. Почему я позабыл в данном случае и название, и сам факт? Я думаю, потому, что это название слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне опять-таки «профессиональный комплекс».

в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, через которую я так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в расписании поездов. Станция называется Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, жившую близ Рейхенгалля; имя сестры Роза, стало быть, это тоже был «Rosenheim» («жилище Розы»). Название было у меня похищено «семейным комплексом».

г) Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров.

Однажды ко мне на прием пришел молодой человек, младший брат одной моей пациентки; я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я забыл его имя — вполне обыкновенное, это я знал — и не мог никак восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать вывески, и, как только его имя встретилось мне, я с первого же раза узнал его. Анализ показал мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же или же поступил бы как раз наоборот? Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя матери было одно и то же — Амалия. Я понял затем и замещающие имена, которые навязались мне, не выясняя дела: Даниэль и Франц. Эти имена — так же, как и имя Амалия — встречаются в шиллеровских «Разбойниках», с которыми связывается шутка венского фланера Даниэля Шпитцера.

д) В другой раз я не мог припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем удалось получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зре-

ние; это вызвало во мне воспоминание об одном молодом человеке, который ослеп вследствие огнестрельного ранения; с этим соединилось, в свою очередь, представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя, — фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они не были в родстве. Но нашел я искомое имя тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека, принадлежащего к моему семейству.

Непрерывный ток «самоотношения» («Eigenbeziehung») идет, таким образом, через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу о других людях, с собой самим, словно при всяком известии о других приходят в действие мои личные комплексы. Это ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью; в этом заключается скорее общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем других. Я имею основание полагать, что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня.

Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним малознакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он забыл, и на первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции это неизбежно), он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его фамилию, и просил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал о прекрасном знании людей: «Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!» Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий S. Freud. (Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз обратное.)

е) Действие «самоотношения» обнаруживается также в следующем примере, сообщенном Юнгом[1]:

«Y. безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за X. Несмотря на то что Y. издавна знает X. и даже находится с ним в деловых сношениях, он все же постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось, что, когда надо было написать X. письмо, ему приходилось справляться о его фамилии у других».

Впрочем, в этом случае забывание мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах «самоотношения». Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения господина Y. к своему счастливому сопернику; он не хочет о нем знать: «и думать о нем не хочу».

ж) Иначе — и тоньше — мотивируется забывание имени в другом примере, разъясненном самим же действующим лицом.

«На экзамене по философии (которую я сдавал в качестве одного из побочных предметов) экзаменатор задал мне вопрос об учении Эпикура и затем спросил, не знаю ли я, кто был последователем его учения в позднейшее время. Я назвал Пье-

[1] Dementia praecox, S. 52.

ра Гассенди — имя, которое я слышал как раз двумя днями раньше в кафе, где о нем говорили как об ученике Эпикура. На вопрос удивленного экзаменатора, откуда я это знаю, я смело ответил, что давно интересуюсь Гассенди. Результатом этого была высшая отметка в дипломе, но вместе с тем и упорная склонность забывать имя Гассенди. Думаю, что это моя нечистая совесть виной тому, что, несмотря на все усилия, я теперь ни за что не могу удержать это имя в памяти. Я и тогда не должен был его знать».

Чтобы получить правильное представление о той интенсивности, с какой данное лицо отклоняет от себя воспоминание об этом экзаменационном эпизоде, надо знать, как высоко оно ценит докторский диплом и сколь многое он должен ему заменить собой.

Я мог бы еще умножить число примеров забывания имен и пойти значительно дальше в их разборе, если бы мне не пришлось для этого уже здесь изложить едва ли все те общие соображения, которые относятся к дальнейшим темам; а этого я хотел бы избежать. Позволю себе все же в нескольких положениях подвести итоги выводам, вытекающим из сообщенных выше анализов.

Механизм забывания имен (точнее: выпадения, временного забывания) состоит в расстройстве предстоящего воспроизведения имени посторонним и в данный момент несознаваемым рядом мыслей. Между именем, искажаемым таким образом, и искажающим его комплексом существует либо с самого же начала известная связь, либо эта связь устанавливается зачастую путем искусственных на вид комбинаций при помощи поверхностных (внешних) ассоциаций.

Среди искажающих комплексов наибольшую силу обнаруживают комплексы «самоотношения» (личные, семейные, профессиональные).

Имя, которое, имея несколько значений, принадлежит в силу этого к нескольким кругам мыслей (комплексам), нередко, будучи включенным в связь одного ряда мыслей, подвергается нарушению в силу принадлежности к другому, более сильному комплексу.

Среди мотивов подобного нарушения ясно видно намерение избежать того неудовольствия, которое вызывается данным воспоминанием.

В общем можно различить два основных вида забывания имен: когда данное имя само затрагивает что-либо неприятное или же оно связывается с другим, могущим оказать подобное действие; так что нарушение репродукции какого-либо имени может обусловливаться либо самим же этим именем, либо его ассоциациями — близкими и отдаленными.

Из этих общих положений мы можем понять, что в ряду наших ошибочных действий забывание имен происходит чаще всего.

Мы отметим, однако, далеко не все особенности этого феномена. Хочу указать еще, что забывание имен в высокой степени заразительно. В разговоре между двумя людьми иной раз достаточно одному сказать, что он забыл то или иное имя, чтобы его позабыл и второй собеседник. Однако там, где имя забыто под такого рода индуцирующим влиянием, оно легко восстанавливается.

Наблюдаются также и случаи, когда из памяти ускользает целая цепь имен. Чтобы найти забытое имя, хватаешься за другое, находящееся в тесной связи с первым, и нередко это второе имя, к которому обращаешься как к опорной точке,

ускользает тогда в свою очередь. Забывание перескакивает, таким образом, с одного имени на другое, как бы для того, чтобы доказать существование труднопреодолимого препятствия.

IV. О воспоминаниях детства и покрывающих воспоминаниях

В другой статье (опубликованной в Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie за 1899 г.) я имел возможность проследить тенденциозность наших воспоминаний в совершенно неожиданной сфере. Я исходил из того поразительного факта, что в самых ранних воспоминаниях детства обыкновенно сохраняются безразличные и второстепенные вещи, в то время как важные, богатые аффектами впечатления того времени не оставляют (не всегда, конечно, но очень часто!) в памяти взрослых никакого следа. Так как известно, что память производит известный выбор среди тех впечатлений, которыми она располагает, то следовало бы предположить, что этот выбор следует в детском возрасте совершенно иным принципам, нежели в пору интеллектуальной зрелости. Однако тщательное исследование показывает, что такое предположение является излишним. Безразличные воспоминания детства обязаны своим существованием известному процессу смещения, они замещают в репродукции другие, действительно значимые впечатления, воспоминания о которых можно вывести из них путем психического анализа, но которые не могут быть воспроизведены непосредственно из-за сопротивления. Так как они обязаны своим сохранением не своему собственному содержанию, а ассоциативной связи этого содержания с другими — вытесненными, то их можно с полным основанием назвать «покрывающими воспоминаниями».

В указанной статье я только наметил, но отнюдь не исчерпал всего разнообразия отношений и значений этих «покрывающих воспоминаний». В одном подробно проанализированном там примере я показал и подчеркнул обыкновенный характер временных отношений между покрывающим воспоминанием и покрытым содержанием. Дело в том, что содержание покрывающего воспоминания относилось там к самому раннему детству, в то время как те переживания, которые данное воспоминание представляло в памяти и которые остались почти всецело бессознательными, имели место в более позднее время. Я назвал вид смещения возвратным, идущим назад. Быть может, еще чаще наблюдается обратное отношение, когда в памяти закрепляется в качестве покрывающего воспоминания какое-либо безразличное впечатление недавнего времени, причем этим отличием оно обязано лишь своей связи с каким-либо прежним переживанием, не могущим из-за сопротивления быть воспроизведено непосредственно. Так, покрывающие воспоминания я назвал бы предваряющими, забегающими вперед. То существенное, что тревожит память, лежит здесь по времени позади покрывающего воспоминания. Наконец, возможен — и встречается на деле — и третий случай, когда покрывающее воспоминание связано с покрытым им впечатлением не только по своему содержанию, но и в силу смежности во времени, — это будут покрывающие воспоминания одновременные или примыкающие.

Как велика та часть нашего запаса воспоминаний, которая относится к категории воспоминаний покрывающих, и какую роль они играют во всякого рода невротических интеллектуальных процессах — это проблемы, в рассмотрение которых я не вдавался там, не буду вдаваться и здесь. Мне важно только подчеркнуть, что забывание собственных имен с ошибочным припоминанием и образование покрывающих воспоминаний — процессы однородные.

На первый взгляд различия между этими двумя феноменами несравненно больше бросаются в глаза, нежели сходство. Там дело идет о собственных именах, здесь — о цельных впечатлениях, о чем-то пережитом в действительности ли или мысленно; в первом случае — память явно отказывается служить, здесь же — совершает кажущуюся нам странной работу; там — минутное расстройство (ибо забытое нами только что имя могло воспроизводиться нами до того сотни раз правильно и завтра будет воспроизводиться вновь), здесь — длительное, беспрерывное обладание, ибо безразличные воспоминания детства, по-видимому, способны сопутствовать нам на протяжении долгого периода жизни. Загадки, возникающие перед нами в обоих этих случаях, по-видимому, совершенно различны. Там нашу научную любознательность возбуждает забывание, здесь — сохранение в памяти. Более глубокое исследование показывает, однако, что, несмотря на различие психического материала и разницу в длительности обоих явлений, точек соприкосновения все же больше. И здесь, и там дело идет об ошибочном воспоминании; воспроизводится не то, что должно было быть воспроизведено, а нечто новое, заместитель его. В случае забывания имен тоже имеется налицо известное действие памяти в форме замещающих имен. Феномен покрывающих воспоминаний, в свою очередь, тоже основывается на забывании других, существенных впечатлений. В обоих случаях известное интеллектуальное ощущение дает нам знать о вмешательстве некоего препятствия, но только это происходит в иной форме. При забывании имен мы знаем, что замещающие имена неверны; при покрывающих воспоминаниях мы удивляемся тому, что они еще у нас вообще сохранились. И если затем психологический анализ показывает, что в обоих случаях замещающие образования сложились одинаковым образом — путем смещения вдоль какой-либо поверхностной ассоциации, то именно различия в материале, в длительности и в центрировании обоих феноменов заставляют нас в еще большей степени ожидать, что мы нашли нечто существенно важное и имеющее общее значение. Это общее положение гласило бы, что отказ и ошибки репродуцирующей функции указывают нам гораздо чаще, нежели мы предполагаем, на вмешательство пристрастного фактора, на тенденцию, благоприятствующую одному воспоминанию и стремящуюся поставить преграду другому.

Вопрос о воспоминаниях детства представляется мне настолько важным и интересным, что я хотел бы посвятить ему несколько замечаний, которые выведут нас за пределы сказанного выше.

Как далеко в глубь детства простираются наши воспоминания? Мне известно несколько исследований по этому вопросу, в том числе работы Анри[1] и Потвина[2];

---

[1] Enquéte sur les premiers souvenirs de l'enfance // L'année psychologique, III, 1897.

[2] Study of early memories // Psycholog. Review, 1901.

из них мы узнаем о существовании значительных индивидуальных различий; некоторые из подвергавшихся наблюдениям относят свои первые воспоминания к 6-му месяцу жизни, в то время как другие ничего не помнят из своей жизни до конца 6-го и даже 8-го года. С чем же связаны эти различия в воспоминаниях детства и какое значение они имеют? Очевидно, что для решения этого вопроса мало добыть материал путем коллекционирования сведений; необходима его обработка, в которой должно участвовать то лицо, от коего данные сообщения исходят.

На мой взгляд, мы слишком равнодушно относимся к фактам младенческой амнезии — утрате воспоминаний о первых годах нашей жизни и благодаря этому проходим мимо своеобразной загадки. Мы забываем о том, какого высокого уровня интеллектуального развития достигает ребенок уже на четвертом году жизни, на какие сложные эмоции он способен; мы должны были бы поразиться, как мало сохраняется обычно из этих душевных событий в памяти в позднейшие годы; тем более что мы имеем все основания предполагать, что эти забытые переживания детства отнюдь не проскользнули бесследно в развитии данного лица; напротив, они оказали влияние, оставшееся решающим и в последующее время. И вот, несмотря на это несравненное влияние, они забываются! Это свидетельствует о совершенно своеобразных условиях воспоминания (в смысле сознательной репродукции), до сих пор ускользавших от нашего познания. Весьма возможно, что именно забывание детских переживаний и даст нам ключ к пониманию тех амнезий, которые, как показывают новейшие данные, лежат в основе образования всех невротических симптомов.

Среди сохранившихся воспоминаний детства некоторые представляются нам вполне понятными, другие — странными или непонятными. Нетрудно исправить некоторые заблуждения относительно этих обоих видов. Стоит подвергнуть уцелевшие воспоминания какого-либо лица аналитической проверке — и нетрудно установить, что поручиться за их правильность невозможно. Некоторые воспоминания несомненно искажены, неполны либо смещены во времени или в пространстве. Сообщения опрашиваемых лиц о том, например, что их первые воспоминания относятся, скажем, ко второму году жизни, явно недостоверны. Скоро удается найти те мотивы, которые объясняют нам искажение и смещение пережитого и которые вместе с тем доказывают, что причиной этих ошибок является не простая погрешность памяти. Могучие силы позднейшей жизни оказали свое воздействие на способность вспоминать переживания детства, вероятно, те же самые, благодаря которым нам вообще так чуждо понимание этих детских лет.

Процесс воспоминания у взрослых оперирует, как известно, различного рода психическим материалом. Одни вспоминают в форме зрительных образов, их воспоминания носят зрительный характер; другие способны воспроизвести в памяти разве лишь самые скудные очертания пережитого; их называют — по терминологии Шарко — «auditifs» и «moteurs», в противоположность «visuels»[1]. Во сне эти различия исчезают; сны снятся нам всем по преимуществу в форме зрительных образов. Но то же самое происходит по отношению к воспоминаниям детства: они носят наглядный зрительный характер даже у тех людей, чьи позднейшие воспоминания лишены зрительного элемента. Зрительное воспоминание сохраняет,

---

[1] Слуховые, моторные, в противоположность зрительным. — *Примеч. ред. перевода.*

таким образом, тип инфантильного воспоминания. У меня лично единственные зрительные воспоминания — это воспоминания самого раннего детства: прямо-таки отчетливо наглядные сцены, сравнимые лишь с театральным действом. В этих сценах из детских лет, верны ли они или искажены, обычно и сам фигурируешь со своим детским обликом и платьем. Это обстоятельство представляется весьма странным; взрослые люди со зрительной памятью не видят самих себя в воспоминаниях о позднейших событиях[1]. Предположение, что ребенок, переживая что-либо, сосредоточивает внимание на себе, а не направляет его исключительно на внешние впечатления, шло бы вразрез со всем тем, что мы знаем на этот счет. Таким образом, самые различные соображения заставляют нас предполагать, что так называемые ранние детские воспоминания представляют собой не настоящий след давнишних впечатлений, а его позднейшую обработку, подвергшуюся воздействию различных психических сил более позднего времени. «Детские воспоминания» индивидов приобретают — как общее правило — значение «покрывающих воспоминаний» и приобретают при этом замечательную аналогию с детскими воспоминаниями народов, закрепленными в сказаниях и мифах.

Кто подвергал исследованию по методу психоанализа целый ряд лиц, тот накопил в результате этой работы богатый запас примеров «покрывающих воспоминаний» всякого рода. Однако сообщение этих примеров в высшей степени затрудняется указанным выше характером отношений, существующих между воспоминаниями детства и позднейшей жизнью; чтобы уяснить значение того или иного воспоминания детства в качестве воспоминания покрывающего, нужно было бы нередко изобразить всю позднейшую жизнь данного лица. Лишь редко бывает возможно, как в следующем прекрасном примере, выделить из общей связи одно отдельное воспоминание.

Молодой человек 24 лет сохранил следующий образ из 5-го года своей жизни. Он сидит в саду дачного дома на своем стульчике рядом с теткой, старающейся научить его распознавать буквы.

Различие между m и n не дается ему, и он просит тетку объяснить ему, чем отличаются эти две буквы одна от другой. Тетка обращает его внимание на то, что у буквы m целой частью больше, чем у n, — лишняя третья черточка. Не было никакого основания сомневаться в достоверности этого воспоминания, но свое значение оно приобрело лишь впоследствии, когда обнаружилось, что оно способно взять на себя символическое представительство иного рода любознательности мальчика. Ибо подобно тому, как ему тогда хотелось узнать разницу между буквами m и n, так впоследствии он старался узнать разницу между мальчиком и девочкой и, наверно, согласился бы, чтобы его учительницей была именно эта тетка. И действительно, он нашел тогда, что разница несколько аналогична, что у мальчика тоже одной частью больше, чем у девочки, и к тому времени, когда он узнал это, у него и пробудилось воспоминание о соответствующем детском вопросе.

На одном только примере я хотел бы показать, какой смысл может получить благодаря аналогичной обработке детское воспоминание, до того не имевшее, казалось бы, никакого смысла. Когда я на 43-м году жизни начал уделять внимание остаткам воспоминаний моего детства, мне вспомнилась сцена, которая давно уже

[1] Утверждаю это на основании некоторых сведений, собранных мною.

(мне казалось — с самых ранних лет) время от времени приходила мне на ум и которую надо было отнести, на основании вполне достаточных признаков, к исходу третьего года моей жизни. Мне виделось, как я стою, плача и требуя чего-то, перед ящиком, дверцу которого держит открытой мой старший (на 20 лет) сводный брат; затем вдруг вошла в комнату моя мать, красивая, стройная, как бы возвращаясь с улицы. Этими словами я выразил наглядно представленную мне сцену, о которой я больше ничего не мог бы сказать. Собирался ли брат открыть или закрыть ящик (когда я первый раз сформулировал это воспоминание, я употребил слово «шкаф»), почему я при этом плакал, какое отношение имел к этому приход матери — все это было для меня темно; я склонен был объяснить эту сцену тем, что старший брат чем-нибудь дразнил меня и это было прервано приходом матери. Такие недоразумения в сохранившейся в памяти сцене из детства нередки: помнишь ситуацию, но в ней нет надлежащего центра: не знаешь, на какой из ее элементов должен быть сделан психический акцент. Аналитический разбор вскрыл передо мной совершенно неожиданный смысл картины. Я не нашел матери, во мне зашевелилось подозрение, что она заперта в этом ящике или шкафу, и потому потребовал от брата, чтобы он открыл его. Когда он это сделал и я убедился, что матери в ящике нет, я начал кричать; это тот момент, который закреплен в воспоминании и за которым последовало успокоившее мою тревогу или тоску появление матери. Но каким образом пришла ребенку мысль искать мать в ящике? Снившиеся мне в то же время сны смутно напоминали мне о няньке, о которой у меня сохранились еще и другие воспоминания, о том, например, как она неукоснительно требовала, чтобы я отдавал ей мелкие деньги, которые я получал в подарок, — деталь, которая, в свою очередь, может претендовать на роль воспоминания, «покрывающего» нечто позднейшее. Я решил облегчить себе на этот раз задачу истолкования и расспросил мою мать — теперь уже старую женщину — об этой няньке. Я узнал многое, в том числе и то, что она, умная, но нечестная особа, во время родов моей матери украла у нас в доме множество вещей и по настоянию моего брата была предана суду. Это указание разъяснило мне сразу, словно каким-то озарением, смысл рассказанной выше сцены. Внезапное исчезновение няньки не было для меня безразличным; я обратился как раз к этому брату с вопросом о том, где она, вероятно, заметив, что в ее исчезновении он сыграл какую-то роль; он ответил мне уклончиво, игрой слов, как это он любит делать и сейчас: «Ее заперли в ящик». Ответ этот я понял по-детски, буквально, но прекратил расспросы, потому что ничего больше добиться не мог. Когда немного времени спустя я хватился матери и ее не было, я заподозрил брата в том, что он сделал с ней то же, что и с нянькой, и заставил его открыть мне ящик. Я понимаю теперь, почему в передаче этого зрительного воспоминания детства подчеркнута худоба матери; мне должен был броситься в глаза ее вид только что выздоровевшего человека. Я $2\frac{1}{2}$ годами старше родившейся тогда сестры, а когда я достиг трехлетнего возраста, прекратилась наша совместная жизнь со сводным братом.

V. Обмолвки

Если обычный материал нашей разговорной речи на родном языке представляется огражденным от забывания, то тем более подвержен он другому расстройству,

известному под названием «обмолвок». Явление это, наблюдаемое у здорового человека, производит впечатление переходной ступени к так называемой парафазии, наступающей уже при патологических условиях.

В данном случае я имею возможность в виде исключения пользоваться (и воздать должное) предшествующей работой: в 1895 году Мерингер и К. Майер опубликовали работу под заглавием «Обмолвки и очитки»; точка зрения, с которой они разбирают вопрос, выходит за пределы моего рассмотрения. Ибо один из авторов, от имени которого и ведется изложение, — языковед и взялся за исследование с лингвистической точки зрения, желая найти правила, по которым совершаются обмолвки. Он надеялся, что на основании этих правил можно будет заключить о существовании «известного духовного механизма», «в котором звуки одного слова, одного предложения и даже отдельные слова связаны и сплетены между собой совершенно особенным образом» (S. 10).

Автор группирует собранные им примеры «обмолвок» сперва с точки зрения чисто описательной, разделяя их на: случаи перемещения (например: Milo von Venus вместо Venus von Milo [Милос из Венеры вместо Венера из Милоса]); предвосхищения или антиципации (например: es war mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer [Мне было на сердце (досл.: на груди) так тяжело, но вместо Brust — грудь вначале было сказано Schwest...]); отзвуки или постпозиции (например: Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen вместо anzustoßen [«Я предлагаю вам отрыгнуть (вместо: чокнуться, т. е. выпить) за здоровье нашего шефа»]); контаминации (Er setzt sich auf den Hinterkopf, составленное из Er setzt sich einen Kopf auf и Er stellt sich auf die Hinterbeine [«Он садится на затылок» (букв: на «заднюю голову»), составлено из: «он стоит на своем» (упорствует) и «стал на дыбы» (в перен. смысле также «упорствует»)]); замещения (Ich gebe die Präparate in den Briefkasten вместо Brütkasten [«Я ставлю препараты в почтовый ящик» вместо «в термостат»]); к этим главным категориям надо добавить еще некоторые, менее существенные или менее важные для наших целей. Для этой группировки безразлично, подвергаются ли перестановке, искажению, слиянию и т. п. отдельные звуки слова, слоги или целые слова задуманной фразы.

Наблюдавшиеся им обмолвки Мерингер объясняет различием психической интенсивности произносимых звуков. Когда имеет место иннервация первого звука слова, первого слова фразы, тогда процесс возбуждения уже обращается к следующим звукам и следующим словам, и поскольку эти иннервации совпадают во времени, они могут взаимно влиять и видоизменять одна другую. Возбуждение психически более интенсивного звука предваряет прочие или, напротив, отзывается впоследствии и расстраивает таким образом более слабый иннервационный процесс. Вопрос сводится лишь к тому, чтобы установить, какие именно звуки являются в том или ином слове наиболее интенсивными. Мерингер говорит по этому поводу: «Для того чтобы установить, какой из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные переживания при отыскании какого-либо забытого слова, скажем, имени. То, что воскресает в памяти прежде всего, обладало во всяком случае наибольшей интенсивностью до забывания» (S. 160). «Высокой интенсивностью отличаются, таким образом, начальный звук корневого слога и начальный звук слова и, наконец, та или те гласные, на которые падает ударение» (S. 162).

Я не могу здесь воздержаться от одного возражения. Принадлежит ли начальный звук имени к наиболее интенсивным элементам слова или нет, во всяком случае неверно, что в случаях забывания слов он восстанавливается в сознании первым; указанное выше правило, таким образом, неприменимо. Когда наблюдаешь себя в поисках забытого имени, довольно часто возникает уверенность, что это имя начинается с такой-то буквы. Уверенность эта оказывается ошибочной столь же часто, как и имеющей основания. Я решился бы даже утверждать, что в большинстве случаев буква указывается неправильно. В нашем примере с Синьорелли начальный звук и существенные слоги исчезли в замещающих именах; и в имени Боттичелли воскресли в сознании как менее существенные слоги «elli». Как мало считаются замещающие имена с начальным звуком исчезнувшего имени, может показать хотя бы следующий пример. Как-то раз я тщетно старался вспомнить название той маленькой страны, столица которой Монте-Карло. Подставные имена гласили: Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико.

Албания была скоро заменена Черногорией (Montenegro), и тогда мне бросилось в глаза, что слог монт (произносится мон) имеется во всех замещающих именах, кроме одного лишь последнего. Это облегчило мне задачу, отправляясь от имени князя Альберта, найти забытое Монако. Колико приблизительно воспроизводит последовательность слогов и ритм забытого слова.

Если допустить, что психический механизм, подобный тому, какой мы показали в случаях забывания имен, играет роль и в случаях обмолвок, то мы будем на пути к более глубокому пониманию этого последнего явления. Расстройство речи, обнаруживающееся в форме обмолвки, может быть вызвано, во-первых, влиянием другой составной части той же речи — предвосхищением того, что следует впереди, или отзвуков сказанного, — или другой формулировкой в пределах той же фразы или той же мысли, которую собираешься высказать (сюда относятся все заимствованные у Мерингера и Майера примеры); но расстройство может произойти и путем, аналогичным тому процессу, какой наблюдается в примере Синьорелли: в силу влияний, посторонних данному слову, предложению, данной связи, влияний, идущих от элементов, которые высказывать не предполагалось и о возбуждении которых узнаешь только по вызванному ими расстройству. Одновременность возбуждения — вот то общее, что объединяет оба вида обмолвок, нахождение внутри или вне данного предложения или данной связи составляет пункт расхождения. На первый взгляд различие представляется не столь большим, каким оно оказывается затем с точки зрения некоторых выводов из симптоматики данного явления. Но совершенно ясно, что лишь в первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок можно было сделать выводы о существовании механизма, связывающего отдельные звуки и слова так, что они взаимно влияют на способ их артикуляции, т. е. выводы, на которые рассчитывал при изучении обмолвок лингвист. В случае нарушений, вызванных влияниями, стоящими вне данной фразы или связи речи, необходимо было бы прежде всего найти нарушающие элементы, а затем встал бы вопрос, не может ли механизм этого нарушения также обнаружить предполагаемые законы речеобразования.

Нельзя сказать, чтобы Мерингер и Майер не заметили возможности расстройства речи благодаря «сложным психическим влияниям» элементами, находящи-

мися вне данного слова, предложения или их связи в речи. Они не могли не заметить, что теория психической неравноценности звуков, строго говоря, может удовлетворительно объяснить лишь как случаи нарушения в произношении отдельных звуков, так и предвосхищения и отзвуки. Там, где расстройство не ограничивается отдельными звуками, а простирается на целые слова, как это бывает при замещениях и контаминациях слов, там и они, не колеблясь, искали причину обмолвок вне задуманной связи речи и подтвердили это прекрасными примерами. Приведу следующие места.

«Р. рассказывает о вещах, которые он в глубине души считает свинством (Schweinerei). Он старается, однако, найти мягкую форму выражения и начинает: "Dann aber sind Tatsachen zum Vorschwein gekommen"[1]. Мы с Майером были при этом, и Р. подтвердил, что он думал о "Schweinereien" (свинствах). То обстоятельство, что слово, о котором он подумал, выдало себя и вдруг прорвалось при произнесении Vorschein, достаточно объясняется сходством обоих слов» (S. 62).

«При замещениях, так же как и при контаминациях, но только, вероятно, в гораздо большей степени играют важную роль летучие или блуждающие речевые обороты. Если они и находятся за порогом сознания, то все же в действенной близости к нему, могут с легкостью вызываться каким-либо сходством с комплексом, подлежащим высказыванию, и тогда порождают "схождение с рельсов" или врезываются в связь речи. Летучие или блуждающие речевые обороты часто являются, как уже сказано, запоздалыми спутниками недавно протекших словесных процессов (отзвуки)» (S. 73).

"Схождение с рельсов" возможно также и благодаря сходству: когда другое, схожее слово лежит вблизи порога сознания, но не предназначено для произнесения. Это бывает при замещениях. Я надеюсь, что при проверке мои правила должны будут подтвердиться. Но для этого необходимо (если наблюдение производится над другим человеком) *уяснить себе все, что только ни передумал говорящий*[2]. Приведу поучительный пример. Директор училища Л. сказал в нашем обществе: "Die Frau würde mir Furcht einlagen"[3]. Я удивился, так как l показалось мне здесь непонятным. Я позволил себе обратить внимание говорившего на его ошибку: "einlagen" вместо "einjagen", на что он тотчас же ответил: "Да, это произошло потому, что я думал: Ich wäre nicht in der Lage"» и т. д.[4] (S. 97).

«Другой случай. Я спрашиваю Р. ф. Ш., в каком положении его больная лошадь. Он отвечает: "Ja, das draut... dauert vielleicht noch einen Monat"[5]. Откуда взялось "draut" с его r, для меня было непонятно, ибо звук r из "dauert" не мог оказать такого действия. Я обратил на это внимание Р. ф. Ш., и он объяснил, что думал при этом: "Es ist eine traurige Geschichte"[6]. Говоривший имел, таким образом, в виду два ответа, и они смешались воедино».

---

[1] Непереводимая игра слов: вместо zum Vorschein gekommen, что значит «обнаружились («и тогда обнаружились факты»), слог schein заменен словом schwein — свинья. — *Примеч. пер.*

[2] Курсив мой.

[3] Вместо «Die Frau würde mir Furcht einjagen» («эта женщина внушила бы мне страх»). — *Примеч. пер.*

[4] «Я не был бы в состоянии».

[5] «Да, это продлится, быть может, еще месяц».

[6] «Это печальная история».

Нельзя не заметить, как близко подходят к условиям наших «анализов» и то обстоятельство, что принимаются в расчет блуждающие речевые обороты, лежащие за порогом сознания и не предназначенные для произношения, и предписание осведомляться обо всем том, что думал говорящий. Мы тоже отыскиваем бессознательный материал и делаем это тем же путем, с той лишь разницей, что путь, которым мы идем от того, что приходит в голову спрашивающего, к отысканию расстраивающего элемента, — более длинный и ведет через комплексный ряд ассоциаций.

Остановлюсь еще на другом интересном обстоятельстве, о котором свидетельствуют примеры, приведенные у Мерингера. По мнению самого автора, сходство какого-либо слова в задуманном предложении с другим, не предполагавшимся к произнесению, дает этому последнему возможность путем искажения, смещения, компромиссного образования (контаминации) дойти до сознания данного субъекта:

lagen	dauert	Vorschein
jagen	traurig	schwein

В моей книге «Толкование сновидений»[1] я показал, какую роль играет процесс сгущения в образовании так называемого явного содержания сновидения из скрытых (latent) его мыслей. Какое-либо сходство (вещественное или словесное) между двумя элементами бессознательного материала служит поводом для создания третьего — смешанного или компромиссного представления, которое в содержании сновидения представляет оба слагаемых и которое в силу этого своего происхождения и отличается так часто противоречивостью отдельных своих черт.

Образование замещений и контаминации при обмолвках и есть, таким образом, начало той работы сгущения, результаты которой мы обнаруживаем при построении сновидения.

В небольшой статье, предназначенной для широкого круга читателей («Neue Freie Presse» 23 авг. 1900 г.), Мерингер отмечает особое практическое значение некоторых случаев обмолвок — тех именно, когда какое-либо слово заменяется противоположным ему по смыслу. «Вероятно, все помнят еще, как некоторое время тому назад председатель австрийской палаты депутатов открыл заседание словами: “Уважаемое собрание! Я констатирую присутствие стольких-то депутатов и объявляю заседание закрытым!” Общий смех обратил его внимание на ошибку, и он исправил ее. В данном случае это можно скорее всего объяснить тем, что председателю хотелось бы иметь возможность действительно закрыть заседание, от которого можно было ожидать мало хорошего; эта сторонняя мысль — что бывает часто — прорвалась хотя бы частично, и в результате получилось “закрытый” вместо “открытый” — прямая противоположность тому, что предполагалось сказать. Впрочем, многочисленные наблюдения показали мне, что противоположные слова вообще очень часто подставляются одно вместо другого; они вообще тесно сплетены друг с другом в нашем сознании, лежат в непосредственном соседстве одно с другим и легко произносятся по ошибке».

Не во всех случаях обмолвок по контрасту так легко показать, как в примере с председателем, вероятность того, что обмолвка произошла вследствие своего рода

---

[1] Die Traumdeutung, Leipzig und Wien, 1900.

протеста, который заявляется в глубине души против высказывавшего предложения. Аналогичный механизм мы нашли, анализируя пример aliquis: там внутреннее противодействие выразилось в забывании слова вместо замещения его противоположным. Для устранения этого различия заметим, однако, что словечко aliquis не обладает таким антиподом, каким являются по отношению друг к другу слова «закрывать» и «открывать», и далее, что слово «открывать», как весьма общеупотребительное, не может быть позабыто.

Если последние примеры Мерингера и Майера показывают нам, что расстройство речи может происходить как под влиянием звуков и слов той же фразы, предназначаемых для произнесения, так и под воздействием слов, которые находятся за пределами задуманной фразы и иным способом не обнаружили бы себя, то перед нами возникает прежде всего вопрос, возможно ли резко разграничить оба эти вида обмолвок и как отличить случаи одной категории от другой. Здесь уместно вспомнить о словах Вундта, который в своей только что вышедшей в свет работе о законах развития языка (Völkerpsychologie, T. I, Teil I, S. 371 и ff., 1900 г.) рассматривает также и феномен обмолвок. Что, по мнению Вундта, никогда не отсутствует в этих явлениях и других, им родственных, — это известные психические влияния. «Сюда относится, прежде всего, как положительное условие, ничем не стесняемое течение звуковых и словесных ассоциаций, вызванных произнесенными звуками. В качестве отрицательного фактора к нему присоединяется выпадение или ослабление воздействий воли, стесняющих это течение, и внимания, также выступающего здесь в качестве волевой функции. Проявляется ли эта игра ассоциаций в том, что предвосхищается предстоящий еще звук, или же репродуцируется произнесенный, или между другими какой-либо посторонний, но привычный, или в том, наконец, что на произносимые звуки оказывают свое действие совершенно иные слова, находящиеся с ними в ассоциативной связи, — все это означает лишь различия в направлении и, конечно, различия в том, какой свободой пользуются возникающие ассоциации, но не в их общей природе. И во многих случаях трудно решить, к какой форме причислить данное расстройство и не следует ли с большим основанием, следуя *принципу сочетания причин*[1], отнести его за счет совпадения нескольких мотивов».

Я считаю замечания Вундта вполне основательными и чрезвычайно поучительными. Быть может, можно было бы с большей решительностью, чем это делает Вундт, подчеркнуть, что оказывающий позитивное влияние фактор в словесных ошибках — беспрепятственное течение ассоциаций и негативный фактор — ослабление сдерживающего его внимания действуют всегда совместно, так что оба фактора оказываются лишь различными сторонами одного и того же процесса. С ослаблением сдерживающего внимания и приходит в действие беспрепятственное течение ассоциаций — или, выражаясь еще категоричнее: благодаря этому ослаблению.

Среди примеров обмолвок, собранных мною, я почти не нахожу таких, где расстройство речи сводилось бы исключительно к тому, что Вундт называет «действием контакта звуков». Почти в каждом случае я нахожу еще и расстраивающее влияние чего-либо, находящегося вне пределов предполагаемой речи; и это «что-то» есть либо отдельная, оставшаяся бессознательной мысль, дающая о себе знать

---

[1] Курсив мой.

посредством обмолвки и нередко лишь при помощи тщательного анализа могущая быть доведенной до сознания, или же это более общий психический мотив, направленный против всей речи в целом.

Пример: а) Я хочу процитировать моей дочери, которая, кусая яблоко, состроила гримасу:

Der Affe gar possierlich ist,
Zumal wenn er vom Apfel frißt[1].

Но начинаю: «Der Apfe...» По-видимому, это можно рассматривать как контаминацию, компромисс между словами Affe (обезьяна) и Apfel (яблоко), или же как антиципацию последующего Apfel. В действительности же положение дела таково. Я уже однажды приводил эту цитату и при этом не обмолвился. Обмолвка произошла лишь при повторении цитаты; повторить же пришлось потому, что дочь моя, занятая другим, не слушала. Это-то повторение и связанное с ним нетерпение, желание отделаться от этой фразы и надо также засчитать в число мотивов моей обмолвки, выступающей в форме процесса сгущения.

б) Моя дочь говорит: «Ich schreibe der Frau Schresinger» («Я пишу г-же Шрезингер»). Фамилия этой дамы на самом деле Шлезингер. Эта ошибка, конечно, находится в связи с тенденцией к облегчению артикуляции, так как после нескольких звуков «р» трудно произнести «л». Однако я должен прибавить, что эта обмолвка случилась у моей дочери через несколько минут после того, как я сказал Apfe вместо Affe. Обмолвки же в высокой степени заразительны, так же как и забывание имен, по отношению к которому эта особенность отмечена у Мерингера и Майера. Причину этой психической заразительности я затрудняюсь указать.

в) Пациентка говорит мне в самом начале визита: «Ich klappe zusammen, wie ein Tassenmescher — Taschenmesser»[2]. Звуки перепутаны, и это может быть опять-таки оправдано трудностью артикуляции[3]. Но когда ей была указана ошибка, она не задумываясь ответила: «Это потому, что вы сегодня сказали Ernscht» вместо Ernst — «серьезно»). Я действительно встретил ее фразой, в которой в шутку исказил это слово. Во все время приема она постоянно делает обмолвки, и я замечаю, конечно, что она не только имитирует меня, но имеет еще и особое основание в своем бессознательном останавливаться на имени «Эрнст»[4].

г) Та же пациентка в другой раз совершает такую обмолвку: «Ich bin so verschnupft, ich kann nicht durch die Ase natmen»[5]. Она тотчас же отдает себе отчет в том, откуда эта ошибка. «Я каждый день сажусь в трамвай в Hasenauergasse, и сегодня утром, когда я ждала трамвая, мне пришло в голову, что если бы я была

[1] Обезьяна очень смешна.
Особенно когда она ест яблоко.

[2] «Я складываюсь, как перочинный ножик».

[3] Ср. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и аналогичные скороговорки.

[4] Она находилась, как это выяснилось, под влиянием бессознательной мысли о беременности и предупреждении родов. Словами о перочинном ноже, которыми она сознательно выразила жалобу, она хотела описать положение ребенка в утробе матери. Слово ernst в моем обращении напомнило ей фамилию (S. Ernst) главы известной венской фирмы, анонсирующей продажу предохранительных средств против беременности.

[5] Вместо Nase atmen — «У меня такой насморк, что я не могу дышать носом».

француженкой, я выговаривала бы название улицы Asenauer, потому что французы пропускают звук h в начале слова». Далее она сообщает целый ряд воспоминаний о французах, с которыми она была знакома, и в результате длинного обходного пути приходит к воспоминанию о том, что 14-летней девочкой она играла в пьеске «Kurmärker und Picarde» роль Пикарды и говорила тогда на ломаном немецком языке. В тот дом, где она жила, приехал теперь гость из Парижа — случайность, которая и вызвала весь этот ряд воспоминаний. Перестановка звуков была, таким образом, вызвана вмешательством бессознательной мысли, совершенно не связанной с тем, о чем шла речь.

д) Аналогичен механизм обмолвки у другой пациентки, которой вдруг изменяет память в то время, как она рассказывает о давно забытом воспоминании детства. Она не может припомнить, за какое место схватила ее нескромно и похотливо чья-то рука. Непосредственно вслед за этим она приходит в гости к своей подруге и разговаривает с ней о дачах. Ее спрашивают, где находится ее домик в М., и она отвечает: «An der Berglende» вместо Berglehne[1].

е) Другая пациентка, которую я спрашиваю по окончании приема, как здоровье ее дяди, отвечает: «Не знаю, я вижу его теперь только in flagranti»[2]. На следующий день она начинает: «Мне было очень стыдно, что я вам так глупо ответила. Вы, конечно, должны были счесть меня совершенно необразованным человеком, постоянно путающим иностранные слова. Я хотела сказать “en passant”[3]. Тогда мы еще не знали, откуда она взяла неправильно употребленное иностранное слово. Но в тот же день она сообщила, продолжая разговор о вчерашнем воспоминании, в котором главную роль играла поимка с поличным — in flagranti. Ошибка прошлого дня, таким образом, предвосхитила бессознательное в то время воспоминание.

ж) Относительно другой пациентки мне пришлось в ходе анализа высказать предположение, что в то время, о котором у нас шел разговор, она стыдилась своей семьи и сделала своему отцу упрек, нам еще неизвестный. Она ничего такого не помнит и считает это вообще неправдоподобным. Разговор о ее семье, однако, продолжается, и она делает такое замечание: «Одно нужно за ними признать: это все-таки необычные люди: sie haben alle Geiz...[4] Я хотела сказать: Geist»[5]. И таков был действительно тот упрек, который она вытеснила из своей памяти. Что при обмолвке прорывается как раз та идея, которую хотелось бы подавить, — явление общее (ср. случай Мерингера: Vorschwein). Разница лишь в том, что у Мерингера говоривший субъект хотел подавить нечто известное ему, в то время как моя пациентка не сознает подавляемого или, выражаясь иначе, не знает, что она нечто подавляет и что именно она подавляет.

з) «Если вы хотите купить ковры, идите к Кауфману в Матеусгассе. Я думаю, что смогу вас там отрекомендовать», — говорит мне одна дама. Я повторяю: «Стало быть, у Матеуса... Я хотел сказать — у Кауфмана». На первый взгляд это простая рассеянность: я поставил одно имя на место другого. Под влиянием того, что

---

[1] Lende — бедро; Berglehne — склон горы.

[2] На месте преступления, с поличным.

[3] Мимоходом, мельком.

[4] У них у всех скупость.

[5] Дух, ум.

мне говорила дама, я действительно проявил некоторую рассеянность, так как она направила мое внимание на нечто другое, что было для меня несравненно важнее, чем ковры. В Матеусгассе находится дом, в котором жила моя жена, когда она еще была моей невестой. Вход в дом был с другой улицы, и теперь я заметил, что название этой последней я забыл; восстановить его приходится окольным путем. Имя Матеуса, на котором я остановился, послужило мне заместителем позабытого названия улицы. Оно более пригодно для этого, чем имя Кауфмана, так как употребляется только для обозначения лица — в противоположность слову Кауфман (Kaufmann — купец); забытая же улица названа также по имени лица — Радецкого.

и) Следующий случай я мог бы отнести к рубрике «ошибок-заблуждений» (Irrtümer), о которых будет речь ниже; привожу его, однако, здесь потому, что звуковые соотношения, на основе которых произошло замещение слов, выступают в нем с особенной наглядностью. Пациентка рассказывает мне свой сон. Ребенок решился покончить с собой посредством укуса змеи; он приводит это в исполнение, она видит, как он бьется в судорогах, и т. д. Предлагаю ей найти повод для этого сна в том, что она пережила накануне. Она тотчас же вспоминает, что вчера вечером слушала популярную лекцию об оказании первой помощи при змеином укусе. Если укушены одновременно ребенок и взрослый, то прежде всего надо оказать помощь ребенку. Она вспоминает также, какие указания дал лектор о мерах, которые надо принять. Многое зависит от того, сказал он, какой породы укусившая змея. Я перебиваю ее и спрашиваю: не говорил ли он о том, что в наших краях очень мало ядовитых пород и каких именно следует опасаться? «Да, он назвал гремучую змею (Klapperschlange)». Я улыбаюсь, и она замечает, что сказала что-то не так. Однако она исправляет не название, а берет все свое заявление обратно: «Да такой ведь у нас нет; он говорил о гадюке. Каким образом пришла мне на ум гремучая змея?» Я подозревал, что это произошло вследствие примешавшихся сюда мыслей, скрытых за ее сном. Самоубийство посредством змеиного укуса может вряд ли иметь другой смысл, как указание на Клеопатру. Значительное звуковое сходство обоих слов (Kleopatra и Klapperschlange), совпадение букв kl ... p ... r, следующих в одном и том же порядке, и повторение той же буквы а с падающим на нее ударением было совершенно очевидно. Связь между именами Klapperschlange и Kleopatra на минуту снижает способность суждения моей пациентки, и благодаря этому утверждение, будто лектор поучал венскую публику о том, какие меры принимать при укусе гремучей змеи, не показалось ей странным. Вообще же она знает столь же хорошо, как и я, что гремучие змеи у нас не водятся. Если она и перенесла, не задумываясь, гремучую змею в Египет, то это вполне простительно, ибо мы привыкли сваливать все внеевропейское, экзотическое в одну кучу, и я сам тоже должен был на минуту призадуматься, прежде чем установить, что гремучая змея встречается только в Новом Свете.

Дальнейшие подтверждения мы встречаем при продолжении анализа. Моя пациентка всего лишь накануне осмотрела выставленную недалеко от ее квартиры скульптуру Штрассера «Антоний». Это был второй повод для ее сновидения (первый — лекция о змеиных укусах). Далее во сне она укачивала на руках ребенка, и по поводу этой сцены ей вспомнилась Маргарита из «Фауста». Далее у нее возникли воспоминания об «Арриасе и Мессалине». Это обилие имен из драма-

тических произведений заставляет предполагать, что пациентка в прежние годы тайно мечтала об артистической карьере. И начало сновидения, будто ребенок решил покончить с собой посредством укуса змеи, поистине должно означать: ребенком она собиралась стать знаменитой актрисой. Наконец, от имени Мессалины ответвляется ход мыслей, ведущий к основному содержанию сновидения. Некоторые происшествия последнего времени породили в ней беспокойство, что ее единственный брат вступит в неподходящий для него брак с неарийкой, т. е. допустит mesalliance (мезальянс).

к) Хочу привести здесь совершенно невинный — или, быть может, недостаточно выясненный в своих мотивах — пример, обнаруживающий весьма прозрачный механизм.

Путешествующий по Италии немец нуждается в ремне, чтобы обвязать сломавшийся чемодан. Из словаря он узнает, что ремень по-итальянски corregia. «Это слово нетрудно запомнить, — думает он, — стоит мне подумать о художнике Корреджио». Он идет в лавку и просит una ribera.

По-видимому, ему не удалось заместить в своей памяти немецкое слово итальянским, но все же старания его не были совершенно безуспешны. Он знал, что надо иметь в виду имя художника, но вспомнилось ему не то имя, с которым связано искомое итальянское слово, а то, которое приближается к немецкому слову Riemen (ремень). Этот пример может быть, конечно, отнесен в той же мере к категории забывания имен, как и к обмолвкам,

Собирая материал об обмолвках для первого издания этой книги, я придерживался правила подвергать анализу все случаи, какие только приходилось наблюдать, даже и менее выразительные. С тех пор занимательную работу собирания и анализа обмолвок взяли на себя другие, и я могу теперь черпать из более богатого материала.

л) Молодой человек говорит своей сестре: «С семейством Д. я окончательно рассорился; я уже не раскланиваюсь с ними». Она отвечает: «Überhaupt eine saubere Lippschaff» — вместо Sippschaft (вообще «чистенькая семейка»); в ошибке этой выражены две вещи: во-первых, брат ее когда-то начал флирт с одной девицей из этой семьи, во-вторых, про эту девицу рассказывали, что в последнее время она завела серьезную и непозволительную любовную связь (Liebschaft).

м) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги д-ра В. Штекеля из статьи в «Berliner Tageblatt» от 4 января 1904 года под заглавием «Unbewußte Geständnisse» («Бессознательные признания»).

«Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руководствуюсь соображениями заработка и — что разумеется само собой — имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользую больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей прелести предстоящего пребывания в Аббации и прибавляю: “Если вы, на что я надеюсь, не скоро встанете с постели”. Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив — желание дольше лечить эту богатую больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и которое я отверг бы с негодованием».

н) Другой пример (д-р В. Штекель). «Моя жена нанимает на послеобеденное время француженку и, столковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее рекомендации. Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это так: “Je cherche encore pour les après-midi, pardon, les avants-midi”[1]. Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет ли она место на лучших условиях, — намерение, которое она действительно выполнила».

о) (Д-р Штекель). «Я читаю одной даме вслух книгу Левит, и муж ее, по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела заметное впечатление, я говорю: “До свидания, месье”. Посвященный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были обращены к мужу и что говорил я ради него».

п) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. “Здравствуйте, г-н Пелони”, — говорил он, обращаясь к Асколи, и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился, однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь он приехал к нему из Триеста за медицинской помощью.

р) Сам д-р Штекель говорит в бурном собрании: «Wir streiten (schreiten) nun zu Punkt 4 der Tagesordnung» («Мы спорим (вместо «переходим») к 4-му пункту повестки дня»).

с) Некий профессор говорит на вступительной лекции: «Ich bin nicht geneigt (geeignet), die Verdienste meines sehr geschätzen Vorgängers zu schildern» («Я не склонен (вместо «не считаю себя способным») говорить о заслугах моего уважаемого предшественника»).

т) Д-р Штекель говорит даме, у которой предполагает базедову болезнь: «Sie sind um einen Kropf (Kopf) größer als ihre Schwester» («Вы зобом (вместо «головой») выше вашей сестры»). При психотерапевтических приемах, которыми я пользуюсь для разрешения и устранения невротических симптомов, очень часто встает задача: проследить в случайных на первый взгляд речах и словах пациента тот круг мыслей, который стремится скрыть себя, но все же нечаянно, самыми различными путями выдает себя. При этом обмолвки служат зачастую весьма ценную службу, как я мог бы показать на самых убедительных и вместе с тем причудливых примерах. Пациентка говорит, например, о своей тетке и неуклонно называет ее, не замечая своей обмолвки, «моя мать» или своего мужа «мой брат». Этим она обращает мое внимание на то, что она отождествила этих лиц, поместила их в один ряд, означающий для ее эмоциональной жизни повторение того же типа. Или: молодой человек 20 лет представляется мне на приеме следующим образом: «я отец NN, которого вы лечили — простите, я хотел сказать: брат; он на четыре года старше меня». Я понимаю, что этой своей обмолвкой он хочет сказать, что он, так же как и его брат, заболел по вине отца, как и брат, нуждается в лечении, но что нужнее всего лечение — отцу. Иной раз достаточно непривычно звучащего словосочетания, некоторой натянутости выражения, чтобы обнаружить участие вытесненной мысли в иначе мотивированной речи пациента.

[1] «Я ищу еще место на послеобеденное, пардон, на дообеденное время».

Как в грубых, так и в более тонких погрешностях речи, которые еще можно отнести к ряду обмолвок, фактором, обусловливающим возникновение ошибки и достаточно объясняющим ее, я считаю не взаимодействие приходящих в контакт звуков, а влияние мыслей, лежащих за пределами речевого намерения. Сами по себе законы, в силу которых звуки видоизменяют друг друга, не подвергаются мной сомнению; мне только кажется, что их действия недостаточно для того, чтобы нарушить правильное течение речи. В тех случаях, которые я тщательно изучил и понял, они представляют собой лишь готовый механизм, которым с удобством пользуется более отдаленный психический мотив, не ограничивая себя, однако, пределами его влияния. В целом ряде замещений эти звуковые законы не играют при обмолвках никакой роли. В этом мои взгляды вполне совпадают с мнением Вундта, который также предполагает, что условия, определяющие обмолвки, сложны и выходят далеко за пределы простого взаимодействия звуков.

Считая прочно установленными эти, по выражению Вундта, «отдаленные психические влияния», я, с другой стороны, не вижу основания отрицать, что при ускорении речи и некотором отклонении внимания условия обмолвок могут легко вписаться в те границы, которые установлены Мерингером и Майером. Но, конечно, в некоторой части собранных этими авторами примеров более сложное объяснение скорее соответствует истине.

Возьму хотя бы приведенный уже случай: «Es war mir auf der Schwest... Brust so schwer».

Так ли просто обстоит здесь дело, что schwe вытесняет здесь равно интенсивный слог Bru путем «предвосхищения»? Вряд ли можно отрицать, что звуки schwe оказались способны к этому «выступлению» еще и благодаря особой связи. Такой связью могла быть только одна ассоциация: Schwester — Bruder (сестра — брат), или разве еще: Brust der Schwester (грудь сестры), ассоциация, ведущая к другим кругам мыслей. Этот невидимый, находящийся за сценой пособник и сообщает невинному schwe ту силу, успешное действие которой и проявляется в обмолвке.

При иных обмолвках приходится допустить, что собственно помехой является в них созвучие с неприличными словами и вещами. Преднамеренное искажение и коверкание слов и выражений, столь излюбленное дурно воспитанными людьми, имеет целью не что другое, как, пользуясь невинным предлогом, напомнить о предосудительных вещах, и эта манера забавляться встречается так часто, что неудивительно, если она прокладывает себе дорогу бессознательно и против воли. К этой категории можно отнести целый ряд примеров: Eischeißweibchen вместо Eiweißscheibchen («гнусная бабенка» вместо «белковая пластинка»); Apopos вместо Apropos («по заду» вместо «кстати»), Lokuskapitäl вместо Lotuskapitäl («капитель в виде клозета» вместо «капитель в виде лотоса»), быть может, также Alabüsterbachse (Alabasterbüchse) («алебюстовые Бахусы» вместо «алебастровая кружка») святой Магдалины[1]. «Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen» — вместо anzustoßen («Предлагаю вам отрыгнуть за здоровье нашего шефа» вместо «чокнуться») — вряд ли что-нибудь иное, как ненамеренная пародия, возникшая как отзвук намеренной.

[1] У одной из моих пациенток симптоматические обмолвки продолжались до тех пор, пока их не удалось свести к детской шутке: замене ruinieren словом urinieren (вместо «разорять» — «испускать мочу»).

На месте того шефа, в честь которого был сказан этот тост, я подумал бы о том, как умно поступали римляне, позволяя солдатам триумфатора громко, в шуточных песнях выражать свой внутренний протест против чествуемого. Мерингер рассказывает, как он сам обратился раз к старшему в обществе лицу, которое называли обыкновенно фамильярным прозвищем Senexl или alter Senexl, со словами «Prost[1], Senex altesl!» Он сам испугался этой ошибки. Быть может, нам станет понятен его аффект, если мы вспомним, как близко слово altesl к ругательству alter Esel («старый осел»). Неуважение к старости (в детстве — неуважение к отцу) влечет за собой суровую внутреннюю кару.

Я надеюсь, что читатели не упустят из виду различия в значимости этих ничем не доказуемых объяснений и тех примеров, которые я сам собрал и подверг анализу. Но если я все же в глубине души продолжаю ожидать, что даже простые на вид случаи обмолвок можно будет свести к расстраивающему воздействию полуподавленной идеи, лежащей вне предназначенной для высказывания связи, то к этому побуждает меня одно весьма ценное замечание Мерингера. Этот автор говорит: замечательно, что никто не хочет признать, что он обмолвился. Встречаются весьма разумные и честные люди, которые обижаются, если сказать им, что они обмолвились. Я не решился бы выразить это утверждение в такой общей форме, как Мерингер («никто...»). Но тот след аффекта, который остается при обнаружении обмолвки и по своей природе, очевидно, аналогичен стыду, не лишен значения. Его можно поставить на одну доску с тем чувством досады, которое мы испытываем, когда нам не удается вспомнить забытое имя, или с тем удивлением, с каким мы встречаем сохранившееся у нас в памяти несущественное на первый взгляд воспоминание; аффект этот каждый раз свидетельствует о том, что в возникновении расстройства ту или иную роль сыграл какой-либо мотив.

Когда искажение имен проделывается нарочно, оно равносильно некоторого рода пренебрежению: то же значение оно имеет, надо думать, и в целом ряде случаев, когда оно выступает в виде ненамеренной обмолвки. Лицо, которое, по словам Майера, сказало раз Freuder вместо Freud в силу того, что за этим следовало имя Breuer, а другой раз заговорило о Freuer-Breud'овском методе (S. 381), наверное, принадлежало к числу коллег по профессии и, надо полагать, было не особенно восхищено этим методом. Другой случай искажения имен, наверное не поддающийся иному объяснению, я приведу ниже в главе об описках[2]. В этих случаях в качестве расстраивающего момента врывается критика, которую говорящему приходится опустить, так как в данную именно минуту она не отвечает его намерениям.

В других случаях — гораздо более значительных — к обмолвке и даже к замене задуманного слова прямой его противоположностью вынуждает самокритика, внутренний протест против собственных слов. В таких случаях с удивлением замечаешь, как измененный таким образом текст какого-либо уверения парализует его силу и ошибка в речи вскрывает неискренность сказанного[3]. Обмолвка ста-

---

[1] За ваше здоровье.

[2] Можно заметить также, что как раз аристократы особенно часто путают имена врачей, к которым они обращались; отсюда можно заключить, что, несмотря на обычно проявляемую ими вежливость, они относятся к врачам пренебрежительно.

[3] При помощи такого рода обмолвки клеймит, например, Анценгрубер в своем «Черве совести» лицемера, домогающегося наследства.

новится здесь мимическим орудием выражения — нередко, правда, таким орудием, которым выражаешь то, чего не хотелось сказать, которым выдаешь самого себя. Когда, например, человек, который в своих отношениях к женщине не питает склонности к так называемым нормальным сношениям, вмешивается в разговор о девушке, известной своим кокетством, со словами: «Im Umgang mit mir würde sie sich das Koettieren schon abgewöhnen» (вместо Kokettieren — «со мной она бы уже отвыкла от кокетства»), то несомненно, что только влиянию слова koitieren (от coitus) и можно приписать такое изменение предполагаемого Kokettieren.

Случайно складывающиеся удачные комбинации слов дают примеры обмолвок, играющие роль прямо-таки убийственных разоблачений, а иной раз производящие прямо-таки комический эффект.

Таков, например, случай, наблюдавшийся и сообщенный доктором Рейтлером. Одна дама говорит другой восхищенным тоном: «Diesen neuen reizenden Hut haben Sie wohl sich selbst aufgepatzt?» («Эту прелестную новую шляпу вы, вероятно, сами обделали (вместо «отделали» — aufgeputzt)?») Задуманную похвалу пришлось прервать, ибо тайная критическая мысль о том, что «украшение шляпы» (Hutaufputz) — просто нашлепка (Patzerei), выразилась в досадной обмолвке слишком ясно, чтобы приличествующее случаю выражение восторга могло еще быть принято всерьез.

Или следующий случай, который наблюдал доктор Макс Граф: «В общем собрании общества журналистов “Конкордия” молодой член общества, постоянно нуждающийся в деньгах, держит резко оппозиционную речь и в возбуждении говорит: “Die Herren Vorschußmitglieder” (вместо Vorstands- или Ausschußmitglieder — члены правления; Vorschuß — ссуда). Члены правления уполномочены выдавать ссуды, и от молодого оратора уже поступило прошение о ссуде».

Курьезное впечатление производит обмолвка в том случае, когда она подтверждает что-либо, что пациент оспаривает и что было бы желательно установить врачу в его психоаналитической работе. У одного из моих пациентов мне случилось раз заняться истолкованием сновидения, в котором встречалось имя Jauner. Пациент знал лицо, носящее такое имя, но почему оно оказалось в связи данного сновидения, невозможно было найти, и я решился на предположение, не было ли это вызвано сходством данного имени с бранным словом Gauner (мошенник). Пациент поспешно и энергично запротестовал, но при этом опять обмолвился и этой обмолвкой только подтвердил мое предположение, так как произвел вторично ту же самую замену звуков. Его ответ гласил: «Das erscheint mir doch zu jewagt» — вместо gewagt («Мне кажется это слишком рискованным») . Когда я обратил его внимание на эту обмолвку, он согласился с моим толкованием.

Когда такого рода обмолвка, превращающая задуманное в его прямую противоположность, случается в серьезном споре, это тотчас же понижает шансы спорящего, и противник редко упускает случай использовать улучшившуюся для него ситуацию.

Прекрасный пример обмолвки, имеющей целью не столько выдать самого говорящего, сколько послужить ориентиром для постороннего слушателя, мы находим в шиллеровском «Валленштейне» («Пикколомини», действие 1, явление 5); она показывает нам, что поэт, употребивший это средство, хорошо знал механизм

и смысл обмолвок. Макс Пикколомини в предыдущей сцене горячо выступает в защиту герцога и восторженно говорит о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валленштейна в лагерь. Он оставляет своего отца и посланника двора Квестенберга в полном недоумении. И затем 5-е явление продолжается так:

Квестенберг. О горе нам! Вот до чего дошло!
Друг, неужели в этом заблужденье
Дадим ему уйти, не позовем
Сейчас назад, и здесь же не откроем
Ему глаза?
Октавио (*возвращаясь из глубокой задумчивости*).
Мне он открыл глаза.
И то, что я увидел, — не отрадно.
Квестенберг. Что ж это, друг?
Октавио. Будь проклята поездка.
Квестенберг. Как? Почему?
Октавио. Идемте! Должен я
Немедленно ход злополучный дела
Сам проследить, увидеть сам... Идемте!
(*Хочет его увести.*)
Квестенберг. Зачем? Куда? Да объясните!
Октавио (*поспешно*). К ней!
Квестенберг. К ней?
Октавио (*поправляется*). К герцогу! Идем[1].

Эта маленькая обмолвка «к ней» вместо «к нему» должна показать нам, что отец прозрел мотив пристрастности сына, в то время как придворный жалуется, что «он говорит с ним сплошь загадками».

Изложенный здесь взгляд на обмолвки выдерживает испытание даже на мельчайших примерах. Я неоднократно имел возможность показать, что самые незначительные и самые естественные случаи обмолвок имеют свое основание и допускают ту же разгадку, что и другие, более бьющие в глаза примеры. Пациентка, которая вопреки моему желанию, упорствуя в своем намерении, решается предпринять кратковременную поездку в Будапешт, оправдывается передо мной тем, что ведь она едет всего на три дня, но оговаривается и говорит: всего на три недели. Отсюда ясно, что она предпочла бы назло мне остаться вместо трех дней на три недели в обществе, которое я считаю для нее неподходящим.

Раз вечером я хочу оправдать себя в том, что не зашел за женой в театр, и говорю: я был 10 минут 11-го (10 minuten nach 10 Uhr) у театра. Меня поправляют: ты хочешь сказать — без десяти десять (10 minuten vor 10 Uhr). Разумеется, я хотел сказать: без десяти десять. Ибо 10 минут 11-го — это уже не было бы оправданием. Мне сказали, что на афише было обозначено: окончание в исходе 10-го часа. Когда я подошел к театру, в вестибюле было уже темно, театр — пуст. Спектакль, очевидно, кончился раньше, и жена не ждала меня. Когда я посмотрел на часы, было без пяти десять. Я решил, однако, изобразить дома дело в более благоприятном виде и сказать, что было без десяти десять. Обмолвка испортила все дело

[1] Русский перевод А. Толстого.

и вскрыла мою неискренность: она заставила меня признать больше, чем это даже требовалось.

Мы подходим здесь к тем видам нарушений речи, которые уже нельзя отнести к обмолвкам, так как они искажают не отдельное слово, а общий ритм и изложение; таково бормотание и заикание от смущения. Но и здесь в нарушении речи сказывается внутренний конфликт. Я положительно не верю, чтобы кто-нибудь мог обмолвиться на аудиенции у государя, или при серьезном объяснении в любви, или в защитительной речи перед судом присяжных, когда дело идет о чести и добром имени, — словом, во всех тех случаях, когда, по меткому немецкому выражению, человек «весь присутствует». Даже при оценке стиля писателя мы имеем все основания — и привыкли к этому — руководствоваться тем же принципом, без которого мы не можем обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи. Ясная и недвусмысленная манера писать показывает нам, что и мысль автора здесь ясна и уверенна, и там, где мы встречаем вымученные, вычурные выражения, пытающиеся сказать несколько вещей сразу, мы можем заметить влияние недостаточно продуманной, осложняющей мысли или же заглушенный голос самокритики.

VI. Очитки и описки

Что по отношению к ошибкам в чтении и письме имеют силу те же точки зрения и те же замечания, что и по отношению к погрешностям речи, — неудивительно, если принять в соображение близкое родство этих функций. Я ограничусь здесь сообщением нескольких тщательно проанализированных примеров и воздержусь от попытки охватить эти явления в целом.

А. Очитки

а) Я перелистываю в кафе номер «Leipziger Illustrierte», держа его косо перед собой, и читаю название картины, занимающей страницу: «Eine Hochzeitfeier in der Odyssee» («Свадебное празднество в Одиссее»). Обращаю на это внимание, в изумлении придвигаю к себе газету и читаю на этот раз правильно: «Свадебное празднество an der Ostsee» (на берегу Балтийского моря). Каким образом приключилась со мной бессмысленная ошибка? Мои мысли обращаются тотчас же к книге Рутса «Experimentaluntersuchungen über Musikphantome»[1], сильно занимавшей меня в последнее время, так как она близко затрагивает разрабатываемые мною психологические проблемы. Автор обещает издать в ближайшем будущем работу под названием «Анализ и основные законы феноменов сна». Непосредственно перед этим я опубликовал свое «Толкование сновидений», и неудивительно поэтому, что я ожидаю этой книги с величайшим нетерпением. В книге Рутса о музыкальных фантомах я нашел в начале, в оглавлении указание на имеющееся в тексте подробное индуктивное доказательство того, что древнеэллинские мифы и сказания коренятся главным образом в дремотных и музыкальных фантомах и в феноменах сновидения и также горячки. Я тотчас же обратился тогда к соответствующему месту в тексте, чтобы узнать, знаком ли он с тем, как известная сцена,

[1] Darmstadt, 1898, изд-во H. L. Schlepp.

когда Одиссей является Навзикае, сводится к обычному «сновидению о наготе». Один из моих друзей обратил мое внимание на прекрасное место в «Зеленом Генрихе» Г. Келлера, где он объясняет этот эпизод Одиссеи как объективацию сновидения странствующего далеко от родины мореплавателя; и я со своей стороны привел его в связь с «эксгибиционистским» сновидением. У Рутса я не нашел об этом ничего. Очевидно, в данном случае меня озабочивала мысль о приоритете.

б) Каким образом случилось, что я прочел однажды в газете: «В бочке (im Faß) по Европе» вместо «Пешком (zu Fuß)»? Этот анализ долгое время затруднял меня. Правда, прежде мне пришло в голову: вероятно, я имел в виду Диогена, и недавно еще я читал в истории искусства что-то об искусстве времен Александра.

Отсюда было уже недалеко и до известных слов Александра: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Была у меня также и смутная мысль о некоем Германе Цейтунге, который отправился в путешествие, упакованный в ящик. Но дальнейшие связи мне установить не удавалось; не удавалось мне также найти и ту страницу в истории искусства, где мне бросилось в глаза это замечание. Лишь спустя несколько месяцев мне внезапно вспомнилась опять эта загадка, уже было заброшенная, и на этот раз вместе с ней мне пришла в голову и разгадка. Я вспомнил замечание в какой-то газетной статье о том, какие странные способы передвижения (Beförderung) изобретают люди, чтобы попасть в Париж на всемирную выставку; там же, помнится, в шутку сообщалось, что какой-то господин собирается отправиться в Париж в бочке, которую покатит другой господин. Разумеется, единственным мотивом этих людей, писала газета, было желание произвести своими глупостями сенсацию. Человек, который подал первый пример такого необычайного передвижения, назывался действительно Герман Цейтунг. Затем мне вспомнилось, что я однажды лечил пациента, обнаружившего болезненный страх перед газетой (Zeitung), страх, который, как это выяснилось при анализе, был реакцией на болезненное честолюбие (Ehrgeiz) — желание увидеть свое имя в печати и встретить в газете упоминание о себе, как о знаменитости. Александр Македонский был, несомненно, один из самых честолюбивых людей, какие только жили на свете. Недаром он жаловался, что не может найти второго Гомера, который воспел бы его деяния. Но как мне не пришло в голову, что ближе ко мне другой Александр, что таково имя моего младшего брата! Тогда я тотчас же нашел предосудительную и требовавшую вытеснения мысль, имевшую отношение к этому Александру, как и непосредственный повод к ней. Мой брат — специалист в делах тарифных и транспортных и должен был к известному времени за свою педагогическую деятельность в высшей коммерческой школе получить звание профессора. К такому же повышению (Beförderung) я был представлен в университете уже много лет назад, но еще не получил его. Наша мать выразила тогда свое недовольство по поводу того, что ее младшему сыну предстояло раньше получить профессорское звание, чем старшему. Таково было положение дел в то время, когда я не мог найти разгадки для моей ошибки в чтении. После этого мой брат также натолкнулся на трудности: его шансы на профессуру упали еще ниже моих. И тогда мне сразу стал ясен смысл этой очитки, словно понижение шансов моего брата устранило какое-то препятствие. Мое поведение

было таково, как будто я читаю в газете о назначении моего брата и говорю сам себе при этом: удивительно, что благодаря таким глупостям (какими он занимается по профессии) можно попасть в газету (т. е. получить профессорское звание). Место в книге о греческом искусстве эпохи Александра я нашел тогда без труда и убедился, к моему изумлению, что во время своих прежних поисков я неоднократно просматривал эту же страницу и как бы под влиянием какой-то отрицательной галлюцинации каждый раз пропускал это место. Впрочем, оно не заключало ничего такого, из чего я мог бы понять, что, собственно, должно было быть позабыто. Я думаю, что симптом ненахождения в книге был создан только для того, чтобы сбить меня с пути. Нужно было, чтобы я искал продолжение серии мыслей именно там, где мое исследование натолкнулось на препятствие, стало быть, в какой-нибудь мысли об Александре Македонском, и чтобы мое внимание таким образом было тем надежнее отвлечено от другого Александра — моего брата. И это действительно удалось вполне: я направил все свои усилия на то, чтобы вновь найти потерянное место из истории искусств.

Двусмысленность слова Beförderung («передвижение» и «повышение») создала в данном случае ассоциативный мост между двумя комплексами — несущественным, который был вызван чтением газетной заметки, и другим, более интересным, но зато и предосудительным, который мог здесь оказать свое действие в форме искажения прочитанного текста. Из этого примера видно, что не всегда бывает легко разъяснить эпизоды вроде такой ошибки. Иной раз бывает необходимо отложить разрешение загадки на более благоприятное время. Но чем труднее оказывается разгадывание, тем с большей уверенностью можно ожидать, что, будучи, наконец, вскрыта, мешающая мысль будет воспринята нашим сознательным мышлением как нечто чуждое и противоположное.

в) Однажды я получаю письмо из окрестностей Вены, сообщающее мне потрясающую новость. Зову тотчас же мою жену и делюсь с ней печальным известием о том, что бедная г-жа Вильгельм М. так тяжело больна, что врачи считают ее безнадежной. В тех словах, в которых я выразил свое сожаление, что-то должно было звучать неправильно, потому что жена моя смотрит на меня с недоверием, просит, чтобы я ей дал прочесть письмо, и выражает свою уверенность, что этого там не может быть, ибо никто не называет жену по имени мужа; к тому же автору письма прекрасно известно имя жены. Я упорно стою на своем и ссылаюсь на обычные визитные карточки, на которых жена сама обозначает себя по имени мужа. В конце концов приходится взять письмо, и мы действительно читаем в нем: «бедный В. М.», более того — чего я совсем не заметил: «бедный д-р В. М.». Моя ошибка означала, таким образом, если можно так выразиться, судорожную попытку перенести печальное известие с мужа на жену. Находившееся между прилагательным и собственным именем обозначение звания плохо вязалось с требованием, чтобы дело касалось жены, и потому при чтении было устранено. Мотивом этого искажения было, однако, не то, что жена была мне менее симпатична, чем муж, а то, что участь этого несчастного вызвала во мне беспокойство о другом, близком мне человеке, чья болезнь была в некотором отношении аналогична этой.

г) Досадна и смешна ошибка, которую я делаю очень часто, когда случается на каникулах гулять по улицам незнакомого города. На каждой вывеске, которая

сколько-нибудь подходит для этого, я читаю: «антиквариат». В этом проявляется страсть коллекционера.

Б. Описки

а) На листке бумаги, содержащем краткие ежедневные заметки, преимущественно делового характера, я, к удивлению своему, нахожу среди правильных дат сентября месяца ошибочное обозначение «четверг, 20 октября». Нетрудно объяснить это предвосхищение как выражение пожелания. Несколькими днями раньше я вернулся из каникулярного путешествия и ощущаю готовность к усиленной врачебной деятельности, но число пациентов еще невелико. Приехав, я нашел письмо от одной больной, которая пишет, что будет у меня 20 октября. В тот момент, когда я собирался выставить ту же дату сентября месяца, я мог подумать: «Пускай бы X. была уже здесь; как жалко терять целый месяц!» — и с этой мыслью передвинул вперед дату. Мысль, вызвавшая нарушение, вряд ли могла бы в данном случае показаться предосудительной, но зато и вскрыть причины описки мне удалось тотчас же, как только я ее заметил. Совершенно аналогичная и подобным же образом мотивированная описка повторилась затем осенью год спустя.

б) Я получил корректуру своей статьи для «Jahresbericht für Psychiatrie und Neurologie» и должен, естественно, с особенной тщательностью просмотреть имена авторов, которые принадлежат к различным нациям и представляют поэтому большие трудности для наборщика. Некоторые иностранные имена мне действительно приходится выправить, но одно имя наборщик исправил сам — по сравнению с тем, как оно было в рукописи, — и исправил с полным основанием. Я написал «Букргард»; наборщик угадал в этом «Буркгард». Я сам заслуженно похвалил статью этого акушера о влиянии родов на происхождение детского паралича; ничего не имею и против автора, но у него в Вене есть однофамилец, рассердивший меня своей непонятливой критикой «Толкования сновидений». Было как раз так, словно я, вписывая имя акушера Буркгарда, подумал что-то нехорошее о другом Буркгарде — писателе, ибо искажение имен означает сплошь да рядом, как я уже указывал в главе об обмолвках, пренебрежение[1].

в) Более серьезный случай описки, который, пожалуй, с тем же основанием можно было бы отнести к разряду действий «по ошибке», таков. Я намерен взять из сберегательной кассы сумму в 300 крон, которые я собираюсь послать родственнику, уехавшему лечиться. Я замечаю при этом, что у меня на счету имеется 4380 крон, и решаю свести эту сумму к круглой цифре 4000 крон с тем, чтобы в ближайшее время их уже не трогать. Заполнив чек и вырезав соответствующие цифры, я вдруг замечаю, что вырезал не 380 крон, как предполагал, а как раз 438, и ужасаюсь недомыслию, которое я проявил. Что испуг мой неоснователен, я понял скоро: не стал же я беднее; чем раньше. Но пришлось довольно долго раздумывать над тем,

---

[1] Ср. след. место из «Юлия Цезаря», д. III, явл. 3:

Цинна. Поистине, мое имя Цинна.
Гражданин. Разорвите его на куски! Он заговорщик!
Цинна. Я поэт Цинна, я не Цинна-заговорщик.
Гражданин. Все равно; его имя Цинна, вырвите у него имя из сердца и отпустите его.

какое влияние могло расстроить мое первоначальное намерение, не доходя до моего сознания. На первых порах я попадаю на ложный путь, вычитаю одно число из другого, но не знаю, что делать с разностью. В конце концов случайно пришедшая в голову мысль обнаруживает передо мной настоящую связь: 438 составляет ведь десять процентов всего моего счета в 4380 крон! Десятипроцентную же уступку дает книгопродавец! Я вспоминаю, что несколькими днями раньше я отобрал ряд медицинских книг, утративших для меня интерес, и предложил их книгопродавцу как раз за 300 крон. Он нашел, что цена слишком высока, и обещал через несколько дней дать окончательный ответ. Если он примет мое предложение, то этим как раз возместит ту сумму, которую я собираюсь издержать на больного. Несомненно, что этих денег мне жалко. Аффект, испытанный мной, когда я заметил ошибку, может быть скорее объяснен как боязнь обеднеть из-за таких расходов. Но и то и другое — и сожаление об этом расходе, и связанная с ним боязнь обеднеть совершенно чужды моему сознанию; я не чувствовал сожаления, когда обещал эту сумму, и мотивировку этого сожаления нашел бы смешной. Я, вероятно, и не поверил бы, что во мне может зашевелиться такое чувство, если бы благодаря практике психоанализов, производимых над пациентами, я в значительной степени не освоился с феноменом вытеснения в душевной жизни и если бы несколькими днями раньше не видел сна, который требовал того же самого объяснения[1].

г) Цитирую по д-ру В. Штекелю следующий случай, достоверность которого также могу удостоверить:

«Прямо невероятный случай описки и очитки произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа “продажной”, надо было дать отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз — в рукописи и в гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно гласило: “Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым корыстным образом (in eigennützigster Weise) отстаивали общественное благо”». Само собой понятно, что должно было быть написано: «самым бескорыстным образом» («in uneigennützigster Weise»). Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь патетическую фразу.

Вундт дает интересное объяснение тому факту (который можно легко проверить), что мы скорее подвергаемся опискам, чем обмолвкам (S. 374 цит. соч.). «В процессе нормальной речи задерживающая функция воли постоянно направлена на то, чтобы привести в соответствие течение представлений и артикуляционные движения. Но когда сопутствующие представлениям, выражающие их акты замедляются в силу механических причин, как это бывает при письме... подобного рода антиципации наступают особенно легко».

Наблюдение условий, при которых случаются ошибки в чтении, дает повод к сомнению, которое я не хочу обойти молчанием, так как оно, на мой взгляд, может послужить отправной точкой для плодотворного исследования. Всякий зна-

---

[1] Это тот сон, который я привел в виде примера из небольшой статьи «О сновидении», напечатанной в № 8 «Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens», изд-во Löwenfeld&Kurella, 1901.

ет, как часто при чтении вслух внимание читающего оставляет текст и обращается к собственным мыслям. В результате этого отвлечения внимания читающий нередко вообще не в состоянии бывает сказать, что он прочел, если его прервут и спросят об этом. Он читал как бы автоматически, но при этом почти всегда верно. Я не думаю, чтобы при этих условиях число ошибок заметно увеличивалось. Предполагаем же мы обычно относительно целого ряда функций, что с наибольшей точностью они выполняются тогда, когда это делается автоматически, т. е. когда внимание работает почти бессознательно.

Отсюда, по-видимому, следует, что та роль, которую играет внимание при обмолвках, описках, очитках, определяется иначе, чем это делает Вундт (выпадение или ослабление внимания). Примеры, которые мы подвергли анализу, не дали нам, собственно, права допустить количественное ослабление внимания; мы нашли — что, быть может, не совсем то же — нарушение внимания посторонней мыслью, предъявляющей свои требования.

VII. Забывание впечатлений и намерений

Если бы кто-нибудь был склонен преувеличивать то, что нам известно теперь о душевной жизни, то достаточно было бы указать на функцию памяти, чтобы заставить его быть скромнее. Ни одна психологическая теория не была еще в состоянии дать отчет об основном феномене припоминания и забывания в его совокупности; более того, последовательное расчленение того фактического материала, который можно наблюдать, едва лишь начато. Быть может, теперь забывание стало для нас более загадочным, чем припоминание, с тех пор как изучение сна и патологических явлений показало, что в памяти может внезапно всплывать и то, что мы считали давно позабытым.

Правда, мы установили уже несколько отправных точек, для которых ожидаем всеобщего признания. Мы предполагаем, что забывание есть спонтанный процесс, который можно считать протекающим на протяжении известного времени. Мы подчеркиваем, что при забывании происходит известный отбор имеющихся впечатлений, равно как и отдельных элементов каждого данного впечатления или переживания. Нам известны некоторые условия сохранения в памяти и пробуждения в ней того, что без этих условий было бы забыто. Однако повседневная жизнь дает нам бесчисленное множество поводов заметить, как неполно и неудовлетворительно наше знание. Стоит прислушаться к тому, как двое людей, совместно воспринимавших внешние впечатления, — скажем, проделавших вместе путешествие, — обмениваются спустя некоторое время своими воспоминаниями. То, что у одного прочно сохранилось в памяти, другой сплошь да рядом забывает, словно этого и не было; при этом мы не имеем никакого основания предполагать, чтобы данное впечатление было для него психически более значимо, чем для второго. Ясно, что целый ряд моментов, определяющих отбор для памяти, ускользает от нас.

Желая прибавить хотя бы немного к тому, что мы знаем об условиях забывания, я имею обыкновение подвергать психологическому анализу те случаи, когда мне самому приходится что-либо забыть. Обычно я занимаюсь лишь определен-

ной категорией этих случаев — теми именно, которые приводят меня в изумление, так как я ожидаю, что данная вещь должна быть мне известна. Хочу еще заметить, что вообще я не склонен к забывчивости (по отношению к тому, что я пережил, не к тому, чему научился!) и что в юношеском возрасте я в течение некоторого короткого времени был способен даже на необыкновенные акты запоминания. В ученические годы для меня было совершенно естественным делом повторить наизусть прочитанную страницу книги, и незадолго до поступления в университет я был в состоянии записывать научно-популярные лекции непосредственно после их прослушивания почти дословно. В том напряженном состоянии, в котором я находился перед последними медицинскими экзаменами на степень доктора, я, по-видимому, еще использовал остатки этой способности, ибо по некоторым предметам я давал экспериментаторам как бы автоматические ответы, точно совпадавшие с текстом учебника, который я, однако, просмотрел всего лишь раз с величайшей поспешностью.

С тех пор способность пользоваться материалом, накопленным памятью, у меня постоянно слабеет, но все же вплоть до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в том, что с помощью искусственного приема я могу вспомнить гораздо больше, чем мог бы ожидать. Если, например, пациент у меня на консультации ссылается на то, что я уже раз его видел, между тем как я не могу припомнить ни самого факта, ни времени, я облегчаю себе задачу путем отгадывания: вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая с данного момента. В тех случаях, когда имеющиеся записи или точные указания пациента делают возможным проконтролировать пришедшее мне в голову число, обнаруживается, что я редко когда ошибаюсь больше чем на полгода при сроках, превышающих 10 лет[1]. То же бывает, когда я встречаю малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю о его детях. Когда он рассказывает мне об успехах, которые они делают, я стараюсь вообразить себе, каков теперь возраст ребенка, проверяю затем эту цифру показаниями отца, и оказывается, что я ошибаюсь самое большее на месяц, при более взрослых детях на 3 месяца; но при этом я решительно не могу сказать, что послужило для меня основанием вообразить именно эту цифру. В конце концов я до того осмелел, что сам первый высказываю теперь свою догадку о возрасте, не рискуя при этом обидеть отца своей неосведомленностью насчет его ребенка. Таким образом лишь я расширяю свое сознательное припоминание, апеллируя к бессознательной памяти, во всяком случае более богатой.

Итак, я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я отличаю забывание впечатлений и переживаний, т. е. забывание того, что знаешь, от забывания намерений, т. е. неисполнения чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты (Unlustmotiv).

А. Забывание впечатлений и знаний

а) Летом моя жена подала мне безобидный по существу повод к сильному неудовольствию. Мы сидели визави за табльдотом с одним господином из Вены, которо-

[1] Обыкновенно затем в ходе разговора частности тогдашнего первого визита всплывают уже сознательно.

го я знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня были, однако, основания не возобновлять знакомства. Жена моя, однако, расслышавшая лишь громкое имя своего визави, весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору с соседями, так как время от времени обращалась ко мне с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора. Мне не терпелось; наконец, это меня рассердило. Несколько недель спустя я пожаловался одной родственнице на поведение жены, но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно злопамятен, не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода, то очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться, щадить жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем, что моя жена сказала всего несколько часов тому назад; оказалось, однако, что я бесследно забыл слова жены. Пришлось попросить ее же напомнить мне их. Легко понять, что эту забывчивость надо рассматривать как аналогичную тому расстройству способности суждения, которому мы подвержены, когда дело идет о близких нам людях.

б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения документов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, предо мной с необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить название улицы, но был уверен, что стоит мне пройтись по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрину со шкатулками, несмотря на то, что я исходил эту часть города во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов, имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное множество раз проходил мимо его витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы жившему в том же доме. С тех пор как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая себе отчета в мотивах, избегал и этой местности, и этого дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы, и только этой одной тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив неохоты, послуживший в данном случае виной моей неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забывания здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное поручение и здесь порождает забвение. Точно таким же образом в случае с Буркгардом досада на одного человека породила описку в имени другого. Если там связь между двумя по существу различными кругами мыслей создалась благодаря совпадению имен, то здесь, в примере с витриной, ту же роль могла сыграть смежность в пространстве, непосредственное соседство. Впрочем, в данном случае имелась налицо и более прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль играли деньги.

в) Контора Б. и Р. приглашает меня на дом к одному из ее служащих. По дороге к нему меня занимает мысль о том, что в доме, где помещается фирма, я уже неоднократно был. Мне представляется, что вывеска этой фирмы в одном из нижних этажей бросилась когда-то мне в глаза в то время, когда я должен был подняться к больному в один из верхних этажей. Однако я не могу вспомнить, ни что это за дом, ни кого я там посещал. Хотя вся эта история совершенно безразлична и не имеет никакого значения, я все же продолжаю ею заниматься и в конце концов прихожу обычным окольным путем, с помощью собирания всего, что мне приходит в голову, к тому, что этажом выше над помещением фирмы Б. и Р. находится пансион Фишер, в котором мне не раз приходилось навещать пациентов. Теперь я уже знаю и дом, в котором помещается бюро, и пансион. Загадкой для меня остается все же, какой мотив оказал здесь свое действие на мою память. Не нахожу ничего, о чем было бы неприятно вспомнить, ни в самой фирме, ни в пансионе Фишер, ни в живших там пациентах. Я предполагаю, что дело не идет о чем-нибудь очень неприятном; ибо в противном случае мне вряд ли удалось бы вновь овладеть забытым с помощью одного окольного пути, не прибегая, как в предыдущем примере, к внешним вспомогательным средствам. Наконец мне приходит в голову, что только что, когда я двинулся в путь к моему новому пациенту, мне поклонился на улице какой-то господин, которого я лишь с трудом узнал. Несколько месяцев тому назад я видел этого человека в очень тяжелом, на мой взгляд, состоянии и поставил ему диагноз прогрессивного паралича; впоследствии я, однако, слышал, что он оправился, так что мой диагноз оказался неверным. (Если только здесь не было случая ремиссии, встречающейся и при dementia paralitica, ибо тогда мой диагноз был бы все-таки верен!) От этой встречи и исходило влияние, заставившее меня забыть, в чьем соседстве находилась контора Б. и Р., и тот интерес, с которым я взялся за разгадку забытого, был перенесен сюда с этого случая спорной диагностики. Ассоциативное же соединение было при слабой внутренней связи, — выздоровевший вопреки ожиданиям был также служащим в большой конторе, обычно посылавшей мне больных, — установлено благодаря тождеству имен. Врач, с которым я совместно осматривал спорного паралитика, носил то же имя Фишер, что и забытый мною пансион.

г) Заложить (verlegen) куда-нибудь вещь означает в сущности не что иное, как забыть, куда она положена. Как большинство людей, имеющих дело с рукописями и книгами, я хорошо ориентируюсь в том, что находится на моем письменном столе, и могу сразу же достать искомую вещь. То, что другим представляется как беспорядок, для меня — исторически сложившийся порядок. Почему же я недавно так запрятал присланный мне каталог книг, что невозможно было его найти? Ведь собирался же я заказать обозначенную в нем книгу «О языке», написанную автором, которого я люблю за остроумный и живой стиль и в котором ценю понимание психологии и познания по истории культуры. Я думаю, что именно поэтому я и запрятал каталог. Дело в том, что я имею обыкновение одалживать книги этого автора моим знакомым, и недавно еще кто-то, возвращая книгу, сказал: «Стиль его напоминает мне совершенно ваш стиль, и манера думать та же самая». Говоривший не знал, что он во мне затронул этим своим замечанием. Много лет назад, когда я еще был моложе и более нуждался в поддержке, мне то же самое сказал один старший коллега, которому я хвалил медицинские сочинения одного

известного автора: «Совершенно ваш стиль и ваша манера». Под влиянием этого я написал автору письмо, прося о более тесном общении, но получил от него холодный ответ, которым мне было указано мое место. Быть может, за этим последним отпугивающим уроком скрываются и другие, более ранние, ибо запрятанного каталога я так и не нашел; и это предзнаменование действительно удержало меня от покупки книги, хотя действительного препятствия исчезновение каталога и не представило. Я помнил и название книги, и фамилию автора[1].

Другой случай заслуживает нашего внимания благодаря тем условиям, при которых была найдена заложенная куда-то вещь. Один молодой человек рассказывает мне: несколько лет тому назад в моей семье происходили недоразумения, я находил, что моя жена слишком холодна, и хотя я охотно признавал ее превосходные качества, мы все же относились друг к другу без нежности. Однажды она принесла мне, возвращаясь с прогулки, книгу, которую купила, так как, по ее мнению, она должна была меня заинтересовать. Я поблагодарил за этот знак внимания, обещая прочесть книгу, положил ее куда-то и не нашел уже больше. Так прошло несколько месяцев, в течение которых я при случае вспоминал о затерянной книге и тщетно старался ее найти. Около полугода спустя заболела моя мать, которая живет отдельно от нас и которую я очень люблю. Моя жена оставила наш дом, чтобы ухаживать за свекровью. Положение больной стало серьезным, и моя жена имела случай показать себя с лучшей своей стороны. Однажды вечером я возвращаюсь домой в восторге от поведения моей жены и полный благодарности к ней. Подхожу к моему письменному столу, открываю без определенного намерения, но с сомнамбулической уверенностью определенный ящик и нахожу в нем сверху давно исчезнувшую заложенную книгу.

Обозревая случаи закладывания вещей, трудно себе в самом деле представить, чтобы оно когда-либо происходило иначе, как под влиянием бессознательного намерения.

д) Летом 1901 года я сказал как-то моему другу, с которым находился в тесном идейном общении по научным вопросам: «Эти проблемы невроза могут быть разрешены лишь тогда, если мы всецело станем на почву допущения первоначальной бисексуальности индивида». В ответ я услышал: «Я сказал тебе это уже 2 ½ года тому назад в Бр., помнишь, во время вечерней прогулки. Тогда ты об этом и слышать ничего не хотел». Неприятно, когда тебе предлагают признать свою неоригинальность. Я не мог припомнить ни разговора, ни этого открытия моего друга. Очевидно, что один из нас ошибся; по принципу «cui prodest»[2] ошибиться должен был я. И действительно, в течение ближайшей недели я вспомнил, что все было так, как хотел напомнить мне мой друг: я знаю даже, что я ответил тогда: «До этого я еще не дошел, не хочу входить в обсуждение этого». С тех пор, однако, я стал несколько терпимее, когда приходится где-нибудь в медицинской литературе сталкиваться с одной из тех немногих идей, которые связаны с моим именем, причем это последнее не упоминается.

[1] Для многих случайностей, которые мы вслед за Т. Фишером приписываем «коварству объекта», я предложил бы аналогичное объяснение.

[2] Кому на руку. — *Примеч. ред. перевода.*

Упреки жене; дружба, превратившаяся в свою противоположность; ошибка во врачебной диагностике; отпор со стороны людей, идущих к той же цели; заимствование идей — вряд ли может быть случайностью, что ряд примеров забывания, собранных без выбора, требуют для своего разрешения углубления в столь мучительные темы. Напротив, я полагаю, что любой другой, кто только пожелает исследовать мотивы своих собственных случаев забывания, сможет составить подобную же таблицу неприятных вещей. Склонность к забыванию неприятного имеет, как мне кажется, всеобщий характер, если способность к этому и неодинаково развита у всех. Не раз отрицание того или другого, встречающееся в медицинской практике, можно было бы, по всей вероятности, свести к забыванию[1].

Наш взгляд на подобного рода забывание сводит различие между ним и отрицанием к чисто психологическим отношениям и позволяет нам в обеих формах реагирования видеть проявление одного и того же мотива. Из всех тех многочисленных примеров отрицания неприятных воспоминаний, какие мне приходилось наблюдать у родственников больных, у меня сохранился в памяти один особенно странный. Мать рассказывала мне о детстве своего сына, нервнобольного, находящегося в возрасте половой зрелости, и сообщила при этом, что и он, и другие ее дети вплоть до старшего возраста страдали по ночам недержанием мочи, — обстоятельство, не лишенное значения в истории нервной болезни. Несколько недель спустя, когда она осведомилась о ходе лечения, я имел случай обратить ее внимание на признаки конституционального предрасположения молодого человека к болезни и сослался при этом на установленное анамнезом недержание мочи. К моему удивлению, она стала отрицать этот факт как по отношению к нему, так и к остальным детям, спросила меня, откуда мне это может быть известно, и узнала, наконец, от меня, что она сама мне об этом недавно рассказала и теперь позабыла об этом[2].

---

[1] Когда спрашиваешь у человека, не подвергся ли он лет 10 или 15 назад сифилитическому заболеванию, легко забываешь при этом, что опрашиваемое лицо относится к этой болезни психически совершенно иначе, чем, скажем, к острому ревматизму. В анамнезах, которые сообщают родители о своих нервнобольных дочерях, вряд ли можно с уверенностью различить, что позабыто и что скрывается, ибо все то, что может впоследствии помешать замужеству дочери, родители систематически устраняют, т. е. вытесняют.

[2] В то время, когда я работал над этими страницами, со мной произошел следующий, почти невероятный случай забывания. Я просматриваю 1 января свою врачебную книгу, чтобы выписать гонорарные счета, встречаюсь при этом в рубрике июня месяца с именем М-ль и не могу вспомнить соответствующего лица. Мое удивление возрастает, когда я, перелистывая дальше, замечаю, что я лечил этого больного в санатории и что в течение ряда недель я посещал его ежедневно. Больного, с которым бываешь занят при таких условиях, врач не забывает через каких-нибудь полгода. Я спрашиваю себя: кто бы это мог быть — мужчина, паралитик, неинтересный случай? Наконец, при отметке о полученном гонораре, мне опять приходит на мысль все то, что стремилось исчезнуть из памяти. М-ль была 14-летняя девочка, самый примечательный случай в моей практике за последние годы; он послужил мне уроком, который я вряд ли забуду, и исход его заставил меня пережить не один мучительный час. Девочка заболела несомненной истерией, которая под влиянием моего лечения обнаружила быстрое и основательное улучшение. После этого улучшения родители взяли от меня девочку; она еще жаловалась на боли в животе, которым принадлежала главная роль в общей картине истерических симптомов. Два месяца спустя она умерла от саркомы брюшных желез. Истерия, к которой девочка была, кроме того, предрасположена, воспользовалась образованием опухоли как провоцирующей причиной, и я, будучи ослеплен шумными, но безобидными явлениями истерия, быть может, не заметил первых признаков подкрадывавшейся неизлечимой болезни.

Таким образом, даже и у здоровых, неподверженных неврозу людей можно в изобилии найти указания на то, что воспоминания о тягостных впечатлениях и представления о тягостных мыслях наталкиваются на какое-то препятствие. Но оценить все значение этого факта можно лишь рассматривая психологию невротиков. Подобного рода стихийное стремление к защите от представлений, могущих вызвать ощущение неудовольствия, стремление, с которым можно сравнить лишь рефлекс бегства при болезненных раздражениях, приходится отнести к числу главных столпов того механизма, который является носителем истерических симптомов. Неправильно было бы возражение насчет того, что, напротив, сплошь да рядом нет возможности отделаться от тягостных воспоминаний, преследующих нас, отогнать такие тягостные аффекты, как раскаяние, угрызения совести. Мы и не утверждаем, что эта тенденция защиты оказывается везде в силах одержать верх, что она не может в игре психических сил натолкнуться на факторы, стремящиеся по другим мотивам к обратной цели и достигающие ее вопреки этой тенденции. Архитектоника душевного аппарата строится, насколько можно догадываться, по принципу слоев, инстанций, находящихся одна на другой, и весьма возможно, что это стремление к защите относится к низшей психической инстанции и парализуется другими, высшими. Во всяком случае, если мы можем свести к этой тенденции защиты такие явления, как случаи забывания, приведенные в наших примерах, то это уже говорит о ее существовании и ее силе. Мы видим, что многое забывается по причинам, лежащим в нем же самом; там, где это невозможно, тенденция защиты передвигает свою цель и устраняет из нашей памяти хотя бы нечто иное, не столь важное, но находящееся в ассоциативной связи с тем, что, собственно, и вызвало отпор.

Развитая здесь точка зрения, усматривающая в мучительных воспоминаниях особую склонность подвергаться мотивированному забыванию, заслуживала бы применения ко многим областям, в которых она в настоящее время еще не нашла себе признания, или если и нашла, то в слишком недостаточной степени. Так, мне кажется, что она все еще недостаточно подчеркивается при оценке показаний свидетелей на суде[1], причем приведению свидетеля к присяге явно приписывается чересчур большое очищающее влияние на игру психических сил. Что при происхождении традиции и исторических сказаний из жизни народов приходится считаться с подобным мотивом, стремящимся вытравить воспоминание обо всем том, что тягостно для национального чувства, признается всеми. Быть может, при более тщательном наблюдении была бы установлена полная аналогия между тем, как складываются народные традиции, и тем, как образуются воспоминания детства у отдельного индивида.

Совершенно так же, как при забывании имен, может наблюдаться ошибочное воспоминание и при забывании впечатлений; и в тех случаях, когда оно принимается на веру, оно носит название обмана памяти. Патологические случаи обмана памяти (при паранойе он играет даже роль конституирующего момента в образовании бредовых представлений) породили обширную литературу, в которой я, однако, нигде не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как и эта тема относится к психологии невроза, то она выходит за пределы рассмотрения

[1] Ср. *Hans Groß.* Krimmalpsychologie, 1898.

в данной связи. Зато я приведу случившийся со мной самим своеобразный пример обмана памяти, на котором можно с достаточной ясностью видеть, как этот феномен мотивируется бессознательным вытесненным материалом и как он сочетается с этим последним.

В то время, когда я писал последующие главы моей книги о толковании сновидений, я жил на даче, не имея доступа к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден, в расчете на позднейшее исправление, вносить в рукопись всякого рода указания и цитаты по памяти. В главе о снах наяву мне вспоминалась чудесная фигура бедного бухгалтера из «Набоба» Альфонса Доде, в лице которого поэт, вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие вынашивал этот человек (я назвал его Jocelyn), гуляя по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти: как господин Jocelyn смело бросается на улице навстречу понесшейся лошади и останавливает ее; дверцы отворяются, из экипажа выходит высокопоставленная особа, жмет господину Jocelyn'у руку и говорит ему: «Вы мой спаситель, я обязана вам жизнью. Что я могу для вас сделать?»

Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в передаче этой фантазии нетрудно будет исправить дома, имея книгу под рукой. Но когда я перелистал «Набоба» с тем, чтобы выправить это место моей рукописи, уже готовое к печати, я, к величайшему своему стыду и смущению, не нашел там ничего похожего на такого рода мечты Mr. Jocelyn'a, да и этот бедный бухгалтер назывался совершенно иначе: Mr. Joyeuse. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к выяснению моего обмана памяти. Joyeuse — это женский род от слова Joyeux: так именно я и должен был бы перевести на французский язык свою собственную фамилию Фрейд. Откуда, стало быть, могла взяться фантазия, которую я смутно вспомнил и приписал Доде? Это могло быть лишь мое же произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до моего сознания, или же дошел когда-то, но затем был основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже, где не раз бродил по улицам, одинокий, полный стремлений, весьма нуждаясь в помощнике и покровителе, пока меня не принял в свой круг Шарко. Автора «Набоба» я затем неоднократно видел в доме Шарко. Досадно в этой истории то, что вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому я относился бы столь же враждебно, как к представлениям о протекции. То, что приходится в этой области видеть у нас на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с моим характером плохо вяжется положение протеже. Я всегда ощущал в нем необычайно сильную склонность к тому, чтобы «быть самому дельным человеком». И как раз я должен был получить напоминание о подобного рода — никогда, впрочем, не сбывшихся — снах наяву! Кроме того, этот случай дает хороший пример тому, как задержанное — при паранойе победно пробивающееся наружу — отношение к своему *Я* мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.

Другой случай обмана памяти, который удалось удовлетворительно объяснить, напоминает о так называемом fausse reconnaissance (см. ниже). Я рассказал одному из моих пациентов, честолюбивому и очень способному человеку, что один молодой студент недавно написал интересную работу «Der Künstler. Versuch einer Sexualpsychologie» («Художник. Опыт сексуальной психологии») и тем ввел себя

в круг моих учеников. Когда эта работа 1¼ года спустя вышла из печати, мой пациент заявил, что точно помнит, что еще до моего первого сообщения (месяцем или полугодом раньше) он видел где-то, в окне книжного магазина, кажется, объявление об этой книге. Эта заметка ему и тогда тотчас же пришла на ум, и он, кроме того, констатировал, что автор изменил заглавие, потому что она называется уже не «Versuch», а «Ansätze». Тщательные справки у автора и сравнение дат показали, что мой пациент хочет вспомнить нечто невозможное. Об этой книге нигде не было объявлено до ее печатания, и уж во всяком случае не за 1¼ года до выхода в свет. Я оставил этот обман памяти без истолкования, но затем тот же господин проделал аналогичную ошибку вторично. Он утверждал, что видел недавно в окне книжного магазина книгу об агорафобии, хотел ее приобрести и разыскивал ее с этой целью во всех каталогах. Мне удалось ему тогда объяснить, почему его старания должны были остаться безуспешными. Работа об агорафобии существовала лишь в его фантазии, как бессознательное намерение, и должна была быть написана им же самим. Его честолюбие, будившее в нем желание поступить подобно тому молодому человеку и подобной же научной работой открыть себе доступ в среду моих учеников, породило и первый и второй обман памяти. Он сам потом вспомнил, что объявление книжного магазина, которое дало ему повод к ошибке, относилось к сочинению под заглавием «Genesis. Das Gesetz der Zeugung»[1]. Что же касается до упомянутого им изменения заглавия, то оно уже относится на мой счет, так как мне самому удалось вспомнить, что я допустил эту неточность в передаче заглавия: «Versuch» вместо «Ansätze».

Б. Забывание намерений

Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить ошибочное действие, как забывание намерений. Намерение — это импульс к действию, уже встретивший одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода изменение в мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание намерений, которому мы подвергаемся изо дня в день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении мотивов выявилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся объяснить его психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось необходимого для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием возникновения самого намерения и которое, стало быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормальным отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение как произвольное. Если я утром принимаю решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня сделать нуж-

[1] Генезис. Закон зачатия. — *Примеч. ред. перевода.*

ные приготовления для того, чтобы исполнить задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то мне, как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо. Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так называемое постгипнотическое внушение на долгий срок[1]. Обычно этот феномен изображается следующим образом: внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подходит время его выполнения. Тогда оно просыпается и заставляет действовать.

В двоякого рода случаях жизни даже и дилетант отдает себе отчет в том, что забывание намерений никак не может быть рассматриваемо как элементарный феномен, не поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности непризнанных мотивов. Я имею в виду любовные отношения и военную дисциплину. Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправдания перед своей дамой в том, что он, к сожалению, совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: «Год тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь». Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же проницательной, как врач при психоанализе, возразила бы: «Как странно, что подобного рода деловые препятствия не случались раньше». Конечно, и она тоже не подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном нежелании, как и из сознательного уклонения.

Подобно этому, и на военной службе различие между упущением по забывчивости и упущением намеренным принципиально игнорируется — и не без основания. Солдату нельзя забывать ничего из того, что требует от него служба. И если он все-таки забывает, несмотря на то что требование ему известно, то потому, что мотивам, побуждающим его к выполнению данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что забыл почистить пуговицы, может быть уверен в наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения: «Эта проклятая служба мне вообще противна». Ради этого уменьшения наказания, по соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой, или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.

Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто относящееся к ним не было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности. И действительно,

[1] Ср. *Bernheim*. Neue Studien über Hypnotismus, Suggestion und Psychotherapie, 1892.

наличность психической оценки здесь не может быть отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действия, представляющиеся ему самому важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может поэтому распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений; совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно, наверное, не возникло бы вовсе.

Так же как и при рассмотренных выше нарушениях функций, я и здесь собрал и попытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если можно так выразиться, к встречной воле. В целом ряде подобных случаев я находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого еще не перестал сопротивляться, и демонстрировал против него своей забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том, что мне это не удается. Теперь я уже решился отказаться от этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся. Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее сказал одному другу, просившему меня отправить также и от его имени к известному сроку поздравительную телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и неудивительно, что пророчество это оправдалось. В силу мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не способен выражать свое участие, когда это приходится по необходимости делать в утрированной форме, ибо употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой степени участия, которое я испытываю, непозволительно. С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю смерти изъято у меня из этого действенного состояния; раз решившись выразить его, я уже не забываю сделать это. Там, где проявление моего чувства не имеет отношения к общественному долгу, оно никогда не подвергается забвению.

Столкновением условного долга с внутренней оценкой, в которой сам себе не признаешься, объясняются также и случаи, когда забываешь совершить действия, обещанные кому-нибудь другому в его интересах. Здесь неизменно бывает так, что лишь обещающий верит в смягчающую вину забывчивости, в то время как просящий, несомненно, дает себе правильный ответ: он не заинтересован в этом, иначе он не позабыл бы. Есть люди, которых вообще считают забывчивыми и потому извиняют, подобно близоруким, которые не кланяются на улице[1]. Такие люди забывают все мелкие обещания, не выполняют данных им поручений, оказываются, таким образом, в мелочах ненадежными и требуют при этом, чтобы за эти мелкие прегрешения на них не были в претензии, т. е. чтобы не объясняли их свойствами

[1] Женщины, с их тонким пониманием бессознательных душевных переживаний, обычно склонны скорее принять за оскорбление, когда их не узнают на улице и не кланяются, чем подумать о наиболее правдоподобном объяснении, что провинившийся близорук или задумался и не заметил. Они полагают, что их бы уже заметили, если бы только интересовались ими.

характера, а сводили к органическим особенностям. Я сам не принадлежу к числу этих людей и не имел случая проанализировать поступки кого-либо из них, чтобы в выборе объектов забывания найти его мотивировку. Но по аналогии невольно напрашивается предположение, что здесь мотивом, использующим конституциональный фактор для своих целей, является значительная доля пренебрежения к другому человеку.

В других случаях мотивы забывания не так легко обнаруживаются и, раз будучи найдены, вызывают немалое удивление. Так, я заметил в прежние годы, что при большом количестве визитов к больным я если забываю о каком-нибудь визите, то лишь о бесплатном пациенте или посещении коллеги. Это было стыдно, и я приучил себя отмечать себе еще утром предстоящие в течение дня визиты. Не знаю, пришли ли другие врачи тем же путем к этому обыкновению. Но начинаешь понимать, что заставляет так называемого неврастеника отмечать у себя в пресловутой «записке» все то, что он собирается говорить врачу. Объясняют это тем, что он не питает доверия к репродуцирующей способности своей памяти. Конечно, это верно, но дело происходит обыкновенно следующим образом. Больной чрезвычайно обстоятельно излагает свои жалобы и вопросы; окончив, делает минутную паузу, затем вынимает записку и говорит, извиняясь: я записал себе здесь кое-что, так как я все забываю. Обычно он не находит в записке ничего нового. Он повторяет каждый пункт и отвечает на него сам: да, об этом я уже спросил. По-видимому, он лишь демонстрирует своей запиской один из своих симптомов: то именно обстоятельство, что его намерения часто расстраиваются в силу вторжения темных мотивов.

Я коснусь дефектов, которыми страдает большинство здоровых людей, которых я знаю, если признаюсь, что я сам, особенно в прежние годы, очень легко и на очень долгое время забывал возвращать одолженные книги или что мне с особенной легкостью случалось в силу забывчивости откладывать уплату денег. Недавно я ушел как-то утром из табачной лавки, в которой сделал себе свой запас сигар на этот день, не расплатившись. Это было совершенно невинное упущение, потому что меня там знают, и я мог поэтому ожидать, что на следующий день мне напомнят о долге. Но это небольшое упущение, эта попытка наделать долгов, наверное, не лишена связи с теми размышлениями, которые занимали меня в продолжение предыдущего дня. Вообще, что касается таких тем, как деньги и собственность, то даже у так называемых порядочных людей можно легко обнаружить следы некоторого двойственного отношения к ним. Та примитивная жадность, с какой грудной младенец стремится овладеть всеми объектами (чтобы сунуть их в рот), быть может, вообще лишь в несовершенной степени преодолена культурой и воспитанием[1].

[1] Из соображения единства темы позволительно будет отступить здесь от принятого мной деления и прибавить к вышесказанному, что по отношению к денежным делам человеческая память обнаруживает особую предвзятость. Обман памяти, при котором думаешь, что уже заплатил, бывает, как я это знаю по себе, чрезвычайно упорным. Там, где стремление к наживе проявляется за пределами крупных жизненных интересов, стало быть, скорее в шутку, и где поэтому ему предоставляется полная свобода, как, например, в карточной игре, честнейшие люди бывают склонны к ошибкам, погрешностям памяти и вычислений и оказываются, неведомым для них самих образом, повинными в мелких обманах. В этой свободе в немалой степени коренится психически освежающее значение

Боюсь, что со всеми этими примерами я впал прямо-таки в банальность. Но я только могу радоваться, если наталкиваюсь на вещи, которые все знают и одинаковым образом понимают, ибо мое намерение в том и заключается, чтобы собирать повседневные явления и научно использовать их. Я не могу понять, почему той мудрости, которая сложилась на почве обыденного жизненного опыта, должен быть закрыт доступ в круг научных достижений. Не различие объектов, а более строгий метод их установления и стремление ко всеобъемлющей связи составляет существенную характеристику научной работы.

По отношению к намерениям, имеющим некоторое значение, мы, в общем, нашли, что они забываются тогда, когда против них восстают темные мотивы. По отношению к намерениям меньшей важности обнаруживается другой механизм забывания: встречная воля переносится на данное намерение с чего-либо другого, в силу того, что между этим «другим» и содержанием данного намерения установилась какая-либо внешняя ассоциация. Сюда относится следующий пример. Я люблю хорошую промокательную бумагу и собираюсь сегодня после обеда, идя во внутреннюю часть города, закупить себе новый запас. Однако в течение четырех дней подряд я об этом забываю, пока не задаю себе вопроса о причине этого. Нахожу ее без труда, вспомнив, что если в письме обозначаю промокательную бумагу словом Löschpapier, то говорю я обыкновенно Fließpapier. Fließ (Флисс) же — имя одного из моих друзей в Берлине, подавшего мне в эти дни повод к мучительным мыслям и заботам. Отделаться от этих мыслей я не могу, но склонность к защите проявляется, переносясь вследствие созвучия слов на безразличное и потому менее устойчивое намерение.

В следующем случае отсрочки непосредственная встречная воля совпадает с более определенной мотивировкой. Я написал для издания «Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens» небольшую статью о сне, резюмирующую мое «Толкование сновидений». Г. Бергман посылает мне из Висбадена корректуру и просит ее просмотреть немедленно, так как хочет издать этот выпуск еще до Рождества. В ту же ночь я выправляю корректуру и кладу ее на письменный стол, чтобы взять с собой утром. Утром я, однако, забываю о ней и вспоминаю лишь после обеда при виде бандероли, лежащей на моем столе. Точно так же забываю я о корректуре и после обеда, вечером и на следующее утро; наконец я беру себя в руки и на следующий день после обеда опускаю ее в почтовый ящик, недоумевая, каково могло бы быть основание этой отсрочки. Очевидно, я ее не хочу отправить, не знаю только почему. Во время этой же прогулки я отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также мое «Толкование сновидений», делаю у него заказ и вдруг, как бы под влиянием какой-то внезапной мысли, говорю ему: «Вы знаете, я напи-

---

игры. Поговорку о том, что в игре узнается характер человека, надо признать верной, с одним лишь дополнением: узнаются подавленные черты характера. Если у кельнеров еще бывают нечаянные ошибки в счете, на них, очевидно, нужно смотреть так же. В купеческом сословии часто можно наблюдать известное оттягивание выдачи денежных сумм — при уплате по счетам и т. п., которое собственнику ничего не дает и которое следует понимать только психологически, как проявление нежелания расставаться с деньгами. С наиболее интимными и менее всего выясненными побуждениями связывается и тот факт, что как раз женщины обнаруживают особенную неохоту расплачиваться с врачом. Обыкновенно они забывают портмоне и потому во время визита не могут заплатить, затем систематически забывают прислать из дому гонорар, и в результате лечишь их даром — «ради их прекрасных глаз». Они уплачивают как бы своими взглядами.

сал "Толкование сновидений" вторично». — «О, я просил бы вас тогда...» — «Успокойтесь, это лишь небольшая статья для издания Лёвенфельд-Курелла». Он все-таки был недоволен, боялся, что статья эта повредит сбыту книги. Я возражал ему и, наконец, спросил: «Если бы я обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту вещь?» — «Нет, ни в коем случае». Я и сам думаю, что имел полное право так поступить и не сделал ничего такого, что не было бы принято; но мне представляется бесспорным, что сомнение, подобное тому, какое высказал мой издатель, было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры. Сомнение это было вызвано другим, более ранним случаем, когда у меня были неприятности с другим издателем из-за того, что я по необходимости перенес несколько страниц из моей работы о церебральном параличе у детей, появившейся в другом издательстве, в статью, написанную на ту же тему для справочной книги Нотнагеля. Но и тогда упреки были несправедливы; и тогда (как и сейчас с «Толкованием сновидений») я вполне лояльно известил о своем намерении первого издателя. Восстанавливая далее свои воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при переводе с французского я действительно нарушил авторские права. Я снабдил перевод примечаниями, не испросив на то согласия автора, и спустя несколько лет имел случай убедиться, что автор был недоволен этим самоуправством.

В немецком языке есть поговорка, выражающая расхожее мнение, что забывание чего-нибудь никогда не бывает случайным.

Забывание объясняется иногда также и тем, что можно было бы назвать «ложными намерениями». Однажды я обещал одному молодому автору дать отзыв о его небольшой работе, но в силу внутренних, неизвестных мне противодействий все откладывал, пока, наконец уступая его настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я действительно имел вполне серьезное намерение так и поступить, но забыл о том, что на тот же вечер было назначено составление другого, неотложного отзыва. Я понял благодаря этому, что мое намерение было ложно, перестал бороться с испытываемым мной сопротивлением и отказал автору.

VIII. Действия, совершаемые «по ошибке»

Заимствую еще одно место из упомянутой выше работы Мерингера и Майера (S. 98):

«Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым у человека и в других функциях и обозначаемым, довольно бессмысленно, словом "забывчивость"».

Таким образом, не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность.

Если подобное объяснение допускают погрешности речи — а речь ведь не что иное, как моторный акт, — то легко предположить, что те же ожидания оправдаются и в применении к погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений: все те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть, уклонение от намерения, я обозначаю термином Vergreifen — действия, совершаемые «по ошибке»[1], другие же, в которых, скорее, весь образ действий представляется нецелесообразным, я на-

[1] Можно перевести также словом «промахи». — *Примеч. ред. перевода.*

зываю «симптоматическими и случайными действиями». Деление это не может быть проведено с полной строгостью; мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений.

В психологическом понимании «ошибочных действий» мы, очевидно, не подвинемся вперед, если отнесем их в общую рубрику атаксии и специально «кортикальной атаксии». Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня.

а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен был признать, что это ошибочное действие — вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, — означало известную похвалу тому дому, где это случилось. Оно было равносильно мысли «здесь я чувствую себя как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно, никогда не звоню.)

Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно принятой, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.

б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажом выше, «забраться чересчур высоко». В первый раз я испытывал в это время честолюбивый «сон наяву», грезил о том, что «возношусь все выше и выше». Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком далеко, также «погруженный в мысли»; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мною фантазию, то нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно «захожу слишком далеко», упрек, который у меня мог связаться с не особенно почтительным выражением: «вознесся слишком высоко».

в) На моем письменном столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и камертон. Однажды по окончании приемного часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к определенному поезду городской железной дороги, кладу средь белого дня в карман сюртука вместо молотка камертон и лишь благодаря тому, что он оттягивает мне карман, замечаю свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно, объяснит эту ошибку спешкой. Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно так же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный предмет, чтобы не терять времени на исправление ошибки.

Кто был последним, державшим в руках камертон, — вот вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на днях ребенок-идиот, у которого я исследовал степень внимания к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять. Должно ли это означать, что я идиот? Как будто бы и так: то первое, что ассоциируется у меня со словом «молоток» (Hammer), это «хамер» — по-древнееврейски «осел».

Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть ситуацию. Я спешу на консультацию в местность, прилегающую к западной железной дороге, к больному, который, согласно сообщенному мне письменному анамнезу, несколько месяцев тому назад упал с балкона и с тех пор не может ходить. Врач, приглашающий меня, пишет, что он не может все же определить, повреждение ли здесь спинного мозга или травматический невроз — истерия. Это мне и предстоит решить. Здесь, стало быть, уместно будет напоминание — быть особенно предусмотрительным в этом тонком дифференциальном диагнозе. Мои коллеги и без того думают, что мы слишком легкомысленно ставим диагноз истерии в то время, когда в самом деле имеется налицо нечто более серьезное. Но мы все еще не видим достаточных оснований для брани! Да, надо еще добавить, что на той же самой железнодорожной станции я видел несколько лет тому назад молодого человека, который со времени одного сильного переживания не мог как следует ходить. Я нашел тогда у него истерию, подверг его психическому лечению, и тогда оказалось, что если мой диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый ряд симптомов у больного носит характер истерический, и по мере лечения они действительно быстро исчезали. Но за ними обнаружился остаток, не поддававшийся терапии и оказавшийся множественным склерозом. Врачи, видевшие больного после меня, без труда заметили органическое поражение; я же вряд ли мог бы иначе действовать и судить; но впечатление у меня все-таки осталось как о тягостной ошибке; я обещал вылечить больного и, конечно, не мог сдержать этого обещания. Таким образом, ошибочное движение, которым я схватился за камертон вместо молотка, могло быть переведено следующим образом: «Идиот, осел ты этакий, возьми себя в руки на этот раз и не поставь опять диагноза истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже случилось раз в той же местности с этим несчастным человеком!» К счастью для этого маленького анализа, если и к несчастью для моего настроения, этот самый человек, страдавший тяжелым спастическим параличом, был у меня на приеме всего несколькими днями раньше, на следующий день после идиота-ребенка.

Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном действии дал о себе знать голос самокритики. Для такого рода роли — упрека самому себе — ошибочные действия особенно пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает собой ошибку, сделанную где-либо в другом месте.

г) Само собой разумеется, что действия, совершаемые по ошибке, могут служить также и целому ряду других темных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко случается разбивать что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу анатомической целостности моих нервомускульных аппаратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких неловких движений, которые привели бы к нежелательным результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни одного пред-

мета, который бы я разбил. В моем рабочем кабинете тесно, и мне часто приходилось в самых неудобных положениях перебирать античные вещи из глины и камня, которых у меня имеется маленькая коллекция, так что бывшие при этом лица выражали опасение, как бы я не уронил и не разбил чего-нибудь. Однако этого никогда не случалось. Почему же я бросил на пол и разбил мраморную крышку моей простой чернильницы?

Мой письменный прибор состоит из мраморной подставки с углублением, в которое вставляется стеклянная чернильница; на чернильнице — крышка с шишечкой, тоже из мрамора. За письменным прибором расставлены бронзовые статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за стол, чтобы писать, делаю рукой, в которой держу перо, замечательно неловкое движение по направлению от себя и сбрасываю на пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти не трудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя сестра, зашедшая посмотреть некоторые вновь приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми и сказала затем: «Теперь твой письменный стол имеет действительно красивый вид, только письменный прибор не подходит к нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я проводил сестру и лишь несколькими часами позже вернулся назад. И тогда я, по-видимому, произвел экзекуцию над осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она решила к ближайшему празднику подарить мне более красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить ее исполнить намерение, на которое она намекнула? Если это так, то движение, которым я швырнул крышку, было лишь мнимо неловким; на самом деле оно было в высшей степени ловким, било в цель и сумело пощадить и обойти все более ценные объекты, находившиеся поблизости.

Я думаю в самом деле, что именно такого взгляда и следует держаться по отношению к целому ряду якобы случайных, неловких движений. Верно, что они представляют собой нечто насильственное, типа швыряния, чего-то вроде спастической атаксии, но они обнаруживают вместе с тем известное намерение и попадают в цель с уверенностью, которой не всегда могут похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти отличительные черты — насильственный характер и меткость — они, впрочем, разделяют с моторными проявлениями истерического невроза, отчасти и с моторными актами сомнамбулизма, что, надо полагать, указывает здесь, как и там, на одну и ту же неизвестную модификацию иннервационного процесса.

В последние годы, с тех пор как я начал собирать такого рода наблюдения, мне случалось еще несколько раз разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но исследование этих случаев убедило меня, что это ни разу не было действие простого случая или ненамеренной неловкости. Так, однажды утром, проходя по комнате в купальном костюме, с соломенными туфлями на ногах, я, повинуясь внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену так, что она свалила с консоли красивую маленькую мраморную Венеру. Статуэтка разбилась вдребезги, я же в это время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша:

У Медицейской же Венеры —
Крак! — где нога и где рука!

Эта дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к тому, что натворил, объясняются тогдашним положением вещей. У нас в семействе была тяжелобольная, в выздоровлении которой я в глубине души уже отчаялся. В это утро я узнал о значительном улучшении, и знаю, что я сам сказал себе: значит, она все-таки будет жить. Охватившая меня затем жажда разрушения послужила мне средством выразить благодарность судьбе и произвести известного рода «жертвенное действие», словно я дал обет: если она выздоровеет, я принесу в жертву тот или иной предмет! Если я для этой жертвы выбрал как раз Венеру Медицейскую, то в этом должен заключаться, очевидно, талантливый комплимент больной; но непонятным остается мне и на этот раз, как это я так быстро решился, так ловко метил и не попал ни в один из стоявших в ближайшем соседстве предметов.

Другой случай, когда я опять-таки воспользовался пером, выпавшим из моей руки, для того чтобы разбить одну вещицу, имел тоже значение жертвы, но на этот раз просительной жертвы, стремящейся отвратить нечто грозящее. Я позволил себе раз сделать моему верному и заслуженному другу упрек, основывавшийся исключительно на толковании известных симптомов его бессознательной жизни. Он обиделся и написал письмо, в котором просил меня не подвергать моих друзей психоанализу. Пришлось признать, что он прав, и я написал ему успокоительный ответ. В то время как я писал это письмо, предо мной стояло мое новейшее приобретение — великолепно глазурованная египетская фигурка. Я разбил ее указанным выше способом и тотчас же понял, что я сделал это, чтобы избежать другой, большей беды. К счастью, и статуэтку, и дружбу удалось вновь скрепить так, что трещина стала совершенно незаметной.

Третий случай находится в менее серьезной связи; это была лишь, употребляя выражение Т. Фишера, замаскированная «экзекуция» над объектом, который мне перестал нравиться. Я некоторое время носил палку с серебряным набалдашником; как-то раз, не по моей вине, тонкая серебряная пластинка была повреждена и плохо починена. Вскоре после того, как палка вернулась ко мне, я зацепил, играя с детьми, набалдашником за ногу одного из ребят, при этом он, конечно, сломался пополам, и я был от него избавлен.

То равнодушие, с которым во всех этих случаях относишься к причиненному ущербу, может служить доказательством, что при совершении этого действия имелось налицо бессознательное намерение.

Случаи, когда роняешь, опрокидываешь, разбиваешь что-либо, служат, по-видимому, очень часто проявлением бессознательных мыслей; иной раз это можно доказать анализом, но чаще об этом можно догадываться по тем суеверным или шуточным толкованиям, которые связываются с подобного рода действиями в народной молве. Известно, какое толкование дается, например, когда кто-нибудь просыплет соль, или опрокинет стакан с вином, или уронит нож так, чтобы он воткнулся стоймя, и т. д. О том, в какой мере эти суеверные толкования могут претендовать на признание, я буду говорить ниже; здесь будет лишь уместно заметить, что отдельный неловкий акт отнюдь не имеет постоянного значения: смотря по обстоятельствам он употребляется как средство выражения того или иного намерения.

Когда прислуга роняет и уничтожает таким образом хрупкие предметы, то, наверное, никто не подумает при этом прежде всего о психологическом объясне-

нии, и, однако, здесь тоже не лишена вероятности некоторая доля участия темных мотивов. Ничто так не чуждо необразованным людям, как способность ценить искусство и художественные произведения. Наша прислуга охвачена чувством глухой вражды по отношению к этим предметам, особенно тогда, когда вещи, ценности которых она не видит, становятся для нее источником труда. Люди того же происхождения и стоящие на той же ступени образования нередко обнаруживают в научных учреждениях большую ловкость и надежность в обращении с хрупкими предметами, но это бывает тогда, когда они начинают отождествлять себя с хозяином и причислять себя к главному персоналу данного учреждения.

Когда случается уронить самого себя, оступиться, поскользнуться, это тоже не всегда нужно толковать непременно как случайный дефект моторного акта. Двусмысленность самих этих выражений (einen Fehltritt machen — оступиться и сделать ложный шаг) указывает уже на то, какой характер могут иметь скрытые фантазии, проявляющиеся в этой потере телесного равновесия. Я вспоминаю целый ряд легких нервных заболеваний у женщин и девушек, которые наступают после падения без поранения и рассматриваются как травматическая истерия, вызванная испугом при падении. Я уже тогда выносил такое впечатление, что связь между событиями здесь иная, что само падение было как бы подстроено неврозом и служило выражением тех же бессознательных фантазий с сексуальным содержанием, которые скрываются за симптомами и являются движущими силами их. Не это ли имеет в виду и пословица: «Когда девица падает, то падает на спину»?

К числу ошибочных движений можно отнести также и тот случай, когда даешь нищему вместо меди и серебра золотую монету. Разрешение подобных случаев легко: это жертвенные действия, предназначенные для того, чтобы умилостивить судьбу, отвратить бедствие и т. д. Если этот случай произошел с нежной матерью или теткой и если непосредственно перед прогулкой, в течение которой она проявила эту невольную щедрость, она высказала опасение о здоровье ребенка, то можно не сомневаться насчет смысла этой якобы досадной случайности. Этим путем акты, совершаемые по ошибке, дают нам возможность выполнять все те благочестивые и суеверные обычаи, которые в силу сопротивления, которое оказывает им наш неверующий разум, вынуждены бояться света сознания.

д) Положение о том, что случайные действия являются, в сущности, преднамеренными, вызывает меньше всего сомнения в области сексуальных проявлений, где граница между этими обеими категориями действительно стирается. Несколько лет тому назад я испытал на самом себе прекрасный пример того, как неловкое на первый взгляд движение может быть самым утонченным образом использовано для сексуальных целей. В одном близко знакомом мне доме я встретился с приехавшей туда в гости молодой девушкой; когда-то я был к ней не совсем равнодушен, и хотя я считал это делом давно минувшим, все же ее присутствие сделало меня веселым, разговорчивым и любезным. Я тогда уже задумался над тем, каким образом это случилось; годом раньше я был к этой же девушке полностью равнодушным. В это время в комнату вошел ее дядя, очень старый человек, и мы оба вскочили, чтобы принести ему стоявший в углу стул. Она была быстрее меня и, вероятно, ближе к объекту — схватила кресло первая и понесла, держа его перед собой спинкой назад и положив обе руки на ручки кресла. Так как я подошел поз-

же и все же не оставил намерения отнести кресло, то оказался вдруг вплотную позади нее и охватил ее сзади наперед руками так, что на момент они сошлись впереди у ее бедер. Конечно, я переменил это положение столь же быстро, как оно создалось. По-видимому, никто и не заметил, как ловко я использовал это неловкое движение.

При случае мне приходилось убедиться и в том, что те досадные, неловкие движения, которые делаешь, когда хочешь на улице уступить дорогу и в течение нескольких секунд топчешься то вправо, то влево, но всегда в том же направлении, что и твой визави, пока, наконец, не останавливаются оба, — что и в этих движениях, которыми «заступаешь дорогу», повторяются непристойные, вызывающие действия ранних лет и под маской неловкости преследуются сексуальные цели. Из психоанализов, производимых мной над невротиками, я знаю, что так называемая наивность молодых людей и детей часто бывает лишь такого рода маской, для того чтобы иметь возможность без стеснения говорить или делать неприличные вещи.

Совершенно аналогичные наблюдения над самим собой сообщает В. Штекель. «Я вхожу в дом и подаю хозяйке руку. Удивительным образом я при этом развязываю шарф, стягивающий ее свободное утреннее платье. Я не знаю за собой никакого нечестного намерения и все же совершаю это неловкое движение с ловкостью карманника».

е) Эффект, создающийся в результате ошибочных действий нормальных людей, носит обыкновенно безобидный характер. Тем больший интерес вызывает вопрос, можно ли в каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на такие случаи ошибочных действий, которые имеют более важное значение и сопровождаются серьезным последствием, как, например, ошибки врача или аптекаря.

Так как мне очень редко случается оказывать врачебную помощь, то я могу привести лишь один пример из собственной практики. У одной очень старой дамы, которую я в течение ряда лет посещаю ежедневно дважды в день, моя медицинская деятельность ограничивается утром двумя актами: я капаю ей в глаз несколько глазных капель и делаю впрыскивание морфия. Для этого всегда стоят наготове две бутылочки: синяя — для глазных капель и белая — с раствором морфина. Во время обоих актов мои мысли обычно заняты чем-либо другим; я проделывал это столько раз, что мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды утром я заметил, что «автомат» сработал неправильно. Пипетка вместо синей бутылки погрузилась в белую и накапала в глаза не глазные капли, а морфин. Я сильно испугался, но затем рассудил, что несколько капель двухпроцентного морфина не могут повредить и конъюнктивальному мешку, и успокоился. Очевидно, ощущение страха должно было исходить из какого-нибудь другого источника.

При попытке подвергнуть анализу этот маленький ошибочный акт мне прежде всего пришла в голову фраза, которая могла указать прямой путь к решению «sich an der Alten vergreifen»[1]. Я находился под впечатлением сна, который мне рассказал накануне вечером один молодой человек и содержание которого могло

---

[1] Посягнуть на старуху. Глагол vergreifen означает вместе с тем и «совершить ошибочное действие», буквально: «взять не то». — *Примеч. пер.*

бы быть истолковано лишь в смысле полового сношения с собственной матерью[1]. То странное обстоятельство, что легенда не останавливается перед возрастом царицы Иокасты, вполне подтверждает, думалось мне, тот вывод, что при влюбленности в собственную мать дело никогда не идет о ее личности в данный момент, а о юношеском образе, сохранившемся в воспоминаниях детства. Подобного рода несообразности получаются всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя периодами времени фантазия становится сознательной и в силу этого привязывается к определенному времени. Погруженный в такого рода мысли, я и пришел к своей пациентке, старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в общечеловеческом характере сказания об Эдипе увидеть коррелят судьбы, говорящей устами оракула; ибо я затем совершил ошибочное действие у старухи, или посягнул на старуху (vergriff mich «bei oder an der Alten»). Однако этот инцидент носил безобидный характер: из двух возможных ошибок — употребить раствор морфина вместо капель или впрыснуть глазные капли — я избрал несравненно более безобидную. И вопрос все же остается в силе: позволительно ли в случаях таких ошибочных действий, которые могут повлечь за собой большую беду, также предполагать бессознательное намерение, подобно тому, как в рассмотренных нами примерах?

Для решения этого вопроса у меня, как и следует ожидать, нет достаточного материала, и мне приходится ограничиваться предположениями и аналогиями. Известно, что в тяжелых случаях психоневроза в качестве болезненных симптомов выступают иной раз самоповреждения и что самоубийство как исход психического конфликта никогда не бывает при этом исключено. Я убедился — и когда-нибудь возьмусь подтвердить это на вполне выясненных примерах, что многие на вид случайные повреждения, совершаемые такими больными, в сущности не что иное, как самоповреждения; постоянно сторожащая тенденция самобичевания, которая обычно проявляется в упреках, делаемых самому себе, или же играет ту или иную роль в образовании симптомов, — эта тенденция ловко использует случайно создавшуюся внешнюю ситуацию или же помогает ей создаться, пока не получится желаемый эффект — повреждение. Такие явления наблюдаются весьма нередко даже и в не особенно тяжелых случаях, и роль, которую играет при этом бессознательное намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт, как, например, в том поразительном спокойствии, которое сохраняют больные при мнимом несчастии[2].

Из медицинской практики я хочу вместо многих примеров рассказать подробно один случай. Одна молодая женщина упала из экипажа и сломала себе при этом ногу; ей приходится оставаться в постели в течение ряда недель, и при этом бросается в глаза, как мало она жалуется на боль и с каким спокойствием переносит свою беду. Со времени этого несчастного случая начинается долгая и тяжкая нерв-

[1] Это «сон Эдипа», как я его обыкновенно называю, так как он заключает в себе ключ к пониманию легенды о царе Эдипе. В тексте у Софокла ссылка на такого рода сон вложена в уста Иокасте (ср. Traumdeutung, S. 182).

[2] При современном состоянии культуры самоповреждение, не имеющее целью полного самоуничтожения, вынуждено либо укрываться за ширмой случайности, либо прибегать к симулированию внезапного заболевания. Некогда самоповреждение было обычным выражением горя; в иные времена оно могло служить выражением набожности и отречения от мира.

ная болезнь, от которой она в конце концов излечивается при помощи психотерапии. Во время лечения я узнаю условия, в которых произошел этот несчастный случай, равно как и некоторые впечатления, предшествовавшие ему. Молодая женщина гостила вместе со своим мужем, очень ревнивым человеком, в имении своей замужней сестры, в многолюдном обществе сестер, братьев, их мужей и жен. Однажды вечером она показала в этом интимном кругу один из своих талантов: протанцевала по всем правилам искусства канкан — к великому одобрению родных, но к неудовольствию мужа, который потом прошептал ей: «Ты вела себя опять как девка». Слово это попало в цель; были ли тому виной именно танцы — для нас не важно. Ночь она спала неспокойно. На следующее утро захотела ехать кататься. Лошадей она выбирала сама, забраковала одну пару, выбрала другую. Младшая сестра хотела взять с собой своего грудного ребенка с кормилицей; против этого она чрезвычайно энергично запротестовала. Во время поездки она нервничала, предупреждала кучера, как бы лошади не понесли, и когда беспокойные кони действительно закапризничали, выскочила в испуге из коляски и сломала себе ногу, в то время как оставшиеся в коляске вернулись целыми и невредимыми. Зная эти подробности, вряд ли можно сомневаться в том, что этот несчастный случай был в сущности подстроен, но вместе с тем нельзя не удивляться той ловкости, с какой она заставила случай применить наказание, столь соответствующее ее вине. Ибо теперь ей долгое время уже нельзя было танцевать канкан.

У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи самоповреждения в нормальном состоянии, но при исключительных обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец и т. д., то вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я спрашиваю: зачем ты это сделал? Однако я сам прищемил себе очень больно палец, когда некий молодой пациент выразил у меня на приеме намерение (которого, конечно, нельзя было принять всерьез) жениться на моей старшей дочери, в то время как я знал, что она как раз находится в санатории и ее жизни угрожает величайшая опасность.

У одного из моих мальчиков очень живой темперамент, и это затрудняет уход за ним, когда он болен. Однажды утром с ним случилась вспышка гнева из-за того, что ему было велено остаться до обеда в кровати, и он грозил покончить с собой (он прочел о подобном случае в газете). Вечером он показал мне шишку, которую получил, стукнувшись левой стороной грудной клетки о дверную ручку. На мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел этим добиться, одиннадцатилетний ребенок ответил словно в озарении: это была попытка самоубийства, которым я грозил утром. Не думаю, чтобы мои взгляды на самоповреждение были тогда доступны моим детям.

Кто верит в возможность полунамеренного самоповреждения, если будет позволено употребить это неуклюжее выражение, тот будет этим самым подготовлен к другому допущению: что кроме сознательного, намеренного самоубийства существует еще и полунамеренное самоуничтожение — с бессознательным намерением, способным ловко использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не редкость, ибо число людей, у которых действует с известной силой тенденция к самоуничтожению,

гораздо больше того числа, у которых она одерживает верх; самоповреждения — это в большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и противодействующими ей силами; и там, где дело действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется задолго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и подавленной тенденции.

Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает себе время, средства и удобный случай; и это вполне соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает какого-либо повода, который мог бы сыграть известную роль в ряду причин самоубийства, отвести на себя защитные силы данного лица и тем высвободить его намерение от связывающих его сил[1]. Это отнюдь не праздные рассуждения; мне известен не один пример случайных по виду несчастий (при верховой езде или в экипаже), ближайшие условия которых оправдывают подозрение бессознательно допущенного самоубийства.

Так, например, на офицерских скачках один офицер падает с лошади и получает столь тяжелые повреждения, что некоторое время спустя умирает. То, как он себя держал, когда пришел в сознание, во многих отношениях странно. Еще более заслуживает внимания его поведение до этого. Он глубоко огорчен смертью любимой матери, начинает в обществе товарищей судорожно рыдать, говорит своим близким друзьям, что жизнь ему надоела, хочет бросить службу и принять участие в африканской войне, которая, вообще говоря, его ничуть не затрагивает[2]; блестящий ездок — он теперь избегает верховой езды, где только возможно. Наконец, перед скачками, от участия в которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном предчувствии; что удивительного при таком состоянии, если предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того понятно, что человек в такой нервной депрессии не может так же справиться с конем, как в здоровом состоянии, — вполне согласен; но механизм того моторного стеснения, которое вызывается «нервозностью», я ищу в выделенном здесь намерении самоубийства.

Если за случайной на первый взгляд неловкостью и несовершенством моторных актов может скрываться такое интенсивное посягательство на свое здоровье и жизнь, то остается сделать еще только шаг, чтобы найти возможным распространение этого взгляда на такие случаи ошибочных действий, которые серьезно угрожают жизни и здоровью других людей. Примеры, которые я могу привести в подтверждение этого взгляда, заимствованы из наблюдений над невротиками,

---

[1] Это в сущности то же самое, что происходит при покушениях сексуального свойства, когда женщина не может противопоставить нападению мужчины всей своей мускульной силы, ибо некоторая доля бессознательных движений ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что подобное положение парализует силы женщины; остается к этому прибавить лишь основания, почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санчо Пансы, в бытность его губернатором на острове, психически несправедлив (Дон Кихот, II ч., гл. XLV). Женщина привлекает к суду мужчину, который якобы насильно обесчестил ее. Санчо дает ей в качестве возмещения кошелек, взятый у подсудимого, но после того как женщина ушла, разрешает ему догнать ее и отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь, обратно, и женщина хвастается, что злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санчо отвечает: если бы ты защищала свою честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог бы тебя лишить ее.

[2] Что ситуация на поле сражения идет навстречу сознательному намерению самоубийства, все еще боящегося прямого пути, это ясно. Ср. в «Валленштейне» слова шведского капитана о смерти Макса Пикколомини: «Говорят, он хотел умереть».

стало быть, не вполне отвечают нашему требованию. Сообщу здесь об одном случае, в котором, собственно, не ошибочное действие, а то, что можно бы скорее назвать симптоматическим или случайным действием, навело меня на след, давший затем возможность разрешить конфликт больного. Я взял раз на себя задачу улучшить супружеские отношения в семье одного очень интеллигентного человека; недоразумения между ним и нежно любящей его молодой женой, конечно, имели под собой известные реальные основания, но, как он сам признавал, не находили себе в них полного объяснения. Он неустанно носился с мыслью о разводе, но затем опять отказался от нее, так как нежно любил своих двоих детей. Все же он постоянно возвращался к этому плану, причем, однако, не испробовал ни единого средства, чтобы сделать свое положение сколько-нибудь сносным. Подобного рода неспособность покончить с конфликтом служит мне доказательством того, что в деле замешаны бессознательные и вытесненные мотивы, которые подкрепляют борющиеся между собой сознательные мотивы, и в таких случаях я берусь за ликвидацию конфликта путем психического анализа. Однажды муж рассказал мне про маленький инцидент, донельзя испугавший его. Он играл со своим старшим ребенком — которого любит гораздо больше, чем второго, — подбрасывал его кверху и затем опускал вниз, причем раз поднял на таком месте и так высоко, что ребенок почти что ударился теменем о висящую на потолке тяжелую люстру. Почти что, но в сущности не ударился или чуть-чуть не ударился. С ребенком ничего не случилось, но с испугу у него закружилась голова. Отец в ужасе остался на месте с ребенком на руках — с матерью сделался истерический припадок. Та особенная ловкость, с какой совершено было это неосторожное движение, интенсивность, с какой реагировали на него родители, побудили меня усмотреть в этой случайности симптоматическое действие, в котором должно было выразиться недоброе намерение по отношению к любимому ребенку. Этому противоречила нежная любовь отца к ребенку, но противоречие устранялось, стоило лишь отнести порыв к повреждению к тому времени, когда это был еще единственный ребенок и когда он был так мал, что отец мог и не относиться к нему с особенной нежностью. Мне нетрудно было предположить, что неудовлетворенный своею женой муж имел такую мысль или намерение: если это маленькое существо, для меня безразличное, умрет, я буду свободен и смогу развестись с женой. Желание смерти этого, теперь столь любимого существа должно было, таким образом, бессознательно сохраниться. Отсюда нетрудно было найти путь к бессознательной фиксации этого желания. Существование могущественной детерминации действительно выяснилось из детских воспоминаний пациента — о том, что смерть маленького брата, которую мать приписывала небрежности отца, привела к резким столкновениям, сопровождавшимся угрозой развода. Дальнейшая история семейной жизни моего пациента подтвердила мою комбинацию благодаря терапевтическому успеху.

IX. Симптоматические и случайные действия

Описанные выше действия, в которых мы нашли выполнение того или иного бессознательного намерения, выступают в форме нарушения других — преднамерен-

ных — действий и совершаются под предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы будем говорить теперь, отличаются от ошибочных действий лишь тем, что они не стремятся установить связь с каким-либо сознательным намерением и в силу этого не нуждаются в предлогах. Они выступают сами по себе и не встречают сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и намерения. Их совершают, «ничего при этом не думая», «чисто случайно», «чтобы куда-нибудь руки деть», и рассчитывают, что такой ответ положит конец расследованию о значении этого поступка. Для того чтобы оказаться в таком исключительном положении, действия эти, не находящие себе оправдания в неловкости, должны удовлетворять определенным условиям: не должны бросаться в глаза и эффект их должен быть незначителен.

Я собрал значительное количество такого рода случайных действий у себя и у других — и после тщательного исследования отдельных примеров полагаю, что они скорее заслуживают названия симптоматических действий. Они выражают нечто, чего в них не подозревает действующий субъект и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при себе. Таким образом, подобно всем остальным рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов.

Конечно, наиболее обильную жатву такого рода случайных или симптоматических действий мы собираем при психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться, чтобы не показать на двух почерпнутых отсюда примерах, как далеко идет и как тонко бывает обусловливание этих незаметных явлений бессознательными мыслями. Грань, отделяющая симптоматические действия от ошибочных, нечеткая, поэтому эти примеры я мог бы отнести и к предыдущей главе.

а) Молодая женщина рассказывает во время визита, что ей пришло в голову: вчера, обрезывая ногти, она «порезала себе палец, когда хотела срезать тонкую кожицу у ногтя». Это настолько неинтересно, что с удивлением спрашиваешь себя, зачем об этом вспоминать и говорить, — и приходишь к предположению, что имеешь дело с симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором носят обручальное кольцо. Кроме того, это была годовщина ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает поранению тонкой кожицы вполне определенный смысл, который нетрудно разгадать. Одновременно с этим она рассказывает также сон, содержащий указания на неловкость ее мужа и на фригидность ее как женщины. Однако почему она поранила себе палец левой руки, в то время как обручальное кольцо носят ведь на правой? Ее муж юрист — «доктор права»[1], а когда она была девушкой, то втайне была неравнодушна к врачу (в шутку: «доктор лева»)[2]. Брак с левой стороны (левой руки) имеет тоже вполне определенное значение[3].

б) Молодая барышня рассказывает: «Вчера я совершенно ненарочно разорвала пополам билет в сто гульденов и дала одну половинку даме, бывшей у меня в гостях. Что, это тоже симптоматический поступок?» Более тщательное расследование обнаруживает следующие детали. Барышня посвящает часть своего времени и состояния делам благотворительности. Вместе с другой дамой она заботится

---

[1] По-немецки игра слов: «доктор права» и «доктор правой руки» (Rechte). — *Примеч. пер.*

[2] Linke — левая рука. — *Примеч. пер.*

[3] Zur linken Hand heiraten — вступать в морганатический брак. — *Примеч. ред. перевода.*

о воспитании одного ребенка-сироты. Билет в сто гульденов — это присланный ей взнос той другой дамы, который она вложила в конверт и пока оставила у себя на письменном столе.

Гостьей была уважаемая дама, оказывающая ей содействие в других благотворительных делах. Дама эта хотела записать себе имена лиц, к которым можно обратиться за пожертвованиями. Под рукой не было бумаги, и тогда моя пациентка схватила конверт, лежавший на письменном столе, и, не думая о его содержимом, разорвала его на две части, из которых одну оставила у себя, чтобы оставить у себя копию списка, а другую передала своей посетительнице. Замечателен безобидный характер этого нецелесообразного поступка. Как известно, ассигнация не теряет цены, будучи разорвана, если только из остатков можно составить ее всю целиком. Что дама не выбросила бы этого куска бумаги, тому была порукой важность записанных имен; не могло быть также сомнения в том, что она вернет ценное содержание конверта, лишь только заметит.

Какое же бессознательное намерение должно было выразиться в этом случайном, совершенном по забывчивости действии? Посетительница имела вполне определенное отношение к нашему курсу лечения. Это она в свое время отрекомендовала меня больной девушке как врача, и, если я не ошибаюсь, моя пациентка считает себя в долгу перед ней за этот совет. Не должна ли была половинка ассигнации изображать нечто вроде гонорара за посредничество? Все же это было бы в достаточной мере странно.

Однако к этому присоединяется еще и материал иного рода. За несколько дней до этого посредница совершенно иного свойства спросила у одной родственницы, не угодно ли будет барышне познакомиться с неким господином; и в то же утро, о котором идет речь, за несколько часов до посещения дамы, было получено от этого господина письмо, в котором он сделал моей пациентке предложение, давшее повод к большому веселью. Когда затем дама начала разговор с вопроса о здоровье моей пациентки, эта последняя могла подумать: «Подходящего врача ты мне отрекомендовала, но если бы ты могла помочь мне найти подходящего мужа (а за этим скрывалось: получить ребенка), я была бы тебе все же более благодарна». В силу этой вытесненной мысли обе посредницы слились для нее воедино, и она вручила своей посетительнице гонорар, предназначавшийся в ее фантазии для другой. Это решение станет вполне убедительным, если добавить, что не далее как накануне вечером я ей рассказал про такого рода случайные или симптоматические действия. Она воспользовалась первым же случаем, чтобы сделать нечто аналогичное.

Все эти в высшей степени распространенные случайные и симптоматические действия можно было бы разделить на две группы в зависимости от того, происходят ли они в силу привычек, регулярно при известных обстоятельствах, или же являются актами единичными. Первые (человек играет цепочкой от часов, щиплет бороду и т. п.), являющиеся едва ли не характерными для данного лица вообще, близко соприкасаются с разнообразными формами тика и подлежат рассмотрению в связи с ними. Ко второй группе я отношу такие явления, как, например, человек играет палкой, оказавшейся у него в руках, чертит карандашом, подвернувшимся под руку, бренчит монетами в кармане, лепит из теста или какого-ни-

будь другого пластического материала, теребит свое платье и т. д. За этими различными видами игры систематически обнаруживаются при психическом анализе известные смысл и значение, не находящие себе иного выражения. Обыкновенно данное лицо и не подозревает о том, что оно нечто подобное делает или что оно так или иначе вносит модификации в свои обычные жесты; оно не слышит и не видит также и эффекта этих действий. Оно не слышит, например, шума, который производит, побрякивая монетами в кармане, и выражает удивление и недоверие, когда на это обращают его внимание. Полно значения и заслуживает внимания врача также и все то, что человек, часто сам того не замечая, проделывает со своим платьем. Каждое видоизменение обычного костюма, мелкая неряшливость — скажем, незастегнутая пуговица, каждый след обнажения — все это выражает нечто, чего владелец платья не хочет сказать прямо или в большинстве случаев даже и не может выразить. Толкование этих мелких случайных действий, равно как и доказательства для этого толкования, вытекают каждый раз с достаточной убедительностью из сопутствующих условий, в которых происходил данный визит, из темы разговора, из тех мыслей, которые приходят в голову данному лицу, когда его внимание обращается на его якобы случайный поступок. В данной связи я воздержусь от того, чтобы подкрепить мои утверждения примерами и анализом их; упоминаю все же об этих вещах потому, что полагаю, что и в применении к нормальным людям они имеют то же значение, что и для моих пациентов.

Из моего психотерапевтического опыта я могу привести случай, когда красноречивое показание было дано рукой, игравшей хлебным шариком. Моим пациентом был мальчик, еще не достигший 13 лет, но уже два года страдавший истерией в тяжелой форме; продолжительное пребывание в водолечебнице оказалось безрезультатным, и я взял его наконец к себе для психоаналитического лечения. Я предполагал, что он должен был столкнуться с теми или иными явлениями сексуального характера и что сообразно с его возрастом его должны были мучить половые вопросы; я воздерживался, однако, от того, чтобы прийти ему на помощь своими разъяснениями, так как хотел еще раз проверить свои предпосылки. Меня интересовало, каков будет тот путь, которым обозначится у него искомое. Мне бросилось тогда в глаза, что он однажды катал что-то пальцами правой руки, засунул затем в карман, продолжал там играть, потом опять вытащил и т. д. Я не спрашивал, что у него в руке; однако он сам показал мне это, раскрыв вдруг руку. Это был хлебный мякиш, смятый в комок. В следующий раз он опять принес с собой такой комок, и в то время как мы беседовали, он лепил из него с невероятной быстротой, прикрыв глаза, фигуры, которые меня заинтересовали. Это были, несомненно, человечки, с головой, двумя руками, двумя ногами — нечто вроде грубейших доисторических идолов; между ногами у них он оставлял отросток, который он вытягивал в виде длинного острия. Закончив отросток, мальчик тотчас же вновь комкал человечка; позже он его оставлял, но вытягивал такой же отросток на спине и в других местах, чтобы скрыть значение первого. Я хотел ему показать, что понял его, но при этом устранить возможность отговорки насчет того, что он, мол, при этой лепке человечков ни о чем не думает. С этой целью я спросил его внезапно, помнит ли он историю римского царя, который дал посланцу своего сына ответ в саду путем пантомимы. Мальчик не хотел этого припомнить, хотя

должен был учить об этом несравненно позднее меня. Он спросил, не история ли это с рабом, у которого написали ответ на гладко выбритом черепе. Нет, это относится к греческой истории, ответил я и стал рассказывать. Царь Тарквиний Гордый велел своему сыну Сексту пробраться во враждебный латинский город. Сын, успевший завербовать себе сторонников в этом городе, послал к царю гонца с вопросом, что ему делать дальше. Царь ничего не ответил, пошел в сад, велел там повторить вопрос и молча стал сбивать самые большие и красивые головки мака. Гонцу не оставалось ничего другого, как рассказать об этом Сексту, который понял отца и нашел удобный случай, чтобы убить наиболее видных граждан города.

В то время как я говорил, мальчик перестал лепить, и когда я еще только начал рассказывать о том, что сделал царь в своем саду, то уже при словах «молча стал сбивать» он молниеносно быстрым движением оторвал своему человечку голову. Стало быть, он меня понял и заметил, что понят мною. Теперь я мог прямо поставить ему вопросы, дал нужные ему разъяснения, и в течение короткого времени мы покончили с неврозом.

Симптоматические действия, которые можно наблюдать в неисчерпаемом изобилии у здоровых, как и у больных людей, заслуживают нашего внимания по многим причинам. Врачу они служат часто ценными указаниями для ориентировки в новых или недостаточно знакомых ему условиях; исследователю людей они говорят нередко все, иной раз даже больше, чем он сам хотел бы знать. Кто умеет их ценить, иной раз походит на царя Соломона, который, согласно восточной легенде, понимал язык зверей. Однажды я должен был подвергнуть медицинскому осмотру незнакомого мне молодого человека в доме его матери. Когда он вышел мне навстречу, мне бросилось в глаза на его брюках большое пятно белка, которое можно узнать по особым затверделым краям. После нескольких секунд смущения молодой человек стал оправдываться, что он охрип и выпил поэтому сырое яйцо, причем несколько капель жидкого белка, очевидно, и вылилось на его брюки; в подтверждение этого он мог показать мне яичную скорлупу, которая еще осталась в тарелке в той же комнате. Таким образом, подозрительное пятно было объяснено самым безобидным образом; однако, когда его мать оставила нас одних, я поблагодарил его за то, что он так облегчил мне диагноз, и без дальнейших вопросов взял за основу нашего разговора его признание, что он страдает мастурбацией. В другой раз я посетил на дому некую столь же богатую, сколько скупую и глупую даму, ставившую обычно перед врачом задачу прокладывать себе дорогу через целое полчище жалоб, пока не доберешься до самого простого объяснения ее положения. Когда я вошел, она сидела за небольшим столом и занималась тем, что раскладывала кучками серебряные гульдены; когда она поднялась, несколько монет упали на пол. Я помог ей подобрать их, и когда она стала рассказывать о своих бедствиях, скоро перебил ее вопросом: стало быть, ваш знатный зять опять вверг вас в расход? Она с озлоблением отрицала это — с тем, чтобы несколько минут спустя рассказать мне досадную историю о том, как ее взволновала расточительность зятя. С тех пор она меня уже больше не приглашала. Не могу сказать, чтобы с теми, кому объясняешь значение их симптоматических действий, всегда устанавливались дружеские отношения.

Случайные и симптоматические действия, относящиеся к области супружеских отношений, имеют зачастую самое серьезное значение и могли бы заставить человека, не желающего считаться с психологией бессознательного, уверовать в приметы. Когда молодая женщина во время свадебного путешествия теряет свое обручальное кольцо, это дурное начало; впрочем, обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь заложила его и потом находит. — Я знаю одну даму, теперь она уже развелась с мужем, которая сплошь да рядом подписывала свои бумаги — по имущественным делам — своей девичьей фамилией, и это за много лет до того, как она стала ее вновь носить на самом деле. — Однажды я был в гостях у молодоженов и слышал, как молодая женщина со смехом рассказывала, что с ней недавно случилось. На следующий день после возвращения из путешествия она пошла к своей незамужней сестре, чтобы, как в прежние времена, отправиться с ней вместе за покупками, в то время как муж ее пошел по своим делам. Вдруг ей бросился в глаза какой-то господин, шедший по другой стороне улицы, она толкнула сестру и вскрикнула: смотри, вот господин Л. Она забыла, что этот господин уже в течение нескольких недель — ее муж. У меня мороз пробежал по коже, когда я это услышал; все же я не решился сделать отсюда соответствующий вывод. Мелкий инцидент этот вспомнился мне лишь несколько лет спустя, когда брак этот закончился самым печальным образом.

О знаменитой актрисе Элеоноре Дузе один мой друг, научившийся внимательно присматриваться к знакам, рассказывает, что в одной из своих ролей она совершает симптоматическое действие, ясно показывающее, из каких глубоких источников идет ее игра. Эта драма — о супружеской неверности; героиня только что имела объяснение с мужем и стоит теперь в стороне, погруженная в мысли, в ожидании искусителя. В этот короткий промежуток времени она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает. Теперь она созрела уже для другого.

Мне известен также случай с одним пожилым господином, который взял себе в жены очень юную девушку и собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из отелей того же города. Едва они успели приехать в отель, как он с ужасом заметил, что при нем нет бумажника, в котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной поездки; он сунул его куда-нибудь или потерял. Удалось все же разыскать по телефону слугу, который нашел бумажник в старом сюртуке молодожена и принес его в отель своему господину, вступившему, таким образом, в брак без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро отправиться со своей молодой женой в дорогу, но в течение ночи он, как это и предвещали его опасения, остался «несостоятельным».

Утешительно думать, что приключающиеся с людьми «потери» являются чаще, чем мы полагаем, симптоматическими действиями и идут благодаря этому навстречу хотя бы тайному намерению пострадавшего лица. Потеря бывает часто лишь выражением того, что человек не дорожит утраченным предметом, втайне не расположен к этому предмету или к лицу, от которого он исходит, или, наконец, что готовность утраты была перенесена на этот предмет с других, более важных объектов путем символической связи мыслей. Потеря более ценных вещей служит выражением для самых разнообразных импульсов, она должна либо сим-

волически представлять вытесненную мысль и, стало быть, повторять напоминание, которое охотнее всего хотелось бы пропустить мимо ушей, либо — и это скорее всего — она стремится принести жертву темным силам судьбы, культ которых не исчез еще и в нашей среде[1].

Из числа единичных случайных действий я приведу пример, который и без анализа допускает более глубокое толкование и прекрасно выясняет условия, при которых подобные симптомы продуцируются самым незаметным образом; в связи с ним уместно будет также одно практически важное замечание. Летом во время путешествия мне случилось в одной местности ждать несколько дней своего спутника. В это время я познакомился с молодым человеком, который также чувствовал себя одиноким и охотно составил мне компанию. Так как мы жили в одном отеле, то, естественно, сложилось так, что мы рядом сидели за столом и вместе совершали прогулки. На третий день он вдруг сообщил мне после обеда, что ожидает сегодня вечером со скорым поездом свою жену. Это пробудило во мне интерес психолога, ибо я еще утром заметил, что мой знакомый отклонил предложение насчет более длительной экскурсии и во время той небольшой прогулки, которую мы совершили, не захотел идти по одной из дорожек, слишком крутой и опасной, по его мнению. Гуляя после обеда, он стал вдруг говорить о том, чтобы я не откладывал из-за него ужина, так как он сам будет ужинать лишь когда приедет его жена, вместе с ней. Я понял намек и сел за стол, когда он отправился на вокзал. На следующее утро мы встретились в вестибюле отеля. Он представил мне жену и добавил затем: «Ведь вы позавтракаете с нами?» Мне нужно было еще сходить кое за чем в ближайшую улицу, и я обещал скоро вернуться. Когда я вошел в столовую, то увидел, что мои знакомые уселись за маленьким столиком у окна, заняв места по одну сторону его. По другую сторону стоял стул, на спинке которого висел большой тяжелый плащ молодого человека, покрывая сиденье. Я прекрасно понял смысл этого расположения, бессознательного конечно, но тем более

---

[1] Вот маленькая коллекция различных симптоматических действий, наблюдавшихся у здоровых и у больных людей. Пожилой коллега, не любящий проигрывать в карты, однажды вечером, не жалуясь, но в каком-то странном, сдержанном настроении уплачивает довольно значительную проигранную сумму. После его ухода оказывается, что он оставил на своем месте едва ли не все, что имел при себе: очки, портсигар, носовой платок. В переводе это должно означать: «Разбойники! Ловко вы меня ограбили». — Один господин, страдавший время от времени импотенцией, коренящейся в его искренних отношениях к матери в детстве, рассказывает о своей привычке снабжать рукописи и записи буквой S, первой буквой имени его матери. Он не переносит, чтобы письма из дому соприкасались на его письменном столе с другими, нечистыми письмами, и вынужден поэтому хранить их отдельно. — Молодая дама вдруг открывает дверь моей приемной, в которой еще находится предыдущая посетительница. Она оправдывается тем, что «не подумала»; вскоре, однако, обнаруживается, что она демонстрировала то же любопытство, которое в свое время заставляло ее проникать в спальню родителей. — Девушки, гордящиеся своими красивыми волосами, умеют так ловко обходиться с гребнем и шпильками, что волосы рассыпаются у них во время разговора. — Многие мужчины, подвергаясь медицинскому исследованию (в лежачем положении), высыпают деньги из кармана и таким образом вознаграждают труд врача сообразно с тем, как они его ценят. — Кто забывает у врача предмет, принесенный с собой, например пенсне, платок, сумку, показывает этим обыкновенно, что не может вырваться и хотел бы скоро вернуться. — Кто возьмет на себя труд, подобно Юнгу (Über die Psychologie der Dementia praecox, 1907, p. 62), проследить те мелодии, которые напеваешь про себя ненарочно, часто сам того не замечая, тот сможет установить, в виде общего правила, связь между текстом песни и занимающим данное лицо комплексом.

выразительного. Это означало: тебе здесь не место, теперь ты лишний. Муж не заметил, что я остановился перед стулом не садясь; жена заметила это, тотчас же толкнула его и шепнула ему: «Ты же занял место этого господина!»

В этом, как и в подобных ему случаях я говорю себе, что ненамеренные действия должны неминуемо служить источниками недоразумений в общении между людьми. Совершающий их, не подозревая связанного с ними намерения, не вменяет себе их в вину и не считает себя за них ответственным. Но тот, против кого они направляются, обыкновенно делает из подобных действий своего партнера определенные выводы о его намерениях и настроениях и знает о его переживаниях больше, чем тот готов признать, больше, чем тот — на его собственный взгляд — обнаружил. Партнер, в свою очередь, возмущается, если ему ставят на вид сделанные из его симптоматических действий выводы, считает их ни на чем не основанными, ибо намерение, руководившее им, не дошло до его сознания, и жалуется на недоразумение. При ближайшем рассмотрении такие недоразумения основываются на том, что наблюдающее лицо понимает слишком тонко и слишком много. Чем более «нервны» оба действующих лица, тем скорее они оба подают повод к трениям, причем каждый столь же решительно отрицает свою вину, сколь уверен в вине другого. Быть может, в этом и заключается наказание за внутреннюю неискренность, что люди под предлогом забывания, ошибки, непреднамеренности дают проявиться таким импульсам, в которых лучше было бы признаваться и себе самому, и другим, если уже нельзя их преодолеть. Можно установить как общее правило, что каждый человек непрестанно подвергает других людей психическому анализу и благодаря этому знает их лучше, чем самого себя. Путь к осуществлению призыва γνϖυ᾽ σεαὐτόν[1] ведет через изучение своих собственных случайных на вид действий и упущений.

X. Ошибки-заблуждения

Заблуждения (Irrtümer) памяти отличаются от забывания с ошибочным воспоминанием лишь одной чертой: ошибка (неправильное воспоминание) не воспринимается как таковая и находит себе веру. Употребление слова «ошибка» связано, однако, с другим условием. Мы говорим об «ошибке» вместо того, чтобы говорить о «неправильном воспоминании» тогда, когда в воспроизводимом психическом материале должен быть подчеркнут характер объективной реальности, когда, стало быть, воспоминанию подлежит не факт моей внутренней психической жизни, а нечто, поддающееся подтверждению или опровержению при помощи воспоминаний других людей. Противоположностью ошибкам памяти в этом смысле является незнание.

В моей книге «Die Traumdeutung» (1900 г.) я допустил целый ряд искажений исторического и вообще фактического материала и был очень удивлен, когда после выхода книги в свет на них обратили мое внимание. При более близком рассмотрении я нашел, что причиной тому было не мое незнание, а ошибки — заблуждения памяти, которые можно объяснить путем анализа.

---

[1] Познай самого себя. — *Примеч. ред. перевода.*

а) На с. 266[1] я говорю, что Шиллер родился в Марбурге, — название города, встречающееся также в Штирии. Ошибка сделана в изложении анализа одного сновидения, которое я видел во время ночной поездки, когда кондуктор разбудил меня, выкрикнув название Марбург. В этом сновидении был задан вопрос об одной книге Шиллера. Но Шиллер родился не в университетском городе Марбурге, а в швабском Марбахе. Я утверждаю, что всегда знал это.

б) На с. 135 я назвал отца Ганнибала — Гасдрубалом. Эта ошибка была мне особенно досадна, но зато и больше всего убедила меня в правильности моего взгляда на такого рода ошибки. В истории Баркидов редкий из читателей более осведомлен, чем автор, сделавший эту ошибку и проглядевший ее при корректировании книги. Отцом Ганнибала был Гамилькар Барка, Гасдрубал — имя брата Ганнибала, а также и его шурина и предшественника на посту полководца.

в) На с. 177 и 370 я утверждаю, что Зевс оскопил и сверг с престола своего отца Кроноса. Злодеяние это я по ошибке передвинул на целое поколение; в греческой мифологии это сделал Кронос со своим отцом Ураном.

Как же объяснить, что моя память изменила мне здесь, в то время как в других случаях, как в этом могут убедиться читатели моей книги, к моим услугам оказывается самый отдаленный и малоупотребительный материал? И затем, каким образом, при трех тщательнейших корректурах, я проглядел эти ошибки, словно пораженный слепотой?

Гёте сказал про Лихтенберга: когда он шутит, то в его шутке таится проблема. По аналогии с этим можно было бы сказать про приведенные здесь места моей книги: где встречается ошибка, там за ней скрывается вытеснение. Или вернее: неискренность, искажение, в последнем счете основывающееся на вытеснении. При анализе сновидений, приводимых в этой книге, я был вынужден по самой природе тех тем, на которые распространялось содержание сновидения, с одной стороны, обрывать анализ, не доводя его до полного окончания, с другой же стороны, смягчить ту или иную нескромную частность, слегка искажая ее. Иначе нельзя было поступить, разве если отказаться вообще от приведения примеров; у меня не было выбора, это неизбежно вытекало из особенности, присущей снам: служить выражением для вытесненного, т. е. не подлежащего осознанию материала. Несмотря на это, все же осталось, вероятно, немало такого, что могло шокировать щепетильных людей. Это-то искажение или ощущение известного мне продолжения мыслей не прошло бесследно. То, что я хотел подавить, нередко прокладывало себе против моего желания дорогу в область того, что было мной включено в изложение, и проявлялось там в форме ошибок, незаметных для меня. В основе всех трех приведенных мной выше примеров лежит, впрочем, одна и та же тема: ошибки эти коренятся в вытесненных мыслях, касающихся моего покойного отца.

Пример а) Кто даст себе труд прочесть проанализированное на с. 266 сновидение, тот заметит — частью прямо, частью из намеков, что я оборвал анализ на мыслях, которые должны были заключать в себе недоброжелательную критику моего отца. Если продолжать этот ряд мыслей и воспоминаний, то в нем можно найти одну неприятную историю, в которой замешаны книги и некий господин,

[1] 1-е изд. 1900 г.

с которым мой отец вел дела, по фамилии Марбург, — то же имя, которое выкрикнул разбудивший меня кондуктор. При анализе я хотел скрыть этого господина от себя и от читателей; он отомстил за себя, забравшись туда, где ему быть не следовало, и превратив название родины Шиллера из Марбаха в Марбург.

Пример б) Ошибка, благодаря которой я написал Гасдрубал вместо Гамилькара — имя брата вместо имени отца, была сделана как раз в такой связи, в которой дело касалось моих гимназических мечтаний о Ганнибале и моего недовольства поведением отца по отношению к «врагам нашего народа». Я мог бы продолжить изложение и рассказать, как мое отношение к отцу изменилось после поездки в Англию, где я познакомился с живущим там сводным братом, сыном отца от первого брака. У моего брата есть старший сын, одного возраста со мной; так что поскольку дело шло о возрасте, ничто не нарушало моих мечтаний о том, как все было бы иначе, если бы я был сыном не своего отца, а брата. Эти подавленные мной фантазии и исказили текст моей книги в том месте, где я оборвал анализ, — заставили меня поставить вместо имени отца имя брата.

Пример в) Влиянию воспоминаний о том же брате я приписываю и третью ошибку — когда я передвинул на целое поколение мифическое злодеяние из мира греческих богов. Из того, в чем меня убеждал мой брат, одно высказывание осталось у меня надолго в памяти. «Что касается образа жизни, — сказал он мне, — то не забывай одного: ты принадлежишь в сущности не ко второму, а к третьему поколению, считая от отца». Наш отец женился впоследствии вторично и был, таким образом, намного старше своих детей от второго брака. Указанную ошибку я сделал как раз в том месте книги, где говорю о чувстве почтения, связывающем родителей и детей.

Несколько раз случалось также, что мои друзья и пациенты, чьи сновидения я излагал или намекал на них при анализе, обращали мое внимание на то, что я неточно передаю пережитое нами совместно. Это были опять исторические ошибки. После исправления я рассмотрел отдельные случаи и опять-таки убедился, что припоминал неправильно фактическую сторону дела лишь там, где при анализе я что-либо намеренно исказил или скрыл. Здесь опять, стало быть, незамеченная ошибка выступает заместителем намеренного умолчания или вытеснения.

От такого рода ошибок, коренящихся в вытеснении, резко отличаются другие ошибки, основывающиеся на действительном незнании. Например, незнанием объясняется, что я раз на прогулке в Вахау думал, что посетил место пребывания революционера Фишгофа. Здесь имелось лишь совпадение имен: Эммерсдорф Фишгофа лежит в Каринтии. Но я этого просто не знал.

Еще одна пристыдившая меня и вместе с тем поучительная ошибка — пример временного невежества, если можно так выразиться. Один пациент напомнил мне как-то раз о моем обещании дать ему две книги о Венеции, по которым он хотел подготовиться к своему пасхальному путешествию. Я их отложил уже, ответил я, и пошел за ними в свою библиотеку. На самом деле я забыл отобрать их, ибо был не особенно доволен поездкой моего пациента, в которой видел ненужное нарушение курса лечения и материальный ущерб для врача. В библиотеке я на скорую руку отыскиваю те две книги, которые имел в виду. Одна из них — «Венеция — город искусств»; кроме этого, у меня должно быть еще одно историческое сочине-

ние из подобной же серии. Верно, вот оно: «Медичи»; беру его, несу к ожидающему меня пациенту, с тем чтобы в смущении признать свою ошибку. Ведь я же знаю, что Медичи ничего общего не имели с Венецией, но в данный момент я в этом не увидел ничего неправильного. Пришлось быть справедливым: я так часто указывал моему пациенту на его собственные симптоматические действия, что спасти свой авторитет я мог лишь честно признав скрытые мотивы моего нерасположения к его поездке.

В общем, удивляешься, насколько стремление к правде сильнее у людей, чем обыкновенно предполагаешь. Быть может, это результат моих работ над психическими анализами, но я не могу лгать. Стоит мне сделать попытку в этом направлении, и я тотчас же совершаю какую-нибудь ошибку или другое ошибочное действие, которым моя неискренность выдает себя; так и было в тех примерах, которые я уже привел и которые приведу еще ниже.

Среди всех ошибочных действий механизм ошибки-заблуждения обнаруживает наименьшую связанность; иными словами, наличие ошибки свидетельствует лишь в самой общей форме о том, что соответствующей душевной деятельности приходится выдерживать борьбу с какой-либо помехой, причем самый характер ошибки не детерминируется свойствами скрытой расстраивающей идеи. Следует, однако, задним числом заметить, что во многих несложных случаях обмолвок и описок надо предположить то же самое.

Каждый раз, когда мы совершаем обмолвку или описку, мы имеем право заключить о наличии помехи в виде душевных процессов, лежащих вне нашего намерения; надо, однако, допустить, что обмолвки и описки нередко повинуются законам сходства, удобства или стремления ускорить процесс, причем фактору, играющему роль помехи, не удается наложить свою собственную печать на получающуюся в результате обмолвки или описки ошибку. Лишь благоприятный словесный материал может обусловить ошибку, но вместе с тем он ставит ей также и предел.

Чтобы не ограничиваться лишь своими собственными ошибками, приведу еще два примера; их с тем же основанием можно было бы отнести в разряд обмолвок и действий, совершаемых по ошибке, но при равноценности всех этих явлений это не играет роли.

а) Я запретил своему пациенту вызывать по телефону женщину, с которой он собирался порвать, так как всякий разговор вновь разжигает борьбу, связанную с отвыканием. Предлагаю ему сообщить ей письменно свое последнее слово, хотя и есть некоторые трудности в доставке писем. В час дня он приходит ко мне и сообщает, что нашел путь, чтобы обойти эти трудности, и спрашивает между прочим, может ли он сослаться на мой авторитет как врача. Два часа он занят составлением письма, но вдруг прерывает писание и говорит находящейся тут же матери: «Я позабыл спросить профессора, можно ли упомянуть в письме его имя»; спешит к телефону, просит соединить себя с таким-то номером и спрашивает в трубку: «Г. профессор уже пообедал? Можно его попросить к телефону?» В ответ на это раздается изумленное: «Адольф, ты с ума сошел?» — тот именно голос, которого он, согласно моему предписанию, не должен был больше слышать. Он лишь «ошибся» и вместо номера врача сказал номер любимой женщины.

б) В одной дачной местности некий школьный учитель, бедный, но красивый молодой человек, до тех пор ухаживал за дочерью некоего столичного домовладельца, пока девушка не влюбилась в него страстно и не убедила свою семью согласиться на их брак, несмотря на разницу в положении и на расовые различия. Однажды учитель пишет письмо брату, в котором говорится: «Девчурка совершенно не красива, но она очень мила, и этого было бы достаточно. Но решусь ли я жениться на еврейке, не могу тебе еще сказать». Письмо это попадает в руки невесте, и брак расстраивается; в это же время брат изумляется любовным излияниям, адресованным ему. Лицо, сообщившее мне об этом, уверяло меня, что здесь была ошибка, а не ловко подстроенная комбинация. Известен мне еще один случай, когда дама, недовольная своим прежним врачом, но не хотевшая ему прямо отказать, тоже перепутала письма; в этом случае по крайней мере и я могу удостоверить, что этот обычный водевильный прием был применен не в силу сознательной хитрости, а в результате ошибки.

Быть может, читатели будут склонны считать объясненную здесь группу ошибок мало распространенной и не особенно важной. Я хочу, однако, обратить их внимание на то, не имеем ли мы основания рассматривать с той же точки зрения также и ошибочные суждения (заблуждения) людей в жизни и науке. Быть может, лишь избранные и наиболее уравновешенные умы способны уберечь картину воспринятой ими внешней действительности от того искажения, которое она претерпевает, проходя через психическую индивидуальность воспринимающего лица.

XI. Комбинированные ошибочные действия

Два из приведенных в предыдущей главе примеров — моя ошибка с Медичи, перенесенными мною в Венецию, и ошибка молодого человека, добившегося, несмотря на запрет, возможности поговорить со своей возлюбленной, — описаны мной, собственно, неточно и при более тщательном рассмотрении оказываются комбинацией из забвения и ошибки. Такая же комбинация может быть еще яснее показана на других примерах.

а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай: «Несколько лет тому назад я согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что общество поможет мне добиться постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого интереса, принимал участие в заседаниях, происходящих каждую пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в театре в Ф., и с тех пор я стал регулярно забывать о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился своей забывчивости, стал упрекать себя — некрасиво, мол, манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих людях, — и решил в следующую пятницу непременно не позабыть. Все время я вспоминал об этом намерении, пока, наконец, не оказался перед дверью зала заседаний, но, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже состоялось. Я ошибся днем: была уже суббота!»

б) Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и закладывания предметов; он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне достоверен.

Одна дама едет со своим шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют художника и между прочим подносят ему в подарок античную золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее шурин недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно каким образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом шурину и уведомляет его, что на следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день медаль так искусно была заложена куда-то, что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность: желание оставить вещь у себя.

Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных ошибочных действий могли нам дать что-либо новое, что не было бы нам известно уже из примеров отдельных ошибочных действий, но смена форм, ведущих, однако, все к тому же результату, создает еще более выпуклое впечатление о наличии воли, направленной к достижению определенной цели, и гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих примерах сознательному намерению никак не удается помешать успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удается посетить заседание общества, дама оказывается не в состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того чтобы преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения: нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.

XII. Детерминизм. — Вера в случайности и суеверие. — Общие замечания

В качестве общего вывода из всего сказанного выше об отдельных феноменах можно установить следующее положение. Известные недостатки наших психических функций — общий характер которых будет ниже определен более точно — и известные непреднамеренные на вид отправления оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому исследованию, вполне мотивированными и детерминированными скрытыми от сознания мотивами.

Для того чтобы быть отнесенным к разряду объясняемых таким образом феноменов, психическое ошибочное действие должно удовлетворять следующим условиям:

а) Оно не должно выходить за известный предел, установленный нашим оценочным суждением и обозначенный словами «в границах нормального».

б) Оно должно носить характер временного и преходящего расстройства. Нужно, чтобы то же действие перед этим выполнялось правильно или чтобы мы считали себя неспособными в любой момент выполнить его. Если нас поправил кто-либо другой, нужно, чтобы мы тотчас же увидели, что поправка верна, наш же психический акт неправилен.

в) Если мы вообще не замечаем погрешности, мы не должны отдавать себе отчета ни в какой мотивировке; наоборот, нужно, чтобы мы были склонны объяснить ее «невнимательностью» или «случайностью».

Таким образом, в этой группе остаются случаи забывания, ошибки в таких вещах, о которых знаешь, обмолвки, описки, очитки, ошибочные движения и так называемые случайности. Одинаково присущая большинству этих обозначений в немецком языке приставка ver (Vergessen, Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Vergreifen)[1] указывает уже в самой терминологии на их внутреннее единообразие. Выясняя определенные таким образом психические явления, мы приходим к ряду указаний, которые должны отчасти иметь и более широкий интерес.

I. Отрицая преднамеренность за некоторой частью наших психических актов, мы преуменьшаем значение детерминации в душевной жизни. Это последнее здесь, как и в других областях, идет гораздо дальше, чем мы думаем. В 1900 году в статье в «Zeit» историк литературы Р. М. Мейер показал и выяснил на примерах, что нет возможности сознательно и произвольно сочинить бессмыслицу. Мне уже давно известно, что нельзя вполне произвольно вызвать в своем воображении какое-либо число или имя. Если исследовать любое произвольное на вид, скажем, многозначное число, названное якобы в шутку или от нечего делать, то обнаружится столь строгая детерминация, которая действительно кажется невозможной. Я хочу разобрать сперва вкратце один пример произвольного выбора имени, а затем более подробно проанализировать аналогичный пример с числом, «сказанным наугад».

а) Подготовляя к печати историю болезни одной из моих пациенток, я раздумываю над тем, какое бы имя дать ей в моей работе. Выбор, казалось бы, очень велик; конечно, некоторые имена уже заранее исключаются — прежде всего настоящее имя, затем имена членов моей семьи, которые меня коробили бы, затем, быть может, еще какие-нибудь женские имена, особенно странно звучащие; но вообще мне не приходится стесняться в выборе имен. Можно было бы ожидать, и я действительно ожидаю, что в моем распоряжении окажется целое множество женских имен.

Вместо этого всплывает только одно, и никакое другое не сопровождает его: Дора. Задаюсь вопросом о его детерминации. Кто носит имя Доры? Первое, что мне приходит в голову и что мне хочется отбросить как нечто бессмысленное: так зовут няньку моей сестры. Однако я обладаю достаточной выдержкой или достаточной опытностью в анализах, чтобы удержать пришедшую мне в голову мысль и продолжить нить. Тотчас же мне вспоминается мелкий случай, происшедший прошлым вечером, случай, несущий с собой искомую детерминацию. В столовой у моей сестры я видел на столе письмо с надписью: г-же Розе В. Я удивлен и спрашиваю, кто это, мне отвечают, что мнимая Дора называется, собственно, Розой, но должна была при поступлении к моей сестре сменить имя, потому что так же звали и сестру. Я говорю с соболезнованием: бедные люди, даже имени своего они не могут сохранить за собой! Как я теперь припоминаю, я на минуту замолчал и стал размышлять о всякого рода серьезных вещах, которые как-то расплылись тогда,

---

[1] По-русски ей соответствует приставка «об» (обмолвки, описки) и отчасти «за» (забывание, закладывание). — *Примеч. пер.*

но которые теперь я мог бы легко вызвать в своем сознании. Когда я затем на следующий день искал имя для лица, которому нельзя было сохранить свое собственное имя, мне пришла в голову именно «Дора». То обстоятельство, что мне пришло на ум только одно это имя, основывается здесь на прочной внутренней связи, ибо в истории моей пациентки влияние, сыгравшее решающую роль также и в ходе ее лечения, исходило от лица, служащего в чужом доме, — от гувернантки.

Этот мелкий случай имел спустя несколько лет неожиданное продолжение. Однажды, разбирая в своей лекции давно уже опубликованную историю болезни девушки, которую я так и назвал Дорой, я вспомнил, что одна из моих двух слушательниц тоже носит имя Дора, произносимое мною так часто в самых различных комбинациях; я обратился к этой студентке, с которой был знаком лично, с извинением: «Я, право, не подумал о том, что вас так зовут, охотно заменю для лекций это имя другим». Передо мной была, таким образом, задача быстро выбрать другое имя, причем я имел в виду, как бы мне не напасть на имя другой слушательницы и не дать таким образом дурного примера опытным уже в психоанализе студентам. Я был очень доволен, когда вместо Доры мне пришло в голову имя Эрна, которым и воспользовался в своей лекции. По окончании лекции я спросил себя, откуда же могло взяться имя Эрна, и не мог не рассмеяться, ибо заметил, что как раз то, чего я боялся, все же случилось при выборе нового имени, хотя и частично. Фамилия второй студентки была — Люцерна; половина этого слова — Эрна.

б) В письме к другу я сообщаю ему, что покончил с корректурой «Traumdeutung» и не желаю больше ничего изменять в этой работе, «будь в ней даже 2467 ошибок». Тотчас же я пытаюсь выяснить себе происхождение этого числа и присоединяю этот маленький анализ в качестве постскриптума к письму. Лучше всего будет, если я процитирую то, что написал тогда же, когда поймал себя на месте преступления.

«На скорую руку еще маленькое сообщение на тему о психопатологии повседневной жизни. Ты найдешь в письме цифру 2467; ею я определяю произвольно, в шутку, число ошибок, которые окажутся в моей книге о снах. Я хотел этим сказать: любое большое число, и в голову пришла эта цифра. Но так как в области психического нет ничего произвольного, недетерминированного, то ты с полным правом можешь ожидать, что здесь бессознательное поспешило детерминировать число, которое в моем сознании не было связано ничем. Непосредственно перед этим я прочитал в газете, что некий генерал Е. М. вышел в отставку в звании фельдцейхмейстера. Надо тебе сказать, что этот человек интересует меня. Когда я еще отбывал в качестве медика военную службу, он — тогда еще полковник — пришел однажды в приемный покой и сказал врачу: “Вы должны меня вылечить в неделю, потому что мне нужно выполнить работу, которую ждет император”. Я поставил себе тогда задачу проследить карьеру этого человека, и вот теперь (в 1899 г.) он ее закончил — фельдцейхмейстером и уже в отставке. Я хотел высчитать, во сколько лет он проделал этот путь, и исходил при этом из того, что видел его в госпитале в 1882 году. Стало быть, в 17 лет. Я рассказал об этом жене, и она заметила: “Стало быть, ты тоже должен уже быть в отставке?” Я запротестовал: боже меня избави от этого. После этого разговора я сел за стол, чтобы написать тебе письмо. Но прежний ход мыслей продолжался, и не без основания. Я неверно сосчитал;

о том свидетельствует имеющийся у меня в воспоминаниях спорный пункт. Мое совершеннолетие — стало быть, 24-й год — я отпраздновал на гауптвахте (за самовольную отлучку). Это было, значит, в 1880 году — 19 лет тому назад. Вот тебе и цифра 24 в числе 2467! Теперь возьми мой возраст — 43 и прибавь к нему 24 года, и ты получишь — 67. То есть: на вопрос, хочу ли я тоже выйти в отставку, я мысленно прибавил себе еще 24 года работы. Очевидно, я огорчен тем, что за тот промежуток времени, в течение которого я следил за полковником М., я сам не пошел так далеко, и вместе с тем испытываю нечто вроде триумфа по поводу того, что он уже конченый человек, в то время как у меня еще все впереди. Не правда ли, можно с полным основанием сказать, что даже и ненамеренно взятое число 2467 не лишено своей детерминации, идущей из области бессознательного».

Со времени этого первого объяснения якобы произвольно выбранных чисел я неоднократно повторял этот опыт с тем же успехом; однако большинство случаев настолько интимно по своему содержанию, что не поддается передаче.

Именно поэтому я и не хочу упустить случая привести здесь весьма интересный анализ, который мой коллега д-р Альфред Адлер получил от знакомого ему «авторитетного» корреспондента[1]: «Вчера вечером, — сообщает этот корреспондент, — я взялся за “Психопатологию обыденной жизни” и прочел бы всю книгу до конца, если бы мне не помешал замечательный случай. Когда я прочел о том, что всякое число, которое мы, казалось бы, совершенно произвольно вызываем в своем сознании, имеет определенный смысл, я решил сделать опыт. Мне пришло в голову число 1734. Вслед за этим мне приходит на мысль одно за другим следующее: 1734:17=102; 102:17=6. Затем я расчленяю задуманное число на 17 и 34. Мне 34 года. Как я уже сам, кажется, сказал однажды, я смотрю на 34-й год как на последний год молодости, и потому последний раз в день моего рождения чувствовал себя отвратительно. К концу 17-го года для меня начался очень отрадный и интересный период развития. Я делю свою жизнь на отделы, по 17 лет каждый. Что должны обозначать эти доли? По поводу 102 мне приходит на мысль, что № 102 “Reklam-Universalbibliothek” содержит пьесу Коцебу “Ненависть к людям и раскаяние”.

Мое теперешнее психическое состояние — это ненависть к людям и раскаяние. № 6 этой библиотеки (я знаю наизусть множество номеров) это “Вина” Мюллнера. Меня неустанно мучает мысль, что я по своей вине не стал тем, чем мог бы стать в силу своих способностей. Далее мне приходит в голову, что № 34 той же библиотеки содержит рассказ Мюллнера же под названием “Der Kaliber” (“Калибр”). Разделяю это слово на “Ka-li-ber”; далее мне приходит в голову, что оно заключает в себе слова Ali и Kali. Это напоминает мне о том, что я однажды подыскивал с моим (шестилетним) сыном Али рифмы. Я предложил ему найти рифму к Али. Ему ничего не приходило в ум, и когда он попросил меня дать ему рифму, я сказал: Али полощет рот гипермарганцевым кали. Мы много смеялись, и Али был очень мил. В последние дни мне пришлось, однако, с досадой констатировать, что он “не милый” Али (daß er ka (kein) lieber Ali sei).

[1] *Alf. Adler.* Drei Psychoanalysen von Zahleneinfällen und obsedierenden Zahlen // Psych.-Neur. Wochenschrift, Nr. 28, 1905.

Я спросил себя затем, что содержит в себе № 17 “Рекламской библиотеки”, и не мог этого доискаться. Но раньше я наверное знал это, стало быть, надо допустить, что я хочу позабыть это число. Все попытки вспомнить были напрасны. Я хотел читать дальше, но читал чисто механически, не понимая ни слова, так как меня мучило число 17. Я погасил лампу и продолжал искать. Наконец мне пришло на ум, что № 17 — это, должно быть, вещь Шекспира. Но какая? Мне приходит в голову: “Геро и Леандр”. Очевидно — нелепая попытка моей воли сбить меня со следа. Наконец я встаю и отыскиваю каталог, № 17 это “Макбет”. К моему смущению, я должен констатировать, что я из этой вещи почти ничего не помню, хотя она и занимала меня не меньше, чем другие драмы Шекспира. Мне вспоминается только: убийца, леди Макбет, ведьмы, “красивое уродливо” и также еще и то, что в свое время мне очень понравилась обработка “Макбета” Шиллером. Нет сомнения, стало быть, что я хотел забыть эту вещь. Приходит мне в голову еще одно: 17 и 34, деленные на 17, составляют 1 и 2, №№ 1 и 2 “Рекламской библиотеки“ — это “Фауст” Гёте. В прежнее время я находил в себе очень много фаустовского».

Приходится пожалеть о том, что в силу вынужденной скрытности врача мы не можем понять значения этого ряда мыслей. Адлер замечает, что синтез всех этих рассуждений не удался данному лицу. Впрочем, их и не стоило бы сообщать, если бы в дальнейшем не выступило нечто, дающее нам ключ к пониманию числа 1734 и всего ряда мыслей.

«Сегодня утром со мной действительно случилось нечто, говорящее много в пользу правильности фрейдовских взглядов. Жена моя, которую я разбудил, вставая ночью, спросила меня, зачем мне понадобился каталог. Я рассказал ей всю историю. Она нашла, что все это вздор, и (это очень интересно!) признала значение только за “Макбетом”, от которого я так хотел отделаться. Она сказала, что ей ничего не приходит в голову, когда она задумывает какое-нибудь число. Я ответил: “Сделаем опыт”. Она называет число 117. Я тотчас же возражаю на это: “17 — относится и к тому, что я тебе рассказал. Далее, вчера я сказал тебе: если жене 82 года, а мужу 35, то это ужасное несоответствие”. Последние дни я дразню жену тем, что она, мол, старая 82-летняя бабушка. 82+35=117».

Таким образом, человек, который сам не мог детерминировать свое число, тотчас же нашел решение, когда жена назвала ему якобы произвольно выбранное число. На самом деле жена прекрасно поняла, из какого комплекса взялось число ее мужа, и выбрала свое число из того же комплекса, несомненно общего для обоих этих лиц, так как речь шла об отношении между их возрастами. Теперь нам нетрудно истолковать число мужа. Оно выражает, как на это и указывает д-р Адлер, подавленное желание мужа, которое, будучи вполне развито, гласило бы: «человеку 34 лет, как я, под стать только семнадцатилетняя жена».

Во избежание пренебрежительного отношения к подобного рода «забавам» добавлю, что, как я недавно узнал от д-ра Адлера, человек этот через год после опубликования этого анализа развелся с женой[1].

---

[1] Для объяснения «Макбета» № 17 «Рекламской библиотеки» Адлер сообщает мне, что данное лицо на 17-м году своей жизни вступило в анархическое общество, поставившее себе целью цареубийство. Очевидно, поэтому и было позабыто содержание «Макбета». В то же время это же лицо изобрело шифрованное письмо, в котором буквы заменялись числами.

Подобным же образом объясняет Адлер и происхождение навязчивых чисел. Прекрасный пример происхождения навязчивого, т. е. преследующего, слова мы находим у Юнга (Diagnost. Assoziationsstudien, IV, p. 215).

«Одна дама рассказала мне, что в последние дни у нее непрестанно вертится на языке слово “Таганрог” и она не имеет понятия о том, откуда оно взялось. Я спросил даму о связанных с аффектами событиях и вытесненных желаниях последнего времени. После некоторых колебаний она рассказала мне, что очень хотела бы иметь утреннее платье (Morgenrock), но что муж ее относится к этому без достаточного внимания. Morgen-rock — Tagan-rock (Tag — день, rock — платье) — здесь, очевидно, частичное родство по смыслу и созвучию. Детерминация в форме русского слова объясняется тем, что приблизительно в то же время дама эта познакомилась с одним лицом из Таганрога».

В моих собственных анализах из этой категории мне особенно бросились в глаза две вещи. Во-первых, та прямо-таки сомнамбулическая уверенность, с какой я иду к незнакомой мне цели, погружаюсь в вычисляющий ход мыслей, который затем внезапно приводит меня к искомому числу, и та быстрота, с какой совершается вся последующая работа. Во-вторых, то обстоятельство, что числа с такой готовностью оказываются в распоряжении моего бессознательного мышления, в то время как, вообще говоря, я плохой счетчик и с величайшим трудом запоминаю даты, номера домов и т. п. В этих бессознательных операциях моего мышления с числами я нахожу склонность к суеверию, происхождение которого мне долгое время оставалось непонятным.

II. Этот взгляд на детерминацию якобы произвольно выбранных имен и чисел способен, быть может, послужить к выяснению еще другой проблемы. Как известно, приводят в качестве довода против последовательно проведенного детерминизма особое чувство убежденности в том, что существует свободная воля. Это чувство убежденности существует и не исчезает даже тогда, когда веришь в детерминизм. Как всякое нормальное чувство, оно должно на чем-нибудь основываться. Но, насколько я мог заметить, оно проявляется не в крупных и важных актах нашей воли; в подобного рода случаях мы имеем, напротив, чувство психического принуждения и охотно ссылаемся на него (лютеровское: «На этом я стою и не могу иначе»). Зато тогда, когда мы принимаем неважные, безразличные решения, мы склонны утверждать, что могли бы поступить и иначе, что мы действовали свободно, не повинуясь никаким мотивам.

После наших анализов нам нет надобности оспаривать прав на существование чувства убежденности в свободной воле. Если различать то, что мотивируется сознательно, и то, что имеет свою мотивировку в области бессознательного, то чувство убежденности свидетельствует о том, что сознательная мотивировка не распространяется на все наши моторные решения. Minima поп curat praetor. Но то, что осталось не связанным одной группой мотивов, получает свою мотивировку с другой стороны, из области бессознательного, и таким образом детерминация психических феноменов происходит все же без пробелов[1].

[1] Этот взгляд на строгую детерминацию кажущихся произвольными психических актов принес уже обильные плоды для психолога — быть может, и для судебной практики. Блейлер и Юнг выяснили в этом смысле те реакции, какие наблюдаются при так называемом ассоциативном эксперименте,

III. Если по всей совокупности условий сознательное мышление и не может быть знакомо с мотивами рассмотренных выше ошибочных действий, то было бы все же желательно иметь психологическое доказательство существования таких мотивов; при более близком изучении бессознательного действительно находишь основания полагать, что такие доказательства, вероятно, могут быть найдены. И в самом деле, в двух областях можно наблюдать феномены, которые, судя по всему, отвечают бессознательному и в силу этого претерпевшему известное смещение знанию мотивировки.

а) В поведении параноиков бросается в глаза та общеизвестная черта, что они придают величайшее значение мелким, обычно незамечаемым нами деталям в поведении других людей, истолковывают эти детали и строят на их основе далеко идущие выводы. Так, например, последний параноик, которого я видел, заключил, что люди, с которыми он сталкивается, пришли к какому-то соглашению, потому что, отъезжая от вокзала, он видел, как они делали определенное движение рукой. Другой отмечал, как люди ходят по улице, размахивают палками и т. п.[1] Таким образом, если нормальный человек признает в применении к некоторой части своих собственных психических функций категорию случайного, не нуждающегося в мотивировке, то параноик отвергает эту категорию в применении к психическим актам других людей. Все, что он замечает у других, полно значения, все подлежит истолкованию. Каким образом он приходит к этому? Очевидно, что здесь, как и во многих подобных случаях, он проецирует то, что бессознательно совершается в его собственной психике, в душевную жизнь других людей. Ибо у параноика доходит до сознания много такого, что у нормального человека или у невротика может быть обнаружено лишь путем психоанализа, как находящееся вне сознания[2]. Таким образом, параноик здесь в известном смысле прав, он познает нечто ускользающее от нормального человека, его взор острее нормальной мыслительной способности, и только перенесение того, что он познал таким образом, на других людей лишает его познание всякой цены. Надеюсь, от меня теперь не будут ожидать защиты отдельных параноических истолкований. Но те основания, на которые паранойя имеет право при этом взгляде на случайные действия, облегчат нам психологическое понимание той убежденности, с которой связываются у параноика все эти толкования. В них есть доля правды; и чувство убежденности, присущее нашим собственным ошибкам суждения, которые нельзя было бы назвать болезненными, создается тем же самым путем. Поскольку речь идет о не-

---

когда исследуемое лицо отвечает на сказанное ему слово первым же словом, пришедшим ему на мысль (реакция на раздражение словом), и измеряется протекшее при этом время (время реакции). Юнг показал в своих «Diagnostische Assoziationsstudien» (1906 г.), какой тонкий реагирующий аппарат сказывается в этом эксперименте. Ученики криминалиста Г. Гросса (Прага) Вертгеймер и Клейн развили на основе экспериментов особую технику «диагностирования обстоятельств дела» для уголовных процессов, рассмотрением которой заняты в настоящее время психологи и юристы.

[1] Исследователи, исходившие из других точек зрения, причисляли эту оценку несущественных, случайных проявлений у других людей к «бреду отношения» (Beziehungswahn) .

[2] Так, например, фантазии истериков о сексуальных и жестоких истязаниях, фантазии, которые при помощи анализа могут быть доведены до сознания, в соответствующих случаях до мелочей совпадают с жалобами преследуемых параноиков. Достойны внимания — хотя и не непонятны — случаи, когда идентичное содержание выступает также и в реальной форме — в виде тех шагов, которые предпринимают люди извращенные для удовлетворения своей похоти.

которой части ошибочного хода мыслей или об источнике его, это чувство вполне оправдывается, и уже затем мы распространяем его на всю остальную связь мыслей.

б) Другое указание на бессознательное и «смещенное» знание мотивов случайных и ошибочных действий мы находим в феноменах суеверия. Чтобы выяснить свой взгляд, я воспользуюсь обсуждением одного мелкого инцидента, послужившего мне исходным пунктом в моих рассуждениях.

После того как я возвратился после каникул, мои мысли тотчас же обратились к больным, которыми мне предстояло заняться в начинавшемся рабочем году. Первый визит я должен был сделать одной очень старой даме, над которой я (см. выше) с давних пор произвожу каждый день дважды одни и те же врачебные манипуляции. Благодаря этому однообразию у меня очень часто на пути к больной или в то время, когда с ней бывал занят, пробивались наружу бессознательные мысли. Ей свыше 90 лет; было бы немудрено, если бы в начале каждого года я спрашивал себя, сколько ей еще осталось жить. В тот день, про который я рассказываю, я спешил и потому взял извозчика, который и должен был отвезти меня к ней. Каждый извозчик с биржи против моего дома знает адрес старухи, ибо каждый из них не раз отвозил меня к ней. Сегодня случилось так, что извозчик остановился не перед ее домом, а перед тем же номером на близлежащей параллельной улице, действительно сходной. Я замечаю ошибку, ставлю ее извозчику на вид, тот извиняется. Должно ли что-нибудь означать, что меня подвезли к дому, в котором моей старой пациентки не оказалось? Для меня, конечно, ничего, но если бы я был суеверен, я увидел бы в этом обстоятельстве предзнаменование, знамение судьбы, что этот год будет последним в жизни старухи. Целый ряд предзнаменований, сохранившихся в истории, основывается на символике, ничуть не лучшей, чем эта. Во всяком случае я вижу в этом инциденте простую случайность, не имевшую значения.

Совершенно иначе обстояло бы дело, если бы я прошел этот конец пешком и затем, «задумавшись», «по рассеянности», пришел бы к дому на параллельной улице. Это я счел бы уже не случаем, а поступком, имеющим бессознательное намерение и требующим истолкования. По всей вероятности, я должен был бы истолковать его в том смысле, что я предполагаю в скором времени уже не застать более этой старой дамы.

Я отличаюсь, таким образом, от суеверного человека в следующем.

Я не думаю, что событие, к совершению которого моя душевная жизнь непричастна, могло мне сказать что-либо о реальном будущем; но я думаю, что ненамеренное проявление моей собственной душевной деятельности вполне может разоблачить что-либо скрытое, опять-таки относящееся лишь к моей душевной жизни; если я и верю во внешний (реальный) случай, то не верю во внутреннюю (психическую) случайность. Суеверный же человек, наоборот, не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий и погрешностей, верит в психические случайности, зато склонен приписывать внешнему случаю значение, которое должно проявиться в форме реальных событий, склонен усматривать в случае средство выражения чего-то внешнего, скрытого от него. Различие между мной и суеверным человеком двоякое. Во-первых, он проецирует наружу моти-

вировку, в то время как я стараюсь найти ее внутри; во-вторых, он истолковывает случай событиями, в то время как я свожу его к мысли. Однако скрытое у него отвечает бессознательному у меня, и нам обоим обще стремление не признавать случая случаем, а всегда истолковывать его.

Я и предполагаю, что это сознательное неведение и бессознательное знание мотивировки психических случайностей служит одним из психических корней суеверия. Так как суеверный человек не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий и так как факт наличия этой мотивировки требует себе признания, то он вынужден путем смещения отвести этой мотивировке место во внешнем мире. И если такая связь существует, то ее вряд ли можно ограничить этим единичным случаем. Я и думаю, что значительная доля мифологического миросозерцания, простирающегося даже и на новейшие религии, представляет собой не что иное, как проецированную во внешний мир психологию. Смутное познание[1] (так сказать, эндопсихическое восприятие) психических факторов и отношений бессознательного отражается — трудно выразиться иначе, приходится воспользоваться аналогией с паранойей — в конструировании сверхчувственной реальности, которую наука должна опять превратить в психологию бессознательного. Можно было бы попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении, о боге, добре и зле, о бессмертии и т. д., превратить метафизику в метапсихологию. Различие между смещениями, происходящими у параноика и у суеверного человека, не так велико, как это кажется на первый взгляд. Когда люди начали мыслить, они были вынуждены, как известно, антропоморфически разложить внешний мир на множество лиц по своему собственному подобию; случайности, которые они суеверно истолковывали, были, таким образом, действиями, поступками определенных лиц; так что люди поступили тогда так же, как поступают параноики, делающие выводы из незаметных знаков, подаваемых им другими людьми, или как здоровые люди, с полным правом определяющие характер своих ближних по их случайным и непреднамеренным поступкам. Суеверие представляется столь неуместным лишь в нашем современном, естественнонаучном, но все еще далеко не законченном миросозерцании; в миросозерцании донаучных времен и народов оно было вполне законно и последовательно.

Римлянин, отказывающийся от важного предприятия из-за неблагоприятного полета птиц, был, таким образом, относительно прав; он действовал последовательно, сообразно со своими предпосылками. Но когда он отменял предприятие из-за того, что споткнулся на пороге своей двери («un romain retournerait»), то он и абсолютно стоял выше нас, неверующих, и лучше знал человеческую душу, чем знаем ее, несмотря на все старания, мы. Ибо тот факт, что он споткнулся, мог служить для него доказательством существования сомнения, встречного течения (Gegenströmung) в его душе, которое могло в момент исполнения ослабить силу его намерения. Между тем быть уверенным в полном успехе можно лишь тогда, когда все душевные силы дружно стремятся к желанной цели. Как отвечает шиллеровский Вильгельм Телль, так долго колебавшийся сбить выстрелом с головы своего мальчика яблоко, на вопрос фогта, зачем он приготовил вторую стрелу?

---

[1] Которое, конечно, не имеет ни одного из свойств познания.

Стрелою этой я тебя пронзил бы,
Когда б случилось — в сына я попал.
И верно, я тогда б не промахнулся[1].

IV. Кто имел случай изучать скрытые душевные движения людей при посредстве психоанализа, тот может сказать кое-что новое также и о качестве бессознательных мотивов, проявляющихся в суеверии. Яснее всего видишь на примере нервнобольных — часто весьма интеллигентных, страдающих навязчивыми идеями и неврозом навязчивых состояний, что суеверие берет свое начало из подавленных враждебных и жестоких стремлений. Суеверие — это в значительной мере ожидание несчастья; кто часто желает другим зла, но, будучи приучен воспитанием к добру, вытеснил такого рода желания за пределы сознания, тот будет особенно склонен ожидать наказания за такое бессознательное зло в виде несчастья, угрожающего ему извне.

Признавая, что этими замечаниями мы отнюдь не исчерпали психологии суеверия, мы все же должны, с другой стороны, хотя бы в нескольких словах коснуться вопроса, можно ли утверждать наверняка, что не существует предчувствий, вещих снов, телепатических явлений, проявлений сверхчувственных сил и т. п. Я далек от того, чтобы во всех случаях, недолго думая, порешить сплеча с феноменами, по отношению к которым мы располагаем таким множеством обстоятельных наблюдений, делавшихся выдающимися в интеллектуальном отношении людьми, и которые должны были бы послужить объектом дальнейших исследований. Можно даже надеяться, что тогда часть этих наблюдений получит благодаря начинающемуся уже пониманию бессознательных душевных процессов объяснение, которое не заставит нас производить радикальную ломку наших современных воззрений. Если бы суждено было оказаться доказуемыми еще и другим феноменам, как, например, тем, о которых утверждают спириты, мы и произведем требуемую новыми познаниями модификацию наших «законов», не теряя, однако, представления об общей связи вещей.

В рамках этого изложения я могу ответить на поставленные вопросы лишь субъективно, т. е. на основании моего личного опыта. К сожалению, я должен признаться, что принадлежу к числу тех недостойных, в чьем присутствии духи прекращают свою деятельность и сверхчувственное улетучивается, так что я никогда не имел случая пережить лично что-нибудь могущее дать мне повод к вере в чудеса. Как и у всех людей, у меня бывали предчувствия и случались несчастья, однако они избегали друг друга, так что за предчувствиями не следовало ничего, а несчастья приходили без предупреждения. Когда я в молодые годы жил один в чужом городе, я нередко слышал, как дорогой мне голос — которого я не мог не узнать — вдруг называет меня по имени; я отмечал себе момент этой галлюцинации, чтобы затем, беспокоясь о родных, спросить у них, что случилось в это время. Не случалось ничего. Зато впоследствии мне случилось самым спокойным образом, ничего не чувствуя, работать с моими больными, в то время как мое любимое дитя едва не умерло от кровотечения. Из числа тех предчувствий, о которых мне сообщали мои больные, также ни одно не могло быть признано мною за реальный феномен.

[1] Русский перевод Миллера.

Вера в вещие сны насчитывает много приверженцев, ибо в ее пользу говорит то обстоятельство, что многое действительно происходит впоследствии так, как его предварительно конструировало во сне желание. Однако в этом мало удивительного, и обыкновенно между сном и тем, что сбылось наяву, можно найти обычно еще глубокие различия, которых охотно не замечаешь в своем доверии ко сну. Прекрасный пример действительно пророческого сна дала мне возможность подвергнуть точному анализу одна интеллигентная и правдивая пациентка. По ее словам, ей однажды снилось, что она встретила своего бывшего друга и домашнего врача около какой-то лавки на такой-то улице. Когда она на следующее утро пошла во внутреннюю часть города, она действительно встретила его на том самом месте, какое было указано во сне. Надо заметить, что за этим не произошло никаких событий, в которых могло бы обнаружиться значение этого удивительного совпадения, так что ни в чем позднейшем нельзя было найти для него достаточного основания.

Путем тщательного расспроса я установил, что нет доказательств того, чтобы дама эта вспомнила о своем сне в ближайшее после этой ночи утро, стало быть, перед своей прогулкой. Она ничего не могла возразить против такого изложения дела, которое устраняет из нее все чудесное и оставляет лишь интересную психологическую проблему: однажды утром она шла по известной улице, встретила близ одной лавки своего старого домашнего врача, и при его виде у нее создалось убеждение, что в эту ночь ей снилась эта встреча на этом же самом месте. При помощи анализа можно было с большей или меньшей вероятностью установить, каким образом она пришла к этому убеждению, которое, вообще говоря, нельзя не признать до известной степени правдоподобным. Встреча на определенном месте после предварительного ожидания носит на себе все признаки свидания. Старый домашний врач воскресил в ней воспоминания о минувшем времени, когда встречи с третьим лицом, которое было дружно также и с этим врачом, были для нее полны значения. С этим господином она с тех пор поддерживала отношения и накануне мнимого сновидения тщетно ждала его. Если бы я мог сообщить подробнее о связанных с этим делом отношениях, мне было бы нетрудно показать, что иллюзия пророческого сна при виде друга прежних лет равносильна такого рода заявлению: «Ах, г-н доктор, вы напомнили мне теперь о минувших днях, когда мне никогда не приходилось, назначив N свидание, ожидать его».

Простой и легко объяснимый пример того «удивительного совпадения», какое происходит, когда встречаешь человека, о котором как раз теперь думал, я наблюдал на самом себе, и, вероятно, этот пример характерен для аналогичных случаев. Несколько дней после того, как я получил звание профессора, в монархических странах придающее человеку большой авторитет, я гулял по внутренней части города, и мои мысли вдруг сосредоточились на ребяческой фантазии — мести некоей паре родителей. Эти люди позвали меня несколькими месяцами раньше к своей девочке, у которой в связи с одним сном начались интересные явления навязчивости. Я с большим интересом отнесся к этому случаю, генезис которого мне казался ясным; однако мое лечение было отклонено родителями, которые мне дали понять, что намерены обратиться к заграничному авторитету, лечащему гипнотизмом. Теперь я фантазировал о том, как родители после возможной неудачи этого

опыта просят меня начать мой курс лечения: они, мол, питают ко мне теперь полное доверие и пр. Я отвечаю им: да, теперь, когда я стал профессором, вы доверяете мне. Но звание ничего не изменило в моих способностях; если я вам был непригоден, будучи доцентом, вы можете обойтись без меня также и теперь, когда я стал профессором. В этот момент моя фантазия была прервана громким приветствием: «Честь имею кланяться, г. профессор», и, когда я взглянул на говорящего, я увидел, что мимо меня проходила та самая пара родителей, которым я только что отомстил, отклонив их предложение. Не требовалось долгих размышлений, чтобы разбить иллюзию чудесного. Я шел по большой и широкой, почти пустой улице навстречу этой паре, взглянув мельком, быть может, на расстоянии двадцати шагов, я заметил и узнал их видные фигуры, но — по образцу галлюцинации — устранил это восприятие по тем же эмоциональным мотивам, которые затем сказались в якобы самопроизвольно всплывшей фантазии.

К категории чудесного и жуткого относится также и то своеобразное ощущение, которое испытываешь в известные моменты и при известных ситуациях: будто уже раз пережил то же самое, уже был раз в том же положении, причем ясно вспомнить то прежнее, дающее о себе таким образом знать, не удается. Я знаю, что лишь в очень свободном словоупотреблении можно назвать то, что испытываешь в такие моменты, ощущением; если дело и идет здесь о суждении — и притом о познавательном суждении, то все же эти случаи имеют совершенно своеобразный характер, и нельзя упускать из виду того обстоятельства, что искомого не вспоминаешь никогда. Не знаю, был ли этот феномен «уже виденного» («dejà vu») серьезно приводим для доказательства психического предсуществования индивида; но психологи уделяли ему немало внимания и пытались разрешить загадку самыми разнообразными спекулятивными путями. Ни одна из этих попыток объяснения не представляется мне правильной, ибо ни при одной из них не принималось в расчет ничего иного, кроме сопутствующих и благоприятствующих феномену обстоятельств. Ибо те психические явления, которые, по моим наблюдениям, одни только могут быть ответственными при объяснении феномена «dejà vu», именно — бессознательные фантазии, еще и теперь находятся во всеобщем загоне у психологов.

Я полагаю, что называть ощущение «уже виденного» иллюзией несправедливо. В такие моменты действительно затрагивается нечто, что уже было раз пережито, только его нельзя сознательно вспомнить, потому что оно и не было никогда сознательным. Ощущение «уже виденного» отвечает, кратко говоря, воспоминанию о бессознательной фантазии. Подобно сознательным существуют и бессознательные фантазии (или сны наяву); каждый знает это по собственному опыту.

Я знаю, что тема эта заслуживала бы самого обстоятельного рассмотрения, но хочу привести здесь анализ одного-единственного случая «dejà vu», в котором ощущение отличается особенной интенсивностью и длительностью. Одна дама, которой теперь 37 лет от роду, утверждает, что она самым отчетливым образом помнит, как она в возрасте 12 ½ года впервые была в гостях у своих школьных подруг в деревне и, войдя в сад, тотчас же испытала такое ощущение, будто она уже здесь раз была; ощущение это повторилось, когда она вошла в комнаты, так что ей казалось, что она заранее знает, какая будет следующая комната, какой бу-

дет из нее вид и т. д. На самом деле совершенно исключена — и опровергнута справками у родителей — возможность того, чтобы это чувство знакомства имело своим источником прежнее посещение дома и сада, хотя бы в самом раннем детстве. Дама, рассказывавшая мне об этом, не искала психологического объяснения; в появлении этого ощущения она видела пророческое указание на то значение, которое впоследствии должны были иметь именно эти подруги для ее эмоциональной жизни. Однако рассмотрение обстоятельств, при которых имел место этот феномен, указывает нам путь к другому объяснению. Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть единственный тяжело больной брат. При посещении она видела его, нашла, что он очень плохо выглядит, и подумала: он скоро умрет. Теперь дальше: ее собственный единственный брат был несколькими месяцами раньше опасно болен дифтеритом; во время его болезни она была удалена из дому родителей и жила несколько недель у одной родственницы. Ей кажется, что в той поездке в деревню, о которой идет здесь речь, участвовал также ее брат, кажется даже, что это была его первая большая прогулка после болезни; однако здесь ее воспоминания удивительно неопределенны, в то время как все прочие детали, особенно платье, которое было на ней в этот день, стоят у нее перед глазами с неестественной яркостью. Осведомленному человеку нетрудно заключить из этих показаний, что ожидание смерти брата играло тогда большую роль у этой девушки и либо не было никогда сознательным, либо после благополучного исхода болезни подверглось энергичному вытеснению. В случае иного исхода она должна была бы носить другое платье — траурное. У подруг она нашла аналогичную ситуацию: единственный брат в опасности; вскоре он действительно умер. Она должна была бы сознательно вспомнить, что несколько месяцев тому назад сама пережила то же самое; вместо того чтобы вспомнить это, — чему препятствовало вытеснение, — она перенесла свое чувство припоминания на местность, сад и дом, подверглась действию «fausse reconnaissance», и ей показалось, что она когда-то все это также видела. Из факта вытеснения мы имеем основание заключить, что ее ожидание смерти брата было не совсем чуждо окраски желательности. Она осталась бы тогда единственным ребенком. В своем позднейшем неврозе она страдала самым интенсивным образом от страха потерять своих родителей, и за этим страхом анализ, как это бывает обычно, мог вскрыть бессознательное желание аналогичного же содержания.

Мои собственные мимолетные переживания феномена «dejà vu» я мог подобным же образом вывести из эмоциональной констелляции момента. Это был опять повод воскресить ту (бессознательную и неизвестную) фантазию, которая в какой-то момент возникла во мне как желание улучшить мое положение.

V. Недавно, когда я имел случай изложить одному философски образованному коллеге несколько примеров забывания имен вместе с анализом их, он поспешил возразить: все это прекрасно, но у меня забывание имен происходит иначе. Ясно, что так облегчать себе задачу нельзя; я не думаю, что мой коллега когда-либо думал перед этим об анализе забывания имен; он и не мог сказать мне, как же, собственно, это у него происходит иначе.

Но его замечание все же затрагивает проблему, которую многие будут склонны поставить на первый план. Применимо ли данное здесь объяснение ошибоч-

ных и случайных действий во всех или лишь в единичных случаях, и если только в единичных, то каковы те условия, при которых оно может быть допущено для объяснения феноменов, имеющих другое происхождение? То, что я знаю, не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Я хочу лишь предостеречь от того, чтобы считать указанную здесь связь редкой, ибо сколько раз мне случалось производить испытание над собой ли самим или над пациентами, ее можно было, как и в приведенных примерах, с уверенностью установить или по крайней мере найти веские основания, заставляющие предполагать ее наличность. Неудивительно, если не всегда удается найти скрытый смысл симптоматического действия, ибо решающим фактором, который надо принять в соображение, является сила внутреннего сопротивления, противостоящего разрешению. Нет также возможности истолковать каждое отдельное сновидение — у себя или у пациента; для того чтобы подтвердить общеприменимость данной теории, достаточно, если нам удастся хотя бы несколько проникнуть в глубь скрытых соотношений. Сновидение, которое в ближайший день, при первой попытке решения оказывается неприступным, нередко раскрывает свою тайну через неделю или через месяц, когда какое-либо реальное изменение, происшедшее за это время, успело понизить значение борющихся одна с другой психических величин. То же можно сказать и о разрешении ошибочных и симптоматических действий; пример очитки «в бочке по Европе» дал мне случай показать, как неразрешимый на первых порах симптом поддается анализу, когда отпадает реальная заинтересованность в вытесненных мыслях. До тех пор, пока было возможно, что мой брат получит завидный титул раньше, чем я, указанная выше ошибка в чтении оказывала сопротивление всем неоднократно делавшимся попыткам анализа; но когда выяснилась малая вероятность того, чтобы брату было оказано предпочтение, предо мной внезапно открылся путь, ведущий к решению. Было бы, таким образом, ошибкой утверждать про все случаи, не поддающиеся анализу, что они произошли на основе иного психического механизма, чем тот, который здесь был вскрыт; для того чтобы это допустить, недостаточно одних лишь отрицательных доказательств. Совершенно недоказательна также и готовность — вероятно, присущая всем здоровым людям, — с какой мы верим в то, что есть какое-либо другое объяснение ошибочных и симптоматических действий; само собой понятно, что она служит проявлением тех же психических сил, которые и создали тайну, которые потому становятся на защиту последней и сопротивляются ее выяснению.

С другой стороны, мы не должны упускать из виду, что вытесненные мысли и стремления не самостоятельно создают себе выражение в форме симптоматических и ошибочных действий. Техническая возможность подобного рода промахов иннервации должна быть дана независимо от них; и затем уже ею охотно пользуется вытесненный элемент в своем намерении дать о себе знать. Установить картину тех структурных и функциональных отношений, которыми располагает такое намерение, имели своей задачей, в применении к словесным ошибочным актам (ср. гл. V), подробные исследования философов и филологов. Если мы в совокупности условий ошибочных и симптоматических действий будем, таким образом, различать бессознательный мотив и идущие ему навстречу физиологические и психофизические отношения, то останется открытым вопрос, имеются ли

в пределах здоровой психики еще и другие моменты, способные, подобно бессознательному мотиву и вместо него, порождать на почве этих отношений ошибочные и симптоматические действия. Ответ на этот вопрос не входит в мои задачи.

VI. После рассмотрения обмолвок мы ограничивались тем, что доказывали в ошибочных действиях наличность скрытой мотивировки и при помощи психоанализа прокладывали себе дорогу к познанию этой мотивировки. Общую природу и особенности выражающихся в ошибочных действиях психических факторов мы оставили пока почти без рассмотрения и во всяком случае не пытались еще определить их точнее и вскрыть закономерность их. Мы и теперь не возьмемся основательно исчерпать этот предмет, ибо первые же шаги показали бы нам, что в эту область можно проникнуть скорее с другой стороны. Здесь можно поставить себе целый ряд вопросов; я хотел бы их по крайней мере привести и наметить их объем. 1. Каково содержание и происхождение тех мыслей и стремлений, о которых свидетельствуют ошибочные и симптоматические действия? 2. Каковы должны быть условия, необходимые для того, чтобы мысль или стимул были вынуждены и оказались в состоянии воспользоваться этими явлениями как средством выражения? 3. Возможно ли установить постоянное и единообразное соотношение между характером ошибочного действия и свойствами того переживания, которое выразилось в нем?

Начну с того, что сгруппирую некоторый материал для ответа на последний вопрос. Разбирая примеры обмолвок, мы нашли нужным не связывать себя содержанием задуманной речи и вынуждены были искать причину расстройства речи за пределами замысла. В ряде случаев эта причина была под рукой, и говоривший сам отдавал себе в ней отчет. В наиболее простых и прозрачных на вид примерах фактором, расстраивающим проявления мысли, явилась другая формулировка — звучащая столь же приемлемо — той же самой мысли, и не было возможности сказать, почему одна из этих формулировок должна была потерпеть поражение, другая — пробить себе дорогу (контаминация у Мерингера и Майера). Во второй группе случаев поражение одной формулировки мотивировалось наличностью соображений, говоривших против нее, которые, однако, оказывались недостаточно сильными, чтобы добиться полного воздержания (например: zum Vorschwein gekommen). Задержанная формулировка также сознается в этих случаях с полной ясностью. Лишь о третьей группе можно утверждать без ограничений, что здесь препятствующая мысль отлична от задуманной, и можно установить существенное, по-видимому, разграничение. Препятствующая мысль либо связана с расстроенной мыслью ассоциацией по содержанию (препятствие в силу внутреннего противоречия), либо по существу чужда ей, и лишь расстроенное слово связано с расстраивающей мыслью, часто бессознательной, какой-либо странной внешней ассоциацией. В примерах, которые я привел из моих психоанализов, вся речь находится под влиянием мыслей, ставших одновременно действенными, но совершенно бессознательных; их выдает либо само же расстройство мыслей (Klapperschlange — Kleopatra), либо они оказывают косвенное влияние тем, что дают возможность отдельными частями сознательно задуманной речи взаимно расстраивать одна другую (Ase natmen: за этим скрывается Hasenauerstraße и воспоминание о французах). Задержанные или бессознательные мысли, от которых

исходит расстройство речи, могут иметь самое разнообразное происхождение. Этот обзор не приводит нас, таким образом, ни к какому обобщению в каком бы то ни было направлении.

Сравнительное изучение примеров очиток и описок ведет к тем же результатам. Отдельные случаи здесь, как и при обмолвках, по-видимому, обязаны своим происхождением не поддающемуся дальнейшей мотивировке процессу сгущения (например, der Apfe). Интересно было бы все же знать, не требуется ли наличности особых условий для того, чтобы имело место подобного рода сгущение — правомерное во сне, но ненормальное наяву; примеры наши сами по себе не дают на это ответа. Я не сделал бы, однако, отсюда вывода о том, что таких условий — за вычетом разве лишь ослабления сознательного внимания — не существует; ибо другие данные показывают мне, что как раз автоматические действия отличаются правильностью и надежностью. Я скорее подчеркнул бы, что здесь, как это часто бывает в биологии, нормальное или близкое к нормальному является менее благоприятным объектом исследования, нежели патологическое. Я надеюсь, что выяснение более тяжелых расстройств прольет свет на то, что остается темным при объяснении этих наиболее легких случаев расстройства.

При очитках и описках также нет недостатков в примерах, обнаруживающих более отдаленную и сложную мотивировку. «Im Faß durch Europa» — очитка, объясняющаяся влиянием отдаленной, по существу чуждой мысли, порожденной подавленным движением зависти и честолюбия и пользующейся словом Beförderung, чтобы установить связь с безразличной и безобидной темой, заключавшейся в прочитанном. В примере Burckhard связь устанавливается самим же именем Burckhard.

Нельзя не признать, что расстройства функций речи создаются легче и требуют меньшего напряжения со стороны расстраивающих сил, чем расстройства других психических функций.

На другой почве стоим мы при исследовании забывания в собственном его смысле, т. е. забывания минувших переживаний (от этого забывания в строгом смысле можно было бы отделить забывание собственных имен и иностранных слов, рассмотренное в главах I и II, — его можно назвать «выпадением», и затем забывание намерений, которое можно обозначить как «упущения»). Основные условия нормального забывания нам неизвестны[1]. Не следует также упускать из виду, что не все то забыто, что мы считаем забытым. Наше объяснение относится здесь лишь к тем случаям, когда забывание нам бросается в глаза, поскольку оно

---

[1] Относительно механизма забывания в собственном смысле я могу сделать следующие указания. Материал, которым располагает память, подвергается, вообще говоря, двоякого рода воздействию: сгущению и искажению. Искажение — дело господствующих в душевной жизни тенденций и направляется прежде всего против таких следов воспоминаний, которые еще сохранили способность вызывать аффекты и с большей устойчивостью сопротивляются сгущению. Следы, ставшие безразличными, подвергаются сгущению без сопротивления; однако можно наблюдать, что тенденции искажения, оставшиеся неудовлетворенными в той области, где они хотели обнаружиться, пользуются для своего насыщения, кроме того, и безразличным материалом. Так как эти процессы сгущения и искажения тянутся долгое время, в течение которого на содержание наших воспоминаний оказывают свое действие все последующие события, то нам и кажется, что это время делает воспоминания неуверенными и неясными. Между тем весьма вероятно, что при забывании вообще нет и речи о прямом воздействии времени.

нарушает правило, в силу которого забывается неважное, важное же удерживается в памяти. Анализ тех примеров забывания, которые, на наш взгляд, нуждаются в особом объяснении, каждый раз обнаруживает в качестве мотива забвения неохоту вспомнить нечто, могущее вызвать тягостные ощущения. Мы приходим к предположению, что этот мотив стремится оказать свое действие повсюду в психической жизни, но что другие, встречные силы мешают ему проявляться сколько-нибудь регулярно. Объем и значение этой неохоты вспоминать тягостные ощущения кажутся нам заслуживающими тщательнейшего психологического рассмотрения; вопрос о том, каковы те особые условия, которые в отдельных случаях делают возможным это забывание, являющееся общей и постоянной целью, также не может быть выделен из этой более обширной связи.

При забывании намерений на первый план выступает другой момент: конфликт, о котором при вытеснении тягостных для воспоминания вещей можно лишь догадываться, становится здесь осязательным, а при анализе соответствующих примеров мы неизменно находим встречную волю, сопротивляющуюся данному намерению, не аннулируя его однако. Как и при рассмотренных выше видах ошибочных действий, здесь наблюдаются два типа психических процессов: встречная воля либо непосредственно направляется против данного намерения (когда намерение более или менее значительно), или же по своему существу чужда намерению и устанавливает с ним связь путем внешней ассоциации (когда намерение почти безразлично).

Тот же конфликт является господствующим и в феноменах действий по ошибке. Импульс, обнаруживающийся в форме расстройства действия, представляет собой сплошь да рядом импульс встречный, но еще чаще это просто какой-либо посторонний импульс, пользующийся лишь удобным случаем, чтобы при совершении действия проявить себя в форме расстройства его. Случай, когда расстройство происходит в силу внутреннего протеста, принадлежит к числу более значительных и затрагивает также более важные отправления.

Далее, в случайных или симптоматических действиях внутренний конфликт отступает все более на задний план. Эти мало ценимые или совершенно игнорируемые сознанием моторные проявления служат выражением для различных бессознательных или вытесненных импульсов; по большей части они символически изображают фантазии или пожелания.

По первому вопросу — о том, каково происхождение мыслей и импульсов, выражающихся в форме ошибочных действий, можно сказать, что в ряде случаев происхождение расстраивающих мыслей от подавленных импульсов душевной

Относительно вытесненных следов воспоминаний можно констатировать, что на протяжении длиннейшего промежутка времени они не терпят никаких изменений. Бессознательное находится вообще вне времени. Наиболее важная и вместе с тем наиболее странная особенность психической фиксации заключается в том, что, с одной стороны, все впечатления сохраняются в том же виде, как они были восприняты, и вместе с тем — сохраняются все те формы, которые они приняли в дальнейших стадиях развития; сочетание, которого нельзя пояснить никакой аналогией из какой бы то ни было другой области. Таким образом, теоретически любое состояние, в котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал, могло бы быть вновь восстановлено и репродуцировано даже тогда, если бы все те соотношения, в которых его элементы первоначально находились, были заменены новыми.

жизни может быть легко показано. Эгоистические, завистливые, враждебные чувства и импульсы, испытывающие на себе давление морального воспитания, нередко используют у здоровых людей путь ошибочных действий, чтобы так или иначе проявить свою несомненно существующую, но непризнанную высшими душевными инстанциями силу. Допущение этих ошибочных и случайных действий в немалой мере отвечает удобному способу терпеть безнравственные вещи. Среди этих подавленных импульсов немалую роль играют различные сексуальные течения. Если как раз эти течения так редко встречаются среди мыслей, вскрытых анализом в моих примерах, то виной тому — случайный подбор материала. Так как я подвергал анализу преимущественно примеры из моей собственной душевной жизни, то естественно, что выбор носил предвзятый характер и стремился исключить все сексуальное. В иных случаях расстраивающие мысли берут свое начало из возражений и соображений, в высшей степени безобидных на вид.

Мы подошли теперь ко второму вопросу: каковы психологические условия, нужные для того, чтобы та или иная мысль была вынуждена искать себе выражения не в полной форме, а в форме, так сказать, паразитарной, в виде модификации и расстройства другой мысли. На основании наиболее ярких примеров ошибочных действий скорее всего хочется искать эти условия в том отношении, которое устанавливается к функции сознания, в определенном, более или менее ясно выраженном характере «вытесненного». Однако при рассмотрении целого ряда примеров характер этот все более и более растворяется в ряде расплывчатых намеков. Склонность отделаться от чего-нибудь в силу того, что данная вещь связана с потерей времени, соображения о том, что данная мысль, собственно, не относится к задуманной вещи, по-видимому, играют в качестве мотивов для вытеснения какой-либо мысли, вынужденной затем искать себе выражения путем расстройства другой мысли, ту же роль, что и моральное осуждение предосудительного эмоционального движения или же происхождение от совершенно неизвестного хода мыслей. Уяснить себе этим путем общую природу условий, определяющих собой ошибочные и случайные действия, нет возможности. Одно только можно установить при этих исследованиях: чем безобиднее мотивировка ошибки, чем менее избегает сознания мысль, сказывающаяся в этой ошибке, тем легче разрешить феномен, коль скоро на него обращено внимание; наиболее легкие случаи обмолвок замечаются тотчас же и исправляются самопроизвольно. Там, где мотивировка создается действительно вытесненными импульсами, там для разрешения требуется тщательный анализ, могущий порой встретиться с трудностями, а иногда и не удаться.

Мы имеем, таким образом, право вывести из этого последнего рассмотрения указание на то, что удовлетворительное выяснение психических условий, определяющих собой ошибочные и случайные действия, можно получить лишь подойдя к вопросу иным путем и с другой стороны. Мы хотели бы, чтобы снисходительный читатель усмотрел из этих рассуждений, что тема их выделена довольно искусственно из более обширной связи.

VII. Наметим в нескольких словах хотя бы направление, ведущее к этой более обширной связи. Механизм ошибочных и случайных действий, поскольку мы познакомились с ним при помощи анализа, в наиболее существенных пунктах

обнаруживает совпадение с механизмом образования сновидений, который я разобрал в моей книге о толковании сновидений в главе о «работе сновидения». Сгущение и компромиссные образования (контаминации) мы находим и здесь и там. Ситуация одна и та же: бессознательные мысли находят себе выражение необычным путем, посредством внешних ассоциаций, в форме модификации других мыслей. Несообразности, нелепости и погрешности содержания наших сновидений, в силу которых сновидение едва не исключается из числа продуктов психической работы, образуются тем же путем (хотя и более свободно обращаясь с наличными средствами), что и обычные ошибки нашей повседневной жизни: здесь, как и там, кажущаяся неправильность функционирования разрешается в виде своеобразной интерференции двух или большего числа правильных актов. Из этого совпадения следует важный вывод. Тот своеобразный вид работы, наиболее яркий результат которой мы видим в содержании сновидений, не должен быть относим всецело на счет сонного состояния психики, раз мы в феномене ошибочных действий находим столь обильные доказательства того, что она действует также и наяву. Та же связь не позволяет нам усматривать в глубоком распаде душевной жизни, в болезненном состоянии функций необходимое условие для осуществления этих психических процессов, кажущихся нам ненормальными и странными[1].

Верное суждение о той странной психической работе, которая порождает и ошибочные действия, и образы сновидений, возможно лишь тогда, если мы убедимся, что психоневротические симптомы — специально-психические образования истерии и невроз навязчивых состояний — повторяют в своем механизме все существенные черты этого вида работы. С этого должны были бы, таким образом, начаться наши дальнейшие исследования. Но рассмотрение ошибочных, случайных и симптоматических действий в свете этой последней аналогии представляет для нас еще и особый интерес. Если мы поставим их на одну доску с психоневротическими проявлениями, с невротическими симптомами, то приобретут смысл и основание два весьма распространенных утверждения: что граница между нормальным и ненормальным в области нервозности непрочна и что все мы немного нервозны. Можно до всякого врачебного опыта конструировать различные типы такого рода едва намеченной нервозности, то, что называется formes frustes невроза: случаи, когда симптомов мало или когда они выступают редко или нерезко, когда, таким образом, ослабление сказывается в числе, в интенсивности, в продолжительности болезненных явлений; но, быть может, при этом останется необнаруженным как раз тот тип, который, по-видимому, чаще всего стоит на границе между здоровьем и болезнью. Этот тип, в котором проявлениями болезни служат ошибочные и симптоматические действия, отличается именно тем, что симптомы сосредоточиваются в сфере наименее важных психических функций, в то время как все то, что может претендовать на более высокую психическую ценность, протекает свободно. Обратное распределение симптомов, их проявление в наиболее важных индивидуальных и социальных функциях — благодаря чему они оказываются в силах нарушить питание, сексуальные

[1] Ср. Traumdeutung, S. 362.

отправления, обычную работу, общение с людьми, — свойственно тяжелым случаям невроза и характеризует их лучше, чем, скажем, множественность или интенсивность проявлений болезни. Общее же свойство самых легких и самых тяжелых случаев, присущее также и ошибочным и случайным действиям, заключается в том, что феномены эти могут быть сведены к действию вполне подавленного психического материала, который, будучи вытеснен из сознания, все же не лишен окончательно способности проявлять себя.

О СНОВИДЕНИИ

I

Во времена, которые мы могли бы назвать преднаучными, люди не затруднялись в объяснении сновидения. Вспоминая его по пробуждении, они смотрели на него как на хорошее или дурное предзнаменование со стороны высших божественных или демонических сил. С расцветом естественнонаучного мышления вся эта остроумная мифология превратилась в психологию, и в настоящее время лишь весьма немногие из образованных людей сомневаются в том, что сновидение является продуктом психической деятельности самого видящего сон.

Но с отпадением мифологической гипотезы сновидение стало нуждаться в объяснении. Условия возникновения сновидений, отношение последних к душевной жизни во время бодрствования, зависимость их от внешних раздражений во время сна, многие чуждые бодрствующему сознанию странности содержания сновидения, несовпадение между его образами и связанными с ними аффектами, наконец, быстрая смена картин в сновидении и способ их смещения, искажения и даже выпадения из памяти наяву — все эти и другие проблемы уже много сотен лет ждут удовлетворительного решения. На первом плане стоит вопрос о значении сновидения — вопрос, имеющий двоякий смысл: во-первых, дело идет о выяснении психического значения сновидения, связи его с другими душевными процессами и его биологической функции; во-вторых, желательно знать, возможно ли толковать сновидение и имеет ли каждый элемент его содержания какой-нибудь «смысл», как мы привыкли это находить в других психических актах.

В оценке сновидения можно заметить три направления. Одно из них, которое является как бы отзвуком господствовавшей прежде переоценки сновидения, находит себе выражение у некоторых философов, которые кладут в основу сновидения особенное состояние душевной деятельности, рассматриваемое ими даже как более высокая ступень в развитии духа; так, например, Шуберт утверждает, будто сновидение является освобождением духа от гнета внешней природы,

освобождением души из оков чувственного мира. Другие мыслители не идут так далеко, но твердо держатся того мнения, что сновидения по существу своему проистекают от психических возбуждений и тех душевных сил, которые в течение дня не могут свободно проявляться (фантазия во сне — Шернер, Фолькельт). Многие наблюдатели приписывают сновидению способность к особо усиленной деятельности — по крайней мере в некоторых сферах, например в области памяти.

В противоположность этому мнению, большинство авторов-врачей придерживается того взгляда, что сновидение едва ли заслуживает названия психического проявления; по их мнению, побудителями сновидения являются исключительно чувственные и телесные раздражения, либо приходящие к спящему извне, либо случайно возникающие в нем самом; содержание сна, следовательно, имеет не больше смысла и значения, чем, например, звуки, вызываемые десятью пальцами несведущего в музыке человека, когда они пробегают по клавишам инструмента. Сновидение, согласно этому воззрению, нужно рассматривать как «телесный, во всех случаях бесполезный и во многих — болезненный процесс» (Бинц). Все особенности сновидений объясняются бессвязной и вызванной физиологическими раздражениями работой отдельных органов или отдельных групп клеток погруженного в сон мозга.

Мало считаясь с этим мнением науки и не интересуясь вопросом об источниках сновидения, народная молва, по-видимому, твердо верит в то, что сон все-таки имеет смысл предзнаменования, сущность которого может быть раскрыта посредством какого-либо толкования. Применяемый с этой целью метод толкования заключается в том, что вспоминаемое содержание сновидения замещается другим содержанием — либо по частям на основании твердо установленного ключа, либо все содержание сновидения целиком заменяется каким-либо другим целым, по отношению к которому первое является символом. Серьезные люди обыкновенно смеются над этими стараниями: «сны — это пена морская».

II

К своему великому изумлению, я однажды сделал открытие, что ближе к истине стоит не взгляд врачей, а взгляд профанов, наполовину окутанный еще предрассудками. Дело в том, что я пришел к новым выводам относительно сновидения, после того как применил к последнему новый метод психологического исследования, оказавший уже мне большую услугу при решении вопросов о разного рода фобиях, навязчивых и бредовых идеях и пр. Многие исследователи-врачи справедливо указывали на многообразные аналогии между различными проявлениями душевной жизни во время сна и различными состояниями при психических заболеваниях наяву; так что мне уже заранее представлялось небесполезным применить к объяснению сновидения тот способ исследования, который оказал услуги при анализе психопатических явлений. Навязчивые идеи и идеи страха так же чужды нормальному сознанию, как сновидения — бодрствующему; происхождение тех и других для нашего сознания одинаково непонятно. Что касается представлений, то выяснять их источник и способ возникновения побуждал нас практический интерес; опыт показал, что выяснение скрытых от сознания путей,

связывающих болезненные идеи с остальным содержанием сознания, дает возможность овладеть навязчивыми идеями и равносильно устранению их. Таким образом, примененный мною к объяснению сновидений способ берет свое начало в психотерапии.

Описать его легко, но пользоваться им можно лишь после известного навыка. Когда хотят применить этот способ к другому лицу, например к страдающему страхом больному, то последнему предлагают обыкновенно сосредоточить все внимание на своей болезненной идее, но не размышлять о ней, как он это часто делает, а стараться выяснить себе и сообщать тотчас врачу все без исключения мысли, которые ему приходят в голову по поводу данной идеи. Если больной станет утверждать, что его внимание ничего не может уловить, то необходимо энергично заявить, что такого рода отсутствие круга представлений совершенно невозможно. Действительно, вскоре у больного начинает всплывать ряд идей, за которыми следуют новые идеи; однако больной, производящий самонаблюдение, при этом обыкновенно заявляет, что выплывающие у него идеи бессмысленны или не важны, не относятся к делу и пришли ему в голову совершенно случайно, без всякой связи с данной задачей. Уже теперь можно заметить, что именно эта критика со стороны больного была причиной того, что данные идеи не высказывались и даже не сознавались им. Поэтому если удается заставить больного отказаться от всякой критики по поводу приходящих в голову мыслей и продолжать отмечать мысленные ряды, выплывающие при напряженном внимании, то можно получить достаточный психический материал, который явно примыкает к взятой в качестве задачи болезненной идее, обнаруживает связь последней с другими идеями и дает возможность при дальнейшем исследовании заместить болезненную идею какой-либо новой, вполне гармонирующей с остальным содержанием психики.

Здесь я не могу подробно останавливаться на лежащих в основе этого опыта предпосылках и на выводах, которые можно сделать из его постоянных успехов; можно только указать, что всегда возможно получить достаточный для исчезновения болезненной идеи материал, если обращать внимание именно на «нежелаемые» ассоциации, «мешающие мышлению» и отстраняемые обыкновенно самокритикой больного, как бесполезный хлам. Когда желают применить этот метод к самому себе, необходимо при исследовании немедленно записывать все приходящие случайно в голову и непонятные сначала мысли.

Теперь посмотрим, к каким результатам приводит использование изложенного метода при исследовании сновидений. Для этого пригоден любой пример. Однако по определенным мотивам я возьму свое собственное сновидение, краткое по содержанию и в воспоминании представляющееся мне неясным и бессмысленным; содержание его, записанное мною немедленно по пробуждении, следующее: «Общество за столом или табльдотом[1]... Едят шпинат... Г-жа Е. Л. сидит рядом со мною, вся повернувшись ко мне, и дружески кладет руку мне на колено. Я, отстраняясь, удаляю ее руку. Тогда она говорит: “А у вас всегда были такие красивые глаза...” После этого я неясно различаю как бы два глаза на рисунке или как бы

[1] Табльдот — общий обеденный стол по общему меню в пансионатах, в гостиницах, на курортах. — *Примеч. ред. перевода.*

контур стеклышка от очков...» Это — все сновидение или по крайней мере все, что я могу о нем вспомнить. Оно кажется мне неясным и бессмысленным, а больше всего странным. Г-жа Е. Л.— женщина, с которой я был просто знаком и, насколько я сознаю, близких отношений никогда не желал; я уже давно не видел ее и не думаю, чтобы в последние дни о ней шла речь. Сновидение мое не сопровождалось никакими эмоциями; размышление о нем не делает мне его более понятным.

Теперь я без определенного намерения и без всякой критики буду отмечать приходящие мне в голову мысли, выплывающие при самонаблюдении; для этого полезно разложить сновидение на элементы и отыскивать примыкающие к каждому из них мысли.

Общество за столом или табльдотом. С этим связывается воспоминание о небольшом переживании, имевшем место вчера вечером. Я ушел из маленького общества в сопровождении друга, который предложил взять карету и отвезти меня домой. «Я, — сказал он, — предпочитаю карету с таксометром; это так занимательно: всегда имеешь перед собой что-то, на что можно глядеть». Когда мы сели в карету и кучер устанавливал таксометр, так что стали видны первые шестьдесят геллеров, я продолжил его шутку: «Мы только сели и уже должны ему шестьдесят геллеров». Карета с таксометром напоминает мне всегда табльдот; она делает меня скупым и эгоистичным, ибо непрестанно говорит о моем долге; мне все кажется, что долг слишком быстро растет, и я опасаюсь, как бы мне не хватило денег, подобно тому как за табльдотом я не могу отделаться от смешного опасения, будто я получу слишком мало, если не буду заботиться о своей выгоде. В отдаленной связи с этим я продекламировал: «Вы сами жизнь даете нам; бедного вы делаете должником».

Другая возникшая у меня мысль по поводу табльдота: несколько недель тому назад за общим столом в гостинице одного тирольского горного курорта я сердился на свою жену за то, что она, по моему мнению, была недостаточно официальна с некоторыми соседями, с которыми я не хотел иметь ничего общего. Я просил ее интересоваться больше мною, чем посторонними. Это — все равно, как будто меня обошли за табльдотом. Теперь мне приходит в голову противоположность между поведением моей жены за столом и поведением в моем сновидении г-жи Е. Л., которая вся повернулась ко мне.

Далее: я замечаю, что сновидение является воспроизведением небольшой сцены, происшедшей между мной и моей женой еще до женитьбы, во время моего ухаживания за ней. Нежное пожатие руки под скатертью послужило ответом на мое письмо с серьезным предложением. Но в сновидении жена моя замещена чуждой мне г-жой Е. Л.

Г-жа Е. Л. — дочь одного господина, которому я был должен. Не могу при этом не заметить, что здесь обнаруживается неожиданная связь между элементами сновидения и приходящими мне в голову мыслями. Если следовать за цепью ассоциаций, которые вытекают из какого-либо элемента содержания сновидения, то можно скоро прийти к другому элементу этого же содержания. Мысли, приходящие в голову по поводу сновидения, восстанавливают те связи, которые в самом сновидении не видны.

Когда кто-либо полагает, что другие станут заботиться о нем без всякой пользы для себя, разве не предполагают обыкновенно задать такому простаку иронический вопрос: «Что же вы думаете, что то или иное делается ради ваших прекрасных глаз?» С этой точки зрения слова г-жи Е. Л. в сновидении — «у вас всегда были такие прекрасные глаза» — означают не что иное, как — «люди вам всегда оказывали услуги; вы все даром получали». Конечно, в действительности всегда было наоборот: за все то хорошее, что мне делали другие, я платил дорого; но, по-видимому, на меня все-таки произвело впечатление то обстоятельство, что мне вчера даром досталась карета, в которой мой друг отвез меня домой. Кроме этого, приятель, у которого мы вчера были в гостях, часто заставлял меня оставаться перед ним в долгу; лишь недавно я не воспользовался случаем отплатить ему. Между прочим, у него имеется единственный подарок от меня — античная чаша с нарисованными по краям ее глазами для защиты от «дурного глаза». Кстати, приятель этот — глазной врач; в этот же вечер я спрашивал его о пациентке, которую направил к нему для подбора очков.

Я замечаю, что почти все отрывки сновидения приведены в новую связь. Однако вполне естественно было бы спросить, почему в сновидении на столе фигурирует именно шпинат? Дело в том, что шпинат напоминает мне маленькую сцену, происшедшую недавно за нашим семейным столом, когда мой ребенок — как раз тот, у которого действительно красивые глаза, — отказывался есть шпинат. В детстве я точно так же вел себя: шпинат долгое время был мне противен, пока мой вкус не изменился и зелень эта сделалась моим любимым блюдом; воспоминание о последнем сближает, следовательно, мои вкусы в детстве с вкусами моего ребенка. «Будь доволен, что у тебя есть шпинат, — сказала мать маленькому гурману, — есть дети, которые были бы очень рады и этому кушанью». Это течение мыслей напоминает мне об обязанностях родителей по отношению к детям, и в этой связи слова Гёте: «Вы сами жизнь даете нам; бедного вы делаете должником» — приобретают новый смысл.

Здесь я остановлюсь, чтобы рассмотреть полученные до сих пор результаты анализа сновидения. Следуя за ассоциациями, выплывающими непосредственно за отдельными вырванными из общей связи элементами сновидения, я пришел к ряду мыслей и воспоминаний, которые обнаруживают значимые переживания моей душевной жизни. Этот добытый посредством анализа сновидения материал находится в тесной связи с содержанием сновидения, но связь эта все-таки такова, что я никогда не мог бы получить этот новый материал из самого содержания сновидения. Сновидение не сопровождалось никакими эмоциями, было бессвязно и непонятно; однако, когда всплывают скрытые в сновидении мысли, я испытываю сильные и вполне обоснованные эмоции. Мысли сами соединяются в логически связанные ряды, в центре которых повторно появляются некоторые представления; в нашем примере такими не выступающими в самом сновидении представлениями являются: противоположности своекорыстное — бескорыстное и быть должным — делать даром. В этой полученной из анализа ткани я мог бы крепче стянуть нити и показать, что последние сходятся в одном общем узле; но соображения не научного, а частного характера не позволяют мне произвести эту работу публично: дело в том, что я вынужден был бы тогда сообщать многое из

того, что должно остаться моей тайной, так как при анализе своего сновидения я уяснил себе такие факты, в которых неохотно признаюсь самому себе. Но почему в таком случае я не изберу для анализа другое сновидение, чтобы анализ его мог скорее убедить в точности смысла и правильности связи полученного из него материала? На это можно ответить, что каждое сновидение, которым я займусь, неизбежно приведет меня к тем же неохотно сообщаемым фактам и побудит к такому же умалчиванию. Этого затруднения я не избежал бы также и в том случае, если бы стал анализировать сновидение другого лица; разве только обстоятельства позволили бы отбросить всякие умалчивания без вреда для доверяющегося мне лица.

Уже теперь приходит в голову идея, что сновидение является как бы заместителем того богатого чувствами и содержанием хода мыслей, к которому мы пришли после анализа. Я еще не знаю процесса, путем которого из этих мыслей возникло данное сновидение, но я вижу, что неправильно рассматривать это сновидение как чисто телесное, психически незначимое явление, возникшее будто бы благодаря изолированной деятельности отдельных групп клеток спящего мозга.

Кроме того, я замечаю еще две вещи: во-первых, содержание сновидения гораздо короче тех мыслей, заместителем которых я его считаю, и, во-вторых, анализ обнаружил в качестве побудителя сновидения ничтожный случай, имевший место накануне вечером.

Я, конечно, не стал бы делать так далеко идущих выводов, если бы в моем распоряжении был анализ только одного сновидения; но опыт показал мне, что, следуя без критики за ассоциациями, я при анализе любого сновидения прихожу к такому же ряду мыслей, связанных между собой по смыслу и правильным образом. Вот почему не следует думать, что обнаруженная при первом анализе связь может оказаться случайным совпадением. Теперь я считаю себя вправе зафиксировать свою новую точку зрения в определенных терминах. Сновидение, как оно вспоминается мне, я противопоставляю полученному при анализе материалу и называю первое (т. е. сновидение) явным содержанием сновидения, а второй (т. е. материал) — пока без дальнейшего разграничения — скрытым содержанием сновидения. Теперь нам предстоит разрешить две новые задачи: 1) каков тот психический процесс, который превратил скрытое содержание сновидения в явное, знакомое мне по оставленному в памяти следу, и 2) каков тот или те мотивы, которые вызвали такое превращение? Процесс переработки скрытого содержания сновидения в явное я буду называть работой сновидения; противоположная этому работа, ведущая к обратному превращению, знакома уже нам как работа анализа. Остальные проблемы сновидения — вопрос о побудителях сновидений, о происхождении их материала, о смысле и функции сновидений, о причинах забывания последних — все это я буду обсуждать при анализе не явного, а вновь обнаруженного скрытого содержания сновидения.

Так как все встречающиеся в литературе противоречивые и неправильные взгляды на сновидения можно объяснить незнакомством авторов со скрытым содержанием сновидения, которое может быть вскрыто только путем анализа, то я впредь самым тщательным образом буду избегать смешения явного сновидения со скрытыми его мыслями.

III

Превращение скрытых мыслей сновидения в явное его содержание заслуживает нашего полного внимания как первый пример перехода одного способа выражения психического материала в другой: из способа выражения, понятного нам без всяких объяснений, в такой способ, который становится понятным лишь с трудом и при наличии определенных указаний. Принимая во внимание отношение скрытого содержания сновидения к явному, можно разделить сновидения на три категории. Во-первых, мы различаем сновидения вполне осмысленные, понятные, т. е. допускающие без дальнейших затруднений объяснение их с точки зрения нашей нормальной душевной жизни. Таких сновидений много; они по большей части кратки и в общем кажутся нам не заслуживающими особого внимания, так как в них отсутствует все то, что могло бы пробудить наше удивление и показаться нам странным. Между прочим, существование таких сновидений является сильным аргументом против учения, которое объясняет возникновение сновидений изолированной деятельностью отдельных групп мозговых клеток: в этих сновидениях мы не находим никаких признаков пониженной или расстроенной психической деятельности; тем не менее мы никогда не сомневаемся в том, что имеем дело со сновидениями, и не смешиваем их с продуктами бодрствующего сознания. Другую группу образуют сновидения, которые, будучи связными и ясными по смыслу, все-таки кажутся нам странными, потому что мы не можем связать их смысл с нашей душевной жизнью. С таким случаем мы имеем дело, когда нам, например, снится, будто какой-то близкий родственник умер от чумы, между тем как у нас нет никаких оснований ожидать, опасаться или предполагать это; мы тогда спрашиваем себя с удивлением, откуда пришла нам в голову такая идея? Наконец, к третьей группе относятся сновидения, лишенные смысла и непонятные, т. е. представляющиеся нам бессвязными, спутанными и бессмысленными. Подавляющее большинство продуктов нашего сновидения обнаруживает такой именно характер, которым объясняются и презрительное отношение к сновидениям, и врачебная теория о сужении душевной деятельности во сне; тем более что в длинных и сложных построениях сновидений всегда усматриваются ясные признаки бессвязности.

Противопоставление явного и скрытого содержания сновидения, очевидно, имеет значение только для сновидений второй и еще более третьей категории; здесь мы встречаемся с загадками, которые исчезают лишь после замещения явного сновидения скрытыми его мыслями, и потому для приведенного выше анализа мы избрали в качестве примера такое именно спутанное и непонятное сновидение. Однако, против всякого ожидания, мы столкнулись с мотивами, которые помешали нам вполне ознакомиться со скрытыми мыслями сновидения; вследствие же повторения подобных случаев и при других анализах мы пришли к предположению, что между непонятным и спутанным характером сновидения, с одной стороны, и затруднениями при сообщении скрытых мыслей сновидения — с другой, имеется какая-то интимная и закономерная связь. Прежде чем исследовать природу этой связи, полезно будет ознакомиться с более понятными сновидениями первой категории, в которых явное и скрытое содержание совпадают, т. е. которые обходятся без работы сновидения.

Исследование этих сновидений полезно еще с другой точки зрения. Сновидения детей всегда имеют такой именно характер, т. е. осмысленный и нестранный; между прочим, это обстоятельство является новым аргументом против объяснения сновидения расстроенной деятельностью мозга во время сна, ибо — почему у взрослого такое понижение психических функций нужно считать характерным для сонного состояния, а у ребенка не нужно? И мы вправе ожидать, что выяснение психических процессов у ребенка, у которого они значительно упрощены, окажется необходимой предварительной работой для ознакомления с психологией взрослого. Итак, я приведу несколько сновидений детей.

Девочку 19 месяцев от роду целый день держат на диете, так как ее утром рвало и, по словам няни, она повредила себе земляникой. Ночью после этого голодного дня няня слышала, как девочка во сне называла свое имя и при этом прибавляла: «земляника, малина, яичко, каша». Ей, следовательно, снится, будто она ест, и из своего меню она указывает как раз на то, что в ближайшем будущем, по ее мнению, ей мало будут давать. Подобным же образом 22-месячному мальчику, который за день перед тем подарил своему дяде корзинку свежих вишен, отведав из них только несколько штук, снится запрещенный плод; он пробуждается с радостным известием: «Ге(р)ман съел все вишни». Девочка 3 $^{1}/_{4}$ года совершила днем по озеру прогулку, которая показалась ей недостаточно продолжительной, и девочка при высаживании плакала. На другое утро она рассказала, что каталась ночью по озеру, т. е. продолжила прерванную прогулку. Мальчик 5 $^{1}/_{4}$ года остался недоволен прогулкой пешком в окрестности горы Дахштейн; как только показывалась новая гора, он осведомлялся, не Дахштейн ли это, а затем отказался продолжить путь к водопаду. Его поведение приписывали усталости, но оно нашло лучшее объяснение, когда мальчик на следующее утро сообщил свой сон, будто он поднялся на гору Дахштейн. Очевидно, он полагал, что прогулка имеет целью подъем на Дахштейн, и потому был огорчен, когда ему не удалось увидеть желанную гору. Во сне он получил то, чего ему не дал день. Подобный же сон видела шестилетняя девочка, отец которой прервал прогулку с нею, не дойдя до намеченной цели ввиду позднего времени. На обратном пути она обратила внимание на путевой столб, указывающий дорогу к другому месту прогулок, и отец пообещал повести ее туда в другой раз. На следующее утро она встретила отца с известием о том, что ей снилось, будто она с отцом в том и другом месте.

Во всех этих детских сновидениях бросается в глаза одна общая черта: все они исполняют желания, которые зародились днем и остались неудовлетворенными; эти сновидения являются простыми и незамаскированными исполнениями желаний.

Не чем иным, как исполнением желания, является и следующий на первый взгляд не совсем понятный детский сон. Девочка, около четырех лет от роду, заболевшая детским параличом, была привезена из деревни в город; здесь она переночевала у тетки в большой — для нее, конечно, чересчур большой — кровати. На следующее утро она рассказала свой сон, будто кровать была ей слишком мала, так что ей не хватало места. Это сновидение легко объяснить с точки зрения исполнения желаний, если вспомнить, что дети часто выражают желание «быть большим». Величина кровати слишком подчеркивала маленькой гостье ее собственную ве-

личину; поэтому она во сне исправила неприятное ей соотношение и сделалась такой большой, что большая кровать оказалась для нее слишком маленькой.

Если даже содержание детских сновидений усложняется и утончается, все-таки в них легко увидеть исполнение желаний. Восьмилетнему мальчику снилось, будто он с Ахиллесом ехал на колеснице, которой правил Диомед. Как оказалось, он за день перед тем увлекся чтением сказаний о греческих героях: легко доказать, что он взял этих героев за образец, сожалел, что не жил в их время.

Из этого небольшого числа сновидений выясняется второе характерное свойство детских сновидений: их связь с жизнью в течение дня. Исполняемые в сновидениях желания оставались от предыдущего дня, причем наяву они сопровождались интенсивными эмоциями. Несущественное и безразличное или то, что кажется таковым ребенку, не находит себе места в сновидениях.

Среди взрослых можно также собрать много примеров подобных сновидений детского типа, но они, как мы упоминали, большей частью кратки. Так, например, многим лицам при жажде ночью снится, будто они пьют; здесь сновидение стремится устранить раздражение и продлить сон. У других бывают часто такие «удобные» сновидения перед пробуждением, когда приближается время вставать; им тогда снится, что они уже встали, находятся около умывальника или уже в училище, конторе и прочее, где они должны быть в определенное время. В ночь перед поездкой куда-либо нередко снится, будто мы уже приехали к месту назначения; перед поездкой в театр или в общество сновидение нередко предвосхищает — как бы вследствие нетерпения — ожидаемое удовольствие. В других случаях сновидения выражают исполнение желаний не в столь прямой форме; тогда, чтобы распознать скрытое желание, необходимо установить какую-нибудь связь или сделать какой-нибудь вывод, т. е. необходимо начать работу толкования. Так, например, в случае, когда муж сообщает мне сновидение его молодой жены, будто у нее наступили месячные, надо не упускать из виду, что каждая молодая женщина при прекращении месячных подозревает о беременности. Ввиду этого сновидение содержит указание на беременность, и его смысл в том, что оно исполняет желание не забеременеть. В необычных и экстремальных условиях сновидения такого инфантильного характера особенно часты. Руководитель одной полярной экспедиции сообщает, например, что его команде во время зимовки во льдах с однообразным питанием и скудным рационом регулярно, как детям, снились сны о великолепных обедах, кучах табаку и о том, что они дома.

Весьма нередко из длинного, сложного и в общем случае спутанного сновидения выделяется особенно ясно один отрывок, в котором легко можно узнать исполнение желания, но который в то же время спаян с другим непонятным материалом. При попытке анализировать самые, по-видимому, прозрачные сновидения взрослых приходится часто с удивлением констатировать, что они редко бывают такими простыми, как детские сны, и что за исполнением желания в них кроется еще другой смысл.

Решение загадок сновидений было бы, конечно, простым и удовлетворительным, если бы работа анализа давала нам возможность сводить также бессмысленные и спутанные сновидения взрослых к инфантильному типу исполнения какого-либо интенсивно ощущаемого желания дня. Внешние признаки, конечно, не

указывают на подобную возможность: сновидения взрослых по большей части наполнены самым безразличным и посторонним материалом, который отнюдь не указывает на исполнение желаний.

Прежде чем расстаться с детскими сновидениями — этими незамаскированными исполнениями желаний, нам хотелось бы указать еще на одно давно замеченное главное, характерное свойство, которое именно в этой группе обнаруживается в самом чистом виде. Дело в том, что каждое из этих сновидений можно заменить одним пожеланием: «ах, если бы прогулка по озеру еще продлилась» — «если бы я был уже умыт и одет» — «мне бы следовало припрятать вишни вместо того, чтобы давать их дяде». Но сновидение содержит в себе больше, чем одно пожелание: последнее является во сне уже исполненным, причем это исполнение представляется как бы реальным и совершающимся на глазах; материал сновидения состоит преимущественно, хотя и не исключительно, из ситуаций и по большей части из зрительных образов. Таким образом, в этой группе можно обнаружить своего рода частичную переработку, которую следует считать работой сновидения: мысли, выражающие пожелание на будущее, замещены картиной, протекающей в настоящем.

IV

Мы склонны допустить, что и в спутанных сновидениях имеет место подобное преобразование в ситуацию, хотя и нельзя знать, содержатся ли в них пожелания. Сообщенный вначале пример сновидения, в анализ которого мы несколько углубились, дает нам — по крайней мере в двух случаях — повод предполагать нечто подобное. При анализе я встречаюсь с тем фактом, что жена моя за столом интересуется другими, причиняя мне этим неприятность; в сновидении же содержится прямо противоположная картина: женщина, замещающая мою жену, вся поворачивается ко мне. Не дает ли неприятное переживание лучший повод к проявлению желания, чтобы дело обстояло наоборот? Это и происходит во сне. В такой же связи находится неприятная при анализе мысль, что мне ничего не доставалось даром, со словами женщины в сновидении: «У вас ведь всегда были такие красивые глаза». Таким образом, противоречия между явным и скрытым содержанием сновидения могут быть частью сведены к исполнению желаний.

Гораздо более бросается в глаза другой результат работы сновидения, который ведет к возникновению бессвязных сновидений. Если сравнить на любом примере количество образов в сновидении с числом скрытых его мыслей, добытых путем анализа и лишь едва прослеживающихся в самом сновидении, то нельзя сомневаться в том, что работа сновидения производит прекрасную концентрацию или сгущение. Вначале трудно составить себе представление о масштабе этого сгущения, но оно производит тем большее впечатление, чем глубже удается проникнуть в анализ сновидения. Тогда нельзя найти ни одного элемента сновидения, от которого бы ассоциативные нити не расходились по трем или более направлениям, ни одной ситуации, которая бы не была составлена из трех или более впечатлений и переживаний. Так, например, мне приснилось однажды нечто вроде бассейна, в котором по всем направлениям плавали купающиеся; в одном месте на краю

бассейна стоял человек, наклонившись к одному купающемуся, как бы с намерением вытащить его. Ситуация была составлена из воспоминания об одном переживании в период полового созревания и из двух картин, одну из которых я видел незадолго перед сновидением. Картины эти изображали «Испуг в купальне» из швиндовского цикла «Прекрасная Мелузина» (см. разбегающихся купальщиц) и «Проточные воды» какого-то итальянского художника; маленькое же переживание заключалось в том, что мне пришлось однажды увидеть, как учитель плавания в купальне помогал выйти из воды одной даме, которая замешкалась до наступления назначенного для мужчин времени.

Ситуация в избранном для анализа примере вызывает у меня при анализе небольшой ряд воспоминаний, каждое из которых внесло кое-что в содержание сновидения. Прежде всего это — маленькая сценка из периода моего ухаживания, о которой я уже говорил; имевшее тогда место рукопожатие под столом внесло в сновидение подробность «под столом», о которой я вспомнил позднее. О «поворачивании» ко мне тогда, конечно, не было речи; но из анализа я знаю, что этот элемент является исполнением желания в силу контраста и относится к поведению моей жены за табльдотом. За этим недавним воспоминанием скрывается подобная же, но более важная сцена после нашей помолвки, которая привела даже к ссоре на целый день. Доверчивость и опускание руки на колено относится к совсем иной связи воспоминаний и к совершенно другим лицам; этот элемент сновидения становится, в свою очередь, исходным пунктом двух новых отдельных рядов воспоминаний и т. д.

Скрытые мысли сновидения, соединяющиеся для представления ситуации в сновидении, должны, конечно, заранее быть годными для этой цели: во всех составных частях должны быть налицо один или несколько общих элементов. Сновидение производит такую же работу, как Фрэнсис Гальтон при производстве своих фамильных фотографий: сновидение как бы накладывает друг на друга различные составные части; поэтому в общей картине на первый план отчетливо выступают общие элементы, а контрастирующие детали почти взаимно уничтожаются. Такой процесс объясняет отчасти также и своеобразную спутанность многочисленных элементов сновидения. Исходя из этого необходимо при толковании сновидений придерживаться следующего правила: если при анализе можно какую-нибудь неопределенность разрешить каким-либо «или — или», то при толковании нужно заменить эту альтернативу посредством «и», сделав каждый член ее исходным пунктом для независимого ряда вновь всплывающих мыслей.

Если между скрытыми мыслями сновидения нет общих частей, то работа сновидения стремится создать их, чтобы сделать возможным общее изложение. Лучший способ сблизить две скрытые мысли, не имеющие ничего общего, заключается в изменении словесного выражения одной из них, соответственно которому изменяется и выражение другой мысли. Это такой же процесс, как и стихосложение, при котором созвучие заменяет искомую общую часть. Большая часть работы сновидения заключается в создании подобных — часто очень остроумных, но часто также и натянутых — связующих мыслей; последние, исходя из общей картины сновидения, простираются до скрытых его мыслей, которые бывают различны по форме и содержанию и выплывают лишь при анализе сновидения. Точ-

но так же и при анализе взятого нами сновидения мы встречаемся с подобным случаем внешнего изменения мысли для согласования ее с другой, по существу чуждой ей мыслью. Так, при продолжении анализа я наталкиваюсь на следующую мысль: я хотел бы разок также получить что-нибудь даром. Но эта фраза непригодна для общего содержания сновидения и потому заменена другой формой: я хотел бы насладиться чем-нибудь без расходов (Kosten). Последнее слово вторым своим значением [в немецком языке] (пробовать) годится уже для круга идей при табльдоте и может быть применено к фигурирующему в сновидении шпинату. Когда подают на стол какое-нибудь блюдо, от которого дети отказываются, то мать пытается, конечно, сначала ласково уговорить детей: попробуйте хоть немного. Конечно, нам может показаться странным, что работа сновидения так ловко пользуется двойным смыслом слов, но опыт показал, что это — самое обыкновенное явление.

Сгущением образов в сновидении объясняется появление некоторых элементов, свойственных только ему и не находимых в нашем сознании наяву. Таковы составные и смешанные лица и странные смешанные образы, которые можно сравнить с созданными народной фантазией на Востоке причудливыми животными; последние, однако, имеют в нашем представлении определенную застывшую форму, между тем как сновидение постоянно создает новые сложные образы в неисчерпаемом богатстве. Каждый знаком с такими созданиями по своим собственным сновидениям. Способы их образования весьма различны. Я могу создать составной образ лица, либо наделяя его чертами двух разных лиц, либо давая ему облик одного, а имя другого, либо представляя себе визуально одно лицо и ставя его в положение, в котором находилось другое. Во всех этих случаях соединение различных лиц в одного их представителя в сновидении вполне осмысленно: оно имеет в виду сопоставление оригиналов с известной точки зрения, которая может быть упомянута и в самом сновидении. Но обыкновенно только путем анализа можно отыскать эти общие черты слитых в одно лиц, а образование таких лиц в сновидении лишь намекает на эти общие черты.

Таким же многообразным путем и по тем же причинам возникают неизмеримо богатые по содержанию композиции сновидения, примеров которых я не стану приводить. Они перестанут казаться странными, если не сопоставлять их с объектами восприятий наяву, а иметь в виду, что они представляют собой результат сгущения образов сновидения и выделяют в сокращенном виде общие черты скомбинированных таким образом объектов. Но эта общность и в данном случае выясняется по большей части только путем анализа; работа сновидения как бы говорит: все эти явления имеют какой-то общий X. Разложение этих композиций путем анализа часто ведет кратчайшим путем к истолкованию сновидения. Так, мне снилось однажды, что я сижу на одной скамье с одним из своих прежних университетских учителей, причем скамья эта начинает быстро двигаться среди других скамей. Эта картина является комбинацией аудитории с Trottoir roulant[1], дальнейшее развитие мысли я не прослеживаю. В другой раз во сне я сижу в вагоне и держу на коленях какой-то предмет, имеющий форму шляпы-цилиндра и сделанный

[1] Trottoir roulant — движущийся тротуар. — *Примеч. ред. перевода.*

из прозрачного стекла. По поводу этой картины мне тотчас приходит в голову пословица: со шляпой в руке можно пройти по всей стране[1]. Стеклянный цилиндр напоминает косвенно ауэровскую горелку[2], и я тут же узнаю, что хотел бы изобрести что-нибудь, что помогло бы мне сделаться таким же богатым и независимым, как мой земляк д-р Ауэр фон Вельсбах: тогда я мог бы путешествовать вместо того, чтобы сидеть в Вене. В сновидении я путешествую со своим изобретением — стеклянной шляпой-цилиндром, которая, впрочем, еще не вошла в употребление. Особенно охотно работа сновидения соединяет в одной комбинации два противоречащих друг другу представления. Так, например, одна женщина видит во сне у себя в руках высокий цветочный стебель, как у ангела на картинах благовещения девы Марии (ее называют — непорочная дева Мария); но стебель покрыт большими белыми цветами, похожими на камелии (противоположность непорочности — дама с камелиями).

Большую часть того, что мы узнали относительно происхождения образов во сне, можно выразить в следующей формуле: каждый элемент сновидения в избытке определяется скрытыми мыслями сновидения и обязан своим происхождением не одному элементу этих мыслей, а целому ряду их; однако последние не тесно связаны между собой, а относятся к различнейшим областям переплетения мыслей. В содержании сновидения каждый элемент является по существу выражением всего этого разнообразного материала. Помимо того, анализ вскрывает еще и другую сторону сложного соотношения между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями: подобно тому как от каждого элемента сновидения идут нити ко многим скрытым мыслям, так и каждая скрытая мысль сновидения выражается обыкновенно не одним, а несколькими элементами сновидения; ассоциативные нити не идут просто от скрытых мыслей к содержанию сновидения, а многократно скрещиваются и переплетаются.

Наряду с превращением мыслей в ситуацию («драматизацией») наиболее важным и своеобразным признаком работы сновидения является сгущение. Но до сих пор нам еще ничего не известно о мотивах, побуждающих нас к такому сгущению содержания.

V

В сложных и спутанных сновидениях, которыми мы теперь заняты, нельзя объяснять все несходство между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями только сгущением и драматизацией. Имеются доказательства влияния еще и третьего фактора, который заслуживает тщательного исследования.

Когда мне удается путем анализа докопаться до скрытых мыслей сновидения, то я прежде всего замечаю, что явное содержание сновидения состоит совсем из другого материала, чем скрытое. Конечно, это — только внешняя разница, исчезающая при внимательном исследовании, ибо в результате все содержание сновиде-

[1] Дословный перевод немецкой пословицы. По смыслу примерно соответствует русской: «На добрый привет — добрый ответ». — *Примеч. ред. перевода.*

[2] Ауэровская горелка — одна из типов газовых горелок, используемых в начале века для освещения. — *Примеч. ред. перевода.*

ния можно найти в скрытых мыслях и почти все эти мысли находят себе выражение в содержании сновидения. Но из этой разницы все-таки кое-что остается еще после анализа. То, что в сновидении выступало отчетливо на первый план как существенное, должно после анализа удовольствоваться весьма подчиненной ролью среди других скрытых мыслей сновидения; наоборот, те из последних, которые по свидетельству моих чувств имеют право на самое большое внимание в сновидении, либо совсем отсутствуют, либо выражены отдаленными намеками в неясных частях его. Это явление я могу описать еще следующим образом: во время работы сновидения психический акцент смещается с мыслей и представлений, которыми они обладают по праву, к другим, не имеющим, по моему суждению, никакого права на такое выделение; ни один процесс не помогает так сильно, как этот, скрыть смысл сновидения и сделать непонятной связь между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями. Во время этого процесса, который я назову смещением в сновидении, наблюдается также замещение психического напряжения, значимости и аффективной наполненности мыслей живостью образов. Наиболее ясное в содержании сновидения кажется обыкновенно самым важным, между тем как раз в неясной части сна часто можно обнаружить самую непосредственную связь с наиболее существенной скрытой мыслью сновидения.

То, что я назвал смещением в сновидении, можно было бы назвать также переоценкой психических ценностей. Для полной оценки данного явления необходимо еще указать на то, что эта работа смещения, или переоценки, весьма неодинакова в различных сновидениях: бывают сновидения, образовавшиеся почти без всякого смещения и являющиеся в то же время вполне осмысленными и понятными, каковы, например, незамаскированные исполнения желаний в сновидении; в других сновидениях, наоборот, ни одна из скрытых мыслей не сохранила своей собственной психической ценности и все существенное скрытых мыслей замещено второстепенным. Между этими двумя формами наблюдается целый ряд постепенных переходов: чем темнее и спутаннее сновидение, тем большее участие в его создании можно приписать процессу смещения.

Избранный нами для анализа пример обнаруживает такое смещение, в силу которого содержание сновидения и скрытых его мыслей имеет центры в разных пунктах: в сновидении на первый план выступает ситуация, будто какая-то женщина делает мне авансы; в скрытых же мыслях центр тяжести покоится на желании отведать разок бескорыстную любовь, «которая ничего не стоит»; последняя мысль скрывается только за разговорами о красивых глазах и отдаленным намеком в слове «шпинат».

Исправляя путем анализа произведенное в сновидении смещение, мы приходим к совершенно неоспоримым выводам относительно двух спорных проблем сновидения, именно: относительно побудителей сновидения и связи последнего с бодрствованием. Есть сновидения, которые сразу обнаруживают свою связь с дневными переживаниями; в других же нельзя отыскать этой связи. Однако анализ доказывает, что каждое сновидение без исключения связано с каким-либо впечатлением последних дней или, вернее, последнего дня перед сновидением. Впечатление, играющее роль побудителя сновидения, может быть так значительно, что наяву нас не удивляет интерес к нему; в этом случае мы справедливо счи-

таем сновидение продолжением важных интересов дня. Но обыкновенно, если содержание сновидения имеет какое-либо отношение к дневному впечатлению, последнее бывает так ничтожно и так легко забывается, что мы лишь с трудом припоминаем его. Сновидение, будучи даже связным и понятным, как будто интересуется самыми безразличными мелочами, которые наяву не могли бы вызвать никакого интереса. Пренебрежение к сновидению в значительной степени объясняется тем, что оно оказывает такое предпочтение безразличному и неважному.

Но анализ разрушает внешнюю видимость, с которой связана эта низкая оценка сновидения. Там, где сновидение выставляет на первый план в качестве побудителя безразличное впечатление, анализ обыкновенно обнаруживает значительное и справедливо волнующее переживание, которое в сновидении входит в обширные ассоциативные связи с безразличным переживанием и замещается им. Там, где сновидение занято лишенными значения и интереса представлениями, анализ вскрывает многочисленные связи, соединяющие это неважное с весьма значимым. Когда мы в содержании сновидения находим безразличное впечатление вместо волнующего и безразличный материал вместо интересного, то это нужно рассматривать как результат работы смещения.

Придерживаясь теперь взглядов, выработанных нами при замещении явного содержания сновидения скрытым, нужно на вопрос о побудителях сновидения и о связи последнего с повседневной жизнью ответить следующим образом: сновидение никогда не интересуется тем, что не могло бы привлечь нашего внимания днем, и мелочи, не волнующие нас днем, не в состоянии преследовать нас и во сне.

Каков же побудитель сновидения в избранном нами для анализа примере? Это — незначительное переживание, заключающееся в том, что приятель дал мне возможность проехаться даром в карете. Картина за табльдотом в сновидении содержит намек на этот незначительный факт, ибо в разговоре с приятелем я привел карету с таксометром в параллель с табльдотом. Но я могу также указать и на важное переживание, которое замещено во сне этим незначительным: несколько дней перед тем я истратил много денег на одного дорогого мне члена моей семьи. И вот скрытые мысли сновидения как бы говорят: было бы нисколько не удивительно, если бы то лицо отблагодарило меня — любовь его не была бы бесплатной. Бесплатная же любовь, по-видимому, стоит среди моих скрытых мыслей на первом плане. И то обстоятельство, что я с указанным родственником незадолго перед тем несколько раз ездил в карете, приводит к тому, что поездка с моим приятелем напоминает мне об отношениях к первому. Для того чтобы какое-нибудь незначительное переживание могло сделаться побудителем сновидения, необходимо еще одно условие, не нужное для действительного источника сновидения: это переживание должно быть всегда недавним, т. е. относиться ко дню перед сновидением.

Я не могу оставить вопроса о смещении сновидений, не упомянув еще об одном удивительном явлении, которое наблюдается при образовании сновидения под влиянием сгущения и смещения. При рассмотрении сгущения мы уже имели возможность познакомиться с таким случаем, когда два скрытых за сновидением представления, имея что-либо общее между собой или какую-нибудь точку

соприкосновения, замещаются в сновидении смешанным представлением, в котором более ясная суть соответствует общим, а неясные подробности — частным чертам обоих представлений. Если к этому сгущению присоединяется еще и смещение, то образуется не смешанное представление, а некое общее среднее, которое относится к отдельным элементам так, как в параллелограмме сил составляющие относятся к равнодействующей. Так, например, в одном из моих сновидений речь идет о впрыскивании пропилена. При анализе я прежде всего нахожу в качестве побудителя сновидения незначительное переживание, в котором некоторую роль играет амилен (химический препарат). Пока я еще не могу объяснить смешения амилена с пропиленом. Но к кругу идей того же сновидения относится еще воспоминание о первом посещении Мюнхена, где на меня произвели сильное впечатление Пропилеи. Дальнейший анализ позволяет высказать предположение, что смещение с амилена на пропилен было обусловлено влиянием второго круга идей на первый. Пропилен является, так сказать, средним представлением между амиленом и Пропилеями, и слово это попадает в содержание сновидения в качестве компромисса путем одновременного сгущения и смещения.

При взгляде на эту работу смещения еще настоятельнее, чем при сгущении, чувствуется потребность найти мотивы такой загадочной работы сновидения.

VI

Если то обстоятельство, что мы в содержании сновидения не находим или не узнаем скрытых его мыслей и не догадываемся даже о причинах такого искажения, обусловливается главным образом работой смещения, то другая, более легкая переработка скрытых мыслей приводит нас к обнаружению новой, но уже вполне понятной деятельности работы сновидения. Ближайшие скрытые мысли, обнаруживаемые путем анализа, часто поражают нас своей необычностью: они являются нам не в рациональных словесных формах, которыми наше мышление обыкновенно пользуется, а скорее выражаются символически, посредством сравнений и метафор, как в образном поэтическом языке. Нетрудно найти причину такого рода условности при выражении скрытых мыслей. Сновидение по большей части состоит из зрительных картин (ситуаций); поэтому скрытые мысли должны прежде всего подвергнуться некоторым изменениям, чтобы сделаться годными для такого способа выражения. Если мы представим себе, например, задачу, заключающуюся в том, чтобы заменить фразу из какой-нибудь политической передовицы или из речи в судебном зале рядом картинных изображений, то мы легко поймем, какие изменения вынуждена производить работа сновидения в целях образного представления содержания сновидения.

Среди психического материала скрытых мыслей обыкновенно встречаются воспоминания о глубоких переживаниях — нередко из раннего детства, запечатлевшихся как ситуации по большей части со зрительным содержанием. Этот элемент скрытых мыслей, действуя как бы в качестве кристаллизационного центра на концентрацию и распределение материала скрытых мыслей, оказывает, где только возможно, определяющее влияние на формирование сновидения. Ситуация сновидения является часто не чем иным, как видоизмененным и усложненным

повторением указанного глубокого переживания: сновидение лишь очень редко дает точную и без всяких примесей репродукцию действительных сцен.

Но сновидение не состоит исключительно из ситуаций, а содержит также отдельные остатки зрительных образов, речей и даже неизмененных мыслей. Небесполезно, пожалуй, просмотреть теперь вкратце изобразительные средства, которыми располагает работа сновидения для своеобразного выражения скрытых мыслей.

Обнаруживающиеся путем анализа скрытые мысли представляют психический комплекс самого запутанного строения. Части его находятся в самых разнообразных логических отношениях друг к другу: они могут стоять на первом и на последнем плане; могут быть условиями, отступлениями, пояснениями, доказательствами и возражениями; почти всегда рядом с одним направлением мыслей присутствует противоречащее ему обратное течение. Этому материалу свойственны все характерные черты знакомого нам мышления наяву; но чтобы получить сновидение из этого психического материала, необходимо подвергнуть его сгущающей прессовке, внутреннему раздроблению, смещению, которое одновременно создает новые видимости, и, наконец, избирательному воздействию со стороны наиболее годных для образования ситуаций составных частей. С учетом генезиса этого материала такой процесс заслуживает название «регрессии». При переработке психический материал теряет, конечно, скреплявшие его логические связи: работа сновидения как бы берет на себя только обработку фактического содержания скрытых мыслей; так что при толковании сновидения необходимо восстановить связь, уничтоженную работой сновидения.

Таким образом, средства выражения работы сновидения можно назвать жалкими по сравнению со средствами нашего мышления. Однако сновидение вовсе не должно отказываться от передачи логических отношений между скрытыми мыслями: очень часто ему удается заменить эти отношения характерными продуктами собственного творчества.

Сновидение прежде всего обнаруживает непреложную связь между всеми частями скрытых мыслей тем, что соединяет весь этот материал в одну ситуацию: оно выражает логическую связь сближением во времени и пространстве, подобно художнику, соединяющему на картине, изображающей Парнас, всех поэтов, которые, конечно, никогда не находились вместе на одной вершине горы, но в понятии, несомненно, образуют одну семью. Работа сновидения применяет этот способ выражения и в частностях, так что если в сновидении два элемента находятся рядом, это говорит за особенно тесную связь между скрытыми за ними мыслями. Здесь нужно еще заметить, что сновидения одной ночи обнаруживают при анализе свое происхождение от одного и того же круга идей.

Причинная зависимость в сновидении либо вовсе не выражается, либо замещается последовательностью во времени двух неодинаково длинных частей сновидения. Часто это замещение бывает обратным, т. е. начало сновидения соответствует следствию, а конец — предпосылке. Прямое превращение во сне одного предмета в другой указывает, по-видимому, на отношение причины к следствию.

Сновидение никогда не выражает альтернативу «или — или», а содержит оба члена ее, как равнозначащие, в одной и той же связи. И я упоминал, что при воспроизведении сновидения альтернативу «или — или» нужно передавать словом «и».

Противоречащие друг другу представления выражаются во сне преимущественно одним и тем же элементом[1]. Слова «нет», по-видимому, не существует для сновидения. Противоположность между двумя мыслями и инверсия выражается в сновидении в высшей степени странно, именно: одна часть сновидения как бы последовательно превращается в свою противоположность. Ниже мы познакомимся еще с другим способом выражения противоречия. Столь частое в сновидении ощущение затрудненного движения выражает противоречие между импульсами, т. е. волевой конфликт.

Весьма пригодным для механизма создания сновидения оказывается только одно логическое отношение — отношение подобия, общности, согласования. Работа сновидения пользуется этими случаями как опорными пунктами для сгущения сновидения и соединяет в новое единство все, что обнаруживает такое согласование.

Всех высказанных нами замечаний, конечно, недостаточно для правильной оценки всей суммы средств, которыми располагает работа сновидения для выражения логических отношений между скрытыми мыслями сновидения. В этом отношении разные сновидения бывают обработаны более тонко или более небрежно: неодинаково старательно придерживаются имеющегося текста и неодинаково пользуются вспомогательными средствами работы сновидения; в этом случае сновидения кажутся темными, спутанными и бессвязными. Когда сон очевидно нелеп и содержит очевидное противоречие, это происходит преднамеренно: своим с виду небрежным отношением ко всем логическим требованиям сновидение указывает на какую-то скрытую мысль; нелепость в сновидении означает противоречие, насмешку и издевку в скрытых мыслях. Так как это объяснение является самым сильным возражением против того понимания сновидения, которое приписывает происхождение сновидения диссоциированной и лишенной критики душевной деятельности, то я хочу подкрепить свое объяснение примером.

Мне снится: один мой знакомый М. подвергся в одной статье нападкам со стороны не больше и не меньше как самого Гёте; нападки эти, по нашему общему мнению, были незаслуженны. М. был, конечно, уничтожен ими; он горько жалуется на это в одном обществе за столом, но говорит, что его уважение к Гёте от этого нисколько не пострадало. Я стараюсь затем несколько выяснить себе обстоятельства времени, которые кажутся мне неправдоподобными: Гёте умер в 1832 году, следовательно, его нападки на М. должны были произойти раньше; М. должен был быть тогда совсем молодым человеком; мне представляется вероятным, что ему было 18 лет. Но я не знаю точно, какой у нас теперь год, и таким образом все вычисление затемняется. Впрочем, эти нападки содержатся в известной статье Гёте «Природа».

Бессмысленность этого сновидения покажется еще ярче, если я сообщу, что М. — молодой делец, которому чужды всякие поэтические и литературные инте-

[1] Примечательно, что известные лингвисты утверждают: древнейшие языки человечества отражают совершенно противоположные крайности одним и тем же словом (сильный — слабый, внутри — снаружи и т. д.; «противоположный смысл первоначальных слов»).

ресы. Но, приступив к анализу этого сновидения, я сумею доказать, что за этой бессмысленностью кроется определенная система. Сновидение черпает свой материал из трех источников:

1. М., с которым я познакомился в одном обществе за столом, обратился ко мне однажды с просьбой обследовать его старшего брата, обнаруживавшего признаки душевного расстройства. При разговоре с больным случилась неприятная сцена, заключавшаяся в том, что больной без всякого повода стал нападать на брата и намекать на его юношеские похождения. Я спросил больного о дне его рождения (дата смерти во сне) и заставил его производить различные вычисления, чтобы обнаружить у него ослабление памяти.

2. Одна медицинская газета, на обложке которой стояло также и мое имя, поместила прямо-таки «уничтожающую» критику одного совсем молодого референта по поводу книги моего друга Ф. из Берлина. По этому поводу я говорил с редактором, который, правда, выразил свое сожаление, но отказался поместить возражение. После этого я прекратил отношения с газетой и в своем письменном отказе выразил редактору надежду, что наши личные отношения от этого случая не пострадают. Данный случай, собственно, и является источником сновидения. Отрицательный прием, оказанный работе моего друга, произвел на меня глубокое впечатление: эта работа, по моему мнению, содержала фундаментальное биологическое открытие, которое лишь теперь — спустя 4 года — начинает оцениваться специалистами.

3. Одна больная рассказала мне недавно историю болезни своего брата, который впал в помешательство с криком «Natur, Natur»[1]. Врачи думали, что восклицание это относится к чтению прекрасной статьи Гёте и что оно указывает на переутомление больного от занятий. Я сказал, что мне представляется более вероятным, что восклицание «природа» нужно понимать в том половом смысле, который известен и необразованным. И тот факт, что несчастный больной впоследствии изуродовал себе половые органы, во всяком случае подкрепил мое предположение. Когда произошел первый припадок, этому больному было 18 лет.

В сновидении прежде всего за моим *Я* скрывается мой так плохо встреченный критикой друг («я стараюсь несколько выяснить себе обстоятельства времени»). Книга моего друга посвящена именно исследованию некоторых вопросов о длительности жизни; между прочим, автор говорит также о продолжительности жизни Гёте, которая равна очень значительному в биологии числу дней. Однако мое *Я* уподобляется затем паралитику («я не знаю точно, какой у нас теперь год»). Таким образом, сновидение представляет моего друга паралитиком, изобилуя при этом нелепостями. Скрытые же мысли гласят иронически: «Конечно, он — сумасшедший дурак, а вы — гении и больше всех понимаете; а не вернее ли будет обратное». Эта инверсия широко использована в содержании сновидения; так, например, Гёте нападает на молодого человека; это, конечно, нелепо, ибо в наше время всякий молодой человек легко может критиковать великого Гёте.

---

[1] Natur — досл. природа, натура. В южнонемецком также (эвфемизм) — срам, половые органы. — *Примеч. ред. перевода.*

Я мог бы сказать, что каждое сновидение исходит только из эгоистических побуждений. Мое *Я* во сне не только замещает моего друга, но изображает также и меня самого; я отождествляю себя с ним: судьба его открытия представляется мне образцом того, как будет принято мое собственное открытие; когда я выступлю со своей теорией, подчеркивающей в этиологии психоневрозов влияние половой сферы (ср. намеки на больного с возгласом «природа»), то меня ожидает такая же критика, и я уже теперь также смеюсь над ней. Вскрывая далее свои скрытые мысли, я постоянно нахожу насмешку и издевку как коррелят нелепостей в сновидении. Случайная находка в Венеции надтреснутого черепа овцы, как известно, навела Гёте на мысль о так называемой позвоночной теории черепа[1]. Мой друг хвалится, что, будучи студентом, он поднял целую бурю для устранения одного старого профессора, который, имея в прошлом заслуги (между прочим, и в указанной выше области сравнительной анатомии), сделался затем вследствие старческого слабоумия неспособным к преподаванию. Поднятая им (другом) агитация помогла предотвратить беду, создавшуюся в силу того, что в немецких университетах не положен возрастной предел академическому преподаванию. Но возраст не гарантирует от глупости. Несколько лет я служил в одной больнице при старшем враче, который, будучи давно уже дряхлым и с десяток лет заведомо слабоумным, продолжал занимать свою ответственную должность. Здесь мне вспоминается находка Гёте в Венеции. Молодые коллеги по больнице применили как-то к этому старику популярную в то время песенку: «Ни один Гёте этого не воспел, ни один Шиллер этого не описал» и т. д.

VII

Мы не закончили еще оценки работы сновидения. Кроме сгущения, смещения и наглядной переработки психического материала необходимо приписать работе сновидения еще другого рода функцию, заметную, впрочем, не во всех сновидениях. Я не стану подробно описывать эту часть работы сновидения, но хочу лишь указать, что о ее сущности можно составить себе представление, если предположить — может быть, не совсем верно, — что работа сновидения действует иногда на сновидение уже после его образования. Она заключается в том, чтобы расположить составные элементы сновидения в такой порядок, при котором они находились бы между собой в связи и сливались бы в одно цельное сновидение. Таким образом, сновидение приобретает нечто вроде фасада, который, конечно, не во всех пунктах прикрывает его содержание, и при этом первое предварительное толкование, которому способствуют вставки и легкие изменения. Но такая обработка сновидения становится возможной лишь благодаря тому, что работа сновидения при этом ничем не смущается и вообще обнаруживает резкое непонимание скрытых мыслей; поэтому, когда мы приступаем к анализу сновидения, нам прежде всего необходимо отбросить эти попытки толкования.

В этой части цель работы сновидения становится особенно прозрачной: это — стремление сделать сновидение более понятным. Это обстоятельство указывает

---

[1] Теория происхождения черепа из видоизмененных разросшихся и сросшихся между собой позвонков. — *Примеч. ред. перевода.*

также и на характер такой переработки; последняя относится к соответственному содержанию сновидения, так же как наша нормальная деятельность — к содержанию любого восприятия: она прилагает к нему известные готовые представления и уже при самом восприятии в целях понятности располагает элементы последнего в определенном порядке; однако такая переработка рискует исказить восприятие, и действительно, если не удастся связать его с чем-либо известным, она приводит к самым странным недоразумениям. Ведь известно, что мы не в состоянии смотреть на ряд чуждых нам знаков или слушать незнакомые слова без того, чтобы не видоизменять их с целью сделать понятными и связать с чем-либо знакомым для нас.

Сновидения, подвергшиеся такой обработке со стороны такой психической деятельности, полностью аналогичной мышлению в бодрствующем состоянии, можно назвать хорошо сочиненными. В других сновидениях эта деятельность совершенно отсутствует; в них даже не делается попытки упорядочить и истолковать их, так что по пробуждении мы, чувствуя себя тождественными с этой последней частью работы сновидения, говорим, что оно было «совершенно спутанным». Однако сновидение, представляющее беспорядочную кучу бессвязных отрывков, имеет для анализа такую же ценность, как и сновидение, хорошо сделанное и имеющее приглаженный внешний вид; в первом случае нам не приходится тратить усилий на разрушение того, что создано последней функцией работы сновидения. Не следует, однако, заблуждаться и считать, что этот фасад сновидения не представляет из себя ничего иного, как просто невразумительную и довольно произвольную переработку содержания сновидения сознательной инстанцией нашей душевной жизни. Нередко для создания фасада сновидения используются фантазии-желания, которые находят себе воплощение в мыслях сновидения и по типу аналогичны известным нам из бодрствования так называемым снам наяву. Желания-фантазии, которые анализ открывает в ночных сновидениях, зачастую выступают как повторения и переработки сцен в детстве; фасад сновидения открывает нам собственное ядро сновидения, непосредственно подвергшееся искажению во многих сновидениях путем смешения с другим материалом. В работе сновидения невозможно более открыть других типов деятельности, кроме четырех вышеупомянутых.

Если твердо придерживаться того положения, что «работа сновидения» означает переработку скрытых мыслей в содержание сновидения, то нужно сказать, что работа сновидения вообще ничего не создает, не проявляет своей собственной фантазии, не рассуждает, не умозаключает и что вообще функции ее заключаются только в сгущении материала, смещении его и наглядном его представлении, к которым присоединяется иногда еще последний непостоянный элемент — истолковывающей переработки. В содержании сновидения встречаются, правда, и такие элементы, которые можно было бы принять за продукт высшей психической деятельности; но анализ всегда обнаруживает, что эти интеллектуальные операции имели место уже в скрытых мыслях, откуда сновидение их лишь заимствует. Логическое заключение в сновидении есть не что иное, как повторение заключения из скрытых мыслей. Оно бывает неопровержимым, если переходит в сновидение без изменения; оно становится бессмысленным, если работа сновидения

переносит его на другой материал. Вычисление во сне указывает на таковое же в скрытых мыслях; но тогда как в последнем случае вычисление всегда правильно, во сне оно может в силу сгущения элементов и смещения на другой материал дать самый нелепый результат. Даже встречающиеся в сновидении речи не сочинены вновь; они оказываются составленными из отрывков речей, произнесенных или слышанных раньше и воспроизведенных теперь в скрытых мыслях; при этом слова воспроизводятся самым точным образом, повод же к их произнесению игнорируется, и смысл жестоко извращается. Быть может, не излишне подкрепить последние указания примерами.

1. Невинно звучащее и хорошо сочиненное сновидение одной пациентки гласит:

Она идет на рынок со своей кухаркой, которая несет корзину. Мясник в ответ на ее требование чего-то говорит: «Этого уже нет», — и хочет дать ей что-нибудь другое с замечанием: «Это тоже хорошо». Она отказывается и идет к зеленщице. Последняя предлагает ей пучок какой-то странной зелени черного цвета. Она говорит: «Этого я не знаю (kenne) и не возьму».

Слова «этого уже нет» находятся в связи с историей ее лечения. Я сам за несколько дней до того объяснял пациентке, что воспоминания раннего детства уже не существуют как таковые, а заменяются метафорами и сновидениями; значит, в ее сновидении в качестве мясника фигурирую я.

Другие слова: «этого я не знаю» — были произнесены при совершенно других условиях. За день до сновидения она крикнула своей кухарке, которая, впрочем, тоже фигурирует в сновидении: «Ведите себя прилично, этого я не признаю (kenne)» (т. е. такого поведения не признаю и не понимаю). Более невинная часть этой фразы попала, в силу смещения, в сновидение; в скрытых же мыслях главную роль играла другая часть фразы; дело в том, что в данном случае работа сновидения изменила крайне наивно и до полной неузнаваемости созданную воображением больной ситуацию, где я веду себя в некотором роде неприлично по отношению к ней. А эта воображаемая ситуация, в свою очередь, является лишь «новым изданием» переживания пациентки, имевшего когда-то место в действительности.

2. Вот другой как будто лишенный всякого значения сон, в котором встречаются числа.

Г-же А. снится, будто ей нужно уплатить за что-то: дочь ее берет у нее из кошелька 3 фл. 65 кр., но мать говорит ей: «Что ты делаешь? Это ведь стоит только 21 крейцер».

Видевшая сон была иногородней; она поместила своего ребенка в какое-то воспитательное заведение в Вене и могла продолжать лечение у меня до тех пор, пока в Вене оставалась ее дочь. В день накануне сновидения заведующая заведением советовала матери оставить ребенка еще на год; в этом случае она продлила бы и свое лечение на год. Числа в сновидении приобретают значение, если вспомнить, что «время — деньги». Один год равен 365 дням, в крейцерах 365 кр. или 3 фл. 65 кр.; 21 крейцер соответствует трем неделям, которые оставались со дня сновидения до конца учения и, следовательно, до конца лечения. По-видимому, именно денежные соображения заставили эту даму отклонить предложение заведующей, и в силу этих же соображений в сновидении фигурирует небольшая денежная сумма.

3. Молодая, но находящаяся уже несколько лет в замужестве дама узнает, что ее знакомая сверстница Элиза Л. помолвлена. По этому поводу ей приснилось следующее:

Она со своим мужем сидит в театре, и одна сторона партера совершенно пуста. Муж рассказывает ей, что Элиза Л. и жених ее также хотели пойти, но могли достать только плохие места, три места за 1 фл. 50 кр., а таких они не хотели взять. Она думает, что в этом не было бы беды.

Здесь нас интересует, как эти числа возникли из материала скрытых мыслей и каково испытанное ими превращение. Откуда возникли эти 1 фл. 50 кр.? По незначительному поводу предыдущего дня: ее невестка получила в подарок от своего мужа 150 фл. и поторопилась растратить их, купив себе на эту сумму какое-то украшение. Заметим, что 150 фл. в 100 раз больше, чем 1 фл. 50 кр. Для цифры «три», относящейся к театральным билетам, имеется лишь та связь, что невестка Элизы Л. ровно на три месяца моложе этой дамы, видевшей сон. Ситуация в сновидении является воспроизведением небольшого случая, которым муж ее часто дразнил: она однажды очень торопилась достать заблаговременно билеты на одно представление; когда же она явилась в театр, одна сторона партера была почти пуста; ей, следовательно, незачем было так торопиться. Не оставим, наконец, без внимания и ту нелепость в сновидении, что два лица хотят взять три билета в театр. Скрытые мысли здесь таковы: «Это ведь было бессмысленно выходить так рано замуж; мне незачем было так торопиться. На примере Элизы Л. я вижу, что всегда могла бы найти мужа и даже в сто раз лучшего (мужа, сокровище — Schatz), если бы только подождала. За свои деньги (приданое) я могла бы купить трех таких мужей».

VIII

Познакомившись в предыдущем изложении с работой сновидения, читатель, пожалуй, будет склонен рассматривать ее как совершенно особенный процесс, не имеющий, насколько известно, подобного себе; на работу сновидения как бы переходит то странное ощущение, которое обыкновенно вызывается у нас продуктом этой работы, т. е. сновидением. Но в действительности работа сновидения впервые знакомит нас лишь с одним из целого ряда психических процессов, на почве которых возникают истерические симптомы, навязчивый страх, навязчивые и бредовые идеи. Сгущение и прежде всего смещение являются всегда характерными чертами также и для этих процессов; наоборот, наглядное представление остается своеобразной чертой работы сновидения. Если это объяснение ставит сновидение рядом с созданиями больной психики, то тем важнее для нас узнать существенные условия возникновения таких процессов, как сновидение. Читатель, вероятно, будет удивлен, когда услышит, что к этим обязательным условиям не относятся ни состояние сна, ни болезнь; целый ряд явлений повседневной жизни здоровых людей — забывчивость, обмолвки, промахи и известный род заблуждений — обязан своим возникновением такому же психическому механизму, как и сновидение.

Среди отдельных функций работы сновидения более всего поразительно смещение, являющееся центральным пунктом всей проблемы. При исследовании

вопроса мы узнаем, что явление смещения обусловливается чисто психологическими моментами: оно является чем-то вроде мотивировки. Чтобы обнаружить последнюю, необходимо дать оценку тем фактам, с которыми мы неизбежно сталкиваемся при анализе сновидения. Так, при анализе первого сновидения я вынужден был прервать изложение скрытых мыслей ввиду того, что среди них, как я признался, были такие, которые я по важным соображениям предпочитаю скрыть от посторонних. К этому я добавил, что, если вместо данного сновидения взять для анализа какое-нибудь другое, это делу не поможет: в каждом сновидении с темным или спутанным содержанием я натолкнусь на скрытые его мысли, требующие сохранения тайны. Но если я продолжаю анализ для себя самого и не принимаю во внимание других, для которых ведь и не предназначено такое личное переживание, как сновидение, то я добираюсь, наконец, до таких мыслей, которые ошеломляют меня, которых я в себе не знал и которые мне не только чужды, но и неприятны; я готов энергично оспаривать их, но протекающая в анализе ассоциация идей непреодолимо навязывает мне их. Это общее положение вещей я могу объяснить только тем, что мысли эти действительно содержались в моей душевной жизни и обладали известной психической интенсивностью или энергией, но находились в своеобразном психологическом состоянии, в силу которого не могли сделаться сознательными. Я называю это особенное состояние вытеснением. И я не могу не видеть причинной связи между неясностью сновидения и вытеснением некоторых скрытых мыслей, т. е. неспособностью их достигнуть сферы сознания; а отсюда я заключаю, что сновидение должно быть неясным для того, чтобы не выдать запретных скрытых мыслей. Таким образом, я прихожу к представлению об искажении сновидения, которое является продуктом работы сновидения и имеет своей целью замаскировать, т. е. скрыть, что-нибудь.

Я попытаюсь теперь на примере избранного мною для анализа сновидения спросить себя, какова же та скрытая мысль, которая проявилась в этом сновидении в искаженном виде и которая, будучи не искажена, вызвала бы с моей стороны самое резкое возражение. Я вспоминаю, что даровая поездка в карете напомнила мне о дорого обошедшихся мне в последнее время поездках в карете с одним членом моей семьи; далее, что толкование сновидения привело меня к мысли — «мне хотелось бы испытать разок любовь, которая мне ничего не стоит», и, наконец, что я незадолго перед сновидением истратил на это самое лицо большую сумму денег. В этой связи я не могу отделаться от мысли, что мне жаль этих денег. И только когда я признаюсь в этом чувстве, приобретает смысл то обстоятельство, что я во сне хочу любви, не требующей от меня никаких расходов. И все-таки я вправе искренно сказать себе, что при решении затратить ту сумму я не колебался ни одного мгновения; сожаление об этом, т. е. обратное побуждение, не достигло моего сознания; по каким причинам не достигло, это во всяком случае другой вопрос, ведущий далеко в сторону, и известный мне ответ на него принадлежит к другой связи идей.

Подвергая анализу не свое собственное, а сновидение другого лица, я приду к тем же выводам, хотя соображения, на которых будут основываться мои выводы, будут иными. Если я имею дело со сновидением здорового человека, то у меня нет иного средства заставить его признать обнаруженные и неосознанные им скрытые мысли, как указать на общую связь всех скрытых мыслей сновидения. Если же

я имею дело с нервнобольным, например истериком, то признание вытесненной мысли является для него обязательным ввиду связи этой последней с симптомами его болезни и ввиду улучшения, наступающего у него при замене симптомов болезни неосознанными мыслями. Например, у больной, которой принадлежит последнее сновидение с тремя билетами за 1 фл. 50 кр., анализ должен допустить, что она не ценит своего мужа, сожалеет о браке с ним и охотно заменила бы его другим; она, конечно, утверждает, что любит его и что ее сознание ничего не знает об этой низкой оценке мужа (в 100 раз лучшего!); но все симптомы ее болезни приводят к такому же заключению, как и это сновидение. И после того как у больной были разбужены вытесненные воспоминания о том времени, когда она сознательно не любила своего мужа, болезненные симптомы исчезли, а с ними исчезло и ее сопротивление против вышеупомянутого толкования сновидения.

IX

Приняв понятие вытеснения и приведя факт искажения сновидения в связь с вытесненным психическим материалом, мы в состоянии указать в общих чертах на полученные из анализа сновидений главные результаты. Относительно понятных и осмысленных сновидений мы узнали, что они являются незамаскированными исполнениями желаний, т. е. что ситуация сновидения представляет исполненным какое-нибудь вполне заслуживающее внимания желание, знакомое сознанию и оставшееся невыполненным наяву. В неясных и спутанных сновидениях анализ обнаруживает нечто вполне аналогичное: ситуация сновидения опять изображает исполненным какое-нибудь желание, выплывающее всегда из скрытых мыслей; но представлено оно в неузнаваемом виде, так что только анализ в состоянии вскрыть его. При этом желание либо само вытеснено и чуждо сознанию, либо самым тесным образом связано с вытесненными мыслями и выражается ими. Итак, формула этих сновидений такова: они суть замаскированные исполнения вытесненных желаний. Любопытно отметить по этому поводу справедливость народного воззрения, рассматривающего сновидение как предсказание будущего. В действительности в сновидении проявляется не то будущее, которое наступит, а то, наступление которого мы желали бы; народный дух и здесь поступает так, как он привык поступать в других случаях: он верит в то, чего желает.

С точки зрения исполнения желаний сновидения бывают трех родов. Во-первых, сновидения, представляющие невытесненное желание в незамаскированном виде: таковы сновидения инфантильного типа, реже встречающиеся у взрослых. Во-вторых, сновидения, выражающие вытесненные желания в замаскированном виде: таково, пожалуй, огромное большинство всех наших сновидений, для понимания которых необходим анализ. В-третьих, сновидения, выражающие вытесненные желания, но без или с недостаточной маскировкой их. Эти сновидения постоянно сопровождаются страхом, прерывающим сон; страх выступает здесь вместо искажения сновидения; в сновидениях же второй категории страх устраняется работой сновидения. Можно без особых затруднений доказать, что представление, вызывающее теперь у нас во сне страх, было когда-то нашим желанием, а затем было вытеснено.

Существуют также ясные сновидения со страшным содержанием, которые, однако, не вызывают страха во мне; поэтому их не следует причислять к сновидениям третьей категории. Такие сновидения служили всегда доказательством того мнения, что сновидения лишены всякого значения и психической ценности. Однако анализ одного примера покажет, что в таких случаях мы имеем дело с хорошо замаскированными исполнениями вытесненных желаний, т. е. со сновидениями второй категории; этот же пример может служить прекрасной иллюстрацией пригодности работы смещения для маскировки желаний. Девушка во сне видит единственного ребенка своей сестры мертвым при той же обстановке, при которой она несколько лет назад видела мертвым первого ребенка. При этом девушка не испытывает никакой жалости, но, конечно, протестует против того понимания, будто смерть ребенка соответствует ее желанию. Этого и не требуется: дело в том, что у гроба первого ребенка сестры она в последний раз видела и говорила с любимым человеком; если бы умер второй ребенок, то, вероятно, она опять встретилась бы в доме сестры с этим человеком. И вот она жаждет этой встречи, но протестует против такого чувства. В самый день сновидения она взяла билет на лекцию, объявленную все еще любимым ею человеком; ее сновидение есть просто «нетерпеливое» сновидение, как это обыкновенно бывает перед путешествием, посещением театра и другими ожидаемыми удовольствиями; чтобы скрыть это стремление, ситуация применена к случаю, который менее всего подходит для радостных чувств, но который оказал ей однажды услугу. Следует обратить внимание еще на то обстоятельство, что эмоции во сне соответствуют не получившемуся содержанию сновидения, а действительному, хотя и скрытому; ситуация в сновидении предвосхищает давно желаемое свидание и не дает никакого повода для тяжелых чувств.

X

Так как философам до сих пор не приходилось еще заниматься вопросом о психологии вытеснения, то позволительно в связи с неизвестной сущностью этого явления составить себе наглядное представление о процессе образования сновидения. Несмотря на сложность принятой нами схемы, мы все-таки не можем удовлетвориться более простой схемой. По нашему мнению, в душевном аппарате человека имеются две мыслеобразующие инстанции, из которых вторая обладает тем преимуществом, что ее продукты находят доступ в сферу сознания открытым; деятельность же первой инстанции бессознательна и достигает сознания только через посредство второй. На границе обеих инстанций, на месте перехода от первой ко второй, находится цензура, которая пропускает лишь угодное ей, а остальное задерживает. И вот то, что отклонено цензурой, находится, по нашему определению, в состоянии вытеснения. При известных условиях, одним из которых является сновидение, соотношение сил между обеими инстанциями изменяется таким образом, что вытесненное не может уже быть вполне задержано; во сне это происходит как бы вследствие ослабления цензуры, в силу которого вытесненное приобретает возможность проложить себе дорогу в сферу сознания. Но так как цензура при этом никогда не упраздняется, а лишь ослабляется, то она довольствует-

ся такими изменениями сновидения, которые смягчают неприятные ей обстоятельства; то, что в таком случае становится осознаваемым, есть компромисс между намерениями одной инстанции и требованиями другой. Вытеснение, ослабление цензуры, образование компромисса — такова основная схема возникновения как сновидения, так и всяких психопатических представлений; при образовании компромисса как в том, так и в другом случае наблюдаются явления сгущения и смещения и возникают поверхностные ассоциации, знакомые уже нам по работе сновидения.

Нет нужды скрывать, что известную роль в созданном нами объяснении сыграл элемент демонизма при работе сновидения. У нас действительно возникло впечатление, что образование неясных сновидений происходит так, как будто одно лицо, находящееся в зависимости от другого, желает сказать то, что последнему неприятно слушать; путем такого уподобления мы создали понятие об искажении сновидения и о цензуре и затем постарались перевести свое впечатление на язык несколько грубой, но зато наглядной психологической теории. К чему бы ни свелись наши первая и вторая инстанции при дальнейшем исследовании, мы все же ждем подтверждения нашего предположения, что вторая инстанция распоряжается доступом к сознанию и может не допустить к нему первую инстанцию.

По пробуждении цензура быстро восстанавливает свою прежнюю силу и тогда может отобрать все, что было завоевано у нее в период ее слабости. Что забывание сновидения — по крайней мере отчасти — требует именно такого объяснения, это явствует из опыта, подтвержденного бесчисленное количество раз. При пересказе сновидения, при анализе его нередко случается, что отрывок, считавшийся забытым, вдруг вновь выплывает в памяти; этот извлеченный из забвения отрывок дает обыкновенно наилучший и ближайший путь к истолкованию сновидения; вероятно, в силу этого обстоятельства данный отрывок и был подавлен, т. е. забыт.

XI

Истолковав сновидение как образное представление исполнения желания и объяснив неясность его цензурными изменениями в вытесненном материале, нам уже нетрудно сделать вывод о функции сновидения. В противоположность обычным разговорам о том, что сновидения мешают спать, мы должны считать сновидения хранителем сна. По отношению к детскому сну это утверждение, пожалуй, не встретит возражений.

Наступление сна или соответственного изменения психики во сне, в чем бы оно ни состояло, обусловливается решением уснуть, которое навязывается ребенку или принимается им добровольно вследствие усталости; при этом сон наступает лишь при устранении внешних раздражителей, могущих поставить перед психикой вместо сна иные задачи. Нам известно, какие средства служат для устранения внешних раздражений; но необходимо указать также на средства, которыми мы располагаем для подавления раздражений внутренних (душевных), также мешающих нам уснуть. Возьмем мать, усыпляющую своего ребенка; последний беспрестанно выражает какое-нибудь желание: ему хочется еще раз поцеловаться, он хо-

чет еще играть; желания эти частью удовлетворяются, частью авторитетно откладываются на следующий день; ясно, что возникающие желания и потребности мешают уснуть. Кому не знакома забавная история (Болдуина Гроллера) о скверном мальчугане, который, проснувшись ночью, орет на всю спальню: «Хочу носорога!» Спокойный ребенок вместо того, чтобы орать, видел бы во сне, будто он играет с носорогом. Так как сновидение, представляющее желание исполненным, принимается во сне доверчиво, то оно таким образом устраняет желание, и продолжение сна становится возможным.

Нельзя не признать, что сновидение принимается доверчиво потому, что является нам в виде зрительного восприятия; ребенок же не обладает еще способностью, развивающейся позднее, отличать галлюцинации или фантазию от действительности.

Взрослый человек умеет различать это; он понимает также бесполезность хотения и путем продолжительного упражнения научается откладывать свои желания до того момента, когда они вследствие изменения внешних условий смогут быть удовлетворены окольным путем. Соответственно этому у взрослого во сне редко встречается исполнение желания прямым психическим путем; возможно даже, что оно вообще не встречается; а все, что кажется нам созданным по образцу детского сновидения, требует гораздо более сложного объяснения. Зато у взрослого человека — и, пожалуй, у всех без исключения людей с нормальным рассудком — развивается дифференциация психического материала, отсутствующая у ребенка; появляется психическая инстанция, которая, будучи научена жизненным опытом, строго господствует над душевными движениями, оказывая на них задерживающее влияние и обладая по отношению к сознанию и произвольным движениям наиболее сильными психическими средствами. При этом часть *детских* эмоций, как бесполезная в жизни, подавляется новой инстанцией, так что все вытекающие из этих эмоций мысли находятся в состоянии вытеснения.

Когда же эта инстанция, в которой мы узнаем свое нормальное *Я*, принимает решение уснуть, то в силу психофизиологических условий сна она, по-видимому, бывает вынуждена ослабить энергию, с которой обыкновенно задерживает днем вытесненные мысли. Это ослабление само по себе незначительно: хотя в подавленной детской душе и теснятся эмоции, они в силу состояния сна все-таки с трудом находят себе дорогу к сознанию и совсем не находят ее к двигательной сфере. Однако опасность, угрожающая с этой стороны спокойному продолжению сна, должна быть устранена. По этому поводу необходимо указать, что даже в глубоком сне известное количество свободного внимания должно быть обращено на те возбуждения, ввиду которых пробуждение представляется более целесообразным, чем продолжение сна. Иначе нельзя было бы объяснить того обстоятельства, что нас всегда можно разбудить раздражениями определенного качества, как на это указывал уже старый физиолог Бурдах; например, мать просыпается от плача своего ребенка, мельник — от остановки своей мельницы, большинство людей — от тихого обращения к ним по имени. Вот это бодрствующее во сне внимание обращено также и на внутренние возбуждения, исходящие из вытесненного, и образует вместе с ними сновидение, удовлетворяющее в качестве компромисса одновременно обе инстанции. Это сновидение, изображая подавленное или вытесненное

желание исполненным, как бы психически исчерпывает его; в то же время, делая возможным продолжение сна, оно удовлетворяет и другую инстанцию. Наше *Я* охотно ведет себя при этом как дитя; оно верит сновидению, как бы говоря: «да, да, ты прав, но дай мне поспать». То обстоятельство, что мы по пробуждении так низко ценим сновидение ввиду спутанности и кажущейся нелогичности его, обусловливается, вероятно, также и тем, что аналогичную оценку дает нашим возникающим из вытесненных побуждений эмоциям спящее *Я*, которое в своей оценке опирается на моторное бессилие этих нарушителей сна. Мы даже во сне сознаем иногда эту низкую оценку, именно: когда сновидение по своему содержанию слишком уж выходит за пределы цензуры, мы думаем: «Это ведь только сон» — и продолжаем спать.

Против такого понимания не может служить возражением то обстоятельство, что и по отношению к сновидению существуют предельные случаи, когда оно не в состоянии уже исполнять своей функции — охраны сна и, как это бывает при страшных сновидениях, берет на себя другую функцию — своевременно прервать сон. Сновидение поступает при этом подобно добросовестному сторожу, который сначала исполняет свои обязанности, устраняя всякий шум, могущий разбудить граждан; когда же причина шума представляется ему важной и сам он не в силах справиться с нею, тогда он видит свою обязанность в том, чтобы самому разбудить граждан.

Эта функция сновидения становится особенно очевидной в тех случаях, когда до спящего субъекта доходят какие-либо внешние раздражения. То обстоятельство, что раздражения внешних органов чувств во время сна оказывают влияние на содержание сновидения, всем давно известно, может быть доказано экспериментально и является малопригодным, но слишком высоко оцененным результатом врачебных исследований сновидения. Но с этим фактом связана другая неразрешимая до сих пор загадка: внешнее раздражение, действуя в эксперименте на спящего, появляется в сновидении не в своем настоящем виде, а подвергается одному из многочисленных толкований, выбор между которыми, как кажется, предоставлен психическому произволу. Психического произвола, конечно же, не существует; спящий может реагировать различным образом: он либо просыпается, либо ему удается продолжать сон. В последнем случае он может воспользоваться сновидением, чтобы устранить внешнее раздражение, и притом опять-таки различным образом: он может, например, устранить раздражение, видя во сне такую ситуацию, которая совершенно не вяжется с данным раздражением. Так, например, одному господину с болезненным абсцессом в промежности снилось, будто он едет верхом на лошади; причем согревающий компресс, который должен был смягчить боль, был принят им во сне за седло; таким образом он справился с мешавшим ему спать раздражением. Чаще же бывает так, что внешнее раздражение подвергается толкованию, в силу которого оно входит в связь с вытесненным и ждущим своего исполнения желанием, теряет поэтому свой реальный характер и рассматривается как часть психического материала. Так, например, одному лицу снится, что он написал комедию, воплощающую известную идею; комедия ставится в театре; прошел первый акт, встреченный бурными одобрениями; страшно аплодируют... Видящему сон здесь удалось продолжать спать, несмотря на шум;

по пробуждении он не слыхал уже шума, но справедливо решил, что, должно быть, где-то вблизи выбивали ковер или постель. Сновидение, возникающее непосредственно перед пробуждением от сильного шума, всегда представляет собой попытку посредством толкования отделаться от мешающего спать раздражения и таким образом продлить сон еще на некоторое время.

XII

Я не утверждаю, что осветил здесь все проблемы сновидения или исчерпал все убедительные доводы в пользу затронутых мною вопросов. Кто интересуется всей литературой о сновидении, пусть обратится к книге Санте де Санктиса о сновидении[1]; а кто желает познакомиться с более подробным обоснованием высказанных здесь мною взглядов, пусть прочтет мою работу «Толкование сновидений». Здесь я укажу еще лишь на то, в каком направлении должна продолжаться разработка моих взглядов на сущность работы сновидения. Если задачей толкования сновидения я считаю замещение сновидения скрытыми его мыслями, т. е. распутывание того, что соткано работой сновидения, то, с одной стороны, я выставляю ряд новых психологических задач, касающихся как механизма работы сновидения, так и сущности и условий возникновения так называемого вытеснения; с другой стороны, я признаю существование скрытых мыслей как психического материала высшего порядка, обладающего всеми признаками высшей умственной деятельности, но не проникающего в сферу сознания до тех пор, пока сновидение не исказит его. Я вынужден предполагать существование таких скрытых мыслей у каждого человека, ибо почти все люди — даже самые нормальные — способны видеть сны. С вопросом о бессознательности скрытых мыслей и об отношении их к сознанию и к вытеснению связаны другие важные для психологии вопросы, но решение последних должно быть отложено до того времени, когда удастся путем анализа выяснить происхождение других созданий больной психики, именно: истерических симптомов и навязчивых идей.

---

[1] *Sante de Sanctis.* I sogni. Torino, 1899.



Проблемы метапсихологии

О психоанализе

I

О возникновении и развитии психоанализа. — Истерия. — Случай д-ра Брейера. — «Talking cure». — Происхождение симптомов от психических травм. — Симптомы как символы воспоминаний. — Фиксация на травмах. — Разрядка аффектов. — Истерическая конверсия. — Раздвоение психики. — Гипноидные состояния

Уважаемые дамы и господа! Я смущен и чувствую себя необычно, выступая в качестве лектора перед жаждущими знания обитателями Нового Света. Я уверен, что обязан этой честью только тому, что мое имя соединяется с темой психоанализа, и потому я намерен говорить с вами о психоанализе. Я попытаюсь дать вам в возможно более кратком изложении исторический обзор возникновения и дальнейшего развития этого нового метода исследования и лечения.

Если создание психоанализа является заслугой, то это не моя заслуга. Я не принимал участия в первых начинаниях. Когда другой венский врач д-р Йозеф Брейер[1] в первый раз применил этот метод к одной истерической девушке (1880–1882), я был студентом и держал свои последние экзамены. Этой-то историей болезни и ее лечением мы и займемся прежде всего. Вы найдете ее в подробном изложении в «Studien über Hysterie»[2], опубликованных впоследствии Брейером совместно со мной.

Еще только одно замечание. Я узнал не без чувства удовлетворения, что большинство моих слушателей не принадлежит к врачебному сословию. Не думайте, что для понимания моих лекций необходимо специальное врачебное образование. Некоторое время мы пойдем во всяком случае вместе с врачами, но вскоре мы их оставим и последуем за д-ром Брейером по совершенно своеобразному пути.

---

[1] Д-р Й. Брейер, род. в 1842 г., член-корреспондент Академии наук, известен своими работами о дыхании и по физиологии чувства равновесия.

[2] Studien über Hysterie, 1895. Fr. Deuticke, Wien, 2 Aufl., 1909. Часть, принадлежащая в этой книге мне, переведена д-ром А. А. Бриллом из Нью-Йорка на английский язык.

Пациентка д-ра Брейера, девушка 21 года, очень одаренная, обнаружила в течение ее двухлетней болезни целый ряд телесных и душевных расстройств, на которые приходилось смотреть очень серьезно. У нее был спастический паралич обеих правых конечностей с отсутствием чувствительности, одно время такое же поражение и левых конечностей, расстройства движений глаз и различные недочеты зрения, затруднения в держании головы, сильный нервный кашель, отвращение к приему пищи; в течение нескольких недель она не могла ничего пить, несмотря на мучительную жажду; нарушения речи, дошедшие до того, что она утратила способность говорить на своем родном языке и понимать его; наконец, состояния спутанности, бреда, изменения всей ее личности, на которые мы позже должны будем обратить наше внимание.

Когда вы слышите о такой болезни, то вы, не будучи врачами, конечно, склонны думать, что дело идет о тяжелом заболевании, вероятно, мозга, которое подает мало надежды на выздоровление и должно скоро привести к гибели больной. Но врачи вам могут объяснить, что для одного ряда случаев с такими тяжелыми явлениями правильнее будет другой, гораздо более благоприятный взгляд. Когда подобная картина болезни наблюдается у молодой особы женского пола, у которой важные для жизни внутренние органы (сердце, почки) оказываются при объективном исследовании нормальными, но которая испытала тяжелые душевные потрясения, притом если отдельные симптомы изменяются в своих тонких деталях не так, как мы ожидаем, тогда врачи считают такой случай не слишком тяжелым. Они утверждают, что в таком случае дело идет не об органическом страдании мозга, но о том загадочном состоянии, которое со времен греческой медицины носит название истерии и которое может симулировать целый ряд картин тяжелого заболевания. Тогда врачи считают, что жизни не угрожает опасность и полное восстановление здоровья является весьма вероятным. Различение такой истерии и тяжелого органического страдания не всегда легко. Но нам незачем знать, как ставится подобный дифференциальный диагноз; с нас достаточно заверения, что случай Брейера таков, что ни один сведущий врач не ошибся бы в диагнозе. Здесь мы можем добавить из истории болезни, что пациентка заболела во время ухода за своим горячо любимым отцом, который и умер, но уже после того, как она вследствие собственного заболевания должна была оставить уход за отцом.

До этого момента нам было выгодно идти вместе с врачами, но скоро мы уйдем от них. Дело в том, что вы не должны ожидать, что надежды больного на врачебную помощь сильно повышаются от того, что вместо тяжелого органического страдания ставится диагноз истерии. Против тяжких заболеваний мозга врачебное искусство в большинстве случаев бессильно, но и с истерией врач тоже не знает, что делать. Когда и как осуществится полное надежд предсказание врача — это приходится всецело предоставить благодетельной природе[1].

Диагноз истерии, следовательно, для больного мало меняет дело; напротив, для врача дело принимает совсем другой оборот. Мы можем наблюдать, что с истерич-

[1] Я знаю, что теперь мы не можем этого утверждать, но при своем сообщении я переношу себя и своих слушателей назад, во время до 1880 года. Если с тех пор дело обстоит иначе, то в этом большая доля заслуги падает на те старания, историю которых я теперь излагаю.

ным больным врач ведет себя совсем не так, как с органическим больным. Он не выказывает первому того участия, как последнему, так как страдание истеричного далеко не так серьезно, а между тем сам больной, по-видимому, претендует на то, чтобы его страдание считалось столь же серьезным. Но тут есть и еще одно обстоятельство. Врач, познавший во время своего учения много такого, что остается неизвестным дилетанту, может составить себе представление о причинах болезни и о болезненных изменениях, например, при апоплексии или при опухолях мозга — представление до известной степени удовлетворительное, так как оно позволяет ему понять некоторые детали в картине болезни. Относительно понимания деталей истерических явлений врач остается без всякой помощи; ему не помогают ни его знания, ни его анатомо-физиологическое и патологическое образование. Он не может понять истерию, он стоит пред нею с тем же непониманием, как и дилетант. А это всякому неприятно, кто дорожит своим знанием. Поэтому-то истерики не вызывают к себе симпатии; врач рассматривает их как лиц, преступающих законы его науки, как правоверные рассматривают еретиков; он приписывает им всевозможное зло, обвиняет их в преувеличениях и намеренных обманах, в симуляции, и он наказывает их тем, что не проявляет к ним никакого интереса.

Этого упрека д-р Брейер у своей пациентки не заслужил: он отнесся к ней с симпатией и большим интересом, хотя и не знал сначала, как ей помочь. Может быть, она сама помогла ему в этом деле благодаря своим выдающимся духовным и душевным качествам, о которых Брейер говорит в истории болезни. Наблюдения Брейера, в которые он вкладывал столько любви, указали ему вскоре тот путь, следуя которому можно было оказать первую помощь.

Было замечено, что больная во время своих состояний абсанса[1], психической спутанности бормотала какие-то слова. Эти слова производили впечатление, как будто они относятся к каким-то мыслям, занимающим ее ум. Врач просил запомнить эти слова, затем поверг ее в состояние своего рода гипноза и повторил ей снова эти слова, чтобы побудить ее сказать еще что-нибудь на эту тему. Больная пошла на это и воспроизвела перед врачом то содержание психики, которое владело ею во время состояний спутанности и к которому относились упомянутые отдельные слова. Это были глубоко печальные, иногда поэтически прекрасные фантазии — сны наяву, можем мы сказать, — которые обычно начинались с описания положения девушки у постели больного отца. Рассказав ряд таких фантазий, больная как бы освобождалась и возвращалась к нормальной душевной жизни. Такое хорошее состояние держалось в течение многих часов, но на другой день сменялось новым приступом спутанности, который, в свою очередь, прекращался точно таким же образом после высказывания вновь образованных фантазий. Нельзя было отделаться от впечатления, что те изменения психики, которые проявлялись в состоянии спутанности, были результатом раздражения, исходящего от этих в высшей степени аффективных образований. Сама больная, которая в этот период болезни удивительным образом говорила и понимала только по-английски, дала этому новому способу лечения имя «talking cure» (лечение раз-

[1] Абсанс — кратковременное затемнение (отсутствие) сознания. — *Примеч. ред. перевода.*

говором) или называла это лечение в шутку «chimney sweeping» (прочистка труб).

Вскоре как бы случайно оказалось, что с помощью такого очищения души можно достичь большего, чем временное устранение постоянно возвращающихся расстройств сознания. Если больная с выражением аффекта вспоминала в гипнозе, по какому поводу и в какой связи известные симптомы появились впервые, то удавалось совершенно устранить эти симптомы болезни. «Летом, во время большой жары, больная сильно страдала от жажды, так как без всякой понятной причины она с известного времени вдруг перестала пить воду. Она брала стакан с водой в руку, но, как только касалась его губами, тотчас же отстраняла его, как страдающая водобоязнью. При этом несколько секунд она находилась, очевидно, в состоянии абсанса. Больная утоляла свою мучительную жажду только фруктами, дынями и т. д. Когда уже прошло около 6 недель со дня появления этого симптома, она однажды рассказала в гипнозе о своей компаньонке, англичанке, которую она не любила. Рассказ свой больная вела со всеми признаками отвращения. Она рассказывала о том, как однажды вошла в комнату этой англичанки и увидела, что ее отвратительная маленькая собачка пила воду из стакана. Она тогда ничего не сказала, не желая быть невежливой. После того как в сумеречном состоянии больная энергично высказала свое отвращение, она потребовала пить, пила без всякой задержки много воды и проснулась со стаканом воды у рта. Это болезненное явление с тех пор пропало совершенно»[1].

Позвольте вас задержать на этом факте. Никто еще не устранял истерических симптомов подобным образом и никто не проникал так глубоко в понимание их причин. Это должно было бы стать богатым последствиями открытием, если бы опыт подтвердил, что и другие симптомы у этой больной, пожалуй даже большинство симптомов, произошли таким же образом и также могут быть устранены. Брейер не пожалел труда на то, чтобы убедиться в этом, и стал планомерно исследовать патогенез других, более тяжелых симптомов болезни. Именно так и оказалось: почти все симптомы образовались как остатки, как осадки, если хотите, аффективных переживаний, которые мы впоследствии стали называть «психическими травмами». Особенность этих симптомов объяснялась их отношением к порождающим их травматическим сценам. Эти симптомы были, если использовать специальное выражение, детерминированы известными сценами, они представляли собой остатки воспоминаний об этих сценах. Поэтому уже не приходилось больше описывать эти симптомы как произвольные и загадочные продукты невроза. Следует только упомянуть об одном уклонении от ожиданий. Одно какое-либо переживание не всегда оставляло за собой известный симптом, но по большей части такое действие оказывали многочисленные, часто весьма похожие повторные травмы. Вся такая цепь патогенных воспоминаний должна была быть восстановлена в памяти в хронологической последовательности и притом в обратном порядке: последняя травма сначала и первая в конце, причем невозможно было перескочить через последующие травмы прямо к первой, часто наиболее действенной.

---

[1] Studien über Hysterie, 2 Aufl., S. 26.

Вы, конечно, захотите услышать от меня другие примеры детерминации истерических симптомов, кроме водобоязни вследствие отвращения, испытанного при виде пьющей из стакана собаки. Однако я должен, придерживаясь программы, ограничиться очень немногими примерами. Так, Брейер рассказывает, что расстройства зрения его больной могли быть сведены к следующим поводам, а именно: «Больная со слезами на глазах, сидя у постели больного отца, вдруг слышала вопрос отца, сколько времени; она видела циферблат неясно, напрягала свое зрение, подносила часы близко к глазам, отчего циферблат казался очень большим (макропсия и strabismus conv.)[1]; или она напрягалась, сдерживая слезы, чтобы больной отец не видел, что она плачет»[2]. Все патогенные впечатления относятся еще к тому времени, когда она принимала участие в уходе за больным отцом. «Однажды она проснулась ночью в большом страхе за своего лихорадящего отца и в большом напряжении, так как из Вены ожидали хирурга для операции. Мать на некоторое время ушла, и Анна сидела у постели больного, положив правую руку на спинку стула. Она впала в состояние грез наяву и увидела, как со стены ползла к больному черная змея с намерением его укусить. (Весьма вероятно, что на лугу, сзади дома, действительно водились змеи, которых девушка боялась и которые теперь послужили материалом для галлюцинации.) Она хотела отогнать животное, но была как бы парализована: правая рука, которая висела на спинке стула, онемела, потеряла чувствительность и стала паретичной. Когда она взглянула на эту руку, пальцы обратились в маленьких змей с мертвыми головами (ногти). Вероятно, она делала попытки прогнать парализованной правой рукой змею, и благодаря этому потеря чувствительности и паралич ассоциировались с галлюцинацией змеи. Когда эта последняя исчезла и больная захотела, все еще в большом страхе, молиться — у нее не было слов, она не могла молиться ни на одном из известных ей языков, пока ей не пришел в голову английский детский стих, и она смогла на этом языке думать и молиться»[3]. С воспоминанием этой сцены в гипнозе исчез спастический паралич правой руки, существовавший с начала болезни, и лечение было окончено.

Когда через несколько лет я стал практиковать брейеровский метод исследования и лечения среди своих больных, я сделал наблюдения, которые совершенно совпадали с его опытом. У одной 40-летней дамы был тик, а именно — особый щелкающий звук, который она производила при всяком возбуждении, а также и без видимого повода. Этот тик вел свое происхождение от двух переживаний, общим моментом для которых было решение больной теперь не производить никакого шума. Несмотря на это решение, как бы из противоречия, этот звук нарушил тишину однажды, когда она увидела, что ее больной сын наконец с трудом заснул, и сказала себе, что теперь она должна сидеть совершенно тихо, чтобы не разбудить его, и в другой раз, когда во время поездки с ее двумя детьми в грозу лошади испугались и она старалась избегать всякого шума, чтобы не пугать лошадей еще боль-

[1] Сходящееся косоглазие. — *Примеч. ред. перевода.*

[2] Studien über Hysterie, 2 Aufl., S. 31.

[3] L. c., S. 30.

ше[1]. Я привожу этот пример вместо многих других, которые опубликованы в «Studien über Hysterie»[2].

Уважаемые дамы и господа! Если вы разрешите мне обобщение, которое неизбежно при таком кратком изложении, то мы можем все, что узнали до сих пор, выразить в формуле: наши истеричные больные страдают воспоминаниями. Их симптомы являются остатками и символами воспоминаний об известных (травматических) переживаниях. Сравнение с другими символами воспоминаний в других областях, пожалуй, позволит нам глубже проникнуть в эту символику. Ведь памятники и монументы, которыми мы украшаем наши города, представляют собой такие же символы воспоминаний. Когда вы гуляете по Лондону, то вы можете видеть невдалеке от одного из громадных вокзалов богато изукрашенную колонну в готическом стиле, Чаринг-Кросс.

Один из древних королей Плантагенетов в XIII ст., когда препровождал тело своей любимой королевы Элеоноры в Вестминстер, воздвигал готический крест на каждой из остановок, где опускали на землю гроб, и Чаринг-Кросс представляет собой последний из тех памятников, которые должны были сохранить воспоминание об этом печальном шествии[3]. В другом месте города, недалеко от Лондон-Бридж, вы видите более современную, ввысь уходящую колонну, которую коротко называют монумент (The Monument). Она должна служить напоминанием о великом пожаре, который в 1666 г. уничтожил бóльшую часть города, начавшись недалеко от того места, где стоит этот монумент. Эти памятники служат символами воспоминаний, как истерические симптомы; в этом отношении сравнение вполне законно. Но что вы скажете о таком лондонском жителе, который и теперь бы стоял с печалью перед памятником погребения королевы Элеоноры, вместо того чтобы бежать по своим делам в той спешке, которая требуется современными условиями работы, или вместо того чтобы наслаждаться у своей собственной юной и прекрасной королевы сердца? Или о другом, который перед монументом будет оплакивать пожар своего любимого города, который с тех пор давно уже выстроен вновь в еще более блестящем виде? Подобно этим двум непрактичным лондонцам ведут себя все истерики и невротики, не только потому, что они вспоминают давно прошедшие болезненные переживания, но и потому, что они еще аффективно привязаны к ним; они не могут отделаться от прошедшего и ради него оставляют без внимания действительность и настоящее. Такая фиксация душевной жизни на патогенных травмах представляет собой одну из важнейших характерных черт неврозов, имеющих большое практическое значение.

Я вполне согласен с тем сомнением, которое у вас, по всей вероятности, возникнет, когда вы подумаете о пациентке Брейера. Все ее травмы относятся ко времени, когда она ухаживала за своим больным отцом, и симптомы ее болезни могут быть рассматриваемы как знаки воспоминания о его болезни и смерти. Они

---

[1] L. c., 2 Aufl., S. 43, 46.

[2] Избранные места из этой книги, к которым присоединены некоторые более поздние статьи по истерии, есть в английском переводе д-ра А. А. Брилла из Нью-Йорка.

[3] Скорее позднейшее подражание такому памятнику. Слово «Чаринг» происходит, по всей вероятности, от слов chère reine (дорогая королева), как мне сообщил д-р Э. Джонс.

соответствуют, следовательно, скорби, и фиксация на воспоминаниях об умершем спустя столь короткое время после его смерти, конечно, не представляет собой ничего патологического; наоборот, вполне соответствует нормальному чувству. Я согласен с этим; фиксация на травме не представляет у пациентки Брейера ничего исключительного. Но в других случаях, как, например, в случае моей больной с тиком, причины которого имели место 10 и 15 лет назад, эта особенность ненормального сосредоточения на прошедшем ясно выражена, и пациентка Брейера, наверное, проявила бы эту особенность точно так же, если бы вскоре после травматических переживаний и образования симптомов не была подвергнута катартическому лечению.

До сих пор мы объясняли только отношение истерических симптомов к истории жизни больной; из двух других моментов брейеровского наблюдения мы можем получить указание на то, как следует понимать процесс заболевания и выздоровления. Относительно процесса заболевания следует отметить, что больная Брейера должна была почти при всех патогенных положениях подавлять сильное возбуждение, вместо того чтобы избавиться от этого возбуждения соответствующими выражениями аффекта, словами или действиями. В небольшом событии с собачкой своей компаньонки она подавляла из вежливости свое очень сильное отвращение; в то время, когда она бодрствовала у постели своего отца, она непрерывно была озабочена тем, чтобы не дать заметить отцу своего страха и своего горя. Когда она впоследствии воспроизводила эти сцены перед своим врачом, то сдерживаемый тогда аффект выступал с необыкновенной силой, как будто он за это долгое время сохранялся в больной. Тот симптом, который остался от этой сцены, сделался особенно интенсивным, когда приближались к его причинам, и затем после прекращения действия этих причин совершенно исчез. С другой стороны, можно было наблюдать, что воспоминание сцены при враче оставалось без всяких последствий, если по какой-либо причине это воспоминание протекало без выражения аффекта. Судьба этих аффектов, которые могут быть рассматриваемы как способные к смещению величины, была определяющим моментом как для заболевания, так и для выздоровления. Напрашивалось предположение, что заболевание произошло потому, что развившемуся при патогенных положениях аффекту был закрыт нормальный выход и что сущность заболевания состояла в том, что эти ущемленные аффекты получили ненормальное применение. Частью эти аффекты оставались, отягощая душевную жизнь, как источники постоянного возбуждения для последней; частью они испытывали превращение в необычные телесные иннервации и задержки (Hemmungen), которые представляли собой телесные симптомы данного случая. Для этого последнего процесса мы стали использовать термин «истерическая конверсия». Известная часть нашего душевного возбуждения и в норме выражается в телесных иннервациях и дает то, что мы знаем под именем «выражение душевных волнений». Истерическая конверсия утрирует эту часть течения аффективного душевного процесса; она соответствует более интенсивному, направленному на новые пути выражению аффекта. Когда река течет по двум каналам, то всегда наступит переполнение одного, коль скоро течение по другому встретит какое-либо препятствие.

Вы видите, мы готовы прийти к чисто психологической теории истерии, причем на первое место мы ставим аффективные процессы. Другое наблюдение Брейера вынуждает нас при характеристике болезненных процессов приписывать большое значение состояниям сознания. Больная Брейера обнаруживала многоразличные душевные состояния: состояния спутанности, с изменением характера, которые чередовались с нормальным состоянием. В нормальном состоянии она ничего не знала о патогенных сценах и о их связи с симптомами; она забыла эти сцены или во всяком случае утратила их патогенную связь. Когда ее приводили в гипнотическое состояние, удавалось с известной затратой труда вызвать в ее памяти эти сцены, и благодаря этой работе воспоминания симптомы пропадали. Было бы очень затруднительно истолковывать этот факт если бы опыт и эксперименты по гипнотизму не указали нам пути исследования. Благодаря изучению гипнотических явлений мы привыкли к тому пониманию, которое сначала казалось нам крайне чуждым, а именно что в одном и том же индивидууме возможно несколько душевных группировок, которые могут существовать в одном индивидууме довольно независимо друг от друга, могут ничего «не знать» друг о друге и которые попеременно захватывают сознание. Случаи такого рода, называемые double conscience[1], иногда возникают самопроизвольно. Если при таком расщеплении личности сознание постоянно присуще одному из двух состояний, то это последнее называют сознательным душевным состоянием, а отделенное от нее — бессознательным. В известных явлениях так называемого постгипнотического внушения, когда заданная в состоянии гипноза задача впоследствии беспрекословно исполняется в нормальном состоянии, мы имеем прекрасный пример того влияния, которое сознательное состояние может испытывать со стороны бессознательного, и на основании этого образца возможно во всяком случае выяснить себе те наблюдения, которые мы делаем при истерии. Брейер решил выдвинуть предположение, что истерические симптомы возникают при особом душевном состоянии, которое он называет гипноидным. Те возбуждения, которые попадают в момент такого гипноидного состояния, легко становятся патогенными, так как гипноидные состояния не дают условий для нормального оттока процессов возбуждения. Из такого процесса возбуждения возникает ненормальный продукт гипноидного состояния, именно — симптом, и этот последний переходит в нормальное состояние, как нечто постороннее. Нормальное состояние ничего не знает о патогенных переживаниях гипноидного состояния. Где существует симптом, там есть и амнезия, пробел в памяти, и заполнение этого пробела совпадает с уничтожением условий возникновения симптома.

Я боюсь, что эта часть моего изложения показалась вам несколько туманной. Но будьте терпеливы — дело идет о новых и трудных воззрениях, которые, пожалуй, и не могут быть более ясными, а это служит доказательством того, что мы еще недалеко продвинулись в нашем познании. Впрочем, брейеровская гипотеза о гипноидных состояниях оказалась излишней и даже задерживающей дальнейшее развитие метода, почему и оставлена современным психоанализом. Впоследствии вы услышите, хотя бы только в общих чертах, какие воздействия и какие процессы

[1] Раздвоением сознания. — *Примеч. ред. перевода.*

можно было открыть за поставленной Брейером границей. У вас может вполне справедливо возникнуть впечатление, что исследования Брейера приводят только к очень несовершенной теории и неудовлетворительному объяснению наблюдаемых явлений, но совершенные теории не падают с неба, и вы с еще большим правом отнесетесь с недоверием к тому, кто вам предложит в самом начале своих наблюдений законченную теорию без всяких пробелов. Такая теория может быть только результатом его спекуляции, но не плодом исследования фактического материала без предвзятых мнений.

II

Исследования Шарко и Жане. — Изменение техники. — Отказ от гипноза. — Вытеснение и сопротивление. — Пример вытеснения. — Образование симптомов вследствие неудавшегося вытеснения. — Цель психоанализа

Уважаемые дамы и господа! Почти в то время, когда Брейер проводил у своей пациентки talking cure, Шарко начал в Париже свои исследования над истериками Сальпетриера — те исследования, которые пролили новый свет на понимание болезни. Результаты этих исследований тогда еще не могли быть известны в Вене. Когда же, приблизительно через 10 лет, Брейер и я опубликовали свое предварительное сообщение о психическом механизме истерических явлений, сообщение, которое основывалось на катартическом лечении первой пациентки Брейера, тогда мы находились всецело в сфере исследований Шарко. Мы считали патогенные переживания наших больных, психические травмы равнозначными тем телесным травмам, влияние которых на истерические параличи установил Шарко. Брейеровское положение о гипноидных состояниях есть не что иное, как отражение того факта, что Шарко искусственно воспроизводил в гипнозе травматические параличи.

Великий французский наблюдатель, учеником которого я был в 1885–1886 гг., сам не имел склонности к психологическим построениям, но его ученик П. Жане пытался глубже проникнуть в особенные психические процессы при истерии, и мы следовали его примеру, когда поставили в центр наших построений расщепление психики и распад личности. Вы найдете у Жане теорию истерии, которая разделяет господствующие во Франции взгляды на наследственность и на дегенерацию. Истерия, по его воззрениям, представляет собой известную форму дегенеративного изменения нервной системы, которая выражается во врожденной слабости психического синтеза. Истерики неспособны с самого начала связать многоразличные душевные процессы в одно целое, и отсюда у них склонность к душевной диссоциации. Если вы разрешите мне одно банальное, но ясное сравнение, то истеричная Жане напоминает ту слабую женщину, которая пошла за покупками и возвращается нагруженная большим количеством всяких коробок и пакетов. Она не может совладать со всей этой кучей с помощью своих двух рук и десяти пальцев, и поэтому у нее падает сначала одна вещь; наклонится она, чтобы поднять эту вещь, падает другая, и т. д. Плохо согласуется с этой предполагаемой слабостью истериков то обстоятельство, что у истериков наряду с проявлениями

пониженной работоспособности наблюдаются примеры частичного повышения работоспособности, как бы в виде компенсации за слабость в другом направлении. В то время как пациентка Брейера забыла и свой родной язык и все другие, кроме английского, ее владение английским достигло такого совершенства, что она была в состоянии по предложенной ей немецкой книге читать безукоризненный и легкий английский перевод.

Когда я впоследствии предпринял на свой страх и риск начатые Брейером исследования, я скоро пришел к другому взгляду на происхождение истерической диссоциации (расщепления сознания). Подобное разногласие, решающее для всех последующих взглядов, должно было возникнуть неизбежно, так как я шел не от лабораторных опытов, подобно Жане, но от терапевтических усилий.

Меня влекла прежде всего практическая потребность. Катартический метод лечения, как его практиковал Брейер, предполагал приведение больного в глубокое гипнотическое состояние, так как только в гипнотическом состоянии можно было получить сведения о патогенных соотношениях, о которых в нормальном состоянии больной ничего не знает. Вскоре гипноз стал для меня неприятен, как капризное и, так сказать, мистическое средство. Когда же опыт показал мне, что я не могу, несмотря на все старания, привести в гипнотическое состояние более чем только часть моих больных, я решил оставить гипноз и сделать катартическое лечение независимым от него. Так как я не мог изменить по своему желанию психическое состояние большинства моих больных, то я стал работать с их нормальным состоянием. Сначала это казалось бессмысленным и безуспешным предприятием. Задача была поставлена такая: узнать от больного нечто, о чем не знает врач и не знает сам больной. Как же можно было надеяться все же узнать это? Тут мне на помощь пришло воспоминание о замечательном и поучительном опыте, при котором я присутствовал в Нанси у Бернгейма. Бернгейм нам показал тогда, что лица, приведенные им в сомнамбулическое состояние, в котором они, по его приказанию, испытывали различные переживания, утрачивали память о пережитом в этом состоянии только на первый взгляд: оказалось возможным в бодрственном состоянии пробудить воспоминание об испытанном в сомнамбулизме. Когда он их спрашивал относительно пережитого в сомнамбулическом состоянии, то они действительно сначала утверждали, что ничего не знают, но когда он не успокаивался, настаивал на своем, уверял их, что они все же знают, то забытые воспоминания всякий раз воскресали снова.

Так поступал и я со своими пациентами. Когда я доходил с ними до того пункта, где они утверждали, что больше ничего не знают, я уверял их, что они тем не менее знают, что они должны только говорить, и я решался на утверждение, что то воспоминание будет правильным, которое придет им в голову, как только я положу свою руку им на лоб. Таким путем, без применения гипноза, мне удалось узнавать от больного все то, что было необходимо для установления связи между забытыми патогенными сценами и оставшимися от них симптомами. Но это была утомительная процедура, требующая много усилий, что не годилось для окончательной методики. Однако я не оставил этого метода, прежде чем не пришел к определенным заключениям из моих наблюдений. Я, следовательно, подтвердил, что забытые воспоминания не исчезли. Больной владел еще этими воспоминания-

ми, и они готовы были вступить в ассоциативную связь с тем, что он знает, но какая-то сила препятствовала тому, чтобы они сделались сознательными, и заставляла их оставаться бессознательными. Существование такой силы можно было принять совершенно уверенно, так как чувствовалось соответствующее ей напряжение, когда стараешься в противовес ей бессознательные воспоминания привести в сознание больного. Чувствовалась сила, которая поддерживала болезненное состояние, а именно — сопротивление больного.

На этой идее сопротивления я построил свое понимание психических процессов при истерии. Для выздоровления оказалось необходимым уничтожить это сопротивление. По механизму выздоровления можно было составить себе определенное представление и о процессе заболевания. Те самые силы, которые теперь препятствуют как сопротивление забытому стать сознательным, в свое время содействовали этому забыванию и вытеснили из сознания соответствующие патогенные переживания. Я назвал этот предполагаемый мною процесс вытеснением и рассматривал его как доказанный благодаря неоспоримому существованию сопротивления.

Но можно задать себе еще вопрос: каковы эти силы и каковы условия вытеснения, того вытеснения, в котором мы теперь видим патогенный механизм истерии? Сравнительное изучение патогенных ситуаций, с которыми мы познакомились при катартическом лечении, позволило нам дать на это ответ. При всех этих переживаниях дело было в том, что возникало какое-либо желание, которое стояло в резком противоречии с другими желаниями индивидуума, желание, которое было несовместимо с этическими и эстетическими взглядами личности. Был непродолжительный конфликт, и окончанием этой внутренней борьбы было то, что представление, которое возникло в сознании как носитель этого несовместимого желания, подвергалось вытеснению и вместе с относящимися к нему воспоминаниями устранялось из сознания и забывалось. Несовместимость соответствующего представления с *Я* больного была мотивом вытеснения; этические и другие требования индивидуума были вытесняющими силами. Принятие несовместимого желания или, что то же, продолжение конфликта вызывало бы значительное неудовольствие; это неудовольствие устранялось вытеснением, которое является, таким образом, одним из защитных приспособлений психической личности.

Я расскажу вам вместо многих один-единственный из своих случаев, в котором условия и польза вытеснения выражены достаточно ясно. Правда, ради своей цели я должен сократить и эту историю болезни и оставить в стороне важные предположения. Молодая девушка, недавно потерявшая любимого отца, за которым она ухаживала, — ситуация, аналогичная ситуации пациентки Брейера, — проявляла к своему зятю, за которого только что вышла замуж ее старшая сестра, большую симпатию, которую, однако, легко было маскировать под родственную нежность. Эта сестра пациентки заболела и умерла в отсутствие матери и нашей больной. Отсутствующие поспешно были вызваны, причем не получили еще сведений о горестном событии. Когда девушка подошла к постели умершей сестры, у нее на один момент возникла мысль, которую можно было бы выразить приблизительно в следующих словах: теперь он свободен и может на мне жениться. Мы должны считать вполне достоверным, что эта идея, которая выдала ее сознанию несозна-

ваемую ею сильную любовь к своему зятю, благодаря взрыву ее горестных чувств в ближайший же момент подверглась вытеснению. Девушка заболела. Наблюдались тяжелые истерические симптомы. Когда я взялся за ее лечение, оказалось, что она радикально забыла описанную сцену у постели сестры и возникшее у нее отвратительно эгоистическое желание. Она вспомнила об этом во время лечения, воспроизвела патогенный момент с признаками сильного душевного волнения и благодаря такому лечению стала здоровой.

Пожалуй, я решусь иллюстрировать вам процесс вытеснения и его неизбежное отношение к сопротивлению одним грубым сравнением, которое я заимствую из настоящей нашей ситуации. Допустите, что в этом зале и в этой аудитории, тишину и внимание которой я не знаю как восхвалить, тем не менее находится индивидуум, который нарушает тишину и отвлекает мое внимание от предстоящей мне задачи своим смехом, болтовней, топотом ног. Я объявляю, что я не могу при таких условиях читать далее лекцию, и вот из вашей среды выделяются несколько сильных мужчин и выставляют после кратковременной борьбы нарушителя порядка за дверь. Теперь он «вытеснен», и я могу продолжать свою лекцию. Для того чтобы нарушение порядка не повторилось, если выставленный будет пытаться вновь проникнуть в зал, исполнившие мое желание господа после совершенного ими вытеснения пододвигают свои стулья к двери и обосновываются там, представляя собой «сопротивление». Если вы теперь, используя язык психологии, назовете оба места (в аудитории и за дверью) сознательным и бессознательным, то вы будете иметь довольно верное изображение процесса вытеснения.

Вы видите теперь, в чем отличие нашего воззрения от взглядов Жане. Мы выводим расщепление психики не из врожденной недостаточности синтеза со стороны душевного аппарата, но объясняем это расщепление динамически, как конфликт противоречащих душевных сил; в расщеплении мы видим результат активных стремлений двух психических группировок друг против друга. Из этой точки зрения возникает очень много новых вопросов. Душевные конфликты очень часты, стремления *Я* отделаться от мучительного воспоминания наблюдаются вполне регулярно, без того, чтобы это вело к расщеплению психики. Нельзя отделаться от мысли, что требуются еще другие условия для того, чтобы конфликт привел к диссоциации. Я готов с вами согласиться, что, признавая вытеснение, мы находимся не в конце психологической теории, а в начале, но мы можем двигаться вперед только шаг за шагом и должны предоставить завершение нашего познания последующим более глубоким исследованиям.

Оставьте также попытку свести случай пациентки Брейера к вытеснению. Эта история болезни для этого не годится, так как она была получена с помощью гипнотического влияния. Только когда вы исключите гипноз, вы сможете заметить сопротивления и вытеснения и получите действительно правильное представление о патогенном процессе. Гипноз маскирует сопротивление и делает доступной определенную душевную область, но зато он накапливает сопротивление на границах этой области в виде вала, который делает недоступным все дальнейшее.

Самое ценное, чему мы могли научиться из брейеровского наблюдения, это были заключения о связи симптомов с патогенными переживаниями или психическими травмами, и мы должны теперь оценить эту связь с точки зрения учения

о вытеснении. С первого взгляда действительно неясно, как можно исходя из гипотезы вытеснения прийти к образованию симптомов. Вместо того чтобы излагать вам сложные теоретические выкладки, я думаю возвратиться к нашему прежнему изображению вытеснения. Подумайте о том, что с удалением нарушителя и с установлением стражи перед дверью дело еще может не кончиться. Может случиться, что выставленный, огорченный и решивший ни с чем не считаться, еще займет наше внимание. Правда, его уже нет среди нас, мы отделались от его иронического смеха, от его замечаний вполголоса, но в известном отношении вытеснение осталось без результата, так как он производит за дверьми невыносимый шум и его крики и его стук кулаками в дверь еще более мешают моей лекции, чем его прежнее неприличное поведение. При таких обстоятельствах мы с радостью будем приветствовать, если наш уважаемый президент д-р Стэнли Холл возьмет на себя роль посредника и восстановителя мира. Он поговорит с необузданным парнем и обратится к нам с предложением вновь пустить его, причем он дает слово, что последний будет вести себя лучше. Полагаясь на авторитет д-ра Холла, мы решаемся прекратить вытеснение, и вот снова наступают мир и тишина. Это и на самом деле вполне подходящее представление той задачи, которая выпадает на долю врача при психоаналитической терапии неврозов.

Говоря прямо, исследование истериков и других невротиков приводит нас к убеждению, что им не удалось вытеснение идеи, с которой связано несовместимое желание. Они, правда, устранили ее из сознания и из памяти и тем, казалось бы, избавили себя от большого количества неудовольствия, но в бессознательном вытесненное желание продолжает существовать и ждет только первой возможности сделаться активным и послать от себя в сознание искаженного, ставшего неузнаваемым заместителя. К этому-то замещающему представлению вскоре присоединяются те неприятные чувствования, от которых можно было считать себя избавленным благодаря вытеснению. Это замещающее вытесненную мысль представление — симптом — избавлено от дальнейших нападений со стороны обороняющегося *Я*, и вместо кратковременного конфликта наступает бесконечное страдание. В симптоме наряду с признаками искажения есть остаток какого-либо сходства с первоначальной, вытесненной идеей, остаток, позволяющий совершиться такому замещению. Те пути, по которым произошло замещение, могут быть открыты во время психоаналитического лечения больного, и для выздоровления необходимо, чтобы симптом был переведен в вытесненную идею по этим же самым путям. Если вытесненное опять переводится в область сознательной душевной деятельности, что предполагает преодоление значительных сопротивлений, тогда психический конфликт, которого хотел избежать больной, получает под руководством врача лучший выход, чем он получил с помощью вытеснения. Существует много таких целесообразных мероприятий, с помощью которых можно привести конфликт и невроз к благоприятному концу, причем в некоторых случаях можно комбинировать эти мероприятия. Или больной убеждается, что он несправедливо отказался от патогенного желания, и принимает его всецело или частью, или это желание направляется само на более высокую, не возбуждающую никаких сомнений цель (что называется сублимацией), или же отстранение этого желания признается справедливым, но автоматический, а потому и недостаточный

механизм вытеснения заменяется осуждением с помощью высших психических сил человека; таким образом достигается сознательное овладение несовместимым желанием. Простите, если мне не удалось сделать вам эти главные положения метода лечения, который теперь называется психоанализом, легко понятными. Затруднения проистекают не только от новизны предмета. Что это за несовместимые желания, которые, несмотря на вытеснение, дают о себе знать из области бессознательного, и какие субъективные и конституциональные условия должны быть налицо у индивидуума для того, чтобы вытеснение не удалось и имело бы место образование заместителей и симптомов, — об этом вы еще узнаете из последующих замечаний.

III

Техника узнавания по свободно возникающим мыслям больного. — Непрямое изображение. — Основное правило психоанализа. — Ассоциативный эксперимент. — Толкование сновидений. — Исполнение желаний во сне. — Работа сновидения. — Ошибочные, симптоматические и случайные действия. — Возражения против психоанализа

Уважаемые дамы и господа! Не всегда легко сказать правду, особенно когда приходится говорить возможно более кратко. Сегодня я должен исправить одну неточность, которая вкралась в мою предыдущую лекцию. Я говорил вам, что, отказавшись от гипноза, я требовал от своих больных, чтобы они говорили мне все, что им приходит в голову; они ведь знают все как будто позабытое, и первая возникающая мысль, конечно, будет содержать искомое. При этом опыт показал мне, что действительно первая случайная мысль содержала как раз то, что было нужно, и представляла собой забытое продолжение воспоминания. Но это, конечно, не всегда так бывает; я изложил это так только ради краткости. На самом деле это бывает так только в начале анализа, когда действительно появляется, при настойчивом требовании с моей стороны, именно то, что нужно. При дальнейшем употреблении этого метода всякий раз появляются мысли не те, которые нужны, так как они не подходят к случаю, и сами больные их отвергают как неверные. Дальше настаивать на своем требовании бесполезно. Таким образом, можно было сожалеть, что гипноз оставлен.

В этот период растерянности и беспомощности я твердо держался одного предрассудка, научное обоснование которого несколько лет спустя было дано моим другом К. Г. Юнгом в Цюрихе и его учениками. Я действительно утверждаю, что иногда очень полезно иметь предрассудки. Так, я всегда был самого высокого мнения о строгой детерминации душевных процессов, а следовательно, и не мог верить тому, что возникающая у больного мысль, при напряжении внимания с его стороны, была бы совершенно произвольна и не имела бы никакого отношения к искомому нами забытому представлению. То, что возникающая у больного мысль не может быть идентична с забытым представлением, вполне объясняется душевным состоянием больного. В больном во время лечения действуют две силы одна против другой: с одной стороны, его сознательное стремление вспомнить забытое,

с другой — знакомое нам сопротивление, которое препятствует вытесненному или его производным вернуться в сознание. Если это сопротивление равняется нулю или очень незначительно, то забытое без всякого искажения возникает в сознании; если же сопротивление значительно, то следует признать, что вытесненное искажается тем сильнее, чем сильнее направленное против его осознания сопротивление. Та мысль, которая возникает у больного, сама образуется так же, как симптом: это новый, искусственный, эфемерный заместитель вытесненного. Чем сильнее искажение под влиянием сопротивления, тем меньше сходства между возникающей мыслью — заместителем вытесненного и самим вытесненным. Тем не менее эта мысль должна иметь хоть какое-нибудь сходство с искомым, в силу того, что она имеет то же происхождение, что и симптом. Если сопротивление не слишком уж интенсивно, то по этой мысли можно узнать искомое. Случайная мысль должна относиться к вытесненной мысли как намек. Подобное отношение существует при передаче мыслей в непрямой речи.

Мы знаем в области нормальной душевной жизни случай, когда аналогичное описанной ситуации дает подобный же результат. Этот случай — острота. Из-за проблем психоаналитической техники я был вынужден заняться техникой построения острот. Я объясню вам одну английскую остроту.

Это следующий анекдот[1]: двум не очень-то щепетильным дельцам удалось рядом очень смелых предприятий создать себе большое состояние, после чего они приложили массу усилий, чтобы войти в высшее общество. Среди прочего им казалось вполне целесообразным заказать свои портреты самому знаменитому и дорогому художнику, появление произведений которого считалось событием. На большом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые. Хозяева подвели весьма влиятельного критика и знатока искусства к стене гостиной, на которой висели оба портрета, рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрения и удивления. Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему чего-то не хватает, и спросил только, указывая на свободное место между двумя портретами: «And where is the Saviour?»[2] Я вижу, вы смеетесь этой прекрасной остроте, построение которой мы постараемся теперь понять. Мы догадываемся, что знаток искусства хотел сказать: вы — пара разбойников, подобно тем, среди которых был распят на кресте Спаситель. Но он этого не говорит, а вместо этого говорит другое, что сначала кажется совершенно не подходящим и не относящимся к случаю, хотя мы тотчас же узнаем в его словах намек на то неодобрительное мнение, которое ему хотелось бы высказать. Этот намек представляет собой настоящего заместителя последнего мнения. Конечно, трудно надеяться найти при остротах все те отношения, которые мы предполагаем при происхождении случайных мыслей у наших пациентов, но мы хотим только указать на идентичность мотивировки остроты и случайной мысли. Почему наш критик не говорит двум разбойникам прямо того, что он хочет сказать? Потому что наряду с его желанием сказать это прямо у него есть весьма основательные мотивы против этого. Небезопасно оскорблять людей, у которых находишься в гостях и которые распо-

[1] Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. Wien, 1905, S. 60.

[2] «А где же Спаситель?» — *Примеч. ред. перевода.*

лагают здоровыми кулаками многочисленной прислуги. Легко можно испытать судьбу, подобную той, о которой я говорил в предыдущей лекции, приводя аналогию «вытеснению». Поэтому критик высказывает свое неодобрительное мнение не прямо, но в искаженном виде, как «намек с пропуском». Эта же самая констелляция служит, по нашему мнению, причиной того, что пациент вместо забытого искомого продуцирует более или менее искаженного заместителя.

Уважаемые дамы и господа! Вполне целесообразно называть группу представлений, связанных одним аффектом, «комплексом», по примеру Цюрихской школы (Блейлер, Юнг и др.). Итак, мы видим, что, исходя в наших поисках вытесненного комплекса от той последней мысли, которую высказывает наш больной, мы можем надеяться найти искомый комплекс, если больной дает в наше распоряжение достаточное количество свободно приходящих в голову мыслей. Поэтому мы предоставляем больному говорить все, что он хочет, и твердо придерживаемся того предположения, что ему может прийти в голову только то, что, хотя и не прямо, зависит от искомого комплекса. Если вам этот путь отыскания вытесненного кажется слишком сложным, то я могу вас по крайней мере уверить, что это единственный возможный путь.

При выполнении вашей задачи вам часто мешает то обстоятельство, что больной иногда замолкает, запинается и начинает утверждать, что он не знает, что сказать, что ему вообще ничего не приходит на ум. Если бы это было действительно так и больной был бы прав, то наш метод опять оказался бы недостаточным. Однако более тонкое наблюдение показывает, что подобного отказа со стороны мыслей никогда и не бывает на самом деле. Все это объясняется только тем, что больной удерживает или устраняет пришедшую ему в голову мысль под влиянием сопротивления, которое при этом маскируется в различные критические суждения о значимости мысли. Мы защищаемся от этого, заранее сообщая больному возможности подобного случая и требуя от него, чтобы он не критиковал своих мыслей. Он должен все говорить, совершенно отказавшись от подобного критического выбора, все, что приходит ему в голову, даже если он считает это неправильным, не относящимся к делу, бессмысленным. И особенно в том случае, если ему неприятно занимать свое мышление подобной мыслью. Следуя этому правилу, мы обеспечиваем себя материалом, который наведет нас на след вытесненных комплексов.

Этот материал из мыслей, которые больной не ценит и отбрасывает от себя, если он находится под влиянием сопротивления, а не врача, представляет собой для психоаналитика руду, из которой он с помощью простого искусства толкования может извлечь драгоценный металл. Если вы хотите получить от больного быстрое предварительное сведение о его комплексах, не входя еще в их взаимоотношения, вы можете воспользоваться для этого ассоциативным экспериментом в том виде, как он предложен Юнгом[1] и его учениками. Этот метод дает психоаналитикам столько же, сколько качественный анализ химику; при лечении невротиков мы можем обойтись без него, но он необходим для объективной демонстрации комплексов, а также при исследовании психозов, в том исследовании, которое с большим успехом начато Цюрихской школой.

---

[1] *Jung C. G.* Diagnostische Assoziationsstudien, Bd. l, 1906.

Обработка мыслей, которые возникают у больного, если он исполняет основное правило психоанализа, не представляет собой единственного технического приема для исследования бессознательного. Этой же цели служат два других средства: толкование сновидения больного и использование его ошибочных и случайных действий.

Должен вам сознаться, мои уважаемые слушатели, что я долго сомневался, не следует ли мне лучше вместо этого сжатого обзора всей области психоанализа дать вам подробное изложение толкования сновидений[1]. Субъективный и, казалось бы, второстепенный мотив удержал меня от этого. Мне казалось почти неприличным выступать в этой стране, посвящающей свои силы практическим целям, в качестве толкователя снов, прежде чем вы узнаете, какое значение может иметь это устарелое и осмеянное искусство. Толкование сновидений есть via Regia[2] к познанию бессознательного, самое определенное основание психоанализа и та область, в которой всякий исследователь приобретет свою убежденность и свое образование. Когда меня спрашивают, как можно сделаться психоаналитиком, я всегда отвечаю: с помощью изучения своих собственных сновидений. С верным тактом все противники психоанализа избегали до сих пор оценки толкования сновидений или отделывались от этого вопроса несколькими незначительными сомнениями. Если же вы, наоборот, в состоянии подробно заняться проблемами сновидений, то те новые данные, которые вы получите при психоанализе, не будут представлять для вас никаких затруднений.

Не забывайте того, что наши ночные продукты сновидений представляют собой, с одной стороны, самое большое внешнее сходство и внутреннее сродство с симптомами душевной болезни, с другой стороны, вполне совместимы с нашей здоровой жизнью при бодрствовании. Нет ничего абсурдного в том утверждении, что тот, кто не понимает снов, т. е. «нормальных» галлюцинаций, бредовых идей и изменений характера, а только им удивляется, тот не может иметь ни малейших претензий на понимание ненормальных проявлений болезненных душевных состояний иначе как на уровне дилетанта. К этим дилетантам вы спокойно можете теперь причислить почти всех психиатров. Последуйте теперь за мною в беглом поверхностном обзоре проблем сновидений.

Обыкновенно, просыпаясь, мы так же свысока относимся к нашим сновидениям, как пациент к своим случайным мыслям, нужным для психоаналитика. Мы отстраняем от себя наши сновидения, забывая их обыкновенно быстро и совершенно. Наша низкая оценка снов зависит от странного характера даже тех сновидений, которые не бессмысленны и не запутаны, а также от явной абсурдности и бессмысленности остальных. Наше отвращение зависит от иногда необузданно бесстыдных и безнравственных стремлений, которые открыто проявляются в некоторых сновидениях. В древности, как известно, к снам не относились с таким презрением. Низшие слои нашего населения и теперь еще не позволяют совратить себя с истинного пути в отношении толкования сновидений и ожидают от снов, как древние, раскрытия будущего.

---

[1] Die Traumdeutung, 1900; 2 Aufl., 1909.

[2] Дорога в царские чертоги. — *Примеч. ред. перевода.*

Должен признаться, что я не имею ни малейшей потребности в мистических посылках для заполнения пробелов в наших современных знаниях, и потому я не могу найти ничего такого, что могло бы подтвердить пророческое значение сновидений. Относительно сновидений можно сказать много другого, также весьма удивительного.

Прежде всего, не все сновидения так уж чужды нам, непонятны и запутаны. Если вы займетесь сновидениями маленьких детей начиная с полутора лет, то вы убедитесь, что они просто и легко поддаются объяснению. Маленький ребенок всегда видит во сне исполнение желаний, которые возникли накануне днем и не нашли себе удовлетворения. Детские сны не нуждаются ни в каком толковании; чтобы найти их простое объяснение, нужно только осведомиться о переживаниях ребенка в день перед сновидением. Конечно, самым удовлетворительным разрешением проблемы сновидений взрослых было бы то, если бы их сны не отличались от снов детей и представляли бы собой исполнение тех желаний, которые возникли в течение последнего дня. Но и на самом деле это так; затруднения, препятствующие такому толкованию, могут быть устранены постепенно, шаг за шагом, при все углубляющемся анализе сновидений.

Первое и самое важное сомнение заключается в том, что сновидения взрослых обычно непонятны по своему содержанию, причем меньше всего содержание сновидения указывает на исполнение желаний. Ответ на это сомнение таков: сновидения претерпели искажение; психический процесс, лежащий в их основе, должен был бы получить совсем другое словесное выражение. Вы должны явное содержание сновидения, которое вы туманно вспоминаете утром и с трудом, на первый взгляд произвольно, стараетесь выразить словами, отличать от скрытых мыслей сновидения, которые существуют в области психического бессознательного. Это искажение сновидений есть тот же самый процесс, с которым вы познакомились при исследовании образования истерических симптомов. Он указывает на то, что при образовании сновидений имеет место та же борьба душевных сил, как и при образовании симптомов. Явное содержание сновидений есть искаженный заместитель бессознательных мыслей, и это самое искажение есть дело защитных сил *Я*, т. е. тех сопротивлений, которые в бодрствующем состоянии вообще не допускают вытесненные желания бессознательного в область сознания. Во время же ослабления сознания в состоянии сна эти сопротивления все-таки настолько сильны, что обусловливают маскировку бессознательных мыслей. Видящий сон благодаря этому так же мало узнает его смысл, как истерик — взаимоотношение и значение своих симптомов.

Убедиться в том факте, что скрытые мысли сновидений действительно существуют и что между ними и явным содержанием сновидения существуют описанные соотношения, вы можете при анализе сновидений, методика которого совпадает с психоаналитической. Вы совершенно устраняетесь от кажущейся связи элементов в явном сновидении и собираете воедино случайные мысли, которые возникают при свободном ассоциировании на каждый из элементов сновидения, соблюдая при этом основное правило психоанализа. Из этого материала вы узнаете скрытые мысли совершенно так же, как из мыслей больного, имеющих отношение к его симптомам и воспоминаниям, вы узнаете его скрытые комплексы. По

найденным таким путем скрытым мыслям вы прямо без дальнейшего рассуждения увидите, насколько справедливо рассматривать сны взрослых так же, как детские сновидения. То, что после анализа оказывается на месте явного содержания сновидения в качестве действительного смысла сновидения, совершенно понятно и относится к впечатлениям последнего дня, являясь исполнением неудовлетворенных желаний. Явное содержание сновидения, которое вы вспоминаете при пробуждении, вы можете определить как замаскированное исполнение вытесненных желаний.

Вы можете своего рода синтетической работой заглянуть теперь в тот процесс, который приводит к искажению бессознательных скрытых мыслей в явном содержании. Мы называем этот процесс «работой сновидения». Эта последняя заслуживает нашего пристальнейшего интереса, потому что по ней так, как нигде, мы можем видеть, какие неожиданные психические процессы имеют место в области бессознательного, или, говоря точнее, в области между двумя отдельными психическими системами — сознательного и бессознательного. Среди этих вновь открытых психических процессов особенно выделяются процессы сгущения и смещения. Работа сновидения есть частный случай воздействия различных психических группировок одной на другую, другими словами — частный случай результата расщепления психики. Работа сновидения представляется во всем существенном идентичной с той работой искажения, которая превращает вытесненные комплексы при неудавшемся вытеснении в симптомы.

Кроме того, при анализе сновидений, лучше всего своих собственных, вы с удивлением узнаете о той неожиданно большой роли, которую играют при развитии человека впечатления и переживания ранних детских лет. В мире сновидений ребенок продолжает свое существование во взрослом человеке с сохранением всех своих особенностей и своих желаний, даже и тех, которые сделались в позднейший период совершенно негодными. С неоспоримой силой возникает перед нами картина того, какие моменты развития, какие вытеснения, сублимации и реактивные образования делают из совершенно иначе сконструированного ребенка так называемого взрослого человека, носителя, а отчасти и жертву с трудом достигнутой культуры.

Я хочу также обратить ваше внимание и на то, что при анализе сновидений мы нашли, что бессознательное пользуется, особенно для изображения сексуальных комплексов, определенной символикой, которая частью индивидуально различна, частью же вполне типична и которая, по-видимому, совпадает с той символикой, которой пользуются наши мифы и сказки. Нет ничего невозможного в том, что эти поэтические народные создания могут быть объяснены с помощью сновидений.

Наконец, я должен вас предупредить, чтобы вы не смущались тем возражением, что существование страшных сновидений противоречит нашему пониманию сновидения как изображения исполнения наших желаний. Кроме того, что и эти сновидения нуждаются в толковании, прежде чем судить о них, должно сказать в общей форме, что страх не так просто зависит от самого содержания сновидения, как это можно подумать, не обращая должного внимания и не зная условий невротического страха. Страх есть одна из реакций отстранения нашим *Я* могуще-

ственных вытесненных желаний, а потому легко объясним и в сновидении, если оно слишком явно изображает вытесненные желания.

Вы видите, что толкование сновидений оправдывается уже тем, что дает нам данные о трудно познаваемых вещах. Но мы дошли до толкования сновидения во время психоаналитического лечения невротиков. Из всего сказанного вы легко можете понять, каким образом толкование сновидений, если оно не очень затруднено сопротивлениями больного, может привести к ознакомлению со скрытыми и вытесненными желаниями больных и с ведущими от них свое начало комплексами.

Я могу перейти теперь к третьей группе душевных феноменов, изучение которых также представляет собой техническое средство психоанализа.

Это — ошибочные действия как душевно здоровых, так и нервных людей. Обыкновенно таким мелочам не приписывают никакого значения. Сюда относится, например, забывание того, что можно было бы знать, а именно: когда дело идет о хорошо знакомом (например, временное исчезновение из памяти собственных имен); оговорки в речи, что с нами очень часто случается, аналогичные описки и очитки, ошибки (промахи) при исполнении какого-либо намерения, затеривание и поломка вещей, — все такие факты, относительно которых обычно не ищут психологической детерминации и которые остаются без внимания как случайности, как результат рассеянности, невнимательности и тому подобного. Сюда же относятся жесты и поступки, которых не замечает совершающий их. Нечего говорить о том, что этим явлениям, как, например, верчению каких-либо предметов, определенным манипуляциям с одеждой, частями собственного тела, напеванию мелодий, не придается решительно никакой значимости. Эти пустяки — ошибочные, симптоматические или случайные действия — вовсе не лишены того значения, в котором им отказывают в силу какого-то молчаливого соглашения[1]. Они всегда полны смысла и легко могут быть истолкованы исходя из тех ситуаций, в которых они происходят, и их анализ приводит к тому выводу, что эти явления выражают собой импульсы и намерения, которые отстранены и должны быть скрыты от собственного сознания, или они прямо-таки принадлежат тем вытесненным желаниям и комплексам, с которыми мы уже познакомились как с причиной симптомов и создателем сновидений. Они заслуживают, следовательно, такой же оценки, как симптомы, и их изучение может привести, как и изучение сновидений, к раскрытию вытесненного в душевной жизни. С их помощью человек выдает обыкновенно свои самые интимные тайны. Если они особенно легко и часто наблюдаются даже у здоровых, которым вытеснение бессознательных стремлений, в общем, хорошо удается, то этим они обязаны своей мелочности и незначительности. Однако они заслуживают большого теоретического интереса, так как доказывают существование вытеснения и образования заместителей даже в норме.

Вы уже замечаете, что психоаналитик отличается особо строгой уверенностью в детерминации душевной жизни. Для него в психической жизни нет ничего мелкого, произвольного и случайного, он ожидает повсюду встретить доста-

---

[1] Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1905; 3 Aufl., 1910.

точную мотивировку, где обыкновенно таких требований не предъявляется. Более того, он приготовлен к многообразной мотивировке одного и того же душевного явления, в то время как наша потребность в причинности, считающаяся прирожденной, удовлетворяется одной-единственной психической причиной.

Припомним, какие же средства раскрытия скрытого, забытого, вытесненного есть в нашем распоряжении. Изучение случайных мыслей больного, возникающих при свободном ассоциировании, изучение сновидений и изучение ошибочных и симптоматических действий. Присоедините сюда еще и использование других явлений, возникающих при психоаналитическом лечении, о которых я скажу вам позднее несколько слов, обобщая их под именем «перенесения». Таким образом, вы придете вместе со мной к тому заключению, что наша техника уже достаточно действенна, чтобы разрешить поставленную задачу, чтобы перевести в сознание патогенный психический материал и таким образом устранить страдания, вызванные образованием симптомов-заместителей. То обстоятельство, что во время наших терапевтических стараний мы обогащаем и углубляем наше знание душевной жизни нормального и больного человека, следует, конечно, оценивать как особо привлекательную и выигрышную сторону работы.

Я не знаю, возникло ли у вас впечатление, что техника, с арсеналом которой вы только что познакомились, особенно трудна. По моему мнению, она вполне соответствует тому предмету, для исследования которого она предназначена. Во всяком случае, эта техника непонятна сама по себе, но должна быть изучена как гистологическая или как хирургическая. Вы, вероятно, удивитесь, что мы в Европе слышали множество мнений о психоанализе от лиц, которые этой техники совершенно не знают и ее не применяют, а между тем требуют от нас, как бы в насмешку, что мы должны доказать им справедливость наших результатов. Среди этих противников, конечно, есть люди, которым научное мышление вообще не чуждо, которые не отвергли бы результата микроскопического исследования только потому, что в нем нельзя удостовериться простым глазом, а стали бы сами исследовать микроскопически. В деле же признания психоанализа обстоятельства не столь благоприятны. Психоанализ стремится к тому, чтобы перевести вытесненный из сознания материал в сознание, между тем всякий судящий о психоанализе — сам человек, у которого также существуют вытеснения и который, может быть, с трудом достиг такого вытеснения. Следовательно, психоанализ должен вызывать у этих лиц то же самое сопротивление, которое возникает и у больного. Это сопротивление очень легко маскируется как интеллектуальное отрицание и выставляет аргументы, аналогичные тем, которые мы устраняем у наших больных, требуя соблюдения основного правила психоанализа. Как у наших больных, так и у наших противников мы часто можем констатировать очевидное аффективное влияние на понижение способности суждения. Самомнение сознания, которое так низко ценит сновидение, относится к одному из самых сильных защитных приспособлений, которые у нас существуют против прорыва бессознательных комплексов, и потому-то так трудно привести людей к убеждению в реальности бессознательного и научить их тому новому, что противоречит их сознательному знанию.

IV

Этиологическое значение сексуальности. — Инфантильная сексуальность. — Американский наблюдатель любви в детском возрасте. — Психоанализы у детей. — Фаза аутоэротизма. — Выбор объекта. — Окончательное формирование половой жизни. — Связь невроза с перверсией. — Ядерный комплекс неврозов. — Отход ребенка от родителей

Уважаемые дамы и господа! Вы, конечно, потребуете от меня сведений о том, что мы узнали с помощью описанных технических средств относительно патогенных комплексов и вытесненных желаний невротиков.

Прежде всего одно: психоаналитические исследования сводят с действительно удивительной правильностью симптомы страдания больных к впечатлениям из области их любовной жизни; эти исследования относятся к эротическим влечениям и заставляют нас признать, что расстройствам эротики должно быть приписано наибольшее значение среди факторов, ведущих к заболеванию, и это так для обоих полов.

Я знаю, что этому моему утверждению не очень-то доверяют. Даже те исследователи, которые охотно соглашаются с моими психологическими работами, склонны думать, что я переоцениваю этиологическую роль сексуального фактора, и обращаются ко мне с вопросом, почему другие душевные волнения не могут дать повода к описанным явлениям вытеснения и замещения. Я могу на это ответить: я не знаю, почему другие, не сексуальные, душевные волнения не должны вести к тем же результатам, и я ничего не имел бы против этого; но опыт показывает, что они подобного значения не имеют, и самое большее — они помогают действию сексуальных моментов, но никогда не могут заменить последних. Это положение не было установлено мною теоретически; еще в «Studien über Hysterie», опубликованных мною совместно с Брейером в 1895 году, я не стоял на этой точке зрения, но я должен был встать на эту точку зрения, когда мой опыт стал богаче и я глубже проник в предмет. Уважаемые господа, здесь среди вас есть некоторые из моих близких друзей и приверженцев, которые вместе со мной совершили путешествие в Вустер. Если вы их спросите, то услышите, что они все сначала не доверяли всеопределяющей роли сексуальной этиологии, пока они в этом не убедились на основании своих собственных психоаналитических изысканий.

Убеждение в справедливости высказанного положения затрудняется поведением пациентов. Вместо того чтобы охотно сообщать нам о своей сексуальной жизни, они стараются всеми силами скрыть эту последнюю. Люди вообще неискренни в половых вопросах. Они не обнаруживают свободно своих сексуальных переживаний, но закрывают их толстым одеянием, сотканным из лжи, как будто в мире сексуального всегда дурная погода. Это действительно так: солнце и ветер не благоприятствуют сексуальным переживаниям в нашем культурном мире. Собственно, никто из нас не может свободно открыть свою эротику другим. Но когда ваши пациенты видят, что могут чувствовать себя у вас покойно, тогда они сбрасывают эту оболочку из лжи, тогда только вы в состоянии составить себе суждение об этом спорном вопросе. К сожалению, врачи, в их личном отношении к вопросам сексуальности, ничем не отличаются от других сынов человеческих, и многие из них

стоят под гнетом того соединения щепетильности и сладострастия, которое определяет поведение большинства культурных людей в половом отношении.

Разрешите продолжить мое сообщение о результатах нашего исследования. В одном ряде случаев психоаналитическое исследование симптомов приводит не к сексуальным, а к обыкновенным банальным травматическим переживаниям. Но это отступление не имеет значения благодаря одному обстоятельству. Необходимая аналитическая работа не должна останавливаться на переживаниях времени заболевания, если она должна привести к основательному исследованию и выздоровлению. Она должна дойти до времени полового развития и затем раннего детства, чтобы там определить впечатления и случайности, обусловившие будущее заболевание. Только переживания детства дают объяснение чувствительности к будущим травмам и только раскрытием и доведением до сознания этих следов воспоминаний, обычно почти всегда позабытых, мы приобретаем силу для устранения симптомов. Здесь мы приходим к тому же результату, как при исследовании сновидений, а именно — что остающиеся, хотя и вытесненные, желания детства дают свою силу образованию симптомов. Без этих желаний реакция на позднейшие травмы протекала бы нормально. А эти могучие желания детства мы можем, в общем смысле, назвать сексуальными.

Теперь-то я уверен в вашем удивлении. Разве существует инфантильная сексуальность? — спросите вы. Разве детство не представляет собой того периода, который отличается отсутствием сексуального влечения? Конечно, господа, дело не обстоит так, будто половое чувство вселяется в детей во время периода полового развития, как в Евангелии сатана в свиней. Ребенок с самого начала обладает сексуальными влечениями и деятельностью; он приносит их в свет вместе с собой, и из этих влечений образуется благодаря весьма важному поэтапному процессу развития так называемая нормальная сексуальность взрослых. Собственно, вовсе не так трудно наблюдать проявления детской сексуальности, напротив, требуется известное искусство, чтобы просмотреть и отрицать его существование.

Благодаря благосклонности судьбы я в состоянии привести свидетеля в пользу моих утверждений из вашей же среды. Я могу показать вам работу д-ра С. Белла, которая напечатана в American Journal of Psychology в 1902 году. Автор — член коллегии Кларковского университета, в стенах которого мы теперь сидим. В этой работе, озаглавленной «Предварительное исследование эмоции любви между различными полами», работе, которая вышла за три года до моих «Трех очерков по теории сексуальности», автор говорит совершенно так, как я только что сказал вам: «Эмоция сексуальной любви... появляется в первый раз вовсе не в период юности, как это предполагали раньше». Белл работал, как мы в Европе сказали бы, в американском стиле, а именно — он собрал в течение 15 лет не более не менее как 2500 наблюдений, среди них 800 собственных. Описывая признаки влюбленности, Белл говорит: «Беспристрастный ум, наблюдая эти проявления на сотнях людей, не может не заметить их сексуального происхождения. Самый взыскательный ум должен удовлетвориться, когда к этим наблюдениям прибавляются признания тех, кто в детстве испытал эту эмоцию в резкой степени и чьи воспоминания о детстве довольно точны».

Больше всего удивятся те из вас, кто не верит в существование инфантильной сексуальности, когда они услышат, что влюбленные дети, о которых идет речь, находятся в возрасте трех, четырех и пяти лет.

Я не удивлюсь, если вы этим наблюдениям своего соотечественника скорее поверите, чем моим. Мне посчастливилось недавно получить довольно полную картину соматических и душевных проявлений сексуальности на очень ранней ступени детской любовной жизни, именно — при анализе (искусно проведенном его отцом) 5-летнего мальчика, страдающего фобией. Напоминаю вам также о том, что мой друг К. Г. Юнг несколько часов назад в этом самом зале сообщал о своем наблюдении над совсем маленькой девочкой, которая проявила те же самые чувственные порывы, желания и комплексы, как и мой пациент, притом повод к проявлению этих комплексов был тот же самый — рождение маленькой сестренки. Я не сомневаюсь, что вы скоро примиритесь с мыслью об инфантильной сексуальности, которая сначала показалась вам странной. Приведу вам только пример цюрихского психиатра Блейлера, который еще несколько лет назад в печати заявлял о том, что совершенно не понимает моих сексуальных теорий, а затем подтвердил существование инфантильной сексуальности в полном объеме своими собственными наблюдениями[1].

Если большинство людей, врачи или не врачи, не хотят ничего знать о сексуальной жизни ребенка, то это совершенно понятно. Они сами забыли под влиянием культурного воспитания свою собственную инфантильную деятельность и теперь не желают вспоминать о вытесненном. Вы придете к другому убеждению, если начнете с анализа, пересмотра и толкования своих собственных детских воспоминаний.

Оставьте сомнения и последуйте за мной для исследования инфантильной сексуальности с самых ранних лет[2]. Сексуальный инстинкт ребенка оказывается в высшей степени сложным; он допускает разложение на множество компонентов, которые ведут свое происхождение из различных источников. Прежде всего сексуальный инстинкт совершенно не зависит от функции размножения, целям которого он служит впоследствии. Он преследует только достижение ощущений удовольствия различного рода. Эти ощущения удовольствия на основании аналогий мы можем рассматривать как сексуальное наслаждение. Главный источник инфантильной сексуальности — соответствующее раздражение определенных особенно возбудимых частей тела, а именно, кроме гениталий, отверстий рта, заднего прохода и мочеиспускательного канала, а также раздражение кожи и других слизистых оболочек. Так как в этой первой фазе детской сексуальной жизни удовлетворение находит себе место на собственном теле и совершенно не нуждается в стороннем объекте, мы называем эту фазу термином Х. Эллиса аутоэротической. Те участки тела, которые играют роль при получении сексуального наслаждения, мы называем эрогенными зонами. Сосание (ludeln) маленьких детей представляет хороший пример такого аутоэротического удовлетворения посредством эрогенной зоны; первый научный наблюдатель этого явления, детский врач по имени Линднер в Будапеште, правиль-

[1] *Bleuler E.* Sexuelle Abnormitäten der Kinder // Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege, IX, 1908.

[2] Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905 (Три очерка по теории сексуальности — см. наст. изд.).

но рассматривает это явление как сексуальное удовлетворение и подробно описывает его переход в другие высшие формы сексуальной деятельности. Другая половая деятельность этого периода жизни — мастурбационное раздражение гениталий, которое сохраняет очень большое значение и для будущей жизни и многими лицами никогда не осиливается вполне. Наряду с этими и другими аутоэротическими действиями у ребенка очень рано обнаруживаются те компоненты сексуального наслаждения, или, как мы охотно говорим, либидо, которые требуют в качестве объекта другое лицо. Эти компоненты появляются попарно, как активные и пассивные; я назову вам важнейшими представителями этой группы удовольствие от причинения боли другому лицу (садизм) и его пассивную пару мазохизм, а также активную и пассивную страсть к подглядыванию. От активной страсти к подглядыванию впоследствии ответвляется страсть к познанию, от пассивной пары — стремление к положению художника и артиста. Другие проявления сексуальной деятельности ребенка относятся уже к выбору объекта любви. При этом главную роль в сексуальном чувстве играет другое лицо, что первоначально находится в зависимости от влияния инстинкта самосохранения. Разница пола не играет в этом детском периоде определяющей роли. Вы можете вполне справедливо каждому ребенку приписывать частицу гомосексуальной склонности.

Эта богатая содержанием, но диссоциированная сексуальная жизнь ребенка, при которой каждое отдельное влечение независимо от другого служит получению удовольствия, испытывает слияние и организацию в двух главных направлениях, благодаря чему к концу периода полового развития образуется окончательный сексуальный характер индивидуума. С одной стороны, отдельные влечения подчиняются господству генитальной зоны, благодаря чему вся сексуальная жизнь направляется на функции размножения, а удовлетворение отдельных компонентов остается только как подготовление и благоприятствующий момент собственно полового акта. С другой стороны, выбор объекта устраняет аутоэротизм, так что в любовной жизни все компоненты сексуального инстинкта должны быть удовлетворены на другом любимом лице. Но не все первоначальные частные влечения принимают участие в этом окончательном формировании сексуальной жизни. Еще до пубертатного периода некоторые определенные влечения испытывают под влиянием воспитания чрезвычайно энергичное вытеснение, и тогда же возникают такие душевные силы, как стыд, отвращение, мораль, которые, подобно страже, удерживают эти вытеснения. Когда в пубертатный период наступает половодье половой потребности, то это половодье находит себе плотины в так называемых реактивных образованиях и сопротивлениях, которые заставляют его течь по так называемым нормальным путям и делают невозможным воскрешение потерпевших вытеснение влечений. Особенно копрофильные, т. е. связанные с испражнением, наслаждения детских лет, а также фиксация на лицах первого выбора подвергаются самым радикальным образом вытеснению.

Уважаемые господа, общая патология утверждает, что всякий процесс развития таит в себе зародыши патологического предрасположения, а именно процесс развития может быть задержан, замедлен и недостаточен. Это же относится и к сложному развитию сексуальной функции. Сексуальное развитие не у всех индивидуумов идет гладко, но иногда оставляет аномалии или предрасположение к бо-

лее позднему заболеванию по пути обратного развития (регрессия). Может случиться, что не все частные влечения подчинятся господству генитальной зоны; оставшийся независимым компонент представляет собой то, что мы называем перверсией и что может заменить нормальную сексуальную цель своей собственной. Как уже было упомянуто, очень часто аутоэротизм преодолевается не вполне, что ведет к различным расстройствам. Первоначальная равнозначность обоих полов как сексуальных объектов тоже может сохранить свое значение, и отсюда в зрелом возрасте образуется склонность к гомосексуальным действиям, которая может дойти при соответствующих условиях до исключительной гомосексуальности. Этот ряд расстройств соответствует задержке в развитии сексуальной функции; сюда относятся перверсии и далеко не редкий инфантилизм сексуальной жизни.

Предрасположение к неврозам выводится другим путем из расстройств полового развития. Неврозы относятся к перверсиям, как негатив к позитиву. При неврозах может быть доказано существование как носителей комплексов и создателей симптомов тех же компонентов, как и при перверсиях, но здесь они действуют со стороны бессознательного; они подверглись вытеснению, что не помешало им утвердиться в области бессознательного. Психоанализ открывает, что слишком сильное проявление этих влечений в очень раннее время ведет к своего рода частной фиксации, а такая фиксация представляет собой слабый пункт в структуре сексуальной функции. Если в зрелом возрасте отправление нормальной половой функции наталкивается на препятствия, то вытеснение прорывается в период развития как раз в тех местах, где были инфантильные фиксации.

Пожалуй, у вас возникает сомнение, сексуальность ли все это и не употребляю ли я это слово в более широком смысле, чем вы к этому привыкли. Я вполне согласен с этим. Но спрашивается: не обстоит ли дело наоборот? Может быть, вы употребляете это слово в слишком узком смысле, ограничиваясь применением его только к функции размножения? Вы приносите благодаря этому в жертву понимание перверсий, связи между перверсией, неврозом и нормальной половой жизнью и лишаете себя возможности узнать действительное значение легко наблюдаемых зачатков соматической и душевной любовной жизни детей. Но какое бы решение вы ни приняли, твердо держитесь того мнения, что психоаналитик понимает сексуальность в том полном смысле, к которому его приводит оценка инфантильной сексуальности.

Возвратимся еще раз к сексуальному развитию ребенка. Здесь нам придется добавить кое-что, так как до сих пор мы обращали наше внимание больше на соматические, чем на душевные проявления сексуальной жизни. Наш интерес привлекает к себе первичный выбор ребенком объекта, зависящий от его потребности в помощи. Прежде всего объектом любви является то лицо, которое ухаживает за ребенком; затем это лицо уступает место родителям. Отношение ребенка к своим родителям далеко не свободно от элементов сексуального возбуждения, как это показывают непосредственные наблюдения над детьми и позднейшие психоаналитические исследования взрослых. Ребенок рассматривает обоих родителей, особенно одного из них, как объект своих эротических желаний. Обычно ребенок следует в данном случае побуждению со стороны родителей, нежность которых имеет очень ясные, хотя и сдерживаемые в отношении своей цели проявления

сексуальности. Отец, как правило, предпочитает дочь, мать — сына; ребенок реагирует на это, желая быть на месте отца, если это мальчик, и на месте матери, если это девочка. Чувства, возникающие при этом между родителями и детьми, а также в зависимости от этих последних между братьями и сестрами, бывают не только положительные, нежные, но и отрицательные, враждебные. Возникающий на этом основании комплекс предопределен к скорому вытеснению, но тем не менее он производит со стороны бессознательного очень важное и длительное действие. Мы можем высказать предположение, что этот комплекс с его производными является ядерным комплексом всякого невроза, и мы должны быть готовы встретить его не менее действенным и в других областях душевной жизни. Миф о царе Эдипе, который убивает своего отца и женится на своей матери, представляет собой малоизмененное проявление инфантильного желания, против которого впоследствии возникает идея ограничения инцеста. В основе создания Шекспиром Гамлета лежит тот же комплекс инцеста, только лучше скрытый.

В то время, когда ребенком владеет еще не вытесненный ядерный комплекс, значительная часть его умственной деятельности посвящена сексуальным вопросам. Он начинает раздумывать, откуда являются дети, и узнает по доступным ему признакам о действительных фактах больше, чем думают родители. Обыкновенно исследовательский интерес к вопросам деторождения пробуждается вследствие рождения братца или сестрицы. Интерес этот определяется исключительно боязнью материального ущерба, так как ребенок видит в новорожденном только конкурента. Под влиянием тех частных влечений, которыми отличается ребенок, он создает несколько инфантильных сексуальных теорий, в которых обоим полам приписываются одинаковые половые органы, зачатие происходит вследствие приема пищи, а рождение — путем опорожнения через конец кишечника; совокупление ребенок рассматривает как своего рода враждебный акт, как насилие. Но как раз незаконченность его собственной сексуальной конституции и пробел в его сведениях, который заключается в незнании о существовании женского полового канала, заставляет ребенка-исследователя прекратить свою безуспешную работу. Самый факт этого детского исследования, равно как создание различных теорий, оставляют свой след в образовании характера ребенка и дают содержание его будущему невротическому заболеванию.

Совершенно неизбежно и вполне нормально, что ребенок избирает объектом своего первого любовного выбора своих родителей. Но его либидо не должно фиксироваться на этих первых объектах, но должно, взяв эти первые объекты за образец, перейти во время окончательного выбора объекта на других лиц. Отход ребенка от родителей должен быть неизбежной задачей для того, чтобы социальному положению ребенка не угрожала опасность. В то время, когда вытеснение ведет к выбору среди частных влечений, и впоследствии, когда влияние родителей должно уменьшиться, большие задачи предстоят делу воспитания. Это воспитание, несомненно, ведется в настоящее время не всегда так, как следует.

Уважаемые господа, не думайте, что этим разбором сексуальной жизни и психосексуального развития ребенка мы удалились от психоанализа и от лечения невротических расстройств. Если хотите, психоаналитическое лечение можно определить как продолжение воспитания в смысле устранения инфантильных остатков.

V

Регрессия и фантазия. — Невроз и искусство. — Перенесение. — Боязнь освобождения вытесненного. — Исходы психоаналитической работы. — Вредная степень вытеснения сексуального

Уважаемые дамы и господа! Изучение инфантильной сексуальности и сведение невротических симптомов к эротическим влечениям привело нас к некоторым неожиданным формулам относительно сущности и тенденций невротических заболеваний. Мы видим, что люди заболевают, если им нельзя реально удовлетворить свою эротическую потребность вследствие внешних препятствий или вследствие внутреннего недостатка в приспособляемости. Мы видим, что тогда они бегут в болезнь, чтобы с ее помощью найти замещение недостающего удовлетворения. Мы узнали, что в симптомах болезни проявляется часть сексуальной деятельности больного или же вся его сексуальная жизнь. Главная тенденция этих симптомов — отстранение больного от реального мира — является, по нашему мнению, самым большим вредом, причиняемым заболеванием. Мы полагаем, что сопротивление наших больных выздоровлению непростое, но слагается из многих мотивов. Против выздоровления не только *Я* больного, которое не хочет прекратить вытеснения, благодаря которым оно выделилось из своего первоначального состояния, но и сексуальные влечения не хотят отказаться от замещающего удовлетворения до тех пор, пока неизвестно, даст ли реальный мир что-либо лучшее.

Бегство от неудовлетворяющей действительности в болезнь (мы так называем это состояние вследствие его биологической вредности) никогда не остается для больного без непосредственного выигрыша в отношении удовольствия. Это бегство совершается путем обратного развития (регрессии), путем возвращения к прежним фазам сексуальной жизни, которые в свое время доставляли удовлетворение. Эта регрессия, по-видимому, двоякая: во-первых, временная регрессия, состоящая в том, что либидо, эротическая потребность возвращается на прежние ступени развития, и, во-вторых, формальная, состоящая в том, что проявление эротической потребности выражается примитивными первоначальными средствами. Оба эти вида регрессии направлены, собственно, к периоду детства и оба ведут к восстановлению инфантильного состояния половой жизни.

Чем глубже вы проникаете в патогенез нервного заболевания, тем яснее становится для вас связь неврозов с другими продуктами человеческой душевной жизни, даже с самыми значимыми. Не забывайте того, что мы, люди с высокими требованиями нашей культуры и находящиеся под давлением наших внутренних вытеснений, находим действительность вообще неудовлетворительной и потому ведем жизнь в мире фантазий, в котором мы стараемся сгладить недостатки реального мира, воображая себе исполнение наших желаний. В этих фантазиях воплощается много настоящих конституциональных свойств личности и много вытесненных стремлений. Энергичный и пользующийся успехом человек — это тот, которому удается благодаря работе воплощать свои фантазии-желания в действительность. Где это не удается, вследствие препятствий со стороны внешнего мира и вследствие слабости самого индивидуума, там наступает отход от действительности, индивидуум уходит в свой более удовлетворяющий его фантастиче-

ский мир. В случае заболевания это содержание фантастического мира выражается в симптомах. При известных благоприятных условиях субъекту еще удается найти, исходя от своих фантазий, другой путь в реальный мир, вместо того чтобы уйти от этого реального мира. Если враждебная действительности личность обладает психологически еще загадочным для нас художественным дарованием, она может выражать свои фантазии не симптомами болезни, а художественными творениями, избегая этим невроза и возвращаясь таким обходным путем к действительности[1]. Там же, где при существующем несогласии с реальным миром нет этого драгоценного дарования или оно недостаточно, там неизбежно либидо, следуя самому происхождению фантазии, приходит путем регрессии к воскрешению инфантильных желаний, а следовательно, к неврозу. Невроз заменяет в наше время монастырь, в который обычно удалялись все те, которые разочаровывались в жизни или которые чувствовали себя слишком слабыми для жизни.

Позвольте мне здесь привести главный результат, к которому мы пришли на основании нашего психоаналитического исследования: неврозы не имеют какого-либо им только свойственного содержания, которого мы не могли бы найти и у здорового, или, как выразился К. Г. Юнг, невротики страдают теми же самыми комплексами, с которыми ведем борьбу и мы, здоровые люди. Все зависит от количественных отношений, от взаимоотношений борющихся сил, к чему приведет борьба: к здоровью, к неврозу или к компенсирующему высшему творчеству.

Уважаемые дамы и господа! Я еще не сообщил вам самого важного, опытом добытого факта, который подтверждает наше положение о сексуальности как движущей силе невроза. Всякий раз, когда мы исследуем невротика психоаналитически, у последнего наблюдается неприятное явление перенесения, т. е. больной переносит на врача целую массу нежных и очень часто смешанных с враждебностью стремлений. Это не вызывается какими-либо реальными отношениями и должно быть отнесено на основании всех деталей появления к давним, сделавшимся бессознательными фантазиям-желаниям. Ту часть своей чувственной жизни, которую больной не может более вспомнить, он снова переживает в своем отношении к врачу, и только благодаря такому переживанию в перенесении он убеждается в существовании и в могуществе этих бессознательных сексуальных стремлений. Симптомы, представляющие собой — воспользуемся сравнением из химии — осадки прежних любовных (в широком смысле слова) переживаний, могут быть растворены только при высокой температуре переживаний перенесения и тогда только переведены в другие психические продукты. Врач играет роль каталитического фермента при этой реакции, по прекрасному выражению Ференци[2], того фермента, который на время притягивает к себе освобождающиеся аффекты. Изучение перенесения может дать вам также ключ к пониманию гипнотического внушения, которым мы вначале пользовались как техническим средством для исследования психического бессознательного у наших больных. Гипноз оказался тогда терапевтическим средством, но в то же время он препятствовал науч-

---

[1] Ср. *Rank O.* Der Künstler. Wien, 1907.

[2] *Ferenczi S.* Introjektion und Übertragung // Jahrbuch für psychoan. und psychopathologische Forschungen, Bd. l, 2 H., 1909.

ному пониманию положения дел, так как хотя гипноз и устранял в известной области психические сопротивления, однако на границе этой области он возвышал их валом, через который нельзя было перейти. Не думайте, что явление перенесения, о котором я, к сожалению, могу вам сказать здесь очень мало, создается под влиянием психоанализа. Перенесение наступает при всех человеческих отношениях, так же как в отношениях больного к врачу, самопроизвольно; оно повсюду является истинным носителем терапевтического влияния, и оно действует тем сильнее, чем менее мы догадываемся о его наличии. Психоанализ, следовательно, не создает перенесения, а только открывает его сознанию и овладевает им, чтобы направить психические процессы к желательной цели. Я не могу оставить эту тему без того, чтобы не указать, что явление перенесения играет роль не только при убеждении больного, но также и при убеждении врачей. Я знаю, что все мои приверженцы убедились в справедливости моих положений благодаря наблюдениям явления перенесения, и вполне понимаю, что убежденность в своем мнении нельзя приобрести без того, чтобы не проделать самому несколько психоанализов и не иметь возможности на самом себе испытать действие перенесения.

Уважаемые дамы и господа! Я думаю, что мы должны учитывать два интеллектуальных препятствия для признания психоаналитического хода мысли: во-первых, отсутствие привычки всегда считаться с самой строгой, не допускающей никаких исключений детерминацией в области психики и, во-вторых, незнание тех особенностей, которыми бессознательные психические процессы отличаются от так хорошо нам известных сознательных. Одно из самых распространенных сопротивлений против психоаналитической работы как у больных, так и у здоровых основывается на последнем из указанных моментов. Боятся повредить психоанализом, боятся вызвать вытесненные сексуальные влечения в сознании больного, опасаясь, что этот вытесненный материал осилит высшие этические стремления и лишит больного его культурных приобретений. Замечают душевные раны больного, но боятся их касаться, чтобы не усилить его страданий. Правда, спокойнее не касаться больных мест, если мы не умеем при этом ничего сделать, кроме как причинить боль. Однако, как известно, хирург не страшится исследовать и работать на больном месте, если он намерен сделать операцию, которая должна принести длительную пользу. Никто не думает о том, чтобы обвинять хирурга за неизбежные страдания при исследовании и при реактивных послеоперационных явлениях, если только операция достигает своей цели и больной благодаря временному ухудшению своего состояния получает излечение. Подобные отношения существуют и при психоанализе; последний имеет право предъявить те же требования, что и хирургия. Усиление страданий, которое может иметь место во время лечения, при хорошем владении методом гораздо меньше, чем это бывает при хирургических мероприятиях, и не должно идти в расчет при тяжести самого заболевания. Внушающий опасения исход, именно уничтожение культурности освобожденными от вытеснения влечениями, совершенно невозможен, так как эти опасения не считаются с тем, на что указывает нам наш опыт, именно, что психическое и соматическое могущество желания, если вытеснение его не удается, значительно сильнее при его существовании в области бессознательной, чем в сознательной; так что переход такого желания в сознание ослабляет его. На бессозна-

тельное желание мы не можем оказывать влияния, оно стоит в стороне от всяких противоположных течений, в то время как сознательное желание сдерживается всеми другими сознательными стремлениями, противоположными данному. Психоаналитическая работа служит самым высоким и ценным культурным целям, представляя собой хорошего заместителя безуспешного вытеснения.

Какова вообще судьба освобожденных психоанализом бессознательных желаний, какими путями мы можем сделать их безвредными для индивидуума? Таких путей много. Чаще всего эти желания исчезают еще во время психоанализа под влиянием лучших противоположных стремлений. Вытеснение заменяется осуждением. Это возможно, так как мы по большей части должны только устранить следствия прежних стадий развития *Я* больного. В свое время индивидуум был в состоянии устранить негодное влечение только вытеснением, так как сам он тогда был слаб и его организация недостаточно сложилась; при настоящей же зрелости и силе он в состоянии совершенно овладеть вредным инстинктом. Второй исход психоаналитической работы может быть тот, что вскрытые бессознательные влечения направляются на другие цели. Эти цели были бы найдены ранее самим индивидуумом, если бы он развивался без препятствий. Простое устранение инфантильных желаний не представляет собой идеальной цели психоанализа. Невротик вследствие своих вытеснений лишен многих источников душевной энергии, которая была бы весьма полезна для образования его характера и деятельности в жизни. Мы знаем более целесообразный процесс развития, так называемую сублимацию, благодаря которой энергия инфантильных желаний не устраняется, а применяется для других высших, уже не сексуальных целей. Как раз компоненты сексуального влечения отличаются способностью сублимации, т. е. замещения своей сексуальной цели другой, более отдаленной и более ценной в социальном отношении. Этим прибавкам энергии со стороны сексуального влечения в нашей душевной деятельности мы обязаны, по всей вероятности, нашим высшим культурным достижениям. Рано появившееся вытеснение исключает возможность сублимации вытесненного влечения; с прекращением вытеснения путь к сублимации опять становится свободным.

Мы не должны упускать из виду третий возможный исход психоаналитической работы. Известная часть вытесненных эротических стремлений имеет право на прямое удовлетворение и должна найти его в жизни. Наши культурные требования делают жизнь слишком тяжелой для большинства человеческих организмов; эти требования способствуют отстранению от действительности и возникновению неврозов, причем слишком большим вытеснением вовсе еще не достигается какой-либо чрезвычайно большой выигрыш в культурном отношении. Мы не должны возвышать себя до такой степени, чтобы не обращать никакого внимания на животное начало нашей природы, и мы не должны забывать, что счастье каждого отдельного индивидуума также должно входить в цели нашей культуры. Пластичность сексуальных компонентов, которая выражается в их способности к сублимации, может повести к большему искушению достигать возможно интенсивной сублимацией возможно большего культурного эффекта. Но насколько мало мы можем рассчитывать при наших машинах перевести более чем одну часть теплоты в полезную механическую работу, так же мало должны мы стремиться

к тому, чтобы всю массу сексуальной энергии перевести на другие, чуждые ей цели. Это не может удаться, и если слишком уже сильно подавлять сексуальное чувство, то придется считаться со всеми последствиями столь варварского отношения.

Я не знаю, как вы со своей стороны отнесетесь к тому предостережению, которое я только что высказал. Я расскажу вам старый анекдот, из которого вы сами выведете полезное заключение. В немецкой литературе известен городок Шильда, о жителях которого рассказывается множество различных небылиц. Так, говорят, что граждане Шильда имели лошадь, силой которой они были чрезвычайно довольны; одно им только не нравилось: очень уж много дорогого овса пожирала эта лошадь. Они решили аккуратно отучить лошадь от этого безобразия, уменьшая каждый день порцию понемногу, пока они не приучили ее к полному воздержанию. Одно время дело шло прекрасно — лошадь была отучена почти совсем; на следующий день она должна была работать уже совершенно без овса. Утром этого дня коварную лошадь нашли мертвой. Граждане Шильда никак не могли догадаться, отчего она умерла.

Вы, конечно, догадываетесь, что лошадь пала с голоду и что без некоторой порции овса нельзя ожидать от животного никакой работы.

Благодарю вас за приглашение и то внимание, которым вы меня наградили.

По ту сторону принципа удовольствия

I

В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия (Lustprinzip), возбуждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с устранением неудовольствия (Unlust) или получением удовольствия (Lust). Рассматривая изучаемые нами психические процессы в связи с таким характером их протекания, мы вводим тем самым в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы полагаем, что теория, которая кроме топического и динамического момента учитывает еще и экономический, является самой совершенной, какую только мы можем себе представить в настоящее время, и заслуживает названия метапсихологической.

При этом для нас совершенно не важно, насколько с введением «принципа удовольствия» мы приблизились или присоединились к какой-либо определенной, исторически обоснованной философской системе. К таким спекулятивным положениям мы приходим путем описания и учета фактов, встречающихся в нашей области в каждодневных наблюдениях. Приоритет и оригинальность не являются целью психоаналитической работы, и явления, которые привели к установлению этого принципа, настолько очевидны, что почти невозможно проглядеть их. Напротив, мы были бы очень признательны той философской или психологической теории, которая могла бы нам пояснить, каково значение того императивного характера, какой имеет для нас чувство удовольствия или неудовольствия.

К сожалению, нам не предлагают ничего приемлемого в этом смысле. Это самая темная и недоступная область психической жизни, и если для нас никак невозможно обойти ее совсем, то, по моему мнению, самое свободное предположе-

ние будет и самым лучшим. Мы решились поставить удовольствие и неудовольствие в зависимость от количества имеющегося в душевной жизни и не связанного как-либо возбуждения таким образом, что неудовольствие соответствует повышению, а удовольствие понижению этого количества. При этом мы не думаем о простом отношении между силой этих чувств и теми количественными изменениями, которыми они вызваны; менее же всего, согласно со всеми данными психофизиологии, можно предполагать здесь прямую пропорциональность; возможно, что решающим моментом для чувства является большая или меньшая длительность этих изменений. Возможно, что эксперимент нашел бы себе доступ в эту область; для нас, аналитиков, трудно посоветовать дальнейшее углубление в эту проблему, поскольку здесь нами не будут руководить совершенно точные наблюдения.

Для нас, однако, не может быть безразличным то, что такой глубокий исследователь, как Т. Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в существенном совпадающую с той, к которой приводит нас психоаналитическая работа. Положение Фехнера, высказанное в его небольшой статье «Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen», 1873, Abschn. 9, Zusatz, S. 94, гласит следующее: «Поскольку определенные стремления всегда находятся в связи с удовольствием или неудовольствием, можно также удовольствие и неудовольствие мыслить в психофизической связи с условиями устойчивости и неустойчивости, и это позволяет обосновать развитую мной в другом месте гипотезу, что всякое психофизическое движение, переходящее за порог сознания, связано до известной степени с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной устойчивости, и — с неудовольствием, когда, также переходя известный предел, оно отдаляется от этого; между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, в определенных границах лежит известная область чувственной индифферентности...»

Факты, побудившие нас признать господство принципа удовольствия в психической жизни, находят свое выражение также в предположении, что психический аппарат обладает тенденцией удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низком или по меньшей мере постоянном уровне. Это то же самое, лишь выраженное иначе, так как если работа психического аппарата направлена к тому, чтобы удерживать количество возбуждения на низком уровне, то все, что содействует нарастанию напряжения, должно быть рассматриваемо как нарушающее нормальные функции организма, т. е. как неудовольствие. Принцип удовольствия выводится из принципа константности (Konstanzprinzip). В действительности к принципу константности приводят нас те же факты, которые заставляют нас признать принцип удовольствия. При подробном рассмотрении мы найдем также, что эта предполагаемая нами тенденция душевного аппарата подчиняется, в качестве частного случая, указанной Фехнером тенденции к устойчивости, с которой он поставил в связь ощущение удовольствия и неудовольствия.

Мы должны, однако, сказать, что, собственно, неправильно говорить о том, что принцип удовольствия управляет течением психических процессов. Если бы это было так, то подавляющее большинство наших психических процессов должно

было бы сопровождаться удовольствием или вести к удовольствию, в то время как весь наш обычный опыт резко противоречит этому. Следовательно, дело может обстоять лишь так, что в душе имеется сильная тенденция к господству принципа удовольствия, которой, однако, противостоят различные другие силы или условия, и, таким образом, конечный исход не всегда будет соответствовать принципу удовольствия. Ср. примечание Фехнера при подобном же рассуждении (там же, S. 90): «Причем, однако, стремление к цели еще не означает достижения этой цели, и вообще цель достижима только в приближении...» Если мы теперь обратимся к вопросу, какие обстоятельства могут затруднить осуществление принципа удовольствия, то мы снова вступим на твердую и известную почву и можем в широкой мере использовать наш аналитический опыт.

Первый закономерный случай такого торможения принципа удовольствия нам известен. Мы знаем, что принцип удовольствия присущ первичному способу работы психического аппарата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным.

Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели — достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию. Принцип удовольствия остается еще долгое время господствовать в сфере трудно «воспитываемых» сексуальных влечений, и часто бывает так, что он в сфере этих влечений, или же в самом *Я,* берет верх над принципом реальности даже во вред всему организму.

Между тем несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объясняет нам лишь незначительную и притом не самую главную часть опыта, связанного с неудовольствием. Другой, не менее закономерный источник неудовольствия заключается в конфликтах и расщеплениях психического аппарата, в то время как *Я* развивается до более сложных форм организации. Почти вся энергия, заполняющая этот аппарат, возникает из наличествующих в нем влечений, но не все эти влечения допускаются до одинаковых фаз развития. Вместе с тем постоянно случается так, что отдельные влечения или их компоненты оказываются несовместными с другими в своих целях или требованиях и не могут объединиться во всеохватывающее единство нашего *Я*. Благодаря процессу вытеснения они откалываются от этого единства, задерживаются на низших ступенях психического развития, и для них отнимается на ближайшее время возможность удовлетворения. Если им удается, что легко случается с вытесненными сексуальными влечениями, окольным путем достичь прямого удовлетворения или замещения его, то этот успех, который вообще мог бы быть удовольствием, ощущается *Я* как неудовольствие. Вследствие старого вытеснения конфликта принцип удовольствия испытывает новый прорыв как раз тогда, когда известные влечения были близки к получению, согласно тому же принципу, нового удовольствия. Детали этого процесса, посредством которого вытеснение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, еще недостаточно поняты или не могут быть ясно описаны, но бесспорно, что всякое невротическое неудовольствие есть подобного рода удовольствие, которое не может быть воспри-

нято как таковое[1]. Оба отмеченных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают полностью всего многообразия наших неприятных переживаний, но об остальной их части можно, по-видимому, утверждать с полным правом, что ее существование не противоречит господству принципа удовольствия. Ведь чаще всего нам приходится ощущать неудовольствие от восприятия (Wahrnehmungsunlust), будь то восприятие напряжения от неудовлетворенных влечений или внешнее восприятие, все равно, является ли оно мучительным само по себе или же возбуждает в психическом аппарате неприятные ожидания, признаваемые им в качестве «опасности». Реакция на требования этих влечений и сигналы опасности, в которых, собственно, и выражается деятельность психического аппарата, может быть должным образом направляема принципом удовольствия или видоизменяющим его принципом реальности. Это как будто бы не заставляет признать дальнейшее ограничение принципа удовольствия, и как раз исследование психической реакции на внешние опасности может дать новый материал и новую постановку для обсуждаемой здесь проблемы.

II

Уже давно описано то состояние, которое носит название «травматического невроза» и наступает после тяжелых механических потрясений, как столкновение поездов и другие несчастья, связанные с опасностью для жизни. Ужасная, только недавно пережитая война подала повод к возникновению большого количества таких заболеваний и положила конец попыткам сводить это заболевание к органическому поражению нервной системы вследствие влияния механического воздействия[2]. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее сильно выраженными признаками субъективных страданий, близких к ипохондрии или меланхолии, и симптомами широко разлитой общей слабости и нарушения психических функций. Полного понимания как военных неврозов, так и травматических неврозов мирного времени мы еще не достигли. В военных неврозах, с одной стороны, проясняет дело, но вместе с тем и запутывает то, что та же картина болезни иногда возникала и без участия грубого механического повреждения. В обыкновенном травматическом неврозе привлекают внимание две основные возможности: первая — когда главным этиологическим условием является момент внезапного испуга, и вторая — когда одновременно перенесенное ранение или повреждение препятствовало возникновению невроза.

Испуг (Schreck), страх (Angst), боязнь (Furcht) неправильно употребляются как синонимы. В их отношении к опасности их легко разграничить. Страх означает определенное состояние ожидания опасности и приготовление к последней, если она даже и неизвестна; боязнь предполагает определенный объект, которого

---

[1] Существенным является то, что удовольствие и неудовольствие связаны как сознательные ощущения с *Я*.

[2] Ср. «Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen» с докладами Ференци, Абрахама, Зиммеля, Э. Джонса (Internationale Psychoanalytische Bibliothek, 1919, Bd. 1).

боятся; испуг имеет в виду состояние, возникающее при опасности, когда субъект оказывается к ней не подготовлен, он подчеркивает момент неожиданности. Я не думаю, что страх может вызвать травматический невроз; в страхе есть что-то, что защищает от испуга, и, следовательно, защищает и от невроза, вызываемого испугом. К этому положению мы впоследствии еще вернемся.

Изучение сновидения мы должны рассматривать как самый надежный путь к исследованию глубинных психических процессов. Состояние больного травматическим неврозом во время сна носит тот интересный характер, что он постоянно возвращает больного в ситуацию катастрофы, поведшей к его заболеванию, и больной просыпается с новым испугом. К сожалению, этому слишком мало удивляются. Обычно думают, что это только доказательство силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, если это впечатление не оставляет больного даже во сне. Больной, если можно так выразиться, фиксирован психически на этой травме. Такого рода фиксация на переживаниях, вызвавших болезнь, давно уже нам известна при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году выставили такое положение: истерики по большей части страдают от воспоминаний. И при так называемых военных неврозах исследователи, как, например, Ференци и Зиммель, объясняют некоторые моторные симптомы как следствие фиксации на моменте травмы.

Однако мне не известно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрственном состоянии уделяли много времени воспоминаниям о постигшем их несчастном случае. Возможно, что они скорее стараются вовсе о нем не думать. Принимая как само собой разумеющееся, что сон снова возвращает их в обстановку, вызвавшую их болезнь, они обычно не считаются с природой сна. Природе сна больше отвечало бы, если бы сон рисовал больному сцены из того времени, когда он был здоров, или картины ожидаемого выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны травматических невротиков ввели нас в заблуждение относительно тенденции сновидения исполнять желание, нам остается заключить, что в этом состоянии функция сна так же нарушена и отклонена от своих целей, как и многое другое, или мы должны были бы подумать о загадочных мазохистских тенденциях *Я*.

Я предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к изучению работы психического аппарата в его наиболее ранних нормальных формах деятельности. Я имею в виду игру детей.

Различные теории детской игры лишь недавно сопоставлены и оценены с аналитической точки зрения З. Пфейфером в «Imago» (V, H. 4). Я могу здесь лишь сослаться на эту работу. Эти теории пытаются разгадать мотивы игры детей, не выставляя на первый план экономическую точку зрения, т. е. учитывая получение удовольствия. Не имея в виду охватить все многообразие проявлений игры, я использовал представившийся мне случай разъяснить первую самостоятельно созданную игру полуторагодовалого ребенка. Это было больше чем мимолетное наблюдение, так как я жил в течение нескольких недель под одной крышей с этим ребенком и его родителями и наблюдение мое продолжалось довольно долго, пока это загадочное и постоянно повторяемое действие не раскрыло передо мной свой смысл.

Ребенок был не слишком продвинувшимся вперед в своем интеллектуальном развитии, он говорил в свои полтора года только несколько понятных слов и про-

износил, кроме того, много полных значения звуков, которые были понятны окружающим. Он хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его хвалили за его «приличный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблюдал запрещение трогать некоторые вещи и ходить куда нельзя и, прежде всего, он никогда не плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посторонней помощи ухаживала за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу. При этом он произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное о-о-о-о!, которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, но означало «прочь» (Fort). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. Однажды я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, т. е. пытаться играть с ней как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное о-о-о-о!, вытаскивал затем катушку за нитку снова из кровати и встречал ее появление радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, исчезновение и появление, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом[1].

Толкование игры не представляло уже труда. Это находилось в связи с большой культурной работой ребенка над собой, с ограничением своих влечений (отказом от их удовлетворения), сказавшемся в том, что ребенок не сопротивлялся больше уходу матери. Он возмещал себе этот отказ тем, что посредством бывших в его распоряжении предметов сам представлял такое исчезновение и появление как бы на сцене. Для аффективной оценки этой игры безразлично, конечно, сам ли ребенок изобрел ее или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес должен остановиться на другом пункте. Уход матери не может быть для ребенка приятным или хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом удовольствия то, что это мучительное переживание ребенок повторяет в виде игры? Может быть, на это ответят, что этот уход должен сыграть роль залога радостного возвращения, собственной целью игры и является это последнее. Этому противоречило бы наблюдение, которое показывало, что первый акт, уход как таковой, был инсценирован ради самого себя, для игры, и даже гораздо чаще, чем вся игра в целом, доведенная до приятного конца.

[1] Это толкование было потом вполне подтверждено дальнейшим наблюдением. Когда однажды мать отсутствовала несколько часов, она была по своем возвращении встречена известием «Беби о-о-о», которое вначале осталось непонятным. Скоро обнаружилось, что ребенок во время этого долгого одиночества нашел для себя средство исчезать. Он открыл свое изображение в стоячем зеркале, спускавшемся почти до полу, и затем приседал на корточки, так что изображение в зеркале уходило «прочь».

Анализ такого единичного случая не дает точного разрешения вопроса. При беспристрастном размышлении возникает впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры из других мотивов. Он был до этого пассивен, был поражен переживанием и ставит теперь себя в активную роль, повторяя это же переживание, несмотря на то что оно причиняет неудовольствие в качестве игры. Это побуждение можно было бы приписать стремлению к овладению (Bemächtigungstrieb), независимому от того, приятно ли воспоминание само по себе или нет. Но можно попытаться дать и другое толкование. Отбрасывание предмета, так что он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мщения матери за то, что она ушла от ребенка, и может иметь значение упрямого непослушания: «да, иди прочь, мне тебя не надо, я сам тебя отсылаю». Этот же самый ребенок, которого я наблюдал в возрасте 1½ года, при его первой игре, имел обыкновение годом позже бросать об пол игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» («Geh in К (г) ieg!»). Ему тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он вовсе не чувствовал отсутствия отца, но обнаруживал ясные признаки того, что не желал бы, чтобы кто-нибудь мешал ему одному обладать матерью[1]. Мы знаем и о других детях, которые пытаются выразить подобные свои враждебные побуждения, отбрасывая предметы вместо лиц[2]. Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать какое-либо сильное впечатление, полностью овладеть им, выявиться как нечто первичное и независимое от принципа удовольствия. В обсуждаемом здесь случае ребенок мог только потому повторять в игре неприятное впечатление, что с этим повторением было связано другое, но прямое удовольствие.

Также и дальнейшее наблюдение детской игры не разрешает нашего колебания между двумя возможными толкованиями. Часто можно видеть, что дети повторяют в игре все то, что в жизни производит на них большое впечатление, что они могут при этом отрегулировать силу впечатления и, так сказать, сделаться господами положения. Но с другой стороны, достаточно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в их возрасте, — стать взрослыми и делать так, как это делают взрослые. Можно наблюдать также, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным в качестве предмета игры. Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это страшное происшествие, наверно, станет предметом ближайшей игры, но здесь нельзя не заметить, что получаемое при этом удовольствие проистекает из другого источника. В то время как ребенок переходит от пассивности переживания к активности игры, он переносит это неприятное, которое ему самому пришлось пережить, на товарища по игре и мстит таким образом тому, кого этот последний замещает.

Из этого во всяком случае вытекает, что излишне предполагать особое влечение к подражанию в качестве мотива для игры. Напомним еще, что артистическая

---

[1] Когда ребенку было 5 ¾ года, умерла мать. Теперь, когда она действительно ушла «прочь» (о-о-о), мальчик не выказывал печали. Но незадолго перед этим родился другой ребенок, который возбудил в нем сильнейшую ревность.

[2] Ср. воспоминание из детства из Dichtung und Wahrheit // Imago, Bd. V, H. 4; Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, IV Folge.

игра и подражание взрослым, которое, в отличие от поведения ребенка, рассчитано на зрителей, доставляет им, как, например, в трагедии, самые болезненные впечатления и все же может восприниматься ими как высшее наслаждение. Мы приходим, таким образом, к убеждению, что и при господстве принципа удовольствия есть средства и пути к тому, чтобы само по себе неприятное сделать предметом воспоминания и психической обработки. Пусть этими случаями и ситуациями, разрешающимися в конечном счете в удовольствие, займется построенная на экономическом принципе эстетика; для наших целей они ничего не дают, так как они предполагают существование и господство принципа удовольствия и не обнаруживают действия тенденций, находящихся по ту сторону принципа удовольствия, т. е. таких, которые первично выступали бы как таковые и были бы независимы от него.

III

Двадцать пять лет интенсивной работы привели к тому, что непосредственные задачи психоаналитической техники в настоящее время совсем другие, чем были вначале. Вначале анализирующий врач не мог стремиться ни к чему другому, как к тому, чтобы разгадать у больного скрытое бессознательное, привести его в связный вид и в подходящую минуту сообщить ему. Психоанализ прежде всего был искусством толкования. Так как терапевтическая задача этим не была решена, вскоре выступило новое стремление — понудить больного подтвердить построение психоаналитика посредством собственного воспоминания. При этом главное внимание уделялось сопротивлению больного: искусство теперь заключалось в том, чтобы возможно скорее вскрыть его, указать на него больному и посредством дружеского воздействия побудить оставить сопротивление (здесь остается место для внушения, действующего как перенесение).

Постепенно становилось все яснее, что скрытая цель сделать сознательным бессознательное и на этом пути оставалась не вполне достижимой. Больной может вспомнить не все вытесненное; больше того, он не может вспомнить как раз самого главного и не может убедиться в правильности сообщенного ему. Он скорее вынужден повторить вытесненное в виде новых переживаний, чем вспомнить это как часть прошлых переживаний, как хотел бы врач[1]. Это воспроизведение (Reproduktion), выступающее со столь неожиданной точностью и верностью, имеет всегда своим содержанием часть инфантильной сексуальной жизни, Эдипова комплекса или его модификаций, и закономерно отражается в области перенесения, т. е. на отношениях к врачу. Если при лечении дело зашло так далеко, то можно сказать, что прежний невроз заменен лишь новым — неврозом перенесения. Врач старался возможно ограничить сферу этого невроза перенесения, возможно глубже проникнуть в воспоминания и возможно меньше допустить к повторению. Отношение, устанавливающееся между воспоминаниями и воспроизведениями, для каждого случая бывает различным. Врач, как правило, не может миновать эту

[1] См. Zur Technik der Psychoanalyse, Errinern, Wiederholen und Durcharbeiten // Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, IV Folge, S. 441, 1918.

фазу лечения. Он должен заставить больного снова пережить часть забытой жизни и должен следить за тем, чтобы было сохранено в должной мере то, в силу чего кажущаяся реальность сознается всегда как отражение забытого прошлого. Если это удается, то достигается нужное убеждение больного и зависящий от этого терапевтический эффект.

Чтобы отчетливее выявить это «навязчивое повторение» (Wiederholungszwang), которое обнаруживается во время психоаналитического лечения невротиков, нужно прежде всего освободиться от ошибочного мнения, будто при преодолении сопротивления имеешь дело с сопротивлением бессознательного. Бессознательное, т. е. вытесненное, не оказывает вовсе никакого сопротивления стараниям врача, оно даже само стремится только к тому, чтобы прорваться в сознание, несмотря на оказываемое на него давление, или выявиться посредством реального поступка. Сопротивление лечению исходит из тех же самых высших слоев и систем психики, которые в свое время произвели вытеснение. Так как мотивы сопротивления и даже самое сопротивление представляются нам во время лечения бессознательными, то мы вынуждены избрать более целесообразный способ выражения. Мы избегнем неясности, если мы, вместо противопоставления бессознательного сознательному, будем противополагать *Я* и вытесненное. Многое в *Я* безусловно бессознательно, именно то, что следует назвать «ядром *Я*».

Лишь незначительную часть этого *Я* мы можем назвать предсознательным. После этой замены чисто описательного выражения выражением систематическим или динамическим мы можем сказать, что сопротивление анализируемых исходит из их *Я*, и тогда мы тотчас начинаем понимать, что «навязчивое повторение» следует приписать вытесненному бессознательному. Эта тенденция, вероятно, могла бы выявиться не раньше, чем идущая навстречу работа лечения ослабит вытеснение.

Нет сомнения в том, что сопротивление сознательного и предсознательного *Я* находится на службе у принципа удовольствия, оно имеет в виду избежать неудовольствие, которое возникает благодаря освобождению вытесненного, и наше усилие направляется к тому, чтобы посредством принципа реальности достигнуть примирения с существующим неудовольствием. Но в каком отношении стоит «навязчивое повторение», как проявление вытесненного, к принципу удовольствия? Ясно, что большая часть из того, что «навязчивое повторение» заставляет пережить вновь, должно причинять *Я* неудовольствие, так как оно способствует реализации вытесненных влечений, а это и есть, по нашей оценке, неудовольствие, не противоречащее указанному «принципу удовольствия», неудовольствие для одной системы и одновременно удовлетворение для другой. Новый и удивительный факт, который мы хотим теперь описать, состоит в том, что «навязчивое повторение» воспроизводит также и такие переживания из прошлого, которые не содержат никакой возможности удовольствия, которые не могли повлечь за собой удовлетворения даже вытесненных прежде влечений.

Ранний расцвет инфантильной сексуальности был, вследствие несовместимости господствовавших в этот период желаний с реальностью и недостаточной степени развития ребенка, обречен на гибель. Он погиб в самых мучительных условиях и при глубоко болезненных переживаниях. Утрата любви и неудачи остави-

ли длительное нарушение самочувствия в качестве нарцистического рубца, которые, по моим наблюдениям и исследованиям Марциновского[1], являются наиболее живым элементом в часто встречающемся у невротиков чувстве неполноценности. «Сексуальное исследование», которое было ограничено физическим развитием ребенка, не привело ни к какому удовлетворительному результату; отсюда позднейшие жалобы: я ничего не могу сделать, мне ничего не удается. Нежная связь по большей части с одним из родителей другого пола приводила к разочарованию, к напрасному ожиданию удовлетворения, к ревности при рождении нового ребенка, недвусмысленно указывавшем на «неверность» любимого отца или матери; собственная же попытка произвести такое дитя, предпринятая с трагической серьезностью, позорно не удавалась; уменьшение ласки, отдаваемой теперь маленькому братцу, возрастающие требования воспитания, строгие слова и иногда даже наказание — все это в конце концов раскрыло в полном объеме всю выпавшую на его долю обиду. Существует несколько определенных типов такого переживания, регулярно возвращающихся после того, как приходит конец эпохи инфантильной любви.

Все эти тягостные остатки опыта и болезненные аффективные состояния повторяются невротиком в перенесении, снова переживаются с большим искусством. Невротики стремятся к срыву незаконченного лечения, они умеют снова создать для себя переживание обиды, заставляют врача прибегать к резким словам и к холодному обращению, они находят подходящие объекты для своей ревности, они заменяют горячо желанное дитя инфантильной эпохи намерением или обещанием большого подарка, который обыкновенно остается так же мало реальным, как и прежнее желание. Ничто из всего этого не могло бы тогда принести удовольствия; нужно было думать, что теперь это вызовет меньшее неудовольствие, если оно возникает как воспоминание, чем если бы это претворилось в новое переживание. Дело идет, естественно, о проявлении влечений, которые должны были бы привести к удовлетворению, но знание, что они вместо этого и тогда приводили к неудовольствию, ничему не научило. Несмотря на это, они снова повторяются; их вызывает принудительная сила.

То же самое, что психоанализ раскрывает на перенесении у невротиков, можно найти также и в жизни не невротических людей. У последних эти явления производят впечатление преследующей судьбы, демонической силы, и психоанализ с самого начала считал такую судьбу автоматически возникающей и обусловленной ранними инфантильными влияниями. Навязчивость, которая при этом обнаруживается, не отличается от характерного для невротиков «навязчивого повторения», хотя эти лица никогда не обнаруживали признаков невротического конфликта, вылившегося в образование симптомов. Так, известны лица, у которых отношение к каждому человеку складывается по одному образцу: благодетели, покидаемые с ненавистью своими питомцами; как бы различны ни были отдельные случаи, этим людям, кажется, суждено испытать всю горечь неблагодарности; мужчины, у которых каждая дружба кончается тем, что им изменяет друг; другие, которые часто в своей жизни выдвигают для себя или для общества какое-нибудь

[1] *Marcinowski.* Die estetische Quellen der Minderwertigkeit // Zeitschrift für Sexualwissenschaft, IV, 1918.

лицо в качестве авторитета и этот авторитет затем после известного времени сами отбрасывают, чтобы заменить его новым; влюбленные, у которых каждое нежное отношение к женщине проделывает те же фазы и ведет к одинаковому концу, и т. д. Мы мало удивляемся этому «вечному возвращению одного и того же», когда дело идет об активном отношении такого лица и когда мы находим постоянную черту характера, которая должна выражаться в повторении этих переживаний. Гораздо большее впечатление производят на нас те случаи, где такое лицо, кажется, переживает нечто пассивно, где никакого его влияния не имеется и, однако, его судьба все снова и снова повторяется. Вспомним, например, историю той женщины, которая три раза подряд выходила замуж, причем все мужья ее заболевали и ей приходилось ухаживать за ними до смерти[1]. Самое захватывающее поэтическое представление такого случая дал Тассо в романтическом эпосе «Освобожденный Иерусалим». Герой его, Танкред, нечаянно убил любимую им Клоринду, когда она сражалась с ним в вооружении неприятельского рыцаря. Он проникает после ее похорон в страшный волшебный лес, который пугает войско крестоносцев. Он разрубает там своим мечом высокое дерево, и из раны дерева течет кровь, и он слышит голос Клоринды, душа которой была заключена в этом дереве; она жалуется на то, что он снова причинил боль своей возлюбленной.

На основании таких наблюдений над работой перенесения и над судьбой отдельных людей мы найдем в себе смелость выдвинуть гипотезу, что в психической жизни действительно имеется тенденция к навязчивому повторению, которая выходит за пределы принципа удовольствия, и мы будем теперь склонны свести сны травматических невротиков и склонность ребенка к игре — к этой тенденции. Во всяком случае мы должны сказать, что мы только в редких случаях можем отделить влияние навязчивого повторения от действия других мотивов. Мы уже упоминали, какие иные толкования допускает возникновение детской игры. Страсть к повторению и прямое, дающее наслаждение удовлетворение влечений кажутся здесь соединенными во внутреннюю связь. Явления перенесения состоят, по-видимому, на службе у сопротивления со стороны вытесняющего *Я*; навязчивое повторение также призывается на помощь нашим *Я*, которое твердо поддерживает принцип удовольствия. Рационально взвесив обстоятельства, мы уясним себе многое в том, что можно было бы назвать «судьбой», и перестанем ощущать вовсе потребность во введении нового таинственного мотива. Менее всего подозрительным является случай сновидений, предвещающих несчастья, но при более близком рассмотрении нужно все же принять, что в других примерах факты не исчерпываются известными мотивами. Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия. Если же в психической жизни существует такое навязчивое повторение, то мы хотели бы узнать что-нибудь о том, какой функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отноше-

[1] Ср. меткие замечания к этому в статье: *Jung C. G.* Die Bedeutung des Vaters für Schicksal des Einzelnen // Jahrbuch f. Psychoanalyse, l, 1909. (См. русск. перевод.: Психол. и психоаналит. библиотека, вып. II, 1924.)

нии стоит оно к принципу удовольствия, которому мы до сих пор приписывали господство над течением процессов возбуждения в психической жизни.

IV

Теперь мы переходим к спекуляции, иногда далеко заходящей, которую каждый, в зависимости от своей личной установки, может принять или отвергнуть. Дальнейшая попытка последовательной разработки этой идеи сделана только из любопытства, заставляющего посмотреть, куда это может привести.

Психоаналитическая спекуляция связана с фактом, получаемым при исследовании бессознательных процессов и состоящим в том, что сознательность является необязательным признаком психических процессов, но служит лишь особой функцией их. Выражаясь метапсихологически, можно утверждать, что сознание есть работа отдельной системы, которую можно назвать «Bw». Так как сознание есть главным образом восприятие раздражений, приходящих к нам из внешнего мира, а также чувств удовольствия и неудовольствия, которые могут проистекать лишь изнутри нашего психического аппарата, системе W — Bw[1] может быть указано пространственное местоположение. Она должна лежать на границе внешнего и внутреннего, будучи обращенной к внешнему миру и облекая другие психические системы. Мы далее замечаем, что с принятием этого мы не открыли ничего нового, но лишь присоединились к анатомии мозга, которая локализует сознание в мозговой коре, в этом внешнем окутывающем слое нашего центрального аппарата. Анатомия мозга вовсе не должна задавать себе вопроса, почему, рассуждая анатомически, сознание локализовано как раз в наружной стороне мозга, вместо того чтобы пребывать хорошо защищенным где-нибудь глубоко внутри. Может быть, мы воспользуемся этими данными для дальнейшего объяснения нашей системы W — Bw.

Сознательность не есть единственное свойство, которое мы приписываем происходящим в этой системе процессам. Мы опираемся на данные психоанализа, допуская, что процессы возбуждения оставляют в других системах длительные следы, как основу памяти, т. е. следы воспоминаний, которые не имеют ничего общего с сознанием. Часто они остаются наиболее стойкими и продолжительными, если вызвавший их процесс никогда не доходил до сознания. Однако трудно предположить, что такие длительные следы возбуждения остаются и в системе W — Bw. Они очень скоро ограничили бы способность этой системы к восприятию новых возбуждений[2], если бы они оставались всегда сознательными; наоборот, если бы они всегда оставались бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бессознательных процессов в системе, функционирование которой обыкновенно сопровождается феноменом сознания. Таким допущением, которое выделяет сознание в особую систему, мы, так сказать, ниче-

[1] Bw — сокращенное Bewußtsein — система сознания; W — Bw — система Wahrnehmung — Bewußtsein — восприятие — сознание, указывающая на одно из важных положений Фрейда, выводящее сознание из системы восприятий внешнего мира. — *Примеч. пер.*

[2] Ср. выводы Й. Брейера в теоретической части его «Studien über Hysterie», 1895.

го не изменили бы и ничего не выиграли бы. Если это и не является абсолютно решающим соображением, то все же оно может побудить нас предположить, что сознание и оставление следа в памяти несовместимы друг с другом внутри одной и той же системы. Мы могли бы сказать, что в системе Bw процесс возбуждения совершается сознательно, но не оставляет никакого длительного следа; все следы этого процесса, на которых базируется воспоминание, при распространении этого возбуждения переносятся на ближайшие внутренние системы. В этом смысле я набросал схему, которую выставил в 1900 году в спекулятивной части «Толкования сновидений». Если подумать, как мало мы знаем из других источников о возникновении сознания, то нужно отвести известное значение хоть несколько обоснованному утверждению, что сознание возникает на месте следа воспоминания.

Таким образом, система Bw должна была отличаться той особенностью, что процесс возбуждения не оставляет в ней, как во всех других психических системах, длительного изменения ее элементов, но ведет как бы к вспышке в явлении осознания. Такое уклонение от всеобщего правила требует разъяснения посредством одного момента, приходящего на ум исключительно при исследовании этой системы, и этим моментом, отсутствующим в других системах, могло бы легко оказаться вынесенное наружу положение системы Bw, ее непосредственное соприкосновение с внешним миром.

Представим себе живой организм в самой упрощенной форме его в качестве недифференцированного пузырька раздражимой субстанции; тогда его поверхность, обращенная к внешнему миру, является дифференцированной в силу своего положения и служит органом, воспринимающим раздражение. Эмбриология, как повторение филогенеза, действительно показывает, что центральная нервная система происходит из эктодермы и что серая мозговая кора есть все же потомок примитивной наружной поверхности, который перенимает посредством унаследования существенные ее свойства. Казалось бы вполне возможным, что вследствие непрекращающегося натиска внешних раздражений на поверхность пузырька его субстанция до известной глубины изменяется, так что процесс возбуждения иначе протекает на поверхности, чем в более глубоких слоях. Таким образом, образовалась такая кора, которая в конце концов оказалась настолько прожженной раздражениями, что доставляет для восприятия раздражений наилучшие условия и не способна уже к дальнейшему видоизменению. При перенесении этого на систему Bw это означало бы, что ее элементы не могли бы подвергаться никакому длительному изменению при прохождении возбуждения, так как они уже модифицированы до крайности этим влиянием. Тогда они уже подготовлены к возникновению сознания. В чем состоит модификация субстанции и происходящего в ней процесса возбуждения, об этом можно составить себе некоторое представление, которое, однако, в настоящее время не удается еще проверить. Можно предположить, что возбуждение, при переходе от одного элемента к другому, должно преодолеть известное сопротивление, и это уменьшение сопротивления оставляет длительно существующий след возбуждения (проторение путей); в системе Bw такое сопротивление, при переходе от одного элемента к другому, не возникает. С этим представлением можно связать брейеровское различение покоящей-

ся (связанной) и свободно-подвижной энергии[1] в элементах психических систем; элементы системы Bw обладали бы в таком случае не связанной, но исключительно свободно-отводимой энергией. Но я полагаю, что пока лучше об этих вещах высказываться с возможной неопределенностью. Все же мы связали посредством этих рассуждений возникновение сознания с положением системы Bw и с приписываемыми ей особенностями протекания процесса возбуждения.

Мы должны осветить еще один момент в живом пузырьке с его корковым слоем, воспринимающим раздражение. Этот кусочек живой материи носится среди внешнего мира, заряженного энергией огромной силы, и если бы он не был снабжен защитой от раздражения (Reizschutz), он давно погиб бы от действия этих раздражений. Он вырабатывает это предохраняющее приспособление посредством того, что его наружная поверхность изменяет структуру, присущую живому, становится в известной степени неорганической и теперь уже в качестве особой оболочки или мембраны действует сдерживающе на раздражение, т. е. ведет к тому, чтобы энергия внешнего мира распространялась на ближайшие оставшиеся живыми слои лишь небольшой частью своей прежней силы. Эти слои, защищенные от всей первоначальной силы раздражения, могут посвятить себя усвоению всех допущенных к ним раздражений. Этот внешний слой благодаря своему отмиранию предохраняет зато все более глубокие слои от подобной участи по крайней мере до тех пор, пока раздражение не достигает такой силы, что оно проламывает эту защиту. Для живого организма такая защита от раздражений является, пожалуй, более важной задачей, чем восприятие раздражения; он снабжен собственным запасом энергии и должен больше всего стремиться защищать свои особенные формы преобразования этой энергии от нивелирующего, следовательно, разрушающего влияния энергии, действующей извне и превышающей его собственную по силе. Восприятие раздражений имеет, главным образом, своей целью ориентироваться в направлении и свойствах идущих извне раздражений, а для этого оказывается достаточным брать из внешнего мира лишь небольшие пробы и оценивать их в небольших дозах. У высокоразвитых организмов воспринимающий корковый слой бывшего пузырька давно погрузился в глубину организма, оставив часть этого слоя на поверхности под непосредственной общей защитой от раздражения. Это и есть органы чувств, которые содержат в себе приспособления для восприятия специфических раздражителей и особые средства для защиты от слишком сильных раздражений и для задержки неадекватных видов раздражений. Для них характерно то, что они перерабатывают лишь очень незначительные количества внешнего раздражения, они берут лишь его мельчайшие пробы из внешнего мира. Эти органы чувств можно сравнить с щупальцами, которые ощупывают внешний мир и потом опять оттягиваются от него.

Я разрешу себе на этом месте кратко затронуть вопрос, который заслуживает самого основательного изучения. Кантовское положение, что время и пространство суть необходимые формы нашего мышления, в настоящее время может под влиянием известных психоаналитических данных быть подвергнуто дискуссии. Мы установили, что бессознательные душевные процессы сами по себе находят-

[1] Studien über Hysterie von J. Breuer und S. Freud, 3 unveränd. Aufl., 1917.

ся «вне времени». Это прежде всего означает то, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не изменяет, что представление о времени нельзя применить к ним. Это негативное свойство можно понять лишь путем сравнения с сознательными психическими процессами. Наше абстрактное представление о времени должно почти исключительно зависеть от свойства работы системы W–Bw и должно соответствовать самовосприятию этой последней. При таком способе функционирования системы должен быть избран другой путь защиты от раздражения. Я знаю, что эти утверждения звучат весьма туманно, но должен ограничиться лишь такими намеками.

Мы до сих пор указывали, что живой пузырек должен быть снабжен защитой от раздражений внешнего мира. Перед тем мы утверждали, что ближайший его корковый слой должен быть дифференцированным органом для восприятий раздражений извне. Этот чувствительный корковый слой, будущая система Bw, также получает возбуждения и изнутри. Положение этой системы между наружными и внутренними влияниями и различия условий для влияний с той и другой стороны являются решающими для работы этой системы и всего психического аппарата. Против внешних влияний существует защита, которая уменьшает силу этих приходящих раздражений до весьма малых доз; по отношению к внутренним влияниям такая защита невозможна, возбуждение глубоких слоев непосредственно и не уменьшаясь распространяется на эту систему, причем известный характер их протекания вызывает ряд ощущений удовольствия и неудовольствия. Во всяком случае возбуждения, происходящие от них, будут более адекватны способу работы этой системы по своей интенсивности и по другим качественным свойствам (например, по своей амплитуде), чем раздражения, приходящие из внешнего мира. Эти обстоятельства окончательно определяют две вещи: во-первых, превалирование ощущений удовольствия и неудовольствия, которые являются индикатором для процессов, происходящих внутри аппарата, над всеми внешними раздражениями; во-вторых, деятельность, направленную против таких внутренних возбуждений, которые ведут к слишком большому увеличению неудовольствия. Отсюда может возникнуть склонность относиться к ним таким образом, как будто они влияют не изнутри, а снаружи, чтобы к ним возможно было применить те же защитные меры от раздражений. Таково происхождение проекции, которой принадлежит столь большая роль в происхождении патологических процессов.

У меня складывается впечатление, что мы приблизились посредством последних рассуждений к пониманию господства принципа удовольствия; но мы еще не разъяснили тех случаев, которые ему противоречат. Поэтому сделаем шаг дальше. Такие возбуждения извне, которые достаточно сильны, чтобы проломать защиту от раздражения, мы называем травматическими. Я полагаю, что понятие травмы включает в себя понятие нарушения защиты от раздражения. Такое происшествие, как внешняя травма, вызовет, наверное, громадное расстройство в энергетике организма и приведет в движение все защитные средства; принцип удовольствия при этом остается бессильным. Организм оказывается не в силах сдержать переполнение психического аппарата столь большими количествами раздражений. Возникает, скорее, другая задача, состоящая в том, чтобы победить это

раздражение, психически связать эту огромную массу ворвавшихся раздражений, чтобы затем свести их на нет.

Вероятно, специфическое неудовольствие от физической боли есть следствие того, что защита от раздражений в известной степени прорвана. От этого места периферии текут вследствие этого к психическому аппарату постоянные возбуждения таким же образом, каким они обыкновенно могут приходить лишь изнутри[1]. И какую иную реакцию мы можем ожидать на этот прорыв?

Со всех сторон будет привлечена активная энергия (Besetzungsenergie), чтобы создать соответственное высокое энергетическое заполнение вокруг пострадавшего места. Создается сильнейшая компенсация (Gegenbesetzung), для осуществления которой поступаются своим запасом все другие психические системы, так что получается обширное ослабление и понижение обычной работоспособности других психических функций. На подобных примерах мы хотим научиться прилагать наши метапсихологические построения к такого рода первичным фактам. Из этого обстоятельства мы делаем вывод, что даже система с высоким энергетическим потенциалом (hochbesetzte System) может воспринимать вновь приходящую несвязанную энергию, превращая ее в покоящуюся, т. е. «связать» ее психически. Чем выше потенциал собственной покоящейся энергии, тем выше будет ее связывающая сила; и наоборот, чем ниже этот потенциал, тем меньше эта система будет в состоянии воспринимать, усваивать энергию, тем сокрушительнее должны быть последствия такого прорыва «защиты от раздражения». Неправильно было бы возражение против такого понимания, что увеличение энергетического потенциала (Besetzungen) вокруг места прорыва объясняется гораздо проще прямым следствием проникающих сюда возбуждений. Если бы это было так, то психический аппарат испытал бы только увеличение своего энергетического потенциала, а ослабляющий характер боли, ослабление всех других систем остались бы необъяснимыми. Даже самые сильные защитные действия боли не противоречат нашему объяснению, так как они происходят рефлекторно, т. е. они возникают без посредства психического аппарата. Неопределенность всех наших построений, которые мы называем метапсихологическими, происходит, конечно, от того, что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем и не чувствуем себя вправе делать даже какое-либо предположение: в этом отношении мы оперируем, таким образом, с большим *X*, который мы переносим в каждую новую формулу. Что этот процесс совершается с количественно различной энергией — это легко допустимое предположение; что он имеет также больше чем одно качество (например, в виде амплитуды), может быть для нас невероятным; мы принимаем в качестве новой формулировки предположение Брейера, что дело идет здесь о двух формах энергии: текущей свободно, стремящейся к разряду, и покоящемся запасе психических систем (или их элементов). Возможно, что мы уделим место предположению, что «связывание» втекающей в психический аппарат энергии состоит в переведении ее из свободно текущего в покоящееся состояние.

---

[1] Ср. Triebe u. Triebschicksale // Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. (В русск. переводе см.: Психол. и психоаналит. библиотека, вып. III, статья «Влечения и их судьба». — М., 1923.)

Я полагаю, что нужно сделать попытку к пониманию обыкновенного травматического невроза как последствия обширного прорыва «защиты от раздражений». Этим восстановлено было бы в своих правах старое наивное учение о шоке, в противоположность, по-видимому, более новому и психологически более требовательному учению, которое приписывает этиологическое значение не механическому воздействию силы, а испугу и угрозе жизни. Но эти противоречия нетрудно примирить; ведь психоаналитическое понятие травматического невроза не идентично с грубой формой теории шока. Если последняя объясняет сущность шока непосредственным повреждением молекулярной или гистологической структуры нервных элементов, то мы стараемся понять его влияние из прорыва «защиты от раздражений» и из возникающих отсюда задач. Условием для него служит отсутствие подготовленности в виде страха (Angstbereitschaft), который создает переизбыток энергии (Überbesetzung) в системах, прежде всего воспринимающих раздражение. Вследствие такого пониженного энергетического потенциала системы не в состоянии связывать приходящие к ним количества возбуждения, и тем легче осуществляются указанные последствия такого прорыва «защиты от раздражений». Мы находим, таким образом, что подготовленность в виде страха с повышением энергетического потенциала воспринимающей системы представляют последнюю линию защиты от раздражения. Для целого ряда травм такая разница между неподготовленными и подготовленными посредством повышения потенциала системами может быть решающим моментом для их исхода; он больше не будет зависеть от самой силы травмы. Если сновидения травматических невротиков возвращают больных так регулярно в обстановку катастрофы, то они во всяком случае не являются исполнением желания, галлюцинаторное осуществление которого сделалось функцией при господстве принципа удовольствия. Но мы должны допустить, что они осуществляют другую задачу, разрешение которой должно произойти раньше, чем принцип удовольствия начнет осуществлять свое господство. Эти сновидения стараются справиться с раздражением посредством развития чувства страха, отсутствие которого стало причиной травматического невроза. Они проливают, таким образом, свет на функцию психического аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, все же независима от него и кажется первоначальнее, чем стремление к удовольствию и избегание неудовольствия.

Здесь было бы уместно впервые признать исключение из правила, что сновидение есть исполнение желания. Страшные сновидения (Angstträume) не представляют подобного исключения, как я неоднократно и подробно доказывал, также и сновидения-наказания (Strafträume), так как они воздают должное наказанию за исполнение запрещенного желания и являются, таким образом, исполнением желания особого «чувства вины», реагирующего на вытесненное влечение. Но вышеупомянутые сновидения травматических невротиков нельзя рассматривать под углом зрения исполнения желания, и в такой же малой степени это возможно по отношению встречающихся в психоанализе сновидений, которые воспроизводят воспоминания о психических инфантильных травмах. Они скорее повинуются тенденции к навязчивому повторению, которое подкрепляется в процессе психоанализа далеко не бессознательным желанием — выявить забытое и вытеснен-

ное. Таким образом, функция сновидения, заключающаяся в устранении поводов к прекращению сновидения посредством исполнения мешающих ему желаний, оказывается не первоначальной: сновидение могло бы лишь в том случае осилить эти мешающие ему возбуждения, если бы вся психическая жизнь признала бы господство принципа удовольствия. Если же существует «та сторона принципа удовольствия», то вполне можно допустить и некоторую эпоху, предшествующую тенденции исполнения желания во сне.

Это не противоречит более поздней функции сна. Однако, если эта тенденция в чем-либо нарушена, встает следующий вопрос: возможны ли в психоанализе такие сны, которые в интересах психического связывания травматических впечатлений следуют тенденции навязчивого воспроизведения? На это нужно ответить безусловно утвердительно.

По отношению к «военным» неврозам, поскольку это название обозначает нечто большее, чем простое отношение к обстоятельствам этого заболевания, я доказал в другом месте, что они очень легко могли бы быть травматическим неврозом, возникновение которого было облегчено *Я*-конфликтом (Ich-Konflikt)[1].

Упомянутый выше факт, что одновременное большое ранение уменьшает посредством большой травмы шансы на возникновение травматического невроза, теперь будет более понятен, особенно если вспомнить о двух обстоятельствах, подчеркнутых психоаналитическим исследованием: во-первых, что механические потрясения должно рассматривать как один из источников сексуального возбуждения (ср. замечания о влиянии качания и езды по железной дороге в «Трех очерках по теории сексуальности»), и, во-вторых, что болезненное и лихорадочное состояние сильно влияет во время своего течения на распределение либидо. Таким образом, механическая сила травмы освобождает то количество сексуального возбуждения, которое действует травматически вследствие недостаточной готовности в виде страха, одновременное же ранение тела при помощи нарцистического сосредоточения либидо в пострадавшем органе связывает излишек возбуждения. (См. Zur Einführing des Narzißmus // Samml. kleiner Schriften z. Neurosenlehre, 1918. — Русск. перевод: Психол. и психоанал. библиот. — ГИЗ, 1921. — Вып. VIII.)

Известно также, что недостаточно оценено для теории либидо то, что такие тяжелые нарушения в распределении либидо, как меланхолия, могут быть на время ликвидированы посредством какой-либо привходящей органической болезни и что даже состояние вполне развитой dementia praecox при названных условиях может быть временно задержано и даже возвращено к прежним, менее болезненным состояниям.

V

Отсутствие защиты от раздражений у воспринимающего внутренние раздражения коркового слоя имеет своим последствием то, что перемещение раздражений получает большое экономическое значение и часто дает повод к нарушениям в эко-

[1] Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, Einleitung // Internationale Psyhoanalytische Bibliothek, l, 1919.

номике организма, которые могут быть сопоставлены с травматическим неврозом. Самыми основными источниками такого внутреннего раздражения служат так называемые влечения организма, которые являются представителями всех действующих сил, возникающих внутри организма и переносимых на психический аппарат; именно они и являются самым важным и самым темным элементом психологического исследования.

Пожалуй, мы не найдем слишком смелым предположение, что исходящие из этих влечений действия являются по типу не связанным, а свободноподвижным, стремящимся к разряду нервным процессом. Самое большое, что мы знаем об этих процессах, дает изучение сновидений. При этом мы обнаружили, что процессы в бессознательных системах коренным образом отличны от процессов (пред -)- сознательных, что в бессознательном отдельные заряды энергии легко могут быть целиком перенесены, смещены, сгущены. Если бы то же самое случилось с материалом предсознательного, это привело бы к нелепым результатам; поэтому получаются известные нам странности в явном содержании сновидения, после того как предсознательные остатки дня подверглись переработке, согласно законам бессознательного. Я назвал это свойство таких процессов в бессознательном «первичным» психическим процессом в отличие от соответствующих нашему нормальному бодрствованию «вторичных» процессов.

Так как все влечения возникают в бессознательных системах, вряд ли будет новым, если скажем, что они следуют первичному процессу; с другой же стороны, мы имеем мало основания отождествить первичный психический процесс со свободно движущимся зарядом, а вторичный процесс с изменениями связанного или тонического нервного напряжения Брейера[1]. Задачей более высоких слоев психического аппарата было бы в таком случае связывать достигающие до него влечения, которые возникли в «первичном» процессе. Неудача этого связывания вызвала бы нарушение, аналогичное травматическому неврозу; только если последовало бы такое связывание, стало бы возможным беспрепятственное продолжение господства принципа удовольствия и его модификации — принципа реальности. Но до тех пор выступала бы на первое место другая задача психического аппарата, состоящая в овладении возбуждением или связывании его и, собственно, не противоречащая принципу удовольствия, но не зависящая от него, часто даже не имеющая его в виду.

Проявления навязчивого повторения, которое мы встретили в психической жизни раннего детства и в случаях из психоаналитической практики, отличаются непреодолимым, а там, где находятся в противоречии с принципом удовольствия, «демоническим» характером. Мы полагаем, что в детской игре ребенок повторяет даже неприятные переживания, так как он благодаря своей активности значительно лучше овладевает сильным впечатлением, чем это возможно при обыкновенном пассивном переживании. Каждое новое воспроизведение стремится как будто бы закрепить это желанное овладение, и даже при приятных переживаниях ребенок не может насытиться этими повторениями и будет упрямо настаивать на повторении тех же впечатлений. Эта черта характера должна впоследствии исчез-

---

[1] Ср. Traumdeutung, VII.

нуть. Услышанная во второй раз острота пройдет почти незамеченной, театральное представление никогда не доставит такого впечатления во второй раз, которое оно произвело в первый; взрослого трудно заставить тотчас же перечитать даже ту книгу, которая очень понравилась. Всегда условием удовольствия будет его новизна.

Ребенок же не устанет требовать повторения показанной ему взрослым игры, пока тот не откажет ему окончательно, и если ему рассказали интересную сказку, ему хочется слышать все снова и снова эту сказку, вместо новой; он настаивает беспрестанно на повторении того же самого и исправляет всякое изменение, которое вставляет рассказчик для того, чтобы внести разнообразие. При этом здесь нет противоречия принципу удовольствия; бросается в глаза, что это повторение, нахождение того же самого составляет само по себе источник удовольствия. Наоборот, у подвергаемого анализу кажется ясным, что навязчивое повторение в перенесении отношений его инфантильного периода во всяком случае выводит за пределы принципа удовольствия. Больной при этом ведет себя как ребенок и показывает нам, что вытесненные следы воспоминаний о его ранних переживаниях находятся в нем не в связанном состоянии, а также до известной степени не способны к переходу во вторичный процесс. Этому свойству обязаны они своими способностями образовывать посредством присоединения к следам дневных переживаний проявляющиеся во сне фантазии исполнения желаний. Это навязчивое повторение является для нас часто препятствием в терапевтической работе, когда мы в конце лечения хотим провести отрешение от лечащего врача, и нужно предположить, что тайная боязнь у людей, не посвященных в анализ, которые боятся пробудить что-либо, что, по их мнению, лучше оставить в спящем состоянии, имеет в основе именно страх перед наступлением такой демонической навязчивости.

Каким же образом связаны между собой влечения и навязчивое повторение? Здесь мы приходим к мысли, что мы набрели на следы самого характера этих влечений, возможно даже всей органической жизни, до сих пор бывших для нас неясными или во всяком случае недостаточно подчеркнутыми. Влечение с этой точки зрения можно было бы определить как наличное в живом организме стремление к восстановлению какого-либо прежнего состояния, которое под влиянием внешних препятствий живое существо принуждено было оставить, в некотором роде органическая эластичность, или, если угодно, выражение косности в органической жизни[1].

Это определение влечения звучит странно, так как мы привыкли видеть во влечении момент, стремящийся к изменению и развитию, и должны теперь признать как раз противоположное, выражение консервативной природы живущего. С другой стороны, нам попадаются очень скоро примеры из жизни животных, которые как будто бы подтверждают историческую обусловленность влечений. Если некоторые рыбы во время метания икры предпринимают трудные путешествия, чтобы отложить икру в известных водах, далеко удаленных от их обычного

---

[1] Я не сомневаюсь, что подобные предположения о природе влечений уже неоднократно высказывались.

пребывания, то, по мнению многих биологов, они отыскивают лишь прежние места, которые они в течение времени переменили на другие. То же относится и к странствованию перелетных птиц; но поиски дальнейших примеров указывают нам очень скоро, что в феноменах наследственности и фактах эмбриологии мы имеем великолепные примеры органического «навязчивого повторения». Мы видим, что зародыш животного принужден повторить в своем развитии структуру всех тех форм, пусть даже в беглом и укороченном виде, от которых происходит это животное, вместо того чтобы поспешить кратчайшим путем к его конечному образу; это обстоятельство мы можем объяснить механически лишь в незначительной степени и не должны оставлять в стороне историческое объяснение. Таким же образом далеко в историю животного мира восходит способность замещения утраченного органа посредством образования взамен другого, совершенно одинакового.

Следует тут же отметить и то возражение, что кроме консервативных влечений, которые принуждают к повторениям, есть и такие, которые стремятся дать новые формы и ведут к прогрессу; это возражение должно быть предусмотрено и позже в наших рассуждениях. Однако нам кажется заманчивым проследить до последних выводов то предположение, что все влечения стремятся восстановить прежнее состояние. Пусть это покажется чересчур «глубокомысленным» или пусть прозвучит мистически, но все же мы стремились к чему-либо подобному. Мы ищем трезвых результатов исследования или основанного на нем рассуждения и не стремимся ни к чему другому, как к достоверности[1].

Если, таким образом, все органические влечения консервативны, приобретены исторически и направлены к регрессу, к восстановлению прежних состояний, то мы должны все последствия органического развития отнести за счет внешних, мешающих и отклоняющих влияний.

Элементарное живое существо с самого своего начала не должно стремиться к изменению, должно постоянно при неизменяющихся условиях повторять обычный жизненный путь. Но ведь в конечном счете именно история развития нашей Земли и ее отношений к Солнцу есть то, что наложило свой отпечаток на развитие организмов.

Консервативные органические влечения восприняли каждое из этих вынужденных отклонений от жизненного пути, сохранили их для повторения и должны произвести, таким образом, обманчивое впечатление сил, стремящихся к изменению и прогрессу, в то время как они пытаются достичь прежней цели на старых и новых путях. Однако и эта конечная цель всякого органического стремления могла бы легко быть узнана. Если бы целью жизни было еще никогда не достигнутое ею состояние, это противоречило бы консервативной природе влечений. Скорее здесь нужно было бы искать старое исходное состояние, которое живущее существо однажды оставило и к которому стремится обратно всеми окольными путями развития. Если мы примем как не допускающий исключений факт, что все жи-

[1] Не следует упускать из виду то, что нижеследующее представляет собой развитие крайних взглядов, которые впоследствии, когда будут приняты во внимание сексуальные влечения, подвергнутся ограничению и исправлению.

вущее вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и обратно — неживое было раньше, чем живое.

Некогда, какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевленной материи свойства живого. Возможно, что это был процесс, подобный тому, каким в известном слое живой материи впоследствии должно было образоваться сознание. Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это было первое стремление возвратиться к неживому. Тогда живая субстанция могла легко умереть, жизненный путь был, вероятно, короток, направление его было предопределено химической структурой молодой жизни. В течение долгого времени живая субстанция могла создаваться все снова и снова и легко могла умирать, пока внешние, определяющие причины не изменились настолько, что принуждали оставшуюся в живых субстанцию к все большим отклонениям от первоначального жизненного пути и к более сложным окольным путям для достижения цели — смерти. Эти окольные пути к смерти, надежно охраняемые консервативными влечениями, дают нам теперь картину жизненных явлений. Если придерживаться мнения об исключительно консервативной природе влечений, нельзя прийти к другим предположениям о происхождении и цели жизни.

Так же странно, как эти заключения, звучит тогда то, что можно вывести в отношении больших групп влечений, которые мы констатируем за этими жизненными проявлениями организмов.

Положение о существовании влечения к самосохранению, которое мы приписываем каждому живому существу, состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к самосохранению, к власти и самоутверждению теоретически сильно ограничиваются; они являются частными влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить организму собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему. Таким образом, отпадает загадочное стремление организма, как будто не стоящее ни в какой связи ни с чем, самоутвердиться во что бы то ни стало. Остается признать, что организм хочет умереть только по-своему: и эти «сторожа жизни» были первоначально слугами смерти. К этому присоединяется парадоксальное утверждение, что живой организм противится самым энергичным образом опасностям, которые не могли помочь ему достичь своей цели самым коротким путем (так сказать, коротким замыканием), но это поведение характеризует только примитивные формы влечений, в противоположность разумным стремлениям организма.

Но отдадим себе отчет: ведь этого не может быть! Совсем в другом свете покажутся нам тогда сексуальные стремления, для которых учение о неврозах определило особое положение.

Не все организмы подчинены внешнему принуждению, которое стимулировало их все далее идущее развитие. Многим удалось сохранить себя до настоящего времени на своей самой низкой ступени развития; еще теперь живут если не все, то все же многие живые существа, которые должны быть подобны примитивней-

шим формам высших животных и растений. Таким же образом не все элементарные органы, составляющие сложное тело высшего организма, проделывают этот путь развития полностью до естественной смерти. Некоторые среди них, например зародышевые клетки, сохраняют, вероятно, первоначальную структуру живой субстанции и к известному времени отделяются от организма, наделенные всеми унаследованными и вновь приобретенными способностями. Вероятно, как раз эти оба свойства дают им возможность и самостоятельного существования. Поставленные в хорошие условия, они начинают развиваться, т. е. повторять игру, которой они обязаны своим существованием, и это кончается тем, что одна часть их субстанции продолжает свое развитие до конца, в то время как другая в качестве нового зародышевого остатка снова начинает развитие сначала.

Таким образом, эти зародышевые клетки противодействуют умиранию живой субстанции и достигают того, что нам может показаться потенциальным бессмертием, в то время как это, вероятно, означает лишь удлинение пути к смерти. В высокой степени многозначителен для нас тот факт, что зародышевая клетка укрепляется и вообще становится приспособленной для этой работы посредством слияния с другой, ей подобной и все же от нее отличающейся.

Влечения, имеющие в виду судьбу элементарных частиц, переживающих отдельное существо, старающиеся поместить их в надежное место, пока они беззащитны против раздражений внешнего мира, и ведущие к соединению их с другими зародышевыми клетками и т. д., составляют группу сексуальных влечений. Они в том же смысле консервативны, как и другие, так как воспроизводят ранее бывшие состояния живой субстанции, но они еще в большей степени консервативны, так как особенно сопротивляются внешним влияниям, и далее, еще в более широком смысле, так как они сохраняют самую жизнь на более длительные времена[1]. Они-то, собственно, и являются влечениями к жизни: то, что они действуют в противовес другим влечениям, которые по своей функции ведут к смерти, составляет имеющуюся между ними противоположность, которой учение о неврозах приписывает большое значение. Это как бы замедляющий ритм в жизни организмов: одна группа влечений стремится вперед, чтобы возможно скорее достигнуть конечной цели жизни, другая — на известном месте своего пути устремляется обратно, чтобы проделать его снова от известного пункта и удлинить таким образом продолжительность пути. Но если даже сексуальность и различие полов не существовали к началу жизни, то все же остается возможным, что влечения, которые впоследствии стали обозначаться как сексуальные, в самом начале вступили в деятельность и начали свое противодействие игре влечений *Я* вовсе не в какой-нибудь более поздний период[2].

Обратимся же теперь назад, чтобы спросить, не лишены ли все эти рассуждения всякого основания. Нет ли, действительно, каких-либо других влечений, за исключением сексуальных, кроме тех, которые стремятся к восстановлению преж-

---

[1] И все же они являются тем, чем мы только и можем пользоваться для внутренней тенденции к «прогрессу» и к более высокому развитию.

[2] В этой связи следует отметить, что «влечение *Я*» представляет собой предварительное название, которое имеет отношение к первому наименованию психоанализа.

них состояний, и нет ли таких, которые стремятся к чему-нибудь еще не достигнутому. Я не знаю в органическом мире достоверного примера, который противоречил бы предложенной нами характеристике. Нельзя установить общего влечения к высшему развитию в царстве животных и растений, хотя такая тенденция в развитии фактически бесспорно существует. Но, с одной стороны, это в большей мере лишь дело нашей оценки, если одну ступень развития мы считаем выше другой, а, с другой стороны, наука о живых организмах показывает нам, что прогресс в одном пункте очень часто покупается или уравновешивается регрессом в другом. Имеется также достаточно видов животных, исследование ранних форм которых говорит нам, что их развитие скоро приобретает регрессирующий характер. Прогрессирующее развитие так же, как и регрессирующее, могут оба быть следствиями внешних сил, принуждающих к приспособлению, и роль влечений для обоих случаев могла ограничиться тем, чтобы закрепить вынужденное изменение как источник внутреннего удовольствия[1].

Многим из нас было бы тяжело отказаться от веры в то, что в самом человеке пребывает стремление к усовершенствованию, которое привело его на современную высоту его духовного развития и этической сублимации и от которого нужно ожидать, что оно будет содействовать его развитию до сверхчеловека. Но я лично не верю в существование такого внутреннего стремления и не вижу никакого смысла щадить эту приятную иллюзию. Прежнее развитие человека кажется мне не требующим другого объяснения, чем развитие животных, и то, что наблюдается у небольшой части людей в качестве постоянного стремления к дальнейшему усовершенствованию, становится легко понятным как последствие того вытеснения влечений, на котором построено самое ценное в человеческой культуре. Вытесненное влечение никогда не перестает стремиться к полному удовлетворению, которое состоит в повторении в первый раз пережитого удовлетворения; все замещения, реактивные образования и сублимация недостаточны, чтобы прекратить его сдерживаемое напряжение, и из разности между полученным и требуемым удовольствием от удовлетворения влечения возникает побуждающий момент, который и не позволяет останавливаться ни на одной из представляющихся ситуаций, но, по словам поэта, «стремится неудержимо все вперед» (Мефистофель в «Фаусте», I, Кабинет Фауста). Путь назад к полному удовлетворению, как правило, закрыт препятствиями, которые поддерживают вытеснение, и, таким образом, не остается ничего другого, как идти вперед, по другому, еще свободному пути развития, во всяком случае без видов на завершение этого процесса и достижение цели. Процессы при образовании невротической фобии, которые суть не что иное, как попытка к бегству от удовлетворения влечения, дают нам прообраз возникновения этого кажущегося «стремления к совершенствованию», которое мы, однако, не можем приписать всем человеческим индивидуумам.

---

[1] Ш. Ференци дошел до этого определения, идя по другому пути (Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes // Intern. Zeitschrift für Psychoanalyse, Bd. l, 1913): «При последовательном проведении этого хода мыслей нужно свыкнуться с идеей о господствующей и в органической жизни тенденции задержки на месте или регрессии, в то время как тенденция развития вперед, приспособления и проч. становится актуальной лишь в ответ на внешнее раздражение» (S. 137).

Хотя динамические условия для этого и имеются повсюду, но экономические обстоятельства только в редких случаях могут способствовать этому феномену.

Одним словом, весьма правдоподобно, что стремление Эроса связывать органическое во все большие единства выполняет роль заместителя не признаваемого нами «влечения к совершенствованию». Вместе с влиянием вытеснения оно могло бы объяснить приписываемые последнему феномены.

VI

Получаемые нами результаты, которые устанавливают резкую противоположность между влечениями *Я* и сексуальными влечениями, сводя первые к смерти, а последние к сохранению жизни, во многом нас, наверное, не удовлетворят. К этому надо присоединить то, что консервативный или, вернее, регрессирующий характер влечения, соответствующий навязчивому повторению, мы допускаем, собственно, только для первых, ибо, по нашему предположению, влечения *Я* непосредственно восходят к возникновению жизни в неживой материи и имеют тенденцию снова вернуться к неорганическому состоянию. Напротив, относительно сексуальных влечений бросается в глаза, что они репродуцируют примитивные состояния живого существа, но преследуемая ими всеми способами цель состоит в соединении двух дифференцированных известным образом зародышевых клеток. Если это соединение не происходит, тогда зародышевая клетка умирает, подобно всем другим элементам многоклеточного организма. Только при условии соединения их половая функция может продолжать жизнь и придать ей видимость бессмертия. Однако каков же этот важный момент в процессе развития живой субстанции, который повторяется посредством полового размножения или его предвестника — копуляции двух индивидуумов среди протистов?

На это мы не можем ответить, и потому для нас было бы облегчением, если бы все наше построение оказалось ошибочным. Противоположность влечений *Я* (к смерти) и влечений сексуальных (к жизни) отпала бы тогда, а вместе с этим ограничилось бы и значение, приписываемое навязчивому повторению.

Поэтому вернемся к одной из затронутых нами гипотез в ожидании, что ее можно будет целиком опровергнуть. Исходя из нашего предположения мы сделали выводы, что все живущее должно вследствие внутренних причин умереть. Мы сделали это предположение так беспечно именно потому, что его смысл представляется нам совсем иным. Мы привыкли так мыслить, наши поэты укрепляют нас в этом. Мы, возможно, решились на это потому, что в этом веровании таится утешение. Если уж суждено самому умереть и потерять перед тем своих любимых, то все же хочется скорее подчиниться неумолимому закону природы, величественной Αυάγχη[1], чем случайности, которая могла бы быть избегнута.

Но может быть, эта вера во внутреннюю закономерность смерти также лишь одна из иллюзий, созданных нами, «чтобы вынести тяжесть существования»? Во всяком случае, это верование не первоначально, первобытным народам чужда идея о «естественной» смерти; они приписывают каждый смертный случай влия-

[1] Необходимости. — *Примеч. ред. перевода.*

нию врага или какого-либо злого духа. Поэтому мы должны обратиться для проверки этого верования к научной биологии.

Если мы поступим таким образом, мы будем удивлены, узнав, как расходятся биологи в вопросе о естественной смерти и что у них понятие о смерти вообще остается неуловимым. Факт определенной средней продолжительности жизни, по крайней мере у высших животных, говорит, конечно, за внутренние причины смерти, но то обстоятельство, что отдельные большие животные и колоссальные деревья достигают очень высокого и до сих пор не определенного возраста, разбивает снова это впечатление. Согласно концепции В. Флисса, все проявления жизни организмов — также и смерть в том числе — связаны с известными сроками, среди которых выделяется зависимость двух живых существ — мужского и женского — от солнечного года. Но наблюдения, показывающие, насколько легко и в каких пределах внешние влияния могут изменять проявления жизни в их временной смене, главным образом из царства растений, т. е. ускорять их или задерживать, противятся сухим формулам Флисса и заставляют по крайней мере усомниться в том, что существуют только одни выдвинутые им законы.

Самый большой интерес вызывает исследование продолжительности жизни и смерти организмов в работах А. Вейсмана[1].

К этому исследованию восходит разделение живущей субстанции на смертную и бессмертную половину; смертная — это тело в узком смысле, сома, подверженная естественной смерти; зародышевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку они в состоянии, при известных благоприятных обстоятельствах, развиться в новый индивидуум или, иначе выражаясь, окружить себя новой сомой[2].

Что нас здесь привлекает — это неожиданная аналогия с нашим собственным определением, возникшим на совершенно ином пути. Вейсман, рассматривающий живую субстанцию с точки зрения морфологической, находит в ней составную часть, подверженную смерти, сому, тело, независимо от пола и наследственности, а также часть бессмертную, именно эту зародышевую плазму, которая служит для сохранения вида, для размножения.

Мы уже рассматривали не самую живую материю, но действующие в ней силы и пришли отсюда к различению двух родов влечений, таких, которые ведут жизнь к смерти, и других, а именно сексуальных влечений, которые постоянно стремятся к обновлению жизни. Это звучит в качестве динамического коррелята к морфологической теории Вейсмана.

Но видимость этого совпадения быстро улетучивается, когда мы знакомимся с разрешением Вейсманом проблемы смерти. Ведь Вейсман допускает различие смертной сомы от бессмертной зародышевой плазмы лишь у многоклеточных организмов, а у одноклеточных животных индивид и клетка, служащая для продолжения рода, по его мнению, есть то же самое[3]. Таким образом, он рассматривает одноклеточные как потенциально бессмертные, смерть наступает лишь у Metazoa (многоклеточных). Эта смерть высших живых существ есть естественная

---

[1] Über die Dauer des Lebens 1882; Über Leben und Tod, 1892; Das Keimplasma, 1892.

[2] Über Leben und Tod, 2 Aufl., 1892, S. 20.

[3] Dauer des Lebens, S. 38.

смерть от внутренних причин, но она опирается не на исходные свойства живой субстанции[1], не может быть понята как абсолютная необходимость, обоснованная сущностью жизни[2]. Смерть есть больше признак целесообразности, проявление приспособляемости к внешним условиям жизни, так как при разделении клеток тела на сому и зародышевую плазму неограниченная продолжительность жизни индивидуума была бы совершенно нецелесообразной роскошью.

С наступлением этой дифференцировки у многоклеточных смерть стала возможной и целесообразной. С этой стадии сома высших организмов умирает вследствие внутренних причин к определенному времени, простейшие же остались бессмертными. Напротив, размножение введено было не со смертью, а представляет собой первобытное свойство живой материи, как, например, рост, из которого оно произошло, и жизнь осталась на Земле с самого своего начала беспрерывной[3].

Легко заметить, что признание естественной смерти для высших организмов мало помогает разрешению нашего вопроса. Если смерть есть лишь позднейшее приобретение живых существ, то влечения к смерти, которые восходят к самому началу жизни на Земле, опять остаются без внимания. Многоклеточные могут умирать от внутренней причины, от недостатков обмена веществ; для вопроса, который нас интересует, это не имеет значения.

Такое понимание происхождения смерти лежит гораздо ближе к обыкновенному мышлению человека, чем странная гипотеза о «влечениях к смерти».

Дискуссия, поднятая теорией Вейсмана, по-моему, не достигла решения ни в каком отношении[4].

Некоторые авторы вернулись к точке зрения Гёте (1883), который видел в смерти прямое следствие размножения.

Гартман считает характерным для смерти не появление «трупа», этой отмершей части живой субстанции, а определяет ее как «окончание индивидуального развития».

В этом смысле смертны и Protozoa, смерть совпадает у них с размножением, но этим она известным образом замаскировывается у них, так как субстанция производящего животного непосредственно переводится в субстанцию молодого потомка (S. 29).

Интерес исследования вскоре устремился к экспериментальному выяснению этого утверждаемого бессмертия живой субстанции на одноклеточных. Американец Вудрефф воспитал ресничную инфузорию-«туфельку», которая размножается посредством деления на два индивидуума, и проследил до 3029-й генерации, на которой он прервал этот опыт; каждый раз он изолировал одну из отделившихся частиц и помещал в свежую воду. Этот поздний потомок первой «туфельки» был так же свеж, как его предок, без всяких следов состаривания или вырожде-

---

[1] Leben und Tod, 2 Aufl., S. 67.

[2] Dauer des Lebens, S. 33.

[3] Über Leben und Tod, Schluß.

[4] *Hartmann Max*. Tod und Fortpflanzung, 1906; *Lipschütz Alex*. Warum wir sterben. Kosmos-Bücher, 1914; D o f l e i n Franz. Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen und Tieren, 1919.

ния. Этим, казалось, экспериментально может быть доказано (если эти числа достаточно доказательны) бессмертие протистов[1].

Другие исследователи пришли к иным результатам.

Мопа, Колкинс и др., в противоположность Вудреффу, нашли, что и эти инфузории после определенного числа делений становятся слабее, убывают в величине, теряют часть своего тела и в конце концов умирают, если не получают каких-либо особых освежающих влияний.

Согласно этому, Protozoa умирали после известной фазы старости совершенно так же, как и высшие животные, в противоположность утверждению Вейсмана, который считает смерть лишь более поздним приобретением живых организмов.

Из сопоставления этих исследований мы выводим два факта, которые кажутся нам имеющими твердую основу. Во-первых: если эти животные в определенный момент, когда еще не проявляют признаков старости, сливаются между собой по двое, копулируют, после чего они через некоторое время снова разъединяются, то они избегают старости, они, так сказать, омолаживаются. Эта копуляция есть предвестник полового продолжения рода высших существ; она еще не имеет ничего общего с размножением, ограничивается смешением субстанции обоих индивидуумов (амфимиксис Вейсмана). Освежающее влияние копуляции может быть также заменено определенными раздражающими средствами, изменениями в составных частях питательной среды, в температуре или сотрясением. Нужно вспомнить об известном опыте Ж. Лёба, который вызывал у яиц морского ежа посредством химических раздражителей явления деления, наступающие обыкновенно только после оплодотворения.

Во-вторых: весьма вероятно, что инфузорий ведут к смерти их собственные жизненные процессы, так как противоречие между результатами Вудреффа и других происходит оттого, что Вудрефф помещал каждую новую генерацию в свежую питательную жидкость. Если бы он этого не делал, он наблюдал бы те же старческие изменения генераций, как и другие исследователи. Он сделал вывод, что этим маленьким животным вредят продукты обмена веществ, которые они отдают окружающей жидкости, и мог убедительно доказать, что только продукты собственного обмена веществ оказывают действие, ведущее к смерти генерации, ибо эти животные созревали великолепно в растворе, который был насыщен продуктами распада отдаленного родственного вида, и безусловно вымирали, собранные в своей собственной питательной жидкости. Таким образом, инфузория умирает, предоставленная сама себе, естественной смертью вследствие несовершенства в устранении своих собственных продуктов обмена веществ; но, может быть, и высшие животные умирают в основном вследствие такого же недостатка.

Для нас может вообще стать сомнительным, имеет ли смысл искать разрешение вопроса о естественной смерти в изучении Protozoa.

Примитивная организация этих существ может затуманить весьма важные обстоятельства, которые хотя и имеются у них, но обнаруживаются лишь у высших животных, когда они достигли морфологической выраженности.

---

[1] Ср. с этим и с дальнейшим Lipschütz, I. c., S. 26, 52 и след.

Если мы оставим морфологическую точку зрения и примем динамическую, то нам может вообще стать безразличным, можно ли доказать естественную смерть Protozoa или нет. Субстанция, которую впоследствии выделяют как бессмертную, ни в какой мере не отделена у них от умирающей. Силы влечений, переводящие жизнь в смерть, могут с самого начала действовать в них, и все же их эффект может быть скрыт сохраняющими жизнь силами, так что прямое распознание первых становится очень трудным.

Во всяком случае, мы слышали, что наблюдения биологов позволяют нам принять такие внутренние процессы, ведущие к смерти, и для протистов. Но если даже протисты оказываются бессмертными в смысле Вейсмана, то его утверждение, что смерть есть позднее приобретение, остается в силе лишь для явных проявлений смерти и не делает невозможным допущение о тенденциях, влекущих к смерти. Наше ожидание, что биология легко устранит признание влечений к смерти, не оправдалось.

Мы можем продолжать выяснять эту возможность, если мы вообще имеем для этого основание. Удивительное сходство вейсмановского разделения на сому и зародышевую плазму с нашим делением на влечения к смерти и к жизни остается и получает снова свое значение.

Остановимся вкратце на этом резко дуалистическом понимании жизни влечений. По теории Э. Геринга о процессах в живой субстанции, в ней происходят беспрерывно два рода процессов противоположного направления, одни созидающего — ассимиляторного, другие разрушающего — диссимиляторного типа. Должны ли мы попытаться узнать в этих обоих направлениях жизненных процессов работу наших обоих влечений — влечения к жизни и влечения к смерти? Но мы не можем скрыть и того, что мы нечаянно попали в гавань философии Шопенгауэра, для которого смерть есть «собственный результат» и, следовательно, цель жизни[1], а сексуальное влечение воплощает волю к жизни.

Попробуем сделать смелый шаг дальше. По общему мнению, соединение многочисленных клеток в одну жизненную систему, многоклеточность организмов стала средством удлинения продолжительности жизни. Одна клетка служит поддержанию жизни другой, и клеточное государство может продолжать существовать, если даже отдельные клетки и должны отмирать.

Мы уже слышали, что копуляция, это временное слияние двух одноклеточных, влияет в сохраняющем и омолаживающем смысле на обе клетки. Посредством этого можно было бы сделать опыт: перенести выработанную психоанализом теорию либидо на взаимоотношения клеток друг к другу и представить себе, что именно жизненные или сексуальные влечения в каждой клетке берут другие клетки в качестве своих объектов и их влечения к смерти, вернее, вызываемые этими влечениями процессы, частично нейтрализуются и, таким образом, сохраняют им жизнь, в то время как другие клетки, в свою очередь, действуют так же по отношению к первым, а третьи жертвуют собой для выполнения этой либидозной функции. Зародышевые клетки должны были вести себя «нарциссически», как мы при-

[1] Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen. Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe, Bd. IV, S. 268.

выкли выражаться в учении о неврозах, если весь индивидуум сохраняет свое либидо в себе и ничего не расходует из него на внешние объекты. Зародышевые клетки употребляют свое либидо, деятельность своих жизненных влечений для себя самих, в качестве запаса для их последующей высокотворческой деятельности. Возможно, что и клетки злокачественных новообразований, разрушающих организм, нужно объяснить в том же смысле нарцистически. Патология склоняется к тому, чтобы считать их происхождение врожденным, и приписывает им эмбриональные свойства. Таким образом, либидо наших сексуальных влечений совпадает с Эросом поэтов и философов, который охватывает все живущее.

Здесь мы встречаем повод для обозрения постепенного развития нашей теории либидо. Анализ неврозов перенесения сначала побуждал нас подчеркнуть противоположность между сексуальными влечениями, которые были направлены на объект, и другими, весьма мало распознанными нами и пока обозначенными как влечения *Я*. Между ними в первую очередь нужно указать на влечения, которые служат для самосохранения индивидуума. Трудно было установить, какие еще другие подразделения нужно было внести сюда. Никакое знание не было столь важным для обоснования научной психологии, как приблизительное понимание общей природы и некоторых особенностей влечений, но ни в одной из областей психологии мы не действовали до такой степени в потемках. Каждый выставлял столько влечений, или «основных влечений», сколько ему нравилось, и распоряжался ими, как старые греческие натурфилософы своими четырьмя элементами: водой, землей, огнем и воздухом.

Психоанализ, не успевший выдвинуть какую-либо теорию влечений, примкнул сначала к популярному различению влечений, для которого прообразом были слова о «голоде и любви». Это не было по крайней мере новым актом произвола. С этим мы обходились долгое время в анализе психоневрозов. Понятие «сексуальности» и вместе с тем сексуального влечения должно было, конечно, быть расширено, пока оно не включило в себя многое, что не подчинялось функциям продолжения рода, и это наделало много шума в чопорных и лицемерных кругах.

Следующий шаг последовал тогда, когда психоанализ ближе подошел к психологическому понятию *Я,* которое сначала стало известным как инстанция, вытесняющая, цензурирующая и способная к созданию защитных реактивных образований. Критические и дальновидные умы уже давно, правда, восстали против ограничения понятия либидо энергией сексуальных влечений, обращенных на объект. Но они позабыли сообщить, откуда они приобрели более верный взгляд, и не смогли извлечь что-либо нужное из этого для анализа. При дальнейшем развитии мысли психоаналитическому наблюдению бросилось в глаза, как постоянно либидо отклоняется от объекта и направляется на само *Я* (интроверсия), и, изучая развитие либидо у ребенка в его ранних стадиях, оно пришло к убеждению, что *Я* и является собственным и первоначальным резервуаром либидо, которое лишь отсюда распространяется на объект. *Я* выступило среди сексуальных объектов и признано было сейчас же самым важным между ними. Если либидо пребывало таким образом в *Я,* то оно называлось нарциссическим[1]. Это нарцистическое

[1] См. Zur Einführung des Narzißmus // Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. VI, 1914. (Русск. перевод: Психол. и психоаналит. библиотека, под ред. И. Д. Ермакова, т. VIII, 1924.)

либидо было также выражением силы сексуальных влечений в аналитическом смысле, которое мы должны были отождествить с признанными с самого начала влечениями к самосохранению. Благодаря этому оказалась недостаточной первоначальная противоположность между влечениями *Я* и сексуальными влечениями. Часть влечений *Я* была признана либидозной; в *Я,* вероятно, среди других действовали и сексуальные влечения. Однако нужно все же признать, что старая формула, гласящая, что психоневроз основывается на конфликте между влечениями *Я* и сексуальными влечениями, не содержала ничего такого, что теперь можно было бы отбросить. Различие двух видов влечений, которое с самого начала мыслилось качественно, теперь трактуется иначе, а именно топически. В особенности невроз перенесения, собственный предмет психоанализа, остается результатом конфликта между *Я* и либидозной привязанностью к объекту.

Тем более мы должны теперь подчеркнуть либидозный характер влечений к самосохранению, ибо мы решаемся сделать следующий шаг, а именно — признать сексуальные влечения как Эрос, сохраняющий все, и вывести нарцистическое либидо *Я* из частичек либидо, которыми связаны друг с другом соматические клетки.

Теперь перед нами встает неожиданно следующий вопрос: если и влечения к самосохранению имеют либидозную природу, то, может быть, вообще мы не имеем других влечений, кроме либидозных. По крайней мере никаких других мы не видим. Но тогда нужно согласиться с критиками, которые с самого начала думали, что психоанализ объясняет все из сексуальности, или с новыми критиками, как Юнг, которые решили употреблять понятие либидо для обозначения вообще «силы влечений». Не так ли?

Этот результат был во всяком случае не нашим намерением, мы скорее исходили из резкого разделения между влечениями *Я* — влечениями к смерти и сексуальными влечениями — влечениями к жизни. Мы были даже готовы считать так называемые влечения *Я* к самосохранению — влечениями к смерти, от чего мы сейчас вынуждены будем воздержаться. Наше представление было с самого начала дуалистическим, и теперь оно стало им еще резче, чем раньше, с тех пор как мы усматриваем противоположность не между влечениями *Я* и сексуальными, а между влечениями к жизни и влечениями к смерти. Напротив, теория либидо Юнга монистична; нас должно было спутать то обстоятельство, что он назвал именем либидо единую «силу влечения»; однако это не должно нас смущать больше. Мы предполагаем, что в *Я* действуют еще другие влечения, кроме либидозных влечений к самосохранению, но мы должны быть в состоянии их выявить. Остается пожалеть, что еще так мало развит анализ *Я,* что для нас так трудно это обнаружение. Либидозные стремления *Я* могут во всяком случае быть связаны особым образом с другими, для нас еще неизвестными влечениями *Я.* Еще прежде чем мы познакомились с нарциссизмом, в психоанализе существовало уже предположение, что влечения *Я* привлекли к себе либидозные компоненты. Но это еще довольно неясные возможности, с которыми противники едва ли могли бы считаться. Остается минусом, что анализ давал нам до сих пор возможность изучать только либидозные влечения. Мы не можем, однако, сделать вывод, что другие влечения не существуют.

При современной неясности в учении о влечениях мы едва ли поступим хорошо, отвергнув какое-либо обстоятельство, обещающее нам разъяснение. Мы исходили из коренной противоположности между влечениями к жизни и смерти. Сама любовь к объекту показывает нам другую такую же полярность между любовью (нежностью) и ненавистью (агрессивностью). Если бы нам удалось привести обе эти полярности в соотношение друг с другом, свести одну к другой! Мы уже давно признали садистский компонент сексуального влечения[1]. Он, как мы знаем, может стать самостоятельным и главенствовать в качестве извращения всего сексуального влечения данного лица. Он выступает также в качестве доминирующего частного влечения в одной из организаций, названной мною «прегенитальной». Но как можно вывести садистское влечение, которое направлено на причинение вреда объекту, из поддерживающего жизнь Эроса? Не возникает ли здесь предположение, что этот садизм есть, собственно, влечение к смерти, которое оттеснено от *Я* влиянием нарцистического либидо, так что оно проявляется лишь направленным на объект? Оно начинает тогда обслуживать сексуальную функцию; в стадии оральной организации либидо любовное обладание совпадает с уничтожением объекта, впоследствии садистские стремления отделяются и, наконец, в стадии примата гениталий берут на себя, имея в виду цели продолжения рода, функцию проявлять насилие над сексуальным объектом, поскольку этого требует совершение полового акта. Больше того, можно было бы сказать, что оттесненный из *Я* садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения: именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с ними, получается амбивалентность любви — ненависти в любовной жизни.

Если такое предположение было бы допустимо, то было бы исполнено требование привести пример такого — хотя и вытесненного — влечения к смерти. Но определение это лишено всякой наглядности и производит поэтому слишком мистическое впечатление. Мы приходим к необходимости найти выход из этого затруднения во что бы то ни стало. Здесь мы должны вспомнить, что такое предположение не ново, что мы уже раз сделали его прежде, когда еще не было речи ни о каком затруднении. Клинические наблюдения понудили нас в свое время сделать вывод, что дополняющее садизм частное влечение мазохизма следует понимать как обращение садизма на собственное *Я*[2]. Перенесение влечения с объекта на *Я* принципиально ничем не отличается от перенесения с *Я* на объект, о котором возникает как бы новый вопрос.

Мазохизм, обращение влечения против собственного *Я,* в действительности был бы возвращением к более ранней фазе, регрессом. В одном пункте данное тогда мазохизму определение нуждается в исправлении, как слишком исключающее; о чем я тогда пытался спорить — мазохизм мог бы быть и первичным[3] влечением.

---

[1] Три очерка по теории сексуальности.

[2] Ср. «Три очерка по теории сексуальности» и «Влечения и их судьба» (цит. библ., т. III).

[3] В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений. Она обозначает садистский компонент сексуального влечения как «деструктивное» влечение (Destruktion als Ursache des Werdens, Jahrbuch für Psychoanalyse, IV, 1912).

А. Штерке (Inleiding by de vertraling, von *S. Freud,* De sexuele beschavingsmoral etc., 1914) пытался в другом роде отождествить понятие либидо с теоретически предполагаемым биологическим поня-

Однако вернемся к влечениям, поддерживающим жизнь. Уже из исследования о протистах мы узнали, что слияние двух индивидуумов без последующего деления — копуляция — влияет укрепляющим и омолаживающим образом на оба индивидуума, которые вслед за тем отделяются друг от друга (см. выше: Липшютц). В последующих поколениях они не выявляют следов дегенеративности и кажутся способными дальше сопротивляться вреду, приносимому их собственным обменом веществ. Я полагаю, что одно это последнее должно служить прообразом и для эффекта соединения. Но каким образом приносит слияние двух мало различных клеток такое обновление жизни? Опыт, который заменяет копуляцию у Protozoa посредством влияния химических и даже механических раздражений (1. с.), позволяет дать достоверный отчет: это происходит посредством доставления новых количеств раздражения. Это хорошо согласуется с тем предположением, что жизненный процесс индивидуума из внутренних причин ведет к уравновешиванию химических напряжений, т. е. к смерти, в то время как слияние с индивидуально-отличной живой субстанцией увеличивает эти напряжения, вводит, так сказать, новые жизненные разности, которые еще должны после изживаться. Для такого различия должны, конечно, существовать один или несколько оптимумов. То, что мы признали в качестве доминирующей тенденции психической жизни, может быть, всей нервной деятельности, а именно стремление к уменьшению, сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего напряжения (по выражению Барбары Лоу — «принцип нирваны»), как это находит себе выражение в принципе удовольствия, — является одним из наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании влечений к смерти.

Но мы все еще ощущаем чувствительную помеху для нашего хода мыслей в том отношении, что мы не можем доказать как раз для сексуального влечения такого характера навязчивого повторения, который нас навел сначала на мысль о наличии следов влечения к смерти; правда, область эмбриональных процессов развития весьма богата такими явлениями повторения, обе зародышевые клетки полового размножения и история их жизни суть сами только повторение начала органической жизни; но главное в процессах, возбужденных сексуальным влечением, есть слияние двух клеточных тел. Лишь посредством этого достигается бессмертие живой субстанции у высших живых существ.

Другими словами, нам надо вообще узнать о происхождении полового размножения и генезе сексуальных влечений — задача, которой посторонний должен испугаться и которая до сих пор еще не разрешена специальными исследованиями. В теснейшем столкновении всех этих противоречивых данных и мнений должно быть выявлено, какой вывод можно сделать из всего хода наших мыслей.

Одно определение придает проблеме размножения раздражающую таинственность: это — точка зрения, представляющая продолжение рода в качестве частичного проявления роста. (Размножение посредством деления, пускания ростков и почкования.) Происхождение размножения посредством дифференцированных

тием влечения к смерти (ср. также: *Rank*. Der Künstler). Все эти попытки, как и сделанные в тексте, показывают стремление к еще не достигнутой ясности в учении о влечениях.

в половом отношении зародышевых клеток можно было бы, по трезвому дарвиновскому образу мышления, представить так, что преимущества амфимиксиса, который получился когда-то при случайной копуляции двух протистов, заставили его удержаться в дальнейшем развитии и быть использованным дальше[1].

«Пол» при этом оказывается не слишком древнего происхождения, и весьма сильные влечения, которые ведут к половому соединению, повторяют при этом то, что случайно раз произошло и укрепилось как оказавшееся полезным.

Здесь так же, как и при рассуждении о смерти, возникает вопрос, нужно ли признавать за протистами только то, что они открыто обнаруживают, или нужно принять, что у них возникают и те процессы и силы, которые становятся видимыми лишь у высших животных существ. Это упомянутое понимание сексуальности очень мало говорит в пользу наших мыслей. Против него можно было бы возразить, что оно предполагает существование влечений к жизни, действующих уже в простейшем живом существе, так как иначе копуляция, противодействующая естественному течению жизненных процессов и затрудняющая задачу отмирания, не удержалась бы и не подвергалась бы развитию, а избегалась бы. Если мы не стремимся оставить предположение о влечениях к смерти, нужно прежде всего присоединить их к влечениям жизни. Но следует признать, что мы имеем здесь дело с уравнением с двумя неизвестными. Те данные, которые мы находим в науке относительно возникновения пола, так незначительны, что проблему эту можно сравнить с потемками, куда не проник ни один луч гипотезы. Совсем в другом месте мы встречаемся все же с подобной гипотезой, которая, однако, так фантастична и, пожалуй, скорее является мифом, чем научным объяснением, что я не решился бы привести ее, если бы она как раз не удовлетворяла тому условию, к использованию которого мы стремимся. Она выводит влечение из потребности в восстановлении прежнего состояния.

Я разумею, конечно, теорию, которую развивает Платон в «Пире» устами Аристофана и которая рассматривает не только происхождение полового влечения, но и его главнейшие вариации в отношении объекта[2].

«Человеческая природа была когда-то совсем другой. Первоначально было три пола, три, а не два, как теперь, рядом с мужским и женским существовал третий пол, имевший равную долю от каждого из двух первых...» «Все у этих людей было двойным, они, значит, имели четыре руки, четыре ноги, два лица, двойные половые органы и т. д. Тогда Зевс разделил каждого человека на две части, как разрезывают груши пополам, чтобы они лучше сварились... Когда, таким образом, все естество разделилось пополам, у каждого человека появилось влечение к его второй половине, и обе половины снова обвили руками одна другую, соединили свои тела и захотели снова срастись»[3].

---

[1] Хотя Вейсман (Das Keimplasma, 1892) отрицает это преимущество: «Оплодотворение ни в коем случае не означает омоложение жизни, оно представляет не что иное, как приспособление для того, чтобы сделать возможным смешивание двух различных наследственных тенденций». Следствием такого смешения он считает повышение вариабельности живых существ.

[2] С нем. перевода Руд. Касснера.

[3] Я обязан проф. Г. Гомперцу (Вена) следующими объяснениями происхождения мифа Платона, которые я частично привожу в его выражениях: «Я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство,

Должны ли мы вслед за поэтом-философом принять смелую гипотезу, что живая субстанция была разорвана при возникновении жизни на маленькие частицы, которые стремятся к вторичному соединению посредством сексуальных влечений? Что эти влечения, в которых находит свое продолжение химическое сродство неодушевленной материи, постепенно через царство протистов преодолевают трудности, ибо этому сродству противостоят условия среды, заряженной опасными для жизни раздражениями, понуждающими к образованию защитного коркового слоя? Что эти разделенные частицы живой субстанции достигают, таким образом, многоклеточности и передают, наконец, зародышевым клеткам влечение к воссоединению снова в высшей концентрации? Я думаю, на этом месте нужно оборвать рассуждения.

Но не без того, чтобы заключить несколькими словами критического размышления. Меня могли бы спросить, убежден ли я сам, и в какой мере, в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не убежден в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее: я не знаю, насколько я в них верю. Мне кажется, что аффективный момент убеждения вовсе не должен приниматься здесь во внимание. Ведь можно отдаться ходу мыслей, следить за ним, куда он ведет, исключительно из научной любознательности, или, если угодно, как «advocatus diaboli»[1], который из-за этого сам все же не продается черту.

Я не отрицаю, что третий шаг в учении о влечениях, который я здесь предпринимаю, не может претендовать на ту же достоверность, как первые два, а именно расширение понятия сексуальности и установление нарциссизма. Эти открытия были прямым переводом на язык теории наблюдений, связанных не с бóльшими источниками ошибок, чем те, которые неизбежны во всех таких случаях. Утверждение регрессивного характера влечений покоится во всяком случае также на исследуемом материале, а именно на фактах навязчивого повторения. Но я, может быть, переоценил их значение. Построение этой гипотезы возможно во всяком

что эта же теория находится уже в существенном в Упанишадах Брихадараньяки-Упанишады, 1, 4, 3 (*Deussen*, 60 Upanischads des Weda, S. 393), где описывается происхождение мира из Атмана (самого, или *Я*): "Но он (Атман, сам, или *Я*) не имел радости, поэтому и никто не имеет радости, если он один. Тогда он возжелал о другом. Он был таким же большим, как мужчина и женщина, если они обнялись. Это свое *Я* он разделил на две части: отсюда получились муж и жена. Поэтому тело в своем *Я* подобно половине, так именно объяснил это Тайнавалкья. Поэтому эта недостающая часть восполняется женщиной"». Брихадараньяки-Упанишады самые старые из всех Упанишад. Никем из известных исследователей они не датировались позднее 800 года до Р. Х. Вопрос, была ли возможна какая-либо посредственная зависимость у Платона от этой индийской мысли, я не хотел бы решить в отрицательном смысле, в противовес господствующему мнению, так как такая возможность вовсе не должна быть обязательно объяснена учением о странствованиях души.

Такая зависимость, переданная через пифагорейцев, вряд ли отняла бы что-либо от значительности этого совпадения мыслей, так как Платон не присвоил бы себе такое предание, принесенное ему с Востока, уже не говоря о том, что он не придал бы ему такого важного значения, если бы оно ему самому не показалось правдоподобным.

В одном из сочинений К. Циглера — «Menschen und Weltenwerden» (Neue Jahrbücher f. das Klassische Altertum, Bd. 31, Sonderabdr., 1913), которое занимается систематическим исследованием этой спорной идеи до Платона, она относится к вавилонским мифам.

[1] Поверенный дьявола. — *Примеч. ред. перевода.*

случае не иначе, как с помощью комбинации фактического материала с чистым размышлением, удаляясь при этом от непредвиденного наблюдения.

Известно, что конечный результат тем менее надежен, чем чаще это делается в процессе построения какой-либо теории, но степень ненадежности этим еще не определяется. Здесь можно счастливо угадать, но и позорно впасть в ошибку. Так называемой интуиции я мало доверяю при такой работе; в тех случаях, когда я ее наблюдал, она казалась мне скорее следствием известной беспринципности интеллекта. Но, к сожалению, редко можно быть беспристрастным, когда дело касается последних вопросов, больших проблем науки и жизни. Я полагаю, что каждый одержим здесь внутренне глубоко обоснованными пристрастиями, влиянием которых он бессознательно руководствуется в своем размышлении. При таких основаниях для недоверия не остается ничего другого, как благожелательная сдержанность к результатам собственного мышления. Я только спешу прибавить, что такая самокритика не обязывает к особой терпимости по отношению к иным взглядам. Нужно неукоснительно отвергнуть теории, если анализ их первых шагов противоречит наблюдаемому, и все же при этом можно сознавать, что правильность выдвигаемой взамен теории есть лишь временное явление. В оценке наших рассуждений о влечениях к жизни и смерти нам мало помешает то, что мы встречаем здесь столько странных и ненаглядных процессов, как, например, то, что одно влечение вытесняется другим, или оно обращается от *Я* к объекту и т. п. Это происходит лишь оттого, что мы принуждены оперировать с научными терминами, т. е. специфическим образным языком психологии (правильнее, глубинной психологии — Tiefenpsychologie). Иначе мы не могли бы вообще описать соответствующие процессы, не могли бы их даже достигнуть. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы психологические термины мы могли заменять физиологическими или химическими терминами. Они, правда, тоже относятся к образному языку, но к такому, с которым мы уже давно знакомы и который, пожалуй, более прост для нас.

С другой стороны, мы должны уяснить себе, что неточность наших рассуждений увеличивается в высокой степени вследствие того, что мы принуждены одалживаться у биологии. Биология есть поистине царство неограниченных возможностей, мы можем ждать от нее самых потрясающих открытий и не можем предугадать, какие ответы она даст нам на наши вопросы несколькими десятилетиями позже. Возможно, что как раз такие, что все наше искусное здание гипотез распадется.

Если это действительно так, нас могут спросить, к чему тогда приниматься за такую работу, какая проделана в этой главе, и зачем сообщать о ней. Я не могу, однако, сказать, что некоторые аналогии, сопоставления и зависимости казались мне все же заслуживающими внимания[1].

---

[1] В заключение здесь несколько слов о нашей терминологии, которая в течение этого изложения проделала известное развитие. Что представляют собой «сексуальные влечения», мы знаем из отношения к полу и функции продолжения рода. Мы сохранили это название и тогда, когда были вынуждены данными психоанализа отвергнуть их обязательное отношение к продолжению рода. С указанием на существование нарцистического либидо и на распространение его на отдельную клетку у нас сексуальное влечение превратилось в Эрос, который старается привести друг к другу части

VII

Если действительно влечения обладают таким общим свойством, что они стремятся восстановить раз пережитое состояние, то мы не должны удивляться тому, что в психической жизни так много процессов осуществляется независимо от принципа удовольствия. Это свойство должно сообщиться каждому частному влечению и сказывается в таких случаях в стремлении снова достигнуть известного этапа на пути развития. Но все то, над чем принцип удовольствия еще не проявил своей власти, не должно стоять в противоречии с ним, и еще не разрешена задача определения взаимоотношения процессов навязчивого повторения к господству принципа удовольствия.

Мы узнали, что одна из самых главных и ранних функций психического аппарата состоит в том, чтобы «связывать» доходящие до него внутренние возбуждения, замещать царящий в них первичный процесс вторичным, превращать свободную энергию активности в покоящуюся, тоническую. Но во время этого превращения еще нельзя говорить о возникновении неудовольствия: действие принципа удовольствия этим также не прекращается. Превращение совершается скорее в пользу принципа удовольствия: связывание есть подготовительный акт, который вводит и обеспечивает господство принципа удовольствия.

Отделим функцию и тенденцию одну от другой резче, чем мы до сих пор это делали. Принцип удовольствия будет тогда тенденцией, находящейся на службе у функции, которой присуще стремление сделать психический аппарат вообще лишенным возбуждений или иметь количество возбуждения в нем постоянным и возможно низким.

Мы не можем с уверенностью решиться ни на одно из этих предположений, но мы замечаем, что определенная таким образом функция явилась бы частью всеобщего стремления живущего к возвращению в состояние покоя неорганической материи. Мы все знаем, что самое большое из доступных нам удовольствий — наслаждение от полового акта — связано с мгновенным затуханием высоко поднявшегося возбуждения. Связывание же внутреннего возбуждения составляло бы

живой субстанции и держать их вместе, а собственно сексуальные влечения выявились как части Эроса, обращенные на объект. Размышление показывает, что этот Эрос действует с самого начала жизни и выступает как «влечение к жизни», в противовес «влечению к смерти», которое возникло с зарождением органической жизни. Мы пытаемся разрешить загадку жизни посредством принятия этих обоих борющихся между собой испокон веков влечений. Менее наглядно, пожалуй, превращение, которое испытало понятие влечений *Я*. Первоначально мы назвали таким именем все малоизвестные нам направления влечений, которые удалось отделить от сексуальных влечений, направленных на объект, и поставили влечения *Я* в противовес сексуальным влечениям, выражение которых заключается в либидо. Впоследствии мы подошли к анализу *Я* и нашли, что и часть влечений *Я* — либидозной природы и что они лишь избрали собственное *Я* в качестве объекта. Эти нарцистические влечения к самосохранению должны были быть теперь причислены к либидозным сексуальным влечениям. Противоположность между влечениями *Я* и сексуальными превратилась в противоположность между влечениями *Я* и влечениями к объекту (то и другое — либидозной природы). На ее место выступила новая противоположность: между либидозными влечениями к *Я* и к объекту и другими влечениями, которые обосновываются в *Я* и которые можно обнаружить в деструктивных влечениях. Размышление превращает эту противоположность в другую — между влечениями к жизни (Эрос) и влечениями к смерти.

в таком случае подготовительную функцию, которая направляла бы это возбуждение к окончательному разрешению в наслаждении успокоением.

В зависимости от этого возникает вопрос, могут ли чувства удовольствия и неудовольствия происходить одинаково из связанных и несвязанных процессов возбуждения. Здесь обнаруживается с несомненностью, что несвязанные первичные процессы делают гораздо более интенсивными чувства в обоих направлениях, чем связанные, т. е. вторичные, процессы. Первичные процессы суть также более ранние по времени; в начале психической жизни не встречается никаких других, и мы можем заключить, что, если бы принцип удовольствия не был действительным уже в них, он не мог бы проявляться в более поздних процессах. Мы приходим, таким образом, к тому, в основе далеко не простому, выводу, что стремление к удовольствию в начале психической жизни проявляется гораздо сильнее, чем в более поздний период, но более ограниченно; тут должны образовываться частые прорывы. В более зрелый период господство принципа удовольствия обеспечено гораздо полнее, но сам он также мало избегает обуздания, как и все другие влечения. Во всяком случае при вторичных процессах должно происходить то же самое, что и при первичных, а именно то, что вызывает возникновение удовольствия и неудовольствия при процессах возбуждения.

Здесь уместно бы заняться дальнейшим изучением. Наше сознание сообщает нам изнутри не только о чувствах удовольствия и неудовольствия, но также о специфическом напряжении, которое опять-таки само по себе может быть приятным и неприятным. Будут ли это связанные или несвязанные энергетические процессы, которые мы посредством этого ощущения можем отличать одно от другого, или ощущение напряжения указывает на абсолютную величину или уровень активной энергии, в то время как ряд удовольствие–неудовольствие обозначает изменение величины этой энергии в единицу времени? Мы должны также заключить, что «влечения к жизни» имеют больше дела с нашими внутренними восприятиями, выступая как нарушители мира, принося вместе с собой напряжения, разрешение которых воспринимается как удовольствие. Влечения же к смерти, как кажется, непрерывно производят свою работу. Принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти: он сторожит вместе с тем и внешние раздражения, которые расцениваются влечениями обоего рода как опасности, но совершенно отличным образом защищается от нарастающих изнутри раздражений, которые стремятся к затруднению жизненных процессов. Здесь возникают бесчисленные новые вопросы, разрешение которых сейчас невозможно. Необходимо быть терпеливым и ждать дальнейших средств и возможностей для исследования. Также надо быть готовым оставить ту дорогу, по которой мы некоторое время шли, если окажется, что она не приводит ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые от науки ожидают замены упраздненного катехизиса, поставят в упрек исследователю постепенное развитие или даже изменение его взглядов. В остальном относительно медленного продвижения нашего научного знания пусть утешит нас поэт (Рюккерт в «Makamen Hariri»):

> До чего нельзя долететь, надо дойти хромая.
> ....
> Писание говорит, что вовсе не грех хромать.

Я и ОНО

I. Сознание и бессознательное

Я не собираюсь сказать в этом вводном отрывке что-либо новое и не могу избежать повторения того, что неоднократно высказывалось раньше.

Деление психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой психоанализа, и только оно дает ему возможность понять и подвергнуть научному исследованию часто наблюдающиеся и очень важные патологические процессы в душевной жизни. Иначе говоря, психоанализ не может считать сознательное сущностью психического, но должен рассматривать сознание как качество психического, которое может присоединяться или не присоединяться к другим его качествам.

Если бы я мог рассчитывать, что эта книга будет прочтена всеми интересующимися психологией, то я был бы готов и к тому, что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует далее, ибо здесь первый шибболет[1] психоанализа. Для большинства философски образованных людей идея психического, которое одновременно не было бы сознательным, до такой степени непонятна, что представляется им абсурдной и несовместимой с простой логикой. Это происходит, полагаю я, оттого, что они никогда не изучали относящихся сюда феноменов гипноза и сновидений, которые — не говоря уже о всей области патологических явлений — требуют такого понимания. Однако их психология сознания не способна и разрешить проблемы сновидения и гипноза.

Быть сознательным — это прежде всего чисто описательный термин, который опирается на самое непосредственное и надежное восприятие. Опыт показывает

---

[1] По поводу этого слова у Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона читаем: «Шибболет (евр. «колос», Кн. Судей, XII, 6). По произношению этого слова жители галаадские во время междоусобной войны с ефремлянами при Иеффае узнавали ефремлян при переправе их через Иордан и убивали их. Ефремляне произносили это слово «сибболет»: это была особенность их диалекта» (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XXXIXa (78), с. 551). В переносном смысле означает «особенность», «отличие». — *Примеч. ред. перевода.*

нам далее, что психический элемент, например представление, обыкновенно не бывает длительно сознательным. Наоборот, характерным для него является то, что состояние осознанности быстро проходит; представление, в данный момент сознательное, в следующее мгновение перестает быть таковым, однако может вновь стать сознательным при известных, легко достижимых условиях. Каким оно было в промежуточный период — мы не знаем; можно сказать, что оно было латентным, подразумевая под этим то, что оно в любой момент способно было стать сознательным. Если мы скажем, что оно было бессознательным, мы также дадим правильное описание. Это бессознательное в таком случае совпадает с латентным или потенциально сознательным. Правда, философы возразили бы нам: нет, термин «бессознательное» не может здесь использоваться; пока представление находилось в латентном состоянии, оно вообще не было психическим. Но если бы уже в этом месте мы стали возражать им, то затеяли бы совершенно бесплодный спор о словах.

К термину или понятию бессознательного мы пришли другим путем, путем переработки опыта, в котором большую роль играет душевная динамика. Мы узнали, т. е. вынуждены были признать, что существуют весьма сильные душевные процессы или представления — здесь прежде всего приходится иметь дело с некоторым количественным, т. е. экономическим, моментом, — которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и все другие представления между прочим, и такие последствия, которые могут быть осознаны опять-таки как представления, хотя сами в действительности не являются сознательными. Нет необходимости подробно повторять то, о чем уже часто говорилось. Достаточно сказать: здесь начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие представления не становятся сознательными потому, что им противодействует известная сила, что без этого они могли бы стать сознательными, и тогда мы увидели бы, как мало они отличаются от остальных общепризнанных психических элементов. Эта теория оказывается неопровержимой благодаря тому, что в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых можно устранить противодействующую силу и довести соответствующие представления до сознания. Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем вытеснением, а сила, приведшая к вытеснению и поддерживающая его, ощущается нами во время нашей психоаналитической работы как сопротивление.

Понятие бессознательного мы, таким образом, получаем из учения о вытеснении. Вытесненное мы рассматриваем как типичный пример бессознательного. Мы видим, однако, что есть два вида бессознательного: латентное, но способное стать сознательным, и вытесненное, которое само по себе и без дальнейшего не может стать сознательным. Наше знакомство с психической динамикой не может не оказать влияния на номенклатуру и описание. Латентное бессознательное, являющееся бессознательным только в описательном, но не в динамическом смысле, называется нами предсознательным; термин «бессознательное» мы применяем только к вытесненному динамическому бессознательному; таким образом, мы имеем теперь три термина: «сознательное» (bw), «предсознательное» (vbw) и «бессознательное» (ubw), смысл которых уже не только чисто описательный. Предсознательное (Vbw) предполагается нами стоящим гораздо ближе к сознательному (Bw),

чем бессознательное, а так как бессознательное (Ubw) мы назвали психическим, мы тем более назовем так и латентное предсознательное (Vbw)[1]. <...>

Таким образом, мы с большим удобством можем обходиться нашими тремя терминами: bw, vbw и ubw, если только не станем упускать из виду, что в описательном смысле существуют два вида бессознательного, в динамическом же только один. В некоторых случаях, когда изложение преследует особые цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, конечно, совершенно необходимо. <...>

В дальнейшем ходе психоаналитической работы выясняется, однако, что и эти различия оказываются недостаточными, практически неудовлетворительными. Из ряда положений, служащих тому доказательством, приведем решающее. Мы создали себе представление о связной организации душевных процессов в одной личности и обозначаем его как *Я* этой личности. Это *Я* связано с сознанием, оно господствует над побуждениями к движению, т. е. к разрядке возбуждений во внешний мир. Это та душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы, которая ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. Из этого *Я* исходит также вытеснение, благодаря которому известные душевные побуждения подлежат исключению не только из сознания, но также из других областей влияний и действий. Это устранение путем вытеснения в анализе противопоставляет себя *Я*, и анализ стоит перед задачей устранить сопротивление, которое *Я* оказывает попыткам приблизиться к вытесненному. Во время анализа мы наблюдаем, как больной, если ему ставятся известные задачи, испытывает затруднения; его ассоциации прекращаются, как только они должны приблизиться к вытесненному. Тогда мы говорим ему, что он находится во власти сопротивления, но сам он ничего о нем не знает, и даже в том случае, когда на основании чувства неудовольствия он должен догадываться, что в нем действует какое-то сопротивление, он все же не умеет ни назвать, ни указать его. Но так как сопротивление, несомненно, исходит из его *Я* и принадлежит последнему, то мы оказываемся в неожиданном положении. Мы нашли в самом *Я* нечто такое, что тоже бессознательно и проявляется подобно вытесненному, т. е. оказывает сильное действие, не переходя в сознание, и для осознания чего требуется особая работа. Следствием такого наблюдения для психоаналитической практики является то, что мы попадаем в бесконечное множество затруднений и неясностей, если только хотим придерживаться привычных способов выражения, например если хотим свести явление невроза к конфликту между сознанием и бессознательным. Исходя из нашей теории структурных отношений душевной жизни, мы должны такое противопоставление заменить другим, а именно связному *Я* противопоставить отколовшееся от него вытесненное.

Однако следствия из нашего понимания бессознательного еще более значительны. Знакомство с динамикой внесло первую поправку, структурная теория вносит вторую. Мы приходим к выводу, что Ubw не совпадает с вытесненным;

[1] bw — сокр. от bewußt (сознательное), vbw — от vorbewußt (предсознательное), ubw — unbewußt (бессознательное). Заглавная и строчная буквы в начале всех аббревиатур означают, что последние обозначают соответственно существительное (или субстантивированное прилагательное) и прилагательное. Например, Bw и bw — сознание и сознательное, Ubw и ubw — бессознательное (субстан. прил.) и бессознательное (прил.). — *Примеч. ред. перевода.*

остается верным, что все вытесненное бессознательно, но не все бессознательное есть вытесненное. Даже часть *Я* (один бог ведает, насколько важная часть) может быть бессознательной и без всякого сомнения и является таковой. И это бессознательное в *Я* не есть латентное в смысле предсознательного, иначе его нельзя было бы сделать активным без осознания и само осознание не представляло бы столько трудностей. Когда мы, таким образом, стоим перед необходимостью признания третьего, не вытесненного Ubw, то нам приходится признать, что свойство бессознательности теряет для нас свое значение. Оно становится многозначным качеством, не позволяющим широких и непререкаемых выводов, для которых нам хотелось бы его использовать. Тем не менее нужно остерегаться пренебрегать им, так как в конце концов свойство бессознательности или сознательности является единственным лучом света во тьме глубинной психологии.

II. Я и Оно

Патологические изыскания отвлекли наш интерес исключительно в сторону вытесненного. После того как нам стало известно, что и *Я* в собственном смысле слова может быть бессознательным, нам хотелось бы больше узнать о *Я*. Руководящей нитью в наших исследованиях до сих пор служил только признак сознательности или бессознательности; под конец мы убедились, сколь многозначным может быть этот признак.

Все наше знание постоянно связано с сознанием. Даже бессознательное мы можем узнать только путем превращения его в сознательное. Но каким же образом это возможно? Что значит: сделать нечто сознательным? Как это может произойти?

Мы уже знаем, откуда нам следует исходить. Мы сказали, что сознание представляет собой поверхностный слой душевного аппарата, т. е. мы сделали его функцией некоей системы, которая пространственно ближе всего к внешнему миру. Пространственно, впрочем, не только в смысле функции, но на этот раз и в смысле анатомического расчленения. Наше исследование также должно исходить от этой воспринимающей поверхности.

Само собой разумеется, что сознательны все восприятия, приходящие извне (чувственные восприятия), а также изнутри, которые мы называем ощущениями и чувствами. Как, однако, обстоит дело с теми внутренними процессами, которые мы — несколько грубо и недостаточно — можем назвать мыслительными процессами? Доходят ли эти процессы, совершающиеся где-то внутри аппарата, как движения душевной энергии на пути к действию, до поверхности, на которой возникает сознание? Или, наоборот, сознание доходит до них? Мы замечаем, что здесь кроется одна из трудностей, встающих перед нами, если мы хотим всерьез оперировать с пространственным, топическим представлением душевной жизни. Обе возможности одинаково немыслимы, и нам следует искать третью.

В другом месте[1] я уже указывал, что действительное различие между бессознательным и предсознательным представлениями заключается в том, что первое

---

[1] Das Unbewußte // Intern. Zeitschr. für Psychoanalyse, Bd. 3, 1905, или: Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4 Folge, 1918.

совершается при помощи материала, остающегося неизвестным (непознанным), в то время как второе (vbw) связывается с представлениями слов. Здесь впервые сделана попытка дать для системы Vbw и Ubw такие признаки, которые существенно отличны от признака отношения их к сознанию. Вопрос: «Каким образом что-либо становится сознательным?» — целесообразнее было бы облечь в такую форму: «Каким образом что-нибудь становится предсознательным?» Тогда ответ был бы таким: «Посредством соединения с соответствующими словесными представлениями слов». <...>

Если таков именно путь превращения чего-либо бессознательного в предсознательное, то на вопрос: «Каким образом мы делаем вытесненное (пред)сознательным?» — следует ответить: «Создавая при помощи аналитической работы упомянутые подсознательные опосредствующие звенья». Сознание остается на своем месте, но и бессознательное не поднимается до степени сознательного.

В то время как отношение внешнего восприятия к *Я* совершенно очевидно, отношение внутреннего восприятия к *Я* требует особого исследования. Отсюда еще раз возникает сомнение в правильности допущения, что все сознательное связано с поверхностной системой восприятие–сознание (W–Bw).

Внутреннее восприятие дает ощущения процессов, происходящих в различных, несомненно также в глубочайших слоях душевного аппарата. Они малоизвестны, и лучшим их образцом может служить ряд удовольствие–неудовольствие. Они первичнее, элементарнее, чем ощущения, возникающие извне, и могут появляться и в состоянии смутного сознания. О большом экономическом значении их и метапсихологическом обосновании этого значения я говорил в другом месте. Эти ощущения локализованы в различных местах, как и внешние восприятия, они могут притекать с разных сторон одновременно и иметь при этом различные, даже противоположные качества. <...>

Ощущения и чувства также становятся сознательными лишь благодаря соприкосновению с системой W, если же путь к ней прегражден, они не осуществляются в виде ощущений. Сокращенно, но не совсем правильно мы говорим тогда о бессознательных ощущениях, придерживаясь аналогии с бессознательными представлениями, хотя эта аналогия и недостаточно оправдана. Разница заключается в том, что для доведения до сознания необходимо создать сперва посредствующие звенья, в то время как для ощущений, притекающих в сознание непосредственно, такая необходимость отпадает. Другими словами, разница между bw и vbw для ощущений не имеет смысла, так как vbw здесь исключается: ощущения либо сознательны, либо бессознательны. Даже в том случае, когда ощущения связываются с представлениями слов, их осознание не обусловлено последними: они становятся сознательными непосредственно.

Роль слов становится теперь совершенно ясной. Через их посредство внутренние процессы мысли становятся восприятиями. Таким образом, как бы подтверждается положение: всякое знание происходит из внешнего восприятия. При «переполнении» (Überbesetzung) мышления мысли действительно воспринимаются как бы извне и потому считаются истинными.

Разъяснив взаимоотношение внешних и внутренних восприятий и поверхностной системы (W–Bw), мы можем приступить к построению нашего представле-

ния о *Я*. Мы видим его исходящим из системы восприятия W, как из своего ядра-центра, и в первую очередь охватывающим Vbw, которое соприкасается со следами воспоминаний. Но, как мы уже видели, *Я* тоже бывает бессознательным.

Я полагаю, что здесь было бы очень целесообразно последовать предложению одного автора, который из личных соображений напрасно старается уверить, что ничего общего с высокой и строгой наукой не имеет. Я говорю о Г. Гроддеке[1], неустанно повторяющем, что то, что мы называем своим *Я*, в жизни проявляется преимущественно пассивно, что нас, по его выражению, «изживают» неизвестные и неподвластные нам силы. Все мы испытывали такие впечатления, хотя бы они и не овладевали нами настолько, чтобы исключить все остальное, и я открыто заявляю, что взглядам Гроддека следует отвести надлежащее место в науке. Я предлагаю считаться с этими взглядами и назвать сущность, исходящую из системы W и пребывающую вначале предсознательной, именем *Я*, а те другие области психического, в которые эта сущность проникает и которые являются бессознательными, обозначить, по примеру Гроддека[2], словом *Оно*.

Мы скоро увидим, можно ли извлечь из такого понимания какую-либо пользу для описания и уяснения. Согласно предлагаемой теории, индивидуум представляется нам как непознанное и бессознательное *Оно*, на поверхности которого покоится *Я*, возникшее из системы W как ядра. При желании дать графическое изображение можно прибавить, что *Я* не целиком охватывает *Оно*, а покрывает его лишь постольку, поскольку система W образует его поверхность, т. е. расположено по отношению к нему примерно так, как зародышевый диск расположен в яйце. *Я* и *Оно* не разделены резкой границей, и с последним *Я* сливается внизу.

Однако вытесненное также сливается с *Оно* и есть только часть его. Вытесненное благодаря сопротивлениям вытеснения резко обособлено только от *Я*; с помощью *Оно* ему открывается возможность соединиться с *Я*. Ясно, следовательно, что почти все разграничения, которые мы старались описать на основании данных патологии, относятся только к единственно известным нам поверхностным слоям душевного аппарата. Для изображения этих отношений можно было бы набросать рисунок, контуры которого служат лишь для наглядности и не претендуют на какое-либо истолкование. Следует, пожалуй, прибавить, что *Я*, по свидетельству анатомов, имеет «слуховой колпак» только на одной стороне. Он надет на него как бы набекрень.

Нетрудно убедиться в том, что *Я* есть только измененная под прямым влиянием внешнего мира и при посредстве W–Bw часть *Оно*, своего рода продолжение дифференциации поверхностного слоя. *Я* старается также содействовать влиянию внешнего мира на *Оно* и осуществлению тенденций этого мира, оно стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в *Оно,* принципом реальности. Восприятие имеет для *Я* такое же значение, как влечение для *Оно*. *Я* олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность к *Оно*, содержащему страсти. Все это соответствует общеизвестным

---

[1] *Groddeck G*. Das Buch vom Es. Intern. Psychoanalytischer Verlag, 1923.

[2] Сам Гроддек последовал, вероятно, примеру Ницше, который часто пользовался этим грамматическим термином для выражения безличного и, так сказать, природно-необходимого в нашем существе.

и популярным разграничениям, однако может считаться верным только для некоторого среднего — или в идеале правильного — случая.

Большое функциональное значение *Я* выражается в том, что в нормальных условиях ему предоставлена власть над побуждением к движению. По отношению к *Оно Я* подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, *Я* же силами заимствованными. Это сравнение может быть продолжено. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и *Я* превращает обыкновенно волю *Оно* в действие, как будто бы это было его собственной волей.

Я складывается и обособляется от *Оно,* по-видимому, не только под влиянием системы W, но под действием также другого момента. Собственное тело, и прежде всего поверхность его, представляет собой место, от которого могут исходить одновременно как внешние, так и внутренние восприятия. Путем зрения тело воспринимается как другой объект, но осязанию оно дает двоякого рода ощущения, одни из которых могут быть очень похожими на внутреннее восприятие. В психофизиологии подробно описывалось, каким образом собственное тело обособляется из мира восприятий. Чувство боли, по-видимому, также играет при этом некоторую роль, а способ, каким при мучительных болезнях человек получает новое знание о своих органах, является, может быть, типичным способом того, как вообще складывается представление о своем теле.

Я прежде всего телесно, оно не только поверхностное существо, но даже является проекцией некоторой поверхности. Если искать анатомическую аналогию, его скорее всего можно уподобить «мозговому человечку» анатомов, который находится в мозговой коре как бы вниз головой, простирает пятки вверх, глядит назад, а на левой стороне, как известно, находится речевая зона.

Отношение *Я* к сознанию обсуждалось часто, однако здесь необходимо вновь описать некоторые важные факты. Мы привыкли всюду привносить социальную или этическую оценку, и поэтому нас не удивляет, что игра низших страстей происходит в бессознательном, но мы заранее уверены в том, что душевные функции тем легче доходят до сознания, чем выше указанная их оценка. Психоаналитический опыт не оправдывает, однако, наших ожиданий. С одной стороны, мы имеем доказательства тому, что даже тонкая и трудная интеллектуальная работа, которая обычно требует напряженного размышления, может быть совершена бессознательно, не доходя до сознания. Такие случаи совершенно бесспорны, они происходят, например, в состоянии сна и выражаются в том, что человек непосредственно после пробуждения находит разрешение трудной математической или иной задачи, над которой он бился безрезультатно накануне[1].

Однако гораздо большее недоумение вызывает знакомство с другим фактом. Из наших анализов мы узнаем, что существуют люди, у которых самокритика и совесть, т. е. бесспорно высокоценные душевные проявления, оказываются бессознательными и, оставаясь таковыми, обусловливают важнейшие поступки; то обстоятельство, что сопротивление в анализе остается бессознательным, не являет-

[1] Такой факт еще совсем недавно был сообщен мне как возражение против моего описания «работы сновидения».

ся, следовательно, единственной ситуацией такого рода. Еще более смущает нас новое наблюдение, приводящее к необходимости, несмотря на самую тщательную критику, считаться с бессознательным чувством вины, — факт, который задает новые загадки, в особенности если мы все больше и больше приходим к убеждению, что бессознательное чувство вины играет в большинстве неврозов экономически решающую роль и создает сильнейшее препятствие выздоровлению. Возвращаясь к нашей оценочной шкале, мы должны сказать: не только наиболее глубокое, но и наиболее высокое в *Я* может быть бессознательным. Таким образом, нам как бы демонстрируется то, что раньше было сказано о сознательном *Я,* а именно — что оно прежде всего «телесное *Я*».

III. *Я* и сверх-Я (Я-идеал)

Если бы *Я* было только частью *Оно,* определяемой влиянием системы восприятия, только представителем реального внешнего мира в душевной области, все было бы просто. Однако сюда присоединяется еще нечто.

В других местах уже были разъяснены мотивы, побудившие нас предположить существование некоторой инстанции в *Я,* дифференциацию внутри *Я,* которую можно назвать Я-идеалом или сверх-Я[1]. Эти мотивы вполне правомерны[2]. То, что эта часть *Я* не так прочно связана с сознанием, является неожиданностью, требующей разъяснения.

Нам придется начать несколько издалека. Нам удалось осветить мучительное страдание меланхолика благодаря предположению, что в *Я* восстановлен утерянный объект, т. е. что произошла замена привязанности к объекту (Objektbesetzung) идентификацией[3]. В то же время, однако, мы еще не уяснили себе всего значения этого процесса и не знали, насколько он прочен и часто повторяется. С тех пор мы говорим: такая замена играет большую роль в образовании *Я*, а также имеет существенное значение в выработке того, что мы называем своим характером.

Первоначально в примитивной оральной фазе индивида трудно отличить обладание объектом от идентификации. Позднее можно предположить, что желание обладать объектом исходит из *Оно,* которое ощущает эротическое стремление как потребность. Вначале еще хилое *Я* получает от привязанности к объекту знание, удовлетворяется им или старается устранить его путем вытеснения[4].

---

[1] Zur Einführung des Narzißmus; Massenpsychologie und Ich-Analyse.

[2] Ошибочным и нуждающимся в исправлении может показаться только обстоятельство, что я приписал этому сверх-Я функцию контроля реальностью. Если бы испытание реальностью оставалось собственной задачей *Я*, это совершенно соответствовало бы отношениям его к миру восприятия. Также и более ранние недостаточно определенные замечания о ядре *Я* должны теперь найти правильное выражение в том смысле, что только система W–Bw может быть признана ядром *Я*.

[3] Trauer und Melancholie.

[4] Интересной параллелью замены выбора объекта идентификацией служит вера первобытных народов в то, что свойства принятого в пищу животного перейдут к лицу, вкушающему эту пищу, и основанные на этой вере запреты. Она же, как известно, служит также одним из оснований каннибализма и сказывается в целом ряде обычаев тотемической трапезы вплоть до святого причастия. Следствия, которые здесь приписываются овладению объектом, действительно оказываются верными по отношению к позднейшему выбору сексуального объекта.

Если мы нуждаемся в сексуальном объекте или нам приходится отказаться от него, наступает нередко изменение *Я*, которое, как и в случае меланхолии, следует описать как внедрение объекта в *Я*; ближайшие подробности этого замещения нам еще неизвестны. Может быть, с помощью такой интроекции (вкладывания), которая является как бы регрессией к механизму оральной фазы, *Я* облегчает или делает возможным отказ от объекта. Может быть, это отождествление есть вообще условие, при котором *Оно* отказывается от своих объектов. Во всяком случае процесс этот, особенно в ранних стадиях развития, наблюдается очень часто; он дает нам возможность предположить, что характер *Я* является осадком отвергнутых привязанностей к объекту, что он содержит историю этих выборов объекта. Поскольку характер личности отвергает или приемлет эти влияния из истории эротических выборов объекта, естественно наперед допустить целую шкалу сопротивляемости. Мы думаем, что в чертах характера женщин, имевших большой любовный опыт, легко найти отзвук их привязанностей к объекту. Необходимо также принять в соображение случаи одновременной привязанности к объекту и идентификации, т. е. изменения характера прежде, чем произошел отказ от объекта. При этом условии изменение характера может оказаться более длительным, чем отношение к объекту, и даже в известном смысле консервировать это отношение.

Другой подход к явлению показывает, что такое превращение эротического выбора объекта в изменение *Я* является также путем, каким *Я* получает возможность овладеть *Оно* и углубить свои отношения к нему, правда, ценой значительной уступчивости к его переживаниям. Принимая черты объекта, *Я* как бы навязывает *Оно* самого себя в качестве любовного объекта, старается возместить ему его утрату, обращаясь к нему с такими словами: «Смотри, ты ведь можешь любить и меня — я так похоже на объект».

Происходящее в этом случае превращение объект-либидо в нарциссическое либидо, очевидно, влечет за собой отказ от сексуальных целей, известную десексуализацию, а стало быть, своего рода сублимацию. Более того, тут возникает вопрос, заслуживающий внимательного рассмотрения, а именно: не есть ли это обычный путь к сублимации, не происходит ли всякая сублимация посредством вмешательства *Я*, которое сперва превращает сексуальное объект-либидо в нарцистическое либидо с тем, чтобы в дальнейшем поставить, может быть, ему совсем иную цель[1]? Не может ли это превращение влечь за собой в качестве следствия также и другие изменения судеб влечения, не может ли оно приводить, например, к расслоению различных слившихся друг с другом влечений? К этому вопросу мы еще вернемся впоследствии.

Хотя мы и отклоняемся от нашей цели, однако необходимо остановить на некоторое время наше внимание на объектных идентификациях *Я*. Если таковые умножаются, становятся слишком многочисленными, чрезмерно сильными и несовместимыми друг с другом, то они легко могут привести к патологическому ре-

---

[1] С введением нарциссизма мы теперь, после того как отделили *Я* от *Оно*, должны признать *Оно* большим резервуаром либидо. Либидо, направляющееся на *Я* вследствие описанной идентификации, составляет его «вторичный нарциссизм».

зультату. Дело может дойти до расщепления *Я*, поскольку отдельные идентификации благодаря противоборству изолируются друг от друга и загадка случаев так называемой множественной личности, может быть, заключается как раз в том, что отдельные идентификации попеременно овладевают сознанием. Даже если дело не заходит так далеко, создается все же почва для конфликтов между различными идентификациями, на которые раскладывается *Я*, конфликтов, которые в конечном итоге не всегда могут быть названы патологическими.

Как бы ни окрепла в дальнейшем сопротивляемость характера в отношении влияния отвергнутых привязанностей к объекту, все же действие первых, имевших место в самом раннем возрасте идентификаций, будет широким и устойчивым. Это обстоятельство заставляет нас вернуться назад к моменту возникновения Я-идеала, ибо за последним скрывается первая и самая важная идентификация индивидуума, именно — идентификация с отцом в самый ранний период истории развития личности[1]. Такая идентификация, по-видимому, не есть следствие или результат привязанности к объекту; она прямая, непосредственная и более ранняя, чем какая бы то ни было привязанность к объекту. Однако выборы объекта, относящиеся к первому сексуальному периоду и касающиеся отца и матери, при нормальных условиях в заключение приводят, по-видимому, к такой идентификации и тем самым усиливают первичную идентификацию.

Все же отношения эти так сложны, что возникает необходимость описать их подробнее. Существуют два момента, обусловливающие эту сложность: треугольное расположение Эдипова отношения и изначальная бисексуальность индивида.

Упрощенный случай для ребенка мужского пола складывается следующим образом: очень рано ребенок обнаруживает по отношению к матери объектную привязанность, которая берет свое начало от материнской груди и служит образцовым примером выбора объекта по типу опоры (Anlehnungstypus); с отцом же мальчик идентифицируется. Оба отношения существуют некоторое время параллельно, пока усиление сексуальных влечений к матери и осознание того, что отец является помехой для таких влечений, не вызывает Эдипова комплекса[2]. Идентификация с отцом отныне принимает враждебную окраску и превращается в желание устранить отца и заменить его собой у матери. С этих пор отношение к отцу амбивалентно, создается впечатление, будто содержащаяся с самого начала в идентификации амбивалентность стала явной. «Амбивалентная установка» по отношению к отцу и лишь нежное объектное влечение к матери составляют для мальчика содержание простого, положительного Эдипова комплекса.

При разрушении Эдипова комплекса необходимо отказаться от объектной привязанности к матери. Вместо нее могут появиться две вещи: либо идентификация с матерью, либо усиление идентификации с отцом. Последнее мы обыкновенно

---

[1] Может быть, осторожнее было бы сказать «с родителями», так как оценка отца и матери до точного понимания полового различия — отсутствие пениса — бывает одинаковой. Из истории одной молодой девушки мне недавно случилось узнать, что, заметив у себя отсутствие пениса, она отрицала наличие этого органа вовсе не у всех женщин, а лишь у тех, которых она считала неполноценными. У ее матери он, по ее мнению, сохранился. В целях простоты изложения я буду говорить лишь об идентификации с отцом.

[2] Ср. Massenpsychologie und Ich-Analyse, VII.

рассматриваем как более нормальный случай, он позволяет сохранить в известной мере нежное отношение к матери. Благодаря исчезновению Эдипова комплекса мужественность характера мальчика, таким образом, укрепилась бы. Совершенно аналогичным образом Эдипова установка маленькой девочки может вылиться в усиление ее идентификации с матерью (или в появлении таковой), упрочивающей женственный характер ребенка.

Эти идентификации не соответствуют нашему ожиданию, так как они не вводят оставленный объект в *Я*; однако и такой исход возможен, причем у девочек его наблюдать легче, чем у мальчиков. В анализе очень часто приходится сталкиваться с тем, что маленькая девочка, после того как ей пришлось отказаться от отца как любовного объекта, проявляет мужественность и идентифицирует себя не с матерью, а с отцом, т. е. с потерянным объектом. Ясно, что при этом все зависит от того, достаточно ли сильны ее мужские задатки, в чем бы они ни состояли.

Таким образом, переход Эдиповой ситуации в идентификацию с отцом или матерью зависит у обоих полов, по-видимому, от относительной силы задатков того или другого пола. Это один способ, каким бисексуальность вмешивается в судьбу Эдипова комплекса. Другой способ еще более важен. В самом деле, возникает впечатление, что простой Эдипов комплекс вообще не есть наиболее частый случай, а соответствует некоторому упрощению или схематизации, которая практически осуществляется, правда, достаточно часто. Более подробное исследование вскрывает в большинстве случаев более полный Эдипов комплекс, который бывает двояким, позитивным и негативным, в зависимости от первоначальной бисексуальности ребенка, т. е. мальчик находится не только в амбивалентном отношении к отцу и останавливает свой нежный объектный выбор на матери, но он одновременно ведет себя как девочка, проявляет нежное женское отношение к отцу и соответствующее ревниво-враждебное к матери. Это вторжение бисексуальности очень осложняет анализ отношений между первичными выборами объекта и идентификациями и делает чрезвычайно затруднительным понятное их описание. Возможно, что установленная в отношении к родителям амбивалентность должна быть целиком отнесена на счет бисексуальности, а не возникает, как я утверждал это выше, из идентификации вследствие соперничества.

Я полагаю, что мы не ошибемся, если допустим существование полного Эдипова комплекса у всех вообще людей, а у невротиков в особенности. Аналитический опыт обнаруживает затем, что в известных случаях та или другая составная часть этого комплекса исчезает, оставляя лишь едва заметный след, так что создается ряд, на одном конце которого стоит позитивный комплекс, на другом конце — обратный, негативный комплекс, в то время как средние звенья изображают полную форму с неодинаковым участием обоих компонентов. При исчезновении Эдипова комплекса четыре содержащихся в нем влечения сочетаются таким образом, что из них получается одна идентификация с отцом и одна с матерью, причем идентификация с отцом удерживает объект-мать позитивного комплекса и одновременно заменяет объект-отца обратного комплекса; аналогичные явления имеют место при идентификации с матерью. В различной силе выражения обеих идентификаций отразится неравенство обоих половых задатков.

Таким образом, можно сделать грубое допущение, что в результате сексуальной фазы, характеризуемой господством Эдипова комплекса, в *Я* отлагается осадок, состоящий в образовании обеих названных, как-то согласованных друг с другом идентификаций. Это изменение *Я* сохраняет особое положение: оно противостоит прочему содержанию *Я* в качестве Я-идеала или сверх-Я.

Сверх-Я не является, однако, простым осадком от первых выборов объекта, совершаемых *Оно*, ему присуще также значение энергичного реактивного образования по отношению к ним. Его отношение к *Я* не исчерпывается требованием «ты должен быть таким же (как отец)», оно выражает также запрет: «Таким (как отец) ты не смеешь быть, т. е. не смеешь делать все то, что делает отец; некоторые поступки остаются его исключительным правом». Это двойное лицо Я-идеала обусловлено тем фактом, что сверх-Я стремилось вытеснить Эдипов комплекс, более того, могло возникнуть лишь благодаря этому резкому изменению. Вытеснение Эдипова комплекса было, очевидно, нелегкой задачей. Так как родители, особенно отец, осознаются как помеха к осуществлению Эдиповых влечений, то инфантильное *Я* накопляло силы для осуществления этого вытеснения путем создания в себе самом того же самого препятствия. Эти силы заимствовались им в известной мере у отца, и такое позаимствование является актом, в высшей степени чреватым последствиями. Сверх-Я сохранит характер отца, и чем сильнее был Эдипов комплекс, чем стремительнее было его вытеснение (под влиянием авторитета, религии, образования и чтения), тем строже впоследствии сверх-Я будет властвовать над *Я* как совесть, а может быть, и как бессознательное чувство вины. Откуда берется сила для такого властвования, откуда принудительный характер, принимающий форму категорического императива, — по этому поводу я еще выскажу в дальнейшем свои соображения.

Сосредоточив еще раз внимание на только что описанном возникновении сверх-Я, мы увидим в нем результат двух чрезвычайно важных биологических факторов: продолжительной детской беспомощности и зависимости человека и наличия у него Эдипова комплекса, который был сведен нами даже к перерыву развития либидо, производимому латентным периодом, т. е. к двукратному началу половой жизни. Это последнее обстоятельство является, по-видимому, специфически человеческой особенностью и составляет, согласно психоаналитической гипотезе, наследие того толчка к культурному развитию, который был насильственно вызван ледниковым периодом. Таким образом, отделение сверх-Я от *Я* не случайно, оно отражает важнейшие черты как индивидуального, так и родового развития и даже больше: сообщая родительскому влиянию длительное выражение, оно увековечивает существование факторов, которым обязано своим происхождением.

Несчетное число раз психоанализ упрекали в том, что он не интересуется высшим, моральным, сверхличным в человеке. Этот упрек несправедлив вдвойне — исторически и методологически. Исторически — потому что психоанализ с самого начала приписывал моральным и эстетическим тенденциям в *Я* побуждение к вытеснению, методологически — вследствие нежелания понять, что психоаналитическое исследование не могло выступить, подобно философской системе, с законченным сводом своих положений, но должно было шаг за шагом добираться

до понимания сложной душевной жизни путем аналитического расчленения как нормальных, так и аномальных явлений. Нам не было надобности дрожать за сохранение высшего в человеке, коль скоро мы поставили себе задачей заниматься изучением вытесненного в душевной жизни. Теперь, когда мы отваживаемся подойти наконец к анализу *Я*, мы так можем ответить всем, кто, будучи потрясен в своем нравственном сознании, твердил, что должно же быть высшее в человеке: «Оно несомненно должно быть, но Я-идеал или сверх-Я, выражение нашего отношения к родителям, как раз и является высшим существом. Будучи маленькими детьми, мы знали этих высших существ, удивлялись им и испытывали страх перед ними, впоследствии мы приняли их в себя самих».

Я-идеал является, таким образом, наследником Эдипова комплекса и, следовательно, выражением самых мощных движений *Оно* и самых важных судеб его либидо. Выставив этот идеал, *Я* сумело овладеть Эдиповым комплексом и одновременно подчиниться *Оно*. В то время как *Я* является преимущественно представителем внешнего мира, реальности, сверх-Я выступает навстречу ему как поверенный внутреннего мира, или *Оно*. И мы теперь подготовлены к тому, что конфликты между *Я* и Я-идеалом в конечном счете отразят противоречия реального и психического, внешнего и внутреннего миров.

Все, что биология и судьбы человеческого рода создали в *Оно* и закрепили в нем, — все это приемлется в *Я* в форме образования идеала и снова индивидуально переживается им. Вследствие истории своего образования Я-идеал имеет теснейшую связь с филогенетическим достоянием, архаическим наследием индивидуума. То, что в индивидуальной душевной жизни принадлежало глубочайшим слоям, становится благодаря образованию Я-идеала самым высоким в смысле наших оценок достоянием человеческой души. Однако тщетной была бы попытка локализовать Я-идеал, хотя бы только по примеру *Я*, или подогнать его под одно из тех сравнений, при помощи которых мы пытались наглядно изобразить отношение *Я* и *Оно*.

Легко показать, что Я-идеал соответствует всем требованиям, предъявляемым к высшему началу в человеке. В качестве заместителя страстного влечения к отцу оно содержит в себе зерно, из которого выросли все религии. Суждение о собственной недостаточности при сравнении *Я* со своим идеалом вызывает то смиренное религиозное ощущение, на которое опирается страстно верующий. В дальнейшем ходе развития роль отца переходит к учителям и авторитетам; их заповеди и запреты сохраняют свою силу в Я-идеале, осуществляя в качестве совести моральную цензуру. Несогласие между требованиями совести и действиями *Я* ощущается как чувство вины. Социальные чувства покоятся на идентификации с другими людьми на основе одинакового Я-идеала. <...>

Фрейд Зигмунд

Психология бессознательного

2-е издание

Серия «Мастера психологии»

Заведующий редакцией	*П. Алесов*
Ведущий редактор	*Н. Кулагина*
Научный редактор	*М. Ярошевский*
Художник	*К. Радзевич*
Корректоры	*Л. Васильева, С. Игнатова*
Верстка	*М. Аввакумов*

ООО «Лидер», 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 29а.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Подписано к печати 25.02.10. Формат 70×100 1/16. Усл. п. л. 32,25. Тираж 3000. Заказ 0000.

Отпечатано по технологии CtP в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

КНИГА-ПОЧТОЙ



544 с., 16,5×23,5, перепл.

Н. В. Гришина

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА. 2-Е ИЗД.

Во втором издании книги (предыдущее выпущено в 2000 г.) полно и систематично изложены психологические проблемы конфликтов. Виды конфликтов, психологические подходы к их пониманию, анализ взаимодействия людей в конфликтных ситуациях, особенности переживания человеком конфликтов, закономерности реакций людей на трудные ситуации в общении, переговорные модели разрешения конфликтов, психологическая помощь людям при возникновении конфликтов — это и многое другое представлено на страницах данной не имеющей аналогов книги. Она может оказать необходимую помощь в практической работе психологам, педагогам, социальным работникам, менеджерам, социологам.



480 с., 16,5×23,5, перепл.

Р. Мартин

ПСИХОЛОГИЯ ЮМОРА

В уникальной книге известного канадского психолога Рода Мартина все сведения о юморе собраны в единое целое. Автор подчеркивает интеграцию данных о юморе в психологию из различных дисциплин: антропологии, биологии, лингвистики, социологии. Особое внимание уделено природе юмора, а также существенной роли юмора в жизни человека. Эффектно представлено использование юмора в психотерапии, педагогике, бизнесе.

Издание адресовано психологам, психотерапевтам, педагогам, философам, социологам и студентам вузовских факультетов соответствующих профилей.



304 с., 16,5×23,5, перепл.

Р. Чалдини

ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ. 5-Е ИЗД.

«Психология влияния» — новейшее издание одного из лучших учебных пособий по социальной психологии, конфликтологии, менеджменту по мнению большинства западных и отечественных психологов. Книга Роберта Чалдини выдержала в США пять изданий, ее тираж давно уже превысил полтора миллиона экземпляров.

Эта работа, подкупающая читателя легким стилем и эффектной подачей материала, — серьезный труд, в котором на самом современном уровне анализируются механизмы мотивации, усвоения информации и принятия решений.

Новое, переработанное и дополненное, издание международного бестселлера займет достойное место в библиотеке психолога, менеджера, педагога, политика — каждого, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать, оказывать влияние.

Е. П. Ильин
ПОЛ И ГЕНДЕР



Данная книга представляет собой наиболее полное в отечественной психологии рассмотрение вопроса о физиологических, психологических и социальных различиях мужчины и женщины. Автором систематизированы отечественные и зарубежные исследования, в том числе и новейшие, по половым и гендерным особенностям людей. Показана необходимость совместного рассмотрения этих особенностей. Помимо обсуждения теоретических и методологических вопросов в книге представлены методики выявления гендерных различий (психологического пола).

Издание представляет несомненный интерес для психологов, медиков, педагогов и студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.

688 с., 16,5×23,5, перепл.



Н. Рамси, Д. Харкорт
ПСИХОЛОГИЯ ВНЕШНОСТИ



Книга посвящена теоретическим и прикладным аспектам психологии внешности, нормальному и аномальному принятию своей внешности людьми, имеющими видимые отличия разной степени выраженности или испытывающими тревогу и неудовлетворенность своей внешностью.

Издание предназначено для психологов, психотерапевтов, психиатров, пластических хирургов и представителей смежных специальностей, работающих в сфере красоты и здоровья.

256 с., 16,5×23,5, перепл.

В. Суэми, А. Фернхем
ПСИХОЛОГИЯ КРАСОТЫ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



Что значит красота в современном обществе? Какую роль играет физическая привлекательность? Как интерпретируется красота с позиций социальной и эволюционной психологии? Замечательная книга, написанная известными английскими психологами Виреном Суэми и Адрианом Фернхемом, дает подробные высокопрофессиональные ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся теоретических и практических аспектов психологии красоты и привлекательности.

Издание адресовано психологам, медикам, педагогам, студентам и преподавателям профильных вузовских факультетов, а также всем интересующимся.

240 с., 16,5×23,5, перепл.



КНИГА-ПОЧТОЙ

И. Ялом, М. Лесц

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. 5-Е ИЗД.



688 с., 16,5×23,5, перепл.

«Групповая психотерапия» – лучшая работа Ирвина Ялома, являющегося одной из ключевых фигур в современной психотерапии. Настоящее издание подготовлено при участии другого видного специалиста – Молина Лесца. В книге мастерски систематизированы и изложены принципы работы психотерапевта, особенности создания группы, групповые процессы, механизмы ведения группы, терапевтические феномены.

Перевод выполнен по новейшему, пятому, изданию книги, в котором учтены самые последние разработки в этой области психотерапии.

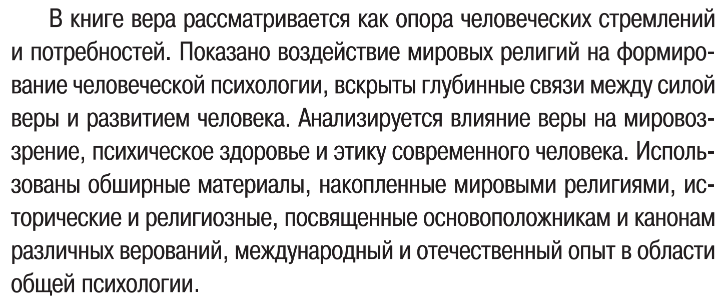
Книга предназначена для психотерапевтов, психологов и представителей смежных специальностей.

Р. М. Грановская

ПСИХОЛОГИЯ ВЕРЫ. 2-Е ИЗД.



480 с., 16,5×23,5, перепл.



В книге вера рассматривается как опора человеческих стремлений и потребностей. Показано воздействие мировых религий на формирование человеческой психологии, вскрыты глубинные связи между силой веры и развитием человека. Анализируется влияние веры на мировоззрение, психическое здоровье и этику современного человека. Использованы обширные материалы, накопленные мировыми религиями, исторические и религиозные, посвященные основоположникам и канонам различных верований, международный и отечественный опыт в области общей психологии.

Для психологов, педагогов, философов и студентов профильных факультетов высших учебных заведений.

И. В. Добряков

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ



272 с., 16,5×23,5, перепл.

Книга посвящена новому разделу психологической науки – перинатальной психологии.

В монографии освещены психологические особенности всего репродуктивного процесса: зачатия, беременности, родов, ранних этапов постнатального онтогенеза. Особое внимание уделено организации перинатальной психологической помощи женщинам и членам их семей, в том числе и при перинатальных утратах.

Издание адресовано клиническим психологам, психотерапевтам, психиатрам, акушерам-гинекологам, неонатологам, представителям смежных специальностей, а также студентам вузовских факультетов психологического и медицинского профилей.

А. Н. Лебедев-Любимов

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ. 2-Е ИЗД.



688 с., 16,5×23,5, перепл.

Во втором издании существенным изменениям подверглись главы о психологических исследованиях в маркетинге и взаимосвязях рекламы и культуры, представлены новые исследовательские инструменты и методики, в частности подробно рассмотрены методики GROUP RETENTION TEST, а также COLOR COMPATIBILITY TEST. Подход к психологическим исследованиям в рекламе рассматривается в рамках изучения рекламы как феномена культуры, а концепция рекламы как коммуникации для коммуникаций получила свое дальнейшее развитие в рамках «социально-психологического подхода».

Книга рекомендована Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии.

Д. Майерс

ИНТУИЦИЯ



256 с., 16,5×23,5, перепл.

Насколько надежна наша интуиция? Можем ли мы полагаться на нее, когда делаем покупки в магазине, выбираем спутника жизни, нанимаем сотрудников или оцениваем собственные способности? Видный американский психолог Дэвид Майерс умело показывает, что интуиция, пробуждая в нас поразительную проницательность, в то же время может иногда ввести в опасное заблуждение.

Издание предназначено для психологов и представителей смежных специальностей, а также для преподавателей и студентов профильных факультетов высших учебных заведений.

Ян Стюарт-Гамильтон

ПСИХОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ. 4-Е ИЗД.



256 с., 16,5×23,5, перепл.

Перед вами четвертое, дополненное и переработанное издание, ставшее фактически бестселлером «The Psychology of Ageing». Книгу отличают актуальность темы и доступность изложения. Помимо всестороннего анализа она содержит грандиозное количество ссылок на новейшие исследования, четкое и ясное толкование психологических и нейрофизиологических терминов, обзор новейших тенденций в области геронтологии.

Эта книга будет полезна как студентам и дипломированным специалистам в области психологии, так и всем тем, кто работает с пожилыми людьми и стремится понять психические процессы старения.




ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ПИТЕР
WWW.PITER.COM



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПИТЕР»
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ У НАШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ.